Галина Артемьева

Мне всегда везет!

МЕМУАРЫ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Перед вами книга одного из лучших современных авторов, слогом которого восхищаются критики, сюжеты которого обожают сотни тысяч читателей, чей блог получил статус звездного буквально через несколько дней после открытия.

Эта книга — не автобиография, это удивительный детектив, мелодрама, комедия, героем которого выступает Эпоха, откуда родом каждый из нас.

- Галина Артемьева
  - Откуда что взялось
  - Так вот, что было на самом деле!
  - Мама
  - Маленькое отступление по поводу…
  - Мока, или Искусство медитации
  - Девочка, как тебя зовут?
  - «Выпрямительница дорог»
  - Как папа спас мою голову
  - «Крик станции»
  - Москва, проезд Девичьего поля, дом 2, квартира 60а
  - ВЗГЛЯД ИЗ СЕГОДНЯ. ТЫСЯЧИ СЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ Я ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ
  - Письмо первое
  - Письмо второе
  - Письмо третье
  - Стеллочка, Анечка, Танюсенька
  - Главное — упорные тренировки
  - Магические стекла и волшебная тряпочка
  - Я люблю наш дом!
  - Карлик-Нос
  - Пони
  - Садовая Кудринская
  - Шестидневка
  - Детский сад на даче
  - Странные игры
  - Догадка
  - Гастроном в высотном на площади Восстания
  - Страшный дом
  - Культ личности
  - Рассуждения о политике. Наши самые верные друзья
  - Золотоноша

- Фестиваль
- В первый класс: «Забудьте слово „хочу“»
- Пятиконечная звездочка
- «…В тебе и во мне!»
- Перепись населения. (Зима 1959)
- Мужчина в доме
- Весь мир перед глазами
- «Тетя, тетя Кошка…»
- Как мы гуляем
- Моя настоящая первая учительница
- «Воровка!»
- Елка в Кремле
- Лето с папой
- Искра
- «Искусство быть красивой»
- Малина
- Мы едем на дело
- Свидетельство
- «Золотые мои старики»
- Я уезжаю!!!
- Дед Мороз и его подарки
- Как я люблю болеть!!!
- Рабочая совесть
- Книги моего детства
- ПЯТИДЕСЯТЫЕ
- Шестидесятые!!!
- «Зиганшин буги, Зиганшин рок…»
- «Точу ножи-ножницы!»
- Моя тёзка — Танюсина подруга
- Хрущев, кукуруза и другие приключения
- Радиола
- Ритмикой заниматься не будем!
- Трофимовы
- Гагарин
- Нас принимают в пионеры! Ленин и Сталин
- Берлинская стена
- Дворец пионеров
- Съемки «Войны и мира»
- Мои грехи
- Меня жалеют
- «Я шагаю по Москве»
- Круглое озеро
- «Вот вы тут радуетесь, а Никиту Сергеевича…»
- Мы остаемся одни

- Михалыч
- Одежда и некоторые бытовые подробности
- Выставка «Одежда-66»
- Зубные врачи
- Моя переписка — окно в мир
- Лето 1966-го
- Нур и Роман Владимирович
- Половой вопрос
- Цепь неслучайностей. Гораций
- 1967 год. В чужом пиру похмелье
- Стихи
- Начало 1968 года
- Мои университеты
- Август 1968-го
- «Мастер и Маргарита». Голгофа
- Таганка
- Самиздат
- Притча о зерне
- Шестидесятые
- СЕМИДЕСЯТЫЕ
- Мода и стиль
- Стелла
- Продажные
- Развитой социализм
- 1972 год. Красная Поляна
- Осень 1972
- КГБ
- Чили. 11 сентября 1973 года
- После диплома
- А дальше…
- Фэн-шуй
- Свидетель преступлений и славы отечества
- Кафедра
- Однажды летом на даче
- Аспирантура. Лосев
- Чехословакия
- Семидесятые
- ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. Афган
- «Товалищ Блежнев!»
- Будни. Счастье
- Незамыслице
- Переход на летнее время
- В Прагу
- Декабрь 1981-го

- «Будьте осторожны!»
- Несколько слов о докторах. Вопросы без ответов
- Моя гордость
- «Не умеет строиться!»
- В ожидании чуда
- Сдвиг
- Маленькие радости
- «Идут белые снеги»…
- Окна
- Мальчик!
- Попутчики
- 29 июня 1983 года
- Владыка Никанор
- Картинка с натуры. Кормление
- Еще одна картинка с натуры. Ожидание
- Вязание
- Беда
- Чоп и Черна-над-Тиссой
- Торпеда
- Возвращение
- Брежнев-Андропов-Черненко
- Город Ленинск Кзыл-Ординской области
- Письма
- Мне папа ничего не говорил
- Зависит ли что-то от меня?
- Перестройка и ускорение
- Чернобыль
- СПИД
- Защита диссертации
- Гласность
- Май 1987. Маленький такой самолетик
- Восьмидесятые
- ДЕВЯНОСТЫЕ
- «Мама, купи молочка!»
- Пашу выводят гулять
- Фото в витрине
- Август 1990-го
- Особо одаренные дети
- Три школьника в семье
- Самоутверждение
- Август 1991-го
- Майкл
- Шоковая терапия
- «Олька, мы тебя ненавидим!»

- Сослан
- Потерянный портфель
- 28 февраля 1993 года — Прощеное воскресенье
- Вечная весна
- Трой Данн
- Осень 1993
- Урок
- Развод
- Сон. Стелла
- Больница
- Март 1995-го — смерть папы
- Мы выживаем
- Сон. Танюся
- Новая жизнь
- Почему?
- Декабрь 1996. Парад планет
- 1997. Перемены!
- Аза Алибековна
- Япония
- Девяностые
- 2000-е!!!
- События начала 2000-го. Рим. Дмитрий Вячеславович Иванов
- «Нитка»
- «Я позвоню господину Шостаковичу…»
- 11 сентября 2001-го. Сент-Винсент госпиталь. Нью-Йорк
- «Фабрика звезд»
- Встречи
- Пасха 2003-го — Венеция
- Сретенье-2006
- Восприемница
- Гнесинка
- Путешествия
- Последние слова Чехова
- Мечты сбываются, или Поосторожнее с предновогодними желаниями
- Наше будущее
- Теперь только счастье?
- Любовь
- Фото с вкладки

- notes
  - 1
  - 2

○ 3
○ 4

Галина Артемьева
МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЕТ!
Мемуары счастливой женщины

Посвящаю книгу светлой памяти моих родных, о которых рассказ впереди, а также моим дорогим детям Оле, Захару и Паше и следующим поколениям — Марку, Гале и Константину, горячо любимому мужу Константину Лифшицу, и еще — Женечке Лариной, которая сказала: «А давайте!» — после чего эта книга и появилась на свет.

ЖИВИ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ.

ПОМНИ, ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ.

РАССКАЗЫВАЙ, ЧТОБЫ ПРОСТИТЬ.

ПРОЩАЯ, СТАРАЙСЯ ПОНЯТЬ.

ПЛАЧЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ. УЛЫБАЙСЯ, ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕГРАДУ.

НЕ ЖДИ СНИСХОЖДЕНИЯ ОТ СЛУЧАЙНОГО ПАЛАЧА.

СТРАХ — ВРАГ.

КТО ДРУГ — ОПРЕДЕЛИ САМ.

Галина Артемьева

Откуда что взялось

…В некотором царстве, в некотором государстве… жили-были… поживали-добра наживали…

Подумать только! Ничего из вышеперечисленного не подходит для начала истории о большом человеческом везении.

Это же документальная проза. Надо чтоб честно и точно. Чтоб отображало моменты и судьбы.

Тогда так.

В некотором бывшем царстве, в некотором не существующем уже государстве… каким-то чудом все еще жили-были… проживали-из последних сил выживали…

Вот вроде ближе к истине. Но где же позитив? Или это страшная сказка-быль? И, может, ну ее совсем?

Нет! Стойте! Ничего не ну! Позитива полно. И вы с ним встретитесь. И даже удивитесь, как и автор, тому, откуда что берется. И, возможно, вместе с автором придете к определенному выводу насчет истоков везения.

Не бойтесь. Давайте снова обратимся к сказкам. Добрым и прекрасным. В тридевятом царстве за морями-за горами жили король с королевой, у них была дочка-принцесса. Там все было хорошо и красиво. Пахло розочками от каждого куста. Пели канарейки. Все подданные играли на арфах и бегали наперегонки по цветущим лугам. Сияло вечное солнце на вечно голубом небе. Принцесса подросла. К ней посватался принц из соседнего царства. Они поженились. Жили долго, счастливо и беззаботно. Все умерли в один день.

Наверное, от скуки.

Как вы думаете, они вообще отдавали себе отчет, что такое, когда везет? Зачем им это понимать, если все всегда голубое, розовое, душистое и мелодичное?

Ведь чтоб понять про свое везение, надо видеть: бывает и хуже.

И ценить то, что дарит тебе жизнь. В какие бы времена ни пришлось в ней оказаться.

«Помню себя с раннего детства». Этими словами начнет папа записки о своей жизни, которые я попросила его написать для меня. И я радостно удивлюсь: значит, мне досталась по наследству от отца эта ранняя память о своей жизни.

Я помню себя с младенчества. То ли Бог вдохнул в меня душу, немножко не дождавшись, пока мать мною разрешится. То ли естественному процессу родов что-то помешало…

…Все детство и юность меня мучил один и тот же сон: я продираюсь сквозь узкую пещеру из последних сил. Не могу вдохнуть. И понимаю: можно сдаться, оставить попытки сделать вдох — и не жить. Или все-таки заставить себя сделать усилие, вдохнуть и…

Эти мучительные сны были непонятны, пока я не родила своего первого ребенка.

Именно тогда я сообразила, что мои кошмары как-то связаны с родами. Я спросила маму, что происходило в то время, когда я появлялась на свет. Было ли какое-то особое памятное событие в те часы?

— Женщина рожала рядом, — рассказала мама. — Акушерки куда-то ушли. Она звала-звала, кричала-кричала, а потом все-таки ребенок у нее родился и упал прямо на пол… И я очень боялась, что мой ребенок тоже вот так появится на свет… Упадет на каменный пол… Я сдерживалась изо всех сил, ждала, когда придет акушерка.

Моя жизнь, стало быть, началась с подвига моей мамы. И это не шутка — сдерживать родовые потуги, зная, что ребенку грозит настоящая опасность. Любая рожавшая женщина подтвердит.

В общем, каким-то чудом я не вывалилась при родах на каменный пол. И каким-то чудом не задохнулась, продираясь на свет Божий. Осталось лишь небольшое страдание перед утренним пробуждением в течение двадцати с небольшим последующих лет. Это — правда — полная ерунда. Бывает гораздо хуже!

Так что везение мое началось 20 октября 1950 года — непосредственно в день рождения.

Вопрос. Почему надо было всем поголовно рожать в казенных домах, по обстановке напоминающих тюрьмы и пыточные камеры?

Когда-то, в уничтоженном царстве-государстве, женщины рожали в своих жилищах, на своих постелях. Ребенку некуда было падать, кроме как на материнское ложе. Да и рядом с будущей матерью обязательно кто-то был. Жалел, поддерживал, сочувствовал, помогал.

Кому-то понадобилось, чтобы дети «в нашей солнечной стране» с первого момента своего появления испытывали одиночество и враждебность окружающей среды. Поколение за поколением.

Будем удивляться тому, что происходит с народом?

Еще деталь, о которой, может, сейчас и не помнят. Детей приносили матери не сразу. На третий день после рождения. Лежали они в своих лотках, заходились в крике, спеленутые, словно мумии, с клеенчатыми бирками на руках. А матери

мечтали наглядеться на своих младенцев… Просили принести, показать. Но! Не положено!

Понимаете?

Не положено!

Кем? Почему?

И мы терпеливо сносили (и сносим) это безумное «не положено». С первых наших вздохов до последних.

— Ты несколько месяцев непрерывно кричала. Я с ума сходила, — пожаловалась мне, взрослой, мама.

— Ты слишком туго меня пеленала, — сказала я. — Мне хотелось освободиться. Я же не могла двигать руками и ногами.

— Так все делали, так полагалось, — объяснила мама. И только потом удивилась: — А ты откуда знаешь?

— Я это помню, — ответила я.

Я никогда не пеленала своих детей. Их ручки всегда оставались свободными. С первых дней их жизни. Они не кричали по пустякам и хорошо спали ночами. Это было то немногое, что я могла сделать для своих детей, хорошо помня собственное младенчество.

А свои ощущения (не мысли — но отчетливые ощущения) самого раннего периода я могу передать в виде внутреннего диалога, состоящего из вопросов и ответов:

— Ух-ё! Куда это я попала?

— Терпи.

— Какое все некрасивое!

— Подожди.

— Как страшно тут!

— Ничего, образуется.

— Ну и запахи!

— Задержи дыхание.

— Что мне делать?

— Не задавай лишних вопросов.

— Почему я здесь?

— Так надо.

И вот еще что. Много позже я прочла слова Шекспира из «Бури»:

«Be not afeard; the isle is full of noises, sounds and sweet airs that givw delight and hurt not. sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears; and sometime voices that, if I

then had waked after long sleep, will make me sleep again; and then, in dreaming, the clouds methought would open and show riches ready to drop upon me, that, when I waked, I cried to dream again». —

«Не бойтесь, остров полон шумов, звуков и сладких воздушных струй, которые дают свет и не причиняют боли. Иногда тысяча звенящих инструментов будет шептать у моих ушей; а иногда такие голоса, что если бы я проснулся после долгого сна, они снова усыпили бы меня, и потом, в сновидениях, облака, я думал, открылись бы и показали бы богатства, готовые осыпаться на меня, так что, когда я проснулся, я плакал (от желания) уснуть снова».

Я вспомнила свои смутные ощущения. Как хорошо спалось до рождения!

Отчего так плачут только что рожденные дети?……

Так вот, что было на самом деле!

Все эти неясные ощущения — полная ерунда. Мне папа рассказывал совсем другую, честную и радостную историю моего возникновения в его жизни.

Он повторял ее многократно, никогда не сбиваясь, не путаясь в деталях:

«Я очень хотел, чтобы у меня появилась дочка. Дети продавались в специальном магазине.

Ну, стал я денежки копить. Копил, копил…

Пошел в магазин.

Детей много! Разных. Но все не те. Мне нужны была ты. Такая кудрявенькая, глазастенькая, красивенькая.

Мне продавщица приносит разных детей, а я все отказываюсь: нет, я ищу свою девочку.

И вдруг вижу: на самой дальней полочке: ты! Именно такая, какую я искал. Моя доченька!

Я говорю:

— Дайте мне, пожалуйста, вот этого ребенка.

А продавщица отвечает:

— Это самая дорогая девочка в нашем магазине. Вы не сможете ее купить. Денег не хватит.

Стал я деньги считать. И вот же как повезло: у меня оказалось ровно столько денежек, сколько требовалось. Копейка в копейку.

— Что ж, — говорит продавщица. — Тогда платите и забирайте вашу девочку.

Я тебя взял и думаю: а как же я тебя понесу домой, у меня же денег на одеялко не осталось. Ничего! Придумал. Достал из кармана носовой платок — вот такой, видишь? Завернул тебя, прижал к себе и домой понес, самую красивую, самую дорогую…»

Вот это я понимаю — история! Все до последней копейки отдал за меня папа! И почему? Потому что я — та самая! Его девочка!

Эти папины рассказы незаметно, но прочно создавали во мне очень важное для каждого человека осознание собственной нужности и значимости.

Недавно прочла у Макса Фрая: «… Я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе и никакая дурная репутация мне не повредит! То есть, я слишком люблю себя, чтобы утруждаться попытками самоутвердиться».

Да, правда. Всё так. Любовь папы рождала у меня веру в себя. Эта вера не подпускала близко отчаяние или уныние в самые

тяжкие моменты моего существования.

Примечательно: мама в этих увлекательных повествованиях не фигурировала совсем. Но меня это не смущало. Я верила папе, потому что верила очевидной силе его любви.

Да и поразительное сходство между нами восхищало и умиляло окружающих: «Вот это да! Папина дочка! От макушки до пяточек — все папино!»

От папы шло ощущение мощной жизненной силы. Мягкий, спокойный, уравновешенный человек. Во многом — созерцатель.

Я потом спрашивала себя: почему он всегда казался мне безусловным победителем? Ответ прост: он и был победителем, прошедшим всю войну. От многих фронтовиков шла эта сила.

Я без внутренней дрожи не могу смотреть хронику подписания германской капитуляции. Выходит маршал Жуков. И — вот! То же ощущение… В нем — сила.

Если забираться далеко… Есть у Пушкина стихи, которые рождают это же чувство. Помните «Полтаву»?

…Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь, дрожит.
Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком…

«Могущий» — это невозможно не ощутить — и человеку, и зверю… Сила, исходящая от «могущего», не требует особой демонстрации. Она просто есть. Сама по себе. Вот этой силой — только ею — дается любая победа.

Этой силы фронтовиков-победителей, видно, и испугался Сталин после войны. Ее и повелел придавить, затоптать, уничтожить. Отсюда и репрессии…

Мы, родившиеся после войны, дети фронтовиков — выживших, выстоявших, преодолевших испытания — мы несем в себе их силу. Мы — дети Победы.

Эта папина сила держит меня и сегодня.

Мама

От мамы тоже исходила сила. Сила тех самых «женщин в русских селеньях», воспетых Некрасовым.

Но сила русского народа в большевистские времена на корню подрубалась богоборчеством. Душа народная испепелялась всеми возможными способами: беспросветной нищетой, войнами и — главное — разрушением основ существования каждого народа: уничтожением общей веры.

В России издавна устроено отношение к человеку: молчи и терпи, раб.

Можно тысячи раз провозглашать свободу. Но до нее надо дорасти. Нашему народу никак не дают дорасти до бесстрашия. Обычного, бытового, не бесстрашия воина, что смотрит, не отшатываясь, в глаза смерти, потому что — готов уже на все. Этого у нас хватает. А вот не бояться идти своей дорогой, не бояться начальства… Тут рабство многовековое и просыпается…

И все же… В самые тяжкие крепостные времена было то место у русского человека, где получал он силу жить дальше. Храм. Молитвы, псалмы, Святое Причастие… И каждый, самый маленький в общественном отношении человек, знал: он создан по воле Божьей, по Его образу и подобию.

Вот почему большевики так яростно и злобно уничтожали, растаптывали веру. Им нужны были настоящие рабы. Не люди — Божьи создания, а полые внутри, человекоподобные существа…

Вот у Некрасова:

> Три тяжкие доли имела судьба,
> И первая доля: с рабом повенчаться,
> Вторая — быть матерью сына раба,
> И третья — до гроба рабу покоряться,
> И все эти грозные доли легли
> На женщину русской земли.

Жаль, что поэт не знал, каково будет жить женщине русской земли в обезображенном, обезбоженном мире не столь уж далекого будущего его Отчизны.

Сила русской женщины становилась стихийной, как сила огромного корабля, плывущего без руля и без ветрил…

Если говорить просто, в советские времена на женщине лежала обязанность не только рожать и поддерживать дом, но и

на равных с мужчиной участвовать в добывании средств на жизнь. Декретный послеродовой отпуск — меньше двух месяцев. А там — крутись, как можешь. Но на работу выходи. Дома ребенок. Его надо кормить… Ночью он вопит. Вставать рано…

Я все понимаю. Но ребенку от этого не легче. Он не в курсе, что и как устроено в государстве. Ему бы как-то на собственные вопросы ответить: «Зачем я здесь» и «Просыпаться ли, когда чувствуешь смертельное удушье».

Эпизод.

Мне примерно полтора года.

Ночь. Я стою в своей кроватке с веревочной сеткой. Прошусь на горшок. Папы нет. Мы с мамой одни. Она спит, а я нет. Я зову ее. Она спит.

Я кричу, плачу, прошусь.

Мама слышит. Она проснулась. Но не встает ко мне.

Она говорит:

— Писай в кровать!

(Сейчас я знаю — работала, училась, уставала нечеловечески… А тут я… Но — откуда это? «Писай в кровать!» Она же к человеческому детенышу обращается, наделенному душой, разумом…)

— Писай в кровать!

А я этого не могу! У меня уже есть собственное достоинство. Я себя уважаю.

Мама не встает.

Я захожусь в крике.

Тогда она вскакивает, рывком вытаскивает меня из кроватки и тащит в другую комнату. В той комнате пол каменный, серый в белую крапинку.

Разгневанная, мама сдирает с меня ползунки и, держа на весу, приказывает: «Писай!»

Я ощущаю жуткое унижение. Мать заставляет меня делать то, чего делать нельзя человеку.

Но я уже не могу сдерживаться. Писаю на пол.

Душа моя заледенела от ужаса. Чудовищное противоречие: именно мать принуждает меня совершать то, что запрещено.

И вот до сих пор я не понимаю: почему ей легче оказалось тащить меня в другую комнату, унижать? Ведь гораздо проще было посадить меня на горшок в кроватке…

С этого эпизода возникло в моей душе серьезное опасение в отношении матери. Какое-то подобие сомнения: «А умеет ли она любить?»

Сомнение и отчуждение…

Есть слово в тюремном лексиконе: беспредел. Вошло оно в обиход всей нашей страны на изломе 80-х. И — заметьте — легко вошло, быстро, без выяснений: а что это значит, а как и куда это приладить? Родное слово. Наше. Понятное по изначальной сути.

Для меня — очень понятное. Есть такая черта в характере народном: срывает все ограничители — и понеслось!

«Птица-тройка»… Три обезумевших, мчащихся без дороги, ослепленные шальным куражом коняки…

А потом… Уже из другого классика… «Заездили клячу… Надорвалась…»

Надо сказать, что во мне тоже сидит эта материнская сила. Еще какая! Перед лицом опасности я не сробею. И на защиту своих встану. И буду смеяться в лицо врагу. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Поэтому — стой до последнего!

Эта сила хороша для войны. Именно она делает солдат непобедимыми. Именно за нее русский солдат так ценился и ценится. Неслыханное упорство и самоотречение!

Но в быту, по отношению к ребенку, сила эта не имеет права о себе заявлять. Она — убийца. Она — табу.

Я постоянно вижу, как она возникает, вспыхивает, испепеляет что-то самое важное, трепетное в готовой любить душе… Об этом надо знать.

Но откуда было этому научиться моей двадцатидвухлетней матери? Все ее отрочество, юность прошли в непосильных трудах: старшая сестра в семье, где росло 9 детей, военные годы, голод, нищета… А тут уж и я подоспела…

Мотивы ее мне, взрослому человеку, понятны сейчас. Как я догадываюсь, в обиходе их отчаянно бедной семьи, может, и отсутствовал вовсе такой предмет роскоши, как детский горшок. Я не сужу маму.

Но тот ребенок, который остался во мне, до сих пор недоумевает и спрашивает: почему?

Последствием этого эпизода стала моя определенная проблема. Я не могу, как все нормальные люди, запросто забежать в туалет — куда там! Я сначала пытаюсь узнать обстановку: чисто ли, запираются ли кабинки… И только тогда… А лучше всего — до дома добраться…

Такие дела…

Все черты русской женщины, перечисленные Некрасовым, отчетливо проступали в цельном облике мамы: и спокойная важность ее красивого лица, и сила в движеньях, и царственность облика, взгляда. Да, красива во всякой одежде. Да, ловка ко

всякой работе. И «грязь обстановки убогой не липнет»…

Но это — до поры до времени… Коррозия происходит. Точит ржа… Такое выпестованное веками сокровище, как русская женщина, должно бы храниться гораздо бережнее… А если нет… Оглянитесь вокруг…

С мамой связано у меня еще одно глубокое переживание раннего детства.

Мне два с половиной года.

Поздняя весна.

Мы гуляем среди травы, деревьев в зеленой листве, кустов. Все в природе свежее, новое, ясное. Я не помню других людей рядом. Они наверняка были. Но в памяти — только я и мама.

Мы проходим сквозь небольшую светлую рощицу и оказываемся перед бескрайним зеленым лугом. На горизонте зеленеет всеми оттенками лес.

Дух захватывает от незнакомого щемящего чувства. Хочется смотреть и смотреть.

Мама берет меня на руки, прижимает к себе. Мы просто смотрим и молчим. Долго-долго.

— Смотри: это твоя родина, — произносит мама.

С этих материнских слов и началась для меня Родина-мать.

Душа впитала.

Это чувство я поняла.

Так возникло предощущение моей Первой и Неизменной Любви.

Мать-сыра земля! Странной любовью любим мы тебя!

И ты… Ты даришь нам любовь, порой похожую на ненависть…

Но нет! Так думать нельзя! Ненависть — от людей, от лукавого…

А цветущий луг и бесконечный лес на горизонте — вот что вечно.

Маленькое отступление по поводу…

Наш, русский менталитет.

Итак, из чего мы с вами состоим? Ментально? То есть — какие мысли бродят в наших бедовых головах и каким импульсам мы подчиняемся прежде всего? Чему нас учит наш социум (пышно выражаясь), а — честно выражаясь — те разодранные в клочья подобия человеков, что встречаются на нашем тернистом и каменистом пути, ведущем незнамо куда.

И подошли мы к, так сказать, краеугольному камню нашего менталитета. Помните ведь — не отрицайте, вы все читали — помните сказочку:

— Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что?

А?

Каково?

Лично я просто терялась. По детскому недоумию, вероятно. Мне почему-то в детстве надо было «чисто конкретно», «реально» указать направление и цель. И вот от этой сказки мой родной менталитет заряжался чем-то загадочно-негативным.

— Куда итить-то, мам-пап?

— Ай, да незнамо куда. Иди-молчи. Не спрашивай. Не мешай. Мы устали.

— Чего принести-то?

— А хули ты тут вертисси под ногами? Поживешь с наше — поймешь. Иди. Учи что-нибудь. Пригодится…

Но и это как ба (не путайте с как бы) были цветочки.

Потому что нашему менталитету помимо неясных целей и задач требовался особый дорожный знак.

Ну, вот такой:

Едешь ты себе по дороге луговой-полевой, цветочки зреют-распускаются,

соловьи поют, не тревожа солдат, полегших на полях сражений…

Цок-цок-цок. Скок-поскок.

И вдруг: камень.

Ёлкино-моталкино! Камень — такой гранитный надгробный буквально монумент. И на нем обещание тебе, непонятно от кого. То ли от работников ГАИ, то ли выше…

— Направо пойдешь — коня потеряешь. (Не, коня жальче всего, он ни в чем не виноват — направо не пойду, не бойся, коняга!)

— Налево пойдешь — голову потеряешь (вместе с

менталитетом, видать) — ой, нет, налево не надо… Куды ж без менталитета…

— Прямо пойдешь — потеряешь все: коня, голову, имущество — движимое и недвижимое, все перспективы накроются медным тазом напрочь — мамма мия! Куда ж нам плыть?

Может, назад как-то изловчиться-вывернуться? И тихо-тихо на коне к соловьям и лугам полевым?

Хрен те к соловьям! Читай: назад повернешь — все ваще взлетит на воздух! Потому что история не знает сослагательного наклонения. И в прошлое вернуться нельзя, не превратившись в соляной столп.

Что ж получается-то?

Как это выразить поприличнее?

Ну, короче: вы делаете мне больно!

А камень: «Свобода — исконное право русского человека! Выбирай, сволочь! Вас много, а я один!»

Ну, и прешься на свой страх и риск, стараясь, чтоб, если что, своя голова слетела, но хоть конь, ни в чем не виноватый, не пострадал.

Или есть еще вариант, который никто не исключал. Напротив, весьма популярный вариант (и поди кого-то обвини в его выборе). Это вариант Ильи Муромца. Помните в Третьяковке? Три богатыря. Один другого смелее. Сидят себе — при конях и менталитете.

А суть в том, что И. Муромец поначалу, растерявшись, видимо, от сообщений на камне, просто тридцать лет и три года лежал на печи.

Есть такие, кто его осудят?

Лично я — нет.

Я бы тоже предпочла построить у самого камня избу с печью. И лечь на нее. И чё? Много ли человеку надо? Кувшин молока и краюха хлеба. И лежи. И всем хорошо.

Оно как-то все само собой образуется.

Главное, блохи чтоб не завелись. А то щекотно больно.

Но — жив. И камень доволен. Не возражает камень. Про печь на нем ничего не написано.

(Это тогда еще не придумали налоги на недвижимость по рыночной стоимости взымать, а то б Илюша подскочил еще до появления Соловья-Разбойника.) А так — он лежит себе без налогов и в ус не дует. И в бороду не плюет.

Но встать все же пришлось.

Соловей-Разбойник слишком сильно свистел.

Терпежа никакого уже не осталось.

И ТОГДА ОН ВСТАЛ…

Ну, вот как-то так с нашим менталитетом — в общих чертах)))

Главное, кому это интересно, — вопрос времени.

Встанет обязательно.

Но каждый раз хочется, чтоб не вставал.

А ведь будят, гады!

Лежать мешают.

Свистят…

И книжек не читают. И истории своей не знают…

А вы говорите — менталитет.

Мока, или Искусство медитации

По утрам все взрослые уходят из дома. У них важные дела. Дома остается только бабушка Бетя. Она за мной и присматривает.

Бабушка сказочно добрая. Худенькая и тихая. Она очень больная, бедная Басечка. У нее много разных болезней. И всё из-за войны. До войны она была здоровая и счастливая. А потом тяжело заболела.

Я уже понимаю, как у нее все начинается. Она вдруг принимается задыхаться, кашлять, ловить воздух ртом… Я в свои два с половиной года не знаю, как называется ее болезнь. (У нее астма.)

И еще у нее огромная кровавая рана на груди. Огромная. Иногда она чуть затягивается, а иногда кровоточит. Бабушка меняет повязки. Мне ее очень жалко тогда. Мне делается невероятно страшно, я не могу смотреть на эту чудовищную рану и на окровавленные бинты, которые остаются после перевязок.

Бабушка, которая себя неплохо чувствует, и бабушка, у которой начинается приступ, два разных человека.

Первая бабушка зовет меня к себе, читает мне книжки, заплетает мне косички, кормит и смотрит на меня с такой любовью, что между нами словно что-то светиться начинает.

Когда бабушке делается плохо, она требует, чтобы я к ней не подходила. Ни в коем случае! Она считает, что ее кашель опасен для меня.

Подходить нельзя! А мне все равно хочется к бабушке.

Не от хорошей жизни придумывает она верный способ меня отпугнуть.

На свет Божий появляется Мока.

Как бы это объяснить… Как бы это описать…

Мока — это страшный, мерзкий ужас. Мока — это безусловное зло.

Я даже в сторону Моки боюсь и смотреть.

Хотя вообще-то взглянешь (не зная, что это Мока) и увидишь обычное большое птичье перо.

Но воображение у меня богатое. У бабушки, видимо, тоже.

В общем, сумела она меня убедить, что когда появляется в ее руках Мока, я должна опасаться всего самого темного и ужасного…

При виде Моки я трепещу.

Вот мы остаемся одни. Я захожу к бабушке в комнату, стою у порога. Она хватает ртом воздух. Худенькие руки держатся за

горло. И все-таки она замечает меня.

— Мока! — произносит бабушка через силу, показывая на огромное перо, лежащее у нее на коленях.

Душа моя леденеет.

Я забираюсь под стол, который стоит у самого входа в комнату дедушки и бабушки.

Это мое место, когда появляется Мока.

Бабушка должна меня видеть. Ведь в другой комнате я могу сделать что-то неправильное. Могу залезть куда-то. Упасть. Найти спички. Зажечь огонь. Устроить пожар. Сунуть пальчики в розетку…

Вообще-то я ничего этого не могу. Но взрослые уверены, что я только этим и стану заниматься, окажись одна.

За ребенком нужен глаз да глаз. Присмотр. И что делать, если все на работе? И что делать, если у бабушки приступ?

Моке — появляться. А мне — сидеть под столом, скованной ужасом.

Я сижу.

Что я делаю за эти несколько часов, пока не возвращаются с работы остальные родственники?

Я держу в руках лошадку и куклу. Они маленькие, еще меньше меня. И тоже очень боятся Моку. Я с ними вслух не разговариваю, чтобы Мока ни в коем случае нас не заметила.

Я просто думаю. Я с ними говорю в своих мыслях. И они отвечают. Много чего они мне рассказывают. И я им много чего сообщаю. Нам не скучно. Наоборот: нам очень интересно.

Мне внутри себя гораздо интереснее и безопаснее.

Я тогда очень четко поняла: тело мое отдельно, а я — отдельно.

Тело может сидеть скрючившись под столом. Я в эти часы ухожу далеко-далеко… Меня нет. И время проходит незаметно.

— Как Галенька? Хорошо себя вела?

Папа пришел.

— Ее надо покормить. И погуляй с ней. Бедная девочка… Опять я терзалась весь день…

Бабушке уже получше. И Моки нигде нет.

Есть я не хочу. Я хочу гулять.

Жизнь налаживается…

В сухом остатке. Я до четырнадцати лет не могла дотронуться до самого маленького перышка. Паника начиналась. Потом все прошло.

Положительный момент — мне не скучно с собой. Я всегда

знаю, куда мне деваться, если долгое время приходится ждать в неподвижности.

Сейчас это называется медитация…

Да какая разница? Разве дело в названии?

Девочка, как тебя зовут?

Такая у нас была с папой игра. Он возвращался домой, брал меня на руки и спрашивал:

— Девочка, а девочка, как тебя зовут?

Ему наверное очень нравилось, что у меня есть отчество. И по отчеству видно, чья я дочка. Папина!

Я знала, что зовут меня Галина Марковна. Тренер у меня был замечательный. Ежедневный вопрос — ежедневный ответ. Но говорить-то я еще не приспособилась.

Поэтому ответ мой звучал так:

— Гага Мага!

Это приводило папу в восторг. Он и друзьям своим меня показывал, прося выговорить свое имя.

— Гага Мага!

И всеобщее удивление.

Так за мной осталось младенческое имя — до сих пор для самых-самых близких я — Гага Мага.

Папа говорил со мной стихами. Придумывал на ходу. У него получалось легко и смешно. Я ловила радостный ритм стихов и хохотала.

Папа был моим счастьем.

«Выпрямительница дорог»

Два сна из детства помню до сих пор: повторялись часто.

Первый. Мы идем с мамой по улице. Вдоль тротуара сидят безногие инвалиды на низеньких (у самой земли) тележках с маленькими скрипучими колесиками. Инвалид едет на этой тележке, отталкиваясь от земли руками. Не просто руками, конечно. Он держит в них деревяшки, похожие на утюги. Вот этими утюгами и отталкивается.

Таких людей очень много. Они собираются вместе и сидят на своих тележках, разговаривают. Иногда они пьяные. Но ничего плохого они никогда не делают. Если пьяные, смеются и разговаривают громче обычного.

Они всех вокруг знают, и их все знают.

Когда идешь мимо них, они всегда здороваются, приподнимают на головах кепки (это такой знак уважения) и говорят:

— Здравствуй, Нина.

— Здравствуй, Марк.

И с ними здороваются тоже.

Я их немножечко боюсь. Мне кажется, что кто-нибудь из них может ради шутки, если пьяный, схватить своей длинной рукой меня и утащить на своей тележке далеко-далеко.

Папа, заметив, как я жмусь к его ноге, проходя мимо безногих, сказал:

— Не бойся их. Они такие же люди. Только еще несчастнее. Плохого от них не будет.

Я стараюсь не подавать виду, но боюсь все равно.

…Во сне мы идем с мамой по улице, где сидят обычно инвалиды. Когда мы подходим к ним близко, они снимают свои кепки и говорят:

— Здравствуй, Нина!

Я смотрю, а у них голов-то нет! Вместо голов обрубки, как бывает, когда дерево сломано грозой. И голоса раздаются из этих древесных обрубков!

Меня охватывает такой ужас, что я даже пошевелиться не могу. И вздохнуть не могу…

А потом делаю усилие и просыпаюсь.

Какое счастье, что это сон!

Не понимаю, зачем он повторялся?

А вот второй сон снился мне, начиная с младенчества, долгие-долгие годы.

Я еду на невиданной машине. Она очень низкая, узкая.

Сейчас я бы сказала, что по виду это гоночная машина. Но тогда их и в помине не было у нас, я таких не видела. Еду одна. Машина управляется только силой моей мысли.

Я мчусь с огромной скоростью, машина ревет. И вдруг она сама по себе сворачивает с дороги в поле. Делает вираж, мчится к лесу. Я понимаю, что это неправильно. Я мысленно заставляю машину вернуться на дорогу.

Это отнимает очень много сил, но я уверена, что трачу силы не зря. Я должна отвечать за свой путь и направлять машину так, чтобы она ехала по дороге.

Просыпаюсь я после такого сна потная от усилий. Обязательно просыпаюсь! Перевожу дух. И потом, если не утро, засыпаю опять.

Сон снился и снился. И я знала, что это важный сон. Что-то он мне втолковывает. Внушает мне, в чем заключается моя миссия.

Я выбираю свой путь. Я отвечаю за свой путь. Я возвращаюсь на свой путь, если меня заносит.

А в детстве я про себя говорила: я — выпрямительница дорог.

Как папа спас мою голову

Мама очень не любила меня расчесывать. Расческа застревала в моих кудрях, зубья выпадали. К тому же, чувствуя ее раздражение, я начинала орать «благим матом», то есть очень громко. Она больно расчесывала.

Шампуней тогда никаких не было. Купали меня в оцинкованной ванночке. Голову мыли мылом. Оно промывалось плохо. На расческе от мыла оставались потом белые следы.

Все это: и мытье головы, и расчесывание — казалось мне пыткой.

А уж маме — тем более. Времени в обрез, дел полно, надо просто быстро расчесать, заплести косички, и всё. А тут нескончаемые душераздирающие крики…

Кстати, папа ухитрялся расчесывать меня совсем не больно. С разговорами, шутками, песнями. Я и не замечала, как заканчивалась эта процедура. Но папа был все время занят.

И вот однажды маме надоело.

— Все! — крикнула она. — Хватит! Сейчас пойдем в парикмахерскую и снимем это все наголо.

Я видела, что всех детей в округе действительно брили наголо. Девочки потом ходили в платочках, а мальчики — прямо так, с голыми головами. Косы имелись только у меня.

— Нина, не делай этого! — воскликнула бабушка, у которой как раз начинался приступ астмы. — Нина! Не уродуй ребенка! Оставь ей волосы!

— Нет у меня сил слышать, как она орет! — отказалась мама и потащила меня на улицу.

Последнее, что я слышала, были сиплые стоны бабушки:

— Нина, оставь голову ребенка в покое!

Конечно, я испугалась за свою голову. Я не знала, что именно в парикмахерской делают.

Может, как в моем повторяющемся сне, не только волосы срезают, а кому-то и головы. Чтоб не орали. Маму же раздражает именно мой крик. Волосы-то сами по себе молчат. Мешает моя голова. На ней рот. Ртом я кричу. И еще глаза. Из них выливаются слезы. Вот что ей на самом деле мешает!

Ору я почище любой пожарной сирены.

На улице мать ожидает ее младшая сестра, моя тетя. У мамы много сестер. Я их не люблю. Они не добрые. Когда мама приходит со мной к ним, они рассматривают меня, как чужую, как неведомую зверюшку. Так я чувствую.

Мама с ее сестрой несут меня, извивающуюся и заходящуюся

в крике, в парикмахерскую. Сажают в кресло.

— Под ноль! — говорит мама.

— Не жалко? — спрашивает парикмахерша.

— Новая отрастет, лучше прежней. (Она о косе, а я уверена, что о голове!)

— Не отрастет! Не отрастет! — рыдаю я.

Я знаю, что ни руки, ни ноги, ни тем более головы у человека не отрастают. Только волосы и ногти. Но не головы!

Нет мне спасения!

— Пусть кричать перестанет, у меня сейчас уши лопнут, — смеясь, говорит парикмахерша.

— Не кричи, — велит мне мамина сестра. — Хуже будет: уши отрежут.

И после этого обещания я должна перестать плакать?

Ай-яй-яй!!! Помогите!!!
Костры горят высокие,
Котлы кипят чугунные,
Ножи точат буланые,
Хотят меня зарезати![1]

Но спасение приходит! Никогда нельзя терять надежду!

В парикмахерскую вбегает папа и выхватывает меня из кресла. Я перестаю плакать, вцепляюсь в него и еще долго всхлипываю и дрожу.

— Я же тебе сказал: не смей стричь! Зачем тебе надо, чтобы она плакала? — обращается папа к маме.

— Новые бы отросли, расчесать же невозможно! — отвечает мама.

Папа предупреждает парикмахершу, чтоб никогда больше и думать не дерзала о том, чтоб меня стричь.

Я крепко держусь за его шею и не могу перестать всхлипывать.

Оказывается, бабушка смогла позвать соседку. Та побежала за папой: «Скорей, скорей! Там Галю стригут!»

Вот он и примчался на помощь.

Папа — мой спаситель. Лучше, чем в любой сказке.

«Крик станции»

Ну, вот. Мне уже два года и девять месяцев. Лето. Все идет своим чередом. И вдруг к нам приезжает тетя Таня. Я еще не знаю, что это моя Танюсенька. Но она мне нравится с первого взгляда.

Она называет бабушку и дедушку «тетя» и «дядя».

Она устраивает в квартире генеральную уборку. Она готовит, кормит меня, водит меня гулять, когда все на работе. Она читает мне книжки. Днем и перед сном. Я больше не сижу под столом. Мока не показывается.

Так проходит какое-то время. Потом уезжает папа. Я знаю, что он едет в Ленинград учиться в университете.

— А мы поедем в Москву, — говорит тетя Таня. — Хочешь в Москву?

— Хочу, — отвечаю я.

Я ничего не знаю про Москву и не понимаю, о чем идет речь.

Про Ленинград знаю: там теперь папа.

А Москва… Что это такое?

Мы втроем: мама, тетя Таня и я едем на вокзал. Мне там очень не нравится. Очень! Там ужасно пахнет: углем, куревом, грязным туалетом, тоской… Там суматоха.

Я начинаю реветь в голос. Мама меня успокаивает:

— Ну чего ты раскричалась? Мы вместе сейчас поедем в Москву. Там красота…

— Папа! — кричу я истошно. — Папа! Хочу к папе.

— Нет папы. Уехал твой папа. А мы тоже поедем сейчас. Прекрати.

Я никак не могу уняться. Хочу — и не получается.

Подходит поезд. Он стоит всего минуту. Надо успеть, а то уедет без нас. Ступеньки поезда очень высоко, мне не одолеть. Меня затаскивает проводница. Мама и тетя залезают вслед.

Колеса стучат: та-да-дах, ты-ды-дых, та-да-дах, ты-ды-дых…

Я смотрю в окно.

Я никогда не вернусь назад в Каменку, что под Пензой. Я еду в новую жизнь.

Но я об этом и не догадываюсь.

И я, конечно, не знаю этих стихов, я прочту их студенткой, в самиздатовской тетрадке. Прочту и сразу запомню. Это про меня:

Крик станций: останься!
Вокзалов: о жалость!
И крик полустанков:

Не Дантов ли
Возглас:
«Надежду оставь!»
И крик паровозов.

Железом потряс
И громом волны океанской.
В окошечках касс,
Ты думал — торгуют пространством?..[2]

Москва, проезд Девичьего поля, дом 2, квартира 60а

— Москва! Приехали!

По всему вагону разнеслась радостная песня о Москве. Пассажиры засуетились. Поезд встал.

Вот это вокзал! Это ужас что такое! Столько людей! Все торопятся, толкаются. Запах — не описать. Очень плохо пахнет. Очень!

Мама подхватывает меня на руки. Они с тетей идут очень быстро. Я стараюсь ни на что не смотреть.

— Лето! Все хлынули в Москву! Всем надо посмотреть, — объясняет тетя.

Мы спускаемся в метро.

— Сейчас будет лестница-чудесница, — обещает тетя. — По ней не надо идти, она сама едет.

И правда! Вот здорово! Такая длинная-длинная лестница, конца не видно! И едет сама! Я смотрю по сторонам: как много места, какие высокие над лестницей потолки… Все, как в книжке про «Жил-был царь со своею царицей»…

Потом мы едем на поезде. Но совсем на другом, не таком, который привез нас в Москву. Тут только сиденья. Нет места, чтобы лежать. Людей много. Слишком много для меня. Я прижимаюсь к маме, прячу лицо.

— Станция «Парк культуры», — объявляет вагон женским голосом.

Двери открываются, мы выходим.

Снова лестница-чудесница. Теперь мы едем вверх. Лестница, которая сама едет, мне очень нравится. От нее делается весело.

Потом мы еще едем на троллейбусе. Это автобус, но у него на крыше большие усы, как у жука. Усы держатся за провода. Из-за этого троллейбус и едет. Наш троллейбус называется «Б». Ехать нам совсем близко.

— Пару остановок, и дома, — обещает тетя.

Вот мы и приехали.

— Запомни адрес, — учит тетя, — проезд Девичьего поля, дом два, квартира шестьдесят-а. Это важно. Мало ли что. Ребенок должен знать свой адрес. Повтори!

Я повторяю. Я легко запоминаю — меня папа научил запоминать стихи. Главное — понимать, о чем речь. А то запоминается бессмыслица.

— Дечиваполя, — повторяю я.

— Почти правильно, — хвалит тетя. — Повтори еще, чтобы стало понятнее. Тут было в старину поле, на нем девицы гуляли.

— Красны девицы? — уточняю я.

— Всякие, — смеется тетя, — я их не видела. Главное — это место стало называться «Девичье поле». Понимаешь?

— Да! Девичье поле, — выговариваю я вполне осознанно.

Теперь все ясно.

Мне приходится несколько раз повторить адрес.

Запомнила! Все хорошо.

А вот мы и пришли.

Это мой новый дом. Я проведу здесь свое детство. И даже в школу пойду отсюда.

Академия Фрунзе, Зубовская площадь, Плющиха, сквер между проездом Девичьего поля и Малой Пироговской — вот главные мои адреса.

От Каменки осталось название места рождения в метрике. Воспоминания раннего детства — не о месте, а о людях и собственных ощущениях.

Только вот кромка леса на горизонте…

ВЗГЛЯД ИЗ СЕГОДНЯ. ТЫСЯЧИ СЧАСТЛИВЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ Я ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ

Сейчас начинаю повествование о тех удивительных случайностях, которые привели меня в жизнь.

После расставания с матерью, с Каменкой, с дедушкой и бабушкой, со всем укладом моей младенческой жизни осуществился переход на другой этап существования.

Детство мое — осознанное, надежно сохраненное памятью — началось с переездом в Москву. Но именно на этом сломе: от младенчества к детству — я и хочу сделать отступление и рассказать некоторые истории тех, кто был до меня.

Родителей моих вместе я помню смутно. Папа уехал учиться в Ленинград, мама доучивалась у себя. Стронуться с места вслед за мужем сразу не получилось. Отложили на потом. А «потом» так и не случилось.

Детство мое прошло в тесном общении с папой, с его письмами, постоянно присылаемыми в подарок книгами, с летними каникулами, проведенными у него.

И вот однажды, когда я сама уже была матерью семейства, зашел у нас разговор о моих предках. Я огорчалась, что знаю о себе только по обрывкам случайных разговоров. Ведь знать о себе — это, кроме всего прочего, хорошо представлять, из чьих судеб сложилась твоя собственная судьба.

Папа пообещал мне написать о себе, о своих родных и даже о материнской родне.

Получилось три письма. С них и начну.

Письмо первое

«Помню себя с раннего детства.

Семья жила в деревне. Отец был близок к крестьянской жизни, очень уважал и любил крестьян, считал их честными, порядочными людьми, сам был трудяга. Имел небольшое хозяйство: корову, лошадь, птиц.

Я и брат были близки к природе. Рядом с домом было озеро. Помню, что отец иногда катал нас зимой по озеру и давал править лошадью. Брат Тима однажды резко дернул вожжу, и санки опрокинулись, все упали, но без последствий.

Мы очень любили природу и животных, маленькими кормили с руки корову, лошадь.

Крестьяне уважали отца и дедушку за честность и трудолюбие.

В доме была комната — называлась „темненькая“. Однажды Тима открыл эту комнату: там стоял новорожденный теленочек с белой лысинкой. Тима очень испугался. Отец завел его в „темненькую“, где он подружился с теленочком и больше его не боялся.

Отец и мать были очень дружны, никогда не ругались и громко не разговаривали. Нас никогда не наказывали. Помню, что Тима в чем-то провинился и тогда отец снял с него штанишки и два раза дотронулся до голого местечка ремнем, при этом он смеялся, а Тима плакал, мне его было жалко. Отец сказал, что и меня нашлепает, если я не буду слушаться. С нами жила тетя Аня, наша любимица, которая нас любила, как мать, и особенно меня.

Мама моя часто болела, но была великая труженица, очень нас любила и жалела.

Отец всю жизнь был ей предан самым чистым и самым честным образом. Ухаживал за ней, как за ребенком, и она его берегла, как нас.

Наша семья, как я теперь понимаю, была идеальная. К сожалению, мне таких семей больше не приходилось видеть. Я не идеализирую, а все говорю, как мы договорились: только правду и что помню.

Отец был простой человек, но очень любил нашу природу и часто водил меня и Тишу в лес, на луг, на озеро. Он научил нас ездить верхом на лошади, ухаживать за скотом, мы испытывали большое удовольствие чистить коня, кормить корову. Иногда она лизала нам руки, язык у нее очень жесткий и шершавый, мы боялись, что она нам откусит руку, но отец говорил, что корова людей не ест и руки наши будут целы. Мы привыкли к этому.

Отец был набожен. Запрещал мучить животных: кошек, собак, говорил, что это большой грех.

Друзья отца в основном были простые мужики. Мне запомнился один, звали его Филипп, прозвище было „железный“. Я как сейчас помню этого человека. Высокий, плечистый, с большой окладистой бородой. Потом, когда я узнал про Л. Н. Толстого, я его представлял именно таким. В любое время дня и ночи этот Филипп готов был выполнить любую просьбу отца. Нас, детей, он очень любил, брал на колени, и мы трогали его бороду, а он нам рассказывал сказки, я сейчас не помню ни одной, но слушали мы его, притаившись у него на руках. От него всегда пахло свежим воздухом, сеном и конским потом. Это для меня были самые лучшие запахи с детства и до сих пор. Он был добрый и очень честный. Если скажет слово, то не изменит его. Железным его звали за характер и силу. Таких прекрасных русских типажей сейчас не найдешь.

Из деревни мы переехали в небольшой городок Ярцево, Смоленской области. Снимали квартиру у одного домовладельца. Дом был большой, типа барского. Читая впоследствии Тургенева, Гончарова и других классиков, я представлял именно этот дом. У хозяина была старая жена, при жизни я ее не видел, но она умерла, и гроб с ее телом вывозили со двора дома. Гроб был обшит бархатом. Старуха казалась восковой. Впоследствии я ее отождествлял с пушкинской Пиковой дамой.

С момента этого зрелища я узнал о смерти, стал тосковать, не за себя, а сначала за родителей, что они когда-нибудь умрут. По ночам я плакал, но никому не говорил о своих переживаниях.

Отец всегда приносил из деревни игрушки, сделанные по его просьбе мужичками: то тележки на деревянных колесиках, то палочки с лошадиными головками и другие вещички.

Отца мы любили за его мужество, чувствовали, что он нас любит, но вида нам он никогда о своих чувствах не подавал.

Мать открыто нас любила и лелеяла, не терпела грязи, капризов, приучала к работе — любой.

Рядом с нами в деревне жил отец твоей тети Цивы. Меня однажды повезли на несколько дней пожить у них. Я переночевал у них ночь, загрустил, отец Цивы заметил и отвез меня обратно домой. Мой отец и отец Цивы — братья — очень смеялись, когда я оказался дома, и говорили, что я очень смелый парень. Я понимал, что они надо мной подшучивают, но виду не подавал».

Письмо второе

«Дорогая Галинка моя!
Продолжаю…

В Ярцеве пошли в школу, долго не проучились. Помню, мне сшили из какого-то материала сумку, в которой были букварь и тетради, ручка и в бутылочке чернила. Никакой формы не было. Ботинки намазаны ваксой до блеска.

Тима был красивый мальчик. Глаза были синие, волосы темно-каштановые, волнистые, не как у твоего отца — колечками. Он был худенький, но крепкий мальчик, рослый. Особенно был красив у него нос с горбинкой, маленький рот, нежное лицо. Это все было в детстве. Потом он стал красавцем, ростом был высок, строен, брови черные, глаза синие, волос темный.

Вскоре после того как мы в Ярцеве пошли в школу, семья наша переехала в Крым. Мы жили в колхозе, вырастили корову, держали птиц.

В 30-х годах случился страшный голод, мы уехали в Смоленск.

В Крыму мы, то есть я и Тима, жили в труде, ухаживали за коровой, доили ее, чистили сарай, ездили верхом на колхозных лошадях по степям. Степи там очень живописны, трава, как море, колышется, цветы большие, красные и степное растение курай, очень душистое.

Тима был очень чувствительный парень, не давал резать кур, не терпел мучений кошек, собак, даже сусликов и мышей жалел. Мне казалось, что мама его любила больше, чем меня. Я, наверное, ошибался, мне, наверное, так казалось, но я не обижался на это, так как я сам очень любил своего брата. Отец к нам обоим относился ровно. Игрушки мы делали сами из бумаги: лошадок, коров, поросят, собак. Я ходил в домашнем сшитом тулупчике желтого цвета. На ногах в нехолодную зиму носили сшитые дома из материала „бурки“, так мы называли эту обувь, на бурки надевали калоши.

Мать очень следила за чистотой, мы всегда были чистые. Отец без передышки работал в колхозе. Он был очень сильный. Помню случай, когда на какой-то праздник в колхозе зарезали быка. Его нужно было перенести куда-то. 12 человек на оглобле, пропущенной через связанные ноги быка, подняли его, но, не сделав двух-трех шагов, упали. Мой отец и еще один мужчина подняли быка вдвоем и отнесли его, куда было надо.

Я, брат и другие ребята видели это, и мы очень гордились

нашим дорогим отцом. Закваска у него была прочная.

Из рассказов отца мы знали, что его брат — отец нашей дорогой Тани, Стеллы и Ани — был богатырь. Высокий, стройный, красивый и очень сильный. Мужики боялись с ним бороться, так как он их кидал, как котят. Его любили. За силу, мужество всегда любят людей, во всяком случае — уважают.

Отец рассказывал про моего дедушку, твоего прадеда. Он жил в деревне, был очень сильный, высокий, лицо, по описанию моей мамы, которая очень любила моего дедушку, было божественно красивое: окладистая борода, густые брови, нос с горбинкой, большой рост и прекрасное телосложение.

Я его представляю, наверняка и ты его представишь, я не мастер описывать портреты.

Отец и мать рассказывали мне, что когда я родился и меня привезли домой, дедушка, уже старый и больной, подошел к моей кроватке, спросил: „Зачем вы привезли этого паскудника?“ — потом постоял, подумал и сказал на своем языке: „Кто входит в жизнь, а кто уходит из нее“.

Дети дедушки его очень любили и уважали.

В 1910 году отец ушел служить в армию, потом участвовал в Первой мировой войне. Четыре года находился в Германии, в плену. К немцам относился уважительно за их аккуратность, точность и трудолюбие.

Потом, когда уже произошла революция, он и другие солдаты вернулись на Родину. Мое описание не последовательно, так как пишу урывками и что приходит на память.

Итак, из-за голода мы вернулись в Смоленск. В Смоленске Тима закончил десять классов и в каком-то заочном институте закончил курсы английского языка, которым владел хорошо. Он расцвел, красив был необыкновенно, очень много читал, рисовал, писал маслом. Помню, он написал акварелью портрет девушки, с которой он дружил. Кажется, этот портрет у нас где-то лежит. С девушками Тима был застенчив, хотя многим нравился.

Я закончил восемь классов.

Началась война.

22/VI-41 года я с ребятами утром ушли за город в лес. Загорали, купались. На деревьях вырезали имена, дату, кто кого любит. Пекли картошку.

Днем вернулись в город, узнали про войну.

Все кончилось. Детство, юность.

В первых числах июля Тиму нашего призвали в армию.

Больше мы его не видели.

Видимо, предчувствуя недолгую жизнь и вечную разлуку, он

все время держал маму за руку.

Никогда не забуду этой трагедии.

В армии он воспрял духом, писал хорошие бодрые письма, писал, как они били фрицев, успокаивал мать и всех нас, писал мне.

Как он погиб, ты знаешь: под Сталинградом. В наградном листе сказано, что он один убил 30 немцев — солдат и офицеров, награжден орденом Боевого Красного Знамени посмертно.

Когда это печальное известие получили мои бедные родители, я был уже в армии.

Погиб он в октябре 1942 года, ему было 19 лет.

Когда я пришел с войны, мама мне рассказала, как она получила „похоронку“ — так называли эти вести.

Она в лютую стужу пошла из деревни раздетой, в тапках на завод, где работал отец. Отец был убит горем, лежал на полу, все мужество покинуло его, и, как ни странно, слабая больная мама оказалась крепче его духом и спасла его морально.

Мать очень сильно простудилась, у нее постепенно развилась бронхиальная астма, от которой она и умерла 11 ноября 1966 года.

Я служил, а потом воевал в десантных войсках. Служба была суровая, тяжелая, но мы были молоды, полны патриотизма, шли напролом на смерть, на кровь.

Сталина любили как божество.

С боями прошли Будапешт, Вену и, не дойдя до Праги, встретились с союзниками. Нас разделяла речка, мы с ними не общались».

Письмо третье

…Свои воспоминания я прервал, но начну снова, верней, продолжу.

О твоих предках по моей линии я тебе, кажется, написал все, что помню и знаю.

Что касается материнской линии, то скажу тебе, что твой дед по матери был способный человек, мастер на все руки, сам построил себе дом, семья у него была большая. Он был трудяга, очень способный человек, пользовался уважением у окружающих.

У меня с ним были очень хорошие отношения, он любил меня, я уважал его.

Его жена, твоя бабушка, была простая, не злобная женщина, наоборот — добрая, но пусть это тебя не огорчает — довольно неопрятная.

Не мне судить, но Иван Васильевич, дед, был, как бы тебе сказать, не под стать ей, то есть был гораздо красивее ее, но никогда ее не обижал, жили они дружно.

Иван Васильевич был к детям строг, его боялись, но любил детей своих и даже, по мере возможности, немного баловал. С моими родителями был дружен, часто общались. Моя мама всегда старалась угостить его.

Он был остроумен, внешне очень представителен, высок ростом, физически очень силен. Хоть я был молодым и здоровым, мне не удавалось перетянуть его на палке, сидя на полу.

Семья была большая и бедная. Сейчас они умерли, пусть им будет пухом земля. Я на них не в обиде.

О твоей матери думаю, что мне писать не стоит.

В настоящее время, прожив жизнь, я не хочу никого винить, но считаю, что я поступил правильно, а поэтому ты все поймешь сама.

И снова вспоминаю о войне.

На службе у меня были в основном друзья, братья. Мой командир взвода Бычков, командир роты Артемьев, командир батальона Малышев, командир отделения Костромин Юра, старшина Корягин.

Служил я в десантных войсках. Очень много внимания уделялось физической подготовке, прыжки с аэростата, потом с самолета.

В 1943 году нас бросили на «Перекоп» в тыл врага. Все обошлось благополучно. Потом снова Внуково — под Москвой. Наша бригада была резервом Верховного главнокомандующего,

то есть Сталина. Его влияние и заботу мы ощущали постоянно по той закалке и той подготовке, которую с нами проводили. Амуниция и продовольствие были отменными.

Мы были молоды, крепки, как дубы. Потом нас направили на передовую, участвовали в боях в Венгрии по разгрому 11 (?) танковых дивизий, на озере Балатон, брали город Мор в Венгрии. Наш комбриг Виндушев наблюдал с КП за наступлением его десантников на город Мор. Мы ни разу не залегли, а, как говорится, с ходу ворвались в город. Виндушев переживал за нас. Многие погибли.

Были мелкие населенные пункты, городишки, всех не запомнишь.

Участвовали во взятии города Вены, это уже в Австрии.

Ряды наши редели, но все мои друзья, о которых я писал, остались целы, к счастью, не считая легких ранений, царапин. Мои командиры меня любили, и я их также. Костромин был старше меня на десять лет, он как-то охранял меня, если можно так сказать. Например, я рыл окопчик на двоих, а он ползет за едой, опасней было, как мне казалось тогда, ему, хотя пули и мины также летали над всеми и надо мной. Ели с ним из одного котелка.

Командир батальона Малышев любил нас, как детей, хотя сам он был тогда молод. Он был очень хорошо развит физически. В Вене его ранили в голову, мы с ним встретились на улице, голова его была забинтована, он ехал сам за рулем трофейного мотоцикла. Когда мы встретились, то обнялись, хотели его довезти до санбата, но он отказался, сказал, что в санбат не поедет.

В Вене нас встречали внешне с радостью, но были и враждебные встречи. Помню, встретились с ребятами с экипажа «Катюши». Их оскорбил один австриец, назвал их русскими свиньями. В экипаже «Катюши» были ребята, родители которых были расстреляны немцами, поэтому они были очень озлоблены на немцев, и тот австрияк, который оскорбил их, поплатился дорого.

С боями мы немного не дошли до Праги, встретились с союзниками.

Упустил момент, когда наш политрук, капитан Едзоев, он был осетин, 9 мая 1945 года, когда мы готовились в наступление, объявил, что Германия капитулировала. Лучше бы он сказал это после наступления, так как было очень тяжело думать, что война кончена, а тут можно погибнуть.

Но в наступление пошли с неохотой, многие погибли.

Трудно все это вспоминать.

С союзниками нас разделяла речка. На нашем берегу был лес, где мы находились. На другом берегу американцы или англичане каждый вечер веселились, там у них была духовая музыка, они приглашали нас, но мы не забывали, в чьем распоряжении мы находимся, и свою армейскую честь не марали.

Иногда к нам из леса приходили сдаваться немцы, мы их кормили из нашей солдатской кухни, не трогали их. Они рассказывали, что в лесу много немцев, боятся нас и поэтому могут быть всякие случаи, перестрелки и ненужные жертвы.

Нам поручили прочесать лес. Немцы, отстреливаясь, вышли к речке, разделяющей нас с союзниками, и бросились вплавь к ним. Мы в них не стреляли. Союзники их побили всех в реке. Откровенно — мы не огорчались из-за этого, но сами этого никогда бы не сделали. После этого все стали отходить постепенно назад.

Война кончилась, но в нас еще стреляли, и многие погибли.

После войны мы, как представители войск СССР, находились в Венгрии долгое время.

Я уже изучил, верней, научился говорить по-мадьярски, т. е. венгерски.

Венгры — народ трудолюбивый, аккуратный, гордый.

Жили мы там хорошо, на квартирах у хозяев. У многих из нас были романы. Девушки, как и везде, были хорошие, добрые.

Там я подружился с одним нашим сержантом. Его фамилия Удавицкий. Вместе проводили время с девицами, с мадьярами. К нам относились хорошо, мы уважали их обычаи, их самих, они нам платили тем же.

Есть у них осенью праздник. Что за праздник, не знаю, но отмечается он так: хозяева приготавливают у себя в доме всякую еду. Стол, пол — все уставлено жареной и вареной птицей, стоят всякие вина на столе, на полу. Все занято яствами. Сами хозяева уходят из дома, прячутся где-то во дворе, в кустах или на чердаке и наблюдают, кто зайдет в дом. Если кто зайдет в дом, покушает там и выпьет, то это друг, а кто пройдет мимо — враг. Поэтому в этот праздник у нас были все друзья, и пока ноги нас держали, мы заходили с друзьями в каждый дом, где отдавали должное еде и питью. Готовят они отменно.

Так протекала наша жизнь в Венгрии.

Потом мы вернулись в Россию, на Родину. Служба моя закончилась через несколько лет после войны, и я вернулся к своим дорогим незабвенным старичкам.

Документы о Тиме:

1. Извещение. («Похоронка»)

от 24/II-1943 г.
Красноармеец Говзман Цемех Иосифович в боях за Социалистическую родину убит 27/X-1942 г.

2. НКО
Войсковая часть
№ 250
3/I-1943 г.

Говзман Иосифу Файвишевичу

Справка

настоящим удостоверяется, что снайпер красноармеец Говзман Цемех Иосифович за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом Красного Знамени

основание Приказ (указ) В.Д. фронта от 16 декабря 1942 г.

Командир части
гв. майор /Сушков/

3.

Говзман И. П.

28/III — 68 г.
№ 510043

Подольск Московской обл.

Сообщаю, что в наградном листе к приказу Донского фронта от 16/XII-1942 г., по которому Говзман Ц. И. награжден орденом «Красного Знамени» записано:

«…в боях с немецким фашизмом, горя лютой ненавистью к врагу, красноармеец Говзман в короткий срок изучил снайперское дело, стал искусным стрелком-снайпером, грозой для немецких наблюдателей,

пулеметных расчетов и офицеров. В боях за станицу Клетская, Сталинградской области с 24 по 27 октября 1942 г. тов. Говзман, искусно маскируясь, выслеживая врага, разил его своими меткими выстрелами…»

Он истребил 30 вражеских наблюдателей, связных и офицеров.

В момент перехода численно превосходящего противника в контратаку на стрелковое подразделение 2-го батальона 27 октября 1942 года тов. Говзман, смело и решительно отражая натиск врага, пал смертью храбрых.

Основание:
ОП. 682 525, Д. 180, л. 377.

Начальник архивохранилища
капитан /Лобыничев/

Папа больше написать не успел. Дела, а потом болезнь… Письма от него приходили, но на воспоминания не хватило сил. Однако о многом он мне рассказал при встрече. А многое рассказывали мне и тети.

У нас до сих пор хранится последняя открыточка с фронта, посланная Тимой в Ташкент, где в эвакуации находилась Академия им. Фрунзе, а потому и Танюся с Аней. У Ани от голода и лишений тех лет пропало зрение. И в Ташкенте ей сделал операцию знаменитый офтальмолог Филатов, после чего она не только могла видеть, но и очками не пользовалась никогда.

И вот Тима, очень друживший со своими двоюродными сестрами, писавший им с фронта постоянно, беспокоится о здоровье Ани. Открытка написана 14 октября 1942 года. Дата получения — 28 октября. Днем позже его гибели. Но только в феврале следующего, 1943 года, узнали родные о том, что Тимы больше нет.

Папа написал о том, как в лютый февральский мороз побежала бабушка на завод к деду с «похоронкой».

(Кстати, обратите внимание на текст извещения о смерти. Мы привыкли по фильмам и художественной литературе о войне считать, что в письмах о гибели бойцов обязательно будет формулировка «пал смертью храбрых». Возможно, где-то кому-то так и писали. Но количество похоронных писем о смертях бойцов за Сталинград не давало возможности писать «лишние» слова.

…«в боях за Социалистическую родину убит»… И дата.

Подробности — о доблести и мужестве — пришли позже, в

справке о награждении орденом Боевого Красного Знамени.)

Бабушка, получив «похоронку», заболела не только астмой. У нее после вести о смерти сына открылась на груди страшная кровавая рана. Я ее другой и не помню, для меня она всегда жила с этой раной. Врачи не смогли поставить диагноз — делали лишь предположения. Рана кровоточила: то сильно, то чуть-чуть. Бабушка меняла повязки. Она никогда не жаловалась, не стонала, заботилась о своих близких, пока была жива. Все ее страдание и пережитый ужас проявлялось в виде кровоточащей раны, уничтожившей ее грудь.

Бедная моя Басечка!

Есть и еще одно поразительное свидетельство ее огромной силы и мудрости.

В начале июля 1941-го года проводили на фронт Тиму. И уже через несколько дней немцы оказались на подступах к Смоленску. Никакой эвакуации населения организовано не было. Все начальство в спешном порядке убралось подальше в тыл, предоставив людям самим решать, оставаться ли под немцами (а сомнений в том, что город вот-вот окажется в их руках уже ни у кого не возникало) или пытаться пешком уйти туда, где боев пока нет.

Дед мой, богомольный, спокойный созерцатель, проведший несколько лет в немецком плену во время Первой мировой войны, к немцам относился с уважением. Когда он находился в Германии, их, военнопленных Российской империи, распределили по хуторам. Дед занимался тем, к чему был в своей семье приучен: ухаживал за лошадьми.

Ему никто не мешал совершать свои молитвы.

Ели военнопленные работники вместе с хозяевами. Дед рассказывал, что хозяйка хутора поднималась раньше всех. Она готовила завтрак, пекла плюшки, хлеб, доила коров, накрывала на стол…

Идиллическая картинка патриархального немецкого сельского быта.

Однако ко времени Второй мировой все изменилось коренным образом, о чем дед, погруженный в мир молитв и трудов праведных, не имел никакого понятия. Тем более — СССР и Германия заключили пакт о ненападении. Мало кто в начале Великой Отечественной знал о лагерях смерти, о тотальном уничтожении евреев (хотя о гонениях, несомненно, знали). Во всяком случае — дед не представлял, насколько переродился за годы правления Гитлера столь уважаемый им немецкий народ.

Вот он и предложил своей Басечке:

— Давай останемся. Будем жить, как жили. Что они нам

сделают? Немцы — культурные люди…

Но худенькая болезненная Басечка, которая к тому же была почти на двадцать лет младше своего мужа, твердо решила, что ее семья уйдет из Смоленска: пусть пешком, взяв только самое необходимое, но уйдет.

Так они и поступили. Несколько дней шли, останавливаясь на ночлег, где придется. Потом смогли сесть на поезд… Так и оказались в Каменке.

Всех близких и дальних родственников, кто не смог уйти от немцев, оккупанты уничтожили в первые же дни своего пребывания на захваченных землях.

Папа был призван в армию уже из Каменки, в январе 1942 года, сразу, как ему исполнилось 18 лет (он родился 29 января 1924 года).

Таким образом, Басечка спасла сына. Удивительно: на том этапе будущее нашего рода зависело от ее решения бежать из Смоленска любой ценой.

Существует и поразительная история случайного спасения жизни моего деда Ивана Васильевича (маминого отца). Старший брат деда активно выступал за создание колхоза, чем нажил себе немало врагов. Однажды Иван (ему было тогда 17 лет) работал в поле вместе со старшим братом. В полдень брат послал парня передохнуть. Палило солнце. Чтобы спрятаться от него, Иван залез под телегу на краю поля и задремал. Проснулся он от громких хлопков. Еще не совсем понимая, что происходит, он уцепился снизу в дощатое дно телеги. Лошадь в ужасе понеслась, унося за собой телегу и нашего будущего деда.

Хлопки, так напугавшие лошадь, были выстрелами. Так расправились мужики — противники колхоза со старшим братом Ивана. Нет сомнения, что если бы братья оказались рядом, погибли бы оба.

Иван остался в живых, создал большую семью. Первым ребенком в семье Ивана Васильевича Шеварёва и была моя мама, Антонина Ивановна, Нина, как все ее называли. Родилась она 29 июня 1928 года.

Мою бабушку (мамину маму) звали Анна Ивановна (в девичестве Морозова). Дед был статным, видным красавцем, бабушка оставалась в его тени. Она служила мужу, детям — самозабвенно и жертвенно. При этом в ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Она умела молчать. Молчание — веское доказательство характера. Еще умела она лечить коров и других животных. К ней шли со всей деревни. Она обладала какими-то древними знаниями. Животные ее любили, тянулись к

ней, как к своему спасению.

Помню, как бабушка Бетя сказала о бабушке Ане: «Колдунья». Наверняка Бетю пугали целительские способности с виду робкой и невзрачной Анны. Надо сказать, что никаких заговоров «колдунья» не произносила и никакими чарами не пользовалась. Но даром обладала несомненным.

По поводу ее способностей… Никаких материальных благ она от них не имела. Ей и в голову не приходило требовать плату за свое умение вернуть к жизни захворавшее животное. Могла помочь — помогала. А семья жила в большой бедности. Особенно в военные годы.

Помню, как я лет в четырнадцать спросила у матери о ее влюбленностях. Мол, как у нее было в четырнадцать-пятнадцать лет. Влюблялась?

— Какое там, — ответила мама, — это самые трудные годы моей жизни: на нас с матерью куча детей младших, нам бы прокормить их, одеть хоть как-то. Мешки с картошкой таскала, за копейки продавала… Не до любви… И в голову не приходило такое…

Деда Ивана Васильевича и бабушку Анну Ивановну я в своем сознательном возрасте увидела, когда мне было восемнадцать лет. Стать и красота деда поразили меня. По моим тогдашним представлениям, он был стариком, хотя ему еще и шестидесяти не исполнилось, но для восемнадцатилетнего человека и тридцатилетние казались престарелыми. И вот, глядя на деда, я любовалась им. Мужественность, сила, внутреннее достоинство виделись во всем его облике.

А бабушка… Бабушке в тот день дочери ее подарили резиновые сапоги. Бабушка, не привыкшая к обновкам, сидела весь вечер за праздничным, накрытым по случаю моего приезда, столом в этих сапогах и любовалась — то мной, то своей обувкой. «Колдунья», умевшая словом, взглядом исцелять домашнюю скотину…

Тогда во всем противоречии судьбы открылся мне характер русского народа: сила, мощь, талант, удивительные возможности и — поразительное долготерпение, смирение, безропотное принятие своей участи.

Ведь таким природным даром обладать — и жить при этом в бедности…

Не знаю, в чем правда. Жили, как могли, как выходило. Не жаловались, не роптали.

…Сидели мы тогда за столом… Бабушка с дедом — в центре. На плечах у бабушки — яркий платок: традиционный женский праздничный наряд. Смотрела на меня бабушка, смотрела… Я

чувствовала ласку ее взгляда, от которого делалось радостно на душе. Она чуть повела головой, чтобы я подошла. Я встала со своего места и приблизилась к ней. Бабушка теплой сухой рукой с узловатыми пальцами огладила меня по голове, плечам. Словно что-то выправляла… Мне было хорошо под ее рукой, сила входила в меня… Бабушка сняла с плеч свой нарядный платок и накинула на меня.

Я оценила щедрость ее дара. Бабушкин платок храню до сих пор.

…А главную свою гордость — резиновые сапожки — «колдунья» отказалась снимать и перед сном. Так в них и улеглась, как дитя малое, счастливое от долгожданной обновки.

Стеллочка, Анечка, Танюсенька

«Дорогие детки Стерна Баска и Бейля Тайбка. Желаю вам всего доброго. Я хотел взять тебе удостоверение, но такую которую ты просила не дали. Дорогие детки незнаю почему то увас успехи всё не важные. Я всё вижу что и в Дубровне для молодых людей больше успевают не чем в Москве только здоровье свое уничтожать на все есть граница.

Дорогие детки я вам пишу новости что у салатовщини делаится. Семен Леонович спрятался и нет. А то Максим седить в тюрме в г. Орше. Дорогие детки, пишите как ваше здоровье. Живите счастливо.

Г. Говзман».

Этому письму много-много лет. Написано оно любящим отцом в конце 20-х годов прошлого века. Две его дочки уехали в Москву, к новой жизни… Одна пока с ним.

Это письмо хранится у меня. Я привела его так, как оно и написано. Со всеми ошибками и корявостями.

Писал его мой двоюродный дед — Гесель Файбишевич Говзман, отец трех сестер, которые составили счастье моей жизни.

Говорил он по-русски чисто, а писал с ошибками: язык не был его родным.

У Геселя было много братьев и сестер, один из самых близких и дорогих — мой родной дед Иосиф.

История семьи по отцовской линии кажется мне фантастичной… Но — какая фантастика… Правда жизни. Одна из сестер Иосифа и Геселя — Нехама (все ее звали Аня) вела семейную родословную. Она обладала бесценными документальными свидетельствами, шедшими еще из Средних веков.

С 30-х годов XX века она жила с мужем в Ленинграде. Вот, скорее всего, почему мой папа и поехал учиться в Ленинград: чтобы быть рядом с любимой и любящей его, как сына, тетей. Она много рассказывала племяннику (моему папе) о наших предках. Он очень сожалел, передавая мне ее рассказы, что после смерти тети документальные свидетельства оказались утерянными. Все эти желтые ветхие бумаги на древнееврейском или на испанском, немецком, совершенно непонятные и кажущиеся неважными, незначительными… Хлам… Так думается в молодости…

Но рассказал мне папа, что, по словам тети, семья наших предков в Средние века жила в Испании. Тетя говорила, что там, в

Испании, фамилия наша писалась несколько иначе, чем теперь: Гусман (ударение на А). И кто-то из Гусманов был даже приближенным испанского короля.

— Тетя говорила, — рассказывал папа с улыбкой сказочника, — что в испанском музее висит портрет этого Гусмана, королевского приближенного.

Я чувствовала, что передает мне папа эту часть семейного предания, как сказку. Ну, или былину… Ох ты, гой если, добрый молодец, если можно так выразиться… Я, конечно, запомнила — попробуй такое не запомнить. Но всерьез об этом не думала… Да и когда это было?

Но представьте, когда я очутилась в Мадриде и увидела в музее Прадо, о котором с детства безнадежно грезила, портрет Гусмана работы Веласкеса, вот тут-то мне и вспомнился папин рассказ. И пришла мысль: «Откуда-то папина тетя, родившаяся в белорусском местечке Дубровно и никогда пределы своей страны не покидавшая, знала про портрет Гусмана в испанском музее! Разве не странно? И вдруг — вдруг! — что-то в этом есть?»

Ну, пусть как легенда, а в моей памяти она хранится как часть семейного предания.

Когда в Испании начались гонения на евреев, тысячи людей, спасая свои жизни, покидали страну, в которой жили много веков.

Некоторое время жили в Богемии. Потом оказались в Польше.

Польский король Казимир III Великий (1310–1370), правящий разрушенным, разрозненным и истощенным междуусобицами царством, пригласил немцев, армян, евреев, татар поселиться на территории Польши. В Польше в те времена было много пустующих земель. Главное: Казимир III гарантировал всем переселенцам свободу вероисповедания.

Именно из-за возможности беспрепятственно исповедовать веру отцов и оказалась семья в Польском королевстве… Видимо, еще в онемеченной в те времена Богемии фамилию семьи переиначили на немецкий лад: Хофсман… Позднее, в обрусевшем виде, она стала звучать как Говзман.

В конце 18 века, после раздела Польши ее восточные территории отошли к Российской империи. Естественно, вместе с местным, в том числе еврейским населением.

Вскоре появился указ о черте оседлости. Евреям дозволялось жить на определенных территориях, в маленьких городишках, называемых местечками. Надо сказать, что свободы передвижения и выбора места жительства не было и у коренного населения Российской империи (даже у дворян, а что уж говорить о

крепостных) — такие сформировались законы огромной державы.

В местечках, в пределах черты оседлости, царила сильная скученность. Вырваться из этого замкнутого мирка было можно. Самый, на первый взгляд, простой путь обретения возможности покинуть черту оседлости заключался в принятии христианства. Не обязательно православия! Но — христианства. Однако мало кто отрекался от веры своих предков. К выкрестам относились с презрением, они оказывались в изоляции от общины. Были и другие пути, один из которых — получение высшего образования. Но чтобы получить университетское (а до него — гимназическое) образование, надо было преодолеть процентную норму, так как студентами могли стать не все успешно сдавшие экзамены евреи, а лишь определенный процент (в столицах — 3 %, в прочих городах — 5 %, в черте оседлости — 10 %).

Знаю о том, что в местечке Дубровно (ныне это Белоруссия, город Дубровно, Витебской области) жил еще мой прапрадед. Имя его мне неизвестно.

О прадеде написал (и рассказывал) папа. Звали прадеда Файвиш Говзман. Файвиш по-древнееврейски — свет, свеча. У Файвиша родилось много детей, в числе которых и были братья Гесель и Иосиф.

Семья была большая, дружная, любящая и очень набожная. Все религиозные законы, предписания и обычаи соблюдались свято.

Я очень хорошо помню, как сосредоточенно молился мой дед Иосиф: строго в положенные часы.

— О чем ты молишься, дедушка? — спросила я как-то, желая завести разговор на атеистические темы, как нас учили в школе.

Почему-то на рубеже 50-х и 60-х годов антирелигиозная пропаганда в школах велась буквально на всех уроках, на всех собраниях класса. Наш тогдашний лидер Никита Хрущев оказался ярым противником Бога и маниакально уничтожал храмы, которые чудом уцелели в 30-е. Но уничтожения храмов казалось мало. Надо было воспитать целые поколения богоборцев…

Вот я, подкованная школьными промываниями мозгов, и решила переубедить верующего дедушку. Повернуть его, так сказать, лицом к правде, свету и мудрости. Что он зря время тратит непонятно на что? Это же мрак!

Я уже и раньше вела небольшую антирелигиозную деятельность, направленную на просвещение деда. Например, когда он закрывался в комнате, чтобы молиться, я писала краткие, но выразительные листовки примерно такого содержания: «Бога нет!» И подсовывала их под дверь.

Дедушка на эти подметные бумажки не реагировал никак. Может, он и правда их вообще не замечал? Вот я и решилась однажды завести разговор напрямую,

— О чем ты молишься, дедушка?

Он посмотрел на меня с доброй улыбкой, погладил по голове и просто ответил:

— Молюсь, чтобы у вас все было хорошо.

Даже не знаю сейчас, почему, но его ответ меня сразил. Странно ребенок воспринимает слова. (Впрочем, и взрослый тоже.)

Я увидела в ответе дедушки вот что:

— любовь к нам, его близким,

— безусловное желание нам добра, постоянное, неуклонное (ведь молился он неотступно),

— его самоотречение — он нам просил хорошего, не себе…

И вот почему-то именно тогда (очень хорошо помню этот момент) и возник у меня вопрос: «А кого же еще можно просить, чтобы близким было хорошо? Кого? Уж не людей ли вокруг?» И тут же появился ответ, разрушивший всю долгую педагогическую антирелигиозную работу: «Только Бога».

Вот так — простыми словами, в которых звучала настоящая любовь и вера, сокрушилось вранье и заблуждение…

Гесель был механиком, налаживал работу мельниц. Женился, у него родились дочки: в 1902-м году — Стерна Бася, в 1907-м — Эсфирь, в 1910-м — Бейля Тайба.

У евреев принято было давать детям двойные имена. Благодаря сохранившемуся письму Геселя, я знаю полные имена двух сестер. В советские времена два имени не полагалось, поэтому люди выбирали себе какие-то одно, а то и вовсе меняли имя на то, которое больше нравится. Старшая сестра стала зваться Стелла, средняя — Анна, младшая — Татьяна. Интересно, что и в их детстве, в семье звали Эсфирь — Анной, а Тайбу — Танечкой. Папа звал ее Тайбеле.

Танечке было четыре года, когда в родах умерла мама девочек. Умер и только родившийся братик. Тогда Гесель женился, как это было принято, на сестре своей покойной жены. Считалось (и, наверное, справедливо), что такая близкая кровная родственница сможет заменить детям умершую мать. Так и получилось. Тетя Черна заменила им мать, с утра до вечера трудилась по дому, заботилась о девочках, учила их читать, писать. Тетя была дивно красива. Но только одной половиной своего лица. Вторая же половина отпугивала: когда она была еще девочкой и доила корову, та лягнула ее в лицо и выбила глаз.

Стелла, старшая из трех сестер, оказалась наделенной многими талантами. Она обладала прекрасной памятью и абсолютным слухом. Ее подготовили к поступлению в русскую классическую гимназию. Она успешно преодолела процентную норму и была зачислена в число учениц гимназии города Орша. Вскоре после получения аттестата о среднем образовании Стелла уехала учиться в Москву. К этому времени в стране уже произошла революция. В стране царили голод, лишения, хаос. Стелла поступила в Московскую консерваторию на вокальное отделение, но за обучение надо было платить, как и за жилье. Поскольку семья ничем не могла ей помочь, кроме иногда присылаемых продовольственных посылочек, ей самой пришлось добывать себе средства к существованию всевозможными подработками. Консерваторию пришлось оставить. Стелла выучилась на фельдшера, а потом поступила в мединститут. Учась в институте, она уже могла работать вечерами по специальности. Жизнь проходила в трудах, порой непосильных.

Меня Стелла поражала своей выдержкой, дисциплиной и трудоспособностью. Она никогда не жаловалась на плохое самочувствие, хотя довольно рано, до войны, заболела диабетом и была инсулинозависимой. Сколько я ее помню, она была погружена в работу, даже в выходные изучая истории болезни своих пациентов. Она была всесторонне образованным человеком, тонко понимающим музыку, литературу. Немногословная, спокойная, мудрая, созерцательная, всегда умевшая правильно оценить ситуацию, дать совет. Ей приходилось много работать, непосильно много. И в последний день ее жизни к ней, лежащей в клинике с третьим инфарктом, обращались за консультацией.

Для меня Стелла — образец и пример достоинства, силы, честности и интеллекта. Сам факт, что детство и юность мои прошли рядом с таким незаурядным и удивительным человеком, всегда воодушевлял и окрылял меня.

Танечка… Больше всего семейных историй я узнала из ее уст. Она обладала ярким даром рассказчицы. Я могла слушать ее часами.

Дубровно в ее описаниях казался райским уголком. Городок располагался по обеим сторонам Днепра, кроме того, именно там в Днепр впадали две другие речки. Все детские воспоминания Тайбеле (так звали ее в семье) были связаны с природой, с дубравами, плеском речной воды и — книжками, которые ей читала ее тетя…

Как в жизни все повторяется!..

Белорусы и евреи жили мирно, никогда никаких погромов,

стычек, конфликтов. Геселя все уважали: дело свое он знал хорошо. Девочки учились, помогали по дому.

В отличие от своего папы, все три сестры писали по-русски безупречно. Мне в наследство достались от Танюсеньки ее дневники, которые она вела с ранней юности. Это трогательные записки очень чистой и полной любви к своим близким девочки, девушки. Читая, я не обнаружила ни одной ошибки в правописании. И это меня поразило. Почему тогда, сто лет назад, возможно было научить детей писать без ошибок? И куда эти тайны обучения делись сейчас? Неужели утрачены?

Во время Гражданской войны нищета и лишения пришли в их дом. Все это описано в дневниках, без стенаний, экзальтации, буднично. Голод, горе — привычный фон жизни.

Ей было семнадцать лет, когда она отправилась в Москву к старшей сестре. Началась самостоятельная жизнь. Средняя сестра, Аня, осталась с отцом и тетей, не желая бросать стариков.

После смерти папы в 1931 году Аня тоже приехала к сестрам в Москву, а позже они забрали к себе и вырастившую их тетю.

Вот коротенький фрагмент Танюсенькиного дневника. Красноречивая запись:

«7. VI-31.

…Сейчас шла из клиники… Вдруг вижу стоит старушка и просит подаяние. Сперва она говорила по-русски, а потом она говорит по-еврейски „иди хот рахмонес“ и заплакала. И как сердце ей предсказало, что здесь идет кто-то из евреев. Я не выдержала, подошла и дала ей 30 коп. Она мне говорит, что ей 71 год, что она просит смерть от Бога, но Бог, наверное, хочет, чтобы она мучилась. И вот это на меня настолько подействовало, что я начала плакать, и плакала бы без конца, но не хочу, чтобы Анька увидела, что у меня заплаканные глаза. Она ушла к Стере в больницу.

Я подала старушке подаяние, потому что знаю, что папа очень любил подавать бедным.

Сейчас постучала Анна Вас. и передала мне посылку из дому. Какой дом? Кто там остался? Нет уже дорогого папочки. Я помню, как нам зимой прислали посылку и письмо, и папа тоже писал…

Нам они прислали посылку, хотя самим особенно есть было нечего, а все-таки думали о нас.

Когда я сейчас была дома, я узнала, что у них зимой несколько дней не было дров и Анька с папой пилили палочки с изгороди, а нам не хотели писать, что они живут так плохо…»

Танечка прошла курсы стенографисток и машинисток и устроилась на работу в академию им. Фрунзе. Так всю жизнь там

и проработала. Много слышала я от нее рассказов о наших видных военачальниках, с которыми ей пришлось работать. Знала она Тухачевского, ужасалась тем, как была уничтожена вся его семья, во всех поколениях: от стариков до детей.

С глубоким уважением говорила она мне о генерале Карбышеве, человеке потрясающего мужества. Только поступив на работу в академию, она работала под началом этого необыкновенного человека. Удивительная у него судьба.

Дмитрий Михайлович Карбышев подполковником царской армии (военным инженером) после революции вступил в Красную гвардию. В конце 20-х годов прошлого века он служил в академии им. Фрунзе. Танечка рассказывала о его корректности, безукоризненных манерах, удивительно человечном обращении с подчиненными. Позже Карбышева перевели в академию Генерального штаба, перед войной присвоили звание генерал-лейтенанта инженерных войск и ученую степень доктора военных наук.

…На первомайских торжествах 1941 года во время праздничных мероприятий тетя увидела Карбышева. Он сам к ней подошел, приветливо спросил:

— Как ваши дела, дорогая Танечка?

Он помнил свою подчиненную, с которой работал больше десяти лет назад, и искренне интересовался ее судьбой!

…До трагических событий — начала Великой Отечественной воны — оставалось несколько недель. Но никто не предчувствовал… Праздничное настроение владело людьми той весной и в начале лета.

Судьба генерала Карбышева известна. В начале июня 1941 года он находился в Западном Особом военном округе. Армия перевооружалась. Увы — с запозданием. 22 июня застало его в Гродно. Почти сразу части 3-ей Армии попали в окружение, и Карбышев был захвачен в плен в бессознательном состоянии. Немцы всячески склоняли к сотрудничеству пленного генерала, но безуспешно. Напротив — Карбышев стал активным участником лагерного сопротивления. В феврале 1945 года он находился в лагере смерти Маутхаузен (Австрия). Генерала Карбышева и еще 500 военнопленных вывели на мороз и обливали из шлангов водой, пока люди, оледенев, не умерли. До Победы оставалось два с половиной месяца.

Наша история — это мы с вами, даже если мы не знаем тех свои предков, кто сражался в 1812 году на Бородинском поле, принимал участие в Крымских войнах… Это было давно. Много

воды утекло. Но память о Великой Отечественной пока жива не только в книгах — это семейная память.

Надо сказать, что люди, честно прошедшие горнило военных испытаний, говорили о войне неохотно. Война — это смертный ужас, кровь, гибель товарищей, подчас долгая, мучительная, всегда четко осознаваемая как несправедливость. Война — дело противоестественное. Никто не хотел ворошить боль. Помню, как я, маленькая, допытывалась у папы: «Как было на войне?» Я ожидала рассказов о богатырских подвигах, предвкушала приключения, но папа отвечал: «Ничего хорошего». И все.

Лишь много лет спустя написал мне папа кое-что из своего военного прошлого. А вот Танюся рассказывала мне много. Она обладала талантом повествователя: умела держать интерес слушателя к своему рассказу от начала до конца. А я была слушателем — лучше не придумать. Я жадно ловила каждое ее слово. Вот принимается она на кухне гладить белье, я тут же усаживаюсь: «Рассказывай!»

Один из эпизодов ее жизни, слышанный мной не раз, я должна передать тут. Речь пойдет о начале войны.

После окончания учебного года офицерам полагалось ехать в летние лагеря. В 1941-м году слушатели Военной академии имени Фрунзе были направлены в город Яворов, на Яворовский военный полигон. Яворов — небольшой городок, западнее Львова. Еще совсем недавно, в 1939 году на полигоне проходили подготовку офицеры Войска польского. Среди обслуживающего персонала так и остались поляки.

Яворов — городок симпатичный, церкви, костелы… Все пока не тронуто. Почти заграница.

Время летних лагерей обычно ожидалось с радостью: предстояли не только учения, не только боевая подготовка, но и долгие летние светлые вечера, купание в реке, танцы в ближайшем городке.

Прекрасное время юности, предельной радости жизни и ожидания счастья.

Войны никто не ждал. Обратите на это внимание: ее не только не ждали, но убежденно трубили со всех сторон об успехах советской дипломатии: ведь с грозным немецко-фашистским хищником был заключен пакт о ненападении. Красная Армия потихоньку перевооружалась. На деле же это значило, что вооружены военнослужащие были преступно: почти никак.

Итак, 21 июня 1941 года молодые офицеры Военной академии прибыли на учения в Яворов. Суббота. Прекрасный летний день. В лагеря разрешалось по традиции ехать с семьями,

и многие офицеры привезли с собой жен.

Тетя отвечала за документацию, она целый день возилась, обустраиваясь на новом месте.

Пошла на склад получить постельное белье. И пока она его получала, заметила, как по полу среди бела дня бесстрашно шмыгают огромные крысы. Это зрелище привело ее в ужас, сердце стеснилось непонятной тоской. Старичок-поляк, работавший на складе, заметил: «Да, милая пани, в последнее время столько крыс развелось, житья от них нет! Это к большой беде, говорят».

Танюся моя была молода, жизнерадостна, печальные пророчества старика она выбросила из головы, как только покинула неприятное помещение.

Вечером офицеры собрались на танцы.

— Пойдем с нами, Танечка, — звали они тетю.

Она бы и пошла, да только устала за день.

— В следующий раз — обязательно! — пообещала она.

Ах, как легко и упоенно танцевала всегда моя милая Танечка! Как чувствовала ритм, музыку! Но в тот вечер ее одолевала усталость. И ничего: лето длинное. Сколько еще будет светлых вечеров, музыки, молодого веселья вокруг…

Она легла спать, но сон почему-то не шел. Что-то очень мешало, она не могла понять, что именно. От земли шел явственный гул. Сядешь — и вроде не слышно ничего, ляжешь — гудит земля, содрогается.

— Может быть, в ушах шумит от усталости, — подумала она.

Но почему тогда звенела, дребезжала ложечка в чайном стакане, стоящем на столе у окошка?

Непонятные, тревожные звуки. Никак не давал уснуть этот грозный гул. Откуда было знать, что гул этот означал несметное количество боевой техники, подтягиваемой к нашим границам? Ведь немцами был запланирован блиц-криг: мгновенная победа. Для этого следовало напасть внезапно, широким фронтом, с использованием максимального количества такнов, самолетов и всего прочего, предназначенного убивать, губить, уничтожать.

Танечка лежала без сна, с непонятной тоской на сердце. Вот за окнами ее послышался смех, пение: ребята возвращались с танцев. Она глянула на часы: два ночи.

Самая короткая ночь года скоро закончится. Утихнет этот непрестанный гул, а завтра все пойдет своим чередом, и забудутся все ночные тревоги, возникающие, когда спать приходится на новом месте.

И как же мне хочется, чтобы все именно так и было!

Чтоб рассеялись все тревоги той дальней прекрасной ночи 1941-го! Чтоб дальше шла мирная жизнь, с мирными планами и

надеждами.

Пусть бы!

Но разве можно что-то переделать в прошлом?

Через час на городок посыпались бомбы. Самая мощная атака нашей территории с воздуха как раз и была предпринята на линии от Гродно до Львова.

Сонные люди выскакивали из домов, ничего не понимая. Мы знаем сейчас: их застали врасплох. Во всех отношениях. Они не были должным образом вооружены. Они не были предупреждены, напротив, все тревожные знаки со стороны границы полагалось расценивать как провокацию. И в этом случае: практически безоружные и морально не готовые к отпору, они были практически обречены на гибель.

Тетин начальник приказал немедленно уничтожать документацию. Офицерам раздавали оружие. Его хватило не всем.

Счет велся на минуты. Молодых жен, едва проснувшихся, усадили в кузов грузовика. Кто-то из них был в летних платьицах, а кто-то и в ночных рубашках с накинутыми поверх кофточками.

Мужья прощались с женами навсегда.

Все это понимали: и мужчины, и юные женщины.

— Прощай! Помни!

Ни один из них не вернулся. Полегли все. Они, еще час назад беззаботно шутившие, влюбленные, полные жизни и надежд, защищали нашу землю до последнего.

Немцы двигались стремительно. Но блиц-криг не удался.

Грузовик, увозивший женщин от войны, мчался под бомбежками в сторону Минска. Рядом с Танечкой сидела ее подруга Динка, молодая офицерская женушка, пробывшая замужем меньше месяца.

Им удалось прорваться в Москву. Дома тетю ждало письмо из Белоруссии, из ее родных мест: «Как там наша бедная Танечка, выжила ли, удалось ли ей вырваться из этого ада?» — беспокоились родственники, знавшие, где она находилась в первые часы войны.

Танечка вырвалась. Но читая письмо, полное любви и беспокойства о ней, не знала она, что тех, кто волновался о ее жизни, ждет участь чудовищная, неслыханная…

Дальше была война.

Я слышала этот рассказ не только от тети. Частой гостьей у нас дома бывала та самая Динка, Евдокия Крупенникова, — красивая синеглазая русоволосая волжанка, оставшаяся вдовой в первый день войны. Она помнила своего мужа. Не переставала его любить. Больше всего жалела она, что не успел зародиться у

них ребенок. Оборвалась ниточка его жизни насовсем.

Ей было под сорок, когда родила она себе девочку. Замуж больше не вышла. Сватались, но полюбить не получилось. А девочка ее выросла замечательная, у нее родились свои детки. И они тоже знают эту историю первого дня войны. Дня, когда никто не отступил, не убежал, спасая свою шкуру. Дня, когда прощались навсегда с молодым своим счастьем, с жизнью, понимая, что такое долг перед Родиной, что такое честь.

Что же касается родных, оставшихся в Дубровно…

Не знаю, что со мной стало происходить, когда подошла я к этой черте. Несколько дней не могла писать. И знала обо всем этом с детства, и рассказывала, а вот писать… Ужас мешал. Не страх — страха давно нет в моем сердце, но леденящий ужас. Как кровная память. Не присутствовала, родилась почти на десять лет позже тех событий, а будто помню. Наверное, так камни помнят. Или земля…

Сказать я об этом должна.

16 июля 1941 года Дубровно было захвачено немцами. Последовали немедленные запреты, касающиеся еврейского населения города: евреи обязаны были носить повязки с желтой шестиконечной звездой, они не имели права после шести вечера появляться на улицах. И — странное дело: люди, веками жившие вместе, мирно, спокойно, с кажущимся уважением друг к другу, без каких бы то ни было конфликтов, оказались, как по волшебству, разделенными на части. Одна часть — лишилась каких бы то ни было человеческих прав (в том числе и права на жизнь), а другая принялась добавлять в горькую чашу несчастных столько яда, сколько могли придумать ожесточенные умы. Теперь было можно все: остановить соседа с шестиконечной звездой на улице и приняться его избивать, плевать в лицо старухе-соседке…

В октябре 1941 года все еврейское население Дубровно было согнано в несколько двухэтажных домиков на улице Левобережовой.

Так началась короткая история Дубровенского гетто.

Две тысячи человек существовали в чудовищных условиях, в невероятной тесноте…

Дальше приведу данные из Википедии, пусть факты скажут сами за себя:

Еврейское гетто в Дубровно «было уничтожено 6 декабря 1941 года. Около льнозавода, рядом с еврейским кладбищем, в песчаном карьере, там, где сейчас улица Витебская, были расстреляны из пулеметов более 1500 евреев (за двором фабрики „Днепровская мануфактура“). Некоторых евреев, облив горючим,

сожгли живьем. Детей убили последними — ломали им позвоночник о колено.

Оставшихся в живых ремесленников с семьями убили в феврале 1942 года».

Среди жертв еврейского гетто в Дубровно оказались все мои родственники по отцовской линии — близкие, дальние, двоюродные бабушки, дедушки, дяди, тети, их дети…

Танечка моя знала о случившемся по рассказам очевидцев и не раз с удивлением и печалью повторяла вопрос, на который, наверное, никогда и никому ответа не найти:

— Как так получилось, что сильнее и изощреннее немцев, с особой жестокостью и готовностью убивали людей *свои*, те, кто жил бок о бок, кто в мирной жизни никогда не казался недругом? Ведь делить там было абсолютно нечего: все были одинаково бедны…

Танечке потом рассказали, что когда людей сгоняли в гетто, в домик к ее старенькой тете (одной из сестер папы) вбежали соседи: хотели первыми успеть забрать ее козу… Успели…

Помните письмо отца своим дочкам в Москву, с которого я начала рассказ о тетях? Папа, тоскуя по своим дорогим деткам, пишет, что в Дубровно не хуже…

— Возвращайтесь, доченьки! — так и слышится его зов…

А я слышу голос моей Танюсеньки, любившей своего папу беззаветно:

— Как я горевала, когда папочки не стало! А потом… Как я радовалась, что умер он в своей постели, среди своих, что похоронен, как полагается… Это наше счастье — знать, что папа *так* умер, а не там, в том ужасе…

И еще: счастье, что дочки не послушались папу, не вернулись, как ни скучали, в родной дом…

Их вела другая судьба.

Танюсенька с Аней оказались в эвакуации в Ташкенте, куда была вывезена из Москвы Военная академия имени Фрунзе. Там ускоренно обучались офицеры, потом отправлявшиеся на фронт. Я храню письма с фронтов Великой Отечественной, которые присылали Танечке бывшие слушатели Академии. Многие из них погибли на войне.

Работала моя тетя перед войной и в Ташкенте под началом Захара Трофимовича Трофимова, человека удивительной судьбы и редких человеческих качеств.

Он родился в глухом чувашском селе, в бедной многодетной чувашской семье 25 марта 1897 года. Он с детства тянулся к учению, стремился получить образование и добился своего. Чувашский мальчик из семьи полуграмотных крестьян стал офицером царской армии с блестящими знаниями и прекрасными манерами. Он воевал на фронтах Первой мировой войны, в 1918 году вернулся в родное село, учительствовал, а в 1919 году был призван в Красную Армию. Воевал на Туркестанском фронте с басмачами, преподавал в Ташкенте в школе командующего состава. Там, в Ташкенте познакомился и горячо полюбил свою будущую жену Ларису Анненкову. Лариса Ефимовна Анненкова была представительницей древнего русского дворянского рода. Родилась она 17 февраля 1907 года. В момент встречи с Захаром Трофимовичем в 1923 году Люсе (так звали ее в семье) было всего 16 лет. Любовь их, вспыхнувшая однажды, прошла через всю их жизнь. Они очень быстро решили пожениться, а в декабре 1924 года на свет появилась их дочка Ларочка. Юной маме Ларочки было 17 лет.

Захар Трофимович закончил академию имени Фрунзе, а потом, в тридцатые годы вернулся в стены академии уже в качестве старшего преподавателя тактики.

Моя тетя работала под началом Трофимова с 1940 года. Она очень его уважала, считала человеком редких способностей. Он, в свою очередь, очень ценил деловые качества своей помощницы.

Когда в 1943 году З. Т. Трофимов был направлен на фронт (свою боевую биографию он начал начальником штаба 58-го стрелкового корпуса), он регулярно посылал дружеские письма моей тете:

> 23.5.43
> Многоуважаемая Татьяна Георгиевна!
>
> Шлю сердечный привет от себя и от всех моих домочадцев, в том числе от маленького Толика. Как переехали и как вы там устроились? Как поживает наш «В», кто его начальник? Как проводили выпускников? Как лично устроились Вы? Какие у нас там новости. Если у Вас будет время, напишите подробнее. Хотя я и не с вами, но меня все интересует, что касается нашей Академии и нашего курса. Я не перестаю считать себя Фрунзевцем.
>
> Что касается меня — и моей семьи — то мы все живы и здоровы и частенько вспоминаем Москву, Академию, «В» и наших друзей.

Семья моя в Ашхабаде. Сам я — Вы сами знаете — где. Проездом сегодня заехал к семье и решил написать Вам письмо.

На новом месте меня приняли хорошо. Постепенно втягиваюсь в армейскую жизнь. Работаем дружно. Народ славный. Дела идут неплохо. Стараюсь и сюда переносить наши традиции «В». Моя жена, дочь и сын — все полюбили Вас и шлют Вам самый искренний, самый теплый привет.

Ну, будьте здоровы. Желаю Вам успеха во всем. Шлю еще раз Вам привет и крепко жму Вам руку. За Вашу работу, за Ваше отношение к курсу, к делу — большое спасибо. Пишите — не забывайте нас. Пишите в адрес семьи. Жена письма будет переотправлять мне.

Адрес семьи:
г. Ашхабад,
Октябрьская 29, кв. 3
Л. Е. Трофимовой /для меня/
Уважающий Вас — Трофимов

16.7.44

Многоуважаемая Татьяна Георгиевна!

Получил Вашу открытку с поздравлением — большое спасибо. Знаю, что оно искренне, от души, от друга — поэтому оно еще дороже. Ваше первое письмо с поздравлением, на которое Вы ссылаетесь, — не получил.

Я живу ничего. Воюю. Нахожусь там, звучат снаряды, свищут пули, т. е. в бою. Как мои успехи? Говоря откровенно — не важные. Много болел. Замучила проклятая малярия. Последние два месяца не дает себя особенно чувствовать. Думаю, что летом она не будет трогать. Хочется повоевать по-настоящему. Хочется на практике проверить то, что накопил в течение десятков лет на научной и педагогической работе у нас. Сил много, знания есть, желания еще больше. Но обстоятельства пока у меня сложились так, что я не имею полной возможности их применить по своему усмотрению и разумению. Сие, к сожалению, от меня не зависит. Только и обидно. Хочется поставить так, как когда-то было у нас на «В». Там я мог, потому что это зависело только от меня. Я был самостоятелен. Хотя

здесь я по положению и выше, но той самостоятельности не имею, а потому нет и возможности.

Напишите, какие у Вас новости. От жены я знаю, что Николай Андреевич уехал. Как теперь у вас дела? Думаю, наше учреждение от этого не пострадало (выражаясь мягко). От души желаю успеха всем вам при новом руководстве. Привет всем моим слушателям, которые учатся у Вас на курсе и тем, которые пишут Вам. Привет Дрозд. Она мой верный друг (после Вас). У меня остались самые лучшие воспоминания об обеих вас — как о людях честных, искренних, деловых, бескорыстных, преданных своему делу и долгу. Спасибо Вам, Татьяна Георгиевна, за Вашу и нашу совместную работу и желаю Вам и в дальнейшем таких же успехов. Еще раз спасибо за письмо. Пишите, не забывайте. Что у Вас там новое. Ну, пока до свидания, вернее, до следующего письма. Адрес у меня другой, а именно: п/п 06743а.

Трофимов

После войны, вернувшись в академию им. Фрунзе, генерал-майор Трофимов служил начальником курса основного факультета.

Я никогда не встречалась с этим замечательным человеком, но очень много о нем слышала. Об этом речь еще впереди.

Наши судьбы тесно переплетены. Трое моих детей: Ольга, Захар и Павел — правнуки генерала Трофимова.

После войны моя тетя вышла замуж. В 1949-м году (в 39 лет, как и старшая сестра Стелла) родила она свою первую и единственную дочку. Муж-фронтовик умер до рождения девочки.

В 1952 году моя бедная Танечка пережила страшное горе: дочка ее, трехлетняя Светочка, скончалась после долгой болезни от туберкулезного менингита.

Как смогла она пережить эту трагедию, сохранить свой светлый и добрый взгляд на жизнь? Я сейчас понимаю, насколько сильным духом обладала она. И еще — терпением. И неиссякаемым запасом любви. Вся ее любовь досталась мне — неприкаянному ребенку. То, каковы истинные качества человека, чаще всего выявляется с бедой: плохой человек стервенеет на глазах, а хороший человек после собственных испытаний делается еще добрее к людям.

Тети мои были людьми очень хорошими.

…В ноябре 1999 года я впервые побывала в Иерусалиме.

Одно из самых сильных впечатлений — Мемориал холокоста Яд ва-Шем на Горе Памяти.

Есть там памятник Янушу Корчаку с детьми. Тесно прижавшись друг к другу, стоят дети, окружив своего воспитателя. Это еврейские дети из Дома сирот в Варшавском гетто, удушенные 6 августа 1942 года в лагере смерти Треблинка.

Януш Корчак (Эрш Хенрик Гольдшмит) был выдающимся педагогом, писателем, врачом. Он оставил множество трудов, посвященных воспитанию детей. И до последнего дня существования Дома сирот он учил детей сохранять достоинство и быть хорошими людьми.

Дом сирот (200 детей с воспитателями) появился на вокзале, шагая организованным строем, в парадной одежде.

На перроне эсэсовец, узнавший знаменитого врача Корчака, сказал: «Доктор, вы можете остаться».

Корчак последовал в лагерь с детьми и с ними принял смерть.

…Могилы в Иерусалиме принято укрывать камешками. Пространство вокруг памятника Корчаку и детям было усыпано белыми камнями. Я взяла несколько белых камешков, привезла их в Москву, отправилась на Востряковское кладбище и положила у памятника трем сестрам, моим незабвенным Стелле, Анечке и Танюсе, Тайбеле, как попросила я написать на камне. Они сделали меня человеком. Им я обязана жизнью.

Главное — упорные тренировки

Мне четыре года.

Я уже давным-давно живу в Москве с тетей. Хожу в детский сад. Читаю книжки. Думаю о взрослой жизни.

Дело в том, что у всех взрослых один вопрос к ребенку:

— Ну, и кем же ты будешь, когда вырастешь?

В моем случае начинается чуть-чуть иначе. Из-за кудрей. Кудри редкость. И я их не люблю. Их расчесывать трудно после того, как голову вымоют. И кудри — это некрасиво, неаккуратно, не как у всех. Так мне не раз Лидия Ивановна говорит. Воспитательница. Другие не ругаются. А эта — очень строгая. Любит, чтобы все было правильно. А у меня неправильно. Вот она и страдает со мной…

Когда чужие видят меня на улице, они сразу, будто сговорившись, начинают свою песню:

— Ой, какое чудо! Ой, какая кудрявенькая!

Издеваются надо мной, ясное дело.

Тетя очень пугается, когда начинаются эти восклицания по поводу кудрей. Она тихо, как бы про себя, но мне-то слышно, говорит:

— Соль вам в глаза…

Я у нее спрашиваю:

— Танюсенька, зачем им соль в глаза?

Она туманно отвечает:

— Очень много злых глаз…

Ну, понятно… Людям не нравятся мои кудри. Я их злю. А Танюсенька переживает за меня. Ей жалко, что я *такая* уродилась на белый свет… Она меня любит и бережет.

Зря она боится! Совершенно напрасно!

Потому что я-то знаю, кем буду, когда вырасту. Это моя тайна. Никому не говорю, даже ей.

На глупые вопросы взрослых отвечаю каждый раз по-разному. Первое, что попадется. Например, милиционером (вон он прошел в сапогах, с палкой полосатой — будет командовать движением машин). Еще можно сказать, что газировку буду продавать, как та толстая румяная тетя в белом фартуке… Еще — воспитательницей…

Это все пустое. Полная чушь. Чтобы отстали и можно было бы думать о своем. Думать и тренироваться.

Потому что я буду не милиционером или воспитательницей, Боже упаси!

Я буду *героем войны*!

Их очень много вокруг, героев. Вот идет человек с палочкой и в черных круглых очках. Ему все дорогу дают. Потому что он слепой! Он на фронте потерял зрение. Он — герой!

Есть люди без одной руки. Тогда пустой рукав пиджака засунут в карман. Это тоже герои. Они на фронте потеряли свои руки. Но живут, не плачут. Работают. Ни на что не жалуются. Они — герои.

И те инвалиды, которых в Москве мало, но, пока жила с мамой и папой, видела каждый день. Те, которые совсем без ног. На маленьких тележках. Они двигаются, отталкиваясь от земли руками… Бедненькие. Это все тоже война… Война повсюду…

Она была давно. Кончилась, когда меня на свете не было. Но она — вот… Рядом. И все время говорят о новой войне. Что и как будет, когда она начнется.

Не если начнется… Тут было бы предположение… А когда! Значит — точно начнется, вопрос лишь во времени.

Мои тетечки к войнам привыкли. Войны им очень не нравятся, но от них не зависит… Так они мне говорят… Ну, они уже старенькие… А я полна сил, молода… Начнется война — буду их защищать. А кому еще?

Картина такая. Кудри состригаю напрочь. Наконец-то! Делаюсь настоящий солдат-герой. Никто не будет своими злыми глазами на меня смотреть и сюсюкать: «Ой ты какая кудряшечка!»

И Лидия Ивановна одобрит и наконец-то полюбит меня. Поймет, что я тоже за дисциплину и за порядок.

В общем, пойду на фронт. Каждый день стану совершать подвиги, бросаться в самое пекло, защищать собой товарищей по оружию. А каждый вечер, после боя, будем петь песни. У костра. Я больше всего люблю «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!».

Танюсенька говорила, что во время войны эта песня была как наш гимн. И по радио в шесть утра сначала звучала эта песня. И люди шли работать для победы.

Мы, солдаты следующей войны, тоже будем петь эту песню. И утром, и вечером…

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!

Я всегда очень волнуюсь из-за слов… Слова стихов меня тревожат. Я не боюсь чужой ругани. Вообще ничего не боюсь. Но плачу из-за сильных слов… А ведь нельзя!

Герои не плачут…

А потом я совершу самый гордый подвиг. И стану, как эти настоящие герои войны. Как тот, что без глаз, например. Он так уверенно шел со своей палочкой.

Тетечка сказала:

— Научился жить без глаз. Человек ко всему привыкает. Жизнь…

И я решаю, что зря трачу время на прогулки просто так. Время — самое ценное, что есть у человека! Так говорит мне Танюсенька. Его, время, надо расходовать с толком. Не тратить зря. Учиться надо чему-то, что потом пригодится.

Она права!

Я начинаю учиться ходить с закрытыми глазами. Мне это пригодится, когда я, герой войны, вернусь к мирной жизни.

Сначала все легко.

Несколько прогулок мы идем за руку с тетечкой. Я с закрытыми глазами. Она ничего не замечает. Здоровается с кем-то. Идет, разговаривает. Я иду и горжусь. Стараюсь сделать страдальческое, скорбное лицо. Чтобы прохожие понимали и сочувствовали. Идет девочка-герой. Может, она уже с войны… Кто знает… Всякое в жизни бывает.

Я тренируюсь и дома. Хожу, ощупываю предметы. Тетечка спрашивает:

— Ты, Галенька, в жмурки сама с собой играешь?

Я ее не разубеждаю. Узнает потом, какие жмурки…

Через несколько дней мне становится скучно ходить за руку с закрытыми глазами. Ничего тут такого особенного нет. Иду и не вижу ничего. Все пропускаю. Надо усложнять. Я упертая. Если что решила, буду добиваться… Это я о себе слышала. И это правда. Значит, что?

Значит, надо идти с закрытыми глазами, одной, по кромке тротуара.

У меня получается. Но очень недолго. Танюсенька пугается:

— Что ты! Что ты! Там же машины! Собьют!

Она не понимает, что имеет дело с практически сложившимся героем войны. Какие машины могут быть герою помехой?

Еще несколько прогулок. Попытки пройти по бордюру. Тренировки в детском саду, в скверике. Воспитательнице плевать, когда я шмякаюсь, споткнувшись о корни деревьев. Главное, чтоб все были на глазах. А я все хожу и хожу…

Наступают выходные.

Самое время попробовать, чему научилась за неделю. Мы опять идем гулять по Садовой Кудринской. Тетя останавливается

поговорить со знакомой. Я тихонечко высвобождаю руку. Сейчас посмотрим… (Сказал слепой глухому — это моя реплика уже из нашего с вами времени))))

Я гордо иду по бордюру. Глаза закрыты. Лицо героически-скорбное.

— Ай! Ты опять!!!

Я даже не успеваю открыть глаза! Оступаюсь, подворачиваю ногу, падаю.

— Я же тебя просила, деточка моя, не отходить… Видишь, что случилось!

Случилось чудо! Случился подвиг!

Я теперь — раненый герой! Я не могу встать на ногу — больно.

Ура!!!

Тетя несет меня в Филатовскую больницу: она тут, напротив места нашей прогулки.

Старенький врач с седой бородкой осматривает мою ногу. Нога опухла. Я счастлива. Все всерьез.

— Ну, герой! — хвалит меня доктор.

Да! Я добилась! Я — уже — герой!!! Внутренне я ликую. Но дедушке-врачу всем своим обликом показываю страдание. А то вдруг скажет — ничего страшного… А мне надо… Мне надо…

— До свадьбы заживет, — произносит доктор. — А сейчас — тугую повязку. И минимальные нагрузки на ножку.

Тугую повязку! Вот оно — счастье! Вот теперь — все! Теперь все увидят — я совершила подвиг. Уже! Я герой!

Свершилось!

Мы идем домой. Тетя пыталась меня нести на руках, но я сказала, что вполне могу сама. Нога побаливает, но только чуточку. Я хромаю.

Мне хорошо!!!

Я знаю — если долго тренироваться, любая мечта исполнится!

Терпение и труд все перетрут. Так мне Танюся повторяет.

И так оно и есть.

Магические стекла и волшебная тряпочка

Я ношу очки с четырех лет. С очками у меня никогда не было никаких переживаний, мучений, ощущений ущербности и урона своей девичьей красе. Тут я должна сказать огромное спасибо моим близким. Хочется в который уже раз заметить, что меня окружали очень любящие и внимательные люди, тонко разбиравшиеся в детской психологии. Именно благодаря им, моим дорогим тетям, я была ограждена от многих страданий (совсем не пустяковых), через которые проходят дети, вливаясь в социум.

Итак, получили мы в «Оптике» первые мои очочки. Тут же выбрали к ним красивый футлярчик и специальную фланельку для протирки стеклышек. Дома я радостно примерила очки, не подозревая, что теперь могу стать объектом насмешек и издевательств со стороны моих «коллег» по детскому саду. И если бы меня не подготовили, вполне мог взрасти во мне определенный, не очень симпатичный комплекс.

Но меня подготовили!

Мне сказали так:

— Завтра ты пойдешь в детский сад в очках. Тебя могут начать дразнить.

Ну, как дразнят в детском саду — это я уже знала. Был бы повод. Меня пока не дразнили. Теперь, значит, повод был.

— А как меня будут дразнить? — живо заинтересовалась я.

— Ну, скорей всего — очкарик. Но ты можешь сделать так, чтобы дразнить тебя было совсем скучно. Тогда никто этого делать не будет.

Конечно, мне было очень интересно, как сделать так, чтобы с темой очков от меня отстали раз и навсегда.

— Что мне надо сделать? — жадно спросила я.

— Во-первых, никогда не показывай человеку, который хочет тебя обидеть, что ты обиделась. Иначе обидчик никогда не отстанет. Смейся вместе с ним. Тебе скажут «очкарик», а ты засмейся и скажи, что правда же это здорово, что ты ужасно рада своим волшебным очкам.

— А они у меня волшебные? — тут уж я прямо задохнулась от счастья.

— А разве нет? Ты же без них плохо видела. Ты не могла читать так быстро, как тебе хотелось. А теперь ты будешь хорошо видеть, прочтешь много книг, узнаешь столько всего! И все

благодаря волшебным стеклам твоих очков.

Это было чистейшей правдой. И настоящим чудом. Потому что без очков — видно плохо, в очках — отлично. А читала я и так лучше всех в группе. Теперь же… О!

Но волшебство очков перекрывалось еще кое-чем! Сейчас мне кажется, что полной, полнейшей ерундой. Но ерунда эта — работала! Счастье, что мои тети все это чувствовали, знали, понимали.

— Если кому-то волшебных очков покажется мало, и тебе все равно скажут «очкарик», ты с улыбкой скажи: «Да! И у меня не только волшебные очки, которые только мне и никому другому помогают знать все на свете, но к ним есть еще и специальный футлярчик и даже (!!!) фланелька!!!»

Предупрежден — значит вооружен. Я была вооружена, можно сказать, до зубов.

Представьте, все прошло точно по сценарию! Мне даже было неинтересно. Мне сказали: «Очкарик», я тут же радостно засмеялась и хвастливо выдала заготовку про волшебные очки, футлярчик, фланельку. Почему-то именно фланелька (просто кусочек яркой мягкой тряпочки) произвела самое большое впечатление на коллектив.

Все! Тема эта больше меня не касалась.

(Но знаю много случаев, когда неподготовленные дети вступали в серьезный конфликт со своими одногруппниками, в результате которого отказывались от очков напрочь, что, впрочем, не спасало их от дальнейших преследований, потому что они не были готовы к умному отпору вообще. Ведь умный отпор — это не кулаки, не слезы и сопли, не жалобы и стоны воспитательнице. Умный отпор — это ощущение окружающими, что их язвительные замечания совершенно тебя не уязвляют. И в выработке такого подхода должны помочь взрослые. Хорошо, если они понимают серьезность и важность этой задачи, хорошо, если знают, как именно помочь, что именно и становится настоящей силой (а это — всегда — сила ума и юмора, но не сила мускулов). Если таких взрослых рядом нет, болевая точка обеспечена.

А ведь все так просто — немного фантазии и отсутствие агрессии по отношению к другим детям.)

Я люблю наш дом!

Мама оставила меня в Москве. Сама уехала, а меня оставила. Она, прощаясь, сунула мне в руку игрушку: маленький, но тяжелый черный утюжок. Совсем, как настоящий.

Была мама, а остался утюжок.

Я его часто держала в руках перед сном.

Новое место моей жизни я со временем очень полюбила. Даже сейчас скучаю по нему, хотя вряд ли сегодня чувствовала бы там себя привольно. Квартира 60-а была на самом деле комнатой площадью шесть с половиной метров.

Дом наш находился рядом с Военной академией имени Фрунзе. Его и построили в конце 20-х годов XX века для слушателей академии. Интересный дом. Сейчас бы его назвали домом гостиничного типа. В него можно было попасть с правого входа и с левого. И совершенно неважно, откуда заходить: все равно на каждом этаже оказываешься в огромном широченном и длиннющем — во весь дом — коридоре, по которому мы катались на трехколесных велосипедах. (Почему-то на двухколесных уже не разрешалось.) Высокие потолки, большие трехстворчатые окна. То, что сейчас называют сталинскими домами тридцатых годов.

Приезжал офицер учиться, ему с семьей давали комнату. Чаще всего — одну на всех. Туалет — один на несколько комнат. (Это вполне терпимо, гораздо страшнее, когда люди жили в коммуналках, где на двадцать семей имелось одно «удобство».) Впрочем, за все время нашей жизни в этом доме я ни разу не побывала в этом «месте общего пользования». Тетя страшно боялась инфекции, поэтому для меня имелся горшок.

Вот что поражало мое детское воображение, так это кухня! Я не знаю точный метраж этого помещения. Мне она казалась сказочным дворцом. Несколько огромных окон. Плиты, плиты, плиты вдоль стены. (Сначала были керосинки, но потом в дом провели газ и поставили плиты — это огромное достижение.) У каждой хозяйки — свой столик. А в центре — огромный стол (или несколько сдвинутых вместе столов). Тут раскатывали тесто для пирогов, шинковали капусту… Дружно-весело… А еще там были широкие скамьи. На них ставили корыта для стирки или оцинкованные ванночки для купания детей. Купаться на кухне было весело! Единственно, что неудобно: укутанного после купания ребенка приходилось нести в свою комнату на руках через весь длиннющий холодный коридор. Поэтому нас заворачивали в полотенца и одеяла, как для выноса на мороз в самых северных краях.

Таких кухонь на каждом этаже имелось две, правая и левая.

На кухне проходила большая часть жизни офицерских жен. Тут они учились готовить, обменивались новостями, сплетничали, ссорились, мирились, хвалились достижениями мужей и детей. Они трудились по-настоящему. Вести домашнее хозяйство, стирать руками, гладить тяжеленным утюгом форму мужа (ежедневно!), завтраки-обеды-ужины, будни-праздники… О том, чтобы муж как-то помогал по хозяйству, и речи идти не могло. Я ни разу не видела, чтобы мужчина зашел на кухню. Это считалось неприлично. Примерно так же, как зайти в женский туалет.

Мужчина обеспечивал средства к существованию. Женщина обеспечивала быт, воспитание детей, порядок в доме.

Такой семейный уклад еще сохранялся от прежних времен. А в офицерской среде зачастую и выбора иного не предоставлялось. В Москве-то с работой или учебой проблем для жен не было никаких. Для детей — детский сад. Работай, учись. Но проходит несколько лет, муж заканчивает академию, едут они в дальний гарнизон. И все. И снова ты — офицерская жена. На тебе дом, тыл мужа, воспитание детей. Вся жизнь и все интересы — в своих домочадцах.

Слушателями академии в те времена становились бывшие фронтовики. И для них дом, уют, надежность быта значили многое.

Что сейчас покажется удивительным: ни разу не были мы, дети, свидетелями семейных скандалов, ни разу за все детство я не слышала ни одного бранного слова из уст мужчины. Женщины и дети оберегались от грязных слов.

И еще. Я ни разу не видела пьяного офицера. Чисто теоретически я допускаю, что они у себя в четырех стенах и могли пропустить рюмочку. Но не в будний день. По праздникам. И не до потери человеческого облика.

Я видела и боялась пьяных, еще живя в Каменке. От пьяных исходила опасность безумия. Безумный способен на все, поэтому от него лучше убежать и спрятаться.

Но в нашем доме на проезде Девичьего поля жили люди, ценившие собственную репутацию и уважавшие себя. И представить себе, что где-то пьют, ругаются, дерутся, оскорбляют жен, пугают детей, казалось невозможным.

Наша с тетей комната не казалась мне маленькой. Прихожая занимала не больше полуметра. Там висели наши пальто, а под узенькой скамеечкой стояла уличная обувь. Шесть жилых метров вмещали самое необходимое: одну стену почти целиком занимало высокое трехстворчатое окно. Вдоль окна стояла

железная тетина кровать. У правой стены, перпендикулярно кровати, находился сундучок, покрытый ковром. На нем я спала. Моя постель: матрас, подушка, одеяло — днем убиралась в шкаф. Тогда на сундучке можно было играть. Ко мне даже девочки приходили, когда я стала чуть постарше.

У левой стены, тоже перпендикулярно тетиной кровати, располагался стол с зеленой лампой. Этот стол, естественно, становился обеденным, когда мы в выходные ели дома. Тогда на нем обязательно появлялась крахмальная скатерть. В остальное время он выполнял функции письменного стола. За ним я потом, учась в первом классе, делала уроки.

У нас имелся, естественно, и шкаф. Высокий, дубовый. Все-все наше имущество находилось в нем. Между сундучком и столом оставался совсем небольшой проход к тетиной кровати и к окну. Теснота меня не смущала. У нас всегда было чисто, светло, уютно.

А если хотелось побегать, пожалуйста: коридор. Всеми признанная детская территория. Единственная опасность коридора: чья-то мама, несущая из кухни кастрюлю с супом в свою комнату. Путь-то неблизкий, бегущий ребенок может случайно врезаться на полном ходу… Даже страшно подумать! Но никогда ничего не случалось. Потому что всегда перед женщиной с кастрюлей оказывалась другая чья-то мама (на подстраховке). Она и предупреждала детей: «Осторожно! Суп несут!» И все понимали: надо дать дорогу. Впрочем, игры в коридоре происходили в случае уж очень плохой погоды. Обычно мы собирались на улице у дома.

У нас в нашей «квартире» имелось радио. По виду наушник (для одного уха). Громкость не регулировалась. Хочешь хорошо слышать, приложи к уху. А если положить наушник на стол, тоже будет слышно, но плохо, слова не всегда разберешь. От наушника шел шнур, на конце шнура — штепсель. Но его нельзя воткнуть в обычную розетку: ударит током.

Передавалась всегда только одна радиопрограмма, но нам хватало.

Мы слушали вместе Шопена, Чайковского, Прокофьева. Вскоре на вопрос Танюсеньки: «Ну-ка, что это играют?» — я без запинки называла произведение и автора. И диктор тут же подтверждал:

— Вы слушали марш из балета Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

По-моему, чаще всего передавали по радио выступление народного хора имени Пятницкого. Почему-то, когда пел хор, я не разбирала слов. Почти совсем. Было чувство, что в морских

волнах плещется сразу очень-очень много людей, которые орут что-то, стараясь перекричать друг друга. Но иногда и хор исполнял песни очень даже понятные, с первого раза показавшиеся знакомыми.

Я сразу запомнила «По диким степям Забайкалья…» Может быть, потому что там пел сначала солист, а ему отвечал хор. Да и слова простые:

— По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,

— начинал певец.

— Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах,

— продолжал хор.

Откуда берется у ребенка понимание этих слов — бродяга, судьба, сума?

Я не знаю. Но вопросов по песне не возникало. Как не было вопросов про то, почему у меня есть руки, ноги, глаза. Это так, потому что так должно быть.

А песня эта — про часть нашей души, где все понятно и про судьбу, и про суму. Изначально.

— Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал,

— рассказывал певец, словно о себе.

— Бежать больше не было мочи,
Пред ним расстилался Байкал,

— разъяснял сочувственно хор.

И совершенно понятно делалось, что в тюрьме страдают за правду. И что за правду положено страдать. Во всяком случае, в песнях русской души.

— Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбацкую лодку берет.
И грустную песню заводит,

Про родину что-то поет.

А как же? Конечно, про родину. И, конечно, грустное.
И вот уже весь хор разом:

— Бродяга Байкал переехал,
Навстречу родимая мать.
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,
Здоровы ль отец и мой брат?»

Ответ конечно же неутешительный:

— Отец твой давно уж в могиле,
Сырою землею закрыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит.

И сомнений никаких не возникало: брат тоже в Сибири страдает за правду.

Сейчас даже странно: как это все пели тогда? Миллионы узников лагерей, репрессии… А по главной радиопрограмме «в тюрьме он за правду страдал»… И вопросов почему-то у цензоров не зарождалось.

Дело в том, что хор исполнял старую (!!!) русскую народную песню о прежней (!!!) жизни в царской России! И никаких аналогий.

Как же я сочувствовала бродяге! Слезы наворачивались.

Когда передавали песни, Танюся всегда подпевала исполнителям, и я подтягивала. Несколько песен до сих пор — от начала до конца — помню и пою «внутри себя»:

«Далеко-далеко, где кочуют туманы…», «Хорошо, хорошо, когда в город приходит весна…», «Все стало вокруг голубым и зеленым…», «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…», «Когда умчат тебя составы, за сотни верст, в далекий край, не забывай, не забывай родной заставы, своей любви, своей судьбы не забывай…»

Эта, последняя из названных сейчас песен, учила меня жить — в самом серьезном смысле. Я детской цепкой памятью ухватилась за слова:

Не забывай, что после вьюги

Опять всегда приходит май.
Не забывай, не забывай своей подруги,
Своей любви, своей судьбы не забывай.[3]

Я старалась не грустить, ведь «после вьюги всегда приходит май».

И еще — я старалась помнить. Это страшная и грустная тема. Я помнила свою жизнь до тети. Я помнила маму. Помнила! Помнила!

А бедной Танюсеньке очень хотелось, чтоб я называла мамой ее. Я-то для нее стала дочкой. Одной-единственной. Главной частью и любовью ее жизни. Она ждала слова «мама». Но — я не могла. Не могла. Никак. (Я, как потом оказалось, верна до упрямства. Памяти своей верна, любви ко всем родным, отчизне своей…)

У меня не получалось выговорить «мама» никак. И связаны с этим печальные переживания, когда чужие тетки, наверное, желая сделать Танюсеньке приятное, упрекали меня при ней (такое случалось нередко, и в детстве, и в отрочестве, и в юности):

— Что ж ты! Человек столько в тебя вложил, а ты мамой ее не назовешь! И не стыдно!

Мне не было стыдно. Меня обжигала обида на неправедливость упреков.

— Зачем они лезут? Что они понимают? Почему судят?

И все же я иногда пыталась мысленно примерить слово «мама» к Танюсеньке. Она была самым-самым дорогим мне человеком. Ближе и дороже не было и не могло быть никого. Танюсенька, милая моя Танюсенька! Добрая моя душенька!

Сказать «мама» так у меня и не получилось.

Карлик-Нос

Мы с Танюсенькой идем по улице. Навстречу нам движется очень странная тетенька. Она маленькая — почти как я. И голова у нее как будто растет из груди. Очень большая голова. На лице длинный нос. А из-за головы виден горб.

Тетенька идет медленно, с трудом. Ковыляет.

Она необычная.

Меня волнует вопрос: она инвалид?

Но у нее есть ноги и руки. Вернее, ножки и ручки. Они коротенькие, не как у других людей. На коротеньких ножках быстро не пойдешь.

Она инвалид или нет? Это кто-то так ей сделал из-за войны?

А вдруг она волшебная тетенька? Я видела в книжках такие картинки. Она немножко похожа на Бабу-Ягу. Но Баба-Яга совсем старая. И высокая. Она на картинках всегда одного роста с Иванушкой-дурачком, которого хочет испечь и съесть.

Нет, это не Баба-Яга. Тогда кто же?

— Танюся! Смотри!!! Какая тетенька! Она из какой сказки?

Я показываю пальцем в сторону сказочного персонажа. Я говорю очень громко, практически кричу.

Танюся пугается. Я вижу, что она очень смущена и испугана. По-настоящему. Она одергивает меня:

— Никогда не показывай пальцем! Никогда не кричи на улице! Никогда не глазей на прохожих!

Я пугаюсь из-за ее испуга. Мне очень стыдно.

Тетенька останавливается и пристально смотрит на меня. Смотрит, смотрит. А потом говорит:

— Ишь ты какая!

И больше ничего.

— Простите, пожалуйста! Ребенок, — оправдывается тетя.

Я понимаю, что сделала что-то ужасное. Щеки мои начинают гореть. Мне неловко смотреть по сторонам.

Мы заходим в сквер, садимся на скамейку. Тетя гладит меня по голове, объясняет:

— Разные люди рождаются на свет. Всем нелегко живется. А вот таким, как та бедная женщина, и совсем худо. Разве тебе приятно было бы, если бы все на тебя пальцами показывали?

— Нет! — отвечаю я.

Щеки горят. Я все понимаю. Что же я наделала? Я обидела человека!

— Она инвалид? — спрашиваю я.

— Да, она инвалид.

— Это из-за войны?

— Нет. Инвалиды бывают не только из-за войны. Люди рождаются с болезнями, отклонениями. Надо всегда радоваться и судьбу благодарить, если у тебя все в порядке. А таким людям надо сочувствовать, помогать. Но не пальцами на них показывать. Не делай другому то, что тебе не понравится. Прежде чем сделать, подумай: а мне это не было бы больно? Ты поняла?

Я, конечно, все поняла. И я не могу забыть, как на меня смотрела эта тетенька и как она сказала «Ишь ты какая!». Не ругалась, не злилась, но ТАК сказала… Мне почему-то страшно.

— Я тебе сегодня одну сказку прочитаю, — говорит тетя. — Думала, рано еще, потом. Но это очень важная сказка. Сегодня будем читать.

Я радуюсь. Значит, все. Про то мое поведение можно забыть. Я, конечно, никогда ни на кого не покажу пальцем, никогда не стану глазеть, оглядывать. Но хочется поскорее забыть и жить, как прежде. Без чувства стыда.

Вечером доходит дело до сказки.

«Карлик-Нос».

Ничего более страшного я в своем детстве не слышала.

Мальчик обидел старуху, похожую на ту тетеньку, что я сегодня обидела. И та сказочная старуха устроила так, что у мальчика тоже вырос горб. И нос стал крючком… И родители его не узнали, прогнали его насовсем.

Разве может быть что-то страшнее?

Я буквально трясусь от страха. Зуб на зуб не попадает.

— А та тетенька… Она за мной не придет? Я не стану, как она?

— Та тетенька не придет. Но никогда не обижай других людей, если не хочешь, чтоб обидели тебя. Запомнила?

— А та тетенька так на меня смотрела… Может, она запоминала меня? Чтоб прийти и забрать?

— Нет. Она смотрела, потому что ей было очень больно и обидно. И она не знала, что сказать.

Я долго не могу заснуть. Я мечтаю встретить ту тетеньку и попросить прощения. И еще сказать, что я теперь не такая! Я так больше не буду. И еще… Еще я попрошу ее не забирать меня от Танюсеньки. И не превращать меня в Карлика-Носа…

Я больше никогда-никогда…

Пони

Мы часто ходим в зоопарк. Он от нас близко.

В зоопарке я знаю всех зверей. Знаю, кто хищный, кто травоядный. Знаю, что верблюды очень сильно плюются, если на кого-то обидятся. Очень люблю смотреть на обезьянок: они играют так смешно!

Но в зоопарке, кроме зверей, есть еще другие детские радости. Например, свистулька «уди-уди». Это короткая, пустая внутри трубочка. С одной стороны к ней приделан резиновый шарик. Если через трубочку шарик надуть, то потом трубочка станет свистеть.

Еще продаются яркие мячики. Они обмотаны резинкой и держатся на резинке. Можно дергать резинку, тогда мячики подскакивают.

Еще есть значки, флажки… Много чего.

Мне всегда что-нибудь покупают. Только одно никогда: красные леденцы на палочке в виде петушков.

— Это отрава, — объясняют мне. — Изготовлено в кустарных условиях.

Сначала я, естественно, думаю, что делают петушков в каких-то грязных кустах, и спрашиваю, так ли это.

Мой вопрос веселит взрослых. Мне говорят, что почти так. Не в кустах, конечно, но непонятно где, непонятно из чего и наверняка грязными руками. И красная краска петушков — очень вредная химия.

Конечно, после таких сведений никакой петушок в рот не полезет. Да и без них хорошо.

В зоопарке еще можно покататься на пони. Пони — маленькие лошадки. Совсем как игрушечные. Но настоящие! Они везут за собой расписную тележку. Вот в этой тележке и можно покататься. Такая маленькая лошадка может везти сразу нескольких детей — это тоже чудо!

Я много раз каталась на пони.

Однажды получилось так, что посадили меня в тележку на место с краю. Я прекрасно видела Танюсю. Она помахала мне рукой на прощанье.

Тележка покатилась, и я вдруг с ужасом заметила, что за нами бежит точно такой же, как наш, пони. Он бежит очень быстро и вот-вот догонит нас.

Я мгновенно поняла, ради чего пони так резво мчится. Он хочет меня укусить! Я только сейчас увидела, какие у него зубы. Огромные! Очень страшные зубы. Он держит во рту железяку, из-

за которой выглядит крайне свирепо. Взгляд его нацелен прямо на меня.

Зачем я согласилась сесть на это место? Ведь я теперь ближе всех к этому ужасному пони. И вот сейчас он настигнет нас и искусает меня до смерти.

Что делать?

Ужас сковал меня. Я хотела отвести глаза от бегущего за нами пони и не могла. Я понимала: лучше не смотреть. Но смотрела и смотрела. Мне жутко хотелось кричать, и почему-то было стыдно опозориться перед другими. Все молчат, даже самые маленькие, которым наверняка года по три, не больше. А мне совсем скоро исполнится пять! Я — взрослый человек. Разве взрослый человек заревел бы при виде пони? Все, конечно, бы стали смеяться. И надо мной будут…

А пони все бежал и бежал. Вот-вот догонит.

— Хочешь еще один кружочек прокатиться? — спросила Танюсенька, когда тележка остановилась.

Я отказалась. Руки и ноги у меня дрожали.

— Что с тобой? Ты не заболела? — встревожилась тетечка и пощупала мой лоб.

— Я боялась, что тот пони меня укусит. Он так гнался за нами, — пришлось признаться мне.

— Ну, ты глупышка! Только ему и дел, что детей кусать. Он тут работает. Посмотри-ка на него еще раз. Он добрый, маленький, катает всех целый день за охапку сена. Его бояться не надо. Только пожалеть и посочувствовать.

Я вгляделась. Теперь в маленькой лошадке ничего страшного не оказалось. Пони стоял понурив голову. Он правда выглядел усталым. Сердце мое пронзила жалость. Мне стыдно стало, что мы просто так, ради забавы катаемся на бедных маленьких коньках.

И тут я заплакала. Горько-горько.

— Ну что же ты? — удивилась тетя.

— Пони очень жалко. Бедненький.

Я с тех пор больше на пони не каталась. Жалость к ним так и осталась в душе по сей день.

Садовая Кудринская

Привезли меня в Москву летом. Еще до отъезда мамы я познакомилась со своими другими тетями — старшими сестрами Танюсеньки. Жили они недалеко от Зубовской, на Садовой Кудринской. Все воскресенья, праздники мы проводили у них. Кроме того, в дни моих болезней, когда Танюся не могла оставаться со мной из-за работы, меня тоже привозили на Кудринскую: средняя сестра, Аня, не работала. Она в войну очень сильно заболела, и сестры решили, что лучше пусть она заботится о доме, готовит…

Старшая моя тетя — Стелла — обладала удивительной внутренней силой. Дети сразу, нутром чувствуют и силу, и красоту взрослого. Я настолько зауважала Стеллу, что поначалу называла ее только на «вы». Мне долго объясняли, что она мне родная, что можно на «ты». Я не осмеливалась. Не из страха — она была добра, — из почтения, которое она внушала.

И еще одно счастье и везение ожидало меня на Садовой Кудринской: моя дорогая любимая сестричка Женечка. Она стала для меня примером, товарищем, другом, советчиком. Мое детство и ее юность совпали. Разница в десять лет давала мне счастливую возможность мечтать о своем будущем, исходя из опыта моей сестрички. Умная, добрая, спокойная, уравновешенная, веселая… Вот — редкие человеческие качества, о которых только мечтать можно. И все они сошлись в Женечке. Она легко училась в школе — на одни пятерки. Закончила школу с золотой медалью.

Легкая, солнечная, яркая…

Она родилась 29 января 1941 года. Ее маме исполнилось тогда 39 лет.

Потом, когда у Женечки родится дочка Сонечка, тетя Стелла, любуясь ребенком, скажет:

— Все это должно было произойти двадцать лет назад.

Она имела в виду рождение первой внучки. При условии, что сама бы родила на 20 лет раньше. Только годы, в которые полагалось бы родить Стелле ребеночка, уж очень не подходили для деторождения. Гражданская война, лишения, голод, трудное время учения… Тетя стала врачом, вышла замуж за инженера-химика Якова Марко́вича. И вот — в самое подходящее время появилась на свет Женечка.

До Великой Отечественной оставалось полгода. Какое счастье, что люди не могут видеть будущего!

Жизнь наладилась: ребенок, муж, работа, сестры рядом. Приехала из Дубровны тетя, заменившая в свое время девочкам-

сиротам мать, — ухаживать за младенцем. А 22 июня — война.

Вскоре Женичкиного папу забрали на фронт. Он вообще-то очень плохо видел, у него близорукость была –7. Но он пошел и погиб в боях под Москвой.

Женечка папу не помнила. Только на фотографиях его и видела.

Стелла с дочкой и старенькой тетей Черной эвакуировались под Свердловск. С едой дела обстояли чудовищно. Стелла одна работала, и никак не получалось обеспечить младенца и слабую старую тетю даже едой. Однажды Женечка от еды, совсем не подходящей для десятимесячного ребенка, потеряла сознание.

— Я упала возле нее на колени и закричала нечеловечески, — рассказывала тетя Стелла. — Вот от этого страшного крика ребенок и пришел в себя.

Я слушала этот рассказ и не могла себе представить кричащую тетю Стеллу. Она была для меня воплощением достоинства, выдержки и силы. Но это было.

Вот после этого страшного случая Стелла приняла решение идти на фронт. Другого выхода она не видела. Муж, рядовой боец Красной Армии, к тому времени уже погиб. Вся ответственность за жизнь «старого и малого» лежала на ней. Она, как врач, имела офицерское звание. Стало быть, ее семье, как семье офицера-фронтовика, полагался аттестат, по которому выдавали достаточное количество продуктов. Так она и спасла Женечку — ценой долгой разлуки. Старушка-тетя умерла сразу после возвращения из эвакуации, в 1944-м. За Женечкой ухаживала средняя из сестер, Аня. Она занималась девочкой самозабвенно, любила ее без памяти. Своих детей у Ани не было. К Женечке она испытывала материнские чувства.

…Стелла, уезжая с военным госпиталем, оставила младенца, а вернувшись в Москву с фронта уже после войны, в 1946-м, увидела девочку-дошкольницу…

Но — выжили! Слава Богу!

Мало того! И в войну выжили, и после войны — тетя чудом осталась на свободе. Я только в юности поняла, какая именно туча собиралась над головой тети Стеллы зимой 1952/53-го! Дело врачей! И ждали со дня на день чего угодно: и увольнения, и лагерей. Аресты шли тотальные. Избавление явилось в марте 1953-го, со смертью вождя, о котором сестры вместе со всей страной скорбели как о самом дорогом и близком. Стелла даже сделала попытку пойти прощаться с телом отца народов. Инстинктивное чувство ужаса перед движущейся человеческой

массой заставило ее отпрянуть и не влиться в толпу. Тем и спаслась.

Меня и забрали из Каменки летом 1953-го именно потому, что возникло ощущение: можно продолжать жить дальше, угроза миновала. В противном случае ребенку находиться в Москве было бы гораздо опаснее, чем в провинции.

Но вся картина в целом, разумеется, станет понятна мне только через пару десятилетий. Пока же — я знакомилась со своей семьей, а они узнавали меня.

Тети и Женечка жили просторно. В их классической коммунальной квартире гнездилось еще пять семей. Они же занимали комнату площадью 12 с половиной метров. Дом их стоял (и стоит по сей день) в небольшом углублении: сначала большие деревья за чугунной решеткой, а потом уже дореволюционное многоквартирное здание. Их единственное окно выходило на Садовое кольцо. Главный же вид из окна — огромное дерево — всегда радовал меня. Дерево жило по-своему, на нем сидели птицы, там постоянно что-то менялось, происходило: то почки набухают, то листочки распускаются, то они желтеют, опадают… Вот дерево без листьев спит и, наверное, видит сны: оно же живое, ждет тепла, птиц на ветвях…

Как же размещались на своих «просторах» три человека?

Кровать и диван, поставленные углом. На них спали тетя Стелла и Женечка. Аня спала на раскладушке, которую днем складывали и убирали под кровать. Стол как у нас: обеденный, он же — письменный. Небольшой книжный шкаф, одежный шкаф. Пианино «Красный Октябрь». Вот и вся обстановка.

Большинство жителей Москвы существовали именно так. Как же удавалось в одной комнате бок о бок уживаться совсем разным людям? А просто дома сидеть было не принято. Работали, учились, гуляли в парках, ходили на выставки, катались на речных трамвайчиках… Комната, кровать в ней воспринимались только как место ночевки. К тесноте притерпелись. Не роптали. Помню, в 1958 году, когда Женечка закончила школу и отправилась на выпускной бал на всю ночь, мы, все оставшиеся родственники, ночевали на Кудринской. Так казалось веселее всем вместе ждать Женечку. Для нас с Танюсей расстелили запасную раскладушку, мы вместе и улеглись. Свободного места в комнате не осталось совсем. Женечка вернулась ранним утром, когда за окном уже вполне рассвело. Она вся сияла и светилась в своем белом муаровом платьице, рассказывала, как они гуляли по Красной площади, по набережной Москва-реки, подарила мне воздушный шарик.

Я любовалась Женечкой и могучим деревом за окном. Любовь к жизни билась во мне вместе с ударами сердца.

Потом мы все дружно заснули.

Шестидневка

Остаток моего первого московского лета мы все провели на даче: по старой традиции москвичи на лето снимали домики за городом. Считалось, что в городе летом воздух очень вреден для здоровья. (Что бы сказали они сейчас, даже представить себе не берусь.)

Я быстро привыкла и почти не скучала по прежней своей жизни.

Потом наступил сентябрь. Танюся повела меня в детский сад. Я не знала, что меня ждет. Я не хотела больше никаких перемен. В детстве, когда ты зависим от всех и почти ничего не происходит по собственной воле и желанию, перемены пугают даже сильнее, чем должны бы: они создают ощущение неуверенности.

Но перемены — увы — неизбежны.

Сразу скажу: я категорически, с первого вздоха, невзлюбила детский сад. Наверняка это отношение, если смотреть взрослыми глазами, несправедливо. Но о какой справедливости может идти речь, когда попадаешь в казарму? Когда за тебя решают, что ты должен делать каждую минуту твоей жизни, когда ты не можешь остаться в одиночестве, чтобы просто подумать? А мне, привыкшей к периодам «медитаций», необходимо было в течение дня какое-то время принадлежать только себе.

Японцы стараются обустроить свой быт так, чтобы все органы чувств испытывали удовольствие (о наслаждении молчу — хотя бы удовольствие): обоняние, зрение, осязание, слух, вкус.

Ни одно из перечисленных чувств не питалось в детском саду радостью.

Особенно мучительно ощущался запах: вечный супный дух из кухни. Так пахнет тряпка, которой задрызганная уборщица годами протирает столы.

Этот запах заставил меня тосковать с первой минуты, как я очутилась в чужом пространстве.

Меня отдали на шестидневку. Сейчас такого понятия не существует: два выходных уже давно и прочно вошли в расписание рабочей недели. Тогда работали и по субботам, причем предвыходной день не был короче обычного. Эту льготу — сокращение предпраздничного дня — ввели, когда мне было около шести лет. Мы, считавшие по субботам каждую минутку, когда нас заберут домой, на себе ощутили это счастье: теперь мы попадали домой не вечером, а почти днем.

Но до этого надо было еще дожить! Целых три года!

В понедельник рано утром нас вели отдавать на воспитание. С собой надо было принести большой холщовый мешок, в котором помещались вещи ребенка на неделю: лифчики, чулки, трусики, маечки, платья, переднички. В субботу мешок с вещами забирался домой. Одежду стирали, гладили, снова укладывали в мешок. Первое, чем занималась Танюсенька, забрав меня из сада, — замачивала в тазу на кухне мои пожитки, потом руками стирала и развешивала. Иначе вещи не успели бы просохнуть к воскресенью. В конце выходного она наглаживала чистую высохшую одежду и укладывала ее в мешок.

Отдельное слово о лифчиках. Сейчас вряд ли кто-то помнит это сооружение, а тогда без них не обходились ни мальчики, ни девочки. Лифчики шили из плотной хлопчатобумажной ткани. Выглядели они как короткие, до пояса, майки, только не растягивались, поэтому через голову надеть лифчик не получилось бы ни у кого. У лифчика имелись застежки: пуговицы с петлями. И почему-то застежки эти делали на спине. Поначалу, в младшей группе, мы зависели от взрослых: по утрам выстраивались в очередь к нянечке, она и застегивала нам наши панцири. Постепенно нас приучили застегивать лифчики друг дружке. А в старшей группе мы вполне могли завести руки за спину и сами себе застегнуть лифчик.

Нужен он был потому, что от лифчика спереди тянулись две широкие резинки с застежками для чулок. Никаких колготок и в помине не было. Резинки вечно отстегивались, чулки опадали. Но это никого не смешило: с каждым случалось по несколько раз на дню. Лифчики эти носили мы и в начальной школе. В пятом классе перешли на пояса с резинками. Но это уже другая эра.

После выходных всех детей в обязательном порядке внимательно осматривал врач. Уши, горло, нос, выкупан ли ребенок, подстрижены ли ногти, не завелись ли в волосах насекомые, нет ли сыпи. Потом — в обязательном порядке всем измеряли температуру. Только после этого ребенок отправлялся в группу. Такие проверки были жизненно необходимы. Антибиотики еще не вошли в широкий обиход. Один больной ребенок мог заразить всех. А за этим следовала большая беда…

Меня в один такой понедельник прямо после осмотра увезли в больницу: скарлатина. Тогда с ней безоговорочно забирали в инфекционное отделение. Скарлатина считалась опаснейшим недугом, уносившим немало детских жизней.

В саду нами постоянно занимались. Единственное время,

когда получалось немного передохнуть, — время прогулки в сквере напротив нашего дома. Вот тут я вполне могла играть одна: это не возбранялось. Первые, особенно тяжкие для меня дни в детском саду я отходила к дереву и пела негромко песню «Далеко-далеко, где кочуют туманы…». Почему-то именно она помогала мне избыть тоску.

Детский сад принадлежал Военной академии имени Фрунзе, поэтому все там сделано было основательно, на совесть, даже — с шиком.

У нас имелся просторный зал, в котором в будние дни проходили музыкальные занятие, а в праздники — утренники. Зал этот и сейчас поражает мое воображение: в нем находился Кремль! С настоящей рубиновой звездой! Наличие Кремля в зале примиряло меня с детсадовским существованием. Когда-то, еще до войны неизвестные умельцы соорудили нам этот радующий детские души Кремль. Он впечатлял! Пол зала был устлан огромным ковром. А на двух стенах, почти во всю из величину, висели портреты. На одной стене Ленин, а на другой — Сталин. Они пристально смотрели друг на друга. Сталин — в белом кителе с кучей орденов, Ленин — в обычном костюме с галстуком.

Первая песенка, которую мы разучили, оказалась простой, но незабываемой:

Я — маленькая девочка,
Играю и пою.
Я Сталина не видела,
Но я его люблю!

О том, что Сталин умер совсем недавно, нам говорили нередко и с выражением неподдельного горя. Нам тоже передавалось это чувство утраты. Мы сожалели, что никогда не увидим Сталина. Но — любим! Живем и помним!

Чего я совсем не помню, так это когда исчез со стены нашего зала портрет Сталина. Кажется, через год после моего поступления в сад. И песню велели теперь по-другому:

Я — маленькая девочка,
Играю и пою.
Я Ленина не видела,
Но я его люблю!

Я была готова любить и Ленина, но не понимала, что случилось со Сталиным. Вот — умер и забыли все! Дома я спросила, кто важнее, почему теперь поют не так, как раньше. Мне ответили, что важнее Ленин. Что он с самого начала возглавил революцию. А Сталин у него учился.

— Ну ладно, — решила я. — Раз главнее Ленин, стану теперь его любить.

Но, как верная душа, не забывала я и Сталина. Поэтому, когда пелась эта песенка, я вслух выкрикивала «Ленина не видела», а про себя произносила еще и «Сталина». Справедливости ради. Уж очень красив он был в белом кителе с орденами!

На ступеньках, у самых дверей в детский сад, стояла мраморная скульптура: маленький Ленин с головой в локонах. Ростом ребенок-Ленин соответствовал примерно воспитаннику детсада средней группы. Личико мраморного мальчика умиляло всех нас, мы его любили, как своего. Проходя мимо (на прогулку или с прогулки), мы обязательно стремились погладить каменные кудряшки.

— Здравствуй, Ленин! Здравствуй, Ленин! — произносил каждый из нас любовно.

Ленин стоял и улыбался.

Такой хорошенький!

К каждому утреннику мы выучивали песню и танец. А выступали обязательно в украинских народных костюмах. Почему именно в украинских? Я не знаю. Но любовь ко всему украинскому так и витала в воздухе. Наш главный начальник Никита Сергеевич Хрущев тоже ходил в расшитой по вороту украинской рубахе. Видно, это пристрастие лидера могучей державы было воспринято на бескрайних просторах как руководство к действию.

Итак, мальчики на всех утренниках оказывались в украинских шароварах, подпоясанных алыми бархатными кушаками и в просторных рубахах с расшитыми воротами. Девочки — в ярких юбочках, передничках, рубашечках… Но главное — с венками на головах, от которых сзади спускались разноцветные шелковые ленты. Красота неописуемая! Вот эти самые венки сооружать должны были родители. Как и тапочки для выступлений. Чешек еще не было. Тапочки шили дома. Мастером на все руки у нас была тетя Стелла. Она очень быстро, ловко и прочно шила мне мои «бальные туфельки». Сначала снимала мерку, обводя контур ступни, потом выкраивала, сшивала… К белым балеточкам мне

всегда пришивали розовые атласные ленточки — красота. Венок на голову вполне можно было сделать из покупных искусственных цветов. Но тети считали это безвкусицей и ужасом:

— Кладбищенские цветы ребенку на голову — фу! — возмущались они.

Поэтому я была единственной в своей группе (все долгие детсадовские годы), у кого цветы на венке сооружались из атласных разноцветных лент. Выглядело шикарно, но меня немного смущало, что это не как у всех. Однако — никуда не денешься: искусственные цветы — фу!

Больше всего меня поражали всегда Новогодние праздники. В зале стояла нарядная настоящая душистая елка до самого потолка. Наш Кремль подсвечивался. Мы водили хороводы вокруг елки, пели песни — одну за одной. В конце выходил Дед Мороз. Мы знали: сейчас он раздаст нам подарки. Он знал всех по именам! Но главное в другом: каждый год Дед Мороз придумывал что-то новое. Мы никогда не знали, в чем он принесет свои подарки. Однажды он выкатил к елке сани, на которых стоял огромный зеленый полосатый арбуз. Я таких никогда не видела. Огромный!

Я была уверена, что нам сейчас дадут по куску этого арбуза. В нем уже виднелся заранее вырезанный треугольник, в котором торчал нож, вернее, рукоятка ножа.

— Ну, дети! — обратился к нам Дед Мороз. — Что это я вам привез?

— Арбуз! — крикнули мы.

И тут Дед Мороз взялся за рукоятку, вынул из арбуза треугольник, — показалась даже красная арбузная мякоть, — и провозгласил:

— Я подарки вам привез!

Внутри арбуза оказались подарки!

Я была сражена изобретательностью Деда Мороза наповал.

Нами действительно много занимались в детском саду: учили читать, считать, даже — в старшей группе — иностранному языку, музыке. Нас учили аккуратности: перед сном каждый ребенок складывал свои вещи на стульчик в определенном порядке. В самом низу оказывалась одежда, которая понадобится при одевании в последнюю очередь. Наверху конечно же всегда оказывался лифчик. Необходимость четкого порядка в вещах нам объясняли тем, что мы — будущие солдаты.

— Вот, представьте: сигнал тревоги! Началась война. А вы все спите. Солдат должен подняться и одеться за 20 секунд! Это получится только у того, кто правильно и аккуратно сложил свои

вещи перед сном. Иначе — какие из вас солдаты? Так голыми, в ночных рубахах и побежите, — втолковывала воспитательница.

Звучало очень доходчиво. С тех пор я одеваюсь быстро. Солдат — всегда солдат…

Самые неприятные вещи в саду: поход в туалет строем, хочешь — не хочешь, никому не интересно. Иди, садись на горшок, мальчики с девочками, стыдно, неудобно — это во внимание не принималось. Вы — маленькие, вам стесняться не положено. Ишь, чего удумали.

Еще противная штука — тихий час. Даже если спать не хочешь, лежи и молчи. Невыносимо.

И самое ужасное: ночной сон. В нашей детской спальне никогда не выключают свет совсем. Там горит синяя лампа. От этого все выглядит просто ужасным, как в страшнейшей сказке. С нами в спальне ночует нянечка. И когда она ночью подходит поправить одеяло, кажется, что она превратилась в Чудо-Юдо заморское.

Кроме того, в саду все время так или иначе тебе давали понять, что ты в чем-то виноват. Каждый день возникало несколько поводов, чтобы чувствовать себя виноватыми. Или не чувствовать, но слыть.

Нас с детства загоняли в вину, как в тюрьму. Виноватыми людьми — и маленькими, и большими — управлять легче. Виноватому — лишь бы спрятаться. Лишь бы его не трогали. И еще: виноватый любви не знает. Любви в широком смысле слова: к жизни, к другим людям, к делу, к себе. Вот это, пожалуй, и оказалось самой большой нашей проблемой какое-то время спустя. Но кто ж об этом думал…

А самое хорошее в саду: у меня появилась подружка. Лучшая во всем свете — Оля Бокова. Она черненькая, я — беленькая, мы дружно играем. Мы и живем на одном этаже в нашем доме номер два, катаемся на велосипедах, приходим друг к другу в гости. Мы всегда вместе. Это настоящая дружба.

Детский сад на даче

Когда после первого моего детсадовского сезона нас вывезли на дачу, я поняла, что все плохое и хорошее познается в сравнении.

В Москве у нас шесть дней проходили в ожидании субботы. Уже пятница ощущалась как праздник. В субботу никаких занятий с нами не проводили — свобода! Играй как хочешь. Меня даже не заставляли есть ненавистный суп. Не хочешь — не надо.

Нам предстояли счастливые выходные: вечер субботы и целый воскресный день. Это два счастливых домашних дня хороши еще были и тем, что не надо было пить на ночь кефир с ватками. Кефир в детсад доставляли из детской специальной фабрики-кухни. Там делали молочные продукты особой чистоты и лучшего качества. Разливали их по бутылочкам. Вообще-то это были обычные бутылочки для младенцев — надень соску и готово, можно давать сосать эту полезную пищу хоть самому крошечному малышу.

Нам в детсад кефир привозили конечно же без сосок. Бутылочки просто затыкали ватками. Наши няни вынимали ватки из бутылочек и разливали нам по стаканам. Все хорошо. Я даже любила кефир. Но! Няньки спешили. Им было вообще наплевать на все. Они ватки из горлышек бутылок вынимали частично. И остервенело вытряхивали содержимое бутылок — скорей, скорей… И в стаканы попадали остатки ватных затычек. Это было ужасно, поверьте! Некоторых детей рвало. Я наловчилась выуживать ватку из своего стакана. Она, пропитавшаяся кефиром, выглядела как клок мокрых седых волос… Фууууу… Но выудить получалось не всегда… Отвратительное воспоминание.

Долгий детский день делился на радости и ужасы. Не знаю, чего было больше. Или ужасы помнятся дольше?

Как бы там ни было, в выходные мы оказывались дома. И переводили дух. На даче же нам предстояло проводить почти три летних месяца. Свидания с родителями разрешались, конечно. Но очень ненадолго. Час-полтора в воскресенье и все… Ты на долгий срок оказываешься полностью во власти чужих и равнодушных людей. И надо претерпевать.

Я наловчилась терпеть. Я даже не представляла, что это может когда-нибудь закончиться. Разве что — когда стану совсем большой. Но это когда еще будет! Вот — жизнь идет, а я все маленькая и маленькая…

Накануне отъезда на дачу на всю мою одежду ставили метки: имя, фамилия, группа. Это чтоб ничего не потерялось. Тети

занимались метками вместе. Стелла вышивала — у нее руки были золотые. А Танюся с Анечкой ставили метки марганцовкой. Разводили ее в воде, окунали в фиолетово-черную жидкость спички с намотанной на кончик ваткой и выводили все, что положено, с изнанки. Эти метки оставались навеки.

Потом все вещички складывались в большой холщовый мешок, на котором Стелла вышивала красными нитками всю нужную информацию.

В назначенный день к Академии Фрунзе подъезжали автобусы. Это были трофейные «опели». В один автобус загружали все детские мешки. А нас разводили по группам. Родители махали нам, прощаясь. Мы в ответ махали из окошек. Жизнеутверждающая картинка.

И вот вереница автобусов мчится по Киевскому шоссе в Нарофоминск, на дачу академического детсада.

Мы жадно смотрим по сторонам: деревья, деревья, деревья по обеим сторонам дороги. Дремучий лес. Вот в такой лес и тащила Лиса Петушка…

…Несет меня Лиса
В далекие леса
За высокие горы…

Приезжаем. Строимся. Расходимся по домикам. У каждой группы свой дачный домик. На веранде мы будем спать, чтоб дышать свежим воздухом. В большой комнате будем есть. В другой — играть… Еще играть можно на улице: там, у домика все есть — большая беседка, песочница, качели, домик, чтоб дочки-матери устраивать…

Воспитательница знакомит нас с новыми условиями существования.

— Слушаем все внимательно! — велит она. — Мы уехали из Москвы, чтобы набраться здоровья и увидеть много нового, чего в городе не увидишь. Мы будем гулять в лесу, искать грибы. Вы узнаете названия цветов, ягод, деревьев. И это пригодится вам на всю оставшуюся жизнь. Но помните! В этих местах шли тяжелые бои. В земле осталось много мин. Не убегайте от меня, идите за мной по тропинке, иначе можно наступить на мину и взорваться.

Мы все пугаемся. По-настоящему. Война — не шутка. Мины — существуют. Они убивают. Или, в лучшем случае, делают инвалидами на всю жизнь. Мы все каждый день видим изуродованных войной людей.

— Опасны не только мины, — продолжает инструктировать воспитательница. — Во время боев бойцы рыли окопы. Это глубокие ямы. Они так и остались в земле. Сейчас многие заросли высокой травой. Их не видно. Но они есть. Если сойдете с

тропинки во время прогулки, можете упасть в окоп. И потом не выберетесь из него.

Еще один ужасный ужас!

Мне очень не хочется на эти прогулки. Я не хочу знать названия деревьев, цветов и ягод… Ну их. Я в книжке прочитаю…

— Опасно еще просто заблудиться в лесу, — не прекращает воспитательница. — Вы можете случайно отвлечься, сойти с тропинки и отстать от группы. Шаг, другой — и все. Вы заблудились. А леса тут густые, дремучие. Вас найти будет трудно. Поэтому от группы — ни на шаг!

Поняли меня?

— Да! — жалобно подтверждаем мы.

— Тогда слушайте дальше, — продолжает расписывать дачные прелести воспитательница. — Когда мы будем гулять по лесу, вы увидите много разных ягод. Вам захочется сорвать их и съесть. Но запомните хорошенько: никогда ничего не кладите в рот без спросу. Большинство ягод в лесу ядовитые. От них можно тяжело заболеть и даже умереть. Вы увидите в лесу очень красивые грибы. Но и среди грибов есть как полезные, съедобные, так и смертельно ядовитые. Никогда не дотрагивайтесь до поганок и мухоморов. Хотя мухоморы очень красивые: у них красные шляпки с белыми крапинками. Смотреть можно, но даже трогать нельзя. Запомнили? Поняли меня?

Да! Мы всё запомнили. Еще бы такое не запомнить! И поняли: привезли нас сюда на верную погибель. Смерть все лето будет ходить за нами по пятам.

Мы очень хорошо усвоили все, что запрещается в лесу. Гуляя, мы не отступали от воспитательницы ни на шаг. Постепенно мы перестали бояться. Мы запомнили, как выглядит бузина и волчья ягода. Мы отличали поганки от сыроежек. Мы теперь знали, чем отличаются листья ольхи от листьев дуба и клена. А я даже нашла подберезовик. И воспитательница удивилась и похвалила меня перед всеми.

Странные игры

Почти перед самым отъездом на дачу у нас в группе появилась новенькая девочка по имени Оксана. Обычно новенькие робели, стеснялись, привыкая не сразу к обстановке. Оксана оказалась исключением. Она не просилась в чужие игры, она сама организовывала их:

— Я играть. Кто со мной?

Крупная, кареглазая, румяная, Оксана казалась воплощением здоровья, бодрости и силы. Папа ее поступил в военную академию, тут же перевез семью, устроил дочку в детсад. Вот и на дачу отправились мы все вместе.

Через несколько дней, осмотревшись, ознакомившись с местностью, Оксана во время прогулки подошла ко мне:

— Давай играть?

— Давай! — согласилась я. — А как?

Оксана выдрала из земли длинный стебель подорожника.

— Вот смотри, — принялась она излагать суть предстоящей игры. — Сначала я буду тебя бить этой штукой по ногам. А ты должна стонать, плакать (как будто) и говорить: «Пожалуйста, пожалуйста, я больше не буду…» А потом ты меня будешь бить, и я буду просить прощения. Давай?

Очень сомнительной показалась мне эта игра. В чем суть? Кто станет первым? Тот, кто сильнее бьет? Или тот, кто лучше умеет просить прощения? И ради чего? Но все-таки я поддалась на уговоры и согласилась начать игру.

Меня удивило выражение лица Оксаны, когда она приготовилась стегнуть меня. Ее огромные темно-карие глаза увеличились, ноздри раздулись, она разрумянилась и часто задышала.

Она наслаждалась моментом, полностью войдя в игру.

Рррраз!!! И она стегнула меня изо всей силы по ноге.

Больно — не передать. На ноге тут же образовался длинный красный след.

— Ну, давай! — возбужденно велела Оксана. — Плачь, кричи: «Я больше так не буду, прости»!

— Нет! — ответила я.

— Ты не поняла, — убежденно уговаривала Оксана. — Вот ударь меня, я буду кричать и плакать, увидишь, как хорошо!

— Не хочу, — сказала я.

Игра не имела смысла. И что-то непонятное, но гадостное содержалось в ней.

Сейчас я вполне понимаю, что…

Была еще одна попытка со стороны Оксаны поиграть со мной — в другую уже игру.

— Давай побежим мимо мальчишек и крикнем, что мы идем писать в кусты. Они побегут за нами и увидят наши письки!

И опять я увидела ее горящие глаза и предвкущение счастья на красивом лице.

Эта игра, понятное дело, уж никак меня не заинтересовала. А Оксана побежала. И мальчишки действительно устремились за ней. Из-за кустов доносился их смех, ее возгласы…

Больше она не звала меня играть. И жили мы в детском саду, не замечая друг друга.

Разные люди.

Догадка

Однажды, когда мне уже было пять с половиной лет, нас, как и полагалось летом, снова вывезли на дачу. Я к тому времени была уже опытной дачной жительницей, не боявшейся уже почти ничего. Мы были настолько взрослыми, что нам часто разрешалось играть на площадке самим, кто во что хочет. Мою главную детсадовскую подружку, Олю Бокову, на дачу тем летом не отправили: они всей семьей поехали отдыхать на море. Пришлось мне дружить с совершенно случайными и малопонятными девочками. Читать они не умели, говорить с ними было скучно. Вот так, от скуки, и оказались мы на веранде для сна у стола воспитательницы. Эта моя псевдоподружка цапнула что-то со стола и показала мне:

— Смотри, духи!

Она отвинтила белую крышечку и дала мне понюхать. Пахло ландышем. Я прочитала название: «Ландыш серебристый».

Я прекрасно знала, что это чужое, что до чужого даже дотрагиваться нельзя, не то что брать в руки, открывать… Но в этот момент знание это куда-то испарилось. Мы стояли и нюхали чужие духи. Их запах буквально кружил голову.

— Давай попробуем, глотнем, — почему-то предложила мне странная девочка.

Может, у нее кто-то в семье пил одеколон? Это я сейчас, взрослая, себя спрашиваю. Странное желание — глотнуть духи. У меня оно не возникло. Я вообще не люблю ничего пробовать, даже когда готовлю. Но в тот день…

В общем, девочка заправски глотнула. Так, что флакончик опустел наполовину. Потом она протянула руку мне:

— На, пробуй.

Мне очень этого не хотелось. Очень! Но почему-то я постеснялась отказаться. Она-то попробовала! Если я сейчас откажусь, я буду предательницей. Как много глупостей люди делают за компанию! Но, видно, каждый должен когда-то совершить такую глупость. Может быть, для того, чтобы потом, в следующий раз, не принять очередное дурацкое предложение.

В общем, я осторожно капнула себе в рот каплю духов. Такая приятная для обоняния жидкость оказалась на вкус полной гадостью. Мне захотелось немедленно выплюнуть ее.

— Глотай! — приказала зачинщица.

И я глотнула.

Теперь мы обе были в деле. И уже без всякого притворства и показного героизма скорчили мы рожицы, показывая друг другу,

что зря пробовали эти пакостные духи на вкус.

Флакончик духов, открытый, так и остался стоять на столе. Мы ушли с веранды, тут же забыв о нашей дегустации.

Прошло какое-то время, и поднялась тревога. Воспитательница (не та, что была у нас раньше, а новая, всегда раздраженная и крикливая) очень злобно потребовала признаться, кто брал духи с ее стола.

Мы обе тут же признались. Я испытывала жгучий стыд. Мы просили прощения противными тягучими голосами. Наперебой. Клялись, что больше никогда-никогда…

Раскаяние было искренним, глубоким. Именно из-за него мы проговорились, что попробовали духи на вкус. То есть глотнули.

По идее, чистосердечное признание и раскаяние идет на пользу виноватому. Повинную голову и меч не сечет…

Но в нашем случае все получилось совсем наоборот.

Воспитательница во всеуслышание заявила, что — все. Нам пришел конец. Потому что теперь мы умрем. Духи — ядовитые. И нечего было пробовать чего нельзя. А теперь, ближе к вечеру, нас не станет.

Она повела группу спать, а мы стояли, как заразные. Наши бывшие товарищи по играм даже взглянуть на нас не решались. Еще бы! Кому охота смотреть на смертниц! Тьфу-тьфу-тьфу, не моя болячка!

— А вы что встали? Вам отдельное приглашение нужно? — послышался гневный окрик.

Мы поплелись на веранду.

Мы были настолько подавлены горем и всем своим предыдущим детсадовским опытом, что даже и не думали бороться за жизнь. Не просили позвать врача, например. Странно. Тоже одно из проявлений народного характера? Или наша воля к жизни оказалась к тому времени слишком сильно задавленной всеми наставлениями и дисциплинарными взысканиями…

Я легла в свою кровать в полной уверенности, что уже не встану с нее. Лежала и готовилась к неизбежному. Старших надо слушаться. Старший человек пообещал смерть к вечеру, стало быть…

Компаньонка моя боялась, подвывала от ужаса. Она тоже безоговорочно верила прогнозу обиженной нами воспитательницы.

Громко плакать запрещалось. Я ее утешала шепотом. И как-то она успокоилась, умаялась и уснула. Я лежала и жалела Танюсю. Мало ей прежнего горя, а тут свалится еще одно. Как же она станет жить без меня, бедненькая? Будет сидеть ночами у своей зеленой лампы и плакать, подперев голову руками…

У меня сердце от горя разрывалось. Мне хотелось оставить тете память о себе. Письмецо. Написать бы, чтоб не скучала… Писать я почти не умела, хотя читала, как взрослая. Писала медленно, печатными буквами, с ошибками. Но все равно — могла бы написать. И — не могла. Кто ж разрешить встать во время тихого часа? Такой крик поднимется…

И вот я лежу и представляю себе свою тетю Танечку. Как я бы к ней прижалась, как бы она меня утешила.

Я зову ее, зову…

И засыпаю.

Проснулась — жива! Ну надо же! Повезло! Видимо, чисто случайно духи оказались без яда. Вот мы счастливицы-то!

Потом появилась мысль о воспитательнице: как она, бедная, расстроится-то! У нее не настоящие духи…

Потом, на вечерней прогулке, наша Лидия Ивановна, не таясь, как о своем значительном достижении, рассказывала няньке о том, как проучила нас, бесстыжих, за то, что мы посягнули на ее собственность. Она смеялась, рассказывая, и все повторяла и повторяла свою ключевую фразу: «Сказала им: тот, кто выпьет духи, умрет!»

И вот только тут до меня дошло, что она врала нам. Она врала, чтобы нас напугать. В этом — в страхе близкой смерти и заключалось наше наказание.

Ощущения свои помню очень хорошо и по сей день. Стыд за взрослого человека, гадливость от ее осознанной жестокости — и собственную тяжесть под сердцем.

Это, наверное, душа сжалась камнем. Душа человека, пришедшая из вечности, в которой нет возраста и времени.

— Лидия Ивановна — дура, — сказала я своей подружке.

За это слово меня наказывали решительно и сурово. Я считала его самым бранным. Но сейчас слово это освободило меня от тяжести внутри.

— Знаешь, по-моему, Лидия Ивановна — дура.

…Наступило время чтения. Мы уселись вокруг воспитательницы. Она торжественно и как-то даже зловеще назвала имя автора, чью историю для детей полагалось нам узнать.

— Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, — торжественно и внятно объявила она, как ведущий цирковое представление.

Казалось, сейчас из-за ее спины покажется крепенький старичок в подпоясанной рубахе и с окладистой бородой и что-нибудь послушно продекламирует, как они это делали на

утренниках.

После значительной паузы, видя, что писатель не хочет появляться, воспитательница так же громогласно и многозначительно произнесла:

— «Рассказы для детей».

Вновь слегка помедлив, она с наслаждением приступила к чтению рассказа про то, как папа недосчитался слив и пообещал своим детям, что съевший вместе со сливой косточку умрет. Бедный мальчик, сынок изобретательного папы, конечно, поверил и в смятении душевном объявил, что косточку не съел, но бросил в окошко.

Покончив с назидательным рассказом, воспитательница победно и выжидающе посмотрела на детей, и те, мгновенно поняв, что от них требуется, дружно рассмеялись.

Мы, две преступницы, сильно сблизившиеся за этот долгий день, восприняли этот рассказ очень близко к сердцу.

— Лев Толстой — тоже дурак, — ожесточенно произнесла моя подружка, возвращаясь к прерванному чтением разговору о Лидии Ивановне.

— Нет! Он — просто злой, — уточнила я, боясь обидеть самым бранным словом великого русского писателя.

— Он детей своих не любит, — продолжила свои обличения моя собеседница.

Что-то в этом было…

На следующее утро, в выходной, приехала Танюсенька с гостинцами: большой банкой свежей клубники, присыпанной сахаром и книжкой Льва Толстого «Рассказы для детей». Клубнику я съела. Книжку попросила отвезти назад: нам уже читали.

Танюся любовалась, как я ем клубнику, и рассказывала, как весь вчерашний день провела в тоске и тревоге за меня. Ей весь вечер чудилось, что я ее зову.

Она услышала!

Я, совершенно счастливая, прижималась к своей единственной, ненаглядной.

Жизнь продолжалась и была полна чудес.

Что-то очень важное поняла я для себя именно после того случая с духами. Это переживание оставило глубокий след в душе.

Вопрос: «Как же так можно?»

Желание: отстраниться от людей, подобных Лидии Ивановне.

Понимание: страшна только смерть близких, не своя собственная.

Истина: «Не верь чужим словам, пока лично не убедишься в

их правдивости».

Главное: не жди милости и снисхождения от тех, кто над тобой.

Четкие формулировки — это, конечно, из дня сегодняшнего. Однако ощущение: «Не жди пощады и не верь чужому» оказалось фундаментом моих представлений о действительности. Так что — спасибо Лидии Ивановне и ее незабываемым духам.

Гастроном в высотном на площади Восстания

Проезд Девичьего поля я очень любила за сквер, казавшийся лесом из-за огромных старых деревьев, а еще за здание Академии имени Фрунзе. Оно выглядело очень торжественным. Сочетание красного мрамора и черных колонн, часовые у входа, подтянутые офицеры, поднимающиеся по широкой лестнице, — все время хотелось на все это смотреть.

А Садовую Кудринскую много за что можно было любить. Особенно за зоопарк рядом, за Филатовскую больницу, где я все-таки стала героем, и еще — за Гастроном на площади Восстания. Сейчас это снова Кудринская площадь. Но все детство я знала и любила площадь Восстания.

Когда я добаливала свои бесконечные болезни, меня отвозили на Кудринскую, к тете Ане, остававшейся дома. На улицу мне уже разрешалось, а сад пока еще нет — раньше положенного срока врач в группу не допустит.

Счастливое время! Каждое утро, когда все расходились по делам, мы с Анечкой шли в Высотный гастроном, чтобы купить все для обеда и ужина. Холодильников тогда не было (даже трудно себе представить такое, но факт), поэтому приходилось покупать только немножко еды, на один день, иначе испортится.

— Ну, что? Собираемся в Гастроном? — предлагает Анечка.

— В Гастроном! — радуюсь я.

Вот мы идем, и я повторяю стихи. Их, кажется, маленькая Женечка еще придумала:

Площадь Восстания,
Высотное здание,
Квартира двадцать восемь —
И до свидания.

Смысла особого нет. Но есть какой-то радостный ритм. Вот я и повторяю, повторяю…

В Гастрономе очень вкусно пахнет всегда. И красота же вокруг! Зеркала, мраморные прилавки, колонны. Настоящий дворец. Мы переходим из одного зала с колоннами в другой. В каждом зале продается свое: где-то макароны, мука, крупа — бакалейные товары; где-то — конфеты, торты, зефир, пастила, пряники, баранки. А есть еще рыбный зал: там в огромном

бассейне плавает живая рыба. Я даже видела самую настоящую щуку с картинки из сказки. И карпа… Много кого.

Чаще всего Анечка покупает селедку. Сельдь Атлантическую. Выбирает самую красивую. Продавщица взвешивает, заворачивает в бумагу хорошенько.

В мясном отделе нарисована корова. Она квадратами поделена на куски. Эти куски на картинке разноцветные. Самые красные части на картинке — самые хорошие. Но все равно в мясном отделе скучно и всегда много народу.

А мой любимый зал — колбасный и сырный. Вот там пахнет — так пахнет! Очень вкусно!

Анечка покупает 200 граммов докторской колбаски, 200 граммов сыра — на один раз всем поесть хватит. Продавщица спрашивает:

— Вам куском или нарезать?

— Нарежьте, пожалуйста, — просит Анечка.

Так, как умеют нарезать сыр и колбасу продавщицы в Высотке, не умеет никто: тоненько-тоненько. Кусочки получаются совсем прозрачные. Взвешивает она сыр и колбасу на прозрачной папиросной бумаге. А потом еще заворачивает в желтовато-серые плотные листы.

Мы берем свои покупки и отходим к мраморному столу для покупателей. Начинается мой любимый ритуал. Анечка разворачивает пакетик с сыром:

— Хочешь попробовать кусочек?

— Хочу!

И она дает мне сыр — не голой рукой, Боже упаси, а кусочком оберточной бумаги, прямо в рот.

Сыр пахнет вкусно-превкусно!

Как никогда потом!

Наступает очередь колбаски. Я снова пробую. Вкусно!

Покупки домой мы несем вместе: у меня есть специальная маленькая сумочка, чтобы что-то нести. Мы же две хозяйки, я хочу помочь!

Анечка с сумкой, а я с сумочкой. Но ничего! Я вырасту и буду все для всех носить сама. А они — пусть отдыхают.

— До свидания, Высотное здание! До завтра!

Страшный дом

Есть еще на Кудринской один страшный дом. Вообще-то его не видно, он скрыт за всоким-высоким сплошным забором. Он стоит углом: одна сторона угла на Кудринской, а другая — на Качалова.

На Качалова живет Танюсина подруга, Светлана Яковлевна, переводчик с английского. Мы ходим к ней в гости. У нее большая квартира и невероятно огромный балкон: больше самой квартиры. Танюся с подругой разговаривают, а я гуляю на балконе и представляю всякие сцены из необыкновенной жизни.

Вот под балконом стоит прекрасный рыцарь, смотрит вверх. Это он ищет меня, потому что я — Прекрасная Красавица, а он в меня влюблен. Наконец он видит меня. Мы смотрим друг на друга… Я кидаю ему с балкона цветок. Это серьезный шаг с моей стороны! Теперь влюбленный в меня Дивный Рыцарь засушит этот цветок в старинной книге и будет помнить меня всю жизнь! А я — его. Как же иначе?

Ну, и так далее… Я часами могу развивать сюжет. Главное, чтоб никого рядом не было, а то я бормочу, и люди пугаются. Думают, что я сумасшедшая. А я — нет. Я просто так играю. И мне хорошо.

И вся улица Качалова мне очень нравится. Кроме того углового дома за забором.

Когда Женечка уходит из дома, тети ей всегда говорят: по этой стороне не ходи. И близко к тротуару не ходи.

— Но теперь-то уже можно, теперь не страшно, — возражает Женечка.

— Все равно не ходи. Кто их там знает. Не ходи!

— Ладно, не пойду.

У Женечки золотой характер, она никогда не спорит. Это все говорят.

Все равно, хоть Женечка и обещает не ходить мимо того дома, ей напоминают об этом каждый раз.

— А что в том доме? Почему страшно? Кто там живет? — волнуюсь я.

— Жил. Сейчас не живет. Жил очень страшный человек. Берия.

— А что он делал?

— Много чего плохого.

— А почему Женечке нельзя там ходить?

— Потому что он затаскивал школьниц в машину, привозил в этот дом… А потом их уже больше никто никогда не видел.

Я очень пугаюсь.

— А где он сейчас? Он точно там не живет?

— Расстреляли его. Но дом-то остался. И мало ли кто в нем…

Теперь понятно. Женечке точно нельзя там ходить! Я теперь тоже стану ей напоминать.

Мало ли что!

Культ личности

Летом мы живем все вместе на даче. Взрослые собираются в саду за деревянным столом и говорят, говорят. Только и слышно:

— Культ личности, культ личности!

Я интересуюсь: что такое «культ личности».

— А это когда обычный человек делает так, что его начинают почитать, как божество.

— А Бога нет, — подхватываю я.

С этим-то все ясно! Это нам все время повторяют в детском саду.

— Главное: человек не должен допускать, чтобы ему, как богу, поклонялись.

— А кто это допустил?

— Кто допустил, тот допустил. Тебе еще рано, иди по травке побегай, — уклоняются тети от честного ответа.

Я оскорбленно отхожу, но постепенно, кругами, приближаюсь к занятым беседой взрослым. Они увлеклись, не замечают меня.

Рассказывают теперь про каких-то людей, которые вернулись из тюрьмы. Кто-то из них рассказал про то, как его пытали.

— Китайские пытки и то меркнут, — слышу я странные фразы.

Изо всех сил креплюсь, чтобы не спросить, что такое китайские пытки. Прогонят.

— …Сутками стоял в каменном мешке, ни повернуться, ни сесть… Счет времени потерял… Вышел — смотрят, а он весь седой…

Я не выдерживаю:

— «В тюрьме он за правду страдал»? — спрашиваю отчаянно.

Я уверена, что не ошиблась в своей догадке. Вот, о чем мы пели эту песню с Танюсей!

— Сменим тему, — предлагает Стелла собеседникам. — У маленького ребенка очень большие уши.

Я хватаюсь за свои уши. Вдруг у меня как у Карлика-Носа они выросли, а я и не заметила?

Нормальные, обычные уши.

— У меня не большие уши! — обижаюсь я.

Все смеются. Заводят разговор про другое. Идут чай ставить…

…В шестом классе мы изучали Историю Средних веков. Мракобесие, Инквизиция, охота на ведьм, пытки… Я вспомнила совершенно отчетливо рассказы о пытках, которые услышала тогда на даче. Пожалуй, Средние века недотягивали по

изощренности… Хотя их опыт явно пригодился нащим палачам…

Рассуждения о политике. Наши самые верные друзья

Мне только исполнилось шесть лет. Каждое воскресенье мы с утра едем на троллейбусе на Кудринскую: выходной день положено семье собираться вместе.

На время обеда стол, в будние дни стоящий у стены, отодвигается, застилается красивой скатертью. Тетя Аня расставляет праздничную посуду. Я люблю ей помогать.

Иногда на Кудринскую даже гости приходят.

— Воскресный обед надо разделять с гостями, — говорят тети. — В тесноте, да не в обиде.

И правда — никто не обижается. Все едят, хвалят угощение, разговаривают о взрослых делах. Я очень люблю взрослые разговоры. И очень люблю гостей. Я убеждена, что понимаю все, что напрасно тети делают большие глаза, скашивают их в мою сторону и говорят:

— Только не при ребенке!

Скорее бы вырасти!

Один разговор я запомнила на всю жизнь. В то воскресенье отмечали мой день рождения. Я родилась 20 октября, но в будние дни праздник устроить не получилось бы никак. Значит, отмечался любой день рождения в воскресенье, которое следовало за датой. На мой и на Женечкин день рождения тетя Аня всегда пекла очень вкусный и красивый пирог с буквами из теста. В тот год надпись на пироге гласила: «Гале 6 лет». Я переживала, что день рождения отмечается в другой день, не двадцатого. И Анечка придумала утешение:

— Это почти твой день: у твоего числа на конце ноль, а сегодня на конце как будто два ноля, ведь цифра восемь похожа на два нолика, поставленные друг на друга.

Мне очень понравилось такое объяснение. И, конечно, сравнение восьмерки с двумя ноликами запомнилось на всю оставшуюся жизнь.

Стало быть, гости собрались 28 октября 1956 года.

Пришли только взрослые. Пообедали, попили чаю с моим деньрожденным пирогом. Принялись разговаривать. Я слушала с глубоким интересом.

Беседа шла особенная. Что-то произошло крайне важное. Уж очень серьезные лица были у гостей. И повторялось страшное слово, значение которого я точно не понимала:

— Резня! Резня!

Я конечно же знала слово «резать». Резать можно бумагу — ножницами… Например…

Но при слове «резня» я почему-то видела нож и кровь.

И еще гости говорили:

— Кто бы мог подумать… Кто бы мог подумать…

А тетя Стеллочка сказала:

— А что тут думать? Они против нас всю войну вместе с Гитлером сражались. И между прочим, венгры в войну зверствовали сильнее, чем немцы.

Значит — что? Где резня? У венгров? Там что-то страшное происходит?

— Бойня, бойня, — повторяют взрослые. — Фашисты недобитые людей на деревьях вешали.

Я страшно пугаюсь. И не понимаю: где же все это время прятались недобитые фашисты? Ведь столько лет после войны прошло. Я представляю себе пещеры, подземелья, где отсиживаются недобитые фашисты, ждут своего часа, чтобы снова начать зверствовать. А вдруг и у нас где-то затаились? И как выскочат? И начнут всех нас вешать на деревья.

Несколько ужасов своего детства я очень хорошо помню. Этот — один из них.

Взрослые тем временем начинают рассуждать, кто же настоящие друзья у Советского Союза. Самые верные, на все времена. Такие, что никогда не предадут, всегда будут вместе.

— Самые верные, — заявляет один очень солидный гость, к которому все прислушиваются с большим уважением, — самые верные — это, безусловно, чехи и китайцы.

Китайцев я и сама люблю. По многим причинам. Во-первых, Танюся все время говорит, что китайская фабрика «Дружба» выпускает самые качественные товары. У Танюси есть кофта этой фабрики — сносу кофте нет. Еще у нас есть шерстяное одеяло, на котором стоит значок «Дружба». Очень красивое. И даже у меня недавно появилось красивое китайское платье.

Но дело не в вещах. Дело в людях. К нам в детский сад пришла на практику студентка из Китая. Мы сначала все удивились: у нее совсем другое лицо, чем у всех вокруг. Но она оказалась такой доброй! Всегда нам улыбалась. Говорила тихим голосом. Никогда не ругалась. Вырезала из бумаги удивительной красоты узоры. Чик-чик-чик — и из обычного листа получаются кружева. Странно: она не кричит на нас, а мы ее слушаемся! И любим!

Она целый месяц к нам приходила, а потом ее практика кончилась. Мы плакали, когда с ней прощались! И она сказала, что мы очень хорошие дети, она будет нас вспоминать в Пекине.

А я знала песню про Пекин. По радио передавали много раз, и я запомнила:

Москва — Пекин.
Москва — Пекин.
Идут, идут вперед народы.
За светлый путь, за прочный мир
Под знаменем свободы.

В мире прочнее не было уз:
В наших колоннах ликующий Май.
Это шагает Советский Союз;
Это могучий Советский Союз,
Рядом шагает новый Китай.[4]

Еще в этой песне пели: «Русский с китайцем — братья навек!»

Поэтому конечно же наш гость говорит чистую правду, я могу это подтвердить, если меня спросят: китайцы наши самые верные друзья.

Про чехов я тоже не сомневаюсь. Когда в последний раз приезжал папа, у него была толстая желтая книга с очень смешными картинками. Папа читал и все время смеялся. Я, конечно, тоже хотела узнать, из-за чего он так смеется. Папа показал мне картинки и рассказал про бравого солдата Швейка. Как его хотели взять на войну, а он прикидывался сумасшедшим и очень смешно отвечал на вопросы. Я тоже смеялась от ответов Швейка.

Из-за этой книги я чувствую к чехам большую любовь.

Конечно, чехи — друзья. Как китайцы — навек.

А теперь, в качестве послесловия из сегодняшнего дня, хочу все-таки очень кратко поведать о событиях октября — ноября 1956 года, а именно: о венгерских событиях.

Говорят, самая запоминающаяся загадка та, на которую не нашел ответа. Слова о бойне и резне в Венгрии впечатались в детское сознание. Я интересовалась 1956-м годом и спрашивала всех, кто мог мне хоть что-то рассказать о том времени, благо находилась в военной среде. Встречались участники тех событий. И офицеры, и солдаты.

Если кратко суммировать то, что они отвечали на мои вопросы, получалось следующее: Венгрия участвовала во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Венгерский диктатор Хорти был вернейшим союзником Гитлера. Однако в 1944 году Хорти был смещен. Венгрия вышла из игры. И ушла от

ответственности. На Нюрнбергском процессе вопрос о военных преступлениях Венгрии, как союзницы нацистской Германии, не поднимался. Хортисты остались безнаказанными. Народ в целом их не поддерживал. Но и советская власть настроила многих против себя. Мятеж 1956 года тщательно готовился, вооружение поступало по всем каналам, в том числе и из нейтральной Австрии. Когда возникли беспорядки, начались чудовищные преступления: убивали полицейских, их жен, детей, мирных граждан (сводились и личные счеты), советских солдат, служивших в группе войск, членов семей работников советского посольства. Венгерская армия, кстати, не перешла на сторону повстанцев.

Люди были напуганы, растеряны. Наши войска не сражались с безоружными. Они помогли навести порядок. И вели себя достойно.

В целом в ходе событий погибло чуть более двух с половиной тысяч людей. Из них — зверски замученных «повстанцами» около восьмисот человек.

Ну, поскольку Советский Союз пугал всех своей мощью, ООН осудила действия нашей страны в Венгрии. Но! И это стоит помнить: осудила эта международная организация и действия повстанцев.

(И просто попутно: а что это международная общественность нынче у нас в таком благостном молчании по поводу Ирака, Афганистана, пыточных тюрем, устроенных США в Румынии, Польше? Счет нынешних жертв идет на сотни тысяч… Но чувствовать себя виноватыми положено только специально для этого подобранным народам — так получается?)

Тетя моя долгие годы работала на факультете, который готовил офицеров из стран Варшавского договора. Слушатели очень ценили ее, уезжая из Москвы, присылали письма. А если случалось возвращаться, обязательно навещали нас. Поздней весной 1973 года к нам в гости зашел полковник Венгерской народной армии. Он уже закончил академию, а тогда приехал на кратковременные курсы. По-русски говорил блестяще. Они с тетей посидели, повспоминали, попили чайку, а потом гость собрался уходить. Я пошла с ним — нам было по пути: я ехала в театр, он к себе в гостиницу. Путь до метро и несколько остановок на метро — вот время, которое я использовала, чтобы расспросить венгерского офицера о событиях 56-го года. Он отвечал честно.

И — опять же — передаю кратко то, что услышала тогда.

В 56-м году он уже был тридцатилетним офицером. Он тоже сказал мне о хортистах, не понесших наказание и затаившихся в

ожидании удобного часа. Но, по его словам, и новая власть давала серьезные поводы для недовольства. Все так.

— Но представь себе, — сказал полковник, — ты идешь по родному городу (не идешь, а пробираешься незаметно, конечно, и видишь, что на деревьях вниз головами висят люди. И некоторых из них ты знаешь. Это твои соседи. Вы еще вчера разговаривали… Ты идешь, и сердце твое плачет). Скажи, тебе захочется остановить тех, кто вешал этих людей? Или будешь считать, что ради их идей можно позволить им делать такое и дальше?

— Остановить, — сказала я тогда.

Золотоноша

Однажды летом мы все отправились на землю обетованную: на Украину. Тети долго мечтали когда-нибудь поехать туда, где тепло, где фрукты продаются ведрами, а не граммами.

— Там яблоки на земле валяются, их никто не поднимает, — повторяли чьи-то рассказы тетечки.

В такое поверить было трудно. В Москве фрукты стоили дорого. Хорошо помню, как покупали для меня и Женечки два яблока (по одному на человека). Или — гораздо реже — два апельсина. Помню, как великое счастье, запах новогодних мандаринов: три штуки в подарке Деда Мороза.

И вот нам — таким — говорят, что где-то яблоки валяются на земле!

Выбрали Золотоношу — какие-то тетины знакомые очень хвалили это райское место, дали адрес хозяйки домика, которая сдавала на лето комнату.

Название обещало мне сказку.

Золотоноша! Там наверняка не только яблоки на земле валяются. Может, и золото, серебро. Идешь так по земле, а тут и там золото блестит — красиво. Я тогда подберу немного золота и привезу в Москву. Будем в садике зарывать секретики не только с блестящими бумажками от конфетных оберток, а с настоящим золотом. Совсем другое дело!

Отправились мы вчетвером: Танюся, Анечка, Женечка и я. Стелла работала.

Ехали на поезде, с пересадкой в каком-то большом городе. Я на этот раз к вокзалу отнеслась довольно равнодушно: уж очень цель манила (фрукты, золото и прочие сокровища обычно воодушевляют путешественников).

В Золотоноше хозяйка нас уже ждала. Дом ее мне сразу очень понравился. Он был чистый, белый снаружи. На кухне — огромная печь. Говорливая хозяйка тут же рассказала, что, уезжая из дому на несколько дней, она закрывает ставни, задвигает изнутри засовы, а сама вылезает через печную трубу. Ключ, мол, воры подберут любой, а вот засов пилить — на это вряд ли решатся.

Хозяйка выглядела крупной, могучей женщиной. Не толстой, а именно крупной, сильной. Я не могла себе представить, как это она залезает в печь, ползет по трубе, выбирается на крышу. Я все сопоставляла ее и трубу.

Замучило меня это сопоставление. Я все смотрела то на хозяйку, то на трубу… И еще вопрос, который не давал мне покоя:

а как она не пачкается сажей, если и правда ползет по трубе?

Взрослые, кстати, слушали и верили. Я это видела и чувствовала, что они не сомневаются. Тетя Аня сказала хозяйке, что та, как гоголевская Солоха…

— Вот только на метле не летаю, — сказала хозяйка. — А жаль.

Про Гоголя я все разузнала. Это как раз не самое трудное. А вот как через трубу вылезать…

Не удержалась я и через какое-то время спросила:

— А вы правда можете через трубу вылезать?

— Правда, — подтвердила хозяйка. — Хочешь, покажу? И тебя научу. Там в трубе такие скобы железные, я по ним, как по лестнице «топ-топ-топ».

И она мне правда быстро показала, как это делается.

Голову по самые брови обвязала платком, накинула на себя мешок с прорезью для головы и полезла на печь, а с печи — в трубу.

Раз-раз, я смотрю на улице, а она уже на крыше! Машет мне. С крыши спустилась по приставной лестнице. Потом утащила лестницу за сарай, чтоб в случае чего чужой кто через трубу в дом не залез.

Вот это да!

Спасибо этому жизненному опыту! Благодаря ему я очень хорошо представляла себе, как в сказке про трех поросят волк пролез в кирпичный дом — через трубу. И угодил в котел с кипящей водой. Все точно! Именно как в Золотоноше.

Золото там на дорогах не валялось. Во всяком случае, мне ни одного кусочка не встретилось. А в остальном все оказалось чистой правдой: яблоки падали на землю, и никто их не поднимал. Это называлось падалица. Ничего в падалице хорошего. Лучше с дерева сорвать.

И еще правда: абрикосы ведрами, помидоры ведрами, огурцы ведрами продавались. И ведро стоило дешевле одного килограмма каждого фрукта или овоща в Москве.

И еще. Я в Золотоноше влюбилась. У хозяйки был сын, ровесник моей Женечки. Высокий, светловолосый, голубоглазый, розовощекий. Мне он казался невероятно красивым. В книгах сказок все Иваны-Царевичи, все Добры Молодцы, все самые-самые изображались один в один как сын нашей необыкновенной хозяйки. Я глаз от него оторвать не могла.

Они с Женькой ходили в парк, где вечерами гуляла вся Золотоноша. Там играл духовой оркестр. Они просто по-дружески проводили время в разговорах, шутках. А меня Иван-Царевич тоже все время приглашал с ними. Говорил, что ему все будут

завидовать, с какой кучерявой спутницей он гуляет.

— Она устанет, — отнекивалась Танюся.

Я мечтала пойти с ними, но молчала, как деревянная колода. Уж слишком сильно мне хотелось погулять со сказочным добрым красавцем, чтобы вот так вот легко сбылась моя мечта!

— Устанет, я на руки возьму, — улыбался сын хозяйки.

— Пойдешь? — спрашивала Танюся. — Иди.

Я молчала. Тогда мой царевич брал меня за руку и вел. И я шла, не помня себя от счастья. Он очень обо мне заботился, все спрашивал, не устала ли я. Чуть что — готов был тащить на руках.

Вот и вся любовь.

Она запомнилась, как сбывшееся, счастливое чувство.

Мечтала быть рядом с дивным Добрым Молодцем? — Сбылось.

Опекал меня Иван Царевич? — Еще как! На руках носил!

С тех пор у меня к любви отношение доверия и радости.

Много ли человеку надо?

Фестиваль

Мне шесть с половиной лет. С июня я, естественно, отправлена на детсадовскую дачу. Все привычно, все как каждый год. И вдруг в конце июля за мной приезжает Танюся и забирает меня в Москву. У нее появилась возможность показать меня какому-то знаменитому профессору-глазнику в институте имени Гельмгольца. Я уже очкарик со стажем и в институт этот регулярно хожу на всякие проверки. А тут очередь наша подошла к самому профессору.

Я, конечно, счастлива безмерно. Несколько дней на свободе, дома!

Но я даже не представляю, какой меня ждет праздник!

В Москве-то — фестиваль!

Фестиваль Молодежи и студентов!

То, что это большой, небывалый праздник, видно сразу.

Повсюду плакаты «За мир и дружбу», везде, в любой витрине, на лацканах пиджаков у мужчин, на блузочках девушек — значки с символом фестиваля: цветком с пятью разноцветными лепестками. И еще — Голубь Мира. Я впервые слышу имя художника Пабло Пикассо. Он коммунист. Он нарисовал голубя, а теперь его рисунок повсюду. Голубь Пикассо такой легкий, прекрасный, а клюве у него веточка оливы. Олива — это такое южное дерево, тоже символизирующее мир.

Прохожие на улицах одеты совсем не так, как обычно. Молодые люди в ярких рубашках, девушки — в фестивальных юбках.

Фестивальная юбка — вот, от чего захватывало дух. Такой красоты я прежде не видела. Пышные ярко-красные юбки с желтыми, синими, зелеными, фиолетовыми полосками, треугольниками, волнистыми линиями носили с широкими лакированными поясами. Белая гипюровая блузочка с рукавчиками-фонариками делала облик любой девушки еще более праздничным.

Конечно, у моей Женечки такая юбка была. И не только юбка. К юбке прилагалась еще и фестивальная сумочка — из того же материала, что и юбочка. Некоторые девушки носили юбки просто так, а некоторые надевали еще и нижние юбочки: белые кружева иногда выглядывали — глаз не оторвать! Каждая девушка в такой юбке делалась красавицей!

Естественно, мне тоже захотелось фестивальную юбку.

— Детских фестивальных юбок не продают, — объяснила Танюся. — Ты вообще здесь чудом. Детей велели всех вывезти из

Москвы. Мало ли какую инфекцию завезут. Столько иностранцев… Всякое может случиться…

— Ничего не случится. Я тоже хочу фестивальную юбку, — страдаю я.

На помощь приходит метод убеждения.

— У тебя есть фестивальное платье. Вот — завтра пойдем в твоем фестивальном платье Лужники смотреть. Такой стадион открыли, нигде такого нет, — убеждает Танюся.

…Фестивальное платье… Ну, ладно. Ну, пусть… Ну, почти…

Мое нарядное платье, которое все детство, пока я не выросла из него, так и было моим единственным праздничным одеянием. Оно и правда красивое. Его в конце сороковых годов привезла тетя Стелла из Германии для Женечки, которая тогда была почти как я сейчас. Нет, чуть побольше. Поэтому и оказалось оно Женечке маловато. А потом вот досталось мне. Оно белое, из очень приятного легкого материала. А крылышки и каемка на подоле платья выглядят совершенно как фестивальные. Тоже — красные, зеленые, синие полоски, треугольники… Вполне может сойти за фестивальное.

Я, конечно, соглашаюсь. И даже радуюсь тому, как удачно у меня оказалось именно такое платье. А то ведь на улицу не выйдешь: такой праздник, а ты не нарядная.

Видела я фестивальное гулянье только один раз. Но запомнила на всю жизнь. Какие разные люди! И как весело! Отовсюду звучит музыка. Люди смеются, подходят друг к другу, заговаривают, обмениваются значками, открытками. На открытках адреса разных стран. Женечка приносит груду таких открыток, значков. Ей хорошо! Она взрослая, старшеклассница, ей можно гулять по этим праздничным улицам сколько угодно.

Ничего! Я вырасту и сама поеду по всем странам, откуда к нам в Москву приехали эти удивительные люди. Я буду петь песни на испанском языке. И на итальянском, на французском, на английском. А на немецком не буду. На нем Гитлер говорил.

А пока Танюся учит меня фестивальным песням. И мы с ней радостно поем: «Если бы парни всей земли» и «Песню дружбы запевает молодежь»… Красивые песни.

…Заканчивается фестиваль.

Заканчивается лето.

Жизнь снова входит в свою колею. Я хожу в детский сад, Женечка в последний класс школы, взрослые заняты своими делами.

В очередное воскресенье за обеденным столом зачитывают фельетон из какой-то самой главной газеты. Я уже знаю, что фельетон — это что-то смешное. Это когда о недостатках пишут с

юмором, потому что смех — это большая сила. В том фельетоне говорится о фестивале, поэтому я слушаю изо всех сил. Но меня и не гонят. Все увлечены. Речь идет о разных девушках, которые во время фестиваля знакомились с иностранцами. Одна из них, глупая такая, спрашивала у одного французского гостя:

— Парле ву франсе? (Это значит: «Вы говорите по-французски?»)

На что француз по-своему, по-французски, и отвечал:

— Ну, разумеется, ведь я же француз.

Я хохочу, как сумасшедшая! Вот это шутка! У француза спрашивать, говорит ли он по-французски! Ну и глупая!

Взрослые тоже смеются. То ли надо мной, то ли над фельетоном… В общем, всем весело. И еще я понимаю, что хоть Москва и очень гостеприимный город, а с иностранцами знакомятся только неразумные девушки. Нехорошо это. Несерьезно. Вот про это в фельетоне и пишут.

В первый класс: «Забудьте слово „хочу“»

Меня отправляют в первый класс. У меня все есть, как у настоящей школьницы: коричневая форма с белым воротничком и манжетами, два фартука — черный, на каждый день, и белый, для торжественных случаев. У меня есть коричневый портфель, учебники, тетрадки, ручка, коробочка с железными перышками для нее, чернильница с чернилами, перочистка (несколько кругленьких разноцветных фланелек сшитых так, что получается почти цветок, этим цветком надо чистить перо, иначе оно будет ставить кляксы). Есть пенал, ластики, карандаши…

Я готова.

— Хочешь в школу, Галенька?

— Очень хочу! — отвечаю.

Ну, поначалу и правда — хочу. Я уже знаю, что теперь я каждый день буду ночевать дома! Кончилась моя шестидневка! Как можно после этого не хотеть в школу?

Первого сентября мы собираемся и отравляемся на Плющиху, в мою школу номер 34. Я иду с цветами, в белом фартуке. Я немножко боюсь, даже живот начинает болеть — это всегда случается от страха или тревоги.

Танюся меня успокаивает:

— У тебя будет хорошая добрая учительница. Ирина Михайловна.

— Молодая?

— Молодая.

Не знаю, почему, но мне очень хочется, чтобы учительница у меня оказалась молодой.

У школы толпа первоклассников с родителями. Девочки в коричневых платьях и белых фартуках. Почти все с косичками. В косы вплетены белые атласные ленты, на кончиках кос завязанные в бантики. Мальчики в формах, делающих их похожими на солдат. Гимнастерки с белыми подворотничками, на поясе перехваченные широкими ремнями с пряжками, фуражки, как у офицеров — точная копия гимназической дореволюционной формы, как потом оказалось.

Учительницы по спискам собирают свои классы. В моем классе есть несколько девочек и мальчиков из детского сада. Уже хорошо.

Нас выстраивают по двое у ступеней школы.

Наступает торжественный момент. Выходит директор. Это

очень крупная женщина в строгом костюме. Волосы гладко зачесаны и убраны в пучок. Лицом страшная. Не то что некрасивая. Так вопрос даже не ставится. Но от лица ее распространяется на нас страх.

Директор говорит нам речь. Она объясняет, что мы теперь — советские школьники. Совсем немного, и мы вырастем и будем вместе со всеми совершать подвиги. А самый главный подвиг, который все мы должны совершить, это построить коммунизм.

— И что же нужно, чтобы стать хорошим строителем коммунизма? Как вы думаете, что сказал Ленин об этом?

Я тут же вспоминаю маленького Ленина у входа в детский сад. Гладят ли его по головушке, как мы это делали? И что же он сказал?

— Ленин сказал, что строителю коммунизма нужно учиться, учиться и еще раз учиться! Запомните это, дети! Только те, кто хорошо и прилежно учится, достойны звания верного ленинца!

Директор еще много об этом говорит. Я обещаю себе, что очень постараюсь учиться, учиться и еще раз учиться.

— А теперь, — особенно четко выговаривает женщина-скала, — запомните главное. Вы стоите на пороге школы. Вчера вы были маленькими детьми. А сегодня — уже школьники. Поэтому теперь вы должны забыть слово «хочу». Оно для вас больше не существует. Теперь для вас есть только слово «надо».

Ладно, думаю я. Буду теперь вместо «Я хочу попить» говорить «Мне надо попить». Раз школьнику так положено… Надо — так надо…

И мы расходимся по классам.

Школа мне быстро перестает нравиться. Правда — один несомненный плюс остается: я не на шестидневке! За одно это можно многое стерпеть.

Но есть непонятные вещи.

Я с четырех лет читаю. И в садике часто читала вслух, когда воспитательнице надо было отойти. Я люблю читать. Я уже очень много книг прочла. Мне Танюсенька каждый день приносит с работы подарок: книжечку. Тоненькую яркую книжку в мягкой обложке. Такие стоили 5–7 копеек. Можно покупать каждый день. А это — главная моя радость. Каждая книжка — дверь в новый мир. Целое богатство.

И вот в школе, когда мы открываем букварь, учась читать, я начинаю быстро и с выражением читать все, что написано на странице.

— Ты неправильно читаешь, — сердится Ирина Михайловна.

Я ничего не понимаю.

— Ты должна учиться читать по слогам, а ты не умеешь! —

объясняет Ирина Михайловна.

— Но по слогам читают малограмотные, — пытаюсь объяснить я.

Так мне тети говорили.

Итог — настоящее горе от ума! У меня в первой четверти четверка по чтению! А я по-прежнему читаю лучше всех.

Ну и пусть.

Надо — так надо!

Пятиконечная звездочка

В ноябре нас принимают в октябрята! Мы становимся уже совсем взрослыми и ответственными людьми.

Сначала мы долго хором учим Правила октябрят. Этих правил пять. Потому что в октябрятской звездочке пять концов, пять лучиков. И правил пять. Вот мы на каждой переменке по одному разу хором повторяем эти правила:

— Октябрята — будущие пионеры.

Октябрята — прилежные ребята, любят школу, уважают старших.

Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут.

Октябрята — правдивые и смелые, ловкие и умелые.

Октябрята — дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело живут.

Иногда Ирина Михайловна спрашивает нас по отдельности. Когда кто-нибудь сбивается, все остальные шипят и хихикают: это же позор, не знать октябрятские правила. Тем более Ирина Михайловна говорит, что кто не будет знать правила, того не примут.

Вот позор так позор! У всех появятся на формах звездочки, а у лентяя — нет.

Мы учим!

Я свято верю всем пяти правилам.

Стать октябренком — это пойти по дороге к счастью. Это значит потом тебя примут в пионеры! И ты будешь ходить с красным галстуком!

И потом — октябрята весело живут! Вот стану октябренком, и будет мне весело! Счастье начнется!

Правда, есть вопросы. Вернее, один, но трудный.

Почему — октябрята?

Ведь революция, которая всех нас осчастливила, произошла в ноябре! Седьмого ноября! Все знают:

День Седьмого ноября
Красный день календаря!

— А потому, — объясняет Ирина Михайловна, — что раньше, при царе, был другой календарь. И мы отставали от других стран на 13 дней. Если по тому, старому календарю считать, то революция произошла 25 октября. А по-новому — 7 ноября.

— Но если лучше по-новому, почему мы не ноябрята?

— Так принято. И революцию мы называем Великой Октябрьской Социалистической революцией. А не ноябрьской. И вы — октябрята. Просто запомните это — и все.

И все-таки непонятно…

Зачем что-то оставлять от старого, если оно такое плохое? А если не такое плохое, зачем новое?

Просто так?

Никто не знает, как ответить на эти вопросы.

Ну ладно! Октябрята так октябрята.

И вот — ура!!! Нас приняли! Всех! Мы все хором сказали правила. Ни один не сбился. Пионеры прикрепили каждому первокласснику звездочку. В центре звездочки маленький Ленин. Хорошенький!

Я не нарадуюсь! Смотрите все, какая я большая и умная!

Я — октябренок!

После осенних каникул нас ждал еще один приятный сюрприз.

— Теперь, когда вы все стали октябрятами, все ученики нашего класса делятся на звездочки, — сообщила Ирина Михайловна. — Звездочки у нас какие? Пятиконечные! Значит, в каждой звездочке будет по пять октябрят. У каждой звездочки — свой командир. Он следит, чтобы все октябрята в звездочке жили по правилам, хорошо учились, хорошо себя вели. В каждой звездочке выберем физкультурника. Он покажет пример: как делать зарядку, как бегать, прыгать. Библиотекарь звездочки расскажет об интересных книжках и даст их почитать. Еще в звездочке должен быть цветовод. Цветовод поливает цветы в классе. Но не все, а только те, которые принесли члены его звездочки. И еще: октябрята бегают, прыгают, бывает, и падают. Вот для этого в звездочке должен быть санитар, чтобы оказать первую помощь. А еще санитару надо каждое утро проверять, чистые ли руки у октябрят его звездочки. Все понятно?

Мы все дружно закричали, что да, понятно.

Я стала думать, кем я хочу быть. И получилось: никем. Я просто не чувствовала, что это имеет ко мне отношение. Но в школе, как нам объяснили, следовало забыть слово «хочу» и хорошо усвоить слово «надо». И все получилось очень просто.

Ирина Михайловна прямо по списку, в алфавитном порядке выделяла по пять человек. И сама назначала, кто будет кем. Так я стала санитаркой. Дома мне сшили белую сумку с красным крестом. В ней я всегда носила бинт. Так и одевалась теперь по утрам: форма, фартук, сумка с крестом.

В день распределения по звездочкам произошла еще одна незабываемая вещь. Дело в том, что класс не делился строго на пять. Осталось два лишних человека в самом конце списка. Не повезло им с фамилиями. Ирина Михайловна спокойно добавила по одному из них к предыдущим звездочкам. Члены звездочек этого очень не хотели: у звездочки пять лучиков, а не шесть. Но пришлось смириться.

— А кем же он у меня будет? — в отчаянии спрашивали бедные командиры шестиконечных звездочек.

— Они будут следить, чтобы доска всегда была чистая, а тряпка — мокрая, — тут же выдала Ирина Михайловна ответ. Ей, видимо, не впервой оказалось иметь дело с лишними людьми.

— Я не хочу быть уборщицей! — рыдала несчастная жертва своей фамилии.

— Успокойся. Ты не уборщица. Ты — помощник учителя! Без тебя мне будет очень непросто. Ведь я так много пишу на доске во время урока, — объяснила Ирина Михайловна.

Мы тут же принялись завидовать. Вот это да! Помощник учителя! Вот им повезло-то! Кто бы мог подумать!

В общем, «и последние станут первыми»…

Сразу после разделения класса на звездочки родители-активисты изготовили стенд. На нем красовалось несколько крупных пятиконечных звезд. В центре каждой находился уютный маленький Володя Ульянов-Ленин. В конце каждого лучика помещалась фотография. Командир, физкультурник и т. д.

У шестиконечных звездочек четкая геометрическая гармония отсутствовала. Собственно, они оставались пятиконечными, только между нижними лучиками алел еще один, маленький. Зато с надписью: «Помощник учителя».

Я очень радовалась почему-то, что моя фамилия в журнале в начале списка. У нас была правильная звездочка, не изуродованная лишним лучиком.

«…В тебе и во мне!»

Мне восемь лет.

Мы теперь переехали в отдельную квартиру и живем все вместе: три мои тетечки, сестра Женечка и я. Женечку я воспринимаю как родную сестру (и до сих пор она моя любимая родная Женечка).

Итак, мне 8, Женечке 18.

Она уже студентка. Такая красивая, веселая. У нее куча друзей.

— Потому что характер легкий, — объясняет мне Танюсенька. — Все тянутся к ее улыбке и доброте.

А еще она много знает, всегда отвечает на мои вопросы, если мне что-то непонятно. Еще читает мне стихи — она знает наизусть несметное количество стихов и даже сама стихи сочиняет… Еще она играет на пианино, и мы поем вместе.

Весна.

Женечка как-то сказала:

— Вот получу стипендию, пойдем с тобой в Парк культуры.

Я начинаю ждать ее стипендии с немыслимым нетерпением. Парк культуры и отдыха имени Горького! Место счастья. Там столько аттракционов! Там есть кафе-мороженое. Там можно на лодочке покататься… Еще шарики продают, которые сами в небо тянутся — упустишь, могут улететь. Еще пищалки… Много чего.

Вообще-то мы там часто бывали с тетечкой. Но тут я пойду с сестрой! С такой красивой девушкой — в юбочке колоколом, в туфельках на шпильках… Скорей бы! Скорей бы!

Но я стесняюсь спрашивать про стипендию. Мне неудобно. Я знаю — Женька раз сказала, не забудет.

Жду.

В один прекрасный воскресный день к Женьке приезжает ее школьная подружка Элка. Это вообще красавица немыслимая. Женечка черненькая, а Эллочка светленькая. Тоже хохотушка. Две красавицы, на которых я мечтаю быть похожей, когда вырасту. Сразу на двух. Буду тоже в туфельках на каблуках ходить, в юбочке… Все залюбуются, когда увидят…

Женьке и Элке надо о чем-то поговорить. Но они никак не могут. Мешаю я. Я все время верчусь, вклиниваюсь, лезу в их разговоры… Никак меня не отогнать… Они обе терпеливые, добрые… Не гонят. Только ласково просят дать им пару минут поговорить о чем-то важном.

Но я уже завелась. Я не могу от них отлипнуть. Чем больше они просят, тем гаже я себя веду. Прыгаю, кручусь, мельтешу

перед их смеющимися глазами.

— Ой! — восклицает вдруг Женечка. — Я ж и забыла! Мне вчера стипендию дали! Пошли в Парк культуры.

Я понимаю, что вспомнила она это только потому, что другого способа от меня отвязаться у подружек нет. Понимаю с первого мгновения. Но радость переполняет меня. Все, как я мечтала, даже еще лучше! Ура!

И вот мы в Парке. Заходим. Красота! Газоны с цветами, деревья, люди нарядные. И музыка, музыка из громкоговорителей. Песня льется. Я все песни знаю. И эту тоже. Это — странная песня. Там дядька поет, а потом хор. Потом снова дядька. Когда хор поет, я всегда с трудом разбираю слова. Но из принципа стараюсь понять. А как пойму — оказывается: выучилась песня. Сама собой.

Слова меня удивляют. Смущают чем-то.

…Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой,
В горе, надежде и радости,
Ленин в твоей весне, в каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!

Я прекрасно знаю, что Ленин умер. Знаю, что если б он был жив, все у нас давно было бы хорошо — лучше не придумаешь. Так тети говорят. Случается что-то плохое, и они вздыхают: «Был бы Ленин жив, он бы не допустил…» Жаль, что он умер. Но — умер! Лежит в Мавзолее. Очереди к нему стоят — не пробьешься.

А тут хор орет: «Ленин всегда живой»…

Вранье какое-то… Зачем?

Но самое непонятное — это последняя строчка. «Ленин в тебе и во мне!»

Как это? Вот — как это?

Например, Танюся строго следит, чтобы я мыла руки. Несколько раз в день приходится мыть руки с мылом! Потому что иначе можно грязными руками занести в себя микроб во время еды. Это я понимаю. Занесешь микроб, станешь болеть. Живот заболит, горло, ухо, нос… Микробы — это такие невидимые твари, которые залезают в тебя при каждом удобном случае, чтобы принести вред организму.

Но Ленин же не микроб! Как это — он во мне?

Я Ленина с детского сада люблю. Мы книжки про него читали…

Но мне не хочется, чтоб он был во мне. Это меня тревожит.

Женька и Элка тем временем находят для меня аттракцион — карусели какие-то.

— Хочешь?

Аттракцион — ничего особенного. Ну ладно, пусть для начала. Залезаю в люльку — поехали.

Мои красавицы садятся на лавочку и наконец-то в покое обсуждают что-то свое. Смеются… А у меня в голове все орет хор: «В каждом счастливом сне… В тебе и во мне!»

Не постигаю!

Меня слегка укачало (такое случается). Иду к своим на нетвердых ногах.

— Что такое — Ленин в тебе и во мне? — спрашиваю у Женьки.

— Идем на качели, хочешь на качели? — зовет она.

Ясное дело — они не договорили, им поскорей бы от меня отвязаться.

— Что такое — Ленин в тебе и во мне? — настаиваю я.

— А вот на эту штуку хочешь?

— Что такое — Ленин в тебе и во мне?

И тут мы подходим к *действительно* интересному аттракциону.

Там самолет. Садишься в него и взмываешь в воздух. Он летит, потом перекувыркивается… Снова взмываешь…

Это же тоже тренировка героизма! Называется — петля Нестерова. Был такой знаменитый летчик, делал в воздухе на своем самолете такой кувырок…

— Сюда хочу!

— Сюда? А не страшно?

— Сюда!

— Уверена?

— Сюда!

Женечка покупает мне билетик. Сами они остаются опять же на скамеечке.

— Мы будем тебе рукой махать, когда ты взлетишь, — обещают мои красавицы.

Я переполняюсь гордостью.

Сажусь в самолет. На заднем сиденье парень. Постарше меня. Лет тринадцать ему будет. Подходит дядька и очень сильно перетягивает меня ремнями крест-накрест.

— Зачем? — не понимаю я.

— А чтоб не вывалилась, когда вниз головой висеть будешь.

Что-то мне уже не хочется этой петли Нестерова. Но назад дороги нет. Сама напросилась. Женечка же спрашивала, спрашивала.

…Самолет взмыл в воздух. Потом перевернулся. Мы повисли вниз головами. Самолет в таком положении застыл.

— Аааааа! — орет парень за моей спиной.

А у меня и сил орать нет. Я в таком ужасе, что онемела. Со мной так всегда бывает в самые страшные моменты. Я вишу и думаю: лучше бы ремни расстегнулись, я б упала и все.

Самолет медленно двигается и достигает земли. Можно выходить?

Нет! Аттракцион — три оборота! Три петли!

Трижды приходится висеть вниз головой. Все мысли выпадают. Наверное, я вернусь на землю круглой дурочкой.

Все когда-то кончается. И «петля Нестерова» кончилась тоже. Я еле разжимаю пальцы — так судорожно вцеплялась в поручни. Идти в первые секунды вообще не могу.

— Понравилось? — спрашивает дядька.

— Нет, — отвечаю честно.

Плетусь к своим.

— Мы тебе махали, махали, а ты такая важная сидела, даже на нас и не взглянула ни разу, — говорит Женечка.

Она, наверное, замечает, что я выгляжу как-то не так.

— Что-то ты бледная какая. Укачало?

Я киваю. Выгляжу, наверное, непривычно жалко. Добрые подружки стараются сделать для меня что-то особенно приятное.

— Пойдем на лодочке покатаемся?

Я отрицательно верчу головой.

— А в комнату смеха?

Мы идем. Тут Женька вспоминает:

— Ты меня о чем спрашивала? Что-то не поняла?

— Что такое — Ленин в тебе и во мне?

Подружки переглядываются. Не пойму — им что? Смешно? Или показалось?

А мы уже у комнаты смеха. Вход — пятачок, а счастья…

Там зеркала меняют людей до неузнаваемости. Вот я толстый карлик, а Женька с Элкой кубышки на очень тонких, как прутья, ногах. Смешно невыносимо. Каждое зеркало — свой смех.

Хохочу до слез, до икоты. Там все хохочут…

Выходим довольные, продолжая хохотать…

— Что такое — Ленин в тебе и во мне? — вспоминаю я…

— Это… Ну это… Это он в душе у тебя. У меня. У всех нас в душе.

Я задумываюсь. Проверяю свою душу. Ищу.

Ленина там нет. И не было. Там бывает страх. Бывает любовь — очень сильная — к тетечкам, к Женечке. Бывает — там сидит боль, если что-то грустное читаешь. Еще там — папа. И иногда мама.

Ленина нет.

— А у тебя внутри есть Ленин? — спрашиваю Женьку шепотом.

— Давай я потом поищу, — предлагает сестричка миролюбиво. — Пойдем мороженое есть?

— Ура!!!

Перед едой я тщательно мою руки. Чтоб ни один микроб не забрался… Да и Ленин… Кто его знает, как он внутрь залезает…

Перепись населения. (Зима 1959)

Я учусь в первом классе. Только что закончились школьные зимние каникулы. Стало быть, это январь 1959 года. К нам, в нашу «квартиру» 60-а приходит серьезная тетя: она делает перепись населения. Мне очень интересно, что это такое и зачем.

— Чтобы точно знать, сколько человек живет в СССР, чем эти люди занимаются, сколько детей, сколько пенсионеров, сколько работающих, — так объяснила мне Танюся.

Женщина раскладывает на столе свои бумаги и записывает все про Танюсю: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения… Потом спрашивает о национальности.

— Раньше такого вопроса не было, — говорит Танюся,

— Это новый вопрос, — равнодушно отвечает переписчица.

Я национальным вопросом очень интересуюсь после Фестиваля. Из-за национальности люди выглядят совсем разными. А я мечтаю о путешествиях, хочу выучить все языки мира, чтобы всех людей понимать.

…— Еврейка, — отвечает Танюся.

Наконец все про нее записали. Приходит моя очередь. Я радуюсь: я сама сейчас отвечу на все вопросы. Наконец-то меня не гонят от взрослых, а слушают, что я говорю.

Фамилия, имя, отчество…

Доходит дело до нового вопроса, про национальность.

Я смотрю на Танюсю:

— Еврейка? — жду я ее подтверждения.

Но происходит заминка. Танюся вытаскивает зеленую бумагу из своей сумки с документами и говорит:

— Вот, смотрите: отец еврей, мать русская… Что писать? По отцу?

Я ничего не понимаю. Я, оказывается, человек с непонятной национальностью. Я хочу быть как все мои… Хотя — в чем разница?

— На выбор гражданина, — отвечает переписчица.

— Вырастет, выберет, — соглашается Танюся. — А сейчас что писать?

— Давайте по матери, — предлагает наша гостья.

— Давайте, — вздыхает Танюся.

Чего она вздыхает? Тоже, как и я, понимает, что несправедливо это? Я маму давно-давно не видела… Она не приезжает… Я ее помню. Но она не приезжает… Мне становится грустно. Тоска на сердце, как в самые первые дни моей жизни в Москве много лет тому назад…

Больно мне от национального вопроса… Боль эта запомнилась на всю жизнь. Но, может, и хорошо, что тогда ощутился этот укол… Как прививка. Потому что вопросу этому суждено было всплывать в разных формах и видах опять же — на протяжении всей моей жизни.

Ни в детском саду, ни в первом классе я ни разу не столкнулась с этой темой… Вот разве что — перепись.

Но потом мы переехали на новую квартиру. Наш двор был полон детьми, мы играли целыми днями вместе… Мальчишки, девчонки… Вот тут-то и началось. Сколько раз в случае моих побед в играх я слышала мальчишечью ругань: «Жидовка!» (Только сейчас удивилась — почему-то ругались именно мальчишки. От досады, от азарта, наверное.) Я даже не успевала обидеться. Поначалу из-за непонимания смысла слова, потом — от презрения к глупости человеческой… Однажды все же спросила дома, что мне отвечать, если меня во дворе обзывают.

— Вообще ничего не отвечай, — сказала Стелла. — Не вступай в диалог с фашистами.

Я не вступала.

Вскоре Танюся подарила мне большую красивую книгу. Аркадий Гайдар «Голубая чашка». Я быстро ее прочитала. Хорошая книжка. Там описывалась почти моя ситуация.

Ушли папа с дочкой из дома, потому что мама сказала им, что они разбили ее любимую голубую чашку. А они не разбивали… И пошли себе гулять… Пошли, а навстречу им бежит деревенский мальчишка Санька Карякин. А в спину Саньке летят комья земли. Кидает в Саньку землю пионер Пашка Букамашкин.

Пошли папа с дочкой спросить у пионера, почему это он в человека землей кидается.

Пашка не испугался, сказал:

— Вон идет известный фашист, белогвардеец Санька. Погоди, несчастный фашист! Мы с тобой еще разделаемся.

— А ты не ошибся? — удивились отец и дочь. — Это же просто Санька Карякин.

Но Пашка стоит на своем и рассказывает историю про то, что бежал из Германии, из города Дрездена от фашистов в СССР один рабочий, еврей. А с ним его дочка, Берта. Рабочий работает на мельнице, а Берта играет с ними. И вот во время игры Санька, обидевшись на Берту, закричал ей: «Дура, жидовка!»

Берта, не зная слова «жидовка», спросила у Пашки, что оно значит, а ему и отвечать стыдно.

Пашка велит Саньке замолчать, а тот нарочно кричит все громче и громче. А Берта сидит, в глазах слезы. Догадалась.

И тогда Пашка Букамашкин взял с земли камень и подумал: «Проклятый Санька! Это тебе не Германия с твоим фашизмом, мы и сами справимся».

…Такая история.

Больше всего меня утешил вопрос дочки Светланы из книжки.

— Папа, — спросила она, — а может, Санька никакой не фашист? Может, он просто дурак?

Тем я и утешилась.

Лучше думать, что человек, с которым ты играешь, просто дурак, чем фашист. Иначе дикость получается. Наши папы с фашистами воевали, победили, а сын вырос фашистом? Нет, конечно нет. Просто дурак — и все.

Потом, уже вступив в пионеры, я решила написать письмо в главную пионерскую газету страны. Я просто спрашивала совета, как мне лучше ответить, когда меня обзывают «жидовка».

Может быть, есть такое особенное слово, после которого все это прекратится раз и навсегда?

Меня давно научили не реагировать на обидные прозвища. Я сама знаю: если правильно себя вести, смеяться вместе со всеми, дразнить быстро перестают. История с очками меня этому научила. Я и на эти обзывания не реагирую. Но вот смеяться у меня не получается. Тети советуют отходить от человека, который позволяет себе такое. А как отходить, если он бежит за тобой и орет? Проиграл мне в игре, а теперь вместо того, чтобы отыграться и честно победить, орет мне «жидовка»…

И что? Мне молчать? Делать вид, что оглохла? Как быть?

Вот, собственно, о чем я спрашивала уважаемую редакцию, в которой наверняка собрались самые умные люди. Конечно же в «Пионерской правде» знают заветное слово, с помощью которого я обрету силу.

Я с огромным нетерпением ждала ответа. Вот-вот придет избавление!

Ответное письмо очутилось в нашем почтовом ящике довольно скоро.

Радости моей не было предела. На конверте красовалась надпись «Пионерская правда». Я с нетерпением распечатала его. На красочном газетном бланке был напечатан долгожданный ответ:

Всесоюзная ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени газета пионеров и школьников

Пионерская правда

Орган ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета пионерской организации имени В. И. Ленина

12. I. 1961 г.

Здравствуй, Галя!

Мы получили твое письмо и сразу отвечаем.

Не нужно обращать внимания, если ребята дразнятся. Нет ничего обидного в словах «грузин», «украинец», «узбек», «еврей», «татарин», «казах» и т. д. Всё это название национальностей, а в нашей стране все национальности равны. Когда высказывают свое мнение о человеке, то никогда не думают о том, какой он национальности, а берут во внимание его характер, отношение к труду, честность, умение дружить.

Нужно быть хорошим человеком, настоящим, и такой человек всегда заслужит право на уважение, какой бы национальности он ни был.

И наоборот, если человек плохой, его никто уважать не будет, это тоже независимо от национальности.

Ты это запомни, Галя, и пусть больше вопрос о национальности тебя не волнует.

Желаем больших успехов в учебе.

Литсотрудник /Кирнос/

Вот читаю сейчас — а что? вполне приличный ответ. Уже сам факт ответа — признак внимания и уважения. Обижаться не на что. Написала? Задала вопрос? — Получи ответ.

Но я же спрашивала, как мне быть, как остановить оскорбления…

Мне ответили: «Не волнуйся».

Отчетливо помню чувство брезгливого стыда после прочтения этого ответа. Ребенок чувствует ложь, неискренность, как зверь приближение бури.

Сохранила я этот ответ. И теперь он — свидетельство.

Главное — не надо сейчас лить в уши новым поколениям сироп под названием: «Национальный вопрос в СССР был полностью решен». Уши слипнутся и завянут, как осенние лопухи.

А тогда… в зимние каникулы 1961 года я снова ощутила, как при первом знакомстве с окружающей средой, что вопросы,

возникшие тогда, так и лежат в душе мертвым грузом…

— Ух-ё! Куда это я попала!

— Терпи.

— Какое все некрасивое!

— Подожди.

— Как страшно тут!

— Ничего, образуется.

— Ну и запахи!

— Задержи дыхание.

— Что мне делать?

— Не задавать лишних вопросов.

— Почему я здесь?

— Так надо.

Мужчина в доме

Мы очень хорошо и весело живем все вместе. Один минус. Нас пятеро, но нет мужчины в доме. А мужчина в доме очень нужен. Никто из нас не умеет сверлить дрелью стены. Или люстру к потолку прикреплять. Не можем мы — никто — полки на кухне повесить, кран починить, если течет…

Как только возникает необходимость такого рода, Танюся вздыхает:

— Нет мужчины в доме…

Когда накапливается много вздохов об отсутствующем в доме мужчине, появляется Максим. Его зовет Танюся. Он работает рабочим в Академии Фрунзе. Хоть в Академии полно мужчин, ремонтом занимаются специальные люди, которые все умеют. Максим — такой. У него золотые руки.

Он вообще особенный человек. Ни на кого не похож. У него заячья губа. Верхняя губа как будто рассечена надвое. Из-за этого он с трудом говорит. А когда говорит, получается не очень понятно. Но привыкнуть можно.

Я Максимом всегда любуюсь. Он очень красиво работает, никогда не оставляет за собой грязь. Все у него получается ловко, быстро. Кажется, и усилий никаких не надо, чтобы делать то, что он делает. А у нас почему-то так не получается. От Максима пахнет свежим деревом, он аккуратно одет. Приходит, снимает пиджак, достает из чемоданчика большой синий фартук, инструменты…

Потом, когда работа сделана, он садится обедать. Он и ест, как работает, красиво и аккуратно.

Берет черный хлеб, натирает корочку долькой чеснока, солит…

Я любуюсь.

— Аа тоэ хоэт, — говорит Максим.

Я уже знаю, что он сказал: «Она тоже хочет». Это про меня. Он обо мне заботится.

— Садись, — зовет Танюся. — Суп будешь?

— Нет, я только хлебушка с чесночком…

— Плохо кушает, — жалуется Танюся Максиму. — Суп не ест.

Максим показывает жестом, чтоб мне тоже дали суп.

Я ем и суп, чтобы составить Максиму компанию. Вкусно вот так: с хлебом, натертым чесноком…

Потом Максим ест второе.

А потом мы с ним пьем чай. Максим любит чай с вареньем. У нас на антресолях полно разных банок. Летом варят на всю зиму.

Максим больше всего любит смородину. Живой витамин. Я смородину не люблю. Я люблю малину. Но малину дают только больным. Здоровым: сливу, смородину, клубнику. Ладно, буду сливу.

Максим кладет в чай несколько кусков сахару, потом смородину из розеточки добавляет ложкой в свой стакан, перемешивает. Опять у него так все вкусно получается. И запах от его чая свежий-свежий, смородинный.

— Я тоже буду смородину. Как Максим, — заявляю я.

Максим смеется. Это видно по его глазам.

— Тебя надо звать, чтоб ее кормить, — улыбается Максиму Танюся. — Так ведь не упросишь тарелку супа съесть…

Я добавляю в чай смородину… Вкусно!

После обеда Максим надевает свой пиджак, кепку, прощается и уходит с чемоданчиком в руке. До следующего раза, когда понадобится мужчина в доме. Денег он никогда не берет. Он просто помогает. Потому что мужчина,

Если б не война, у нас бы в доме тоже были бы мужчины.

Но ничего. Я вырасту. Я все научусь делать, как Максим.

Буду аккуратным и спокойным мужчиной. В пиджаке по выходным, в синем рабочем фартуке, когда потребуется.

Косы отрежу, научусь говорить низким голосом, чемоданчик с инструментами соберу…

Будет у нас мужчина в доме… Потерпите…

Весь мир перед глазами

Однажды Танюся приносит мне с работы особенный подарок. Вообще-то она дарит мне подарки каждый день. Это книжечки. Тоненькие, с бумажными обложками. Я бегу ее встречать и спрашиваю:

— Что ты сегодня принесла?

Всегда в ее сумке есть для меня радость. Обычно я хватаю свой подарок и бегу читать.

А в тот раз Танюся держит в руках большой рулон. Разворачивает: карта! Вернее, даже две. На одной написано: Политическая карта мира, а на другой Географическая карта мира.

Карты довольно потрепанные.

— Это списанные наглядные пособия, — объясняет Танюся. — Их выбрасывать собрались. Я тебе принесла, чтобы ты по ним путешествовала.

Мы раскладываем на полу политическую карту. Там каждая страна обозначена своим цветом. Получается очень ярко и красиво. Я отправляюсь в свое кругосветное путешествие. Это даже интереснее, чем читать книги. Со мной что-то происходит необыкновенное. Я могу представлять себя птицей. Вот я лечу над пустыней, высматривая добычу. Я могу быть китом, нырять глубоко-глубоко, на дно океана… Или мореплавателем… Или летчиком…

Я читаю названия разных стран… Они кружат мне голову. Я знаю, зачем я родилась: мне нужно повидать весь мир!

Он, этот мир, мой, подаренный мне от рождения, оправдывает мое существование, объясняет мне смысл моего появления на свет. Смысл прост: я должна все увидеть своими глазами, должна надышаться веселым ветром странствий. Тот, кто создал этот мир, ждет моего восхищения…

Так я чувствую.

А пока — удивляюсь формам отдельных стран и континентов.

Италия — четко очерченный сапог на каблуке.

Это разве не чудо?

Скандинавский полуостров — профиль хищного зверя, скорее всего, тигра.

Но больше всего все-таки «обувных» форм:

Каспийское море — тоже сапог, как и Италия.

Южная Америка — остроносый башмак, как на средневековых картинах.

Африка — валенок.

Как же так получилось?

За всем этим мне видится чья-то улыбка…

Но главное: я знаю, что ждет меня впереди. Я везде побываю. Все увижу своими глазами. Познакомлюсь с жителями каждой страны. Стану говорить с ними на их языках.

А пока — мне достаточно карты.

Вечерами я лежу на изображении мирового океана и материках, вчитываюсь в названия рек, горных хребтов, низменностей, возвышенностей, городов, стран. Я не бездельничаю. Я там живу. На своей планете Земля.

«Тетя, тетя Кошка…»

Я учусь во втором классе. Однажды нас всех ведут в кинотеатр — мультфильмы смотреть. Телевизоры есть не у всех. Увидеть сразу несколько мультфильмов — большое счастье.

Все бы хорошо, но показывают среди прочих одну душераздирающую историю.

Там двое котяток остались без дома. Им совершенно некуда идти. Они маленькие и беспомощные. И вот они идут к своей тете. К взрослой самодостаточной кошке.

У кошки жизнь сплошной праздник. Гости: козлы, петухи и прочая живность. Она веселится и наслаждается жизнью. Песни, танцы, дом — полная чаша.

А маленьким котяткам уже совсем плохо, одиноко, страшно.

Куда им деваться?

Естественно, к тете.

И вот они стоят под окном ее дома и поют:

— Тетя, тетя Кошка, Выгляни в окошко…

А Кошка их не пускает! Ну, не ее это проблема — пускать в свой дом каких-то бедных родственников.

Дальше я и смотреть не могу.

Я изо всех сил стараюсь сдержать слезы, стараюсь прогнать ужас и жалость.

Я закрываю глаза и зажимаю уши. В темноте кинозала никто этого не замечает — и хорошо!

Реветь нельзя! Увидят — засмеют. Нельзя показывать свою слабость. Это я уже хорошо усвоила. А слезы — безусловная слабость.

В голове звучит жалобное пение маленьких котят: «Тетя, тетя Кошка, Выгляни в окошко…»

Все-таки мне удается загнать слезы глубоко-глубоко.

Фильм заканчивается, зажигается свет, мы отправляемся по домам. Я обо всем забыла. Делаю уроки, читаю, ложусь спать.

А глубокой ночью просыпаюсь от собственного крика. Я во сне начала истошно рыдать, оказывается. Все сбежались:

— Что случилось? Галенька, что случилось?

— Котяток жалко! — рыдаю я. — Они одни, у них дома нет. Их никто не любит. Они маленькие…

Вот когда выскочили наружу мои запрятанные глубоко-глубоко слезы! Когда я уснула и перестала их держать там, где им полагается быть.

Я говорю про мультфильм, про горе котят.

— У них все в порядке! Кошка одумалась! Она сама поняла,

что такое без дома быть, — объясняют мне наперебой.

— У них все в порядке *потом*! А было не все в порядке. Мне их жалко, когда у них все не в порядке, — объясняю я.

Выплакав свой ужас, я успокаиваюсь.

— Ребенок очень впечатлительный, — говорит Танюся. — Нечего ребенку всякие ужасы смотреть. Пусть подрастет еще.

Как мы гуляем

Все то время, что мы не спим, не сидим на уроках в школе и не делаем домашние задания, мы гуляем.

Гулять — это наше святое законное право: дети должны как можно больше находиться на воздухе. Детям необходимы подвижные игры. Иначе они не вырастут здоровыми. Вот и все. И говорить больше не о чем.

— Га-ля! Га-ля! Ты выйдешь?

Это подружки снизу кричат. Надо открыть окно и крикнуть на весь двор:

— Иду!

Я бегу по ступенькам, скачу через две, а иногда получается и через три перепрыгнуть. Но через три — это летом, это когда не в пальто или в шубе. В руке у меня зажата битка для классиков, а талия обмотана прыгалками. В кармане мелок (а иногда — о счастье — даже цветные мелки).

Мы расчерчиваем на асфальте домик для классиков. Десять клеток. Самое простое: из первой клетки до последней на одной ножке, подталкивая битку, проскакать, ни разу не покачнувшись и не послав биту в другой квадрат. Это легко, если годами тренируешься. Есть классики без биты. Двумя ногами прыгаешь в Первую и десятую клетки. Потом, подпрыгнув с поворотом, оказываешься на Второй и Восьмой. Так допрыгиваешь до Пятой и Шестой. Оттуда — зигзагом.

Вариантов — множество. Они не надоедают. Но есть и еще десятки развлечений. Самое любимое: прыгалки. Для них нужна длинная и толстая веревка. Две девочки крутят.

— Раз, два, три… Прыг!

Впрыгиваешь… Главное — не сбиться, не запутаться.

Веревка крутится все быстрее, быстрее…

— Раз, два, три…

И вот к тебе впрыгивает подружка.

Это уже посложнее. Главное — слаженность. Если кто-то сбился, уступаешь место другим, кто ждет своей минуты рядом.

Есть еще салки, жмурки, есть игры «по книгам»: берешь за основу какой-то сюжет, распределяешь роли, а дальше импровизация, фантазия…

Дочки-матери, магазин…

Иногда, набегавшись, мы садимся на лавку у песочницы и играем в города: надо быстро, без раздумий, назвать город на ту букву, на которую заканчивается предыдущий:

— Москва — Амстердам — Магадан — Нью-Йорк —

Караганда…

Тут мне нет равных, с моими-то географическими познаниями!

Есть и любимые сезонные игры.

Весной пускаем кораблики по ручьям. Кораблики делаем из скорлупы грецких орехов, из пробок — кто во что горазд. Я стараюсь, потому что уверена: кораблик мой по ручью поплывет в реку, из реки — в море, из моря — в океан… Пока плывет мой кораблик. Без меня… Но когда-нибудь…

Самые исступленные гуляния происходят почему-то зимой. Мы, в шубах, шапках, валенках, шароварах с начесом, часами скатываемся с ледяной горки. Стоя, сидя на картонке, просто на попе… Как у кого получается. Залезть — скатиться, залезть — скатиться. Вот и весь смысл игры.

Но — запах снега! Азарт! Ощущение жары на морозе!!!

Темнеет рано. Мы темноты не замечаем. У нас полно сил и желания скатываться, скатываться, хоть всю ночь.

Но вот из окон:

— Лена! Домой!

— Витя! Домой!

— Галя! Домой!

Дома начинается ужас. Оказывается, руки мои заледенели до полного окоченения. Как это я не заметила?

— Вся мокрая! — ужасается Танюся. — Подумать только! Вся мокрая насквозь!!! Как завтра в школу пойдешь?

Это все ерунда. Главное: мои синие руки начинают болеть. Ноют ужасно. Я бегу в ванную, чтобы подержать руки под теплой водой.

— Не мочи! Это вредно! Растирай сухим шерстяным платком, — велит Стелла.

Но я никогда не слушаюсь. Бегу к воде. Включаю воду. Сую руки под кран.

— Ойййй! Больно!!!! Ойййй!

Каждый раз одно и то же…

Изо дня в день. Из года в год.

Кажется, никогда не кончится это счастье. Ну, разве что — после зимы наступит весна. Потом лето… Осень…

А мы все будем бегать друг за другом, скатываться с горки, пускать свои кораблики в далекое плавание и скакать по расчерченным квадратикам…

Моя настоящая первая учительница

Когда мы переехали, я пошла в новую школу. У меня появилась самая лучшая учительница, о какой только можно было мечтать! Вот ее-то я и считаю Первой учительницей.

Наталья Николаевна Овчинникова. Благодаря ей школа стала для меня большой радостью. На целых три года: второй, третий и четвертый класс. Три года детской жизни — это огромный срок. С Натальей Николаевной нам повезло.

Только сейчас удивляюсь, не могу себе поверить: ей было 19 лет, она только закончила педагогическое училище, когда ей вручили наш класс. Но сколько же всего она знала! Сколько умела! И каким терпением и пониманием детей была одарена!

Она привлекала красотой: голубоглазая, светловолосая — ярко выраженный славянский тип внешности, она наделена была ровным характером — за три года она только один раз повысила на нас голос, и то за дело!

Она никогда не пугала, никогда не ругала. Она учила. И подавала нам пример во всем.

Дети пришли в класс разные. Сразу было видно, кто любимый ребенок, о ком заботятся, а кто — просто случайный человек на свете. Случайных было гораздо меньше, но они несли в себе что-то очень особенное, неспокойное, стихийное. Был мальчик Коля Ф. — вечно чумазый и вечно голодный. Наталья Николаевна, ни слова упрека не говоря, вела его умываться, причесывала специальной Колиной расческой, которая лежала в ящике ее учительского стола. Была девочка, Таня К., умевшая виртуозно выражаться словами, значение которых не понимал у нас никто. Наталья Николаевна заплетала ей косички, о чем-то тихо с ней говорила… Таня менялась… Рядом с учительницей она выглядела ребенком, а не развязной теткой, какой казалась в первые дни сентября…

Моя учительница — ровесница моей Женечки… Удивительное поколение рожденных в год начала Великой Отечественной. Не только солдаты, вернувшиеся с фронта, казались наделенными особой благодатью. Дети, выжившие в ту войну, были особенными. Наверное, не все… Наверное, это опять же мое особое везение. Воспоминания о Наталье Николаевне и сейчас заставляют меня улыбаться…

«Воровка!»

Странная история. Мы жили в одном доме, учились в одном классе.

Девочка Лена…

Она оставила в моей жизни неизгладимый след.

Мама ее предварительно познакомилась с одноклассниками дочери. Видимо, решала, с кем можно дружить ребенку, а с кем — нет. Лене не разрешалось ходить в гости к подружкам. К ней приходить было можно. Это, видимо, считалось безопаснее: игры под наблюдением старших.

Лена редко гуляла с нами после уроков, ей не разрешали, но по характеру была лидером. Если в школьном дворе она предлагала игру, за ней устремлялись все. Она много читала, легко училась… Нам с ней было о чем поговорить.

Были ли мы подругами? Ну, тогда-то казалось, что да. С кем идешь из школы домой, та и подруга… Тем более я к ней приходила. Жили же в соседних подъездах. Мы играли. У нее была удивительная кукла, семья долго жила за границей, вот и привезли… Кукла умела ходить! Берешь куклу за ручку, чуть нажимаешь на нее — кукла идет. Чудо!

Еще мы рассматривали альбомы по искусству. Таких альбомов не было в то время ни у кого. Часами можно было смотреть на картину, полностью погрузившись…

Видимо, моя кандидатура была одобрена в их семье. Я не только приходила в гости, меня приглашали в выходные гулять вместе с Ленкиными мамой и папой. Под присмотром.

…В школе организовали для всех нас дополнительные уроки. Почему-то всем старшим хотелось, чтобы мы научились танцевать. Они договорились на родительском собрании и наняли нам учительницу ритмики из бывших (когда-то давным-давно) балерин. Мы сдавали каждый месяц деньги на эти уроки. Для ритмики требовалась специальная одежда: у девочек нарядные платьица, у мальчиков школьные брюки и белые рубашки. И обувь полагалась специальная: чешки. Они тогда только появились и казались верхом удобства и элегантности.

Ритмику мы все не просто невзлюбили — возненавидели. Прежде всего — из-за учительницы. Она отличалась удивительной, жалящей злостью и умела в каждом из нас мгновенно увидеть какую-то слабую сторону, а потом унижать и эксплуатировать это детское беспомощное унижение в своих непонятных нам целях. Может быть, когда-то именно так учили

их в балетной школе. В школах для одаренных детей всякое происходит… Но мы были обычными детьми — вольными жителями улиц и дворов. У нас не полагалось обзываться, оскорблять… Человек, способный на такое, во дворе делался вне закона.

Ну, ритмичка, конечно, в любом случае к нам не относилась, однако какие-то основные правила человеческой жизни попирала настолько основательно, что народного гнева ждать пришлось недолго.

Помимо подлых манер — она еще и учила нас каким-то несусветным танцам, стыдно даже было названия произносить: падеграс, падеспань, полонез…

Вот «плывешь» в танце под аккомпанемент расстроенного пианино в актовом зале (подыгрывала нам на занятиях очень древняя старушка в буколькаx), а ритмичка учит:

— Эй, там, горбатая, ты, ты, выпрямись!

— Лысый, не смотри в пол! Смотри на свою даму.

— Толстая, поворачивайся четче, выглядишь как студень на жаре…

После каждого такого урока приходилось делать серьезные усилия над собой, чтобы жить дальше, как будто ничего не произошло.

Пытаюсь вспомнить, как же она меня называла… Не получается. Помню — ощущение жгучей обиды, стыда… А само прозвище стерто памятью напрочь. Видимо, иначе бы совсем уж невыносимой казалась жизнь…

За год «танцев» мы не научились ничему, кроме ненависти к ритмичке и к ее урокам. Каждый раз, собираясь на ритмику, таща за собой мешок с ненавистной формой, я чувствовала тоску. Но что поделаешь?

Был у ритмики и еще один побочный эффект. Если в школу я шла с одним мешком для танцев, то из школы возвращалась, как правило, с двумя. Дело в том, что Ленка всегда забывала свой мешок в парте. Она, как только заканчивался последний урок, немедленно убегала из класса.

Я была копушей, собирала свои книжки-тетрадки медленно…

Наталья Николаевна, обнаружив, что Ленка опять оставила свою форму, вручала ее мешок мне:

— Вы рядом живете, занеси ей.

Иногда это счастье доставалось другой девочке, но чаще всего подворачивалась я. Я и относила.

Ни Ленка, ни ее родители не считали это чем-то особенным или достойным благодарности. Я звонила в их дверь:

— Вот, Лена забыла.

Мешок забирали, дверь закрывалась…

Перед самыми зимними каникулами я шла домой. Опять с портфелем и двумя мешками ненавистной танцевальной одежды. Мне было плохо, я еле дошла до двери нашей квартиры. Болела голова, знобило…

Грипп.

— Нам всегда везет! — стонала Танюсенька, глядя на градусник…

Несколько дней температура никак не желала снижаться.

Я проболела все зимние каникулы. Я совсем забыла про Ленкину форму. Наши два мешка лежали рядом в кладовке.

За день до окончания каникул в дверь позвонили.

— Галь, к тебе девочки! — позвала Женечка.

На пороге стояла Ленка с нашей одноклассницей. С этой девочкой я сидела за одной партой. Я подумала, что они пришли меня проведать.

Ленка не поздоровалась. Она выдержала паузу, значения которой я не придала.

— Отдай мою форму! — очень зло произнесла Ленка.

Снова пауза, непродолжительная. И потом она произнесла слово:

— Воровка!

Вот что она сказала.

Мне даже сейчас страшно об этом вспоминать.

Я схватила из кладовки Ленкин мешок и кинула в ее сторону. Что-то невообразимое творилось со мной. Слово, которое она выкрикнула, прожгло меня насквозь. Такого со мной еще не случалось.

Вся эта сцена длилась не больше минуты. И видели все это Женечка и тетя Аня — они как раз вышли в прихожую.

Женя вышла на лестницу и, прикрыв за собой дверь, что-то говорила Ленке.

Я ушла в комнату и легла. Температура снова поднялась. В голове прокручивалось без остановки эхо произнесенного Ленкой слова.

— Воровка…

Зачем я носила ей этот мешок все время?

Отказалась бы сразу. Сказала бы, что не хочу, что это несправедливо, что я никогда не забываю свои вещи, что мне никто ничего не приносит… Но я носила, и она привыкла…

— Воровка…

Я хорошенько, по второму кругу прогорела.

За время болезни я приняла твердое решение. В школу эту я больше не пойду. И правда: а как? Вот только представить: я

захожу в класс, а там Ленка. И еще: сажусь за одну парту с той, которая молча стояла с ней рядом. Это невозможно.

— Переведи меня в другую школу, — сказала я Танюсе.

Но она даже слушать не захотела. Она велела не отступать перед трудностями.

Я пошла. В классе случилось неожиданное.

Наталья Николаевна прямо на первом уроке коротко рассказала о случившемся. (Оказывается, Танюся была в школе вместе с Ленкиными родителями.) Потом к учительскому столу вышла Лена и попросила у меня прощения. Ей это трудно далось, но она смогла.

— Ты прощаешь Лену? — спросила Наталья Николаевна.

Я встала и ответила:

— Да.

В этой простой процедуре примирения содержался большой смысл. Сказав «да», я действительно простила.

Мы снова общались, вплоть до окончания школы.

Но что интересно: Ленка больше никогда не оставляла свои вещи в классе. Она перестала их забывать.

Значит, и тогда, прежде, не забывала. Она не уносила свой мешок намеренно: ей просто лень было его тащить. Ведь всегда находился человек, который «по дружбе» делал это за нее. Она так к этому привыкла, что первый же сбой отлаженной системы вызвал ее огромное возмущение и желание наказать бунтаря.

Что касается меня, я поняла, какую силу имеет слово. Словом запросто можно убить. А можно и оживить.

И еще: слова как семена. Ты рассыпаешь их, а из них вырастает что-то новое. Плохое или хорошее.

Человек уходит, а слово его остается.

Каждое слово — волшебное.

Елка в Кремле

На новогодние каникулы принято было ходить на всякие Елки. Это довольно дурацкое мероприятие: шутки-прибаутки, хороводы, крики «Елочка, зажгись!»… Но главное: потом вручили подарки — яркие коробочки с разными конфетами, мандаринками…

Самые лучшие подарки раздавали конечно же на Елке в Кремле. Еще бы! Главная Елка страны! У счастливцев, побывавших на Кремлевской Елке, оставались не только воспоминания о грандиозном событии, но и удивительные сумки, в которые укладывались щедрые кремлевские подарки. Например, красная пластиковая сумка в виде кремлевской звезды! Идешь с таким сокровищем, и все понимают: «Это особенный человек! Это человек, побывавший в Кремле».

Однажды Танюся принесла и мне билет на Кремлевскую Елку. При мысли о сбывшемся счастье я трепетала.

Наконец настал заветный день. Мы с Танюсей вошли на территорию Кремля через Кутафью башню. А дальше родителей не пускали. Им велели ждать снаружи, пока дети пляшут и поют свои радостные новогодние песни.

Я затосковала. Одной — какой праздник? Если бы хотя бы знать тут кого-то!

Стоял серьезный мороз (ниже двадцати градусов). Естественно, все мы были укутаны, все в валенках, рейтузах, шубах… В раздевалке толкотня: мы переоделись. Потом нас, нарядных, в красивых платьицах и туфельках, построили парами и повели в зал. Я оказалась в паре с робкой девочкой. Она тоже явно тосковала одна. Мы крепко держались за руки.

— Меня Катя зовут. А тебя?

И тут со мной случилось странное… Я отчетливо помню чудо собственного перевоплощения…

— Мне трудно ответить тебе на этот вопрос. У меня очень много имен, — ответила я загадочно.

— Почему? — спросила моя спутница.

И в тоне ее вопроса, и в выражении горящих глаз проступала готовность услышать любой, самый фантастический ответ и безоговорочно ему поверить. Девочка располагала к творчеству…

— У меня странная семья, — начала я. — Дедушка англичанин, бабушка француженка, другой дедушка испанец, вернее, наполовину, у него мама датчанка, а бабушка…

— Ты не русская? — с придыханием промолвила слушательница моего бреда.

— У меня бабушка русская, по маме, ты не дослушала. Так что я русская… Национальность считается по маме. Но все остальные родственники — а я у них одна — мечтали, чтобы я жила с ними… И тогда они договорились, что каждый даст мне свое имя. Вот и получилось, что у меня очень много имен.

Я перечислила с десяток самых красивых, на мой тогдашний взгляд, иностранных имен.

Потом рассказала о наших с родственниками постоянных путешествиях по миру, которые проходили в основном на кораблях. По океанам, естественно. Упомянула о штормах, о кораблекрушениях… О чудесных спасениях, волшебных балах, таинственных старинных замках…

Мы не особо интересовались тем, что происходило вокруг. Ну, хороводы вокруг елки, ну, совместные песни, ну, «Елочка, зажгись!». Все — полная ерунда.

Я увлеченно повествовала о настоящей жизни. Катя трепетно слушала, боясь пропустить хоть слово.

Я говорила о материках, горах, диковинных зверях, китах, дельфинах…

Время детского праздника пролетело незаметно.

Настал момент возвращения в «здесь и сейчас».

Всех повели получать подарки. Нам вручили красивые коробочки со сладостями, о которых мы совсем недавно мечтали. Но по сравнению с нарисованными мной картинами вольной морской жизни кремлевские подарки выглядели достаточно бледно.

Потом мы разошлись по раздевалкам и больше не увиделись.

У выхода меня ждала Танюся. Она взяла мою руку в варежке в свою руку в варежке. Мне стало уютно. Я очнулась.

Я ведь словно все то время в Кремле находилась далеко-далеко от знакомых мест. Меня словно ураганом унесло…

Мы шли и молчали, потому что Танюся запрещала мне говорить на морозе. Я думала о том, как мне себя понимать. Я столько наврала сейчас! Зачем я это делала? Мне не было стыдно. Я просто хотела себя понять. Плохо я поступила или нет?

А писатели, когда пишут свои книги, Гофман, например, про Щелкунчика — он врун? Или братья Гримм? Или Пушкин?

Они же все придумывают. А людям нравится. Люди ждут этого.

…Я вспоминала горящие глаза Кати… Ее нетерпеливые вопросы…

Я врушка?

Мне не хотелось никого спрашивать об этом.

Я спрашивала и спрашивала у себя.

Лето с папой

Папа окончил университет в 1958 году. Об этом я узнала от Танюси. Она мне торжественно объявила:

— Этот год у нас особенный! Папа твой получил диплом. Теперь он юрист. Женечка получила аттестат о среднем образовании и золотую медаль. А ты идешь в первый класс!

Правда — особенный год!

В советские времена всех выпускников вузов на работу распределяли. В течение трех лет после окончания института молодой специалист обязан был трудиться там, где он нужен родине. Это было своего рода возвращение долга за образование.

Папу направили на работу в город Бабаево Вологодской области.

Первый год он обживался, а на следующее лето меня привезли к нему на школьные каникулы.

Поездке предшествовали тщательные сборы. Танюся закупила много разных продуктов: гречку, рис, геркулес, ванильные сухари, сахар, мясную тушенку, шпроты и даже обожаемую мной кильку в томатном соусе.

— Зачем это? — не понимала я.

— Там ничего нет, — убежденно произносила Танюся.

Это «там ничего нет» привычно вдохновляло ее на подвиги. Она даже купила несколько килограммов сливочного масла, и они втроем делали из сливочного масла топленое (такое дольше могло храниться). Втроем — не сразу, а по очереди, потому что топить масло надо было на очень маленьком огне, чтобы не подгорело, следить внимательно, если что — огонь еще уменьшать. Помню, как аккуратно, спокойно занималась этим тетя Стелла. Я, конечно, сидела рядом и развлекала ее вопросами, на которые она терпеливо и обстоятельно отвечала.

Когда сборы закончились, я с ужасом увидела наш багаж. Два больших чемодана и несколько картонных коробок, перевязанных бельевыми веревками. Страшнее этого быть ничего не могло. Я не представляла себе, как мы загрузимся в поезд, как сделаем пересадку. Ехать надо было до Череповца, там выходить и грузиться в другой поезд.

Я до сих пор отправляюсь в путешествия с минимумом багажа. Это прививка с детства. Как вспомню те коробки и чемоданы, так впадаю в панику.

Однако Танюся и не думала паниковать. Утром мы на такси по пустой летней Москве доехали до вокзала, там весь наш ужасный скарб подхватил носильщик и не только довез весь груз

до вагона, но и разместил все под нашими лежанками. Поехали.

Я смотрела в окно и не могла глаз оторвать от лесов, озер, рек, полей своей родины. В каждом домике, мимо которого мы проезжали, мне хотелось бы жить… Там, именно там, виделось мне счастье и покой. И всюду — удивительная красота.

Да, хорошо так смотреть из окошка, ни к чему не приближаясь… В голове песни проносятся — одна за другой:

…На заре этой песней негромкою
Огласились поля и леса,
Опоясаны алой каемкою
Над родимой землей небеса.

И поет мое сердце влюбленное,
И колеса стучат на бегу…
Все гляжу, все гляжу я в окошко вагонное,
Наглядеться никак не могу…

В Череповце мы кое-как выгрузились: помогли добрые попутчики. Потом череповецкий носильщик перевез наш багаж на другую платформу…

И вот наконец мы на месте! Нас встретил папа — улыбающийся, спокойный.

— Таня! — рассмеялся он, увидев наши коробки и чемоданы. — Ну что же ты выдумала такое! Мы тут с голоду не умираем. Зачем все это?

— Я ребенка везу, — веско сообщила Танюся. — Мне за ребенка спокойной надо быть.

— Я не люблю гречку, геркулес, рис… Мне не надо, — вякнула я.

— Ребенок должен разнообразно питаться, — убежденно провозгласила тетечка.

Папа, смеясь, обнял меня. Я совсем успокоилась насчет вещей. Папа рядом — все в порядке!

И правда: все быстро перенесли в машину с брезентовым верхом, и мы поехали в папин дом. Дом ему выделили как молодому специалисту, совсем новый дом из очень толстых бревен, не успевших даже заветриться и стать серыми. Дом казался золотым на солнце. В комнатах пахло свежим деревом — самый мой любимый запах. Дома на русском севере строились с учетом долгой и очень холодной зимы. Все делалось основательно. Мы через калитку вошли во двор. У дома росли цветочки, а справа находился невысокий, но частый заборчик, огораживающий огород. Чуть подальше на цепи бегала большая

овчарка Найда.

Поднявшись на высокое крыльцо, мы оказались в просторных сенях. Там вполне можно было бы поставить очень большой стол и сидеть вечерами: книжки читать, чай пить, разговаривать… Но стола не было. Только три двери. Одна — в туалет, одна в большую комнату, то ли мастерскую, то ли кладовку… Самая большая дверь вела в дом.

Потом я разобралась, что главной и важнейшей частью дома была огромная русская печь. Топилась она дровами, на ней готовили еду, грели воду, печь обогревала весь дом: все комнаты так или иначе соприкасались с печью. И еще: я впервые увидела, что на печи действительно можно спать! А то до этого читала про Илью Муромца, как он на печи лежал уйму лет, но представить себе этого не могла: не видела настоящих северных печей. Да, лежать на печи было можно, причем вдвоем и даже втроем! Такая она была огромная.

У порога нас встретил огромный черный зеленоглазый кот по имени Шпигель. Я таких больших кошек прежде не видела.

В гостиной нас ждал уже полностью накрытый стол. Мы быстро умылись с дороги на кухне. Там висел большой рукомойник, а на табуретке под ним стоял таз. Вполне удобно. Воды в доме не было. Зато рядом, во дворе находился большой колодец с такой вкусной и холодной водой, что зубы ломило.

Вдоль всех стен гостиной на самодельных полках стояли книги, книги, книги… Я почувствовала восторг: к папе приехала! А мы с папой любим книги! Вот они, мои закадычные друзья! Только успевай знакомиться!

Я уже знала, что после развода родителей у папы появилась «другая тетя». Она приехала с дочкой Таней из Ленинграда (там они с папой и познакомились). У нас дома о ней говорили «мадам ЛилЯ» — ударение на Я. Вообще-то звали ее Евгения, Женя, а Лиля — это такая фамилия. Вполне хорошая, добрая, симпатичная внешне женщина. А дочка ее, на год меня старше, стала мне очень хорошей подружкой.

С первого вздоха в замечательном папином доме стало мне ясно: меня ждет замечательное лето.

Несколько удивлений с самого начала: мы сидели за столом, наступил поздний вечер, а за окнами было совсем светло. Белые ночи! Это чудо до сих пор заставляет меня чувствовать себя совершенно счастливой. А в первый раз!

И еще! Тоже — чудо! В городе не было электричества! Можно ли себе сейчас представить такое? Вообще не было никакого электричества: ни столбов, ни проводов… Как сто лет назад. Вечерами зажигали керосиновые лампы. Но летом это и не

требовалось вовсе. Для хранения продуктов существовал глубокий погреб, там и летом было холодно и не таял лед.

Танцевали под патефон! И чувствовали себя вполне счастливыми и жизнерадостными.

Танюся побыла несколько дней и уехала. А я осталась с папой. Началось мое полное счастье. Счастье — это покой и свобода. Одновременно. Никаких запретов.

— Можно я буду читать на сеновале?

— Можно!

— А можно мы пойдем в город? («В город» — это туда, где несколько каменных домов, магазин и столовая.)

— Можно.

— А можно на речку?

— Конечно! Только смотри! Утонешь — домой не возвращайся!

В общем, впервые в жизни — «ожил я, волю почуя».

За долгий светлый день мы с Таней успевали всюду. И в лес, и на речку Колбь, светлую, чистую-чистую, с затонами, полными кувшинок, и огород прополоть, и яички собрать, которые куры только снесли, теплые, в пуху…

Тетя Женя работала медсестрой. Дома оставались только мы. Все шло, как мне нравилось: никакого распорядка. Обедать мы бегали в столовую «в городе». Я неизменно брала оладьи с вареньем из новой для меня ягоды — морошки.

Что за ягода такая?

Почему я о ней ничего не знаю?

— Ягода северная, — сказал папа, — а не знаешь по бескультурью своему.

И оказалось — правда. Полное бескультурье. Пушкин, когда после дуэли умирал у себя дома в Петербурге, попросил моченой морошки.

— А еще? — спросила я. — Расскажи мне еще…

Папа рассказывал, рассказывал… Он не уставал со мной говорить… Как и тети, как и Женечка моя.

Основные разговоры начинались, когда он возвращался с работы и мы все вместе шли на Колбь купаться. Папа знал наизусть огромное количество стихов. И, говоря о стихах, объясняя мне их, папа словно поселял свои любимые стихи в мою голову и сердце.

Так было с «Бородино». Я знала строчки из этого стихотворения по фронтовым открыткам, которые хранила Танюся. На некоторых из них было напечатано:

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! Не Москва ль за нами?
Умрем-те ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали.
И клятву верности сдержали…

М. Ю. Лермонтов. «Бородино»

Эти строчки очень меня волновали. А папа рассказал про все. Про войну 1812 года, про Наполеона, Кутузова, про то, почему «Скажи-ка, дядя…» — ведь тогда солдаты служили в армии 25 лет. И старые солдаты рассказывали молодым про свои подвиги… Я могла спрашивать про каждое слово, он объяснял. И что такое «редут», и «бивак», и «кивер», и «басурманы»…

Так, за разговором стихотворение стало моим. То же самое повторилось и со «Смертью поэта». Папа в меня верил:

— Тебе пора. Ты поймешь.

Его уверенность во мне воодушевляла меня на подвиги. К концу лета я знала наизусть большую часть «Евгения Онегина». Не просто знала — понимала каждое слово! И стихи, стихи, стихи…

Еще было у нас по утрам интересное время. Мы хоть и жили без распорядка, а распорядок сидел во мне крепко. Я по утрам стремилась к умственной работе. А у моей подружки Тани как раз в конце лета должна была проходить переэкзаменовка по трем предметам: она училась плохо, еле-еле. Ей надо было кучу упражнений написать по арифметике, по русскому. А ей очень не хотелось. Ну, очень! Но не оставаться же на второй год! И вот я велела ей делать упраженения каждый день в течение двух утренних часов. Я буду сидеть рядом и читать, просто читать то, что мне хочется. А ей тогда не будет скучно. Таня не понимала, как можно по своей воле читать книги. Она в обычной жизни была веселая, боевая, отчаянная. А как бралась за учебники, становилась несчастной и жалкой. Я же не понимала, как можно не читать. В остальном мы хорошо и крепко сдружились.

Старшие уходили на работу, я усаживала Таню писать. Сама читала. Таня иногда задавала вопросы, как пишется то или иное слово. Я терпеливо отвечала.

За первое лето у папы я прочитала всего Марка Твена (синее собрание сочинений), всего Чехова, вплоть до переписки, и отдельные разрозненные книги по истории, судебной медицине, вгрызалась в Энциклопедию Брокгауза и Эвфрона (особенно интересно было читать о диких племенах людей, флоре и фауне

далеких континентов).

Через два часа мучения Тани заканчивались. Она складывала тетрадки и учебники, я закрывала очередную книгу. Начиналась наша вольная, дикая жизнь.

Искра

Кроме дома, папе выделили личный транспорт — лошадь Искру. Папа с детства умел обращаться с лошадьми, понимал и любил их. Искра отвечала ему преданной любовью. Она была прекрасна: шоколадно-коричневая, большеглазая, стройная.

Я любила смотреть, как утром папа, собравшись на работу, выводит Искру из ее стойла, проверяет седло, поглаживает, похлопывает ее. Искра косила глазом на папу, готовая к бегу.

Потом папа легко вскакивал в седло, и они мчались. Р-р-раз! И нету! Только пыль дорожная, поднятая лошадиными копытами, еще вьется…

Вечером, возвращаясь домой, папа снимал с Искры седло, а потом отводил ее на ближний луг, пастись. Она могла свободно ходить по всем лугу: ее прикрепляли на очень длинной веревке к колышку.

Потом мы все шли на реку купаться, захватив с собой сваренные вкрутую яички, соль, хлеб, редиску. Это был наш ужин, и вкуснее я ничего не ела. Папа долго с удовольствием плавал, затаскивал в воду нас, отправлялся в далекий затон за кувшинками…

…Чуть-чуть смеркалось. От воды поднимался пар, как легкий туман. Это значило, что время позднее, пора домой. Мы собирали наши одеяла, полотенца и медленно шли к дому. Тетя Женя с Таней готовились ко сну, а мы с папой шли за Искрой. Ей тоже надо было вздремнуть.

Мы шли по дороге. По обеим сторонам, с лугов, поднималась дымка: луга отдавали ночи свое накопленное за день тепло. Казалось, что вокруг нас безбрежное тихое море. Колыхание травы можно было принять за сонный шорох волн. Я начинала чувствовать, что мы оказываемся в другом, совсем незнакомом мире, и слегка тревожилась. Рядом шел папа, поэтому совсем страшно никогда не становилось.

Вот мы ступали в область тумана — как в воду входили. Вот он, луг, где пасется Искра. Папа легко находит колышек. Но веревки на нем нет. И Искры нигде нет. Отвязалась и ушла.

Каждую ночь такое, и каждую ночь мы удивляемся:

— Где Искра? Далеко ушла?

Папа зовет ласково, мягко:

— Искра, Искра, домой пора.

Слышится далекое дыхание. Вот она, близко. Нашлась!

Мы видим прекрасную лошадиную голову над туманом. Она не смотрит в нашу сторону, лишь косит глазом.

Дальше начинается игра. Мы идем к Искре. Она стоит и ждет. Мы оказываемся близко, она отворачивается и уходит, спокойно, размеренно, но довольно далеко.

— Ей надо поиграть, — объясняет папа.

Он никогда не сердится.

Мы много раз подходим, Искра отходит, ждет…

— Все, — объявляет Искре папа. — Мы уходим.

И мы поворачиваемся к ней спиной, всем своим видом показывая решимость оставить Искру одну в ночном поле.

Она все понимает. Через пару шагов мы слышим ее легкий бег, фырканье. Она догоняет папу и становится ему поперек дороги.

— Нагулялась, — смеется папа.

Он легко вскакивает на лошадь. Поднимает меня и сажает на теплую спину Искры перед собой. Мы тихо-тихо плывем по туману к дому. Мне спокойно и надежно. Я чувствую себя абсолютно защищенной.

У Искры шелковая грива, она пахнет травой, ветром…

Я засыпаю…

А просыпаюсь утром, в своей кровати.

Завтрак на столе. Папа вскакивает в седло…

Новый вольный день на пороге.

«Искусство быть красивой»

На полке у папы я отыскала одну древнюю книгу. Она написана по-старому, дореволюционному. Яти, твердые знаки в конце слов… Меня очень интересуют такие книги. У нас дома, в Москве тоже есть фолианты из прежней жизни. Некоторые я уже читала. А некоторые — совсем скучные, какие-то учебники. Может, когда-нибудь прочту, когда поумнею.

Папина книга очень меня интересует. Она называется «Искусство быть красивой». Автор ее Лина Кавальери, а перевела книгу на русский язык женщина-врач. Я, конечно, очень хочу быть красивой, когда вырасту. У нас дома мне все время говорят, что о красоте думать глупо, неприлично и недальновидно.

Почему?

Танюся объясняет: в молодости красивые все. Свежесть, юность всегда привлекательны. Но делать ставку на красоту нельзя. Красота проходит, как будто и не было ее. И если девушка глупая, не училась, не развивала мозги, она не сможет стать самостоятельной, будет всегда зависеть от мужа. А муж запросто может найти какую-то другую, более молодую — и что тогда? Нет, красота — это все ложные ориентиры и установки. Главное: профессия, дающая независимость.

Ну, хорошо. Она права. Конечно, независимость нужна, куда без нее! Но разве нельзя при этом думать о красоте? Просто для себя. Не чтобы нравиться мужчине, который к тому же так и норовит сбежать к кому-то. Но на себя-то в зеркало чтоб приятно было смотреть? Разве это плохо?

Вот мои дорогие, любимые Танюся, Стеллочка, Аня — у них лица все в морщинках. Красивые лица с огромными умными и добрыми глазами… А если бы не было морщинок? Ведь им же самим приятнее было бы!

Мне интересно — а можно сделать так, чтобы морщинок у них не стало?

У нас с Танюсей, например, есть увлечение. Мы вечерами обувь чистим. Она любит начищать обувь. И все время повторяет, что настоящую женщину легко отличить по тому, как выглядят ее туфельки. Если пыльные, грязные, то и женщина неряха, грязнуля и вообще — не женственная, не уважающая себя особа. Танюся научила меня следить за обувью. Каждый вечер надо начистить туфли или ботинки так, чтобы с утра приятно было обуться. Сначала очищаем от грязи и пыли. Потом натираем гуталином и ждем, чтоб он впитался. А потом водим щеткой до блеска. И вот — только что стояли туфли, старые, усталые, а теперь —

загляденье! Блестят как новые!

И если туфлям можно продлить или вернуть красоту, тщательно ухаживая за ними, то почему нельзя, тщательно ухаживая за лицом, продлить свою молодость?

Вот и Лина Кавальери пишет: «Держитесь за молодость двумя руками!»

Правда, некоторые советы у нее смешные. Она пишет, что женщине нельзя уставать вообще! При малейших признаках усталости надо отдыхать. Интересно, как она себе это представляет? Мне такой совет совсем не годится. Я, если берусь за что-то, довожу себя до исступления: стараюсь изо всех сил, устаю, но дела не бросаю… Этот совет не по мне. Потом она пишет, что самый ужас, если у женщины некрасивые или больные ноги, а чтоб ноги не болели, надо постоянно менять обувь. Не ходить в одном и том же. Хорошо ей было рассуждать, наверное. Это столько обуви надо иметь — не напасешься! У меня, например, с обувью дела такие. Летом — сандалии. Весной — осенью — туфли. Зимой — ботинки. До школы были валенки с галошами, но это для малышей. Еще есть чешки для физкультуры и ритмики. Вот и всё. И ноги пока целы…

Но самое главное я ухватываю. Лина советует постоянно ухаживать за кожей. Смягчать ее розовой водой с глицерином. Ну — розовую воду мне взять негде, а вот крем — это можно. На следующий день я прошу у папы немножко денег, мы с Таней бежим в магазин, и я покупаю синюю стеклянную банку с кремом. Вечером я умываюсь и мажу крем на щеки и подбородок. Это надо делать за два часа до сна. Так что вполне можно еще погулять, потом за Искрой сходить…

— В чем это у тебя щеки? — спрашивает папа.

— Это крем. Чтоб не стареть, — объясняю я.

— Ну, давай, — соглашается папа. — А не рано?

Я понимаю, о чем он. Я сама читала в журнале «Работница», который мы в Москве выписываем, что следить за кожей надо начинать после двадцати пяти лет. Раньше — не имеет смысла, все и так хорошо.

— Видел, какие у наших морщины? — отвечаю я вопросом на вопрос. — Это потому, что они заранее обо всем не позаботились. А я позабочусь — и у меня вообще никогда не будет морщин!

— А! Ну, попробуй. Может, и правда, — соглашается папа.

— Пап, я буду все делать, как написано. Утром и вечером. Я же от этого глупее не стану. Я не брошу учиться. Мне просто интересно посмотреть через сорок лет, что получится. Вдруг морщины не появятся? Тогда я права. А если появятся, тоже ведь вреда не будет.

— Вреда не будет, — улыбается папа.

Отныне я по утрам и вечерам наносила на кожу лица крем. Вскоре это вошло в привычку — как зубы почистить. Минутное дело…

Время прошло. Даже больше, чем было задумано. Морщин нет!

И кто был прав?

А совсем недавно я узнала, что Лина Кавальери была знаменитой оперной певицей. И еще: ее называли самой красивой женщиной мира. Она оставалась очень красивой и после шестидесяти. Погибла она, так и не растеряв своей красоты: в ее прекрасный итальянский дом попала бомба. Война, 1944 год.

Малина

Мы с папой вдвоем идем по улице. И вдруг к нам подходит маленькая старушка. Сразу видно, очень добрая и очень печальная.

Вообще-то тут все люди добрые и тихие. Говорят на «о». Окают. Мне очень нравится такой разговор, я тоже иногда начинаю окать, мне кажется, что так звучит красивее.

Дома́ никто не запирает. Можно просто постучать в дверь и войти. Мы так однажды к соседям ходили, смотреть теленочка. Там многие дома́ были еще по-старому устроены. Сначала заходишь в теплые сени, а там скотина — коровы, телятки. Это чтоб зимой они не замерзли. А потом уже, после сеней, начиналось человеческое жилье… Близко друг к другу жили люди и их кормильцы-коровы. Нас соседка позвала смотреть на теленка, мы пришли, посмотрели, полюбовались… Все открыто… Сейчас даже странно о таком писать.

…Вот подходит к нам старушка. У нее глаза светлые, и в них слезы стоят. И она говорит папе:

— Помоги мне, мил человек. Ты ж в прокуратуре работаешь?

— Да, — говорит папа.

— Я вот там, за углом живу, у реки. Зайди ко мне, помоги заявление написать. Я ничего не пойму, как его писать… Сына у меня посадили. Сидит, суда ждет. Ему грузовик дали, а он на ладан дышал, грузовик-то. Сын не хотел за руль садиться: неисправный, говорит, грузовик даете… Я за такой отвечать не могу… Только на работу устроился. Один он у меня, сын… Муж на войне полег, я сыночка вырастила… Выучился он у меня на шофера… А этот сразу начальник ему такой грузовик дал — на погибель. А отказаться нельзя: нарушение трудовой дисциплины. И он с этим грузовиком в первый же день в реку загремел. Тормоза там неисправные и еще что-то… Хорошо, сам спасся. Теперь сидит. За что? Как быть-то мне? Они посадят его, как мы с ним? Разлучат, так и не увидимся… Разве сделать ничего нельзя?

Папа мрачнеет. У него желваки на лице ходуном ходят. Он никогда не кричит. Я понимаю, когда он сердится, по этим желвакам.

— Можно сделать, — твердо говорит папа. — Я помогу. Заявление напишу вам. Отпустят…

— Ты только приди. С дочкой приходи. Хорошая дочка у тебя, одно лицо с тобой.

Бабушка протягивает руку и гладит меня по голове. Рука ее немножко дрожит, мне делается жалко до слез и ее, и ее сына, и

мужа, который погиб…

— Сегодня же придем, — обещает папа.

Мы заходим домой, он переодевается, и мы идем искать бабушкин дом. Папа находит его быстро. Домик совсем маленький, как сама старушка. И забор старый, весь наклонился. Скоро упадет.

Бабушка выходит на крылечко, радуясь, что папа сдержал слово.

— Вот спасибо тебе, мил человек! Пусть твоей дочке такие люди в жизни попадаются, как ты сам.

Она ведет папу в дом, а мне говорит:

— Иди, деточка, в сад, там у меня малины — видимо-невидимо. Пойди, поешь. Некому малину мою есть. Сидит сыночек. А ты пойди, поешь…

Я иду в ее садик и вижу: вдоль забора сплошь заросли колючие, а на них — настоящая огромная ягода-малина. Ее и правда так много, что красного цвета на кустах больше, чем зеленого. Ягоды заслонили собой листья. Бедная бабушка! У нее такое горе, что нет сил малину собрать! У нас бы тут же собрали и принялись варенье варить.

Я подхожу к этому великолепию, не веря себе. Никогда не видела, чтобы малины было столько! И — мне разрешено ее есть, прямо с куста! Я пробую — ах, какая душистая! И сама падает в руки, как только дотронешься до нее. Одна за одной, одна за одной… Я ем малину, но мне почему-то ужасно стыдно. Получается — я наслаждаюсь тут из-за чужого горя. Бабушка может сына лишиться, а я… Еще одна крупная ягода падает мне в ладонь, и я вижу, что внутри нее извивается большой белый червяк.

Я очень боюсь некоторых насекомых. Ночных мотыльков, ос и вот теперь — белых малинных червяков.

Я отбрасываю от себя ягоду, отчетливо понимая, что червяк попал мне в ладонь не случайно. Это понадобилось, чтобы я прекратила обжорство и вела себя достойно.

Острое чувство стыда пронзает меня. Я иду в дом, сгорая от стыда.

— Что? Так быстро налакомилась? — участливо спрашивает бабушка.

— Да, спасибо, — шепчу я.

Папа что-то скучное объясняет бабушке. Потом мы уходим.

— Ты ей правда поможешь? — спрашиваю я папу.

— Помогу, — отвечает он. — Там нетрудно помочь. Махинаторы…

— Они ему специально подстроили? — догадываюсь я.

— Очень похоже на то, — отвечает папа.

Некоторое время идем молча. Потом папа говорит:

— Видела мать? Запомни! Ей памятник надо поставить. Мужа на войне потеряла, сына одна вырастила. И им все мало. Они последнее отнять хотят.

Мне делается еще стыднее. Я тоже имею отношения к «тем», которые извлекают пользу из чужого горя. Накинулась на малину…

Я стараюсь поскорее забыть про червяка в ягоде…

Иногда это получается, а иногда позор мой снова всплывает в памяти. Однажды я спрашиваю папу:

— Как там сын той бабушки? Отпустили его?

— Отпустили, — отвечает папа и улыбается.

— Ты помог?

— Немножко и я помог…

Но надо же! Беда миновала, а стыд мой все-таки остался.

До сих пор о нем помню.

Мы едем на дело

— Пап, а ты когда-нибудь возьмешь меня с собой — на преступление посмотреть?

— Обязательно возьму.

Папе я верю. Он никогда не запрещает, не обманывает, выполняет все обещания.

Я вот недавно поделилась с папой мечтой. Ну, что я, когда вырасту, буду в общем-то мужчиной. А то без мужчины в доме нельзя. Я предлагала всем трем тетям по очереди решить эту проблему самым простым способом: выйти за кого-нибудь замуж. Ну, пусть не сразу всем, но хоть одна-то вполне может собой пожертвовать ради семейных интересов. Я знаю, о чем говорю: их с удовольствием взяли бы в жены. Я даже один раз подслушала, как они о ком-то говорили, что вот, мол, посватался. А потом одна из них — не разобрала, кто именно, засмеялась и сказала:

— Очень мне надо на старости лет жизнь свою менять.

Я поняла, что не будет нам в доме мужчины. Один выход: я подрастаю.

Вот я и делюсь с папой мечтой: вырасту, буду ходить в брюках, руки у меня будут золотые. А еще — я обязательно буду курить. Все мужчины вокруг курят. Папа курит. На фронте начал. И теперь курит «Беломорканал» — такие папиросы с картой на коробочке. Так что и я буду.

Папа внимательно слушает.

Фантазия моя разыгрывается. Я долго рассказываю о себе в будущем. А потом прихожу к выводу: тренироваться надо начать прямо сейчас.

— Дай закурить! — требую я у папы по-свойски, как подобает мужчине.

— На! — соглашается папа, протягивая мне пачку «Беломора».

Вот это дело!

Я достаю папиросу, дую в нее, бумажный кончик сжимаю, точно так, как это делает папа.

— Огоньку? — спрашивает он участливо.

Я солидно киваю.

Папа зажигает спичку и подносит к моей папиросе.

Я втягиваю воздух. Папироса разгорается. Дымок идет. Я хитрая. Я не вдыхаю папиросный дым, только в рот набираю. Довольно противно во рту от этого дыма.

— Ну? — побуждает папа. — Давай! Затягивайся. Ты же

курить хочешь — кури.

Мне приходится держать марку. Затянувшись, я долго кашляю. Вкус горькой гари весь день преследует меня. Гадость!

Больше я не курила. Но если что — пожалуйста. Папа говорит, что я свободна делать свой выбор.

Курить не буду, ну его. А вот посмотреть, как расследуются страшные ужасные дела, обязательно надо.

Главное — преступления дождаться.

И все никак. Ну — нет таких преступлений, чтоб жуткие, кошмарные, леденящие душу… Ничего особенного не происходит…

Так говорит папа. Я ему верю. Он меня обязательно возьмет на что-нибудь такое, как в его книге про криминалистику.

Долгое время все тихо… Ну нет приличных преступлений, и все тут!

И вдруг! Прямо в выходной день, в воскресенье — повезло несказанно. Приезжают за папой на машине «скорой помощи»:

— Марк Иосифович! Поехали. Убийство.

Папа быстро собирается. Я напоминаю о себе:

— Ты обещал!

— Да ничего там интересного и загадочного, — почему-то пытается отказать мне папа. — Пьяный скот в белой горячке зарубил топором мать. Кому это надо — смотреть на такое?

— Ты обещал… — ною я.

— Ладно, поехали, — вдруг легко соглашается папа.

Мы с Таней живенько усаживаемся в машину «скорой помощи». Там уже сидят фельдшер, судмедэксперт и кто-то еще.

— А их куда? — спрашивает о нас судмедэксперт.

— На дело собрались, — поясняет папа.

— Ааа… Ну ладно…

Мы едем через лес. Леса в Вологодской области — настоящие сказочные дремучие чащи. Вся просека в ухабах и рытвинах. Трясет ужасно. Лес, лес, лес… Сколько еще ехать?

— Укачало? — спрашивает папа.

— Ну… да, — отвечаю.

Снова едем. Трясемся. Лес иногда перемежается с полянами, то красновато-оранжевыми, то сине-фиолетовыми.

— Что это там? — интересуюсь я.

— А это морошка и черника — целые поля выросли. А там дальше — голубика, видите, девчонки? — показывает фельдшер.

Ничего себе! Вот прямо так, целые поля ягод растут, и никто их не собирает!

— Останови-ка, — велит папа шоферу. — Я вот что

предлагаю. Девочки сейчас выйдут, пособирают ягоды, а мы на обратном пути их заберем. Как такой вариант?

Меня уже довольно сильно укачало… А тут ягод целые поля… Я забываю про страшное преступление. Ягоды — куда интереснее. Мы выходим — прямо на поляну перед дремучим лесом.

— Только далеко от дороги не уходите, — напутствуют нас из машины.

Мы собираем и собираем ягоды. И в матерчатую сумочку, которую дала нам фельдшер, и в Танькины сатиновые шаровары — она осталась в одной майке и трусах ради общего дела. Наедаемся ягодами до отвала. Потом находим грибы. Их собирать некуда. Я снимаю кофту. Завязываем у нее рукава и кладем туда нашу добычу…

Сколько времени прошло, непонятно. Только нам уже надоело, захотелось домой… За несколько часов ни одной машины не проехало по просеке — мы, правда, немного углубились в лес, собирая грибы, но шум мотора услышали бы в этой лесной тиши.

— Пойдем на дорогу, — зовет Таня. — Сядем там на пенек, будем ждать. Кто поедет, того и попросим довезти.

Мы так и делаем. Садимся у дороги, ждем, лениво обрывая ягоды вокруг: их видимо-невидимо.

Никаких машин. И папа не возвращается… Забыли они там о нас, что ли?

Наконец слышим грохот. Грузовик мчится как раз с той стороны, куда отправился на дело папа.

— Вставай, махать ему будем! — велит Танька.

Мы вскакиваем и машем грузовику, чтоб только не проехал мимо, подобрал нас.

Машина останавливается.

— Вы следователевы дочки? — спрашивает шофер.

— Мы!!!

— Полезайте в кабину, отец велел вас тут подобрать.

Уфф! Значит, не забыли про нас.

Мы забираемся. Вид у нас, наверное, — тот еще: языки синие от черники, лица чумазые… Танька вообще в одних трусах…

— Ишь, запасов сколько набрали! Хозяйки! — одобряет шофер.

Назад дорога всегда легче. Раз-раз, и мы дома.

И вот уже сидим, за столом вместе с тетей Женей, ягоды перебираем. Она из них варенье будет варить.

Вот мы какие молодцы! Дело какое сделали! Хорошо, что

согласились в лесу остаться.

У человека всегда есть свобода выбора. Так папа говорит.

Свидетельство

Много сейчас говорят о детских свидетельствах. Насколько они правдивы? Рассматривают и толкуют рисунки… Нарисует ребенок кошку с пушистым хвостом, все — пиши пропало. С ребенком что-то не то сделали…

А ведь есть еще и такая простая вещь — ребенок мог где-то увидеть именно такой рисунок. И воспроизвести его, потому что ему понравилось изображение.

И еще — даже очень честный ребенок не всегда говорит правду. И не потому, что его заставляют лгать… Бывают другие мотивы…

…Мне восемь с половиной. Даже уже больше: восемь лет и девять месяцев! Я очень взрослая, умная, начитанная, способная поддерживать любую беседу в любом обществе.

Это я так считаю.

Тети — увы — совсем другого мнения. Они продолжают нянчиться со мной, видеть во мне дитя неразумное, не позволяют вмешиваться в разговоры старших… Я и не пытаюсь. Знаю, что услышу в ответ:

— Когда старшие разговаривают, дети обязаны молчать.

А очень жаль!

Несправедливо это!

Дали бы мне слово — они бы не пожалели! Они бы такое услышали…

Не дают… И даже близко не подпускают!

…Я только вернулась от папы. Я провела у него почти все лето. Без Танюси! И вот он меня привез назад в Москву. Скоро новый учебный год. Он несколько дней побудет с нами, а потом вернется к себе, на работу.

Воскресенье.

Папа поехал повидаться с каким-то своим другом.

Три мои дорогие тетечки, три сестры сидят за круглым обеденным столом и пьют чай. Мне очень любопытно узнать, о чем они говорят. Слышу краем уха: «Марик… Ревматизм… Здоровьем заняться…»

Про папу говорят. Это у папы ревматизм. И тети все время хотят, чтоб он отправился на обследование… Что-то еще они живо обсуждают, волнуются…

— Подожди, спросим у Гали, — доносится до меня.

Неужели? Не может быть! Неужели они наконец-то поняли, что я могу ответить на любые их вопросы! Неужели увидели, что

я доросла до взрослых бесед?

— Иди сюда, Галенька! — зовут тети.

Я со счастливой готовностью подбегаю.

— Хорошо было с папой? — как-то невзначай, отвлеченно спрашивает Танюся.

(Но меня не проведешь! Сейчас они узнают!)

— Очень хорошо! Очень-очень хорошо! — говорю я чистую правду.

— А чем вы там занимались? Он уделял тебе внимание?

— Я читала. Всего Чехова прочла, Марка Твена — всего…

— То, что ты читала, это и так понятно. А папа — он с тобой занимался?

— Да! Занимался! Очень много занимался! Мы на лошади катались. Мы на речку каждый день ходили… Много занимался!

— А… — Танюся явно обдумывает, как бы получше сформулировать следующий вопрос. Значит, вопрос этот важный. Может быть, самый главный во всем нашем разговоре. Мне никак нельзя ударить в грязь лицом.

— А скажи, Галенька, как там папа? Пил?

(Сейчас-то я понимаю, как беспокоил старших сестер отца этот вопрос. Все вокруг пили! Мужчины, прошедшие войну, выпивали — кто больше, кто меньше… Но это было серьезной бедой. Они волновались о папе. А у женского волнения по поводу близких границ нет… Меня же спрашивали они на всякий случай. Для профилактики и самоуспокоения. Ребенок-то не соврет. Устами младенца провозглашается истина, как известно…)

Я понимаю, что вся моя репутация взрослой и здравомыслящей особы поставлена на кон этим вопросом.

— Пил ли папа?

И я отвечаю веско, уверенно, солидно, по-взрослому:

— Пил!

Тети ахают!

Я внутренне ликую: попала в яблочко! Угадала правильный ответ! Они явно поражены!

— Как пил? Неужели пил? Много пил?

Каждая жадно ждет ответа на свой вопрос. Все горящие взоры устремлены на меня. Как же это приятно — такое внимание к моей особе!

— Много пил! — убежденно подтверждаю я.

Тети всплескивают руками.

На такой интерес я даже и не рассчитывала, признаться.

— Прямо напивался? Ходил пьяный? — горестно стыдятся тети.

— Каждый день ходил пьяный, — киваю я. — Шатался…

— Боже мой! — хватается Танюся за голову. — Боже мой! Бедный Марик! Что с ним случилось!

И тут я вспоминаю. Некоторые картинки быта провинциальных пьяниц встают в моем воображении (далеко ходить не надо).

— Шатался, — повторяю я. — И каждый день валялся в канаве!!!

Эффект, как говорится, превзошел самые смелые мои ожидания.

Что интересно — поверили моим словам безоговорочно.

Меня быстренько отослали в другую комнату — поиграть.

Я ушла с чистым сердцем. Своего добилась. Впечатление произвела.

Как жадно они меня слушали!!!

Надо ли мне пояснять, что папа не пил? Что я никогда в своей жизни не видела его пьяным? И даже представить себе такое не могла.

И папа был самым дорогим для меня человеком на свете. Образцом и примером мужчины.

Зачем же я наплела такое?

Мотивы я обозначила…

Совершенно детские, незрелые мотивы.

Я в очень хорошем настроении играла у себя в комнате. Ждала папу.

Вот он вернулся. Тети немедленно повели брата выяснять подробности его немыслимого грехопадения на глазах у ребенка, единственной дочери!

Мне это все уже не было интересно. А чего? Меня все равно не позовут…

Не было, кстати, и стыдно…

Я слышала, как из другой комнаты доносится папин смех.

Я знала, что все у них там хорошо и весело.

Потом папа пришел ко мне, поднял меня на руки, прижал к себе.

Он все еще смеялся.

— Ну что ж ты так? — только и спросил он.

И я засмеялась вместе с ним.

Мы вообще-то очень смешливые.

Вот и все.

«Золотые мои старики»

Однажды, другим уже летом я сначала опять гостила у папы, а потом мы с Танюсенькой поехали в Кисловодск, на Северный Кавказ. Это отдельная история, потому что… Впрочем, об этом потом…

А сейчас снова о папе.

Пока мы наслаждались красотами Кавказа, папа гостил у своих папы и мамы, которые так и остались жить в Каменке. Папа провел с ними весь свой отпуск и, возвращаясь на работу, заехал к нам, в Москву. Он всегда привозил или присылал мне в подарок книги. Я их до сих пор берегу. И трехтомник Пушкина, и «Необыкновенные приключения Карика и Вали», и много чего еще…

В тот раз он тоже приехал с книжкой.

Шел самый конец августа. Мы с подружкой договорились пойти вместе в магазин «Культтовары», где продавалось все для школы: ручки, ластики, тетрадки, карандаши, краски, обложки для книг, блокнотики и много чего еще. Самый любимый мой магазин. И запах там — один из самых моих любимых.

Мне очень хотелось, чтобы папа мне что-нибудь подарил именно из этого магазина. Пошел бы со мной и купил мне все, что я попрошу. Там все стоило совсем немного: тетрадка — две копейки, блокнотик для записи слов — одну копейку, ластик — две копейки…

— Пап, пойдем с тобой в магазин, купи мне для школы всего, — попросила я.

— Галенька, а у меня денежки кончились, — беззаботно отозвался папа. — Отпуск позади, остался без денег…

Что же было делать?

Мне требовалось получить подарок от папы к новому учебному году.

Неужели мечта моя не сбудется?

Быть такого не может!

Я полгода, с зимних каникул, копила деньги.

Сначала мне подарили новый рубль (как раз прошла денежная реформа, когда десять рублей становились рублем (и так далее). Старые деньги выглядели очень серьезно. Один рубль (превратившийся в металлические десять копеек) был внушительной купюрой. Новые деньжата оказались несолидными маломерками. Их презрительно называли фантиками. Дóма сокрушались, что прежний рубль и нынешние десять копеек

несопоставимы по своей значимости.

Мои накопления, начавшиеся сразу с огромной суммы, росли потом за счет экономии на школьных завтраках.

Мне ежедневно давали по 20 копеек. Танюсеньке казалось, что я в школе страдаю от постоянного голода. Она требовала, чтобы на каждой переменке я перекусывала. А мне в школе есть не хотелось вообще. Там чай подавали в толстых мутных пластмассовых чашках. Чай вонял помоями, а чашки воняли какой-то химией. Все вместе — гадость несусветная. Учащиеся массы пили. У меня получалось пить *это* только в случаях невыносимой жажды. Чай без сахара стоил одну копейку.

Я оставляла «несъеденные» деньги, мечтая купить на них собрание сочинений Жюля Верна.

В общем, за две четверти — зимнюю и весеннюю — у меня накопилось десять рублей. Рубль бумажкой, а остальное мелочью. Я обменяла в сберкассе свои накопления на красную хрустящую бумажку с портретом Ленина, спрятала ее в коробку с игрушками. Потом началось лето, я про свое богатство и не вспоминала.

И тут меня озарило! Я поняла, что надо сделать, чтобы у меня оказался подарок к новому школьному году от папы!

Я быстренько отскочила в другую комнату, к своей коробке, вытащила из ее недр заветную десяточку и сунула ее незаметно в карман папиного пиджака, который висел в прихожей.

Потом я побежала в комнату, где сидел папа, и снова принялась канючить:

— Пап, купи мне подарок… Па-ап…

Папа ласково отнекивался, мол, денежек все равно нет.

— А ты посмотри у себя в карманчиках, — убеждала я.

И он, просто чтобы отвязаться от меня, пошел за пиджаком, полез в один карман, в другой и вдруг!!! Неожиданно для себя обнаружил десять рублей!!!

Он даже глазам своим поначалу не поверил.

А потом ужасно растрогался.

— Золотые мои старики, — сказал он дрогнувшим голосом. — Подсунули незаметно…

— Вот видишь, — радовалась я. — А ты говорил, нет денежек.

— Я же не знал, — растерянно повторял папа…

Он тут же спустился и разменял в сберкассе деньги. И вручил мне три рубля.

— Тебе столько хватит?

— Конечно! — ликовала я.

За мной зашла подружка, и мы отправились в магазин одни. Она без папы, и я без папы.

— Мне три рубля папа подарил, — похвасталась я по дороге.

— Ого! — позавидовала подружка. — Много!

Ей папа никогда не дарил таких денег. Ну, 20 копеек — максимум. Он не был праздником, ее папа. Он всегда жил с ней.

Я купила кучу всего. И главное — чешский набор цветных карандашей в красивой железной коробке. Как же эти карандаши пахли! Не надышишься!

Карандаши радовали меня до окончания школы и даже дольше…

Мой папа уехал довольный, при деньгах после отпуска.

Я осталась с кучей подарков от него.

Жюля Верна я брала — книгу за книгой — в библиотеке.

И чем это хуже?

Я уезжаю!!!

Маму я видела очень редко. Раз в несколько лет. Я привыкла жить с Танюсенькой и очень любила ее. Но мама… Что-то внутри меня тосковало по маме. Я могла на улице заглядеться на женщину с толстой русой косой вокруг головы и даже пойти за ней, пытаясь заглянуть в лицо: а вдруг она — моя мама? Тосковала я по ней очень редко, только когда она приезжала, а потом надо было расставаться.

Мне вот-вот должно было исполниться девять лет. Мама впервые приехала к нам с моим младшим братиком Гришенькой (ему тогда было около пяти). До этого я видела только его фотографии. Я очень его ждала и мечтала познакомиться.

Гришенька — тихий, худенький мальчик, светленький, зеленоглазый, зауважал меня беспрекословно. Я учила его жить. Например, показала почтовые ящики в нашем подъезде и объяснила: «Пальчик туда не суй, там Змей Горыныч, откусит сразу же».

Бедный Гришенька поверил старшей сестре и боялся этого Змея потом долго-долго. До сих пор помнит…

Приезд мамы в тот раз начался с обиды на нее. Редко мы виделись, но когда виделись, она умела уязвить. Уверена — не нарочно. Так получалось. Уж очень разные мы с ней оказались.

Когда мама приезжала, я, конечно, выбивалась из колеи, капризничала. Наверное, ребенку надо накапризничаться в детстве. Пусть совсем немного, но столько, чтобы убедиться: есть те, кто любят его любого. А уж мамину любовь мне очень хотелось испытать. Мне хотелось, чтобы она меня пожалела, приголубила. Вот такую ПЛОХУЮ, капризную… Мне хотелось удостовериться, что я для нее ХОРОШАЯ, как бы себя ни вела. ХОРОШАЯ, потому что ЛЮБИМАЯ, СВОЯ.

А она этого совсем не понимала. По ее представлениям, когда я капризничала, я всегда была ПЛОХАЯ. Без вариантов.

В тот ее приезд, когда я опять начала капризничать, она, отвыкшая от меня совсем, вернее, привыкшая вяло любить меня на расстоянии, по фото, пришла в возбуждение. В гневе она крикнула на меня: «Варвар!» И обратилась к тете Тане, возмущаясь мной, как это сделал бы совсем-совсем чужой мне человек:

— Ну как можно жить с этим варваром?!

Это восклицание оскорбило меня.

Слово ВАРВАР звучало ужасно. Я не знала его значения. У нас его не потребляли. Звучало же оно очень зло: два повторяющихся

слога с такими звонкими, раскатистыми согласными: ВАР-ВАР-ВАР-ВАР…

Воронье КАР-КАР-КАР было и то гораздо приятнее на слух…

К тому же незадолго до этого я случайно испачкала свое новое красивое платье. Вышла гулять, а рядом с домом стояла бочка с тягучим черным варом. Мы все в нее заглядывали, любопытствовали. Ну, я и сгубила свое платьице — вар ничем не отмоешь.

Я поняла, что для мамы я — вот этот самый черный, липучий ВАР.

ВАР, ВАР. ВАР…

И еще одно ощущение возникло. Я не смогла облечь его в слова. Но если бы смогла, сказала бы, наверное, так:

— Ты, значит, не смогла жить с этим ВАРОМ (и неправда, я не вар!), и отдала меня тете, как я даже куклу старую отдать не смогу, — насовсем!

Так что же ты сейчас ее подговариваешь не жить со мной? «Как можно жить с этим ВАРОМ!»

А куда же мне деваться, если тетя поверит? И что ты обо мне знаешь, называя меня так по-страшному?

Тетя, конечно, тебе не поверит. Она меня любит. Ты — нет. Но какое ты имеешь право не любить меня? Какое право имеешь отчуждаться?

Я — твоя? Или нет? Если нет — зачем ты здесь?

Почему тебе можно быть такой злой и нетерпеливой?

Но я этого ничего не сказала — да разве и смогла бы тогда перечислить это все, что так обрушилось на меня? Я просто постаралась забыть. Потом слово само вернулось. И возвращалось не раз… Тогда-то и появились эти вопросы.

Мама с братиком погостили у нас и стали собираться в обратный путь. Они купили много-много всего. Невиданное множество богатств. Гречку, много-много пряников, ужасно вкусно пахнувшие ванильные сухари. Огромный запас, на год наверное. Еще они купили гирлянды сушек. Они, эти маленькие сухие гремящие бублички, были нанизаны на грубую веревку, как бусы для великана. Я много раз видела, как деревенские тетеньки в черных плюшевых жакетах шли по городу, надев на себя вязанки сушек. Это не казалось смешным. Это делалось, чтобы освободить руки для другой ноши.

…Мама еще купила Гришеньке всякие книжечки, карандашики и раскраски. И еще какие-то ботинки, костюм. Ну,

это неинтересное, это ерунда.

Гляда на все это роскошество, на бередящие душу сборы, я затосковала и решила ехать с ними.

Я принялась всерьез собираться. Вынула из шкафа школьную форму и кое-какие книжки.

Тетя мне не помогала, но и не отговаривала. Напротив, кивала: «Поедешь, поедешь».

Мать тоже не спорила с варваром.

Боялась лишних слез? Или заколебалась в тот момент, не взять ли?

Жестокая состоялась игра для любой из сторон.

Тетя всю жизнь боялась потерять меня: а вдруг все-таки приедет мать и заберет? Это было ужасом тетиной жизни. От нее требовалось держать себя в руках, проявлять мудрость, спокойствие, не срываться: в хаосе возникшей из ничего ссоры легче дать волю чувствам, а не рассудку. (Ведь мать могла почувствовать и так: «А плевать мне, что ей здесь лучше, она моя! Поехали, доча!»)

Этого тетя допустить не могла. Думаю, именно поэтому она всегда была так терпелива и спокойна с моей матерью. Тем и взяла. Тем и выиграла.

Потом, став совсем взрослой, я говорила с матерью о том, как же все-таки так получилось, как же так и не забрала она к себе свое дитя, которое отдавала лишь на время собственной учебы.

— Приеду, совсем уж соберусь тебя увезти. А тут эта Таня… Жалкая, бессловесная… И больно за нее. И вижу, что тебе с ней лучше.

Мать умела жалеть. Это чистая правда. Она не всегда умела жалость свою показывать.

Спасибо, что не забрала.

Итак, я упаковалась всерьез, готовая наконец-то зажить своей семьей, с мамой и братиком. Со всей этой горой пряников, сухарей, сушек…

Поехали на вокзал. Мы трое — уезжать насовсем. А тетя — тетя только проводить — и все. И до свидания. Приезжай, не скучай.

Как же я ненавижу вокзальные запахи, звуки… «Крик станций: останься! Вокзалов: о жалость!.. В окошечках касс — Ты думал — торгуют пространством?..»

В окошечках касс торговали пространством вяло. Тянулись очереди. Маме требовалось «прокомпостировать» билет. До сих пор не знаю, что это такое, но слово ненавижу.

Вокзальный запах — сортира, грязных человеческих тел, паровозного угля — вызывал тошноту. Измученные, некрасивые люди спали на каменном полу вповалку, обнимая свои мешки со столичными гостинцами, в бусах из сушек.

Мы с Гришенькой сидели на большом мамином чемодане. Братик устал и задремывал, привалившись ко мне. На его бледненьком личике проступали голубые прожилочки. Иногда он судорожно вздыхал. Мой бедный, маленький, родной терпеливец.

Очень много тоски и дикой опасной стихии витало в атмосфере вокзала.

Я была верна своему слову: я уезжала. Я глаз не сводила с небольшого чемоданчика, выданного мне для сборов тетей Таней, следила, чтоб не украли. Тетя безучастно стояла рядом, ожидая мать.

Наконец та вернулась с прокомпостированными билетами. Тетя взяла меня за руку и подняла мой чемоданчик.

— Ну, мы пойдем, она совсем засыпает. До свидания, Нина.

Мать прильнула ко мне, дрожа всем телом. Она всегда дрожала, прощаясь со мной.

Но вот она выпустила меня из своих объятий. Подхватила уснувшего совсем Гришеньку..

— Ну, прощайте, не обижайтесь, если что не так. Не поминайте лихом…

«Кто может знать при слове „расставанье“, какая нам разлука предстоит…»

Больше я никогда не просилась уехать с мамой.

Дед Мороз и его подарки

Елку мы обычно наряжали 31 декабря. Я и не догадывалась, что елка имеет отношение к какому-то другому празднику. Новогодняя елка — какие могут быть вопросы!

Елка сама по себе казалась чудом. Она пахла хвоей, а украшенная, сияла огнями и разноцветными игрушками. На макушке волшебного дерева всегда красовалась пятиконечная звезда. И опять же — какие могут быть вопросы: звезда водружалась в честь Кремлевских звезд — это же любому ясно.

Новый год — единственный праздник, когда мне можно было не ложиться спать хоть всю ночь. Впрочем, это меня не особо воодушевляло: мой организм устроен таким образом, что разрешай не разрешай, а после девяти я усну сама по себе, хоть сидя, хоть стоя. Но лучше лежа, конечно. Зато и встаю всегда в шесть утра.

Но, конечно, в новогоднюю ночь очень хочется посидеть вместе со всеми. Это же ночь после волшебства! Оно случается всегда 31 декабря. Вот как только поставим и нарядим елку, буквально через час непостижимым образом под ней оказываются подарки от Деда Мороза.

Я знаю, что настоящий Дед Мороз невидим. Он успевает в кратчайшее время под каждую елку положить подарки детям. Правда, не всем. Только послушным. Я послушная далеко не всегда, поэтому никогда не жду подарков. По справедливости — мне не положено. Я-то знаю!

Но каждый год под елкой оказывается для меня подарок. Даже не один! Книга и шоколадка! Интереснейшая книга, которую буду все каникулы читать, и большая красивая плитка моего любимого шоколада!

Дед Мороз все-таки очень добрый! Он знает, что я не самый послушный ребенок на свете. Он даже в открытках так и пишет: «Желаю тебе, Галя, быть послушной девочкой». И все равно — дарит подарки.

И главное: это ИМЕННО Дед Мороз дарит! Я же сижу у елки — меня не оторвать! Сижу-сижу-сижу. Никого нет! И вдруг — вот он, подарок! Не было только что ничего, а вдруг… Чудо! Настоящее чудо!

Единственный вопрос — почерк Деда Мороза очень похож на аккуратный почерк Женечки. Но когда я ее об этом спрашиваю, она смеется и говорит:

— Мало ли что тебе кажется! Ты еще скажи, что это я тебе подарки под елку кладу.

Нет, этого я сказать не могу. Никак. Я же слежу, наблюдаю. Вот — я. Вот — елка. И вдруг…

Так что с почерком — это я зря…

Дед Мороз пишет. А кто же еще?

Как я люблю болеть!!!

Танюся меня очень любила. Но в отношении школы была тверда, как гранитная скала. Никогда не критиковала учителей. Если я пыталась объяснить, что кто-то из учителей не прав, она всегда говорила:

— У любого, даже самого слабого учителя, есть чему поучиться. К старшим надо относиться с уважением. Просто потому, что они дольше мучаются в этой жизни.

И все. Вопросов больше нет.

За все школьные годы я практически не прогуляла ни одного урока! Немыслимо! Даже представить себе такое не могла: как это — вот просто так в школу не пойти. И даже если мне страшно не хотелось тащиться на занятия, отлынить не получилось бы никак.

Вот скажу я:

— Мне плохо. У меня голова болит!

— Температуры нет? Иди учись, голова пройдет, когда начнет думать.

И какое же счастье я испытывала, когда температура была! Впрочем, Танюся, закаленная в боях за мое здоровье, прекрасно могла отличить меня, больную, от меня же, играющей спектакль «мне плохо».

Больную по-настоящему всячески баловали. Приносили мне любимые книжки в кровать. Ставили розеточку с малиновым вареньем, давали чай с лимоном. Лежи себе, читай любимые книги и поправляйся.

Я любила болеть. Но удавалось это не так часто, как мне хотелось бы. И вот однажды… Я уже честно поболела около двух недель. И температура была высокая, и кашель, и слабость… Хорошо! Но… Всему хорошему приходит конец. Мне уже полагалось идти в поликлинику за справкой для школы. А не хотелось! И уроки я все дома делала, и не отстала ничуть, и ничего плохого, кроме некоторых деталей, в школе не происходило. Мне просто туда не хотелось. Но кому это интересно?

Никому!

Вечером Танюся для проформы дала мне градусник. Ну, она уже и так видела, что я поправилась. Это она для Митрофановой, нашей участковой, температуру мне мерила. Та спросит, что да как, а Танюся ей скажет:

— Последние три дня температура нормальная.

Однако я все же на всякий случай пожаловалась на слабость и головную боль, засовывая градусник под мышку.

— После болезни всегда слабость, — спокойно ответила Танюся и ушла на кухню, оставив меня лежать с градусником. Мерить температуру полагалось ровно десять минут.

И вдруг меня осенило! Идея ворвалась в мой мозг! Я быстро вскочила, прыгнула к батарее центрального отопления, невероятно горячей, как обычно зимой, и на миг приложила к ней кончик градусника. Глянула: мама дорогая! Температура подскочила до 42 градусов! Тут главное не переборщить, поняла я. Быстро улеглась в кровать и осторожненько принялась сбивать градус. В итоге получилось даже вполне пристойно: 37,6. Достаточно, чтобы считать меня еще не совсем здоровой.

Танюся вошла, глянула на градусник, удивилась.

— Сколько там у меня? — печально и равнодушно поинтересовалась я, будто ничего не зная не ведая…

Танюся попробовала ладонью мой лоб. Удивилась.

— Странно. Рука не чувствует. А у тебя тридцать семь и шесть. Неприятная температура. Ладно, ложись спать. А утром еще раз посмотрим…

Я укуталась в одеяло и безмятежно заснула, зная, что утром мы, конечно, посмотрим. И, разумеется, увидим то, что будет нужно мне.

Утром Танюся тщательно сбила градусник и протянула мне. Наверное, какие-то сомнения ее посещали. Она не уходила от меня, так и сидела рядом. Неужели мой план провалится?

Тут, на мое счастье, зазвонил телефон. Танюся поспешила в коридор, а я рванулась к батарее. Доля секунды — и я снова лежу. Танюся заходит, не подозревая, какие я тут кульбиты выкидывала, пока она отлучалась на полминуты. Беда в том, что я не успела глянуть, сколько там набежало от батареи. Я старалась, чтоб не как вчера, не 42 градуса.

На ювелирную работу по уменьшению показаний градусника времени у меня не оказалось.

Танюся взяла у меня градусник и ахнула: 39!

Я видела, что она в ужасе. Именно этот ужас и помешал ей спокойно рассуждать. Ну, хотя бы перепроверить… Сесть рядом и дождаться. Я сама была не рада своей подлой игре: уж очень сильно испугалась моя бедная Танечка.

— Лежи, не вставай! — велела она, быстро одеваясь. — Вот беда! Ничто нас не минует. Бедная девочка! Так болеть! Одно везение за другим… Я за Митрофановой. Пусть посмотрит. Что это за напасть такая на нас свалилась!

Она убежала.

Мне бы радоваться, но радости никакой не было. Я оказалась подлым, лживым существом, недостойным любви. В ушах звучит

дрожащий голос Танюсеньки.

Ну, и затеяла же я игру!

Тетя непостижимо быстро вернулась с Митрофановой. Та, наверное, прием бросила, побежала к нам. А я, обманщица, лежу тут совершенно здоровая…

Меня начало трясти от ужаса собственного преступления.

— Дайте градусник, — попросила Митрофанова.

— Вот, доктор, я специально оставила, чтобы вы посмотрели, — показывает ей тетя.

Врач встряхнула термометр и поставила его мне. Села рядом, засекла время. Стала ждать.

— Жаропонижающее давали? — спросила она.

— Нет, я сразу за вами побежала, — ответила Танюся.

— Ну, посмотрим.

Я тряслась. Сердце билось так, что вот-вот, казалось, выскочит из груди. Сейчас обнаружится моя мерзкая ложь. Будет у меня тридцать шесть и шесть. И все. И Митрофанова расхохочется и скажет, что я все наврала. И как на меня будет смотреть Танюся…

Пытка продолжалась ровно десять минут.

Митрофанова вытащила у меня градусник.

— Тридцать восемь. Ровно. Упала, значит. Сама собой.

Я не поверила своим ушам!

Тридцать восемь! Как это получилось? Неужели от ужаса может сама собой подняться температура?

До сих пор не понимаю, как это тогда произошло. И до сих пор считаю это чудом.

— Пусть лежит. Бывает — повторная инфекция. Только переболела. Ничего. Недельку отлежится, чтоб уж наверняка, — успокаивала тетю Митрофанова. — Тебе как? Полегче? Получше, чем рано утром?

— Легче, — отвечала я честно.

— Ну, лежи, поправляйся…

Стыд продолжал меня терзать довольно долго. Я все вспоминала Танюсин испуг и не находила себе оправдания.

Больше я никогда не пользовалась этим верным и надежным способом симуляции болезни. Проще в школу пойти, чем такое о себе думать! Муки совести — страшное наказание.

Рабочая совесть

У нас в семье выписывали несколько газет и журналов — так было принято тогда. Бежали утром к почтовому ящику, приносили в дом прессу. За завтраком могли и взглянуть на заголовки. Чтение начиналось вечером.

А я все не могла понять, что в этих газетах интересного. Урожай, ударники, пятилетка, семилетка… Неужели, когда я вырасту, это будет меня интересовать?

Наверное, я еще совсем глупая, раз не понимаю.

А однажды я все поняла. Ну — почти.

В газете писали про Пастернака. Что он свинья и даже хуже свиньи, что он нагадил, где ел.

А у нас дома часто говорили «Посади свинью за стол, она и ноги на стол». Это об очень плохо воспитанных людях так говорилось, о наглецах. Ну, я и подумала, что тут как раз тот случай.

Стала вчитываться, чтобы разобраться, кто же такой этот Пастернак. Поняла, что писатель. Почему? Да потому что в газете было много выступлений рабочих, которые, один за одним (или одна за одной), а то и всем коллективом, заявляли буквально следующее:

— Я, рабочий завода (далее — название) заявляю: книг Пастернака я не читал, но осуждаю его вражеские книги… И так далее.

И вот это меня просто ошарашило: как это — не читал, но осуждаю? Ты ж не читал! Может, там все не так? Надо прочитать! У нас на уроках внеклассного чтения Наталья Николаевна всегда проверяла, кто читал, а кто просто содержание книги узнал. Она говорила, что говорить о книге можно, только прочитав ее! Иначе это обман, ложь. Конечно! Все правильно!

Тогда почему все эти ударники производства, все передовики, как один, не стесняются писать:

— Мы не читали, но осуждаем!

И почему в газете пишут о писателе «свинья»? Что же он такого сделал?

Я спросила у тети Стеллы. Она мне сказала, что тоже не читала роман Пастернака, о котором тут идет речь. Но стихи его читала. Пастернак — большой поэт. А за роман Пастернак получил Нобелевскую премию — главную премию во всем мире. За плохой роман бы не дали.

— Что же он там такое написал, что все на него так набросились?

— Наверное, правду, — сказала Стелла.

— А как же они? Не читали, а осуждают?

— Ты уже большая. Все понимаешь сама, — так сказала моя мудрая тетя.

Я была горда, но все-таки до конца не понимала.

Травля поэта Пастернака развернулась в конце 1959-го.

А в 1960-м, в конце мая, поэт, не вынесший травли, скончался.

Книги моего детства

Сейчас, думая о времени своего детства, могу только удивляться и радоваться тому, какое место в нем занимали книги. Именно книги были моими самыми верными и надежными друзьями, научившими меня фантазировать, любить окружающий мир и жизнь в целом, что бы в этой жизни ни приключалось.

Книги доставляли мне истинное наслаждение, питали мой ум и душу. Ведь воспитывать — это и значит: питать. И в питании духовном ум и сердце растущего человека нуждается не меньше, чем в питании телесном. По мне — так и больше.

Я не стану перечислять сейчас все прочитанные мной в детстве книги — это огромный список. Но особо выделю тему, которой уделялось в те времена огромное внимание и которая меня очень волновала: судьба обездоленного ребенка. Много книг повествовали о таких судьбах. Именно они учили сочувствовать, милосердствовать, жалеть, помогать и искать выходы. Ведь читая, мы ставим себя на место героя. И когда герою плохо, мы вместе с ним пытаемся выкарабкаться, спастись…

Ч. Диккенс «Оливер Твист», «Давид Копперфильд».
Марк Твен «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».
А. Куприн «Белый пудель».
Гринвуд «Маленький оборвыш».
Мало «Без семьи».
Мери Мейп Додж «Серебряные коньки».
Виктор Гюго «Отверженные».
И. Д. Василенко «Жизнь и приключения Заморыша». «Детство актера — Артемка в цирке».
Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
А. Бруштейн «Дорога уходит вдаль».
Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик».
Януш Корчак. «Король Матиуш Первый».
В. Г. Короленко «Дети подземелья». «Слепой музыкант».
Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

Вот мои добрые друзья и советчики. Именно они помогли мне примерить на себя и понять чужую боль и научиться сочувствовать чужому страданию.

А еще… Какое же это интересное чтение. Не оторваться!

ПЯТИДЕСЯТЫЕ

Удивительно, казалось бы, цифры — простая условность. Время — понятие относительное… А все же… Почему-то существуют четкие отличия именно по десятилетиям: и в интересах, и в общественном настрое, и в культурных поисках, и в научных открытиях, и в политических решениях, и в области поведения, вкусов, моды…

Пятидесятые четко отделяются сознанием от шестидесятых. И это не мое субъективное восприятие, хотя играет роль и оно.

Пятидесятые — драматические годы. Сколько изменений произошло, как динамично все менялось.

Страна восстанавливает разрушенное войной.

Всплеск рождаемости — так называемый бэби-бум происходил повсеместно, не только в США.

И вместе с тем:

Репрессии начала 50-х.

Дело врачей…

Страх и безнадежность.

Смерть Сталина в марте 1953-го.

В том же году — расстрел Берии.

Осенью 1953-го — к власти приходит Н. С. Хрущев.

В феврале 1956-го, на XX съезде КПСС Хрущев выступает с разоблачением культа личности Сталина.

Сколько надежд породило это выступление!

События в Польше.

Венгерская смута в октябре — ноябре 1956-го.

В 1957-м — СССР запускает первый искусственный спутник Земли. Его позывные становятся позывными Всесоюзного радио.

Фестиваль молодежи и студентов — целая веха для нового поколения советских людей.

В 1959-м году — перепись населения, в которой, впервые в СССР, был поставлен вопрос о национальной принадлежности.

В 1959-м на Кубе к власти приходит Фидель Кастро.

В 1959-м происходит отвратительная и подлая травля поэта Б. Пастернака.

В 1960-м — не вынесший травли Пастернак скончался.

В 1960-м году Китай обвиняет некоторые страны в оппортунизме (имеется в виду Советский Союз), а Хрущев, в свою очередь, осуждает китайскую политику. Великой дружбе подходит конец.

И все-таки… Пятидесятые — время надежд. Время

освобождения узников. Раны войны затягиваются. Возникает вера, что все пойдет по-новому.

Пятидесятые — время прекрасных песен.

Уходят из моды широкие плечи на женских пальто и платьях — как символ военной эры.

Женщины выглядят все женственнее и очаровательнее — блузочки с рукавами-фонариками, пышные юбки, узкие талии, широкие пояса, легкие походки…

И подрастаем мы — первое поколение Советского Союза, не знающее войн. И страха — почти — тоже.

Мы — дети победителей! Мы верим, что живем в лучшей стране на планете. И мы знаем, что дальше будет только лучше, солнечней, справедливей!

«Эх, хорошо в стране Советской жить!»

Только маленькая ремарка. Купила пару лет назад в Германии книгу под названием «Последний свидетель». Там старик, бывший когда-то связистом в бункере Гитлера, пишет о событиях конца войны, о гибели фюрера, о своей судьбе. Он отбыл свой срок в нашем плену. Вернулся на родину. И дальше написал как о чем-то само собой разумеющемся, но меня поразившем до глубины души. Солдатам гитлеровской Германии, побывавшим в плену, государство выплачивало большие деньги. На эти деньги автор книги смог приобрести небольшой магазин в Западном Берлине. То есть — немыслимое для нас дело — государство считало себя в долгу перед теми своими гражданами, которые пострадали в результате его действий.

Сколько наших граждан, пострадавших от всевозможных действий государства, мечтали и мечтают лишь об одном: «Не до жиру, быть бы живу». Я даже не говорю о тех, кто оказался в немецком плену, выжил в нечеловеческих условиях, вернулся и был отправлен в лагеря своей родной страны. А нечего, мол, было выживать!

За что таким страданиям подвергали людей? Неужели даже право на жизнь человека определяется не природой, не высшими силами, а государством?

Нам с раннего детства внушали, что у нас есть перед государством великий долг.

И вот я, прожив жизнь, удивляюсь, прочитав немецкую книгу: оказывается, бывает так, что государство признает себя должным. Невероятно!

Шестидесятые!!!

Дружба народов

Шестидесятые — удивительное время. Все меняется, все бурлит… Дух перемен веет над планетой.

Я слежу за изменениями мира с жадным интересом. Я не успеваю вносить исправления в мою видавшую виды политическую карту мира. В Африке столько новых государств образовывается: одно за одним. Территории, бывшие веками колониями европейских стран, провозглашают собственную независимость.

1960-й год объявили Годом Африки — именно тогда образовалось на далеком континенте целых 17 новых государств!

Я мечтаю об Африке. Мечтаю посмотреть мир. Я пока не знаю о том, насколько ограничены мои возможности в этом отношении. Не только мои, разумеется. Возможности всего народа, которого называют советским.

Пока я мечтаю. Нам постоянно твердят, что в нашей свободной и счастливой стране перед нами открыты все пути. И почему бы мне в это не верить?

Почему-то больше всего меня манит пустыня. Странно, необъяснимо. Мне хочется медленно-медленно двигаться по пескам, сидя между горбами огромного верблюда. Мы с ним — часть огромного каравана. Верблюды знают дорогу к оазису в пустыне. Они уверенно идут туда. Я смотрю на пески, и конца им нет…

Эта картинка завораживала…

И еще я мечтала — о совсем другом континенте, о маленьком острове, который гордо называли Островом Свободы.

«Большая зеленая ящерица с глазами из влажного камня», — так сказал о своей родине кубинский поэт Николас Гильен.

Слова эти сводили меня с ума своей красотой. Я одержимо мечтала о Кубе, на которой свершилась революция.

Вот они — прекрасные молодые «барбудос» — бородачи. Фидель Кастро поклялся не сбривать бороду, пока не победит революция окончательно и бесповоротно. И все его соратники — тоже пообещали. Как же я мечтала оказаться там, среди них! Как я надеялась, что революция продлится еще несколько лет, пока я чуть не подрасту.

А пока… Что я могла сделать?

Я приняла решение учить испанский язык. Иностранные

языки в обычной школе начинали тогда учить в пятом классе. Да и не преподавали в нашей школе испанский. И вот в третьем классе в руках моих оказался учебник испанского языка для спецшкол. Первый год обучения. Энтузиазм мой был так велик, что я самостоятельно проштудировала весь этот учебник (начиная от латинского алфавита, заканчивая текстами о Ленине и Советском Союзе) примерно за первое учебное полугодие.

Видя мое рвение, Танюся купила мне две бесценные книги. Первая: самоучитель испанского языка, который назывался «Давайте говорить по-испански» и разговорник русско-испанский и испанско-русский. Дело пошло быстрей и продуктивней! В самоучителе очень понятно все объяснялось. Настолько понятно, что радость охватывала:

— Ура! Я могу! У меня получается!

А разговорник я использовала так. Отметила самые важные фразы по темам и их заучивала целиком. Там попадались темы, которые я сразу отмела за ненадобностью. Например, «Посещение завода (колхоза) делегацией». И вопросы: «Какова производительность труда на вашем заводе? Участвуют ли колхозники в социалистическом соревновании?» Подобные темы мне и по-русски были глубоко отвратительны, а уж заучивать это по-испански… Ну нет!

…В Москве между тем появилось много молодых людей необычного для наших широт вида — из стран, обретших независимость. Они потянулись за знаниями в Страну Советов. Ради них был открыт целый университет, который так и назвали: Университет Дружбы народов. И имя университету присвоили в честь африканского борца за независимость — Патриса Лумумбы. Но поскольку в знаменитом романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» упоминалось племя Мумбо-юмбо, как-то само собой получилось, что часть москвичей, не привыкших еще к имени африканского героя, называли новый вуз университетом Мумбо-Юмбо, а иные просто — Лулумба.

Я очень любила здание МГУ на Ленинских горах. Величественная высотка, возвышающаяся над городом, поражала воображение. Мне казалось, что в университетах учатся люди совершенно особенные, наделенные выдающимися способностями. Я все фантазировала, что же за Университет построили в честь дружбы народов. Гадала, представляла нечто небывалое. Приставала к Танюсе с просьбами поехать и посмотреть на новый университет.

— Ничего там особенного. И не надейся. Обычное здание, — разубеждала меня Танюся.

Но я ее все же уговорила. Мы отправились.

Мы доехали до Донского монастыря. Прошли вдоль его стен. Оказались у довольно невзрачного дома.

— Вот он, университет твой ненаглядный, — показала мне Танюся.

Я была разочарована.

— Говорят, будут на юго-западе основные корпуса строить. Наверное, там что-нибудь такое возведут, особенное, — постаралась утешить тетечка.

Мы так и стояли у кирпичной стены монастыря.

— Хочешь — зайдем, — предложила Танюся.

Мы зашли на территорию монастыря. Как всегда возле церкви, я ощутила тоску от вида запустения и чувства поругания чего-то очень важного, названия чему я не знала.

Вдоль внутренних стен на открытом воздухе стояли величественные скульптуры. Танюся рассказала, что это спасенные от уничтожения статуи, находившиеся во взорванном в тридцатые годы храме Христа Спасителя.

— Уничтожили, — сокрушалась Танюся. — Кому мешал? Я ходила на работу пешком. Иду, бывало, и на купол оглядываюсь — его отовсюду было видно. И на душе легче делалось. А теперь там яма… Бассейн. Взрывали несколько дней. Никак у извергов не выходило. Люди стояли и плакали…

Я страшно затосковала от этого рассказа.

— Почему же никто не вступился? — спросила я. — Почему просто стояли и плакали? Надо было прогнать этих гадов.

— Все, кто вступался, сгинули, — вздохнула Танюся. — Такие времена.

Я, в который уже раз, осознала, что не туда попала при рождении. Дурацкое ощущение. Что значит — не туда попала? Кому-то ведь надо и здесь…

— Плюют народу в душу, — говорила словно про себя Танюся. — Такое добром не кончится…

Я постаралась не думать о плохом. Я убеждала себя надеяться на то, что худшие времена миновали, что все образуется… Заживем — и все будет хорошо.

Вот ведь как интересно становится: дружба народов расцветает. Танюся в своей академии стала работать на специальном факультете, который открыли для иностранных военных из дружественных нам стран. Их учили боевому мастерству наши офицеры-победители.

Наша богатая и огромная страна помогала всем новым странам. Мы везде строили светлое будущее. Наше топливо, наши запасы продовольствия, наши специалисты, наши средства — все

отдавалось в развивающиеся страны ради идеи мировой революции.

Зарплаты и быт наших граждан, если смотреть на них незатуманенным взором, были нищенскими. Однако — жизнь без войны и надежды на будущее поддерживали веру в возможные улучшения.

Хотя… Если вспомнить жизнь русской деревни в конце 50-х — начале 60-х и сопоставить эту многотрудную, унизительно скудную, беднейшую жизнь с теми миллиардами, которые уплывали в неведомое афро-азиатское далёко, то иначе как преступлением против собственного народа такую политику назвать не получается.

«Зиганшин буги, Зиганшин рок…»

В марте 1960 года мы были потрясены известием, как четверо ребят с нашей оторвавшейся и унесенной в Тихий океан баржи семь недель провели практически без еды, с очень скудным запасом пресной воды.

Я до сих пор помню их фамилии: Зиганшин, Поплавский, Крючковский, Федотов.

Ребята выживали, как могли. Они в первые же дни их вынужденного плавания лишились сетей, так что рыбой питаться не получилось. Варили кожаные ремни в соленой океанской воде. Даже сапоги варили и ели… Они все надеялись, что их найдут. Но дни шли за днями. Они слабели. Теряли надежду. А нашли их американские моряки. Они их подняли на свой корабль, кормили потихоньку… Ребята оказались в Америке, их чествовали, как героев. Помню, читала я интервью Зиганшина. Его спросили, откуда у них столько мужества и силы духа, а он сказал:

— На нашем месте так поступил бы каждый советский человек.

Вот я и думала: а я выдержала ли бы? Достойна была бы звания советского человека. Вон — Зиганшин верит, что да…

Танюся купила журнал «Америка», где наши герои уже были прекрасно одеты, в красивых пальто, шляпах. Это все им там подарили американцы.

Я была охвачена восторгом! Вот ведь здорово! Спаслись!

И как же я была удивлена, когда услышала, как наши вздыхают:

— Вот вернутся домой ребятки, кто знает, что тут с ними будет?

Я разволновалась:

— А что с ними тут может быть? Их будут встречать, как героев. Они же герои, да?

Тогда мне рассказали, что во время войны попасть в плен считалось преступлением. То есть — вот ранили тебя, ты лежишь, истекаешь кровью, сознание потерял. Взяли тебя в плен. И все! Ты уже преступник! Ужас! Что ж делать-то? И что потом было с этими пленными?

— Большинство отправили в наши лагеря.

— Как?! После фашистских лагерей — в наши?

— Да.

Это в голове моей не хотело помещаться. Я не понимала — и все. Просто не понимала, за что.

Оказывается, не за что, а потому что. Потому что такие

законы были в стране.

И тогда я стала желать Зиганшину-Поплавскому-Крючковскому-Федотову, чтобы они лучше остались в Америке. Вон какие у них там шляпы появились!

Но они все-таки вернулись домой. И, к счастью, их не посадили, им ничего не было за то, что они выжили и оказались спасенными американскими моряками. Наоборот: все радовались.

И даже пели песню на мотив американского танца буги-вуги:

Зиганшин — буги!
Зиганшин — рок!
Зиганшин съел второй сапог…

«Точу ножи-ножницы!»

Иногда во двор приходил человек-праздник. Он нес на плече небольшой станок. Останавливался, ставил ношу на асфальт и зычно объявлял:

— Точу ножи-ножницы!

Призыв его слышали прежде всего мы, дети, играющие неподалеку. Теперь надо было успевать. Мы бежали домой и сообщали:

— Точильщик пришел!

— Скажи, чтоб к нам поднялся.

Человек со станком уже работал во дворе: нажимал на педаль своего станка ногой, серое каменное колесо от этого быстро-быстро вращалось, когда к колесу подносили нож, во все стороны разбегались искры… Салют! Вжжжж! И сноп искр! Глаз не оторвать.

Потом он шел по подъездам, в те квартиры, куда его просили подняться.

У нас всегда было много чего для работы точильщика: и большие ножи, и маленькие, и маникюрные ножнички.

Покончив с основным занятием, точильщик собирал вокруг себя детвору. Он менялся с нами: мы ему стеклянную бутылку, а он нам за это — немыслимые сокровища: колечки с разноцветными камушками. Для мальчишек тоже припасены были интересующие их предметы. У нас же глаза разбегались от вида драгоценностей. Радостная торговля! Колечко можно было выбрать, примерить… Какое-то время после визита точильщика мы все щеголяли в перстеньках с рубинами, изумрудами, сапфирами. Ах, как красиво они переливались на свету!

Тяжелым трудом зарабатывал свой хлеб человек-праздник. Сколько стоили ему эти колечки со стеклышками? Пару копеек — и собственный труд. А бутылку он сдавал за 12–15 копеек. Рюкзак за его спиной, набитый пустыми бутылками, стоил от пяти до десяти рублей. Если подсчитать, месячный заработок оказывался бóльшим, чем у среднестатистического инженера. Нам было не до этих скучных мыслей тогда. Мы наслаждались счастливыми приобретениями.

Потом колечки надоедали… Они никогда не ломались, сделаны были на совесть. Просто кольца мешали рыться в земле или играть в мяч. В какой-то момент, насытившись радостью, которую украшение дарило своей обладательнице, его, как обузу, снимали с пальца, обменивали на что-то другое или просто прятали в свою шкатулочку.

Точильщик снова появлялся, снова возникали мечты и желания…

Они исчезли незаметно к концу шестидесятых. Перестали ходить по дворам. Наверное, кому-то помешали.

Моя тёзка — Танюсина подруга

У Танюси имелась замечательная подруга. Звали ее, как и меня, Галя. Личность это была колоритнейшая, благодаря ей я узнала много нового. Она по натуре была открывателем далеких горизонтов.

Познакомились они и подружились почти сразу, как моя Танечка оказалась в Москве. Галя, старше на пару лет, была коренной москвичкой. Как именно завязалась их дружба, я не знаю. На моей памяти дружили они всегда.

Галя родилась в Замоскворечье, в богатой купеческой семье, в собственном двухэтажном доме, построенном по последнему слову тогдашних требований. В доме имелись две ванные комнаты и ватерклозеты. Нижний этаж — кипичный, с высоким, под четыре метра потолком, с большим залом для гостей, с роялем. Под нижним этажом находился подвал, вернее, как потом назвали помещения такого рода, полуподвал: там имелись окна, батареи отопления, электричество и — опять же — сантехнические удобства. Там отец семейства занимался делами и хранил товар. А вот второй этаж был деревянный, с низеньким потолочком, маленькими узкими комнатками — для прислуги, приживалок и другого, не очень важного люда.

Отец нашей Галочки был купцом потомственным, дело свое знал и любил, в Англию с молодой женой плавал, учился, как там у них дела ведут. Когда родилась дочка (первая и единственная), отправлял жену с ребенком и с родителями жены в Германию и Швейцарию — на воды и горный воздух. Галина мама играла на рояле — училась этому с детства. И дочку свою стала учить, как та научилась своими ножками к инструменту подходить.

Других деток не случилось, как потом говорила Галина мама, к счастью.

Гале было десять лет, когда пришли люди и отняли у них все: все товары, все личные вещи (ничего не успели припрятать), даже рояль вывезли. А в дом их заселили людей. Вообще-то — Галя говорила:

— Тараканы из нор повыползали и зажили в нашем доме.

Тараканы — не тараканы, но урон от них был явно не тараканий. Они вмиг ухитрились распотрошить богатый, построенный на века дом, превратив его во вшивую конуру. Зажили везде: и в полуподвале, перегородив его фанерками, и в зале, который тоже разделили на конуры-пеналы, и в хозяйской спальне.

Галю с папой и мамой на улицу не выгнали. Оставили им две

комнатушки под крышей. Папа умер после этого через пару месяцев. И Галя за него радовалась. Потому что потом могли арестовать, посадить, мучить, казнить. А так — умер по-христиански. Даже батюшка пришел, причастил, пособоровал.

Вот остались они с мамой одни. И очень бедствовали. Мечту о музыке осуществить возможности не было никакой. В 14 лет Галя поступила учиться в медицинское училище на акушерку. Мама посоветовала, сказала, что люди всегда рождаются, поэтому акушерки при любой власти будут нужны.

Когда в 17 лет она впервые присутствовала при родах, решилась ее судьба. Она испытала такой ужас и отвращение от процесса появления на свет человека, что поняла: никогда и ни за что рожать она не станет. Мало того: несколько обязательных присутственных дней в роддоме, которые полагались на студенческой практике, позволили сделать вывод о том, что этой профессией заниматься она не сможет. Диплом Галя получила и тут же прошла специализацию по физиотерапии. У нее открылся особый дар массажистки: она умела руками снимать боль. Я тому свидетель, потому что Галя помогала Танюсе, страдавшей полиартритом на протяжении многих лет. Помогала по дружбе. О том, чтобы брать деньги у подруги, и речи быть не могло. Потом, когда у тети Ани обнаружился тромбофлебит, Галя приезжала чуть ли не каждый вечер с пиявками (они очень облегчали страдания), ставила их, убирала.

Она была настоящим другом, с щедрой и доброй душой.

Работала Галя в какой-то закрытой клинике, получала сущие гроши, подрабатывала частными массажами. Был у нее до войны муж, которого арестовали и расстреляли в конце тридцатых. Больше замуж она не выходила, хотя предлагали не раз. Она отличалась красотой: высокая, стройная, узкое лицо, руки, тонкий нос с горбинкой, ярко-голубые глаза, нежная кожа… Не для такой жизни была рождена…

Танюся возила меня в гости к своей подруге Гале в Замоскворечье. Я видела ее маму, казавшуюся мне дряхлой древней старушкой. Галина мама ступала тихо-тихо и говорила почти неслышно, только голубые глаза, точно такие, как у дочки, сияли иногда, если она их поднимала, взглядывая на собеседника.

Мы поднимались к ним с черного хода, по ветхой качающейся деревянной лестнице. У дома имелся свой запах, особенный. Я его называла «старинный». Так пахло в Третьяковской галерее, куда меня часто водила Танюся. Купец Третьяков завещал свой дом и галерею с уникальнм собранием картин своему родному городу Москве.

Я, приходя в Третьяковку, все время вспоминала судьбу Галиного папы, их дома и очень радовалась за Третьякова, что он умер за 20 лет до всех ужасов, которым предстояло свершиться. (Как это сочеталось в моей душе — не пойму. Я была верным октябренком, потом юным пионером, всегда готовым… А вот за Третьякова тем не менее радовалась. И Галиной семье сострадала.)

Га́лина нежная, утонченная внешность была совершенно обманчивой. За этой лилией скрывалась душа настоящей воительницы, бескомпромиссной и бесстрашной. Она порой пугала взрослых своими высказываниями. Меня же ее дерзость приводила в восторг.

Особенно не уважала Галя Хрущева. Собственно, именно благодаря Галиным характеристикам этого руководителя Страны Советов я и познала азы живого, лихого, скоморошьего моего языка, на котором уж если обозначат кого прозвищем, прилипнет — не смоется.

«Выражается крепко русский народ…» Это еще Гоголь отметил.

Галя доказывала правоту великого писателя на каждом шагу, особенно если речь заходила о Хрущеве. Галя имела твердое убеждение, что он появился на белый свет с одной целью: служить сатане и сгубить Россию.

Я слушала изо всех сил! Как-то даже вступила в разговор, что мне строго запрещалось по малолетству. Она когда завела про сатану, я тихо сказала:

— Бога нет, и сатаны нет. (Просто по-булгаковски получилось, но кто ж тогда знал.)

Галя это услышала своим чутким музыкальным ухом и отреагировала:

— И Бог есть, и сатана. Не волнуйся. Вот смотри…

Она схватила какую-то центральную газету (то ли «Правду», то ли «Известия»), на первой же странице которой красовались портреты наших руководителей.

— Смотри, — велела Галя. — Есть тут хоть одно красивое, человеческое лицо?

Вопрос прозвучал серьезный: не в бровь, а в глаз! Я сама все смотрела на эти портреты и искала хоть одного красивенького. Ну такого, чтоб понравился, чтоб влюбиться можно было, если б был молодой… Красивеньких не обнаруживалось совсем. Одни уроды.

— Ну что? — пытливо посмотрела на меня Танюсина подруга. — Нашла красивого?

— Нет красивых! — подтвердила я, не понимая, при чем тут

нечистая сила.

— Запомни на всю жизнь: там, где нет красоты, там дьявол орудует. Настоящая красота от Бога. Уродство и фальшивая красота — от сатаны.

— Галь, она еще ничего не понимает, — миролюбиво вступилась Танюся. — Давай потом, когда подрастет.

— Все понимает, — отрезала Галя. — Ты, Танька, отстань. Она должна знать, где живет.

Танюся почему-то никогда не сердилась на свою Галю, даже если та грубила. «Она — человек с золотой душой» — так объясняла мне тетя насчет своей подруги.

— Смотри, — тыкнула Галя своим прекрасным длинным перстом прямо в портрет Хрущева (надо сказать, что она

его называла исключительно Хрущ, поясняя при этом, что это такой жук-древоточец), — смотри: Хрущ. У него же даже не лицо, а ж-па!

Никто и никогда у нас дома не говорил таких ужасов! Я думала — сейчас просто гром раздастся, потолок рухнет!

Нет! Танюся полуотвернулась, и я поняла: она смеется украдкой. Вот какие дела!

Не лицо, а жопа!

Естественно, такое выражение намертво впивается в детский мозг… Но об этом чуть позже.

Причины своей ненависти к «жучку-древоточцу» Галя не скрывала. Она говорила так:

— Украину в крови утопил? Утопил! Самым распоследним холуем у Сталина был? Был! А когда холуй до власти дорывается, он только и умеет одно: рушить!

Про Галины разговоры я вспомнила много позже, читая знаменитые мандельштамовские строки стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…»:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит,
Он один лишь бабачит и тычет…

…Да, нам в тот период достался вождь из тех, тонкошеих, трепетавших от благоговения и страха при тиране. Он дождался своего часа и взялся править. И пошло-поехало — весь мир не переставал удивляться…

Хрущев, кукуруза и другие приключения

Безусловно, хулиганская Галина фраза, поразившая мое воображение, оказала свое тлетворное вляние на некоторые стороны моей тогдашней жизни. А именно: я, к удивлению старших, полюбила смотреть телевизор.

Телевизор появился у нас, когда мы переехали на новую квартиру. До этого я ходила смотреть некоторые детские передачи в гости к своей подружке Оле Боковой. У них был телевизор марки КВН, такой громоздкий аппарат с крохотным экранчиком, перед которым устанавливалась стеклянная линза с водой, увеличивающая изображение. Даже странно сейчас, что вокруг этого примитивного экрана собирались хозяева квартиры, их соседи (пускали всех — просмотр передач считался святым делом), рассаживались вокруг и сосредоточенно смотрели, боясь пропустить хоть слово.

Наш телевизор назывался «Старт-3». Экран его не требовал дополнительного увеличения. Прогресс шагнул далеко. К телевизору у нас не особенно пристрастились. Смотрели лишь иногда, музыкальные передачи, концерты в основном. Бывало, художественные фильмы. Мне разрешалось смотреть только детское. То есть — самое неинтересное. Впрочем, особо я не горевала. Было и еще кое-что, что мне смотреть не запрещалось, тем более показывали ЭТО днем. Это были речи Хрущева, которые он произносил на съездах и пленумах. Я садилась перед телевизором и вдумчиво вглядывалась в экран.

— Что тебе там интересно? — спрашивали тети. — Что ты понимаешь?

…Я смотрела на эти выступления с позиции Галиного определения лица нашего главного начальника. Внутри меня разливался счастливый детский смех. Как же она права! Как права!

Вот лидер страны говорит по-русски так, что ученику начальных классов сделали бы замечание.

— ОппортунизЬм, сицилизЬм, коммунизЬм…

И зал взрывается аплодисментами. И я для себя понимаю, почему ему можно, когда нам нельзя.

Потому что «не лицо, а…».

Лицу — нельзя, а ж… говорящая — это чудо света! Ей — можно!

Вот почему я смотрю и не могу наглядеться. Для меня это

аттракцион.

Много чудес творит разбушевавшийся тонкошеий вождь. Ох, много.

Что помню лично я как непосредственный пожинатель плодов его деятельности:

— чудеса его внешней политики — он ухитрился рассориться со всеми, с кем мог, даже с очень близкими в идейном плане союзниками, он кричал американским дипломатам на приеме в Кремле: «Мы вас закопаем!» (это еще в 1956-м), а на сессии Генеральной ассамблеи ООН даже стучал туфлей и обещал показать американцам кузькину мать; над миром опять нависла угроза войны, на этот раз ядерной. Карибский кризис приблизил эту угрозу настолько, что дома всерьез обсуждали какие-то действия в случае, если бомбу на нас сбросят (от реальных попыток спастись до анекдота: «Что делать, если неподалеку сбросили атомную бомбу? — Завернуться в белую простыню и ползти на кладбище».

…Потом я прочитала много западной литературы о том, как мирные жители панически боялись атомной угрозы с нашей стороны, как строили бункеры и прочее. Мы, естественно, боялись того же со стороны империалистов. У меня развился устойчивый страх-реакция на звук летящего самолета. Когда я была дома одна, я залезала под стол. Глупость? Да, ясное дело. Но, видимо, сказались воспоминания раннего детства, мока, будь она неладна…

— Хрущев был настроен против религии совершенно оголтело. При нем были уничтожены чудом сохранившиеся прежде храмы.

— Он боялся и ненавидел настоящих фронтовиков-полководцев. Во время его правления прошло огромное сокращение армии, причем уволены в запас были именно боевые кадровые офицеры: цвет командования. А его поведение по отношению к маршалу Жукову — это верх низости.

И самый апофеоз — это Хрущев и кукуруза.

Наш лидер все мечтал догнать и перегнать Америку. И почему-то решил, что самый верный путь в этом отношении (помимо ракет) — это выращивание кукурузы. Вот он и приказал, чтобы по всему нашему необозримому советскому пространству отныне прекратили сеять рожь, пшеницу, овес, гречку, а занялись бы королевой полей (так отныне величали кукурузу). Перечить Никите не смел никто. Это даже представить себе трудно — он же начинал вести себя буйно: орал, тряс кулаками с пеной у рта…

В общем кукурузу, растение теплолюбивое, южное, стали сажать даже на Чукотке, в Якутии, за Полярным кругом. Дико это

сейчас писать. Абсурд же полный. Однако это именно так и было!

Еще придумали так называемую чересполосицу. Сеяли полосу пшеницы, полосу кукурузы, опять пшеницы, опять кукурузы… Смысл? Его не постигал никто. Но так велено! У нас принято слушаться начальников.

Пропаганда кукурузы приняла очертания параноидального бреда. Повсюду продавались пластмассовые игрушечки: куколка в виде початка с ручками, ножками, глазками. У меня таких было несколько: дарили ребенку, идя в гости — подарок стоил копейки (не больше 20-ти) и продавался повсюду, даже в газетных и табачных киосках.

Номера художественной самодеятельности: танец кукурузных початков или песни про кукурузу исполнялись в обязательном порядке в школах, заводских клубах, вузах. Плакаты, картинки… От слова кукуруза уже начинало тошнить.

Вот-вот мы должны были перегнать Америку. По количеству упоминаний кукурузы в печати мы к тому времени давно перегнали весь мир.

Результат не заставил себя ждать.

Большая часть посевов кукурузы погибла! И кстати, почему-то там, где она обычно росла вполне неплохо, в период одержимости кукурузой урожайность ее снизилась вполовину.

Значит, смотрим: кукуруза подвела. А другого ничего толком не посеяли из уважения к начальнику страны. Что делать?

Вот и мы, население, думали — что делать? Потому как из магазинов исчез хлеб. Все удивлялись: войны нет, работаем от зари до зари, указания партии и правительства выполняем, профсоюзные взносы платим… Нет хлеба! Ну, что ты будешь делать? Вот ведь вражья сила!

А что мы так уперлись в этот хлеб? Надо было, как Мария-Антуанетта когда-то в ответ на то, что у народа нет хлеба, сказать: «Так пусть едят булочки!»

А и булочек не было!

Вот как закрутилось!

И муки не было!

И тортов, кстати, тоже не было.

А к хлебу мы как-то душой прикипели. Ну — многие наши завтраки и ужины строились на хлебе. Не было особенно денег на деликатесы. Хлеб — один из важнейших продуктов питания был. И никто не жаловался. Нас учили: «Хлеб — всему голова». Ну и каково же это — остаться ни с того ни с сего без головы?

Народ стал говорить нехорошие слова. Уже не одна наша Галя, а весь народ говорил: «Идиот Никита». И много другого обидного и едкого.

С хлебом дело обстояло так. (Я буду писать о Москве, так как не знаю, что происходило в других городах.) У нас карточки вводить не стали. Это, конечно, возмутило бы народ. Все прекрасно помнили войну, лишения, голод. Но там — дело ясное. А тут — с какой стати? Так и до коммунизма не доживешь. Карточек не было. И хлеб в магазины привозили по-хитрому. Днем! Когда все на работе. Значит — что? За хлебом плелись старики и бежали дети! Вот! Я стала хлебодобытчицей. Это просто. Тебе оставляют деньги на хлеб. Приходишь из школы, хватаешь деньги, авоську и бежишь в булочную. Там очередь. Хлеба ждут. Но там не скучно — подружки, одноклассницы. Есть о чем поговорить. Еще мы вместе задачки решали. В черновик запишешь, пока стоишь, домой пришла — переписала, уроки готовы. Ничего! Нет худа без добра.

В одни руки давали батон белого и буханку черного. Много это или мало? В условиях обычной продажи хлеба — это нормально. В условиях дефицита и сопутствующей легкой паники — мало. У нас, например, тетя Аня жутко боялась голода (из-за нас с Женькой, не из-за себя). Она, например, взялась сухари сушить на нервной почве. Сушила сухари и укладывала их в чистую ситцевую наволочку. Так они хорошо хранились, не плесневели.

Ну вот — ради сухарей мне приходилось отстаивать очередь еще раз. Это такой театр. Сразу дать сколько хочешь нельзя. А вот постоишь в ритуальной очереди — получишь еще раз батон белого и буханку черного.

Так что хлеб у нас был. И даже сухари. На случай — если что…

Что касается булочек… Они временно отсутствовали.

В школе даже какое-то время в буфете продавали вареные кукурузные початки. Три копейки штука. И я лично была счастлива! Это очень вкусно! А булки — ну их…

Тортики. Какие у нас делали вкусные бисквитные тортики! Мммм! Нигде таких больше нет. Пропитку делать такую, как наша, нигде не умеют. А у нас умели. И тортики были в продаже (до кукурузы) всегда. Их не каждый день покупали, а только с получки или на праздник. Вот гуляем мы во дворе, а с балкона доносится крик:

— Лена! Иди домой! Чай пить! С тортом!!!

И Лена срывается, второй раз звать не надо.

Но кукуруза вытеснила и тортики. Их больше на прилавках не было.

Еще помню отчетливо такой момент.

Перед величайшим праздником СССР — Днем 7 ноября — к

нам пришли из ЖЭКа. Проверили по спискам количество жильцов, после чего дали бумажки с печатями, по которым в ЖЭКе (не в магазине — заметьте) можно было к празднику купить муку! По килограмму на человека. А у нас дома была привычка порочная — каждое воскресенье печь пироги или печенье. Это очень вкусно и очень дешево. Так что у нас мука пользовалась спросом. А тут — такая радость! Дали муку! И еще манку дали. Так тетя Аня пекла (из экономии) пироги, смешивая муку с манкой. Чтоб муки на подольше хватило.

И повторю вопрос: почему? Как это мы дошли до жизни такой, что без войны и засухи устроили себе сами отсутствие хлеба?

И вот именно в 1962 году наша страна (благодаря мудрому руководству) стала закупать продовольствие (в частности, зерно) за границей!

То есть — перегнали!

Опять же — это еще не все! Наверное, чтобы окончательно добить деревню и сельское хозяйство, Хрущев приказал изымать из личных подсобных хозяйств домашний скот. Второй вал коллективизации. Это было настоящее распятие деревни. Там же не было зарплат, пенсий! С чего людям было жить? Им элементарно нечем было детей кормить!

Хотя… О чем это я?

Я, девчонка, это почему-то понимала.

Но у нас так — чем старше и выше, тем понимание ослабевает. Начинаешь слышать пение ангелов, очевидно. Или происходит чье-то другое нашептывание…

А еще Хрущев обещал на XXII съезде КПСС, в октябре 1961 года, что в 1980 году в СССР наступит коммунизм. И у нас в школе (да и повсюду) — в актовом зале появился над сценой огромный лозунг: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Думаю, это было сделано зря. Вот — не хватает у нас властям тонкости и хоть малой доли легкой самоиронии. Короче: в это обещание не поверил никто!

Я дома спрашивала:

— Неужели так быстро наступит коммунизм?

Скептически качали головами.

Сдул Хрущев этими посулами последние остатки веры и энтузиазма народного.

Вот тебе кукуруза, вот тебе хлебные очереди, вот тебе заполошный крик на художественной выставке по поводу не понравившихся «лицу» картин «Вы что, господа, пидарасы?!», вот

тебе дикий ор на поэта Вознесенского: «Убирайтесь из страны, господин Вознесенский!!!»… (Кстати, учтите — слово «господа» — тоже считалось страшным ругательством.) …

Терпите, товарищи! Терпите! Скоро — коммунизм!

Ау, коммунизм, где ты? Где ты, Мисюсь? У нас ведь с тобой столько было задумано!.. Что ж ты?.. Сбежал? Отзовись!!!!

Ау……..

…Были и совсем страшные события, о которых боялись говорить, которым боялись верить. События в Новочеркасске в 1962 году были покрыты строжайшей тайной. Но, конечно, разговоры шли. Повышение цен на продукты питания и увеличение норм выработки вызвали огромные народные волнения, забастовки в промышленном городе. По бастующим разрешено было стрелять! (Об этом у нас говорили, я это слышала, но верить этому не могла.) Ужас в том, что слухи оказались сильно преуменьшены по сравнению с открывшейся много позже правдой.

И все же… Тысячи освобожденных узников считали Хрущева своим спасителем. Он распахнул тюремные ворота, он разоблачил тиранию. Это так. Вопрос в другом. Судя по всему, эти шаги предпринял бы любой другой лидер нашей страны, пришедший к власти после Сталина. Это был единственный способ завоевать расположение народа. Он сделал шаг вперед, а потом отпрыгнул назад на десять шагов. Отпрянул… Стратегом был никудышным. Впрочем, нам везло на таких…

Радиола

Жизнь между тем хоть и зависит от личностей тех, кто принимает решения за всю страну, но идет сама по себе. В этом ее большая милость. Мы жили радостно. Скучать не приходилось. В нашем доме жизнь била ключом. Еще бы! Женечка, красивая, веселая певунья, ее юность, ее друзья и подруги наполняли дом счастьем.

Я очень многому училась у сестры, она находила время ответить на мои вопросы, поговорить. Она сильно на меня повлияла в моем отрочестве. Повлияла по-хорошему.

Я любила слушать песенки, которые она наигрывала на пианино, и просила:

— Подпевай!

Помню, именно в ее исполнении я услышала впервые знаменитую песню «16 тонн». До сих пор помню слова русского перевода:

Сидим мы в баре в поздний час,
Вдруг от шефа пришел приказ:
«Летите, мальчики, на восток,
Бомбите маленький городок».

Ну, что ж, по машинам,
Наш путь далек,
А бомбы в люках — опасный груз:
«Летите, мальчики, на Союз,
Летите, мальчики, бомбить Союз»…

У нас появился не только телевизор. Моим любимым предметом нашего быта стала радиола. Она представляла собой довольно громоздкий двухэтажный ящик. На первом этаже располагался радиоприемник с ручками поиска радиоволн и клавишами переключения программ. А на втором — проигрыватель для пластинок. У проигрывателя имелось три скорости. Старые, еще патефонные пластинки, проигрывались на скорости 78 оборотов в минуту. Большие, долгоиграющие — на 33,3 оборота. И была еще скорость 45 оборотов — для маленьких заграничных пластинок.

И сколько же у нас сразу всего появилось! И классика, и популярные песенки! Легко можно было купить латиноамериканские, итальянские и французские песни (в

издании фирмы «Мелодия», разумеется). Американская и английская музыка пробиралась к нам другими путями.

Я любила, оставаясь одна дома, включать музыку и танцевать, подпевая, могла танцевать часами, не чувствуя усталости.

И еще одно из самых любимых развлечений: я путешествовала по радиоволнам. Включала приемник, и звуки далеких стран и континентов врывались в комнату. Я слушала, представляла, фантазировала… Моя карта мира оживала от звуков… Я мечтала о путешествиях, в которые отправлюсь, как только подрасту…

Ритмикой заниматься не будем!

Прозанимавшись год, мы взбунтовались против ритмики. Нам надоели бесконечные падеграсы и падеспани, эта вечная ходьба под музыку с приседаниями и наклонами. Ни вальсу, ни танго, ни чему-то другому ритмичка нас так и не научила. А окрики ее и прозвища, которыми она нас награждала, делались все злее и язвительнее.

И вот стихийно возникло протестное движение. Надо было собирать деньги на эти злополучные танцы. Но кто-то пустил по рядам лист бумаги, озаглавленный: «Ритмикой заниматься не будем!» И каждый из нас, получая этот лист, аккуратно писал свою фамилию, а рядом ставил подпись. Все, как у взрослых.

Никто не испугался, никто не усомнился. Расписались все.

Кстати, предварительно с родителями эту тему никто не согласовывал.

Мы подали петицию Наталье Николаевне. Она посмотрела, улыбнулась и сказала:

— Ну, раз все твердо решили, я сообщу вашим родителям, что ритмики больше не будет.

— Ура!!! — завопили мы.

И больше ритмики действительно не было.

И это было правильно.

Трофимовы

Танюся иногда навещала Захара Трофимовича. Его отправили в отставку, он переживал: много мог бы еще передать знаний слушателям. Обида фронтовым офицерам и генералам была нанесена немалая. Каждый переносил ее по-своему. Лариса Ефимовна и Захар Трофимович воспитывали внука Тёму, сына дочки Ларочки, которая, выйдя замуж за офицера, жила тогда далеко от Москвы.

Тёму, никогда мной не виданного мальчика, ровесника, Танюся постоянно ставила мне в пример: он и послушный, он и примерный, он и кушает хорошо… Не радовали меня эти примеры. Я знала, что я, конечно, во всем окажусь хуже неведомого Тёмы. И ну его совсем…

Захар Трофимович умер внезапно, от инфаркта 21 февраля 1961 года. Ему было всего 63! Сердца сильных и деятельных мужчин часто не выдерживают обид и невостребованности.

Танюся страшно переживала его смерть. Поехала на похороны. На поминках посидела с его осиротевшей семьей. Ларочка прилетела на похороны отца из Германии, где тогда служил ее муж. Она едва успела на кладбище, к закрытому уже гробу…

— Бедный Тёмочка так грустил, такой стоял бледный, совсем потерянный мальчик, Захар Трофимович так его любил, так опекал, — сокрушалась Танюся, вернувшись.

Впервые упоминание о мальчике Тёме не было мне неприятным. Я жалела чужого мальчика и думала о нем: как он теперь будет жить, бедный?.. Мама с папой далеко, дедушка умер…

Гагарин

В четвертом классе мы учились во вторую смену. Учеников оказалось очень много — сказался бэби-бум пятидесятых. Вот и пришлось устраивать занятия в две смены. Какие-то классы начинали уроки в 8.30, а мы — в 13.30, после обеда. Тем, кто любил подольше поспать, это расписание подходило — лучше не придумать. А мне, ранней пташке, у которой голова лучше всего работает с утра, приходилось тяжко.

Гулять после школы — пожалуйста, после шести вечера, гуляй, сколько хочешь. Но уроки-то не сделаны! Это меня очень тяготило. А утром делать уроки казалось очень непривычно… Но делать нечего — пришлось.

Шла четвертая, последняя четверть учебного года. Солнечное утро. Я сидела одна дома и решала примеры. В вазе на столе стояли прекрасные белые нарциссы. Я очень любила эти цветы за их красоту, запах и весеннюю свежесть. Белые лепестки, желтая сердцевинка с ярко-красной каемкой — их я могла рассматривать, не отрываясь, без устали. Эти цветочки мы вчера купили с Танюсей для Натальи Николаевны. Их у метро продавала старенькая бабушка, очень задешево. И я попросила купить несколько цветков для любимой учительницы.

Хороший был день. Примеры решались легко, задачку я одолела сразу, упражнение по русскому — это для меня пять минут…

Я открыла окно и услышала позывные радио. Это значило, что сейчас будут передавать какое-то важное сообщение. Люди все время так делали — если важное сообщение, открывали окна и пускали радио на полную громкость, чтоб слышали все.

Я быстренько включила нашу радиолу и легко поймала позывные: они шли по всем радиостанциям страны. Я встревожилась, ожидая, что наш знаменитый диктор Левитан объявит сейчас, что началась атомная война. Я даже думала, не сесть ли мне сразу под стол на всякий случай. Слышно все равно будет, а какая-никакая, но безопасность обеспечена.

— Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем сообщение ТАСС, — произнес Левитан, явно волнуясь.

Я подскочила к приемнику, включила его на полную мощность и распахнула окно. Вместе со всеми слушать про начало войны казалось не так страшно.

То, что потом сказал Левитан, не поддавалось никакому описанию!

Ура! Радость! Счастье! Мы — в космосе! Первый человек поднялся в космос и облетел Землю! Полет длился полтора часа! Ура!

Это сообщение повторялось несколько раз.

Люди выбегали на улицу, ликовали, смеялись, поздравляли друг друга.

Я быстро собрала портфель, взяла цветы из вазы и побежала в школу!

— Гагарин! Гагарин! Мы первые, — звучало со всех сторон.

Цветы принесла я одна — никто же не знал, что Гагарин полетит в космос!

Наталья Николаевна обрадовалась, поставила цветы в стеклянную банку и сказала, что теперь у нас настоящий праздник.

Такой счастливый день получился — не забыть!

Нас принимают в пионеры! Ленин и Сталин

Настал долгожданный день. 22 апреля 1961 года весь наш класс повезли в Музей Ленина, рядом с Красной площадью, принимать в пионеры.

Пионерскую форму ввели позже. Мы же были одеты, как обычно в торжественных случаях: девочки в формах с белыми фартучками, мальчики в своих серых костюмчиках, которые пришли на смену гимназическим гимнастеркам с ремнями.

Стать пионером — значило перейти на другую ступень развития. Ну, кто такой октябренок? Никто! Он — будущий пионер. И только. Вот примут в пионеры, сразу вырастешь в глазах окружающих.

Нам купили красные галстуки, учили их завязывать, беречь:

Как повяжут галстук, береги его:
Он ведь с красным знаменем цвета одного.

Мы снова учили правила — на этот раз пионерские. Помню, меня поразило объяснение, почему у треугольного галстука три кончика. (А могло быть четыре?) Оказалось, это тоже важный символ. Он означал единство пионерии, комсомола и партии! А именно: прямой угол, который оказывался у каждого пионера на спине, — это партия, более длинный кончик завязанного галстука — комсомол, а самый короткий — пионерия. Некая имитация троицы. Все коммунистические верования прочно базировались на веками существовавшей религиозной символике, только нам это было в те поры неведомо.

В Музее Ленина нас сначала провели с экскурсией по залам. Там меня поразили ведомости с годовыми оценками Володи Ульянова. Одни пятерки! Вот это да! Но почему-то всех поразил вопрос: а почему по Закону Божьему у будущего революционера тоже была пятерка? Или он не знал, что нет такого закона? И что нечего учить то, что одурманивает народные массы? Мы даже спросили экскурсовода, как же так? Но этот вопрос не застал женщину врасплох. Она тут же привела довод, что эта оценка говорит о чрезвычайной дисциплине будущего вождя мировой революции. Он знал, что религия — опиум для народа, конечно же. Но он был при этом дисциплинированным учеником, поэтому и этот предмет сдавал на пять. К тому же — врага надо знать в лицо.

— А враг — это закон Божий? — спросила я.

— Враг — это религия, Бог, — одобрительно подкорректировала экскурсовод.

Выходя из зала, я зацепилась фартуком за ручку двери. Фартук порвался. Я почему-то решила, что Володя Ульянов наказал меня таким образом за лишние вопросы. От ужаса, что сейчас меня будут принимать в пионеры в рваном фартуке, я заплакала (чего обычно никогда не делала прилюдно — знала, что слезы — слабость). Одна из мам, которые нас сопровождали, достала из сумочки футлярчик, в котором лежали ножнички, иголки, нитки, и ловко устранила повреждение.

Нас выстроили в ряд. Напротив нас стояли восьмиклассники — уже комсомольцы со значками на своих формах.

Мы хором произнесли клятву юного пионера, которую я помню до сих пор, как все, что мы учили в начальной школе:

«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь: жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия».

(Несколько позже слово «клянусь» заменили на «обещаю», но мы произносили «клянусь».)

И вот — свершилось! Мы все — юные пионеры! У нас на груди красные галстуки. И в такой день! В день рождения самого Ленина! Счастье нас всех переполняло. Но это было далеко не все. После приема в пионеры нас прямо из Музея повели на Красную площадь, в Мавзолей Ленина — Сталина.

Просто так в Мавзолей попасть было невозможно: надо было стоять в многочасовой очереди, которая змеилась через всю Красную площадь до Александровского сада. Люди приезжали со всех концов необъятной страны и обязательно хотели посмотреть на своих вождей.

Нас по случаю приема в пионеры провели в Мавзолей без очереди. Велели идти медленно и тихо. Мы были напуганы торжественностью момента и тем, что нам предстоит увидеть мертвецов. Я, например, никогда до этого мертвых не видела.

Вожди представляли собой странную пару. Один, великий образец мудрости и человечности, маленький, желтолицый, в костюмчике с галстуком, выглядел крайне невзрачно рядом с одетым в роскошную форму генералиссимуса с орденами во всю грудь вождем, неоднократно проклятым миллионами и миллионами же оплаканный.

Ленин казался мумией, усохшей и безопасной. Сталин выглядел вполне живым, уснувшим, но готовым открыть глаза в любой момент, когда ему надоест тут лежать на глазах всяких зевак.

Я пожалела и того, и другого, думая о том, что вот так лежать перед всеми — как-то обидно, что ли. Мало ли — может, на их смерть приходит полюбоваться враг. А они лежат и двинуться не могут…

Мы вышли из склепа на свет божий. Вспомнили о нашем счастье — галстуках. Оглянулись еще раз на Мавзолей. Черными мраморными буквами на коричнево-красном камне было выведено: ЛЕНИН — СТАЛИН.

Потом нас повели к могилам у Кремлевской стены, где хоронили всяких борцов за дело революции.

Потом была весна, яркое солнце. Мы шли в пальто нараспашку, чтобы прохожим были видны наши галстуки… Праздник!

Дома я все рассказала — и про фартук, и про пятерки Ильича, и про Мавзолей.

— Лежит, — сказала Стелла. — Так и лежит. И все эти разоблачения — пустой звук. Как лежал, так и лежит.

Я поняла, что это о Сталине.

Ему оставалось лежать в Мавзолее недолго, всего полгода. 31 октября 1961 года, ночью, тело его извлекли из общей с Лениным, двуспальной усыпальницы и захоронили рядом. Сделано это было с опаской, тайно, объявлено народу как о свершившемся факте. На Мавзолее осталось лишь одно слово: ЛЕНИН.

Кто-то говорил:

— Давно пора.

А кто-то не скрывал слез.

Берлинская стена

Но еще до выноса тела Сталина из Мавзолея произошло одно удивительное событие, которое тоже широко все обсуждали.

В августе 1961 года в произошло беспримерное историческое действо: в фантастически короткие сроки была воздвигнута Берлинская стена. Если очень коротко, то суть заключалась в том, что после войны Германия потеряла государственную целостность. На тех территориях, которые после войны были заняты союзниками (США, Англия, Франция), существовала Федеративная республика Германия (ФРГ). А территория, на которой находились наши войска, провозгласила себя другим немецким государством: Германской демократической республикой (ГДР). Строилась ГДР по образу и подобию СССР. Надо сказать, что западные страны отказывались признавать ГДР. Они требовали, чтобы Советский Союз согласился на проведение общенемецкого референдума, по результатам которого и выяснится, чего же хотят сами немцы. СССР от референдума отказывался категорически. Однако ГДР существовала. Но это еще что! Существовал очень странный город Берлин, поделенный на зоны. Одна зона — советская — считалась столицей ГДР, а вот зона, контролируемая союзниками, имела особый статус. Это не была ФРГ. Но и социализм в Западном Берлине не строили. Это был вольный город. Надо еще добавить, что Западный Берлин от бомбежек хоть и пострадал, но гораздо меньше, чем Восточный. Ведь бомбили особенно массированно центр (Митте), район Рейхстага, Бранденбургских ворот. В Восточном Берлине некоторые улицы практически стерли с лица земли, а в Западном очень много оставалось из прежней, уютной, зеленой, обстоятельной и надежной немецкой жизни. И вот до августа 1961 года жители Берлина практически свободно перемещались из Западной части в Восточную (и наоборот). Многие очень быстро поняли выгоды такой жизни. Например, учились в ГДР (это было бесплатно), а работали в Западном Берлине (там зарплаты были гораздо выше).

Через Западный Берлин шел огромный отток жителей ГДР, не желавших строить коммунизм всю оставшуюся жизнь, а хотевших просто и спокойно прожить в той части страны, где такая возможность предоставлялась (то есть — в ФРГ).

Вот и решено было построить между Западом и Востоком непроходимую стену. Нагнали войска (и наши, и ГДРовские) и в считаные дни соорудили заграждение — не только в самом Берлине, но и в окрестностях, на протяжении ста пятидесяти км!

Сначала натянули колючую проволоку. Потом установили глухие бетонные стены с колючей проволокой и током поверху.

Весь мир ахнул.

У нас дома это воспринято было совершенно спокойно. Война-то всего 16 лет как закончилась. Раны еще и не затянулись. Не было ни одной семьи, где бы война прошла стороной. Немцев не любили, им не сочувствовали.

— Ну, и правильно.

— Так им и надо.

— Что хотели, то и имеют.

Вот в основном такие были мнения.

Все только удивлялись, как быстро удалось эту стену возвести — в живом городе… И еще говорили, что родственникам теперь будет туго… Допустим, кто-то живет на западе, а кто-то остался на востоке. Им — как?

Не могу сказать о себе, что я кому-то сочувствовала. Но факт возведения стены меня, конечно, интересовал. Я себя спрашивала, хороший ли это выход? Решаются ли так проблемы? Ответов у меня не было.

Дальше было вот что.

Мы в пятом классе наконец-то стали изучать иностранный язык. Нашему классу выпало изучать немецкий. В параллельном классе учили английский. Немецкий учить хотели далеко не все. Некоторые мальчишки злились на немецкий язык из-за фашистов и войны. А некоторые считали, что английский становится языком международного общения, его-то и надо изучать. Из-за этого кое-кто перевелся в параллельный класс. Но очень мало — один или два человека. Остальные не захотели разлучаться, привыкли мы друг к другу.

Немецкий поначалу показался мне очень легким. Я же уже знала латинский алфавит благодаря испанскому языку и, кроме того, по своей обычной привычке за лето почитала некоторые учебники для пятого класса. Главный интерес для меня представляла «История античного мира» Коровкина и учебник немецкого языка. Летом знания сами запрыгивают в голову — это же не из-под палки, а для себя. Вот я и выучила по своему, уже сложившемуся методу большую часть слов, которые нам еще предстояло выучить в классе. Тексты читала легко. Грамматику отложила на потом, на школьное время.

К ноябрю я уже вполне могла вести несложную беседу на немецком, а именно: рассказать, что зовут меня Галя, что я живу в Москве, учусь в пятом классе, что я люблю читать книги, прыгать, бегать, танцевать, петь. Могла я даже доложить о достопримечательностях столицы, о главной улице, о

Третьяковской галерее… Ну, и еще кое-что по мелочи… И вот как раз во время осенних школьных каникул Танюся предложила мне поехать на экскурсию по Москве с немецкими слушателями из Академии Фрунзе.

— Там будет один офицер, к нему приехала жена с дочкой. Дочка — твоя ровесница. По-русски не говорит. Зато ты уже говоришь по-немецки. Попрактикуешься.

В назначенное время я стояла у академии в ожидании экскурсионного автобуса. Танюся усадила меня, познакомила с офицером-немцем, говорившим по-русски, с его женой и дочкой по имени Сабина. Девочка была ниже меня (я очень вытянулась за лето), казалась младше. Ее аккуратная и нездешняя одежда ничем особенным не отличалась, но все же видно было, что она иностранка. Ей все было непривычно, она как-то пугливо жалась к матери, та обнимала ее за плечи…

Мы поездили по центру, потом остановились у гостиницы Москва и пешком отправились на Красную площадь. Экскурсовод все время что-то рассказывала по-русски. Офицерам рассказ уже был вполне понятен, а только что приехавшим к ним женам — явно нет. Мы потихоньку зашагали по брусчатке к Мавзолею. Я стала рассказывать Сабине о себе. По-немецки. Довольно долго говорила. Она смотрела на меня во все глаза. Но ничего не отвечала. Тогда я спросила ее:

— Как твои дела? Где ты живешь?

— Я живу в Берлине, — сказала вдруг Сабина.

Я испытала восторг. Значит, она меня поняла! Значит, я все правильно говорю.

— У Сабины проблемы со здоровьем, — сказал вдруг ее папа по-русски. — Она почти не может говорить. Но это удивительно: она тебе ответила! Это редко бывает.

— Я не знала, — сказала я.

Мне стало очень стыдно, что я все лезла к этой бедной немецкой девочке ради практики в языке, а она вон что — и говорить не может.

— Это очень хорошо, что ты с ней говорила. Спасибо, — сказал немец.

Сабину тем временем взяла за руку мама и повела дальше, что-то тихо и ласково рассказывая.

— Ты спросила у Сабины, как дела, — продолжал ее папа. — Хочешь, я тебе отвечу?

Мы стояли отдельно от группы, которая дошла уже до мавзолея и слушала экскурсовода.

— Я из Берлина, — сказал мой собеседник на очень правильном русском языке (только акцент выдавал его). — Я

родился в Берлине. Берлин — мой город. Понимаешь?

— Да, — сказала я. — Конечно.

— А сейчас в Берлине стена.

Я сразу поняла, о какой стене он говорит, хотя прошло уже время и о стене мы забыли.

— Это плохо? — спросила я.

Моя тяга к познанию мира заставляла меня допытываться до самой сути.

— Это очень плохо. Я не могу в моем городе ехать туда, куда хочу. Понимаешь?

— Понимаю, — ответила я.

— Я родился в тридцатом году. Я не виноват, что в Германии был Гитлер. Он преступник. Но я все прожил с моим городом. И когда бомбы падали, я тоже был в Берлине. И потом мы убирали все руины… Сейчас у нас стена.

Разговор наш занял чуть больше минуты. Папа Сабины сказал еще, что у меня красивый немецкий. Я была счастлива.

Потом мы подошли к остальным. Экскурсия продолжилась.

Дома я все думала про стену. Я впервые засомневалась: надо ли было так поступать? Зачем так с людьми? Если бы Москву так взяли и всю разгородили? О таком ужасе думать не хотелось…

А еще я удивлялась, что взрослый немецкий дяденька именно мне рассказал о том, что стена — это плохо. Я почему-то понимала, что ему нельзя было это говорить, а он сказал.

Странная штука: офицер Немецкой народной армии сказал советской девочке о том, что стена, которую воздвигли совместными усилиями ГДР и СССР, — это плохо. И объяснил это не политическими причинами, а вполне понятными, человеческими.

Человеку иногда бывает надо СКАЗАТЬ.

Хорошо, что он выбрал меня. Мне было надо УСЛЫШАТЬ.

Потом этот немец привез из своего Берлина и передал мне через тетю набор пластинок с песнями, которые исполнял Эрнст Буш. Это были песни конца 20-х — 30-х годов. И музыка, и слова, и исполнение меня потрясли. Удивляться этому не приходится: автор слов — великий поэт Бертольд Брехт, музыка — Ханса Айслера.

Именно благодаря этим песням я полюбила немецкий язык. Он звучен, богат, прекрасен. Не вина языка, что на нем говорят не только великие поэты, философы, ученые, но и преступники, душегубы. Но народ, который смиряется с приходом к власти душегубов, должен отдавать себе отчет: стыдиться за последствия власти преступников придется всем. Всем, кто говорит на одном с

ними языке.

Две песни с тех пластинок так и живут в моем сердце. И иногда я пою их — они дают мне силу. Я назову и процитирую. А услышать их сейчас легко — набрать в поиске ютюба название — и вот: моя любимая музыка с вами.

«Песня единого фронта» — «Einheitsfrontlied»:

> …Und weil der Mensch ein Mensch ist,
> drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern.
> Er will unter sich keine Sklaven sehn
> und ueber sich keine Ђerrn —
>
> И поскольку человек является человеком,
> Ему не нравится получать сапогом в лицо.
> Он не хочет видеть под собой рабов,
> А над собой господ.
>
> Drum links, zwei, drei!
> Drum links, zwei, drei!
> Wo dein Platz, Genosse, ist!
> Reich dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
> Weil du auch ein Arbeiter bist! —
>
> Марш левой, два, три!
> Марш левой, два, три!
> Встань в ряды, товарищ, к нам!
> Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
> Потому что рабочий ты сам!

Сильнейшее впечатление производил на меня «Марш тревоги» — «Ђeimliche Aufmarsch» с его призывом встать на защиту Советского Союза:

> Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre,
> Nehmt die Gewehre zur Ђand!.. —
>
> Рабочий, крестьянин, в ружье!

…Открывая для себя эти песни, я открывала и трагическую историю борьбы немецкого народа, которая закончилась поражением (при молчаливом попустительстве большинства), приходом Гитлера к власти, мировой бойней, а потом и многолетним национальным позором и непреходящим чувством

вины… Страшный результат.

Впрочем, до осознания путей и судеб народов еще далеко…

Я живу вполне девчачьей жизнью, веселой, любопытной, насыщенной… Впереди столько всего! Лишь бы успеть!

Дворец пионеров

Про то, что скоро откроется удивительный Дворец пионеров на Ленинских горах, писали в газетах, говорили по радио. Мы ждали, мечтали. Мы с Алкой решили туда отправиться, как только он откроется, и записаться в разные кружки.

Когда мы пошли в пятый класс, долгожданный Дворец открылся. Мечта сбылась, оставалось только воочию убедиться. Мы доехали на метро до станции Ленинские горы. Сама по себе станция — уже чудо: она не под землей, а на мосту через Москва-реку. Через ее прозрачные стены видна река, Лужники, деревья — красота дивная, не хочется из метро выходить. Так бы стоять и любоваться. Но потом, когда оказываешься на улице, тебя ждет еще один сюрприз: через несколько шагов ты как будто снова заходишь в метро, но уже бесплатно: там устроен специальный эскалатор, который поднимает людей от метро-моста до уровня городских улиц. Здорово! Можно немножко покататься на эскалаторе — туда-сюда, раз не требуют за это пятачок. Потом мы все-таки выходим в город — это совсем пустынное место, жилых домов нет, надо перейти через дорогу, и вот мы на огромной площади перед Дворцом пионеров!

Как же тут красиво! Дворец Пионеров строили лучшие архитекторы. Он получился просторным, воздушным, светлым. Стены из стекла, удивительный, самый настоящий ботанический сад, каждый может гулять, слушать журчание воды… Даже если на улице холодно, здесь всегда тепло. Все новое, современное, необычное, и все — наше. Пожалуйста, пользуйся, приходи, занимайся, чем хочешь. Тут и танцы, и музыкальные студии, и хор, и своя киностудия, и театральный кружок, и изостудия, кружок кройки и шитья, театр кукол, клуб интернациональной дружбы, где можно изучать иностранный язык, какой захочешь, бесплатно.

Кружков оказалось столько, что глаза разбежались. Мы, конечно, записались в клуб интернациональной дружбы. Я — в кружок испанского языка. Мне хотелось позаниматься языком под руководством преподавателя, а не только по самоучителю, который я почти одолела.

Подружка записалась еще на курсы кройки и шитья, а я — в изостудию. На большее попросту не хватило бы времени, а жаль. Уходить из Дворца не хотелось. Он притягивал к себе. Он стал прекрасной сбывшейся мечтой, которую не перестаешь любить, хоть она и сбылась.

Дома я просто сказала, что записалась в кружки. Что это

значило? Ничего, кроме того, что по определенным дням мне требовались пятачки на метро и дополнительные десять копеек на то, чтобы перекусить во Дворце.

Мы так и ездили одни, две девчонки, и старшие за нас не опасались. И правда — что может случиться с ребенком в метро или на улице? Рядом люди, они помогут.

Съемки «Войны и мира»

Мы с моей подружкой Алкой, с которой сидели за одной партой все годы, начиная со второго класса, решили отправиться на съемки «Войны и мира». Прошел слух, что какие-то батальные сцены Бондарчук снимает на обширном в то время пустыре между Минской улицей и Ломоносовским проспектом. Мы никогда не видели, как снимают кино, а тут такая возможность! Целое сражение можно увидеть. Мы договорились, что не будем делать после школы уроки, а сразу, оставив дома портфели и переодевшись, отправимся глазеть на съемки.

Стояла теплая осень, конец сентября. Листья даже не все еще пожелтели. Мы были легко одеты: в платьях и кофтах. Кто-то из наших знакомых уже был на съемках и точно описал нам маршрут. Путь был неблизкий. Мы договорились не спрашивать разрешения у старших: могли не отпустить. Тем более часть пути пролегала по совершенно пустому перелеску. Проезжая часть, а по бокам деревья. И всё. Ни домов, ни людей.

Мы решили, что ничего с нами случиться не может, ведь мы опытные путешественницы по Москве, уже столько времени сами ездим во Дворец пионеров. Быстренько посмотрим на съемки — и домой. И никто не узнает. Сядем за уроки. Даже гулять потом не пойдем — вот мы какие разумные и примерные.

И вот мы идем. От метро «Филевский парк» по Минской улице, под железнодорожный мост. И — ничего страшного. Люди мимо ходят. Всё в полном порядке. Идти-то по прямой — не заблудишься. И мы идем. И уже видим вдалеке — как будто много ружей стреляет — дым от выстрелов. Значит, все правильно. И съемки идут, и дорога та. Мы замечаем, что никого, кроме нас, на дороге нет. Мы совсем одни. Ну и что? Ничего. Просто одни совсем, как никогда.

И в этот момент мы видим, как с той стороны, где идут съемки, в нашу сторону очень быстро движется плохо различимая группа людей. Что-то в этой группе нас настораживает, хотя люди эти еще очень далеко. Мы оглядываемся назад: не побежать ли нам туда, где много людей? Нет, никого не видно, мы ушли уже слишком далеко. Выбираем движение вперед. Очень скоро видим: навстречу нам бежит стая парней лет тринадцати-четырнадцати. Один из них, щупленький, маленький, ему вообще лет десять на вид, подскакивает к нам первый.

— Девчонки, а вы куда?

На лице его пакостная улыбка. Я таких искаженных странным выражением, мальчишеских лиц прежде и не видела.

— Мы на съемки, туда, — миролюбиво отвечает моя подружка.

И тут паренек свистит. И к нам подбегает вся стая. Мы понимаем, что нет нам спасения. Что они с нами сделают — об этом подумать нет времени. Мы в ужасе. Я не знаю, сколько их. Человек десять — двенадцать. Лица оскаленные, как у зверей, когда они нацелены жертву загнать.

Один из них набрасывается на подружку, но та как-то изворачивается и убегает прямо на проезжую часть. Она бежит без оглядки. А я остаюсь среди стаи. Мне на спину бросается один из них, обхватывает горло, душит, стараясь завалить… Я из последних сил кричу:

— Аааaа! Помогите!

И вдруг душитель отбегает от меня. И стая тоже. По дороге идет взрослый дядька. Он один. Но эта малолетняя стая его испугалась. В этом человеке наше спасение. Мы идем за ним. Он ни о чем нас не спрашивает. Мы тоже идем молча. Стая проносится мимо нас — с другой стороны, в том же направлении, куда — теперь уже поневоле, без всякой радости — идем мы.

И вот мы на месте. Съемки действительно идут. Зеваки стоят, наблюдают. Мы боимся всего на свете. И людей боимся, и далеко отходить от людей боимся тоже. Мы стараемся держаться поближе к массовке. Они-то точно не насильники. Они артисты.

На нас орут в мегафон:

— Девочки, отойдите!

Мы отходим на два шага и возвращаемся.

Наконец какая-то возбужденная киношная тетка самолично отводит нас подальше. Мы лепечем про то, что тут парни нас выслеживают. Она ничего и слушать не хочет.

Мы думаем, как нам возвращаться. Мы смотрим за стаей. Они мечутся с другой стороны, высматривают кого-то. До нас им далеко.

— Бежим сейчас?

— Бежим!

И вот мы со всех ног бежим туда, откуда пришли. К людям. На дороге опять никого.

Оглядываемся — и видим вдалеке силуэты двух девчонок. А за ними стая.

— Бежим!

Я задыхаюсь. Что-то с моим горлом не то. Воздух не проходит в него, нечем дышать. Я бегу уже только ногами, дыхание, кажется, остановилось. Сердце печет.

Наконец мы оказываемся под железнодорожным мостом. Людей уже видно. Не близко, но видно.

Оглядываемся — стая настигает тех девчонок.

Мы убежали! Мы спасены!

У меня ушло много времени на то, чтобы отдышаться. Сердце никак не хотело стучать в обычном режиме, трепыхалось и дрожало…

Перед тем как разойтись по домам, мы пообещали друг другу, что никогда никому про то, что с нами приключилось, не расскажем. Да и зачем рассказывать? Что это могло изменить?

Но та погоня была точно нужна. Как вполне определенный и ясный урок.

Мои грехи

Все свои школьные годы я привыкла после уроков — до самого вечера — оставаться дома одна. Все расходились на работу. И тетя Аня работала с моего второго класса. Ей нужно было заработать трудовой стаж для пенсии. Поэтому я (как многие другие дети) приходила домой, отпирая дверь своим ключом, обедала, делала уроки.

Мне доверяли. Я казалась вполне разумным вменяемым человеком. И вот только сейчас я расскажу о двух своих грехах, которые совершала дома в одиночестве.

Один грех я вполне могу объяснить.

Меня заставляли есть.

Предшествующее поколение настрадалось во время войн и связанных с ними голодом настолько, что главным благом жизни считало еду.

Их очень даже можно понять. Настоящий (не ради диеты) голод — это самая реальная беспощадная пытка. Человек, испытавший подлинный голод, помнит о нем всю жизнь. И если даже очень и очень сыт, станет кормить гостя или ребенка с особым тщанием. И при этом любоваться, как тот ест.

Я испытала на себе этот процесс!

Вот я ем.

С неохотой, через силу. Можно даже сказать, давлюсь. А рядом сидит со сладкой улыбкой моя тетечка и своей чистой вилочкой пододвигает на моей тарелке кусочки получше. Просто чтобы я не пропустила, обратила на них свое пристальное внимание.

И попробуй не съешь!

Это же будет горе! Страх и ужас!

То есть — я запросто могу начать пухнуть от голода, если откажусь съесть последний кусочек тушеного мяса — мягенького, без жилок!

Был и еще упрек: «Я целый день стояла у плиты ради тебя, а ты…»

Приходилось смиряться. Давиться и глотать. Ради спасения собственной жизни и чтобы не подводить любящего человека.

Но для себя я делала выводы. Давала себе обещания насчет еды.

Знаете, все проходят через мечты на тему «Вот подождите! Вот я вырасту!..»

Очень много проектов по поводу моего вырастания было связано именно с едой.

Ну, во-первых: я никогда не буду есть больше, чем мне хочется.

Во-вторых: я никогда не буду заставлять своих детей есть. Не сяду вот так вот с вилочкой и не стану запихивать им в рот куски, когда видно же, что они уже не могут.

В-третьих, я никогда-никогда-никогда не буду есть суп!

С супами моего детства связано много печальных историй. Я их не любила. Особенно в детском саду. Ну — они были там невкусные и некрасивые. Быстро остывали, и белые круги жира плавали на поверхности. Гадость!

А воспитательницы на меня злились и оставляли за столом, пока я все не доем. Бывало, даже наказывали, не брали на прогулку. И я сидела одна и роняла детские слезы в тарелку с ненавистной жижей.

Думаете — доедала? Нет! Ни за что! Это было просто невозможно. Почему я должна запихивать в себя этот белый жир? За что? Что я такого сделала?

И вообще — зачем супы?

А когда я пошла в школу, начался новый этап.

Газ мне включать не разрешалось. Но меня все равно ждал теплый обед. Суп — в термосе. А второе — в укутанной полотенцами и одеялами сковородке.

Суп пропитывался запахом пробки от термоса. Есть его возможным не представлялось. Он вонял. И я совершала преступление, прекрасно понимая, что поступаю очень плохо. Я выливала содержимое термоса в унитаз.

Я была сознательным членом общества. Я понимала, сколько в мире голодных детей, которые были бы счастливы съесть этот любовно приготовленный для меня суп. Но где эти дети? Не доедешь, не доскачешь… Суп отправлялся в унитаз.

Таковы были правила игры. Если бы я честно оставила суп нетронутым, разразилась бы трагедия. Точно говорю: пробовала жить по-честному пару раз. Просьбы не оставлять мне суп в термосе ни к чему не приводили… Вот я и… Приспособилась…

И каждый раз, выливая суп, я давала себе слово: вырасту — супы ни-ни. Их не будет в моей жизни. Должна сказать, что много лет я следовала этому обещанию!

Второй же грех — до сих пор мне самой не понятен. Пишу о нем исключительно ради того, чтобы кого-то предупредить: в раннем подростковом возрасте ребенок в очень многих вещах

совершенно не может отдавать себе отчет и действует бессознательно.

Итак. Я возвращалась домой из школы, чувствуя огромную усталость. Мне совсем не хотелось есть. Мне совсем не хотелось спать. Я чувствовала опустошение. Я была приучена к нескольким главным правилам возвращения домой: первое — сменить обувь, на улице грязно; второе — вымыть руки и лицо; третье — снять школьную форму и повесить ее на вешалку в шкаф, чтобы она не помялась.

Дальше полагалось пообедать.

Я не делала ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого…

Я шла на кухню и зажигала газ. Потом я ставила на огонь пустую жестяную банку из-под консервов и «производила химические опыты». Пишу в кавычках, потому что просто не знаю, как иначе назвать то, что я творила. Я наливала в банку, например, одеколон, сыпала соль, сахар, кидала туда куски гуталина, какую-нибудь пластмассовую штуковину — все, что в голову придет. И смотрела, что будет.

Иногда не происходило ничего. Ну, просто жидкость закипала, шипела, бурлила, шел пар… И все.

Но чаще… Чаще полыхмякало так, что мама не горюй! Буквально до потолка могло подняться пламя. Оно поднималось, вспыхивало и опадало. К счастью. Вообще-то после первого такого вспыхивания я стала подстраховыватья: ставила рядом с собой полный чайник. Предполагалось, что я затушу водой из чайника начавшийся пожар.

То есть — какие-то остатки разума все же сохранялись в моей взрослеющей голове. В остальном — чистое безумие. Мне, во-первых, надо было смотреть на огонь. А во-вторых, было интересно, какие именно ингридиенты приводят к наиболее интенсивному вспыхиванию.

Несколько раз пламя, поднимаясь высоко, лизало потолок, оставляя на нем следы копоти. Но, видимо, горючих веществ в моих банках оказывалось слишком мало. До пожара дело не дошло. Сейчас понимаю — чудом! Самым настоящим чудом. Могло запросто разгореться.

Что интересно: иной раз кто-нибудь из теть поднимал голову к потолку и произносил задумчиво:

— Надо бы кухню побелить! Потолок почернел весь, закоптился.

И ни разу это их не удивило, не насторожило.

Странно.

…Насмотревшись на огонь, я приходила в себя, обретала

какие-то новые силы. Вот с этими новыми силами я начинала жить, как полагается: разувалась, убирала следы своих опытов, тщательно мыла руки и лицо, переодевалась в домашнее…

И продолжалась эта история года два, если не больше!

В тринадцать лет я вдруг потеряла интерес к подобным действиям. И усталость после школы не так уже проявлялась. Все вошло в свое русло.

…Когда мой средний сын пошел в первый класс, я застала однажды на кухне такую картину: целый коробок спичек был опустошен. Спички аккуратно, горкой лежали на кухонном полу. Оставалось только поднести огонь. Костерок получился бы вполне ничего себе. Взвейтесь кострами, синие ночи…

— Что-то рановато начал, — грустно подумала я.

Потом собрала спички и долго-долго втолковывала, почему не стоит зажигать их на полу в квартире.

Сгорит дом — где жить потом будем?

Умная стала…

Меня жалеют

Запомнилось. Мне двенадцать лет. Я иду с урока музыки. В руках — черная нотная папка на веревочках, доставшаяся мне от Женечки.

Дождь! Ливень! Поздняя весна. Я в школьной форме и в босоножках — совсем тепло.

Улицы тогда отличались чистотой: каждый вечер дворники не просто мели их, но и поливали из шлангов. Веселое детское развлечение: попасть под струю воды, когда дворник начинает свою работу.

Дождь… Теплый дождь. Надо бы домой, но я так люблю дожди! Я скидываю свои босоножки и медленно бреду босиком по лужам. Плевать, что вся промокла! Мне удивительно хорошо. Я счастлива.

Я ничего не вижу и не слышу, кроме дождя. Я поднимаю к нему лицо, смеюсь…

— Галя! Галя!!! Галя!!! — вдруг доходит до меня чей-то крик.

Я вздрагиваю от этого заполошного крика. Словно меня сдернули с облака… Падаю на землю…

На балконе соседнего с нашим подъезда стоит мама нашей дворовой подружки. Учимся мы не вместе, она на пару лет младше меня. Но играем вместе.

— Галя! — приказывает чужая мать. — Немедленно зайди!!!

Я, ничего не понимая, захожу в чужой подъезд, поднимаюсь на второй этаж. Дверь в квартиру открыта.

— Заходи! — велит мне женщина.

Захожу.

Останавливаюсь у порога: с меня течет вода.

— Почему ты на улице? — с нездоровым жадным любопытством спрашивает соседка.

— С музыки иду, — отвечаю я, все еще ничего не понимая.

— Почему так медленно? — допытывается она.

— Я гуляю.

— Понятно, — жалостливо вздыхает баба. — Без родителей, никому не нужная…

— Что???! — восклицаю я.

До меня доходит: домохозяйке скучно, и она решила меня пожалеть, а заодно и тетям кости перемыть с соседками. Ребенка так обижают, что ребенок предпочитает под дождем мокнуть, но домой не торопится.

— Возьми зонтик и немедленно иди домой, — велит мне сердобольная мать семейства.

Она даже не понимает, чего добилась своей «жалостью», гадина.

Она такой удар мне нанесла, что у меня дыхание перехватывает. Мне хочется пнуть ее ногой по колену. Я еле сдерживаюсь.

— Я люблю под дождем гулять. И мне не нужен зонтик.

Выхожу на лестницу.

— Возьми зонт, — слышится приказ.

Я выбегаю из подъезда. Дождь кажется мне теперь холодным и злым.

Капли дождя на моих щеках смешиваются с моими слезами.

Не смейте меня жалеть, сволочи!

Не смейте говорить плохо о самых дорогих мне людях!

Дома я успокаиваюсь, но не перестаю удивляться: почему людям так часто хочется, чтобы у других все было плохо? Неужели это делает их счастливее?

Похоже, что да.

«Я шагаю по Москве»

Фильм вышел, и в него сразу влюбились. Он был чистым, свежим, весенним, как юность. Мы, до юности еще не доросшие, ужасно завидовали героям фильма. Они уже выросли, они — девушки и молодые люди. А мы — девчонки и мальчишки. Но все равно — Москва была и наша тоже. Мы могли по ней гулять, где хотели. Мы, как героиня фильма, бегали босиком по залитым дождем, чистым улицам (туфли полагалось беречь), мы ходили загорать в конце мая в парк, на берег реки, мы катались на лыжах на Поклонной горе (там ничего, кроме леса, не было тогда). Мы чувствовали свободу и легкость.

В параллельном классе училась моя подружка Ленка, с которой мы жили еще в доме Академии Фрунзе. Мы с ней пускались во всякие авантюры. Одно из любимейших развлечений называлось у нас «кататься до „Юго-Западной“».

Вот едем мы на метро от станции «Библиотека имени Ленина» до конечной станции «Юго-Западная». И что? А суть в том, что после станции «Университет» из вагонов выходили почти все. Потому что проспект Вернадского еще только строился, там почти никто не жил. А на станции Юго-Западная вообще ничего еще не строилось! Только запланировано было. Зато метро уже провели.

Суть нашего развлечения была проста, даже примитивна. Если все пассажиры выходили на станции «Университет» — наше счастье! Двери закрывались, мы оставались одни в вагоне, и тут начиналось. Две благопристойные девочки в платьицах с оборочками превращались… даже не знаю, в кого. Наверное, в стадо диких обезьян. Правда: нас как-то сразу делалось очень много. Мы орали, визжали, бегали по сиденьям, раскачивались на поручнях, хохотали, как сумасшедшие. Несколько минут невероятного блаженства. Развлекались мы с такой самоотдачей, что становились на себя не похожи совсем. Но увы — все прекрасное кончается. К станции «Проспект Вернадского» подъезжали две вполне приличные, тихие, только очень разрумянившиеся девочки с аккуратно расправленными оборочками и кружавчиками на платьицах и с чуть растрепавшимися косичками. Ну — чуть-чуть. Ну — бывает. Мы пережидали коротенькую остановку. До «Юго-Западной» никто не ехал — это точно. И вот — начиналось! Вопли, топот, прыжки, раскачивания, беготня… Как хорошо, что не было никаких видеокамер, служб безопасности! Это детское счастье (да, дурацкое, да, идиотское) помню до сих пор, и оно заставляет

меня и сейчас смеяться от ощущения полной свободы и наших перевоплощений из приличных девочек в разбойниц. Назад — до «Проспекта Вернадского» — новая серия прыжков, кривляний, валяний на сиденьях… Потом обычно кто-то заходил. Увы. Мы сидели — две кроткие голубицы, — глядя на входящих своими наивными детскими глазами. Одно удивляло пассажиров: на сиденьях было как-то… натоптано… Следы ног виднелись. Люди удивлялись и выбирали места почище. И мы удивлялись вместе с ними. Надо же! Кто это по сиденьям ходил? Бывают же персонажи!..

Круглое озеро

У Академии Фрунзе имелась своя загородная территория в Подмосковье, в получасе езды от станции Лобня. Там, на берегу Круглого озера, располагались дачные домики. Одно время туда привозили слушателей-иностранцев Подготовительного отделения, чтобы они к началу учебного года освоили русский язык. Так продолжалось года два подряд, в 1964 и 65 году. Потом эти дачки превратили в академический пансионат. Несколько лет подряд какую-то часть лета я проводила на Круглом озере.

Самое для меня интересное время — годы, когда там находились кубинцы. Это же возможность говорить по-испански! Практика! И еще — кубинская военная форма делала любых, даже самых неказистых парней, романтическими героями.

Они общались с удовольствием. Уговор был: общаемся половину времени на испанском, а потом — для их практики — на русском.

Появилась у меня там и подружка-ровесница, Ларида Ширахмедова. Ее тетя, Альфия, преподавала кубинцам русский язык, вот мы и оказались вместе. Ларидкина мама, кинорежиссер, жила своей насыщенной жизнью и не могла полноценно заниматься дочерью. Тетя Альфия, бездетная и преданная, взяла заботу о племяннице на себя.

Ларидка была хорошей подругой, миролюбивой, доброй, к тому же интересной собеседницей. Время на Круглом озере мы проводили весело. Кубинцы в любую свободную минуту пели — у них всегда были с собой их музыкальные инструменты: гитары, барабаны… Мы наслаждались их музыкой, учили слова, подпевали…

У меня появился поклонник. Один из самых успешных студентов, по имени Балоиз. Он обладал огромным упорством и быстро научился говорить по-русски. И с тем же упорством он показывал мне свои чувства, которые мне, безусловно, льстили, но до которых я не доросла.

Однажды Балоиз встал рано утром, еще до побудки, побежал в поле, нарвал ромашек и васильков (там неподалеку имелся удивительный луг, заросший полевыми цветами, возле которого можно было стоять часами, любуясь ими — нигде потом не видела подобной красоты). И вот с огромным ярким букетом, на виду у всей своей группы, встретил меня у крылечка старательный кубинский слушатель, когда я, умывшись, спустилась, чтобы идти завтракать. Он торжественно вручил мне цветы. Я смутилась. Спрятала лицо, делая вид, что наслаждаюсь

ароматом васильков.

Балоиз с гордой улыбкой смотрел на меня.

— Воняют? — спросил он, желая блеснуть новым для себя словом на русском.

Я хохотала, как сумасшедшая.

— Я неправильно сказал? — недоумевал парень.

У меня не получалось успокоиться и объяснить, что не так. Я вспоминала его романтическую интонацию, само слово… Смех накатывал…

«Вот вы тут радуетесь, а Никиту Сергеевича…»

Октябрь 1964-го. Мне вот-вот исполнится четырнадцать лет. Тетя Стелла возвращается с работы и удивленно рассказывает:

— Иду сейчас к дому, а навстречу подвыпивший субъект. На ногах держится, но пошатывается. И знаете, что он мне сказал? «Вот вы тут, — говорит, — радуетесь, а Никиту Сергеевича сняли!» Что за бред? Неужели сняли?

Все удивились, включили телевизор. Никаких новостей. То есть — новости, как обычно: ударный труд ударных бригад, то да сё… Но про Никиту Сергеевича — ни слова.

— Болтал чушь спьяну, — определяет Стелла, — хотя… кто его знает… подождем.

И надо же! На следующий день — правда: объявили-таки, что сняли Никиту Сергеевича! За волюнтаризм.

Во какое слово — неслыханное! Знать бы, что оно значит…

И еще интересно — откуда тот пьяный дядька раньше всех узнал?

Про волюнтаризм мне объяснили: слишком своевольничал.

А про пьяного на улице — до сих пор не пойму. Наверное, потому так и запомнилось.

Начиналось другое время… А жизнь шла пока по-старому.

Мы остаемся одни

Хотя изменения в нашей жизни были — и еще какие. Но они не зависели от решения партии и правительства.

Женечка вышла замуж! Мне было тринадцать лет, когда это произошло. Я очень радовалась! Женечка и ее муж пока еще учились в МИИТе, но тогда принято было рано создавать семьи. Они стали жить у нас. Опять же: никому и в голову не приходило снимать жилье и жить отдельно от родителей. Вопрос обычно заключался только в том, у каких родителей будут жить новобрачные. Да и он решался легко: конечно, у тех, у кого квартира больше. Так мы и зажили.

В августе 1964-го родилась Сонечка, моя дорогая племянница. Женечка писала диплом, мы все, кто когда мог, сидели с нашим дорогим ребенком-радостью дома.

Анечка наша металась и помогала больше всех. Она стала нервозная, дерганая.

У меня с ней складывались странные отношения, именно когда я стала подростком. Она была человеком удивительным: заботливым до самоотречения. Но самоотречение, видимо, даром никому не проходит…

В какой-то момент нервозность ее и усталость стали выплескиваться наружу. Она говорила резкости, ссорилась с тем, кто попадал под ее настроение. Причем настроение могло проявиться внезапно, среди ясной, солнечной погоды вдруг набегала грозовая туча, громыхала, сверкала молния… А потом опять все тихо и мирно, только если эта молния попала в тебя, ты как-то долго приходишь в себя, спрашивая у неба: «А что это было-то?»

Приведу примеры из тех, что помню.

Женечкину свадьбу праздновали в ресторане «Прага». Гостей позвали человек сто! Свадьбу устроили красивую и веселую. Женечка выглядела изумительно, сияла своей яркой красотой. Много было хлопот, праздничной суеты, гора подарков громоздилась в зале… Танцы, поздравления. По такому случаю приехал и мой папочка. Мы сидели рядом и радовались друг другу. Что может омрачить настроение в такой замечательный вечер?

И вот мы вернулись домой. Гостей — видимо-невидимо! Уложили всех, куда могли — и на полу даже. В гостиницы тогда никто и не пытался попасть — невозможно. Папа перед сном зашел на кухню, попить воды. Я, конечно, потащилась за ним. А там Аня цветы расставляет в вазы. Папа ушел, а я осталась ей

помогать. И вот она мечтательно и довольно произносит:

— Ах, какая была свадьба! Прекрасно все устроили!

Я, радуясь, киваю, соглашаюсь.

— А у тебя такой никогда не будет, — продолжает вдруг Аня ожесточенно.

Я в ступоре. За что? Почему вдруг?

— Ну и не надо, — говорю я.

— Тебе лишь бы сгрубить. Тебе слово — ты десять, — словно предлагая раскрутить ссору, начинает Аня.

Я молча ухожу. Говорю Танюсе об Анином пророчестве.

— Не обращай внимания, она устала, плохо себя чувствует, — успокаивает меня Танечка.

Я на Аню не обижалась. Просто не могла — и все. Я помнила всю ее заботу — искреннюю, неустанную — и не могла поэтому обижаться. Но — в ступор впадала. Как-то страшно вдруг звучало: «У тебя… никогда…»

Кстати, она оказалась права. Не было у меня такой прекрасной свадьбы, такого количества гостей… Мне некому было все это устраивать. Так уж сложилось. Ну да ладно…

Или вот еще: Женечка получила диплом о высшем образовании. Все в ее жизни складывается вовремя и правильно: муж, дочка, диплом. Мы отмечаем это знаменательное событие. И вот я слышу от Ани:

— А тебе института не видать как своих ушей.

У меня опять ступор. Ничего себе — путевка в жизнь! И почему «не видать»? Я учусь хорошо, по русскому и литературе побеждаю даже на олимпиадах. Мои сочинения по школьному радио читают, как образцовые. Что во мне не так?

— В лучшем случае — техникум! — определяет Аня злорадно.

— И пусть. И что? На завод пойду работать, — отвечаю я. — На завод-то возьмут меня?

— Выше техникума не прыгнешь! — подтверждает Аня свою догадку о моем будущем.

И опять же — никакой обиды у меня не возникло. Просто — ах! Удивление! Чего это она? Что я не так сделала?

Она, кстати, никогда не была придирчивой, вредной… А тут вдруг накатывало на нее…

К счастью, в этом вопросе Аня промахнулась: и институт я закончила, и аспирантуру, и диссертацию защитила. Не все пророчества сбываются! Бывает, везет человеку, и все происходит не как напророчили, а как он сам своей жизнью распорядится…

Потом произошло вот что. У Стеллы на работе появилась

возможность вступить в кооператив. То есть — заплатив вступительный взнос, купить квартиру в рассрочку. С позиций сегодняшнего дня — цены мизерные. Никаких процентов. Вступительный взнос вполне можно одолеть, а потом платишь в течение пятнадцати лет рублей по пятнадцать в месяц. И все — квартира полностью твоя. Проблема же заключалась в том, что просто так в кооператив не вступишь, нужно, чтоб метров в твоей нынешней жилплощади оказалось не слишком много. Но с этим у нас все было в порядке. К тому же тетя Стелла имела ученую степень (в этом случае метров полагалось больше).

В кооператив решено было вступать. Следующий вопрос: кто же поедет в новую квартиру? Казалось бы, просто. Тетя Стелла с дочкой, мужем дочки и внучкой. Мы же втроем — Аня, Таня и я — остаемся там, где живем.

Но такое простое и логичное решение стало для Ани настоящим ударом. Дело в том, что для Анечки самым любимым и дорогим человеком на свете была Женечка. Она растила ее до возвращения Стеллы из армии, она самозабвенно занималась ею. Женечка была ей больше чем дочь.

Дома возникали ссоры (впервые в нашей жизни) и выяснения отношений.

— Пойми, ведь она моя дочь! — убеждала Стелла.

— А я ей кто? Я мало для нее сделала? — плакала Аня.

Слишком тесно мы жили прежде, слишком большая привязанность… Она бывает слишком большой? И любви — бывает слишком много?

Увы — да.

Это беда (для всех), когда человек живет только жизнь любимого другого человека, полностью забыв о себе. Это всегда (по моим многолетним наблюдениям) приводит к крушению — вплоть до ухода из жизни.

Да еще наши нечеловеческие условия — жизнь в коммуналках, жизнь нескольких поколений под одной крышей… У людей нет возможности расправиться, наполнить жизнь собой.

Аня оказалась целиком зависимой от Женечкиной жизни. Роковым образом зависимой. Она любила Женю истово, фанатично. Пока жили бок о бок — проблем не возникало. Когда решили разъехаться, просто ради жизненного пространства, — случилась трагедия.

И все было правильно. И никто не виноват… И всем (в жилищном отношении) стало лучше. Но вот сейчас знаю точно: Аню бросать было нельзя. Надо было Женечке ее взять с собой. Но кто мог подумать, что Аня окажется несчастным брошенным ребенком, потерявшим смысл жизни?

После переезда она каждый день ездила к Женечке: помочь с дочкой, привезти сумки с продуктами. Она ездила, потому что иначе не могла. Домой возвращалась только ночевать. Злилась на нас с Танюсей…

Грустно стало в нашем доме. Пусто. Не стало праздников… Хотя — мы все праздники все равно отмечали вместе, но теперь уже в новом доме у Стеллочки и Женечки. Там шла главная жизнь.

Так в шестнадцать лет я впервые почувствовала тоску и пустоту одиночества.

Михалыч

Ох, и трудно это рассказывать… Хотя — отчего же? Тоже — история везения. Вот сейчас соберусь с силами и начну.

Мне действительно повезло — я росла в идеальном мире покоя любви и заботы, которой окружила меня Танюся.

Моему братику Гришеньке выпал жребий расти в совершенно других условиях. Он стал истинной жертвой родительских взаимоотношений.

Папа уже учился в Ленинграде и приехал в Каменку на зимние каникулы… Так возникла новая жизнь.

Братик родился в октябре, на месяц раньше ожидаемого срока, весил кило девятьсот.

И, как в страшной сказке, набежали Ткачиха с Поварихой, с сватьей бабой Бабарихой… Стали нашептывать папе, что ребенок не его… Жаль, не было тогда экспертизы… Но в те времена достаточно было посеять семена сомнения… Это потом, когда уже ничего было не исправить, сделалось ясно, что мальчик — копия нашего с ним папы: и волосы, и глаза, и даже ногти на руках, и голос, и характер…

Между родителями возник разлад.

Разбирая старые письма (никого из участников переписки давно уже нет в живых), нашла я письма бабушки к Танюсе. Бабушка писала очень красиво, образно, безукоризненно грамотно. Письма ее вполне можно назвать по-своему выдающимися произведениями эпистолярного жанра. Меня же поразила кошмарная смесь любви и ненависти, содержавшаяся в тех посланиях, которые касались Гришенькиного рождения.

Маму мою бабушка в письмах называла «волк». (Замечу попутно, что мне, ребенку, никто и никогда не сказали ни одного плохого слова о маме — вот настоящая любовь к ребенку и выдержка, однако в личной переписке мнения высказывались прямо и нелицеприятно. Да что там! Просто жуть брала!)

Итак: волк! Даже не волчица — волк! Я, чуткая к словам, впечатлилась сильнейшим образом. Надо сказать, слово бабушка подобрала меткое: мать обладала огромной силой гнева и раздражения, которая мне с младенческих лет помнилась отчетливо и детально.

В письме, касавшемся появления на свет Гришеньки, бабушка сообщала: «Волк уверяет, что мальчик недоношенный, а у него — ноготки на пальчиках и волосики есть. Разве у недоношенных бывают ноготки и волосики? Вообще мальчик очень красивый, миленький. Часто плачет, хочет есть. Волк кормит его грудью.

Молока много. Сосет он очень хорошо. Разве недоношенные могут хорошо сосать?»

Как ярко тут отражена любовь к младенцу, нежность и восхищение им! И как страшна ненависть к «волку»!

…Как показало время, недоношенные МОГЛИ рождаться с ноготками, МОГЛИ иметь волосики и здоровый детский аппетит. «Волк» никого не обманул. Гришенька, видевший папу только в раннем младенчестве, унаследовал от него не только внешние черты, но и жесты, повадки…

Как бы там ни было, какие бы эмоции ни высказывались в письмах, а бабушка и дедушка Гришу полюбили безмерно. Он до шести лет рос с ними. Мать уехала устраивать свою жизнь в другой город. А когда ему исполнилось шесть, приехала и забрала у стариков мальчика. Как они ни уговаривали оставить, не согласилась. Она к тому времени вышла замуж и собиралась строить новую жизнь с новым спутником.

Гришу она отдала в интернат. Уже взрослым он сказал, что, попав в это учебное заведение, пережил прижизненный ад. И в подробности вдаваться не захотел. Мне больно об этом думать, не то что писать…

Я редко видела мать. Бывало, годами она не объявлялась. Иногда писала письма — и все. А однажды — я была уже девушкой-подростком — приехала к нам без предупреждения. Просто позвонила в дверь:

— Кто там?

— Откройте, это я!

Открыли — мама. Одна.

Обняла меня, задрожала. Я оказалась уже выше нее.

Пригласили ее к столу, чай пить, не села.

— Я, — говорит, — не одна, с мужем…

— Где же он? — изумилась Танюся.

(Оказалось, что у матери не только муж был, а уже и дочка! Танюся явно обрадовалась, потому что страх, что мать меня все-таки заберет, отравлял всю ее жизнь. А теперь у матери есть своя дочка, ей не до меня…)

На вопрос, где же муж, мать ответила:

— Внизу стоит. НЕ СМЕЕТ.

Мать всегда привозила с собой новые слова и выражения.

Надо же: человек оказался настолько деликатным, что не смел порог нашего дома переступить без специального приглашения! Куда уж куртуазнее!

Наконец Иван Михайлович, ведомый матерью, вошел.

Я поразилась их несоответствию. Сухощавый, мелкий, с длинным обвислым носом, впалыми щеками, залысинами

мужичок и молодая, статная, полная женской силы красавица-мать.

Отступлю на миг от истории нашего знакомства. Несколько слов о Михалыче — именно так его называла и мать, и все остальные. Ну что сказать? Он прошел фронт, как и мой папа. Но, в отличие от папы, которого я никогда не видела пьяным, Михалыч пил много, регулярно, настойчиво и болезненно. Как всякий алкоголик, он мог быть сказочно щедр и удивительно, беспредельно подл.

Мать приучила Гришеньку называть своего нового мужа папой. Мальчику хотелось иметь отца. Он быстро научился этому слову.

Так вот: новый «папа», напиваясь, мгновенно забывал, что он папа, и обзывал мальчика жиденком, жидовской мордой и прочими производными наименованиями.

Отцов, как известно, не выбирают. Как собственных, так и приемных. За детей все решают взрослые.

У моего братика Гришеньки отцом был Михалыч, пьянь распроклятая. Творческая личность, неистощимая в пьяных своих выкрутасах. С выкрутасами мы познакомились непосредственно в день нашего знакомства.

Итак, они вошли. Трезвый Михалыч, не смевший просто так, без церемоний переступить порог нашего дома — в галстуке, в шляпе, как сильно культурный. Но бутылка у него с собой конечно же была.

После нескольких стопок Михалыч СМЕЛ уже многое.

Я до того дня вообще не имела дела с пьяными. Иногда, конечно, видела шатающихся, синелицых существ или даже распростертые на земле тела тех, кто упился до беспамятства. Но меня это не касалось. Это к моей реальности никоим образом не относилось. Этими картинками можно было высокомерно брезговать, как кучкой собачьего дерьма в детской песочнице. Фу, гадость какая! Безобразие! И только.

Никогда до этого я не видела у нас гостей, которые теряли бы человеческий облик, разражались пьяными слезами и внезапной грубой бранью. Я вообще не слышала в нашем доме гадких слов, не говоря уже о мате. Я, представьте, даже не знала толком, что это такое. Я была уверена, что «дура» и «черт» — это уже азы мата, а «сука» — предел словесного растления.

Михалыч! Мой первый учитель! С какими словами ты обращался в тот вечер к моей матери!

Он перешел от доброго и вполне благопристойного

расположения к злобе внезапно, в долю секунды. Чик — и переключился.

Он распалялся, осыпая мать оскорблениями. Она терпела. Будто и не к ней он обращался. И будто бы не слова он произносил, а ничего не значащие звуки издавал… Ну, как гром за окном… Гремит — и кому какое дело? Отгремит. Отойдет. Остынет. Отшумит. Отгуляет.

Дух растления вошел в наш дом. Я впервые увидела, что вот оно как можно-то! По-всякому! И строгая моя Танюсенька не встает, не гонит прочь, не дает по губам тряпкой или хотя бы ладонью, как учила она меня когда-то за слово «дура».

Я видела: она терпит. Претерпевает. Я понимала ее резоны: не навечно же они здесь. Зачем ругаться? Посидят и уедут.

Вот как, оказывается, с ней можно обходиться, думала я…

Зря она молчала тогда, зря. Но дело вроде бы было не ее…

Михалыч тем временем вконец распалился, нахлобучил шляпу, вырвался из сильных рук матери и ушел.

— Я не вернусь, — надрывно посулил он.

Как же я обрадовалась! Не передать! Я не была приучена к таким выкрутасам и фокусам, какие присущи пьющим существам. У нас ссоры не затевались. Уходя — уходили. Возвращаясь — здоровались и радовались обществу друг друга. В общем, ушел — и хорошо.

Не вернется! Вот счастье! Устали мы от него за это непродолжительное время…

Однако мать, как встревоженная птица, принялась взмахивать крылами: накидывала платок, чтоб бежать за ним, своим суженым.

— Пусть уходит, зачем он тебе? — наивно удивлялась я.

После всех тех СЛОВ, что он прокричал в лицо матери, еще бежать за ним!

Но мать конечно же убежала. Уговорила. Вернула. Привела.

Дубль два.

Михалыч вошел тихо, как в первый раз, когда НЕ СМЕЛ. Отсиделся немного, отошел, перевел дух.

И снова: слова, полные дикой злобы, пакостные ругательства, обращенные к матери, и:

— Я больше не вернусь!

Ну, что сказать?

Режиссеру и единственному актеру тогдашнего представления дублей потребовалось немало. Вся ночь ушла на воплощение нехитрого замысла. В чем он заключался, я так до сих пор и не поняла. Дать нам понять, сразу и навсегда, с какой скотиной соединила свою жизнь моя мама? Если так, это ему

удалось блестяще.

После того памятного выступления мать больше Михалыча к нам не привозила. Спасибо ей за это. Мне вполне хватило одного раза.

А мой братик Гришенька видел эти спектакли каждый день, пока жил в семье матери.

Мать, кстати, без согласия нашего папы оформила Гришино усыновление Михалычем. Это было противозаконно, но кто у нас соблюдает законы? Договориться всегда можно. Она и договорилась.

Папа мой был смертельно обижен и полностью устранился. Дело в том, что Гриша вынужден был подтвердить свое согласие на усыновление. Ему было больше тринадцати тогда. Папе показалось это предательством. Но как ребенок может сопротивляться, если мать, с которой он живет, от которой во всем зависит, оказывает постоянное давление? Разве это вина подростка?

Итак, мой родной брат стал носить другое отчество, другую фамилию. Григорий Иванович…

Имя и отчество — это судьба. Иероглифическое содержание наших отчеств определили в большой мере и наши жизненные пути.

Иванычам в нашей солнечной стране препоны не ставились.

Марковне в этом смысле пришлось туго (об этом несколько позже).

Но… Иванычи мешали сами себе… Не верили в себя, не уважали себя…

Впрочем, у каждого на жизненном пути свои страшилки и свои горизонты…

Одежда и некоторые бытовые подробности

Шестидесятые — во всем мире время коренных изменений, в том числе и во внешнем облике людей. Стиль одежды меняется кардинально: мини-юбки, мужские прически в стиле «Битлз», смешение стилей, отказ от прежнего понимания элегантности.

До нас все доходит с огромным опозданием и искажением, хотя мы вовсю стараемся следить за модой.

Искажения иногда принимают катастрофический характер. Так, мне кажется, произошло с прической «Бабетта». Эта очаровательная высокая прическа с челкой, начесом, локонами, сложная в исполнении, но очень женственная, пришла к нам с фильмом «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. У Брижит Бардо все выглядело органично и непринужденно. Тоненькую, длинноногую актрису объемная прическа делала еще тоньше и сексуальней. (Последнее слово уже из сегодняшнего дня — тогда оно в наших краях не водилось.)

Наши девушки за редким исключением выглядели гораздо тяжеловеснее Брижит — тут и питание сказывалось, и общее равнение на образцы. И вот когда они наворачивали на головах сложные сооружения, напоминавшие затейливые башни, тут от их вида делалось не очень уютно.

«Бабеттами» было поражено все женское общество — от мала до велика. Особенно полюбилась эта прическа продавщицам. Они возвышались над прилавками со своими причудливыми начесами, напоминая скифских каменных баб. Непроницаемые лица, солидный вес (под сто кг), могучие груди… Оплот социализма.

Прически прическами, а с женской одеждой дело обстояло катастрофически. Страшно вспомнить о белье, которое мы, пятнадцати-шестнадцатилетние красивые, стройные девушки, носили тогда. Это — правда — и страшно, и смешно. Попробую описать. Сначала натягивались довольно просторные хлопчато-бумажные трусы (трусиками ЭТО не назвать нельзя ни при каком раскладе — трусищи, скорее). Поверх трусов водружался пояс с резинками — это чтобы пристегивать чулки. И вот в зимнюю пору заботливые родители заставляли поверх вышеназванной прелести напяливать штаны. (Не рейтузы — это был уже последний штрих, при сильных морозах, а именно штаны.) Сейчас их называют панталоны. Фу! От одного этого названия жить бы уже не хотелось. Но штаны — эх… Посмотрели бы вы на них. Огромные,

фланелевые, с начесом сооружения голубого или розового цвета! И никак иначе! (Впрочем, мальчиковые кальсоны — это тоже было оружие массового уничтожения.)

Моя тетя, интересовавшаяся прежде всего моим здоровьем, а не внешним видом, требовала, чтобы я носила штаны буквально до наступления жары. Чтоб не застудиться. Я закатывала штанины как можно выше. Она проверяла, оттягивая их чуть ли не к коленям: «Простудишься!» Ежедневная мелочная борьба.

Кем себя можно чувствовать в таких штанах — попробуйте представить сами. При этом до нас каким-то образом докатилась мода на мини-юбки. Ну — настоящих мини-юбок мы тогда еще не видели, но представляли себе, что короткая юбка — это нечто выше колена сантиметров на пять. И то! Сколько пришлось по этому поводу выслушать — и что именно говорили нам в лицо (или вслед) представители нашего старшего целомудренного поколения! Нет, не хочу вспоминать…

Одежда, надо сказать, в магазинах имелась. То есть — магазины в Москве одеждой были завалены. Но что это была за одежда! Бесформенные драповые пальто, которые, чтобы просто поднять их, требовали определенных усилий.

Когда появлялись импортные вещички, мгновенно образовывалась очередь. Люди готовы были стоять часами, лишь бы добыть что-то заграничное. Танюся моя этого не признавала по целому ряду причин: первая — не было денег, вторая — времени на стояние в очередях тоже не было. Значит, что? Мне пришлось научиться шить самой. Ткани стоили очень дешево. Я придумывала фасон, покупала в магазине ткань (красивый качественный ситец стоил 50–60 копеек за метр, шерстяные ткани можно было найти от полутора и до 30 рублей за метр) и шила сама. У других девочек очень хорошо шили мамы. Но Танюся совсем не умела это делать.

И вот что интересно. Я потом узнала: моя мама и ее сестры шили легко, быстро и очень ловко. Видимо, мне передалось это по наследству: ведь я только потом, уже став взрослой, наблюдала, как они колдуют над тканью, как, словно по волшебству, получается у них готовая красивая вещица. Я не чертила выкройки, на ткани вымеряла то, что нужно мне, смело резала, сшивала. Это умение, кстати, потом очень мне пригодилось в светлом будущем, о котором мы и не подозревали в те годы, но к которому нас умело вели наши вожди.

Платья, юбки, сарафаны — это все ерунда. А вот пальто я тогда шить не умела (потом научилась). Поэтому с пятого по десятый класс включительно я ходила в одном и том же зимнем пальто: красном, с цигейковым коричневым воротником. Правда,

к десятому классу воротник стал выглядеть неприлично, я его отпорола и из своей детской козьей шубки соорудила интересный черный воротник. Пальто обновилось. Открылись его новые ресурсы. По крайней мере, я себя этим утешала. Демисезонное пальто жило у меня примерно столько же — не меньше пяти лет.

Но вот что можно было легко купить в шестидесятые, так это модную и качественную обувь. Почему-то в то время продавали очень много английской обуви: туфли любых фасонов, на каблучке, без каблучка, ботиночки… Сапоги появились в продаже после 1966 года. До этого мы зимой ходили в ботинках. Первые сапоги появились у меня на первом курсе института. Французские. Стоили 60 рублей. Почти месячная зарплата. Хорошие туфли (их называли «модельные») стоили 40 рублей. Девушки экономили на еде, но покупали.

Пока мы учились в школе, проблем, что надеть на уроки, не существовало. С первого по десятый класс — коричневое платье с белым воротничком и манжетами и черный фартук по будням, белый — по праздникам. Во Дворец пионеров тоже полагалось ездить в школьной форме.

Двух школьных платьев (на смену) не было ни у кого. Сейчас, когда мы каждый день меняем свою одежду, а вчерашнюю отправляем в стирку, этому просто не верится.

Мы должны были беречь свою форму. Приходя домой, следовало немедленно переодеться в домашнее, а форму повесить в шкаф. Кстати, шились наши коричневые платья из очень линючего материала. Когда на каникулах форму стирали, вода сразу делалась густо-коричневой. И сохла эта одежда несколько дней. Когда появились химчистки, стало полегче, но школу к тому времени я уже закончила.

Чтобы освежить платье, которое приходилось носить ежедневно два-три месяца до плановой стирки, его отпаривали, то есть гладили через мокрую тряпку. В младших классах это делала для меня Танюся, в старших — я сама. И еще. Страшно вспомнить. В магазинах продавались так называемые подмышники. Это кусочки плотной хлопчатобумажной ткани в форме двух сшитых по центру полумесяцев. Подмышники пришивались с обеих сторон изнанки к пройме рукава. Они легко менялись, просто стирались, предохраняя тем самым платья от запахов. Кстати — дезодорантов не было. Только личная гигиена. За чистотой моего тела Танюся следила маниакально, боясь инфекций. Купаться принято было раз в неделю (видимо, привычка такая сложилась из-за банных дней). Но она каждый день перед сном тщательно протирала всю меня куском ваты, смоченной одеколоном. Одеколоны, надо сказать, стоили дешево,

50–70 копеек флакон. Я очень любила одеколон «Белая сирень» и «Среди лип». Шея, щеки, уши, спина, руки и так далее… Танюся терла меня, не жалея сил, словно я была неодушевленным предметом. Если я вырывалась, она показывала мне ватку, говоря:

— Смотри, одна грязь! За день столько грязи! Надо терпеть.

Приходилось терпеть.

А для ног существовал другой ритуал. Танюся приносила теплое влажное полотенце и протирала мне ноги, как будто я сама не могла этого сделать. Я могла. И каждый раз говорила, что не надо, что я сейчас пойду и помою ноги под душем. Но ей был нужен младенец. Крошечный ребенок, который сам не может о себе позаботиться. И вот — каждый день: одеколон, теплое полотенце. Попытки осуществить свои права на мою гигиену она предпринимала и в мои шестнадцать, и в мои восемнадцать… Бывало, мы с подругой готовимся к сессии, она остается у меня ночевать, вдруг к нам в комнату вплывает Танюся с полотенцем:

— Галенька, ножки протереть…

Бедная моя добрая Танюся…

Помню, в студенческие годы, прочитав «Глазами клоуна» Генриха Бёлля, я удивилась: главный герой там ленился принимать душ и умывался кёльнской водой (одеколоном). Я вспомнила ежевечерние свои «протирки»…

Да, вот еще важный момент. Шампуней мы не знали лет до шестнадцати. Мне голову мыли мылом. Расчесать потом кудрявые волосы — дело нешуточное, болезненное. С появлением в аптеках жидкого мыла в больших стеклянных бутылках жить стало веселей. Шампуни же воспринимались нами как чудо и счастье. Волосы легко расчесывались, блестели, оставались шелковистыми… Хорошо, что мы дожили до этого счастья.

Но вернемся к чулкам. Тут что интересно, загадочно и непонятно. До сих пор не постигаю. Вовсю уже продавались тонкие капроновые и эластичные чулки. Вот в них ходить в школу почему-то запрещалось! Что это было? Какой разврат в этом усматривался? Не спрашивайте. Просто — нельзя и все! Если чулки были из толстого эластика — учительский протест не возникал. Носи. Тонкие действовали на блюстителей нашей нравственности, как красная тряпка на быка: «Вон из школы! Переодеваться!»

В четырнадцать лет мне на день рождения подарили мои первые в жизни колготки югославского производства (стоили сумасшедших денег: 14 рублей)! Плотные, бежевые — сейчас я бы сказала: фу, старушечьи. Но как же я была счастлива тогда!!! Колготки — это легкость, это отсутствие пояса, резинок, вечно трущих ногу. Это, наконец, возможность бежать вверх по

школьным ступеням, не опасаясь, что мальчишки подглядят нечто постыдное (штаны!!!).

Но возникло опять же новое гонение. Тонкие колготки считались верхом неприличия. Толстые — пожалуйста. Тонкие — вон из школы. Помню, когда мы на переменках прогуливались по «рекреационному залу» (стоять у стен не разрешалось, только ходить), запросто могла подойти учительница и указкой приподнять подол платья (указкой — это деликатно, но, бывало, и просто — рукой):

— Колготки? Домой переодеваться!

Не все учителя оказывались способны на такое. Но двух дам хорошо помню. Наверное, они не виноваты… Так учили.

Но в любом абсурде всегда имеются некие положительные грани. Мы знали: послать домой переодеваться — это великое благо. Это не прогул. Это тебя посылают исправлять твою роковую постыдную ошибку. Посылали домой наверняка за отсутствие школьной формы, за тонкие чулки (колготки), мальчиков — за длинные волосы (стричься). Бывало, перед контрольной по физике в старших классах я приходила в школу в скромном синем платье с бельм кружевным воротничком. И — о чудо! Один-два урока вполне могли пройти безнаказанно, но потом одна из наших замечательных церберш непременно отсылала домой переодеваться. Ну и — чао, контрольная! И никто не виноват!

Слегка повзрослев, я осознала, что женщин у нас в стране не любят. (Мужчин — тоже. Людей — в целом никто не уважал и не собирался.) Но я очень четко почувствовала неуважение к собственной жизни именно по тем предметам женского исподнего, которые без стыда лежали на прилавках универмагов. Это было чудовищно, омерзительно. Над этим можно было смеяться, от этого можно было приходить в ужас, но носить ЭТО уважающая себя женщина не должна была ни в коем случае.

Правда, тут вспомнилось. Люди моего поколения и даже чуть младше наверняка помнят курортниц, загоравших на пляжах в розовых штанах с начесом и бюстгальтерах, немыслимых по своей кошмарности. Стояли, красавицы, подставляли неприкрытые панталонами части тела солнцу. Кто-то рассказывал, как в Болгарии, в Варне какая-то передовица производства, поощренная профкомом поездкой к морю, вышла на пляж в таком дивном великолепии. Народ просто застыл… Потом, кстати, с выезжающими проводились инструкции на тему того, в чем все-таки имеет смысл выходить на пляжные просторы зарубежья.

К деталям неуважения относится и то, как решалась у нас

проблема женских «критических дней». Не у всех были возможности ежемесячно покупать вату. Хотя ватные прокладки — это особая жуткая история. Но — на тот момент не худший вариант. Если не было возможности покупать эту самую вату, пользовались марлей, которую стирали… Ладно. Не буду углубляться в подробности. Перенесусь из шестидесятых годов в девяностые. В тот момент, когда отпустили цены. И вата стала стоить столько, что мало кто мог бы ее приобрести. Но и это сокровище стало редкостью. И вот, помню, как в момент отпуска цен одна женщина спросила у Егора Гайдара, знает ли он, сколько стоит пачка ваты. Он не знал. И, похоже, даже не особо вник в суть проблемы. Я тогда, в пору нашего тотального дефицита, спросила у моей чешской подруги Майки, может ли она себе представить, что для нас проблема даже в этом… Даже в этом — ежемесячное унижение. Она сказала:

— У нас на пару дней вдруг исчезли «вложки» (так это по-чешски называется). Ну и наши женщины из Простейова (городок в Моравии, где много было текстильных предприятий) сказали: «Вы нас не уважаете, и мы вас уважать не будем. И не вышли на работу. Все немедленно появилось в продаже».

Как говорится, почувствуйте разницу. Нас не уважают. Мы терпим. Нас не уважают еще сильнее. Мы терпим. И даже хвалим жизнь за то, что может быть еще хуже. А нас еще сильнее не уважают.

Бесконечная история.

Выставка «Одежда-66»

Эта выставка проходила в Сокольниках. Она произвела сильнейшее и незабываемое впечатление. Мы впервые получили возможность увидеть, что носят люди в других странах, в том числе и на Западе. Мы же практически никогда не встречали людей из капиталистических стран. Конечно, для них мы были экзотикой. Но не меньшей экзотикой казались нам они.

На выставке были представлены даже те страны, с которыми у нас не было дипломатических отношений. Например, Испания. Тогда в этой стране правил диктатор Франко, пришедший к власти в результате фашистского мятежа еще в тридцатые годы. Тогда же отношения между нашими странами были разорваны и восстановились лишь после смерти Франко, с возвращением монарха на престол.

Мы несколько раз приезжали в Сокольники, выстаивали огромные очереди, заходили в павильон и поражались.

Так вот они какие, мини-юбки! Такие миленькие, всех цветов и фасончиков, в клеточку, в складочку, с ремешками, с кармашками… Длина — это да! Сантиметров 30 — максимум. Невероятно!

Никогда не забуду, как на подиуме у Британского павильона проходила демонстрация одежды. Вышли девушки, от вида которых мы ахнули. Мы никогда таких не видели — это было настоящее явление инопланетян. В 1966-м лицом года назвали модель Твигги. Твигги — в переводе значило Веточка. Она отличалась сверхъестественной худобой. Потом я прочла ее воспоминания. Она не была анорексичкой, ела и ест все, что ей хочется. «Такой у меня метаболизм», — утверждает она.

Повезло ей с обменом веществ! И благодаря Твигги пошла мода не просто на худобу, а на истощенную костлявость. В то время это было нечто совсем новое, удивляющее. Твигги в своих синтетических мини-платьях с открытыми руками-веточками, высокая, с ярчайшим макияжем, накладными ресницами, завоевала мир.

Про Твигги мы к тому времени знали. Про нее писали в журнале «Ровесник», который время от времени рассказывал о некоторых деталях жизни молодежи в мире капитала.

…И вот на подиум в Сокольниках вышли несколько британских моделей в образе Твигги. Мы стояли в первом ряду, не сводя с них глаз. Девушки медленно ходили по подиуму, поворачивались, останавливались… Выражение их лиц не было отсутствующим. Мы смотрели на них. Они смотрели на нас. В

глазах их проглядывался явный испуг. Они нас боялись. Ошибки быть не могло. Я помню их взгляды. А они наверняка помнят наши глаза и лица.

Потом, когда показ закончился, я встала, повернувшись к подиуму спиной, и посмотрела на «нас». Я поняла девушек. В целом, в толпе, в массе мы выглядели очень уныло, скучно. Мы все — и юные, и пожилые, казались обитателями одного приюта для бедных обездоленных существ.

А ведь мы наряжались, собираясь на эту выставку! И нравились себе…

Я ужасно расстроилась. Не потому, что мне хотелось походить на этих девушек-скелетов. Мне хотелось иметь возможность прожить свою юность в ярком цвете, в любви, в красоте.

А наш мир — это был явно мир без любви. И в одежде это сказывалось очевидно. Под отсутствием любви в данном случае я понимаю отсутствие выраженной радости жизни, свободы творчества, дерзкого прорыва.

У испанского павильона нас встретил элегантный мужчина лет тридцати пяти и предложил даже примерить те вещи, которые там выставлялись. На такое мы не решились. Наш провожатый неплохо говорил по-русски. Но когда к нему подошел его коллега, они заговорили на испанском. Я млела. Я слушала и понимала!

А говорили они о нас!

— Смотри, какие красавицы! — не стесняясь, уверенный, что его не понимают, восклицал испанец.

— Невероятные! Эти глаза: смотри — у одной голубые, у другой зеленые! Волшебно! А волосы! Настоящие блондинки… Куколки, — вторил ему собеседник.

— Их бы одеть…

— Спасибо. Я все понимаю, — гордо заявила я по-испански.

Испанцы оторопели. Не ожидали, конечно.

Потом разговорились. Назвали друг другу свои имена. Они, теперь уже не между собой, а обращаясь к нам, хвалили нашу красоту.

Я была с Ленкой, той самой подружкой, с которой мы бегали по вагонам, развлекаясь. Она выросла красавицей. Ярко-голубые глаза, волосы цвета сливочного масла — свои, натуральные…

— Элена Эрмоса (Елена Прекрасная), — произнес с восторгом испанец.

Меня тогда потрясло, как это звучит на другом языке. И тот образ, мифической Елены Прекрасной, из-за которой была разрушена Троя, заиграл другими красками от испанского слова Эрмоса — Прекрасная.

— Прекрасная, — сказала я. — У вас есть яблоко? Надо подарить ей яблоко.

Испанцы опять удивились, что мы знакомы с мифами. Наверное, совсем нас дикими считали.

…Поговорили, стали прощаться. Вдруг тот, что говорил по-русски, предложил:

— Хотите получить в подарок какие-то вещи отсюда? Выбирайте, мы все для вас отложим, а вечером встретимся, посидим в ресторане, поужинаем, получите от нас подарки.

Какой ресторан? Какие подарки? Немыслимое предложение.

Мы поблагодарили и гордо отказались и от встречи, и от подарков.

— Нам ничего не надо. У нас все есть. Спасибо.

Кстати, об общем впечатлении от посещений выставки Одежда-1966. Не могу сказать, что мы чему-то жгуче завидовали. Пожалуй, мы знакомились и принимали к сведению. Полезная была выставка. Во всех отношениях.

Зубные врачи

У всех поколений советских людей были чудовищные зубы. И этот факт — яркая деталь нашего коллективного портрета.

Почему так получилось? Ответ прост, да и известен: плохое питание (особенно у тех, кто прошел через голод, войны), постоянные стрессы и угнетенные состояния, а также — зубные врачи!

Я бы даже поставила наших зубных врачей на первое место среди всех факторов, которые уничтожали наши зубы.

С виду о нашем здоровье заботились, неуклонно и неотвратимо. Например, существовала такая официальная и узаконенная пытка, которая называлась «санация полости рта». Ну, в идеале это проверка состояния зубов у школьников и лечение, если потребуется. А на деле — адская пытка. Без гипербол и метафор. Просто — адская пытка. И все.

Весь класс снимали с уроков и вели в школьный медкабинет, где сидела зубная пытальщица со своей бормашиной. Те, кто не видел бормашин того поколения, ничего не знают про пытки. Машина приводилась в движение с помощью ножной педали. Сверло ее, толстенное, грубое, буквально сокрушало зубы. Звук получался не тоненький комариный зум, как у нынешних аппаратов, а настоящее тарахтение электродрели. И ты должен был открыть свой рот, чтобы эта дрель сверлила тебя. За что?!

Мало того. Никакой анестезии и в помине не было. Даже в мыслях не возникало проблеска догадки, что надо бы человеку как-то облегчить возможное страдание.

— Сиди тихо! Работать мешаешь!!! — орала на нас зубниха.

Стыдила, угрожала, что свяжет руки, а рот раскроет специальным расширителем. В зубном кабинете нам очень агрессивно объясняли, что мы не имеем права мешать лечить наши зубы, что мы обязаны открыть рот и терпеть!

То есть — наши тела нам не принадлежали. Ну да… Мы и рождались-то как в животноводческой ферме… И лечили нас — по расписанию. Всем скопом. Надо — не надо, мы тебя лечим. Открой рот! Немедленно!

Мне таким образом разрушили не один зуб. Но самое страшное — это даже не бормашина. Самое страшное, когда «вырывают нерв» — так у нас это называли. То есть — проходили канал зуба для дальнейшей его пломбировки. Опять же — без анестезии. Боль пронзает мозг. В первый раз я потеряла сознание. Ну и что? Сунули под нос нашатырь. И продолжили. В конце концов я перестала ходить к зубному — пусть я трус, пусть что

хотят со мной делают, не пойду.

А зубы лечить надо было. «Санация» сделала свое дело. И вдруг нашелся выход. Оказывается, существовал ЦНИИС — Центральный научно-исследовательский институт стоматологии. И там лечили зубы с анестезией! Мне выдали справку, что у меня повышенная болевая чувствительность и склонность к обморокам. И вот оно, спасение! Так все просто… Не пойму все-таки, а почему нельзя было проводить обезболивание всем? За что нас так?

…Потом, когда мы жили в Чехословакии, я лечила зубы у чешского доктора. Он, глядя на мои пломбы, поставленные в лучшем стоматологическом заведении Советского Союза, изумлялся:

— Что это за вещество? Что это за материал?

Одной моей коллеге, которая пошла к дантисту, оказавшись за границей, врач строго-настрого запретил самой себе делать пломбы:

— Вы разрушите так свои зубы! Это нельзя. Надо идти к врачу, понимаете?

Он отказывался верить, что пломбы ей делал врач. Она не смогла его переубедить.

…Оказавшись в Чехословакии в 1979 году, мы с мужем пошли смотреть американский фильм «Марафонец» с Дастином Хофманом в главной роли. У нас не показывали такое количество американских фильмов. Естественно, мы с огромным интересом смотрели в братской стране то, что не могли увидеть дома. Фильм — замечательный. Сильный. До сих пор помню впечатление от него. Только в одном месте возникла у меня непонятная для окружающих реакция. Там старый эсэсовец пытал героя Дастина Хофмана.

Знаете как?

Он ему зубы без анестезии сверлил.

Все в зале оцепенели от ужаса.

А у меня начался неудержимый приступ смеха. И это — пытка? Чудесная бормашина, быстрая, суперсовременная, не с ножным приводом… Ну — сверлит… И даже не орет, не ругает, не унижает… Сверлит себе дедушка — бывший эсэсовец молодому человеку зубы… А парень терпит… Не выдает секрета.

Его бы к нам…

Но в завершение — о светлой стороне вопроса. Мне тут сказали, что в Швейцарии и в Германии врачи-стоматологи специально слегка не долечивают зубы или даже удаляют те, которые еще вполне можно спасти. Это делается исключительно с

целью наживы, чтобы пациент лечился постоянно, а потом и занялся дорогостоящей имплантацией. Охотно верю. И могу с гордостью отметить: советские стоматологи портили наши зубы совершенно бескорыстно. Ура!

Моя переписка — окно в мир

Лет с четырнадцати-пятнадцати я уже четко осознавала, что одной моей мечте, собственно, главной на тот момент, а именно — мечте о вольном ветре странствий, о свободных путешествиях по джунглям, горам, пустыням и океанам осуществиться не придется. Мы все — всей страной — были невыездными. За редкими исключениями, к которым я точно не относилась. Ну и что? С чем-то надо смиряться. Что-то надо принять.

А все-таки ужасно хотелось узнавать о других странах, понять, как отличается наша жизнь от жизни в другой стране, поговорить с людьми на другом языке. Понятно было и то, что информация о мире, простирающемся за границами нашей Родины, преподносится нам крайне скупо и односторонне. У нас продавались газеты и журналы на иностранных языках. Даже из капиталистических стран — Англии, Франции, Италии. Но только это были газеты тамошних компартий. К тому же языками тех стран я не владела. Не получалось успеть все, как бы я ни стремилась.

Но я придумала кое-что. Я стала покупать югославские и польские журналы. Среди югославских — чаще всего продавался журнал «Svjet» — то есть «Мир», и «Базар». А из польских получалось купить «Кобиету и жиче», что в переводе означало «Женщина и жизнь». «Свет» продавался, по-моему, по недоразумению. Его приняли за женский журнал мод. А это оказалось очень талантливое, интересное и честное издание, освещавшее все стороны жизни во всем мире. Что требовалось, чтобы начать читать эти журналы? Естественно, знание языков — сербско-хорватского (так тогда назывались эти языка) и польского.

А вот тут — главное желание. Это же языки славянские. У нас много общих корней. Интересно смотреть, как и почему в наших языках что-то совпадает, а что-то отличается. Я отправилась на улицу Горького в магазин «Дружба», где продавались книги народов социалистических стран, купила нужные мне словари и принялась читать. Какое же наслаждение я испытала, когда обнаружила, что понимаю прочитанное!

В итоге я стала пассивным пользователем двух языков. Что это значит? Значит: читаю на них легко и свободно, а вот говорить не могу. Эту задачу я перед собой и не ставила. Мои горизонты очень расширились благодаря регулярному чтению на сербско-хорватском и польском.

А потом я вот что придумала. Взяла и написала в журнал

«Базар», который издавался в Белграде, (написала на сербском, сама!), что хотела бы переписываться со своими югославскими сверстниками, что мне 15 лет, что живу я в Москве, увлекаюсь такой-то музыкой, чтением… Наклеила марку, отправила письмо по адресу, указанному в выходных данных журнала. И забыла про это.

И вдруг стали приходить письма. Из Югославии. Пачками. Оказалось, что мое письмо с адресом опубликовали в журнале «Базар». И очень много оказалось моих сверстников, которые хотели бы переписываться со мной. Переписка эта стала частью моей жизни. Я действительно много узнала, с некоторыми ребятами познакомилась лично.

Вот что сейчас меня удивляет. Просто кажется нереальным. Мы с друзьями по переписке посылали друг другу всякие подарки, связанные с нашими увлечениями. Например, люди очень интересовались нашей музыкой. Кто-то просил прислать пластинки с записью Ойстраха и других наших корифеев классики. Был один любитель опер — я посылала ему коробки с операми. В магазине «Мелодия» в отдел классики очередей не было, и стоили пластинки совсем недорого. Некоторых интересовала наша эстрада. Я покупала самое интересное, все отсылала, и все доходило! Причем быстро! А в ответ мне приходили маленькие и большие пластинки «Битлз» и других наших кумиров. Кроме того, я регулярно получала от своих друзей журнал о популярной музыке, который назывался «Джубокс». Яркий журнал, полный портретов всех героев дня! К журналу всегда прилагались мягкие пластинки с самыми горячими хитами! Я получала самую свежую информацию о музыкальных событиях мира! А удивительно мне сейчас то, что все это исправно доходило, начиная с 1966 года! Без проблем. Почта работала исправно. И никто ничего не воровал.

Где те времена?

Я не так давно была в Париже и решила по старой памяти отправить очень красивую открытку своим детям по почте. На открытке написала крупно, разборчиво, надеясь на доброту почтальона: «Дорогим любимым детям от мамы. Я очень соскучилась!» Отправила — все честь по чести. Но, конечно, открытка не дошла. Больше я не экспериментирую.

Лето 1966-го

Удивительное выдалось у меня лето в 1966-м году! Мне было пятнадцать лет (почти уже шестнадцать). И стало то лето прощанием с детством.

Танюся отправлялась по путевке в военный санаторий в Звенигород. Обычно в такие поездки она всегда брала меня с собой. Она устраивала меня на частной квартире у какой-нибудь санаторной медсестры, сама проходила курс лечения, а я вроде тоже отдыхала и была на ее глазах.

В то лето мне очень не хотелось ехать с тетей. Ну — не маленькая я. Что я там буду делать, в этом санатории? С бабками прогуливаться? Я предлагала остаться в Москве. Я бы ходила с подружками в парк, мы бы брали лодочку, катались, загорали бы на бережку. Мало разве я дома одна оставалась?

Но Танюся была непреклонна. Мы отправились в Звенигород. И оказалось там совсем не так, как я себе представляла. Во-первых, моих ровесников и людей чуть постарше (лет 20–25-ти) оказалось почему-то немало. Во-вторых, поблизости от санатория располагался международный студенческий лагерь МГУ, куда вся молодежь из санатория ходила ежевечерне на танцы.

Танцевать я обожала. Недаром каждый день упражнялась дома, пока старшие работали.

Первая моя санаторная знакомая, девушка Люба, казалась мне невероятно взрослой: она закончила третий курс физтеха, ей исполнилось двадцать лет. Невероятная разница в возрасте, если смотреть глазами пятнадцатилетнего подростка! Но у Любы подруг не появилось, вот она и общалась со мной.

В первый же вечер мы отправились на танцы. Шли через лес, по протоптанной тропинке. Было светло, пели птицы. С нами шла большая компания: семейные пары, казавшиеся мне людьми пожилыми (лет тридцати примерно). Люди были веселые, шутили. Отдых в санаториях тогда длился 24 дня, поэтому настрой у всех был благодушный и основательный — почти месяц нам предстояло провести вместе. За это время можно хорошо узнать друг друга.

Мы вышли из леса прямо к танцплощадке. Звучала музыка. Кто-то уже танцевал. Я очень обрадовалась, увидев, как много молодежи вокруг. Меня тут же пригласил танцевать смуглый парень. Ох, и здорово же он танцевал! И я тоже! Мы веселились от души, я хохотала, он тоже стал смеяться. После танца отошли к краю площадки передохнуть. Познакомились. Энрике оказался кубинцем. Перешел на второй курс МГУ. Сказал мне, что никогда

тут, в Москве, не видел таких веселых девушек.

— У вас не любят улыбаться.

— А я люблю, — возразила я.

Мы еще потанцевали. Любу тоже кто-то пригласил. Счастье меня переполняло. Мы ловко отплясывали, словно всю жизнь вместе тренировались. Вечер уже заканчивался, наступали сумерки. Мы опять остановились передохнуть. Наши собирались через пару танцев возвращаться в санаторий. Я, конечно, и не думала оставаться на танцах одна, без своих. Мы прощались с Энрике до завтра, до вечера, и тут к нам подошел его товарищ. Энрике мне объяснил, что зовут его Хосе, он только приехал в Москву и совсем не говорит по-русски, будет учиться на подготовительном курсе.

— Que bonita es! (Какая она красивая!) — сказал Хосе, обращаясь к Энрике.

— Todo comprendo! (Я все понимаю) — расхохоталась я.

От Энрике я и не скрывала, что могу говорить по-испански, но Хосе подошел только что и не успел этого узнать. Кстати, мне он не понравился. Он был низкого роста, ниже меня, светлокожий, темноволосый, с узкими недобрыми глазами, поджарый. Не было в нем обаяния, смешливости, легкости. Тем не менее мы поговорили все вместе. Хосе пригласил меня на танец. И танцевать с ним было скучно. Звучала медленная музыка, он старался меня посильнее прижать к себе… А я любила быстрые танцы, чтобы прыгать, вертеться…

Хосе попросил меня встретиться днем у реки, чтобы немного поговорить по-русски.

— Ну, хорошо, — сказала я. — Встретимся вон там, на пляже, где лодки. А вечером — танцевать, да, Энрике?

— Да, малышка, — легко засмеялся Энрике, — вечером танцуем!

И мы ушли в свой санаторий.

На следующий день, в три, как и договорились, я была на пляже. Хосе меня ждал. Я почувствовала неловкость, мне совсем не хотелось разговаривать с ним. Стояла жара. Я была в купальнике и легком коротеньком сарафанчике.

— Возьмем лодку? — предложила я.

— Холодно, вода холодная, — ответил кубинец.

Ничего себе холодно. Немножко поговорили. Оказалось, что ему 25 лет, он даже защищал Плайа Хирон, когда там высадились контрреволюционеры. Потом долго в школе учился, теперь вот — студент. Я зауважала его: надо же — Плайа Хирон защищал! Герой! На песчаной отмели у реки загорелые ребята и девушки играли в волейбол, вопили… Мне хотелось к ним.

— Ты купаться не будешь? — спросила я.

— Нет. Холодно, — отказался герой-революционер. — Пойдем наверх, погуляем.

Мы поднялись по крутому песчаному обрыву наверх, река теперь казалась маленькой, блестела на солнце. Кое-где росли высокие старые березы, мягкая трава даже не колыхалась — ни малейшего ветерка не проносилось над ней в этот знойный день. Мы медленно шли к березкам, а когда оказались рядом с ними, он грубо схватил меня за плечи и повалил на траву, подставив подножку. Он применил какой-то прием — явно. И он не шутил и не играл. Это я сообразила мгновенно. Он навалился на меня всем телом. Я никогда еще не целовалась, не обнималась. Да что там — за руку не держалась с мальчиком (на ритмике не считается, да и когда это было). Лицо кубинца стало походить на звериное: точно, как у тех, из стаи, которая напала на нас, отправившихся смотреть киносъемки.

Я изо всех сил оттолкнула его и даже сумела вскочить на ноги. Но он озверел, набросился на меня и снова повалил. Я дралась, как могла. Откуда взялись силы… Снова встала, он снова повалил… И тут я стала орать на него (спасибо испанскому языку):

— Мой отец работает в университете. Он большой начальник. Я знаю твое имя. Я тебя найду. Ты не будешь учиться в Москве. Или убей меня. Или отпусти! Если нет, мой отец тебя найдет!

Я поняла, что он прислушивается. До него доходит.

И вот что удивительно: он полез насиловать меня среди бела дня, да еще в таком месте, где постоянно ходили люди. Или он не понимал этого? Увел меня с пляжа — да, там показалось слишком людно. А тут, думал, пустыня?

…И тут действительно раздались чьи-то голоса, шаги.

— Мой отец найдет тебя, — сказала я с ненавистью.

Он встал и даже потянул меня за руку, чтобы я смогла подняться.

— Я не хочу тебя больше видеть. Если ты еще раз придешь на танцы, мой отец найдет тебя, понял?

Мне показалось, что он даже чуть кивнул. Я победила.

Я немедленно скатилась по откосу к реке и села у воды, поближе к людям. Меня трясло. Теперь мне было холодно при тридцатипятиградусной жаре. Зуб на зуб не попадал. Я расплела косу, вытрясла из волос щепки, частицы сухих прошлогодних листьев. Потом стянула сарафан, зашла в реку, окунулась. Ненависть клокотала во мне. Мне хотелось убить этого проклятого Хосе. Ничего себе — революционер! Какой он революционер? Он насильник. Он хотел воспользоваться тем, что

я слабее его. А я оказалась сильнее. Потому что знала испанский. А если бы не знала? Может быть, тогда он просто испугался бы прохожих. Но тут он еще до прохожих испугался, гад поганый. Нет, лучше — знать. Знание — сила…

Купание мне помогло. На плечах проступали синяки. Это — пусть. Я хотела, чтоб Хосе сдох. Ненависть сжирала меня.

Я обсохла, заплела косу, натянула сарафан и пошла по людной тропе к санаторию. Я не знала, чем мне заняться, чтобы утолить свою злость. Ну, во-первых, я точно решила пойти вечером на танцы и посмотреть: придет эта гнида туда или испугается? Если его не будет, значит, принял мои слова всерьез и струсил. Я знала, что от этого мне полегчает. А если он придет? Ну, я в любом случае расскажу все Энрике… Пусть тоже знает. А если они заодно? Если они договорились? Нет-нет… Энрике совсем другой — такое видно сразу, мгновенно…

Я так размышляла и не заметила, как подошла к главному зданию санатория. Танюся ждала меня у входа, тревожно всматриваясь в сторону дороги, ведущей на пляж.

— Я разволновалась, Галик, — обрадовалась она. — Ты на пляже была?

— Да, — сказала я, — искупалась.

— А что это у тебя тут?

Танюся заметила мои синяки.

— Упала. Споткнулась об корни.

— До свадьбы заживет, — обнадежила Танюся.

Я почти успокоилась рядом с ней.

— А я познакомилась с чудесной семьей. У них мальчик, твой ровесник. Будете вместе на танцы ходить…

«Вот, — подумала я, — будет мне и провожатый».

— Смотри, вот он как раз идет. — Танюся приветливо закивала в сторону приближающегося мальчика.

Мы познакомились.

И всё.

Первая любовь вошла в мое сердце.

Мы смотрели друг на друга и оторваться не могли. Как во сне.

Как-то без слов все было ясно.

Подошли его родители, красивые, с достойными, умными лицами. Семья, как оказалось, приехала на отдых из Ташкента. В апреле того года там случилось мощное землетрясение, часть города была в одно мгновение разрушена. Вся страна пришла на выручку: отстроили новый город быстро. Но тогда родители мальчика думали, не перебраться ли им в Москву: они оба были

докторами наук — мама врач, а папа физик. Ирина и Михаил.

Да все это не имело никакого значения. И меня не тревожило, что они тут отдыхают давно, что им осталось всего лишь неделя… Это все не про нас. Мы — вот они. И наше время — здесь и сейчас.

Со мной такое происходило впервые.

Вечером всей вчерашней гурьбой мы снова отправились на танцы. Мальчик пошел с нами. Я чувствовала его присутствие и была счастлива, но иногда отвлекалась на злобные мысли о том, что со мной произошло днем и придет ли Хосе. Еще я думала, что если он осмелится заявиться, я, пожалуй, подойду и пну его в пах со всей силы. А потом объясню всем, почему…

Хосе не было. Значит, понял меня правильно!

Как ни в чем не бывало подбежал Энрике, позвал меня танцевать. Я оглянулась на мальчика. Он улыбался мне:

— Ты иди, я на тебя посмотрю.

И мы пошли танцевать. И я прыгала, крутилась… И, прыгая, рассказала Энрике про его товарища. Что он днем творил.

Энрике был поражен.

— А он правда Плайа Хирон защищал? — спросила я.

— Правда. Но ты пойми: хорошо стрелять — не значит быть хорошим человеком.

— Он мне сразу не понравился, — сказала я.

— Неприятный тип, — подтвердил Энрике. — Теперь понятно, в чем дело. Я его звал на танцы, а он отказался.

И все-таки мне хотелось сделать этому Хосе какую-то гадость. Потом это чувство прошло. Постепенно. Но прошла — сама собой — и любовь к Острову Свободы. Если там водятся такие гады ползучие, откуда и взяться любви… Мне уже и по-испански не интересно было говорить…

Последствия шока.

Назад мы снова возвращались со всеми обитателями санатория. Шутки, веселье. А я так устала за день. Еле дошла до домика, где сняла мне комнатку Танюся, улеглась на высоченную пышную кровать с кружевными подзорами и кучей белоснежных подушек и, засыпая, думала о своей любви и счастье.

Утром мы увиделись и почти целый день провели вместе, болтали обо всем: о его школе, о моей. Он рассказал, как во время землетрясения проснулся потому, что во сне ему показалось, что он мчится на велосипеде по бревнам и подскакивает на них. Их дом не пострадал. Родители вытащили его на улицу. Конец апреля — теплое время. Всюду стояли люди, сонные, испуганные…

…Я слушала краем уха, а вот, оказывается, помню всю

жизнь…

Время бежало. Мы этого не замечали.

Пару раз ходили всей толпой на танцы. Мне уже не хотелось танцевать без него. Мы садились на лавочку рядом и о чем-то говорили…

Один раз о нас забыли. Мы и не заметили, как все наши ушли. Отправились мы с танцев вдвоем.

Стояла ночь — темная, но полная звуков и шорохов: лес жил своей жизнью. Мы шли молча, как во сне, не касаясь друг друга. Дорогу не было видно совсем.

Вдруг впереди замелькало какое-то белое пятно. Оно стремительно приближалось. Мне подумалось, что это ночное привидение. Я остановилась.

— Не бойся, девочка, я с тобой, — услышала я.

Меня слова эти пронзили.

Я никогда еще не слышала слов поддержки от чужого человека. Но он не был чужим.

Мимо пронеслась медсестра из санатория, бежавшая домой в белом халате.

Мы стояли лицом друг к другу. Притяжение — невероятное. И — невозможность сделать шаг навстречу.

Так и стояли.

Я написала об этом в романе «И в сотый раз я поднимусь». Пусть и здесь окажутся те слова:

«Это было прекраснее любых поцелуев, любого слияния.

Напряжение и невозможность объятия. И чувство отсутствия гравитации. Космическая невесомость.

Сколько они так простояли, заколдованные ночным лесом? То их время не измерялось секундами и минутами.

Время вечности не знает.

Души, приходя из вечности, вынуждены подчиняться земной сиюминутности. Но посылаются некоторым отеческие подарки *оттуда*. Именно эти частички вечности и хранятся в воспоминаниях, ощутивших ее всю оставшуюся жизнь.

Пусть это называется Первая Любовь. Пусть это не называется никак.

Несчастен тот, кто был лишен этого дара юности. Кто прозевал или поторопился, или не дождался бесценного дара.

Этим двум — повезло.

Их неясные тени так и остались стоять недвижимо под сенью векового дерева. Навсегда».

А мы вернулись. И было еще несколько счастливых дней. Просто — рядом. Потом они уехали. Мы писали друг другу

письма. Но на этом я поставлю точку.

Остаток моего звенигородского лета прошел почти в одиночестве. Я совершенно бесстрашно бродила среди деревьев — одна. На танцы я больше не ходила. Не хотела разрушить чудо того ночного леса. Я чувствовала, что началась совсем новая моя жизнь.

Нур и Роман Владимирович

Я написала про остаток лета почти в одиночестве и поняла, что слово «почти» скрывает несколько важных эпизодов. Все-таки на речку я ходила, купалась, играла в мяч со студентами… Болтали обо всем.

…Мелкие детали. Студент-африканец приходил на пляж с удивительным проигрывателем для пластинок. Он, этот проигрыватель, выглядел как невероятно плоский чемоданчик и работал от батареек. В другом плоском чемоданчике африканец приносил долгоиграющие пластинки, самые модные, неслыханные. Он раскрывал свой чудесный аппарат, звучала музыка… Я, конечно, залюбовалась этой красотой. Стала разглядывать, как там все устроено.

— Это я в Париже купил, — объяснил сомалиец.

Звали его Нур — никогда до того не слышала этого имени.

— Ты был в Париже? — удивилась я.

Я знала, что Сомали — беднейшая страна на северо-западе Африки.

— Я везде был. И в Риме, и в Лондоне, — сообщил мне студент.

— А почему ты сюда приехал учиться?

— Тут бесплатно, — пояснил африканский друг.

— Вы совсем бедные там? — взялась сочувствовать я.

— Моя семья — богатая. У нас много домов. И не только в Африке, в Европе тоже. Но если есть возможность получить что-то бесплатно, надо обязательно этим пользоваться.

— И ты можешь поехать в любую страну, в какую хочешь? — почти не верила я.

— Совершенно верно. Куда хочу, туда и еду.

Я знала, что он не врет. И не понимала. Мы все, бедно одетые, лишенные возможности свободно передвигаться по миру, как бы и сколько бы ни работали, принимаем у себя богатых людей из Африки и других «развивающихся» стран, учим их бесплатно, они живут на всем готовом… И это даже — пусть. Пусть, если у нас есть лишнее. Надо делиться. Но почему же с нами, народом нашей страны, никто не делится? Почему нам — нельзя ничего? Ровным счетом — ничего?

Не возникало пока обиды, было лишь недоумение.

А еще был у меня удивительный собеседник. Он отдыхал в том же санатории, что и Танюся. Пожилой человек, к шестидесяти. Он болел диабетом с юных лет, держался на

инсулиновых инъекциях. При этом выглядел замечательно. Роман Владимирович (так его звали), высокий, стройный, подтянутый, красивый человек, умел рассказывать. Этим и привлекал. Я не ходила вечерами на танцы, поэтому после ужина мы с Романом Владимировичем прогуливались по санаторной территории. Он повествовал о своем дворянском семействе. О том, как удалось ему скрыть происхождение и поступить в институт. Как стал он физиком и участвовал в создании атомной бомбы…

Я слушала раскрыв рот. Он заставлял восхищаться собой и о многих известных людях говорил как о своих хороших знакомых. Мы беседовали и о литературе, и о кино, и о театре…

Прощаясь, мы обменялись адресами. Роман Владимирович жил в Измайлово, в новом доме, телефона у него пока не было. Он, как это было принято в те годы, посылал нам поздравительные открытки, мы, конечно, писали ему тоже. Впрочем, я считала его тетиным приятелем, не своим, поэтому к открыткам относилась равнодушно, но рассказы его вспоминала с удовольствием.

Потом он пропал, Танюся беспокоилась: «Что с Романом Владимировичем? Все-таки — диабетик». И вот после почти годового молчания наш знакомый позвонил: установили ему телефон. Я тогда уже училась на втором курсе. Танюся слушала, о чем говорит Роман Владимирович, и сочувственно ахала. Оказалось, диабет его привел к осложнениям. Ему ампутировали ногу. И теперь он дома, в одиночестве. Правда, приезжает сестра, племянник, приходят пионеры из соседней школы, взявшие над ним шефство.

— Можете на нас положиться, — заявила Танюся. — Если что-то надо, скажите Галеньке, она подъедет немедленно.

Роман Владимирович попросил какое-то лекарство. Совершенно ерундовое — но для человека без ноги как добраться до аптеки?

Я немедленно купила то, что он просил, и на следующий вечер поехала в Измайлово. Поехала не одна, а с приятелем Борькой. Мы собирались потом в кино. Вот и решили: я забегу, передам лекарство, поговорю минут десять, а потом мы поедем в кинотеатр.

Борька остался ждать меня у подъезда. Я быстро взбежала по лестнице, позвонила. Роман Владимирович открыл — все такой же красивый, свежий, с сияющими глазами мальчика-подростка. Да, он был на костылях. Да, увы… Но это его не портило. Я обрадовалась. Вручила ему лекарство, прошла в комнату, уточнив, что могу остаться совсем на короткий срок — меня внизу приятель ждет.

— Зашли бы вместе, — удивился Роман Владимирович.

— Времени совсем нет, в другой раз. Вы скажите, что вам еще нужно привезти.

Роман Владимирович вдруг оказался совсем рядом со мной. Одной рукой он опирался на костыль, а другой — неожиданно крепко обнял меня и впился мне в губы. Вот жуть! Будь это какой-нибудь наглый ровесник, я бы оттолкнула его со всей силы… И все дела. Тут я боялась за него. Толкну — и что? Он упадет со своими костылями. И потом — старший же человек. Старшим нельзя грубить и все такое прочее…

Странно и непонятно учили нас ориентироваться в жизни. Что это за формула — слушайся старших? Будь вежлив со старшими, делай, как они говорят… Может быть, это годилось в древние времена, когда люди жили в племенах и каждого члена племени все знали как облупленного?

В наши дни учить слепому послушанию глупо, наивно, губительно.

Есть ситуации, которые имеет смысл заранее обсудить с человеком, еще не повидавшим жизни.

Вот тут, с Романом Владимировичем, например. Мне бы сказать:

— Простите, я к подобным взаимоотношениям не готова. Мне не понравилось то, что вы сейчас сделали. Всего доброго. До свидания.

Только и всего.

Дальше — пусть падает, пусть не падает… Это его дело. А мое — развернуться и уйти.

Ан — нет! Как же можно было обидеть старшего! И вот я, деликатно высвободившись из его жадного объятия, бегу в прихожую, хватаю пальто, обуваюсь…

— Тебя так никто не целовал? — спрашивает Роман Владимирович.

Я в ужасе распахиваю дверь.

— Привези мне апельсины, — вдруг говорит он. — У меня нет апельсинов. А мне очень нужно.

И я, жертва идиотской вежливости, обещаю привезти завтра то, что он просит.

Выбегаю к Борьке. Идем к метро, я рассказываю о пережитом.

— В морду бы дала, больше бы не полез, — резонно замечает мой дружбан.

— Он инвалид. На костылях. Упал бы, — возражаю я.

— А зачем лез? Упал бы — встал бы…

В общем, я сама виновата, как оказалось.

Дома рассказываю Танюсеньке. Она, похоже, сомневается, что

я все правильно поняла! Ну не может быть! Ну — такой приличный человек! Может, просто обнял? Может, затмение какое-то секундное?

Я знаю, что не затмение! Ну ладно — куплю ему апельсины, отвезу. Но не одна. Прошу Борьку меня проводить. Он возмущенно отказывается. Бредом, говорит, ты занимаешься.

Звоню другу Левке. Описываю ситуацию. Левка соглашается быть моим телохранителем.

Едем в Измайлово. В авоське апельсины. Я все дорогу инструктирую Левку. Главное, чтоб он ни на минуту не отходил от меня. Тогда Роман Владимирович не решится…

…Я пытаюсь прямо на пороге вручить апельсины и убежать. Но хозяин дома так вежлив, так радушен. Он, оказывается, к чаю стол накрыл… Мы проходим. И правда — старинные фарфоровые чашки, чайник немыслимой красоты, ложечки серебряные… Все накрыто на двоих.

— Ничего, Лева сходит на кухню и принесет из буфета еще одну чашку, — предлагает Роман Владимирович.

— Нет, — вскакиваю я. — Он разобьет. Я принесу.

Пьем чай.

Беседа течет мирно и благопристойно. Левка смотрит на меня с укоризной: оклеветала такого хорошего дядьку! Собираемся уходить.

— О, я хотел еще фото показать — деды, прадеды… Дом наш… Лев, сходите в другую комнату, по коридору направо… Там на полке альбом…

— Я принесу! — устремляюсь я.

— Нет, пусть Лев, — сердито велит Роман Владимирович.

— Нет, я! — настаиваю я.

— Она найдет! — говорит Левка.

— Она останется здесь! — раздраженно заявляет хозяин.

Он хватает меня за руку, стараясь усадить на диван рядом с собой.

— Так вы чего хотите? С Галей рядом посидеть или фото показать? — напрямую спрашивает Левка.

Он, кстати, хватает меня за другую руку, не давая усадить меня.

Хватка Романа Владимировича поражает своей силой. Но я сопротивляюсь, к тому же Левка молод, крепок… Он буквально оттаскивает меня и заслоняет собой.

При этом все происходит в рамках какой-то абсурдной вежливости… Мы с Левкой боимся обидеть несчастного…

Выбегаем в прихожую, торопливо одеваемся…

— Приятно было познакомиться, Лев, — прощается Роман

Владимирович. — Галя, я забыл… Мне нужны яблоки… Привези мне яблок…

— Ничего себе старичок! — удивляется Левка. — А я поначалу и не поверил тебе! Ну что? завтра яблоки ему повезем?

— Нет. С меня хватит… Яблоки пусть ему тимуровцы носят…

— Ну кто бы мог подумать! Такой приличный человек! — сокрушалась Танюся…

Половой вопрос

Надо сказать, что никто и никак нас в вопросе отношения полов не просвещал. Мы не знали ничего. Во втором классе девочка (та самая, что назвала меня воровкой), поделилась тайной: ей двоюродная сестра, которая была уже совсем взрослая, училась в пятом классе, рассказала, откуда берутся дети. Информация звучала так. Муж с женой (обязательно муж с женой) решают завести ребенка. Зовут медсестру (или врача), та (тот) засовывает мужское «переднее место» (так она деликатно назвала) в женское «переднее место». После этого у женщины в животе получается ребенок, он растет, потом рождается. Как? Это и пятикласснице было не совсем понятно. Скорее всего, разрезают живот, вынимают ребенка.

Мы пришли в ужас. Не верить авторитету пятиклассницы не получалось. Но и верить! Нет! Уму непостижимо! Это невозможно представить, весь этот стыд. Эта медсестра, эти безумные муж с женой… Потом разрезание живота…

— И что? Ты думаешь, твои мама и папа — тоже так? — спросила я подружку.

— Ну, наверное, — ответила та брезгливо.

— Ну, знаешь… Они на *таких* не похожи…

— Если и они т а к, я не смогу на них даже смотреть, — задумчиво сказала моя собеседница.

В общем, на том этапе мы постарались забыть этот кошмар.

Потом как-то это трансформировалось… То ли мы с мыслью свыклись, то ли что-то еще добавилось, но мы постепенно убеждались, что, видимо, все так и есть. И — даже — без врача и медсестры.

Так мы дожили до старших классов, мало что соображая и понимая в вопросах отношений мужчины и женщины. Я даже думала, будучи вполне взрослой на вид девицей, что дети могут возникнуть от поцелуев. Ну, не от таких, невинных, в щечку, а от настоящих…

Ведь информацию почерпнуть было неоткуда. В фильмах — целовались (ну, даже не то чтобы целовались, а обозначали поцелуй… потом объятие, наплыв…)… А потом вдруг начинал орать младенец. Что еще думать?

Какие-то тем не менее неясные слухи доходили. Находились более искушенные подруги, которым что-то кто-то рассказывал, они передавали… Что-то туманно вычитывали из художественной литературы…

И вдруг — открытие. Я, роясь у нас дома в книгах, нашла где-

то на дальней полке старую-престарую книгу, фолиант 1907 года издания. Называлась она «Половой вопрос. Естественно исторический, психологический и социологический этюд, предназначающийся для образованных читателей». Автор — Август Форель, авторитетный швейцарский профессор.

Было мне уже к тому времени шестнадцать годков.

Я немедленно позвала подругу (она жила в соседнем подъезде), и мы принялись читать, приходя в ужас от словосочетания «половой акт»:

«По наступленіи соотвѣтственнаго душевнаго и чувственнаго возбужденія въ мужчине и миновaніи возможнаго со стороны женщины сопротивленія, мужчина вводитъ свой эрегированный членъ въ женское влагалище…»

Мы и тут мало что поняли. Но сильное впечатление произвело упоминание о «возможном сопротивлении со стороны женщины». То есть — «половому акту» полагалось сопротивляться! Уже кое-что! И, кстати, спасибо профессору за эту деталь. Это от многого уберегало впоследствии.

И еще один абзац впечатлил нас на долгие годы: «Замѣчательно психологическое дѣйствіе контраста, наступающее послѣ совокупленія подъ вліяніем старыхъ инстинктивныхъ нервныхъ автоматизмовъ. Въ начале полового влеченія обонятельныя ощущенія, прикосновеніе, движенія, взоры, словом, все, имѣющее отношеніе къ другому полу, дѣйствуетъ въ высшей степени привлекающимъ и возбуждающимъ образомъ, въ смыслѣ сладострастного экстаза, который подавляетъ все остальное и заставляетъ видѣть въ данной минутѣ чуть ли не конечную цѣль всей жизни. Очень скоро по совершеніи полового акта все это исчезаетъ и разлетается какъ сонъ. То, что за минуту казалось предметомъ величайшаго вожделенія, теперь становится не только безразличнымъ и утомительнымъ, но даже вызываетъ чувство легкаго отвращенія».

Нельзя *этим* заниматься без любви, если не хочешь, чтобы о тебе потом думали с чувством легкого отвращения — вот какой вывод я сделала для себе в результате чтения.

А еще… еще весь этот «акт», как выяснялось, приводил к беременности. Вот чем кончались такие игры.

Этот результат внушал нам глубокий ужас.

У нас намечались пока другие дела, кроме «полового вопроса» и последующей беременности. Мы знали свои цели: нам надо было школу закончить, специальность получить, чтобы стать независимыми и хорошо образованными людьми.

Остальное — глупости.

Цепь неслучайностей. Гораций

Я уже рассказывала эту историю в своем романе. Но пропустить ее тут не могу, потому что она очень повлияла на меня в юные годы. А в зрелости заставила задуматься о существовании судьбы.

Тут я буду краткой.

Я училась в десятом классе, выпускном. Первое школьное полугодие я жила практически одна: осенью у тети Ани случился обширнейший инфаркт, ее положили в МОНИКИ, Танюся с работы мчалась к ней — ухаживать, кормить… Сейчас освоены операции на сердце, тогда их делали в крайних случаях. Инфаркт лечили тем, что больного укладывали неподвижно, ожидая, когда сердце справится само (если справится).

Моя Танечка приходила домой часам к десяти вечера. А бывало, и оставалась на ночь дежурить.

Я вполне справлялась одна: годами налаженный распорядок и привычка строить свой день сказались в ответственное время. Я приходила из школы, переодевалась, мыла руки, ела и садилась за уроки. Потом мы могли пойти погулять с подругами. Потом я усаживалась читать… Ужинала… Ложилась спать. Никаких проблем. Я много думала, вела некое подобие дневника, делала обширные выписки по интересующим меня вопросам. Домашний книжный человек.

В декабре 1967-го мне позвонил незнакомый парень. Сейчас такие знакомства запросто происходят в Интернете, тогда, бывало, знакомились по телефону.

Он, как потом оказалось, увидел мой телефон у моей подруги по Круглому озеру Лариды Ширахмедовой в записной книжке. Ларидка, как я уже говорила, росла с тетей, которая преподавала русский язык в Академии Фрунзе. Вот к этой тете ходил на занятия русским языком перед поступлением в институт мой незнакомец. Он просто открыл Ларидкину записную книжку, лежавшую в прихожей, на той странице, где был записан мой номер с именем и фамилией. Он почему-то запомнил номер и позвонил.

Я про это все узнала через год после нашего знакомства.

Мне тогда, когда он позвонил, было достаточно одиноко: все-таки большую часть времени я проводила дома одна. Мы стали общаться. Он звонил каждый день. Я как раз успевала вернуться с уроков, переодеться, умыться… И раздавался звонок. Мы говорили обо всем на свете. Он много читал, как и я. Нам было о чем поговорить. И мы подружились, совершенно не зная друг

друга. Но он хотя бы знал, как меня зовут. Я же не знала ни его имени, ни где он живет, ни в какой школе учится. Он предложил называть его Горацием (как звали друга Гамлета). Ну, пусть Гораций. Вот — я сейчас подумала, что мы предвосхитили время: это же теперь нормально: человек взял себе такой ник. Но меня это напрягало.

Так продолжалось до окончания школы. Потом, после выпускного, когда образовалась крохотная передышка перед вступительными экзаменами (они тогда проходили в августе), мы встретились. Наше уже сложившееся представление друг о друге не совпало с тем, что мы увидели. Он ждал маленькую брюнетку. А я была высокой и светловолосой. Он совсем мне не понравился. Надо же! Удивительно! Так хорошо и уютно общались — ежедневно — целых полгода, а встретились — и пошло отчуждение. Но это не казалось какой-то бедой. Много всего надо было преодолеть: поступление, нервотрепка…

Он продолжал звонить, но гораздо реже. Потом совсем пропал. Позвонил в сентябре — я уже училась. Оказывается, лежал в больнице: инфекционный мононуклеоз. Страшная болезнь. Мы встретились — словно впервые. И вот тогда, наверное, понравились друг другу и стали встречаться. Естественно, к этому времени он уже назвал свое настоящее имя…

Мы были хорошими друзьями, потом — то ли влюбленными, то ли нет… Общение вроде обязывало начать целоваться… Но ничего похожего на то чувство, которое по-прежнему жило в моей душе, на ту первую любовь, я не испытывала. А потом — привязалась. И полюбила. Иначе, чем в первый раз, по-родственному.

Сколько же мы вместе читали! Как о многом говорили!

Я до сих пор помню наши разговоры, планы, мечты.

Потом, в конце первого курса произошла у нас ссора. Из-за полной ерунды. Но и так бывает в юности. Мы расстались на год. Через год он прибежал в мой институт, нашел меня на лекции. Я увидела его и спряталась: тяжело далось расставание, не хотела больше повторения той боли. Но все-таки он пришел — еще раз и еще… И мы помирились. И будто заново — влюбились друг в друга. Мы точно знали, что будем вместе всю жизнь, что у нас будет много детей (он очень любил детей и, когда играл с ними, сам выглядел, как ребенок).

Но у нас в отношениях не все шло гладко. Он странные вещи делал иногда, из-за которых мы ссорились. Например, в их институт приехала группа англичан, они всюду с ними ходили — вроде как практиковались в языке. Потом одна английская

девушка попросила его отправить письмо в какой-то провинциальный российский город: она не знала, где марку купить. Он взял это письмо и отнес в институте в первый отдел. Он рассказал мне, показывал даже письмо. Я умоляла его этого не делать. Но он отнес. Я понимаю, почему. Времена шли, как обычно, подлые. Он очень хотел сделать карьеру. А его анкета не была безупречной. Отец-то русский, а мать подкачала… Ну, и надо было как-то репутацию завоевывать самому… Тем более — жил он с мамой в коммуналке, отец их оставил. А вокруг — ребята из семей дипломатов, выездные… И все надо было отвоевывать в жизни самому…

Он был способным человеком, самобытным, ярким. А мог и на такое пойти… На стукачество, по сути дела. Подобные эпизоды сильно разрушали мое к нему отношение.

Тем не менее мы решили пожениться. Решение нами было принято после третьего курса. Тогда это считалось в порядке вещей: молодая студенческая семья. Подали заявление. Стали готовиться к свадьбе. И тут случилось совершенно ужасное: моя Танюся просто легла костьми, чтобы я не выходила за него замуж. Она плакала, причитала, вызывала «скорую» (давление у нее подскакивало жутко), она умоляла… подождать. Ну — «подождать» — это обычная уловка в надежде, что рассосется как-то со временем, что расстанутся…

А к тому времени не было на свете уже ни Ани, ни Стеллы. Она осталась одна, моя Танюся, если не считать меня. Она говорила, что отдала мне всю свою жизнь без остатка, что столько для меня сделала, а от меня требуется только одно: послушать ее и не выходить замуж… Ну, просто отложить свадьбу — и только. Это происходило каждый вечер. И было это тяжело.

Да — мне было ее нестерпимо жалко. Да. У нее ужасная судьба оказалась. И дочку похоронила, и сестер лишилась. И вот теперь я… Предательство совершаю… Выхожу замуж. А он ей не нравится. Не нравится!!!

Я совершенно одурела от происходящего. Я сломалась. А я еще и училась, и работала (не могла же я у Танюси на шее сидеть, взрослая дылда, а больше нам никто не помогал)… Я уставала. Мне хотелось покоя.

И вот я поговорила со своим женихом, предложила ему отложить свадьбу на год. Объяснила ему, почему я об этом прошу. Да он и сам видел, что творится с моей тетей. Я сейчас понимаю, как ему и его маме было это обидно. Но это все произошло не по причине капризов моих, а по сломленности и из-за чувства ответственности за Танюсю.

Свадьба не состоялась.

Мне показалось, он меня понял. Мы продолжали встречаться. Планировали пожениться весной, сразу после четвертого курса. В марте мы подали заявления в загс. Назначили дату. На конец мая, по-моему. Он ездил со мной в магазин для новобрачных (были тогда специальные магазины, где хоть что-то по талонам можно было купить жениху и невесте). Мы купили кольца. Танюся уже не возражала. Ее условие было выполнено.

Шел апрель 1972 года. Он досрочно сдавал сессию — ради свадьбы, понятное дело. Я готовилась к практике. Обычно мы встречались каждый день. Если иногда не получалось, созванивались. А в тот день мы что-то и не встретились, и не созвонились. Я спохватилась около десяти вечера. Десять — это было время, после которого звонить не полагалось ни в коем случае. Верх неприличия. Набрала его номер. Подошла мама. Я попросила подозвать его к телефону.

— А его нет, — приветливо ответила она. — Позвоните позже.

Понятное дело, позже я звонить не стала. Отложила на завтра. Что может случиться.

Утром Танюся принесла мне письмо из почтового ящика. Без обратного адреса. Я узнала его почерк. Письмо, судя по штемпелю, отправлено было вчера.

Я вскрыла конверт: там лежала открытка с цветочками. На обратной стороне весточка:

«Все получилось, как ты хотела. Я улетаю в Египет на год. Писать оттуда нельзя…»

Эта информация никак не помещалась в моей голове.

Почему — «как я хотела»? Это, наверное, потому, что я в тот раз замуж не вышла…

Как же он не сказал, что его посылают в Египет — это же долгое оформление, бумаги, комиссии…

И — как? Мы больше не увидимся? Никогда? Но ведь мама его вчера сказала: «Позвоните позже».

У меня в глазах померк белый свет. То есть — в буквальном смысле — я несколько дней все видела в черно-белых тонах. Что-то случилось с головой. Я испытала настоящее горе и серьезный шок.

Подробности тут описывать не буду. Только резюме. То, как я сейчас все понимаю. Они с мамой были очень оскорблены моей просьбой о переносе свадьбы. Но вместо того чтобы разорвать отношения (это я, кстати, вполне бы поняла), они решили отомстить. Это действительно оказалось блюдо, которое подают холодным, как принято говорить о мести. Они хотели, чтобы я всех оповестила о свадьбе, все купила, ждала назначенного дня…

А потом — чпок! Получай! Поняла теперь, как ты погано поступило тогда?

Да! Я поняла.

И вот в тот, первый день, когда я то ли плакала, то ли причитала, я сказала в полубезумии:

— Я хочу, чтобы он когда-нибудь почувствовал ту боль, которую мне сейчас причинил.

— За такое Бог накажет, — сказала Танюся. — Он сделал страшную вещь.

— Но я-то об этом не узнаю! — воскликнула я.

— Узнаешь, — сказала Танечка.

Я выкарабкалась. Тот год был страшным годом… Горели торфяники вокруг Москвы, мы задыхались… Я попала в жуткую автокатастрофу… Прожито и забыто… События шли за событиями. Я забыла о том человеке совершенно. Я, надо сказать, ни с одной подругой не поделилась тем кошмаром — не из гордыни: не было сил и здоровья вспоминать. А потом рана совсем затянулась. Все ушло.

Прошло ровно тридцать лет. Буквально — день в день! 30 лет! И произошло нечто странное. Апрель 2002 года. Мы жили тогда по большей части в Берлине. В тот вечер я собиралась лететь в Москву. Ко мне зашла моя приятельница — американская писательница, живущая по соседству. Она забежала попрощаться. Время до выхода из дома у меня было, мы пили кофе, она жаловалась, что ее сын-подросток забросил гимназию… То есть — учится, но прогуливает, не хочет ничего… Нормальные проблемы. Я ей сказала, пусть в Москву отправляет сына, новая среда, посмотрит, как люди живут, русский выучит.

— А это мысль, — сказала американка. — Только у меня, кроме тебя, там никого знакомых нет. Впрочем, есть один человек. Лингвист.

И тут она назвала имя и фамилию моего жениха!

И я, наверное, побелела, потому что она просто испугалась и принялась очень нервно спрашивать, что со мной. Я, заикаясь, очень коротко изложила ей всю историю. Вплоть до последних слов тети — «Узнаешь!».

Она была потрясена не меньше моего.

— Он совершил преступление, — сказала она. — Месть — это преступление. Мог просто сказать, что между вами все кончено, мог перестать звонить… Но он устроил тебе капкан… Это преступление. А я тебе сейчас расскажу о наказании.

И она рассказала, что познакомилась с ним и его женой в

Будапеште на каком-то лингвистическом конгрессе. Еще в ранние перестроечные времена. К лингвистике мой давний друг с ником Гораций имел такое же отношение, как любой сотрудник известных органов к балету, опере и т. д. и т. п., когда это было связано с поездками за рубеж. Я даже потом узнала, что он вообще — кандидат экономических наук (почему-то). Впрочем, это не столь важно.

Однажды, как водится при знакомствах, заговорили о детях. Американка рассказала о своих, подробно, как она обычно это делала.

— А у вас? У вас есть дети? — спросила она у «лингвиста».

— Да, у меня сын в университете, — очень коротко ответил тот.

Она почувствовала, что что-то тут не то. Что-то у него с сыном не совсем в порядке. И вот решила она, что это наркотики. У них обычно родители так замолкали, если ребенок терял человеческий облик, подсев на наркоту. По доброй американской привычке она решила помочь: у нее был замечательный нарколог в Нью-Йорке, который вытащил очень многих буквально в последний момент. И она подумала: поговорю напрямую, предложу помощь, позову к себе — пусть мальчик вылечится.

Утром она повстречала не Горация, а его жену и с распростертыми объятиями побежала к ней, чтобы предложить помощь их мальчику.

— Если у вашего сына проблема, которая связана с наркотиками, я стопроцентно могу помочь, — начала она и заметила, как растерялась женщина.

— Мой муж сказал вам, что у нас сын студент? — переспросила она. — Это больная тема. У нас был сын. Но он умер, когда ему исполнилось четыре года. Из-за ошибки врачей.

У нее на глазах появились слезы, и писательница долго извинялась и выражала ей свое сочувствие.

Вот такой рассказ.

Тут уж и я остолбенела. Не может быть! Я такого ему не желала! Он же так любил детей — и вот… Я просто пришла в неописуемый ужас от всей этой мистики.

Какая-то американка из Нью-Йорка, которую я знаю всего года два… И у нее единственный знакомый в Москве — и тот… И мы повстречались, а она мне рассказала про наказание…

Это никак в голове не помещалось, никак!

И что еще поразительно: мы с ним много раз могли встретиться: он бывал у нее в ее берлинской квартире! И в Нью-Йорке — там, где мы у нее останавливались! Это невозможно

придумать, даже если захочешь: скажут, так не бывает.

В общем, я всю дорогу в самолете в Москву непрерывно удивлялась, ахала и пыталась поместить в голове эти новые сведения.

Но это было еще не все… Наверное, к счастью. Мне, во всяком случае, полегчало. Я позвонила одной даме, которая, я знала, дружила с матерью Горация. Я хотела напрямую у нее спросить, а был ли мальчик? Потому что уж очень не нравилась мне эта история с умершим по вине врачей четырехлетним ребенком. Я не ясновидящая, но иногда я чувствую, где слова живые, а где мертвые, лживые. И ложь исходила не от моей американки.

Я встретилась с этой пожилой дамой и задала ей напрямую вопрос: был ли у ее приятельницы внук? Потому как — вот что мне рассказали…

И она ответила:

— Нет, никакого сына у них не было. Его жена в первом браке сделала аборт и осталась бесплодной. Они бездетны.

Это, конечно, очень жаль, но все же лучше, чем тот драматический вариант, который мне преподнесла писательница из Америки. Жене просто пришлось соврать. Так получалось красивее и жальче, чем просто: «Мой муж сказал неправду, нет и не было у нас никаких детей».

Только совсем недавно я смогла спокойно и хорошо вспоминать наши разговоры, прогулки — все то доброе, что было во время нашего общения с этим человеком.

И я считаю, что мне безусловно повезло и в том, что не с ним связана моя оставшаяся жизнь.

Больно было. Но боль давно прошла.

1967 год. В чужом пиру похмелье

Пятого июня 1967 года произошло знаменательное событие, последствия которого ощущаются и по сей день. Израиль начал знаменитую войну, которая продлилась всего шесть дней и закончилась полной победой Израиля 10 июня. (Противоборствующие стороны: Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир.)

Про Израиль мы знали мало. Туда уезжали евреи — да. Но по-тихому. И вестей оттуда почти не доходило. Рассказывали про достижения медицины и кибуцы, это я помню. Но надо сказать, это меня в то время почти и не интересовало. Я не думала, что когда-нибудь попаду в эту страну, не знала — совершенно, абсолютно, при всех своих немалых гуманитарных знаниях и интересах, об Иерусалиме и обо всем, что связано с «землей обетованной». В этой области знаний имелся огромный пробел, который потом с огромным трудом пришлось восполнять.

Мой любимый учебник «Истории античного мира» Коровкина для пятых классов средней школы, который я неоднократно перечитала вдоль и поперек, испытывая исключительный интерес к античности, не содержал никаких сведений об исторических событиях, связанных с Иудеей в целом и Иерусалиме в частности.

Нас обокрали.

Мы учили про Египет, фараонов, про древнегреческие полисы и мифы, про диктаторов Древнего Рима… Но — почти ни слова о том, почему, собственно, делится летоисчисление на до нашей эры и нашей эры. А ведь эту тему — про летоисчисление — пришлось проходить в самом начале курса истории античности. Нас учили отсчитывать по шкале. Вот тут — видите точку? Это нулевая точка. Влево от нее — от одного до бесконечности, по нарастающей — это до нашей эры. А вправо — наша эра. Вот и все!!!! Ха-ха-ха! А то что точка эта — Рождение Христа, об этом ни гу-гу…

Однако сведения как-то просачивались. А как иначе? Чтобы было иначе, следовало запретить посещение музеев, всю русскую литературу (о мировой не говорю), перестать учить читать.

А кстати, странное несоответствие, которое сейчас успешно устраняют у нас в государстве: с одной стороны, нас усиленно просвещали — честно, на совесть учили, а с другой, — надеялись, что мы как-то благополучно минуем некоторые вопросы и пробелы… Не стоило, наверное, учить… Или — имело смысл не врать, говорить полную правду.

Так вот — сведения просачивались (ко мне, во всяком случае)

благодаря регулярному и частому посещению музеев. Я наизусть знала все залы Третьяковки и Пушкинского музея. Я про каждую картину могла рассказать не хуже экскурсовода — столько лет пристального интереса — не шутка. И вот если картина называлась «Явление Христа народу», то — да, меня интересовало все: и кто такой Христос, и почему так прекрасно Его лицо (если Он, как нас учили, — рассадник опиума для народа), и почему народ имеет странные черты лица? Художник русский, а народ изображает — какой? Что за этим кроется?

Если картина называется «Возвращение блудного сына» и автор ее великий Рембрандт, то хочется узнать, кто он — блудный сын?

Ко всем подобным сюжетам полагалась ссылка: «Сюжет создан по Библейской легенде». Хотелось почитать эти легенды — но взять их было негде. Кое-что я все-таки выспрашивала у Стеллы. Про Ветхий Завет узнала достаточно много благодаря своей пытливости. Но все эти знания были отрывочны, бессистемны, беспомощны. Этому всему еще предстояло прорасти.

…Так вот — эта шестидневная война вдруг заставила всех заговорить об Израиле. СССР разорвал дипломатические отношения с этой страной. Евреи в СССР воодушевились победой. Всем захотелось отправиться туда, где ты почувствуешь себя не человеком второго сорта, а полноправным гражданином. Тут же посыпались анекдоты в тему. Не буду их приводить, они до сих пор на слуху.

А почему же я назвала этот фрагмент «В чужом пиру похмелье»?

Пишу о себе. Я была советской девушкой, воспитанной в духе патриотизма, любви к родине. Я верила, что наша страна — замечательная и справедливая. Национальный вопрос — да, есть еще у нас над чем работать. Но негативные моменты — это пережиток. Мы все равны — перед законом, перед государством. Я готова была переждать, перетерпеть некоторые оскорбительные эпизоды. Я готова была приносить пользу Родине. Для того и училась, для того и росла.

Я не знала, что после шестидневной войны Израиля передо мной в моей стране (в моей — повторяю — стране, и буду это повторять, пока жива) закроются очень многие дороги. Просто из-за еврейской фамилии моего отца.

Стихи

Это произошло в сентябре моего последнего школьного учебного года. Танюся принесла мне в подарок от своего начальника факультета книгу стихов. Прекрасно изданная книга, в суперобложке, называлась «Русская советская поэзия». Это была подробная антология стихов наших самых выдающихся поэтов XX века, начиная с Александра Блока и заканчивая Евгением Евтушенко.

Это было специздание, исключительно для иностранцев. Оно не поступало в продажу, на нем не обозначен тираж и цена — немыслимое в те времена дело. Кроме того, что для меня представляло особый интерес, — каждое стихотворение было снабжено переводом на испанский язык. То есть — на левой странице шел текст на русском, а на правой — на испанском.

Так вот — между Блоком, который уже входил в школьную программу, и всем известного Евтушенко, были стихи поэтов, чьи имена я слышала, но возможности прочитать их стихи не имела. Их было просто негде взять! Там были стихи Ахматовой и Цветаевой! Вот главное мое открытие. Довольно много стихов! Кроме того: в книге имелась фотография каждого поэта и его биография, правда, на испанском языке — но какая разница! Там был и Пастернак! То, что сейчас общеизвестно, но тогда… «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти до самой сути»…

Я немедленно запомнила все стихи. Я с этой книгой не расставалась.

Но, отмечу, антология, конечно, не была полной: там не было Мандельштама, Гумилева… И все-таки… Она стала началом новой жизни — для меня.

И еще — тогда же купила я новую книгу Валентина Катаева «Трава забвенья», которая тоже стала началом открытий. Там Катаев описывает Мандельштама, как нелепо одетого, странного человечка… Маяковский как-то там язвит по поводу своего собрата по перу. И вот в этом эпизоде Маяковский произносит строчку из стихов Мандельштама: «Россия. Лето. Лорелея».

Три слова. А у меня сердце заколотилось. Я от этих трех слов ожила — как оживает душа от настоящего!

Там Катаев (спасибо ему!) привел еще пару строк… Но — вот это запало и впечаталось в душу… Я стала думать о Мандельштаме. Напряженно думать. Ждать его.

Начало 1968 года

Январь. Началось мое последнее школьное полугодие.

Чудесное время ожидания чуда и предстоящей свободы. Школа уже надоела и сильно тяготила: ежедневная обязаловка, домашние задания осточертели. Хотелось вырваться. Почти все готовились к поступлению в институты с репетиторами. У нас такой возможности не было. Да я и верила в свои силы. Я собиралась поступать на журфак МГУ. Я точно знала, чего хотела. Я хотела заниматься филологией (а именно: славистикой, меня увлекало сопоставление славянских языков, и хотелось найти причины сходств и различий). А еще — мне нравилась публицистика как жанр. И вот, чтобы два эти интереса развить, я и выбрала журфак.

С сентября 1967 года я посещала подготовительные лекции в МГУ, как раз на журфаке. Лекции читали видные ученые, например Ольга Сергеевна Ахманова, наш видный лексиколог, и др. Лекции по истории, литературе и русскому языку в МГУ дали мне очень много. Я с огромным интересом их слушала, порой получала огромное наслаждение от того, как умело суммированы лектором знания, как логично делаются выводы из известных уже нам фактов.

Я познакомилась на этих лекциях с очень интересными ребятами и девушками. Это было изумительное ощущение: я попала в свою среду. Мне очень многое хотелось обсудить, обговорить. И я надеялась, что когда мы поступим, возникнет у нас кружок единомышленников, если можно так выразиться.

Тем временем Анечка наша все болела. У нее в больнице случился очередной инфаркт, произошла остановка сердца. Известный кардиохирург Францев смог вернуть ее к жизни. Попутно она перенесла пневмонию. И, казалось, выкарабкалась! Ей было-то не так много лет — шестьдесят. Люди после инфаркта поправляются и живут потом долго, соблюдая все указания докторов.

На это мы и надеялись.

Ее даже выписали домой! Она вернулась — слабенькая, бледная, но полная планов и надежд.

…Наступил февраль. В тот вечер я пошла в Большой театр (у Танюси на работе была замечательная возможность легко купить билеты в Большой театр, во Дворец съездов, а также повсюду, куда принято было водить инстранцев, поэтому Большой театр я посещала регулярно,

некоторые спектакли по несколько раз). И вот я отправилась

в Большой на «Пиковую даму», пригласив своего приятеля. Пела Галина Вишневская. Я — поклонница оперного пения. Хорошее пение особенным образом действует на меня — описать словами это ощущение трудно, что-то сродни полету, наверное. Но в тот вечер мне почему-то все слышалось словно через пелену. Какая-то грусть невыразимая терзала меня.

Я вернулась домой. Танюся с Аней сидели на кухне и мирно пили чай. Мы поговорили о спектакле, о том о сем. Вдруг Анечка схватилась рукой за сердце. Мы ее немедленно уложили. Танюся вызвала «скорую» и, оставим меня с Аней, побежала в соседний подъезд, там жила врач. «Скорая» приезжала обычно через полчаса, а тут, мы чувствовали, помощь нужна срочная.

Я сидела у кровати, держа мою дорогую тетю за ее сухую маленькую руку, и повторяла:

— Потерпи, пожалуйста, сейчас будет врач. Только не волнуйся, сейчас будет врач.

Аня задыхалась и хрипела.

Вбежала Танечка — соседки дома не оказалась. Она снова побежала, на этот раз наверх, у нас там жила врач, ЛОР, была надежда, что у нее есть дома шприц, она сможет сделать какой-то спасительный укол.

Они быстро вернулись. Аня хрипела.

— Что с ней? — в ужасе спросила Танюся.

— Умирает. Агония, — сказала соседка.

Я держала Анечку за руку и рыдала, не боясь, что это ее напугает.

«Скорая» приехала поздно.

…Анечка лежала в гробу в своей комнате до самых похорон.

Эта пара ночей заставила меня думать, что я схожу с ума. Ночью из ее комнаты доносились звуки! Какие-то стуки и, казалось мне, голоса.

Я заставляла себя думать, что это мои нервы. Я никогда не видела умерших. (Ленин и Сталин — разве они в счет? Они давно не считались людьми.)

Я заходила к ней, садилась у гроба. Я смотрела на ее лицо: оно менялось. Я просила у нее прощения за невольно причиненные обиды. Несколько раз мне казалось, что глаза ее приоткрывались, и она взглядывала на меня. Пару раз мне виделось что-то прозрачно-дымчатое над ней.

Со смертью все не прекращалось. Что-то происходило, другое, неведомое, пугающее.

Потом Анечку похоронили. Мы осиротели.

Мои университеты

И вот — школа позади. И экзамены позади, и выпускной. Последняя школьная весна… О ней отдельную книгу надо написать. А пока… Пока о «моих университетах».

Готовилась я, как уже говорила, к поступлению на журфак МГУ. Все для этого у меня имелось: и газетные публикации, и грамоты городских филологических олимпиад, которым в те годы придавалось значение при поступлении. И даже — паспорт. Получение его оказалось проблемой. Паспорта тогда получали в 16 лет. Надо было отнести свидетельство о рождении, фото в паспортный стол милиции, заполнить там анкету и потом получить паспорт, причем в торжественной обстановке. Я собралась идти в паспортный стол, а свидетельство о рождении не нашла. Спросила раз-другой у Танюси, она была занята… Потом я забыла о паспорте. И вспомнила о нем уже в десятом классе, когда от нас потребовали паспортные данные для оформления аттестатов зрелости. Ой, а у меня ж все еще нет паспорта!

И тут Танюся торжественно вручает мне мое свидетельство о рождении и говорит:

— Все! Победа! Можешь получать паспорт! Иди завтра в паспортный стол, там все готово!

— ????

Я не могла понять, что за победа…

Оказалось, Танюся чуть ли не год, ничего мне не говоря, оберегая меня, боролась за то, чтобы мне выдали паспорт по месту моей прописки. Она, взяв меня ребенком, которому и трех лет не было, прописала меня к себе на Девичье Поле. Потом, переезжая, они вписали мое имя в ордер на получение квартиры. Вся моя жизнь прошла в Москве. Детский сад, школа. И вот, зайдя в паспортный стол, Танюся услышала:

— Не положено ей паспорт выдавать. Пусть едет к матери или к отцу. А вы ей кто? Двоюро́дная тетка. Практически — никто.

И начальник милиции написал:

— В прописке отказать.

При этом: я везде числюсь. Но — нельзя.

И началось очередное хождение по мукам. И такая откровенная и разговорчивая Танюся ни слова мне об этом не говорила.

Она собирала бумаги: из детского сада, из школы, из — даже — поликлиники о том, что я все эти годы жила с ней, в Москве.

Потом обратилась к знакомому журналисту-известинцу Юрию Феофанову. И он помог, направил ее к городскому милицейскому начальнику, предварительно объяснив ему всю ситуацию.

Тот выслушал Танюсю, сказал:

— Творят черт знает что. — И подписал: «Прописать по такому-то адресу».

Что и было исполнено.

Так я получила паспорт с московской пропиской.

…И вот отправилась я в приемную комиссию журфака МГУ. Заполнила анкету. Сгребла все свои бумаги. А пока заполняла, обращалась с несколькими вопросами к консультанту — женщине лет пятидесяти. К ней я и подошла с готовыми бумагами. Она все внимательно прочитала, все мои грамоты посмотрела, публикации, а потом вышла из-за стола, предложила мне отойти. Я подумала, что что-то не так заполнила. Мы отошли, она как-то театрально вглядывалась в мои бумаги, при этом говоря:

— Девочка, я вижу: ты хорошая девочка. Слушай внимательно: твое право подать сюда документы, а я обязана принять их. И я приму. Но просто знай: ты не поступишь ни в коем случае. Из-за фамилии. Есть указание: с такими фамилиями не брать. Тебя завалят на первом же устном экзамене. Иди в другой вуз.

Она для виду что-то показывала мне в анкете. Я понимала, что она делает это, чтоб никто не догадался, о чем на самом деле идет разговор.

— Спасибо, я поняла, — сказала я, забирая свои бумаги.

Я этой женщине благодарна по сей день. Это тоже — из разряда везения. Так бы последних сил лишили на экзаменах, заставив еще думать, что я сама виновата, что плохо готова…

Но, конечно, я просто обалдела.

Мы ж в других представлениях воспитывались. И мне хотелось продолжать верить в то, что было внушено с детства: в справедливость и правильность курса «нашей солнечной страны», как в песне пелось. Я даже думала несколько дней, что зря смалодушничала. Может, это все пустое…

Нет, много лет спустя я узнала, что указание «валить» действительно существовало. И — валили на экзаменах беспощадно.

В общем, пришла домой, рассказала Танюсе. Она мне посоветовала поступать в Ленинский пед.

— Я не хочу быть училкой! — стонала я.

— Надо получить диплом. Потом разберешься. Ничего не поделаешь.

Она меня убедила.

Я подала документы на филфак МГПИ имени Ленина.

Танюся вызвала папу. Она понимала, что мне необходима поддержка. Он, к моей великой радости, приехал.

С папой мы к тому времени очень редко виделись.

Пока он жил с тетей Женей, которую у нас дома не уважали (а зря), мы встречались достаточно часто. Она была человеком добрым и легким. Ей и в голову не приходило ревновать меня к отцу. Как-то все у нас складывалось естественно, без обид. А потом она уехала в Ленинград. Я не знаю, почему, но думаю, что ей, наверное, хотелось зарегистрировать брак с папой, какой-то статус приобрести, а он на это не решался из-за активного противодействия всей своей родни. В общем, она уехала.

А через некоторое время появилась другая женщина. С ней папа знаком был еще по университету: она тоже закончила юрфак ЛГУ. Но была на десять лет младше папы. В общем, ей было примерно тридцать лет, когда она за него вышла замуж, забеременев. А папе — сорок. У них родился сын Павлик.

Вот тут (со второй папиной женой) мне не повезло. Ну — бывает. Она оказалась женщиной редкой злобности. Допускаю, что злоба ее была направлена лишь в мой адрес. Может, в остальном это был ангел. Но в отношении меня она сделала все, чтобы обрубить все возможности общения с папой. Я не хочу тут вспоминать гадкие эпизоды, связанные с ней. Потом, много лет спустя, папа признался, что очень ошибся в ней, что тяжелее человека не встречал.

Она стала моей бедой. Потому что мне очень нужен был папа. Вот и все.

А могла бы — в случае хоть небольшой душевной доброты, стать мне родным человеком. Не случилось.

В общем, перед вступительными экзаменами папа все-таки приехал. И это очень меня поддержало.

Горюя по неосуществимой мечте, я думала, а не правильнее ли мне было подать документы на юридический? Меня и эта профессия — в исключительно романтическом ключе — очень интересовала. И вот я стала размышлять об этом вслух, советуясь с папой. Он изменился в лице и очень жестко сказал:

— В стране, где нет законов, юристом быть нельзя.

Я никогда и ни от кого не слышала такой точной и емкой формулировки. Признаться, я не до конца ее поняла и прочувствовала, но кое-что уже осознала.

И еще сказал мне папа очень поразившую меня тогда вещь:

— Запомни, самые злостные и подлые преступники у нас — милиционеры. У меня праздник на душе, когда я докапываюсь до их преступлений и нахожу достаточно доказательств, чтобы

посадить кого-то из этих мерзавцев.

Вот это я не поняла совсем. Осталось в памяти, как нечто удивительное, не свойственное папе — он был добр и человечен. И еще — как это, в советской милиции — самые злостные преступники?.. Но папа знал, что говорил… А мне, чтобы это понять, пришлось прожить жизнь.

И еще очень важные слова сказал мне папочка: когда я пожаловалась, что очень устала и эта усталость может мне помешать хорошо сдать экзамены, он посоветовал:

— Ты думай вот как: в любом случае ровно через две недели это все кончится. Чем бы ни кончилось, как бы ни кончилось — все кончится через две недели.

Этот способ очень мне помог и помогает до сих пор. Любое страдание или тяжкое ожидание легче преодолеть, когда знаешь срок его окончания. Силы мобилизуются, и их действительно хватает.

А еще была просто мистика: перед экзаменом по истории папа сказал, как он сдавал когда-то историю и что достались ему вопросы «Реформы Петра Первого и Гражданская война».

— Так что можешь не повторять, тебе не достанутся, чудес на свете не бывает, — сказал папа.

И я не повторяла. Но почему-то, приехав на экзамен заранее, решила прочитать именно эти темы. И прочитала прямо перед дверью аудитории.

Мне достался именно этот билет!

Я просто ахнула вслух!

— Не готовы отвечать по билету? — спросил меня кто-то из экзаменаторов.

— Готова без подготовки. Моему папе достался такой же билет когда-то…

— И что он получил?

— Пятерку!

— Ну что ж, посмотрим, как готовы вы.

Я отвечала не хуже папы.

В институт я поступила.

И вот интересная деталь. Не просто интересная, но важная и показательная, не могу ее обойти.

Описанный мной Гораций поступал в иняз имени Мориса Тореза. Вечером перед сочинением (и он, и я писали сочинения в один день) он позвонил, мы немного поболтали. Я сочинения не боялась, тут я была корифей. Он вдруг сказал, что я должна подстраховаться, мало ли что бывает. Я ответила, что на любую тему напишу. Если я что-то могу в этой жизни, так это написать сочинение. И вдруг он сказал:

— Я тебе могу назвать одну из тем, которая завтра у вас будет.

И назвал.

Это была тема по Горькому.

Эта тема была именно такая, слово в слово, как он мне сказал накануне! Он и свою тему знал.

Это к вопросу о чистоте и неподкупности в советские времена. Ничто не возникает из ничего. А почва к тому, что произросло ныне, создана была уже тогда.

Когда я несколько дней после неподачи заявления в МГУ приходила в себя и меняла свои планы на будущее, мне позвонил один знакомый — из тех, кто посещал подготовительные курсы в университете. Я ему прямо сказала о том, что должна поступать в Ленинский. Объяснила, почему. Он мудро ответил:

— Не горюй. Там профессорский состав сейчас сильнее эмгэушного. Там такие столпы науки сидят, один Лосев чего стоит!

Так я впервые услышала имя Лосева. Я ничего о нем не знала. На мой вопрос о том, кто это, мой всезнающий приятель ответил:

— Это русский философ-идеалист, так о нем в Британике написано.

…Ничего себе: русский философ-идеалист в советском вузе! И до сих пор жив… Я не знала, верить ли этому или нет. Но вот именно так сказал тогда тот мальчик. И я это запомнила, не думая, что придется мне встретиться когда-нибудь с советским философом-идеалистом.

И мне — повезло! И все, что ни делается, в итоге оборачивается к лучшему — это проверено.

Август 1968-го

Очень хорошо помню этот день. 21 августа 1968 года.

Впервые за свою сознательную жизнь я ощущала удивительную свободу. Мне не надо было готовиться к экзаменам! Все — сдано. Результат — получен. До сентября — полно времени. Можно просто ничего не делать. Вот так — ничего! И — с чистой совестью! Редкое блаженное чувство.

Я сидела на кухне, пила какао с яблоком вприкуску. Я блаженствовала. Приемник на кухне что-то вещал. И вдруг я услышала: наши войска вошли в Прагу!

Я могу описать свои ощущения — не больше. И не меньше.

Несколько раз в моей жизни я потом испытывала подобное. Только несколько раз потом. А до того — ни разу.

Я испытала жгучий стыд, отвращение и боль.

Я была одна дома и не стеснялась рыдать. Я плакала и проклинала наш позор и собственное бессилие.

Я отчетливо ощущала смрад лжи: «По просьбе трудящихся Чехословакии…»

Это была — буквально — реакция организма. Никто меня не учил и не готовил воспринять подобную новость именно таким образом.

Но люди реагируют на ложь отвращением.

И на несправедливость, и на подлость — отвращением.

Моя вера в то, что все у нас идет правильно, а будет еще лучше, рухнула разом. Окончательно и бесповоротно.

А жизнь шла своим чередом.

«Мастер и Маргарита». Голгофа

В конце 1967 года случилось эпохальное событие. Говорю «эпохальное» не ради пышности, но ради правды. Именно так. Журнал «Москва» начал публикацию романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Мне номер журнала принесла Танюся из библиотеки Академии имени Фрунзе. Ей там для меня откладывали все новинки. Я оказалась в привилегированном положении: могла читать долго и обстоятельно. Большинству жаждущих читателей журнальный номер доставался на одну ночь. И попробуй не отдай, зажми. Больше никогда и ничего не получишь. Закон возвращения журналов был чтим свято.

Чем был этот роман для нас?

Это — книга нашего поколения. С него начиналось многое… Судьбы менялись.

…Когда-то Танечка рассказывала мне, как ходила в конце 20-х на поэтические чтения Маяковского. Как он поражал ее своей мощью, резкостью. Его спросили:

— Маяковский, почему вы употребляете мат в своих стихах? Когда вы это прекратите?

От ответил:

— Когда перестану слышать его от вас. — И обвел рукой зал.

Моя Женечка ходила на выступления Вознесенского, Рождественского, Евтушенко.

А нам достался Булгаков. Не с опозданием. В самое время.

И вырос передо мной Иерусалим. И Понтий Пилат «в белом плаще с кровавым подбоем», и Иисус.

Все ожило.

Так появлялась вера.

А параллельно — в серии «Литературные памятники» вышел двухтомник Тацита. Он каким-то чудом легко мне достался. Только вынесли на прилавок в «Доме книги», а я оказалась рядом. И случайно были деньги. Я читала и перечитывала Тацита. И то, о чем говорил Берлиоз Бездомному в романе (об упоминании Тацитом Христа), нашла у древнеримского историка в «Анналах».

Вот тут я и начала образовываться. Искать. Вычитывать.

Опять же — делала записи, помечала, думала.

Однажды, весной 1969 года, хорошо помню, что это было на Пасху (надо бы посмотреть число), позвонил мне мой знакомый, тот самый, что утешал и рассказал о Лосеве, и предложил погулять по Новодевичьему кладбищу. Мы встретились на «Спортивной». Он пришел с другом, с которым вместе учился в

школе. И пошли мы бродить по кладбищу. Вышли к могиле Булгакова, случайно, как мне показалось, наткнулись. И вот этот новый знакомец, оказывается, был знаком с Еленой Сергеевной Булгаковой — Маргаритой. Ну, не так, чтобы очень близко знаком, но родители его водили его пару раз к ней. Он рассказал про камень на могиле Булгакова. Этот камень назывался «Голгофа» и лежал на могиле Гоголя. А потом Гоголя помпезно перезахоронили, поставили на могиле мраморный памятник. И Елена Сергеевна попросила отдать «бесхозный» камень с могилы Гоголя ей. И получила его. И установила на могилу мужа.

…Как все в русской литературе складывается мистически… Какие она знает передачи знамен — и судеб… Из рук в руки… От могилы — к могиле…

Этот рассказ меня очень впечатлил. И, видя это, рассказчик предложил невероятное: познакомить меня с Еленой Сергеевной.

Но этого не случилось. Как-то все откладывалось. Да я и не надеялась на такое чудо. А в 1970-м Елены Сергеевны не стало.

Таганка

А еще — у нашего поколения была Таганка. Театр на Таганке. Чтобы туда попасть, люди ночами стояли в очереди, устраивали переклички… Мне повезло: у меня была подруга Галя Антонова — с который мы познакомились на одной из олимпиад по русской литературе, — оказавшаяся настоящей и верной поклонницей Таганки. Она-то и добывала билеты.

Мне удалось по несколько раз посмотреть «Добрый человек из Сезуана» Брехта, «Антимиры» Вознесенского, «Послушайте», по стихам Маяковского, «Десять дней, которые потрясли мир» (пьеса о революции, созданная по мотивам книги американского журналиста Джона Рида) — запомнилось, что перед этим спектаклем билеты у нас проверяли не просто вахтеры: актеры в одежде революционных матросов накалывали часть каждого билета на штык — о как!

Огромной силы была постановка «Жизни Галилея» Брехта.

Самое сильное впечатление — «Гамлет».

В роли Гамлета в фильме Козинцева (1964) блестяще выступил Смоктуновский, прославившийся сразу, как вышел фильм на экраны.

«Гамлета» у нас знали все. Как сейчас бы сказали, это был культовый фильм.

Но и спектакль на Таганке стал культовым. Гамлетом был Высоцкий. И играл он сильно. Высоцкого знала и любила вся страна. В старших классах, благодаря магнитофонным записям, мы пели вслед за ним «Страшно — аж жуть» — передавали друг другу записи… Он был кумиром.

…В «Гамлете» он выходил на сцену в черном свитере с открытой шеей и в черных джинсах. С гитарой. Казалось, сейчас зазвучит его песня. Но в полной тишине раздавались стихи Пастернака из все еще запрещенного «Доктора Живаго» — «Гамлет». Высоцкий говорил:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку…

(…)

…Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Стихи он произносил так, что они запомнились с первого раза. О себе, обо всех нас: «Я один, все тонет в фарисействе…»

А потом начинался Шекспир…

«Гамлета» на Таганке мне удалось посмотреть два раза. И первый раз — премьерное представление в ноябре 1971 года.

…Таганка дарила дух свободы. Свобода — бесстрашна. И многие из нас не знали страха. Может быть, по наивности.

Самиздат

И раз уж речь зашла о бесстрашии…

У нас в институте вовсю продавали самиздатовские книги. Это были перепечатанные на машинке (иной раз почти слепые экземпляры), переплетенные или просто в виде пачки бумаги в картонной папке (от этого сильно менялась цена).

Ребята, которые занимались продажей, таким образом зарабатывали. Это действительно труд: перепечатать (а пишущая машинка могла сделать от силы семь экземпляров, если не на папиросной бумаге), переплести. Но и стоило это немало.

Первое, что я купила, — сборничек «Огненный столп» Гумилева. Дорого. Но самодельная книга эта подарила мне счастье знакомства с поэтом, который стал одним из самых моих любимых. «Память», «Слоненок», «Шестое чувство» — это я прочитала впервые на первом курсе, в рукодельной книжечке.

За Гумилевым последовала Цветаева, потом — Мандельштам.

То, что не получалось купить, можно было взять почитать на вечер.

Интересно — я не знала, то есть — не имела понятия, что за чтение запрещенной литературы существует уголовная статья. Мне и в голову не приходило бояться. И вот я ехала домой на метро и открыто читала запрещенные книги, не подозревая об опасности. Очень хорошо помню, как в совершенно открытом виде носила толстенный сборник произведений Абрама Терца (псевдоним осужденного у нас А. Синявского), изданный в Париже. Не по смелости — по глупости.

В метро же читала потому, что если книгу дают на один вечер, надо успеть ее прочитать. Зачем же попусту тратить время?

Притча о зерне

В институте самым большим моим удовольствием — даже счастьем — оказался курс старославянского языка. Собственно, этот курс и был тем, к чему я стремилась, когда мечтала заниматься славистикой.

Так все четко и логично выстраивалось, оказывается. Процессы разделения славянских языков оказались изученными, доказанными, как математические уравнения. И было еще нечто. Мы делали разбор текстов, отдельных слов, чтобы видеть, как менялся язык со временем. А откуда брались эти примеры и тексты? Естественно, из Евангелий того или иного времени. Ведь Евангелия переписывались монахами в монастырях. И вот повторяющаяся ошибка при переписке означала, что в каком-то языке сложилась определенная устойчивая тенденция…

Евангельские тексты…

От первой же прочитанной притчи о зерне у меня сердце зашлось. Я трепетала от силы этих слов и не могла даже себе объяснить причину этого трепета.

…В сборнике упражнений по старославянскому языку одна Евангельская притча шла за другой…

Невыразимое счастье — сродни счастью первой любви.

Шестидесятые

Наверное, для каждого человека определяющее десятилетие жизни — от десяти до двадцати. Все решается именно в это время: и представления о жизни, и мечты, и возможности их осуществления, любовь, роковые ошибки, разочарования, преодоление трудностей, экзамены, понимание своего места в мире и своих возможностей…

Человек готовится к пути, а потом и дорога обозначается.

В какое же бурное время мы взрослели!

В 1960-м году появляется на карте мира 17 новых государств — результат борьбы за независимость Африки.

А в СССР сбивают над Уралом самолет-разведчик США, пилотируемый Пауэрсом.

Ухудшаются отношения нашей страны с Китаем.

Летом 1960-го — возникает угроза войны из-за действий США против Кубы.

Осенью 1960-го — на 15-й сессии Ассамблеи ООН происходит знаменитое хрущевское «стучание туфлей». Сейчас достоверные источники указывают, что он не стучал, а лишь поставил туфлю на свой стол. Однако народ запомнил это действо как стучание, сопровождаемое угрозами показать западному миру «кузькину мать».

В январе 1961-го в СССР происходит денежная реформа.

12 апреля 1961-го — в космос полетел первый человек — Ю. А. Гагарин.

17 апреля 1961-го — на Кубу вторглись противники режима Фиделя Кастро. Вторжение произошло на Плайя Хирон, и было отбито защитниками острова.

6 августа 1961-го — в космос полетел наш второй космонавт — Герман Степанович Титов.

Август 1961-го — воздвигнута Берлинская стена.

В октябре 1961-го на XXII съезде КПСС Хрущев выступает с новыми разоблачениями сталинизма. На том же съезде принимается программа построения коммунизма к 1980 году.

31 октября 1961 года — тело Сталина вынесено из Мавзолея.

В октябре 1962 года — Карибский кризис, США и СССР на пороге ядерной войны.

1962 год — кровавое подавление рабочих волнений в Новочеркасске.

В ноябре 1962 года в «Новом мире» выходит «Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына.

22 ноября 1963 года — во время поездки по Техасу в Далласе

убит президент США Дж. Ф. Кеннеди.

Постоянным фоном в новостях 60-х годов проходят сообщения о войне во Вьетнаме, которая велась еще в 50-х годах. Полномасштабное вмешательство США в эту войну с 1964 года и дальнейшие военные преступления (использование напалма, сожжение деревень) вызвали протесты во всем мире и в самих США. Война длилась до 1973–75 гг. (когда вступила в завершающую фазу) и закончилась победой Вьетнама и его воссоединением.

14 октября 1964 года — на ночном заседании Пленума ЦК КПСС Хрущев отстранен от управления страной.

С 5 по 10 июня 1967 года происходит «шестидневная война» — Израиль против Египта, Сирии, Иордании, Ирака и Алжира. Израиль одерживает победу.

4 апреля 1968 года — убит Мартин-Лютер Кинг.

Май 1968 года — студенческие волнения в Париже.

6 июня 1968 года — убит Роберт Кеннеди.

21 августа 1968 года — ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию.

Март 1969-го — конфликт на острове Даманский.

Для нас шестидесятые — это время больших надежд и их окончательных крушений.

СЕМИДЕСЯТЫЕ

1970-й. Юбилей Ленина

Я уверена, что мозги человека поддаются постороннему влиянию только до определенной степени. Потом эффект воздействия пропадает, и даже происходит некое антивоздействие. Это простой и понятный закон, но его почему-то не любят учитывать те, кто занимается влиянием на массы. Манипуляторы вообще в какой-то момент склонны почить на лаврах. И действуют в результате довольно незамысловато и грубо.

Такая нехорошая история произошла с главной советской святыней: Лениным.

Поскольку Бога у большевиков не было, его обязательно надо было выдумать. А и далеко ходить не надо было: в Мавзолее лежал «живее всех живых» вождь мирового пролетариата. Самый человечный человек.

Эх, был бы жив Ленин! — сколько раз все мы слышали этот беспомощный вздох.

Ленин с нами, он с нами навеки… Что говорить…

Естественно, образ вождя воспринимался как нечто сверхчеловеческое, чистое, непорочное, сияющее…

Но произошло чудо: образ этот оказался разрушен. И сделали это коммунисты-ленинцы своими собственными руками.

Дело в том, что в 1970 году 22 апреля Ленину исполнялось 100 лет. Юбилей! И началось! За год до юбилея отовсюду только и слышалось: Ленин, Ленин, Ленин… Самые талантливые поэты слагали стихи в честь юбилея. И светочи оттепели: Евтушенко, Вознесенский очень живо и убедительно внушали внимающему им народу, что Ленин — это свято, это незыблемо…

Мы готовы были верить! Чесслово! Но — сколько можно?

У нашей сокурсницы, например, муж-художник, работавший на комбинате, где создавались плакаты с изображением Ленина, сошел с ума. В самом прямом смысле. Дело в том, что не всегда повторение — мать учения. Порой повторение — мать безумия. И несчастный художник в какой-то момент почувствовал себя Лениным. Отрастил бородку, стал говорить с ленинской картавинкой. Представлялся Владимиром Ильичем.

Это был не стеб. Всё по-настоящему. Тронулся умом человек.

А те, кто оказался покрепче, не тронулся, уже находились на грани нервного срыва: спасу не было от Ленина никакого. На

улицах повсюду Ленин. В кино Ленин. В театре Ленин. В опере Ленин…

Пощадите!

Пощада явилась.

Человек терпит-терпит, а потом… Потом начинает смеяться.

…Я прихожу в институт, усаживаюсь в аудитории, жду начала лекции. Подсаживается однокурсник.

— Хочешь свежий анекдот?

— Давай!

— Приходит к Ленину ходок. «Вот, пришел, Владимир Ильич, уж подсобите, живем мы на селе трудно, трудно…» — «А гаскажите-ка, батенька, как вы живете?» — «Ой, трудно, Владимир Ильич!» — «Так вы, батенька, беднячок? Ну, а поконкгетнее? Вот, к пгимегу, лошаденка у вас есть?» — «Ну — как не быть лошаденке? Есть лошаденка…» — «Так-с, так-с… Есть лошаденка… Так вы у нас сегеднячок, оказывается… А коговенка есть у вас?» — «Есть и коровенка, Владимир Ильич! Как не быть! Деткам молочко…» — «Так у вас и коговенка имеется? Оооо! Так вы, батенька, кулачок! Феликс Эдмундович, дгужочек, гастгеляйте товагища!»

Сокурсник умеет рассказывать.

Изображает в лицах.

Это безумно, невероятно смешно.

Но в первые секунды меня охватывает оторопь.

Ленин — святое, святое… Нельзя смеяться!

Но… Нет… Не могу… И я начинаю хохотать — свободно, легко, неудержимо. Гранитный монумент рассыпается в прах.

Анекдоты пошли валом: тут и реклама продукции, выпущенной к юбилею: духи «Запах Ильича», водка «Ленин в Разливе», тут и Наденька Крупская, и Бонч-Бруевич…

— Товагищ Бонч-Бгуевич! А что это там за ггохот на лестнице?

— А это, Владимир Ильич, Феликс Эдмундович упал.

— Ах, пгаво, железный человек, железный!

Мы спасаемся смехом. И теперь портреты повсюду вызывают смех, а не возмущение. Увидишь портрет:

— А кстати, хочешь новый анекдот?

— Про Ленина?

— Про Ленина!

— Давай!

Никто уже не пугается… Смеется с первых же слов.

Убеждена, что именно 1970-й год и стал началом конца

марксизма-ленинизма. И начало это вместе с концом умудрились организовать рьяные члены КПСС, не отдающие никакого отчета в последствиях того, что, как и зачем делают.

Свидетельствую: гранитные монументы разрушаются смехом.

Мода и стиль

Мои югославские друзья по переписке часто присылали мне выходящие у них журналы. У меня до сих пор хранятся номера журнала ELLE на сербском начала 70-х.

Мое воображение поразила коллекция пальто до пят. Под таким макси-пальто полагалось носить мини-платье или мини-юбку. Все вместе это выглядело забавно, элегантно и задорно. Я решила сшить именно такое пальто, как на картинке. Купила серую крапчатую ткань, отнесла портнихе. Ту мой замысел напугал.

— Давай сделаем короче, побьют ведь тебя, — сулила она.

— За что побьют? За длинное? Ведь я не мини прошу, а макси.

Портниха явно за меня боялась. Она еще не знала, что под пальто я планирую носить мини. Юбку я сшила сама.

Вот с этого комплекта и началась история моего личного стиля. Я никогда не носила что-то среднестатистическое. Я очень неуютно чувствовала себя в чем-то стандартном, безликом.

Должна сказать, что закалку я прошла суровую. По необъяснимым причинам мое длинное пальто вызывало дичайшее раздражение прохожих. Казалось бы, что такого? Идет стройная девушка в сером облегающем пальто до пят. Откуда такая сила негодования? Почему?

А потому что не как все. И только. Какие выражения приходилось выслушивать — не передать. Большинство — непечатные. Но некоторые, относительно мягкие, все же приведу: проститутка, шалава, чучело огородное, б-дь, шлюха… Это, повторяю, самое щадящее…

Да, еще — Феликс Эдмундович. Видимо, по аналогии с памятником на тогдашней площади Дзержинского (ныне Лубянке). Ну, Феликс Эдмундович — это просто ласкательное обращение, не больше.

Несмотря на все эти реакции людей нездоровых и лютых в своем неприятии чьей-то инакости, я с удовольствием и без страха носила свое пальто. Осталась жива.

Ничего… Времена меняются…

И если говорить о внешнем облике, очень я была недовольна своими кудрями. Распрямляла их как могла. Расчесывала часами щеткой, приглаживала. Держалась моя красота до первого дождя. Стоило воде попасть на мою голову, волосы закручивались в штопор.

Тот, кто хвалил мои кудри, становился моим врагом — я не верила, что хвалы эти произносятся искренне.

Я мечтала о стрижке «под пажа» — так тогда называли модную прическу из прямых волос. Танюся противилась всеми фибрами души. Умоляла оставить «золотые волосики».

Подстриглась я только после рождения дочки. И не просто подстриглась. Появилась популярная стрижка, называемая «сэссон». Видаль Сассун, автор этой прически, чьим именем она у нас и называлась, вряд ли подозревал о собственной огромной популярности в СССР.

Волосы, подстриженные способом «сэссон», не нуждались в укладке. Достаточно встряхнуть головой, и они ложились — легко и непринужденно… Но происходило это с прямыми волосами. Мои кудри после стрижки требовали выпрямления с помощью фена. В случае сухой погоды я могла гордо наслаждаться прямыми волосами два-три дня. Так продолжалось долгие годы, пока мне не надоело бороться с природой. И я решила — пусть вьются…

Так теперь и хожу.

Тема закрыта.

Стелла

В конце 1970-го тяжело заболела Стеллочка — третий инфаркт. Ее положили в тот самый МОНИКИ, где она столько лет работала. Несколько дней я провела рядом с ней. В палате было человек восемь больных. Это считалась не самая большая палата. Топили очень сильно, Стеллочка задыхалась от духоты. Когда она просила меня открыть окно, вся палата восставала:

— Вы тут не барыня! Нам дует!

Сорокалетние размордеелые хамские бабы, как обычно, диктовали свои условия и устанавливали свои правила.

Стелла махала рукой — пусть. Все равно.

Она должна была лежать неподвижно — вот и все лечение инфаркта в те времена. Я кормила ее с ложечки — она почти ничего не ела.

К ней постоянно заходили коллеги — советоваться по поводу диагнозов. Она советовала — еле слышно, слабым голосом.

Меня сменяла или Танюся, или Женечкин муж.

Стелла не знала, что Женя беременна, что у нее тяжелый токсикоз, поэтому очень горевала, что дочка не приходит к ней.

Жалко, что они ей не сказали: ей стало бы гораздо легче — я до сих пор уверена. Но она так и не узнала.

Этот инфаркт она не пережила.

Ей было 68 лет.

Стелла — моя путеводная звезда. Она долгие годы была для меня примером — силы, мужества, достоинства…

Редкий и особенный человек.

Остались мы с Танюсей совсем одни.

Продажные

Жизнь показывает: большинство людей можно купить. Весь вопрос в цене. Хочу рассказать о тенденциях и расценках 70-х годов прошлого века.

Примеры из жизни.

У молодых людей нашего поколения имелись, естественно, свои специфические особенности.

Их произвели на свет матери, чья ранняя юность или расцвет молодости пришлись на войну. Женихов наших матерей равнодушно выкашивала безносая соперница — смерть. Всеобщая беда, лишения — где уж тут наслаждаться беззаботным счастьем юности.

Сколько их ровесниц осталось без мужей! Сколько их, одиноких, так и не решилось родить, опасаясь жестокого осуждения окружающих!

Замужние — счастливицы! Им повезло!

А уж те, кто родили сыновей, — счастливицы вдвойне. Муж — кто его знает, как сложится… Сын — навсегда твой. Вырастет маме защитник. И — кавалер. Она научит его танцевать танго и вальс. Она дотанцует с сыном то, что в юности не станцевалось. Юный сын и молодая еще мать… Он поведет ее в танце, надежно, бережно. И уж с ним-то попробуй разлучи.

Материнская любовь и гордость изливались на мальчиков золотым дождем. Их баловали. Ну — почему бы и нет, пока маленький?

Их отцы, если таковые имелись, знали цену крепкому мужскому застолью. Болтать за столом — занятие опасное. Лучше пить, закусывать, петь «Я люблю тебя, жизнь» и «Хотят ли русские войны».

По большей части отцы наших парней ценили семейный уют и, как могли, старались обеспечить жизнь своих детей так, чтобы они наверстали за них отнятую войной юность.

…И вдруг — мальчик вырос… Усики пробились, голос мужской, плечи развернулись. В ванную не пускает спинку потереть. Не ласкается с мамой, как раньше. Шепчется с кем-то по телефону, таится.

Вот она — разлучница! Появилась!

— Сынок, ты только не женись! Они ведь все только об одном мечтают — замуж им надо. А у тебя будущее впереди. Ты жизнь свою устроить должен. Жениться всегда успеешь. Дурацкое дело — не хитрое. Их вон сколько вокруг. Выбирай любую. Ты на дочери генерала можешь жениться. Сразу с дачей генеральской,

машиной. Ты посмотри на себя, какого я тебя вырастила, сокол ты мой! Ты под стать себе ищи, чтоб все при ней: и сама, и родители. И спешить тебе некуда. Вся жизнь впереди. Успеешь!

И если заноза любви еще не вонзилась в мальчишеское сердце, любящий маму сын внимательно вслушивается, хоть и виду особо не показывает.

— Да не собираюсь я, мам, жениться…

И действительно — зачем? Куда спешить? Не одна, так другая…

Некоторые родители, я знаю это, брали с сыновей торжественное обещание: не жениться до определенного возраста.

Несколько раз при первом же знакомстве с парнем приходилось слышать совершенно дурацкие речи насчет того, что он ни в коем случае не сможет жениться, так как дал папе и маме слово не жениться до тридцати.

— А мне-то это зачем сейчас говоришь? Я тебя в первый раз вижу!

— Как, — удивлялся молодой человек. — Ну, девушки же все замуж хотят… Вот я и веду себя по-честному… Чтобы ты не надеялась…

Парни нашего поколения были непоколебимо уверены в собственной ценности только вследствие принадлежности к мужскому полу. Этого, считалось, было вполне достаточно, чтобы женщины влюблялись, мечтали о нем, вожделели…

Вот они и становились продажными, наши мужчины.

Продавались, кто за что мог. Особенно за столичную прописку, возможность заграничной поездки, машину…

Помню, как один знакомый хвастался:

— Я женился на Арбате.

Не в том смысле, что свадьба на Арбате происходила, а в том, что он теперь прописан у жены, на Арбате.

Не на Тане, Лене, Марине женат, а на Арбате!

От браков с Арбатом, МГИМО, поездкой на год в Лондон и начинались потом пьянки, любовницы, рождались дети без всяких желаний и души…

Впрочем, это уже не раз было описано.

Расскажу-ка я лучше вполне реальный случай из жизни хорошо знакомых мне людей. Имена, конечно, изменю. Дело не в них.

Из МГУ и некоторых других ведущих вузов страны можно было в те годы поехать на обучение в «братские страны». Для этого нужно было проходить по анкете. Если анкета устраивала, посылали каждый год несколько человек. А еще летом наши студенты по обмену ездили в соц. страны. И вот моя подруга,

назовем ее Марина, поехала с такой студенческой группой в Прагу. А в Пражском университете учился старший брат нашей общей с Мариной подруги — Верки. И Веркина семья собрала посылочку в Прагу, чтобы Маринка передала их сыну и брату Сережке привет из родного дома.

Естественно, в Праге они встретились — Сережка и Маринка. Они с детства знали друг друга. А за посылкой Сережка явился не один, а с другом. Друг этот был еще большим везунчиком, чем Сережка, — он вообще из глухой провинции чудом с первого раза поступил в МГУ и сразу его направили в самое сердце Европы. Парень — хоть куда, красавец, высокий, крепкий, ясноглазый, удачливый. Это сразу виделось. А Маринка моя — тоже красавица хоть куда. На нас все оборачивались, когда мы вдвоем шли по улице.

И, разумеется, ребята — Марина и Андрей Манкин (назовем его так) друг другу понравились и встречались в Праге каждый день.

Потом они писали друг другу письма. Наконец в одном письме Андрей спросил Маринку, что она думает о замужестве.

«Впрочем, не отвечай, я скоро приеду на каникулы, и мы обо всем поговорим». Так он ей написал.

По-моему, вполне недвусмысленно. Это письмо она получила перед самым его приездом.

В Москве молодой человек мог остановиться только у своего лучшего друга Сережки. Маринке неудобно было приглашать Андрея к себе: родители тогда придерживались строгих правил и не одобрили бы появление в доме молодого человека, с которым пока ничего не обсудили насчет его отношения к их дочери.

Пражский поезд прибывал в Москву поздно вечером. Встреча и серьезный разговор должны были состояться следующим утром.

Но не состоялись. Вообще никогда!

Андрей не позвонил Марине, не подошел даже к соседнему подъезду, в котором жила и ждала его… ну, можно сказать, невеста.

К концу своих московских каникул Андрей Манкин оказался женат на Верке, нашей общей подружке, сестре того самого Сережи, которому Маринка возила посылочку.

О том, как это произошло, рассказывала мать Верки и Сережки. Она работала парикмахершей и каждую свою клиентку посвящала в историю замужества дочери. История и правда замечательная. Ну, и естественно, дошла эта история и до нас с Маринкой.

Едва увидев Андрея, переступившего порог их квартиры вместе с Сережкой, мать поняла, что такого жениха она в чужие

руки не отдаст. Верка-то — дура набитая. Сама ничего без матери не может.

Стол они заранее накрыли, ребята расслаблялись с дороги, устали. Захмелели слегка. Но мать блюла себя и была трезва: дело превыше всего.

В общем, Верка-дура ушла спать, Сережка уснул на диванчике. Мать повела разговор с осоловевшим гостем. Она посоветовала ему не совершать роковой ошибки, не жениться на Маринке, потому что есть невеста гораздо лучше и перспективней. Ее Верка — вот самая настоящая невеста. Потому что: там, у Маринки, жить особо-то негде. А она за Веркой даст приданое: сразу им на кооператив. Мать быстро сбегала в спальню и принесла пакет с деньгами, как доказательство, что на кооператив дочери уже отложено. Даже пересчитала при Манкине.

Но Манкин сдался не сразу. Он молчал. То ли устал, то ли думал, то ли вообще — не врубился пока, о чем речь.

И мать поняла, что если он вот сейчас так отмолчится, уйдет спать, завтра — все, считай, жених упущен.

И тогда ее осенило. Она для сына, Сережки, припасла ондатровую шапку, богатую. Но тут такое дело. Сереньке-то она еще шапку сладит… Мать выхватила сокровище из шкафа и водрузила на голову будущему зятю, прямо с ярлыком. Шапка села, как влитая. Дождалась хозяина.

— Смотри, какой ты у меня! Генсек! — восхитилась женщина и потащила Манкина к зеркалу в коридоре.

Он посмотрел, поправил шапку, заулыбался.

— Ну, иди. Иди к невесте. Ждет ведь тебя… Она давно в тебя влюбленная…

Заботливая мать затолкнула парня к дочери.

…А перед его возвращением в Прагу сыграли свадьбу.

Так что — шапка!

Вот цена вопроса. Ну, а точнее: московская прописка, квартира и шапка. Но к этому шла впридачу нелюбимая и неинтересная ему жена.

Могу рассказать и продолжение этой истории.

Мы через пару лет встретились с Манкиным и его женой Веркой в химчистке самообслуживания. Я его впервые увидела, до этого не доводилось. Действительно, красивый, видный. Но мрачный, раздраженный, ужас. Он явно тяготился своей женой. Один раз во время разговора сказал ей:

— Заткнись, дура.

И она необидчиво заткнулась.

Видимо, привыкла.

Разводы тогда не поощрялись, а он собирался карьеру делать. Нельзя было ему.

Верка была неплохая девчонка, добрая, простоватая, недалекая. Целиком под пятой у матери. Мать заставила ее сделать первый аборт: рано, живи для себя. Детей больше не получилось.

Но это уже другая история.

Главная же тенденция того довольно тухлого времени: скука и продажность задешево, по мелочам.

Из этой мелкой продажности, как из маленькой мухи, через пару десятилетий вырос пугающего размера слон.

Развитой социализм

В 70-е потихонечку правители наши стали играть с народом в игру «вам показалось». Ну да — был какой-то волюнтарист. Ну — что-то такое к 80-му году пообещал. Ну да, мы присутствовали при его обещаниях, но что можно поделать с волюнтаристом: ведь загрызет.

Собственно, народ и сам прекрасно понимал — еще изначально, что никакого такого коммунизма в 1980-м году не видать никому как своих ушей. Просто было интересно, что изобретут вместо этого. Ну, что-то же надо было измыслить такое… Типа: не будет тебе сказки со счастливым концом, зато… Зато — вот: настоящая быль.

Быль называлась так: мы построили общество развитого социализма.

Я все оглядывалась вокруг, запоминала приметы, чтоб будущим своим детям про развитой социализм поведать. Вот они спросят, а я им…

Ну — в Москве еще кое-как. Еще — куда ни шло.

А вот стоит чуть-чуть удалиться от сердца родины — и развитой социализм тоже прячется, бедняга.

И смотришь, вглядываешься — ну нет! И все тут.

Зато…

Летом 1971 года решили мы с другом отправиться на самолете в город Касимов Рязанской области. Полет происходил на «кукурузнике», который швыряло, мотало, подкидывало и раскачивало каждую секунду нашего движения к намеченной цели. Дверь в кабину пилотов была беспечно распахнута. Видно было, как экипаж подкрепляется по ходу пьесы пивом, что почему-то уверенности в благополучном исходе воздушной прогулки не прибавляло. Все пассажиры, однако, как-то держались в рамках приличий. Кроме меня и охотничьей собаки, лежавшей у ног хозяина. Нас с ней неудержимо рвало на родную землю. И просто — рвало.

Летели недолго, но когда рвать уже нечем, кажется, вечно летишь. Несмотря на мои худшие ожидания, приземлились благополучно. Охотник на руках вытащил собаку. Меня выволокли вонючие веселые пилоты и положили для отдыха на траву. Потому что весь этот касимовский аэродром был просто большим полем с пыльноватой травой.

Я немножко полежала, но испугалась, что это выглядит неэстетично, и кое-как поднялась. И поняла, что надо бы заглянуть в туалет. Умыться… и вообще… Нам указали

направление, и мы отправились. Ошибиться было невозможно, ибо нас вел запах.

Так, по моим представлениям, должно пахнуть в аду.

Наконец показалось огроменное бревенчатое здание. Почему туалет надо было сооружать из вековых деревьев чуть ли не метрового диаметра, мне и по сей день неведомо. Но масштабы поражали.

И вот я открыла дверь с соответствующей «говорящей» буквой Ж на ней и обмерла.

Моему изумленному взору предстал громадный зал со сценой. Все вокруг — обгаженная слякоть с едкими испарениями. Никаких кабинок нет и в помине. Справлять нужду надо на «сцене»! На нее надо взбираться по ступенькам, высоким таким, склизким. Без перил. А в полу этой «сцены» — огромные дыры. Провалиться можно запросто, кроме шуток. Вполне реальная перспектива. Дыр этих в полу, наверное, десять. И над каждой дырой возвышается то, что обозначено на двери буквой Ж. И деловито, бескомпромиссно, как несчастный слон в зоопарке, звучно делает свое дело.

Вся эта инфернальная картина пробивается сквозь смрадный туман. Освещено же это мистическое действо единственной мутной лампочкой.

При одной мысли, чтоб на сцену подняться и влиться в число участниц, меня охватил священный ужас.

Я немедленно ретировалась.

Но забыть не могу.

Я точно знаю, что именно так должен выглядеть АД. И была эта картинка — увы — не единственной. Поэтому воспринималась как нечто органичное. Такое, во что лучше не вступать. И требуется просто скорее забыть. А вот — помнится…

Предполагаю, мало кому не доводилось у нас видеть подобное — пусть не такое крупномасштабное, но близкое к описанному.

Долго я думала над, так сказать, истоками этого явления. Ведь народ наш — чистоплотный. И очень брезгливый. Пожалуй, один из самых брезгливых народов нашей планеты. Потому что мы наблюдательные, до мелочей, до деталей. И некоторые отвратительные детали ранят нас в самое сердце. Как же это уживается-то в нас? Сортирная грязюка и тонкость душевная? И вдруг открылся мне ответ. У каждого народа брезгливость проявляется по-своему. Вот с чем надо считаться!

Нам противно убирать за собой! Нам кажется, что нас это унижает. Лучше зажмем нос и постараемся не замечать.

Но вот вопрос: может, это все и была картина развитого

социализма?

Вот же: все вместе, сообща, не смущаясь…

А если совсем всерьез: фарцовка, спекуляции, моральное разложение, глубокий цинизм, пьянство и скука — пожалуй, это и были основные признаки нашего долгожданного «развитого».

1972 год. Красная Поляна

Как я уже говорила, 1972 год оказался очень странным, полным ломающих жизнь событий.

Летом вокруг Москвы горели торфяники. В городе стоял смог, удушающая жара. Даже ночью дышать было нечем. Покупали вентиляторы, накрывались ночью влажной марлей: Танюся вспомнила ташкентский опыт спасения от жары.

Умирали сердечники, гипертоники.

Тем, кто пережил жару 2010 года, понятно, о чем идет речь.

Танюся достала мне с подругой две путевки на турбазу Министерства обороны. Мы должны были сначала неделю провести в горах, в Красной Поляне (о ней еще мало кто знал тогда), потом несколько дней — в походе, а оставшееся время (что-то около десяти дней) — у моря, в Кудепсте (район Большого Сочи).

Это незабываемое время. Горы Кавказа неописуемо прекрасны. Солнце, воздух, свобода. Я чувствовала себя невероятно счастливой. Во время того летнего месяца произошло много всего. Можно отдельную книгу написать. Но я ограничусь тут одним удивительным переживанием, которое помнила все годы и разгадку которого нашла уже после наступления нового тысячелетия, в совсем другой жизни.

Мы с моей подругой сблизились в старших классах школы. Она тоже Галя, как и я. В те годы ближе подруги у меня не было. Итак, после первой недели на турбазе в Красной Поляне нашу группу отвезли на гору Ачишхо. Там были установлены большие армейские палатки, полевая кухня, выдали нам спальные мешки для ночевки… Для нас — полная экзотика.

На следующее утро ребята из нашей группы отправились с проводником на ледник. Девочек не брали — это был довольно сложный маршрут. И решили мы с Галкой спуститься в Красную Поляну, принять там душ, пообедать в человеческой обстановке, а потом, ближе к вечеру, вернуться на эту самую Ачишхо, раз уж без этого никак нельзя обойтись. Нам показалось, когда мы ехали на автобусе, что эта Козлиная гора (так ее название звучало в переводе) находится ну максимум в получасе ходьбы от турбазы.

И мы пошли.

Стоял солнечный, ясный день. Идти вниз оказалось легко и приятно. Вокруг, естественно, ни души. Тишина поразительная. Воздух чистейший. Луга, горные склоны, водопады, деревья… Все — абсолютно нетронутое. Казалось, так веками и живут эти горы — в полном безлюдье и дикой красоте.

Мы оказались у речки, текущей с самых вершин. Умылись, бесстрашно напились ледяной воды, от которой зубы ломило.

У меня возникло чувство полного блаженства. Райское одиночество. Мы прошли совсем немного и вдруг увидели яблони. Это нас очень удивило. Яблони — это всегда связано с деятельностью человека. Но тут людей не было. Ничего вокруг… Только горы. Откуда взялись яблони? Яблочки на них — зеленые, кислые, деревья старые… Неужели кто-то когда-то здесь жил?

Мы поудивлялись и пошли дальше. И все это время я чувствовала, будто кто-то на нас смотрит. Не человек затаившийся, нет. Но кто-то смотрел, будто бы любя и жалея. Я до этого нигде и никогда не испытывала этого ощущения: при полном отсутствии тревоги и страха ты понимаешь, что кто-то *другой* на тебя смотрит с сочувствием, даже, пожалуй, тихо радуясь тебе.

Меня даже удивило, что мне совсем не было страшно. Ведь мы были одни, две девушки, в совершенно чужом месте, в горах, не особо понимавшие, куда идти (знали только, что вниз)…

Что-то ощущалось сродни лермонтовским строчкам:

> …И счастье я могу постигнуть на земле,
> И в небесах я вижу Бога…

Мы благополучно спустились к турбазе. Конечно, не за полчаса. Расстояние оказалось бóльшим, чем мы предполагали, километров десять.

Все получилось, как и было задумано. А назад даже неожиданно повезло: нас подвез грузовик почти до самого нашего лагеря.

…А я все помнила этот взгляд, это ощущение, что кто-то там находился рядом с нами… Долгие годы помнила.

И вот больше тридцати лет прошло! Я купила книгу Валерии Дмитриевны Пришвиной «Невидимый град». Еще даже читать не начала, листаю — и на фото узнаю то самое место в горах, где возникло незабываемое ощущение! Я говорю себе: не может быть! Но как похоже!

А потом — читаю и понимаю, оно, то самое место. И взгляд был… Не показался…

…Дикие мы были люди в юности… Не по своей вине — откуда нам было знать? Мы, оказывается, шли тогда с Галкой по местам намоленным! В самом прямом смысле слова — намоленным, как храм.

Мы не знали, что в горах Кавказа на Черноморском побережье до самой Абхазии находились монашеские скиты, кельи, храмы.

Здесь издавна жили отшельники, старцы, монахи.

Первая любовь Валерии Дмитриевны, удивительный, редко одаренный человек по имени Олег Поль, удалился сюда от мира в 20-е годы прошлого века.

Он, воспитанный родителями-толстовцами, увлекавшийся теософией, индуизмом, в конце концов пришел к православию. На Кавказе, недалеко от Красной Поляны он принял монашеский постриг. Туда приезжала к нему Валерия Дмитриевна, оттуда и этот снимок. Там Олег Поль создал свой философско-богословский труд «Остров Достоверности». Он спрятал эту рукопись где-то в горах. Она не найдена.

Олег Поль стал иеромонахом, жил среди кавказских пустынников. В конце двадцатых готов НКВД планомерно отыскивали в горах Кавказа кельи, скиты, пещеры, где обитали люди, сознательно ушедшие от мира и посвятившие себя Богу. Все эти люди, в том числе и Олег Поль, были арестованы.

В 1930-м году он был расстрелян.

…И вот чье присутствие через сорок с лишним лет мной так явственно ощущалось? То ли сами горы помнили? То ли витали души…

Почему на земле нет уголка, куда можно было бы спрятаться?

Красная Поляна — теперь место совсем не пустынное…

Но память — хранит…

Осень 1972

Иногда мне приходится писать о событиях, в которых я не принимала непосредственного участия, но которые стали знаковыми для всего мира. Эти события так или иначе все равно влияли на нас, на наше видение и понимание времени, в котором нам выпало жить.

Вот почему я не могу не написать про Олимпиаду в Мюнхене 1972 года. События, которые там развернулись, потрясли весь мир. Я хочу рассказать читателю о них. И не с позиций наших — тогда очень скудных — знаний, а на основании того, что я все эти годы старалась узнать.

Итак, постараюсь быть краткой.

Олимпиады в нашей стране пользовались особым вниманием. Это воспринималось не как спортивное соревнование, а как соревнование двух систем. Наша система обязана была побеждать.

Особенность мюнхенской Олимпиады заключалась в том, что последний перед этим для Германии раз Олимпиада проводилась во времена гитлеровского правления. Немцы придавали этому событию особое значение. Сам факт, что после длительного перерыва им позволено было принять у себя Олимпиаду, означал прощение Германии всем остальным миром за тяжкие военные преступления. В начале 70-х Германия все еще ощущала груз тяжкой вины перед человечеством. Это была страна с запятнанной репутацией.

Пятое сентября 1972 года. Четыре утра. День обещает быть светлым и солнечным. Но еще темно. В этой тьме на территорию Олимпийской деревни проникают восемь арабов в красных тренировочных костюмах. Потом выяснилось, что они были рекрутированы в палестинских лагерях беженцев в Ливане, там же прошли подготовку. Прибыли они в Германию по поддельным паспортам. Никто не поинтересовался и содержимым их сумок, а в них находились АК, ручные гранаты и патроны к автоматам.

Спустя 15 минут их руководитель, 35-летний палестинец, учившийся в Западной Германии, хорошо говоривший по-немецки, устроившийся работать в Олимпийскую деревню, открывает им дверь в квартиру олимпийской сборной Израиля.

Они ворвались к израильтянам во время самого крепкого сна и застали людей врасплох. Тем не менее тренер Моше Вайнберг, здоровенный парень, стал обороняться. В него выстрелили, но промахнулись, только ранили. Он сумел выбить террористу Моххамеду Сафаду несколько зубов и даже сломал ему челюсть.

После этого Вайнберг был застрелен. Кроме него в первые минуты был застрелен тяжелоатлет Йозеф Романо.

Девять израильтян взяли в заложники, их за руки и за ноги приковали к кроватям.

Только около полдесятого утра объявился у квартиры Израильской олимпийской сборной полицейский. Он услышал какие-то шумы и решил узнать, что происходит. Ему охотно показали окровавленное тело Вайнберга на полу.

Террористам в первую очередь нужна была огласка. Без этого их акты теряют смысл.

С этой минуты огласка пошла на весь мир.

В то время канцлером ФРГ был Вилли Брандт, имевший незапятнанную репутацию, так как во времена нацизма сбежал от Гитлера. Страна лелеяла надежду, что с ним во главе ФРГ наконец будет восприниматься остыльным миром как подлинно демократическое государство.

Террористы в обмен на жизни заложников потребовали самолет и беспрепятственный вылет в Каир.

(Замечу кстати, что с первого момента мы с друзьями и знакомыми, обсуждая это страшное событие, были почему-то уверены, что в подготовке этого теракта приняли участие наши спецслужбы — пусть в какой-то степени, начиная от помощи военных спецов, обучающих методике террора, до поставки вооружения. Это же были годы нашего тотального присутствия на Ближнем Востоке, особенно в Египте и Сирии. Для наших военных командировка в Египет виделась в те годы делом совершенно обыденным.)

Израильская сторона немедленно предложила Германии помощь в проведении операции по захвату террористов. У Израиля имелись специально обученные и очень опытные боевые единицы, которые владели тактикой подобных операций.

Брандт отказался, заявив, что они обойдутся своими силами.

Глава террористов вел переговоры с самыми высокопоставленными лицами Германии, в частности, с Хансом Дитрихом Геншером. Палестинец спускался к Геншеру из захваченной квартиры, уверенный в своей безопасности.

Террористам с заложниками предоставили два вертолета для прибытия на аэродром, чтобы лететь в Каир, где они обещали освободить заложников.

Немцы «хорошо подготовились». Настолько «хорошо», что у группы захвата не было ни касок, ни пуленепробиваемых жилетов. Они плохо представляли себе собственные действия, однако планировали захватить террористов в аэропорту, не собираясь отпускать их в Каир.

Результат их несогласованных и непрофессиональных действий оказался трагическим.

При попытке немцев освободить заложников террорист взорвал гранату. Началась стрельба, бойня, в результате чего все девять заложников были убиты.

В ходе этой позорной операции были убиты также пять террористов. Все это происходило на военном аэродроме в 20 км от Мюнхена.

Три террориста были арестованы и посажены в тюрьму.

Встал вопрос: продолжать ли Олимпиаду? Решили продолжать. Правда, объявили день траура. По этому поводу известный спортивный комментатор тех дней Наум Дымарский писал в своих воспоминаниях, что он в те дни вел по советскому ТВ дневник Олимпиады, и в день траура, когда весь мир скорбел, предложил все равно передать вести с Олимпийских полей. Какой, мол, у нас может быть траур! Однако тогдашний глава советского ТВ его поправил, и в день траура вести с Олимпиады у нас не вышли.

Надо сказать, что информация у нас была скуднейшая и позорнейшая. В советской печати высказывались даже циничные мнения, что это все акция самих израильских спецслужб ради того, чтобы продолжить военную эскалацию на Ближнем Востоке.

Почему-то именно эти бессовестные заявления и зародили у нас, привыкших читать между строк, мысли о причастности наших спецслужб к произошедшему. Ведь именно вор всегда громче всех кричит: «Держи вора!».

…Возвращаясь к тем событиям…

Немцы тогда очень твердо и убедительно заверили главу Израиля Голду Меир в том, что заложники в скором времени будут освобождены. И им поверили. Руководство Израиля даже выпило по бокалу шапанского в честь скорого освобождения своих соотечественников. Каков же был их шок, когда они узнали, что ни один израильтянин не остался в живых.

Горе было огромным.

Игры продолжились.

Три террориста сидели в тюрьме.

Двадцать девятого октября 1972 года — и двух месяцев не прошло после трагедии — группа палестинских террористов захватила самолет компании Люфтганза, следующий из Дамаска во Франкфурт-на-Майне. Требование: освободить трех героев Мюнхена!

Немецкое правительство выполнило это требование!

Через несколько часов их переправили в Ливию на самолете Люфтганзы. Там террористов встретили как героев.

Вот после этого Израиль предпринял свои шаги по обнаружению преступников.

Месть — дело страшное.

Но страшна и цепь событий, приведшая к этой мести.

Израильтяне настойчиво и последовательно искали и уничтожали тех, кого считали виновниками трагедии на Олимпиаде-1972.

КГБ

У меня довольно часто спрашивают за границей, ощущали ли мы на себе давление КГБ.

Я сначала отвечала:

— Да все было спокойно, вот — с запрещенной литературой в метро ездила, никто ни разу не подошел, не задержал…

При этом мы — вторым планом — всегда чувствовали в своей жизни присутствие чьих-то внимательных глаз. Или ушей.

Нередко, во время разговоров по телефону, возникал странный фон, слышалось чье-то дыхание. Было и так: рассказываем друг другу анекдот, самый невинный, смешной, а в трубке вдруг мужской смех. Жутко. Ну, казалось, неполадки на линии, кто-то случайно вклинился. А однажды, когда я рекомендовала подруге какую-то книгу (опубликованную в советском журнале, к счастью), чужой голос вдруг произнес:

— Ты говори, говори, я записываю!

Мы просто дара речи лишились.

Однажды в середине семидесятых зашли в гости к другу мужа. Там много незнакомых людей. Стали знакомиться. И вот один молодой человек говорит:

— Ну, что мне о себе сказать? Вот ты по телефону говоришь? Говоришь. А я тебя слушаю.

— А зачем? — спросила я.

До меня даже не сразу дошло, что он всерьез, я думала — шутка такая.

— Это моя работа. Я — комитетчик.

Они уже и не таились. Или думал, что среди своих…

Опять же — в середине семидесятых — не раз происходили странные звонки.

Я подходила к телефону, молодой мужской голос просил подозвать Татьяну Геселевну.

Танюсю все звали Татьяна Георгиевна, но в паспорте стояло Геселевна. Сразу становилось понятно, что звонит человек, с ней лично не знакомый. Перед ним — лишь фамилия, имя, отчество.

— А кто, простите, ее спрашивает?

— Это из синагоги. Мы с ней в субботу виделись. Я хотел ей посылочку из Израиля передать.

— Вы ошиблись. Вы не могли с ней видеться в синагоге, она ее не посещает. И посылочку нам никто передать не мог.

— Ну, извините, наверное, ошибка вышла.

Видимо, работники комитета обзванивали по спискам всех жителей столицы с определенными фамилиями и отчествами.

Смысл? Видимо, выявляли связи с Израилем.

Нам звонили с этим не раз. Надоели. Я как-то сказала:

— Может, хватит? Надоели уже.

Там засмеялись. Потом, правда, еще позванивали, но гораздо реже.

Однажды, когда я и думать забыла про Горация, мне позвонил его родственник, дядя его матери, то есть — двоюродный дед. Мой «жених» очень любил своего деда и его жену, они действительно были милейшими и интереснейшими людьми. Мы у них не раз бывали в гостях вместе. И вдруг, через несколько лет, звонок. Попросили подъехать. И я поехала. Мне, прямо скажем, не хотелось, но я этих людей уважала, они всегда были милы и добры ко мне.

Вот они мне и стали рассказывать о своих стариковских обидах на «внука». Обиды заключались в том, что он, вернувшись из-за границы, перестал у них бывать. Приехал один раз сразу после возвращения и вел себя очень странно. Он практически молчал. А на вопросы отвечал так: писал ответ на бумажке, давал им прочитать, а потом сжигал эту бумажку в пепельнице!

Учитывая, на кого работал мой друг Гораций, становилось ясно: он твердо знал, что телефон деда прослушивается. И дал им это ясно понять. А они обиделись по-стариковски.

Причем обиделись не на шутку! Они сказали, что знают, как жестоко и несправедливо обошелся со мной их молодой родственник. И предложили отомстить: то ли заявление на него какое-то написать с компроматом, который они мне для этого подкинут, то ли что-то подобное.

От этого я отказалась: ну — это как-то не мое. Я подумала тогда, что старички и не подозревают, насколько близки по духу с Горацием.

А еще, в благодарность за мой визит, они назвали мне имена людей, которых мне следовало остерегаться как осведомителей КГБ! Это было три имени. Одного человека я не знала совсем. С одной дамой мы общались вместе с Горацием, так что контакт оказался обрублен. А одна очень любимая и уважаемая мной женщина оказалась моей непосредственной начальницей. Я им поверила. Мы тепло попрощались. Они мне подарили несколько замечательных книг на память…

Общее же ощущение от некоторых тогдашних мимолетностей, связанных с КГБ, сложилось такое: туда к тому времени набрали очень много случайных и крайне глупых людей. Ну, наподобие тех, кто сейчас охраняет супермаркеты. Эти люди не понимали своих задач, целей, занимались всякой ерундой и были продажны по сути. А вот продажных к любому делу

подпускать нельзя — завалят. Что и произошло.

Чили. 11 сентября 1973 года

Одно из самых сильных потрясений моей жизни, которое лично меня не касалось никак, но коснулось так, что до сих пор ощущаю в сердце занозу. И не потому, что я как-то особенно была политизирована. Но перед глазами всего человечества разворачивалась история великой силы духа и величайшего предательства. Один из ярчайших примеров подлости человеческой и — несгибаемости перед лицом смерти.

Я не могла спокойно начать писать об этом. Такое уже было в этой книге — такие фрагменты, которые дались мне невероятным трудом и болью. Никак не могла подступиться.

Сейчас — об одном из таких моментов человеческой истории в целом, и моей жизни — в частности.

Его надо знать тем, кто тогда еще не жил. Знать, понимать и делать выводы.

В 1970-м году в Чили на выборах победил Блок народного единства. Президентом страны стал представитель блока — Сальвадор Альенде.

Сальвадор Альенде, проводивший коренные преобразования. Например, национализацию крупной промышленности, многие предприятия которой принадлежали корпорациям США. Следовательно, интересы США были затронуты непосредственным образом. В 1971 году была национализирована медь (почти половина мировых запасов меди находится на территории Чили).

Одиннадцатого сентября 1973 года в Чили произошел военный переворот, организованный и оплаченный ЦРУ США.

Рано утром 11 сентября произошел массовый расстрел солдат и офицеров, верных президенту. Их трупы были сброшены в море.

Следующий этап: высадка десанта и захват города Вальпараисо.

Потом предатели пошли на Сантьяго де Чили — столицу государства.

Они захватили телецентр и радиостанции.

К 9-ти утра оставалась только одна радиостанция «Магальянес» («Magallanes») — последняя, поддерживающая президента Альенде.

Эта радиостанция передала миру последнее обращение президента к своему народу.

Во время этой прямой передачи радиостанцию бомбили, а потом она была захвачена мятежниками. Все сотрудники радиостанции были убиты. Весь мир слышал последние слова

погибающих людей, слова чилийского гимна национального единства:

El pueblo unido jamAs serA vensido… (Единый народ никогда не будет побежден, или — Пока мы едины, мы непобедимы)

…Автоматные очереди… Тишина…

Я много раз слушала запись речи Сальвадора Альенде. Меня поражали его спокойствие, уверенность и благородство перед лицом смерти. Его вера в конечную справедливость, его самообладание. Сейчас есть прекрасная возможность услышать голос этого благороднейшего народного лидера. Даже если вы не знаете испанского — это не важно. Я приведу русский текст. Вам достаточно найти в YouTube ролик под названием «Ultima alocuciOn de Salvador Allende en „Radio Magallanes“» («Последнее выступление Сальвадора Альенде на „Радио Магальянес“».)

Некоторые слова заглушены стрельбой.

Вот русский текст:

Соотечественники!

Наверное, это моя последняя возможность обратиться к вам: военно-воздушные силы бомбили радиостанции «Порталес» и «Корпорасьон». В моих словах не горечь, а разочарование, и они будут моральной карой тем, кто нарушил принесенную присягу: военным Чили — командующим родами войск и адмиралу Мерино, который назначил себя командующим флотом, а также господину Мендосе, генералу-подлецу, который еще вчера заявлял о своей верности и преданности правительству, а теперь тоже провозгласил себя генеральным директором корпуса карабинеров.

Перед лицом этих событий мне остается сказать трудящимся одно — я не уйду в отставку!

На этом перекрестке истории я готов заплатить жизнью за доверие народа. И я с убежденностью говорю ему, что семена, которые мы заронили в сознание тысяч и тысяч чилийцев, уже нельзя полностью уничтожить.

У них есть сила, и они могут подавить вас, но социальный процесс нельзя остановить ни силой, ни преступлением.

История принадлежит нам, и ее делают народы.

Трудящиеся моей родины!

Я хочу поблагодарить вас за верность, которую вы всегда проявляли, за доверие, оказанное вами человеку, который был

лишь выразителем глубоких чаяний справедливости и который, поклявшись уважать конституцию и закон, сдержал свое слово. Это решающий момент, последний, когда я могу обратиться к вам. Но я хочу, чтобы вы извлекли урок. Иностранный капитал, империализм в союзе с реакцией создали условия для нарушения вооруженными силами традиции, верности которой их учил генерал Шнейдер1 и которой остался верен майор Арайа2. Оба они стали жертвами тех социальных слоев, которые сегодня отсиживаются в своих домах, надеясь чужими руками вернуть себе власть, чтобы и дальше защищать свои барыши и привилегии.

Я обращаюсь прежде всего к простой женщине нашей страны, к крестьянке, которая верила в нас, к работнице, которая много трудилась, к матери, которая знала, что мы заботимся о ее детях.

Я обращаюсь к специалистам нашей родины, к специалистам-патриотам, к тем, кто все эти дни продолжал работать, чтобы сорвать заговор, в то время как профессиональные объединения специалистов, классовые объединения помогали заговорщикам с целью защитить преимущества, которые дал немногим капитализм.

Я обращаюсь к молодежи, к тем, кто с песней отдавал борьбе свой задор и силу духа.

Я обращаюсь к гражданину Чили — к рабочему, крестьянину, интеллигенту, к тем, кого будут преследовать, потому что в нашей стране уже давно — в покушениях террористов, в взрывах мостов, в разрушении железнодорожных линий, нефте— и газопроводов — ощущалось присутствие фашизма. С молчаливого согласия тех, кто был обязан… 3 Их будет судить история.

Наверное, радиостанцию «Магальянес» заставят замолчать, и до вас уже не дойдет твердость и спокойствие моего голоса. Это неважно. Меня будут слышать, я всегда буду рядом с вами. По крайней мере, обо мне будут помнить как о достойном человеке, который отвечал верностью на верность трудящихся.

Трудящиеся моей родины!

Я верю в Чили и в судьбу нашей страны. Другие чилийцы переживут этот мрачный и горький час, когда к власти рвется предательство. Знайте же, что не далек, близок тот день, когда вновь откроется широкая дорога, по которой пойдет достойный человек, чтобы строить лучшее общество.

Да здравствует Чили!

Да здравствует народ!

Да здравствуют трудящиеся!

Таковы мои последние слова.

И я уверен — моя гибель не будет напрасной. Я уверен, что она будет, по крайней мере, моральным уроком и наказанием вероломству, трусости и предательству.

11 сентября 1973 г.

(Опубликовано: Альенде С. История принадлежит нам. Речи и статьи. 1970–1973. — М.: Политиздат, 1974. — С. 378–380.)

Сейчас считается, что Сальвадор Альенде покончил жизнь самоубийством перед тем, как в помещение, где он находился, ворвались путчисты. Они расстреливали уже мертвое тело (в нем при повторном вскрытии обнаружено 13 пуль).

Это все — победа зла и подлости — произвело сильнейшее впечатление.

И еще. Происходило ужасное. На глаза всего мира. И мы ничем не могли помочь.

Это как в поэме Давида Самойлова «Ближние страны», где поэт описывает свои ощущения во время гибели Варшавы во время подавления фашистами бунта Варшавского гетто. Наши войска стояли на другом берегу. Приказа наступать не было.

…Я их вижу. Прекрасно их вижу!
Но молчу. Но помочь не могу…

Это было на том берегу…

…Путчисты загнали тысячи человек на стадион в Сантьяго. Среди арестованных был и замечательный певец, композитор, режиссер, автор песни Venseremos, воодушевлявшей народ, — Виктор Хара. После жесточайших четырехдневных пыток он был расстрелян. Тела убитых людей путчисты вывозили со стадиона на грузовиках и выбрасывали прямо на улицах. Жена Виктора — Джоан Хара — нашла его тело в городском морге. Грудь его была изрешечена пулями, руки раздроблены. На бирке, приклеенной к плечу, значилось: «Неизвестный. Подобран на улице».

И знаете, что еще было? Во время правления Пиночета запрещены были в Чили народные инструменты. Они ассоциировались с порывом народа к свободе.

23 сентября 1973 года пришло сообщение о смерти великого поэта Чили — Пабло Неруды (лауреат Нобелевской премии 1971 года). Подробностей мы не узнали. Потом выяснилось, что в его дом несколько раз приходили путчисты, обыскивали, грабили. Неруду решено было отправить в госпиталь — ради обеспечения безопасности. Его водитель и охранник свидетельствовал: физически Неруда чувствовал себя хорошо. А после ночи,

проведенной в госпитале, позвонил и сказал, что ему, спящему, сделали укол в живот, от которого ему очень плохо. Вскоре Неруда скончался.

Последние строки биографии Пабло Неруды «Признаюсь: я жил» посвящены Сальвадору Альенде. Поэт писал их сразу после путча, непосредственно перед собственной гибелью:

«Вся деятельность Альенде, имеющая неоценимое значение для чилийской нации, привела в бешенство врагов освобождения Чили. Трагический символ этого кризиса — бомбардировка правительственного дворца. Невольно вспоминается блиц-криг нацистской авиации, совершавшей налеты на беззащитные города Испании, Великобритании, России. То же преступление свершилось в Чили: чилийские пилоты спикировали на дворец, который в течение двух столетий был центром политической жизни страны.

Я пишу эти беглые строки — они войдут в мою книгу воспоминаний — три дня спустя после не поддающихся здравому смыслу событий, которые привели к гибели моего большого друга — президента Альенде. (…)

…Этот замечательный человек ушел из жизни изрешеченный, изуродованный пулями чилийской военщины, которая снова предала Чили». (Пабло Неруда. «Признаюсь: я жил». М., Политиздат, 1978.)

У меня было несколько знакомых студентов и студенток из Чили. Они оказались в жесточайшей ситуации: не получали долгое время вестей от своих родных, не знали, живы ли их близкие. У некоторых, как я узнала позже, действительно погибли братья и сестры.

И вот что еще. Я перебираю в памяти государственных деятелей, президентов… Нет ни одного аналогичного Сальвадору Альенде примера. Примеров трусости, жестокости, алчности, тирании — хоть отбавляй. А вот такого — чтобы в последние минуты жизни обращался — и с каким спокойствием, с какой любовью — к своему народу: женщинам, мужчинам, юношеству…

Нет, не было.

Сальвадор Альенде — уникальный пример Человека.

Мне повезло, что я жила в одно с ним время. Я точно знаю, что такие люди рождаются. Его образ дарил и дарит мне по сей день надежду и свет.

После диплома

В июне 1973 года я получила диплом о высшем образовании. Итак, можно было подвести итоги. Что имелось в моих активах?

Прежде всего, молодость — мне было 22 года — и огромное желание работать, заниматься дальше наукой… Я даже знала, чем именно хотела бы заняться: лексикологией и психолингвистикой. Помимо основного диплома я, занимаясь все годы в научном студенческом обществе психологией, получила специализацию по этому предмету. Кроме того, я закончила Госкурсы иняз (испанский язык), читала по-немецки, по-сербохорватски, по-польски.

Я печатала на машинке с огромной скоростью.

Я была полна энтузиазма и верила, что пригожусь стране со всеми своими честными знаниями и умениями.

Но я не пригодилась. В общем-то, я никому не нужна была даром. То есть — теоретически — во многие места требовались люди с дипломом и с другими моими данными. Но когда я приезжала, протягивала свой диплом и паспорт, выражение лиц у людей менялось, и оказывалось, что да, человек им нужен был, но вот только что, понимаете ли, взяли… Буквально пять минут назад.

Не надо было быть ясновидящей, чтобы понять причину. Фамилия моя работодателей не устраивала. Я почти ежедневно в течение трех месяцев ездила по разным гипотетическим местам работы, которые подсказывали наши знакомые доброжелатели. Все — мимо.

Не буду описывать свои чувства. Это лишнее.

Скажу только: мне казалось очень стыдным жить за счет Танюси. Ну, это просто неприлично было. Родители ничем помогать не собирались. Я была взрослой, с высшим образованием. Да я и не осмелилась бы у них попросить. Собственно, папа по настоянию своей жены перестал мне помогать сразу после того, как мне исполнилось восемнадцать. Ну, и правильно. Я подрабатывала всегда. А тут что-то совсем край пришел. Меня даже в школу не взяли, хотя там точно требовались учителя русского языка. Дело в том, что начался массовый выезд евреев в Израиль, а у начальства из-за отъезжающих возникали неприятности. Поэтому брать по своей воле на работу человека с говорящей фамилией было слишком большим риском.

Я стала сникать. Вообще-то я держалась долго, бодрилась. Но тут что-то мне стало плоховато.

Танюся, видя происходящее, задумчиво сказала как-то:

— Может быть, тебе взять материнскую фамилию?

— А может, мне в Израиль уехать? — возмутилась я.

Такой мысли не допускали ни она, ни я. Но мысль возникла. От очень плохой жизни.

В конце концов нашлась какая-то контора в районе Арбата, где требовалась секретарша. Я была готова — и с радостью — идти в секретарши.

Пришла на очередную пытку, не ожидая ничего хорошего. Меня встретил сам начальник этого заведения (жаль, совсем не помню, что это было за место — память сработала четко, стирая кошмарные воспоминания). Это был красивый человек в возрасте моего отца. На пиджаке его я увидела орденские планки. Фронтовик.

Он смотрел на мои дипломы, анкету, на меня. Потом сказал:

— Взять-то я вас возьму. Но как же вам будет работаться тут? На этой должности?

— Прекрасно будет работаться, — сказала я.

Я видела, что он мне сочувствует, и заставила себя не разреветься. Да и не из-за чего было — я же получала работу, на остальное плевать. Семьдесят пять рублей в месяц! И я больше не сижу на шее у тети. Что еще нужно для счастья?

А вечером позвонил наш дальний-дальний родственник, работавший в Союзе кино, и предложил должность нормировщицы в Бюро пропаганды советского киноискусства. За 90 рублей в месяц. Естественно, от такого богатства не отказываются.

Я поехала, написала заявление, меня приняли тут же. В этом заведении фамилией моей испугать кого-либо было трудно. Тем более должность моя — ниже мышиной норы.

Я позвонила тому человеку, который благородно брал меня в секретарши, и сказала, что нашла другую работу.

— По специальности? — спросил он.

— Нет, нормировщицей. Но там зарплата девяносто рублей.

Он меня поздравил. Мы попрощались.

А я вот всю жизнь его помню. Хороший человек.

Выйдя на работу, я ожила. Воспрянула духом.

Мне нужен был передых. Прекращение мучений от чувства, что я тунеядка. Тем более Танюся реально и всерьез очень боялась, что я сижу без работы: существовала уголовная статья. Если человек не работал в течение трех месяцев, его могли отправить на исправительно-трудовые работы за тунеядство. Я уже подпадала под статью.

Мы были совсем одни. И нам было страшно.

Все это время поисков работы я словно вела двойную жизнь. Сказалась моя черта характера, которую я тогда еще не осознавала, а сейчас понимаю вполне. В момент трудностей я полностью замыкаюсь в себе. Я не рассказываю о своих испытаниях и мучениях никому — иначе я просто не переживу всего, что мне выпадает. Я делаю вид, что у меня все хорошо. Это не обман, не притворство. Это такой способ спастись. Так вот — никто из моих подруг и друзей даже не догадывались, через какой ужас я прохожу. Я встречалась с друзьями, ходила в компании, как бы даже развлекалась. Мне говорили, что я прекрасно выгляжу.

Я, стало быть, удар держала.

Работа моя заключалась в том, чтобы, сидя в бухгалтерии, заносить в амбарную книгу адреса, по которым рассылались заказы на продукцию Бюро пропаганды: открытки с фотографиями артистов кино и буклеты. Я целыми днями этим занималась. Такое испытание. Был в нем смысл? Наверное. Только я до сих пор его не постигла. Впрочем, другим приходилось гораздо туже. О чем говорить.

Я все мечтала прежде, что, закончив институт, начну писать — рассказы, повести. С одной стороны, займусь наукой, а параллельно буду писать. Но поиски работы и сидение в бухгалтерии завели меня в тупик. Я была не в состоянии думать вообще. Какое-то время просто существовала. Меня вроде и не было тогда…

В начале 1974 года мне предложили перейти в издательский отдел — там же, в Бюро, на должность корректора. Я обрадовалась — это звучало очень обнадеживающе. И даже зарплата оказалась повыше. На деле я сидела в подвале маленькой типографии и целыми днями почти ничего не делала, работа у меня появлялась редко, от силы раз в неделю что-то надо было откорректировать. Однако зарплату платили.

Еще удивительно: на работу нельзя было опаздывать — трудовая дисциплина! Бежишь бегом, чтобы успеть минута в минуту… А потом сидишь целый день без дела. Так «работали» во многих местах: во всяких НИИ, бюро, конторах…

Жизнь продолжалась. Я теперь жила, ничего не планируя и не понимая, что со мной будет дальше. Встречалась с какими-то молодыми людьми, мне делали предложения выйти замуж, которые для меня звучали совершенно бессмысленно…

Я понимала, что должна отойти от состояния шока. И потихоньку это получалось.

Сколько бы так продолжалось?

У Танюси тем временем начались серьезные проблемы со

здоровьем. Она днем как-то держалась, ездила на работу… А к вечеру у нее поднималось давление — катастрофически. И почти каждый вечер приходилось вызывать «скорую». Весь накопившийся стресс, все ее невосполнимые потери, все ее стремление достойно пережить ужасы, трагедии и неприятности — всё проявлялось в этих гипертонических кризах. «Скорая» приезжала, делали уколы магнезии. Через короткое время давление падало, можно было ложиться спать, а я спать почти не могла — от страха за Танюсю. Сидела рядом с ней и слушала: дышит ли.

А дальше…

К началу 1974 года я стала приходить в себя.

Я объяснила себе раз и навсегда: у меня все Хорошо.

Работа — какая-никакая у меня имелась. Я не сидела ни на чьей шее. Одно огорчало: я очень скучала по интеллектуальной деятельности. Казалось бы, на работе, где ничего не надо делать, только присутствовать, можно было бы заняться творчеством. Но — не получалось. Наши типографские женщины с утра громко обсуждали прошедший вечер и ночь с мужьями, планируемые покупки… Потом собирались, шли на близлежащий рынок, покупали еду, готовили обед (!!!), обедали… Душный быт душных теток. У меня не получалось думать. Но, к счастью, удавалось читать.

В начале марта 1974-го выдалось сразу несколько выходных: Женский день плюс суббота — воскресенье. Я собиралась пойти в гости к подруге отмечать 8 Марта.

Надо сказать, что все отмечания чего бы то ни было в те времена сводились исключительно к выпивке. Собирались парни-девушки, выпивали… Разбредались по комнатам. У кого не было пары, продолжал выпивать… Мне всегда жалко было времени на подобное веселье. Скучно непьющему человеку среди пьяных. А — повторю — поколение наше пило. И очень крепко. И малообразованные, и студенты, и молодые специалисты… То ли от скуки, то ли от безысходности… Не берусь анализировать. Только констатирую факт.

В любом случае — я обещала быть на вечеринке.

Танюся вдруг взмолилась:

— Помоги мне доехать до Ларисы Ефимовны.

Лариса Ефимовна Трофимова была вдовой ее любимого начальника Захара Трофимовича. Они порой созванивались, но встречались редко. И вот сейчас Танюся собралась навестить Ларису Ефимовну, а одна из-за плохого самочувствия ехать опасалась. Я очень долго отговаривалась, но она так жалобно просила меня… Я подумала: «Ладно, наряжусь на вечеринку, съезжу с Танюсей к ее знакомой, посижу-поскучаю, пока они пообщаются, потом отвезу ее домой, и сразу в свои гости».

Поехали.

…Дверь нам открыл крупный молодой человек в тренировочных штанах с обвисшими коленями, непричесанный. Ха! Тот самый замечательный и примерный мальчик Тёмочка… Вырос-то как!

Он как-то охнул и убежал в свою комнату, впустив нас.

Вернулся через пару минут уже в джинсах (то есть при полном параде), умытый…

Танюся и Лариса Ефимовна немедленно удалились, оживленно беседуя, а мы отправились в комнату Тёмы и принялись общаться.

…Он позвонил мне через день после нашего знакомства. Выдерживал время. Я к тому моменту поняла, что влюбилась по уши. Мало того — я думала о том, что встретила человека, от которого мечтала бы иметь детей. Такое чувство — понимание, что встретила отца своих детей — возникло у меня впервые.

Он сказал, что влюбился в меня с первого взгляда.

Мы встречались каждый день. И через месяц подали заявление в загс.

Только после свадьбы мы узнали, что Лариса Ефимовна и Танюся специально организовали нашу встречу, ничего не сказав нам. Решили познакомить, а там — дело наше.

Так и повернулась вся моя жизнь. Случайная неслучайность. Неслучайно, как оказалось, познакомились. И случайно полюбили друг друга.

Я нисколько не опасалась, что мало знаю своего жениха. Ну — разве это мало? Ведь Танюся так хорошо знала и любила семью Захара Трофимовича! А Тёму мне ставили в пример с детства. Казалось бы, лучших гарантий быть не может.

29 июня 1974 года мы поженились и в тот же вечер после праздничного обеда у нас дома в кругу друзей и самых близких уехали на две недели в Гагру.

Тут, между делом, как всегда в жизни, всплывает история судьбы, типичной для предшествующих нам поколений.

В Гагре нам заранее подыскала жилье дочь подруги Ларисы Ефимовны. Подругу звали Тамара Артамонова, она была урожденная дворянка, вышла замуж за офицера Красной армии, родилась у них дочь Иоланта. Муж Тамары был боевым офицером, преподавал в Академии имени Фрунзе. Тамара любила общество, устраивала у себя на роскошно обставленной даче застолья. А Иоланта в начале 50-х стала встречаться с американцем. (Помните судьбу актрисы Зои Федоровой? — Ну вот, не одна она такая была.) Видимо, в связи с этими встречами за семьей было установлено наблюдение, подослан провокатор. И вот однажды, когда в очередной раз на даче у Артамоновых собрались гости, встал человек, который впервые оказался у них, и произнес первый тост, как полагалось, за Сталина. А Тамара, властная и безбоязненная дама, тут же поднялась и высказалась:

— В этом доме за Сталина не пьют!

Дальше — сценарий известный.

Отца семейства разжаловали, лишили званий и наград за то, что плохо воспитывал жену.

А мать и дочь отправились в лагеря.

Их освободили в конце пятидесятых. На вокзал — встречать старую подругу — смело отправились Лариса Ефимовна с Захаром Трофимовичем.

Я Тамару Артамонову очень хорошо помню: она часто гостила у своей подруги Люси (так называли Ларису Ефимовну близкие). Тамара сохранила жизнелюбие, железную волю, отвагу, активность. Участвовала в работе комитета, касающегося репрессированных. Свою деятельность она объясняла так:

— Понимаешь, Люська, я не могу без общества, мне необходима светская жизнь…

Красавица Иоланта, освободившись, через какое-то время вышла замуж за грузинского режиссера, родила сына.

Вот она-то и устроила нам медовый месяц в Гагре.

Обычная судьба обычных женщин.

Или необычная — необычных?

Вот бы и жить нам поживать да добра наживать.

Ведь как хорошо: ровесники, полюбили, жить есть где, оба с высшим образованием (муж закончил Первый мед)… Совет да любовь! Мама мужа — благословила. Родителей в тот год как раз переводили на новое место службы — в Новосибирск. Мы ждали, что они прилетят на свадьбу, но мы получили телеграмму, что в Новосибирске эпидемия холеры, карантин. Я поверила и всем объясняла, что родителей мужа нет из-за карантина. (Не все мне верили — и были правы, только врала не я, я лишь распространяла ложь.) Просто отец, занимавший высокий пост в армии, опасался девичьей фамилии жены сына.

Лучше бы уж напрямую сказали…

Вскоре выяснилось и другое.

Но об этом — позже.

Родилась у нас доченька.

Я перешла на работу по специальности — преподавателем русского языка для иностранцев в вуз.

Потом родился сынок.

Кафедра, на которой я работала, рекомендовала меня в очную целевую аспирантуру — о таком счастье я не смела даже мечтать…

При этом — фоном — происходили странные вещи.

Фэн-шуй

Вот мы сейчас внимательно прислушиваемся к рекомендациям китайских мудрецов. Как и что нам расставить по углам и в центре, чтобы энергия вливалась и выливалась гармонично и в должном количестве.

Вся эта хрень называется фен-шуй. Ну, типа, ты расставишь все, как положено, картинку повесишь, какую надо куда надо, зеркало навстречу входной двери ни-ни, и все пойдет в дому, как в сказке — «по моему велению, по моему хотению».

Не знаю, может быть, мы чего-то не так поняли, переводя с китайского, или китайцы что-то недоучли… Я у них такой фэн-шуй видела, что хотелось скорее бежать со всех ног куда подальше. Правда, может, на то и было рассчитано… По принципу «бей своих, чтобы чужие боялись»… Да и нам этот принцип фэн-шуя не чужд. Увы.

Короче, что-то там не то… Что-то требуется осмыслить окончательно. И тогда наступит полное счастье. А то пока никак…

Приведу пример из далекой моей ранней молодости.

Я замуж вышла рано. По нынешнем временам — очень рано. И все мне завидовали. Прям так мне свезло — слов нет. Мой жених был сыном генерала. И внуком аж целых двух генералов.

Я тогда этому не придавала никакого значения (по наивности). Ну, генералы — и молодцы. Что мне с того? Я собиралась много учиться, много работать, рожать (много) детей, жить с мужем до старости и умереть, держа его руку в своей. Вот такой у меня фэн-шуй предполагался. Интересно — какую корысть можно усмотреть в этих девичьих намерениях?

Зря я так легко ко всему этому относилась — вот что можно сказать, когда река времен унесла кое-какие обломки моей прежней жизни далеко и безвозвратно.

На каждом генерале (олигархе, а также любом высокопоставленном индивидууме) я бы повесила табличку: «Не подходи — убьет». Они ж не зря корячились, своего в жизни добивались. Им потом требуется особый подход. В общем, это люди с фантазией, так бы я сказала. И никогда не знаешь, про что они фантазируют. Потому как простым смертным сие не ведомо. И еще — они очень начинают бояться за свое имущество. Просто панически. Как не генералы и олигархи, а кошки бродячие на помойке.

С большим удивлением я вглядывалась в быт и нравы неведомого мне племени.

Надо сказать, что один дед моего мужа очень ко мне привязался. Он часто звал нас в гости, ездил ко мне (вернее, теперь уже к нам — муж жил у меня). И старый генерал рассказывал мне (а слушателем я была очень благодарным, готова была часами слушать) об эпизодах своей прошлой жизни. Очень-очень интересных эпизодах. Мы подружились. Хорошо общались.

Есть в этом что-то плохое?

Потом дедушка заболел. Ему было за 80…

Мы поехали в госпиталь навестить. А нас не пустили! Мама-генеральша (то есть — моя свекровь), тяжело переживавшая наше общение со стариком, не велела пускать своего сына с женой (то есть — мной) в палату к больному. Чтоб не беспокоить… А дед ждал, обижался…

Она, как я потом, спустя десятилетия, поняла, очень волновалась из-за наследства. Но все оказалось в полном порядке. Дедушка умер. И никаких шероховатостей с имуществом не произошло.

А я чего-то сильно горевала по деду. Успела к нему привязаться. И вот похороны.

Поскольку он был генералом важным, известным, панихида проходила в Центральном Доме Советской Армии, куда съехались члены политбюро и другие официальные лица. Бегал полковник-распорядитель, всех провожал к гробу рассаживал.

Сначала все сидели в общем зале. А потом распорядитель сказал: «Члены семьи пусть пройдут в зал для прощания. А остальные пока сидите тут». Мы с мужем встали. (Кстати, к тому времени у нас уже было двое детей.) И тут свекровь очень громко и четко произнесла, обращаясь ко мне: «Ты за нами не ходи».

То есть — я объявлялась «не членом». Муж устремился вперед.

Мне хотелось попрощаться со своим ушедшим в мир иной старшим другом. И это получилось сделать. Правда, несколько позже.

Однако ситуация мне показалась странной. Обидной. Может, я не права, но если жена сына — не член семьи, что-то в этом есть, а?

Но, как водится у нас, стала я искать причины в себе. Наверное, я чем-то не удалась. Может, происхождением. Может, рылом… Какой-то у меня не тот фэн-шуй. Так мне казалось.

Надо бы мне удивиться тому, что мой муж и отец наших детей отнесся ко всему происходящему как к норме. Поискать в нем причину. И тогда уже что-то решить, понять, осознать. Что именно? Ну хотя бы то, что тебя в любой удобный момент кинут

вот так вот, как сейчас. Тоже — закон фэн-шуя, кстати. Один раз претерпишь подобное унижение — будет повторяться и повторяться, пока не разрушат тебя напрочь.

Надо бы… Надо бы…

Но законы фэн-шуя на моей родине постигаются долго и мучительно. С самообвинениями и поисками внутреннего Буратино.

А тут вот увидела картинку. Советую каждому повесить ее у себя дома на стене, чтоб фэн-шуй соблюсти с честью.

На картинке Зигмунд Фрейд, отец психоанализа. И фраза в облачке изо рта, которую он будто бы произносит: «Прежде чем диагносцировать у себя депрессию или пониженное самоуважение, убедитесь, что вы не окружены полными му… аками».

Гениальный закон фэн-шуя.

И мой совет: гоните м-ков прочь. И ваша энергия вернется к вам во всем своем великолепии.

Но мне долго пришлось это дело постигать.

Такие приключения были — обзавидуетесь.

Свидетель преступлений и славы отечества

Я напишу в этой главе о человеке, вошедшем в историю. Он в годы войны командовал Московским военным округом, обороной Москвы на ближних подступах. Легендарный парад в ноябре 1941, с которого бойцы шли защищать Москву, проходил под его командованием. Мне суждено было с ним породниться — это прадед моих детей. Мой младший сын назван в честь него, и стал полным его тезкой — Павел Артемьевич Артемьев.

Знакомство наше произошло почти сразу после нашей с Артемом свадьбы. Вернулись с Черного моря и поехали на улицу Горького, к дедушке и бабушке.

Началось знакомство. Один из первых вопросов — для затравки — о моей девичьей фамилии. Они, конечно, знали, но с чего-то же надо было начать.

Я ответила.

И тогда Павел Артемьевич принялся рассуждать. Он четко и вполне доброжелательно рассказал мне о том, что говорил о евреях товарищ Сталин. Я росла совсем в другой среде, в которой товарища Сталина не цитировали. Мне, собственно, прямо скажем, дела никакого не было до сталинских мыслей. Но что делать? Оказалось, Сталин делил евреев на ненадежных, непоследовательных космополитов и верных коммунистов.

— Например, Каганович, — сказал Павел Артемьевич, — верный и последовательный коммунист.

Я не понимала, почему при первом знакомстве с дедушкой мужа должна выслушивать странные рассуждения о хороших и плохих евреях. Кстати, в гитлеровских концлагерях тоже существовало такое понятие. Хорошим (полезным) евреям позволено было прожить несколько дольше, чем плохим.

Что дальше?

Потом я поняла, что, рассуждая со мной на тему евреев, Павел Артемьевич давал мне понять, что мне надо будет как-то себя проявить, чтобы последователи товарища Сталина могли причислить меня к хорошим.

— А русские, — спросила я, — они как? Делятся или нет? У меня мама русская.

— Иосиф Виссарионович очень любил и ценил русский народ.

Уже хорошо.

Потом эта тема развеялась, пошел обычный человеческий

разговор. Ефросинья Никифоровна накрыла на стол, пили чай…

В общем, знакомство прошло в теплой дружеской атмосфере, как принято было тогда говорить. Потом мы часто встречались. Павел Артемьевич приезжал к нам, мы, естественно, ездили к нему. Когда на свет появилась Оленька, одно лето провели у него на даче в Химках… Замечательное лето… Там, в Химках, зародился наш второй ребенок — сын Захар.

Павел Артемьевич много рассказывал о себе и о Ефросинье Никифоровне, с которой прожил всю жизнь — от ранней молодости до глубокой старости. Жена его, в девичестве Нечипоренко, из рода знаменитых казаков Запорожской Сечи, обладала сильным характером и редкой преданностью.

Но — расскажу все по порядку. Кое-где мне придется сделать небольшие экскурсы в детали истории для тех читателей, кто еще не знает, что происходило в нашей стране больше века назад, например.

Волей судьбы прадед моих детей стал свидетелем и участником крупнейших (а часто и загадочнейших) событий истории нашей Родины.

Павел Артемьевич Артемьев родился в русской патриархальной многодетной крестьянской семье 29 декабря 1897 года в деревне Лисичкино (ныне Новгородской области). Здесь столетиями обитали его предки. Из поколения в поколение уклад жизни оставался практически незыблемым, пока не грянули судьбоносные перемены в жизни империи, пока крестьянство, обретшее долгожданную независимость, не принялось нищать и не подалось на заработки в города в поисках лучшей доли. А зачастую даже не доли, а просто — лишнего куска, чтобы прокормить голодные рты. Так поступил отец Павки (так его называли в семье) Артемий Артемьев, отправившийся в Петербург и поступивший рабочим на Путиловский завод. Его трудами кормились более десяти человек.

Когда Павке исполнилось семь лет, отец взял его из деревни к себе, на завод, чтобы приспосабливался к труду и не был лишним ртом в семействе. Тут, в Петербурге, и произошло то, решившее всю судьбу маленького пока еще человека, событие. Отнюдь не частное. Скорее — грандиозный исторический катаклизм, причины и детали которого до сих пор не ясны историкам. И вряд ли будут окончательно прояснены. Хотя в общих чертах все известно. И вполне хрестоматийно.

И правда — ну кто не помнит о событиях 9 января 1905 года? Кровавое воскресенье — спроси у любого, скажет сразу. И чье юное сердце не откликнулось на рассказ школьного учителя о рабочих, шедших с иконами, хоругвями и портретами царя подавать главе самодержавной России прошение об улучшении их ужасной участи, но жестоко, в упор расстрелянных казаками?

Это возмутительное событие, ставшее началом Первой русской революции и — шире — началом конца императорской России поражает своей бессмысленностью.

Лично меня, даже ребенком, даже воспитанным в духе полного неприятия царизма и всего нашего с вами прошлого, в первую очередь взволновали очевидные вопросы: почему царь не вышел к народу, почему открыли огонь по безоружным, почему все это неясно называлось провокацией и против кого, собственно, эта провокация затевалась. Именно потому, что вопросы остались загадкой, эти события не вычеркнуты сознанием, как многие другие исторические факты, а продолжают будоражить и волновать.

К началу 1905 года положение в стране было предельно обострено. Русско-японская война. Потери и унижение армии. Накануне под натиском японцев на Дальнем Востоке пала крепость Порт-Артур. Ослабления и поражения России жаждали не только внешние враги России, но и внутренние «бесы»-разрушители, уже многие годы подтачивавшие основы государственного строя страны. Среди рабочих крупных заводов (не забудем, что рабочие эти были в массе своей вчерашними доверчивыми и основательными крестьянами, плохо сориентированными в новой для них обстановке) велась разрушительная агитация со стороны целого ряда группировок: большевиков, меньшевиков, эсеров-террористов, анархистов и проч., и проч. Положение же рабочих и впрямь было таково, что молчать становилось невозможно: рабский труд, мизерная заработная плата, чудовищные условия труда и быта побуждали к действию даже самых терпеливых и молчаливых.

Январь 1905-го ознаменовался стачкой рабочих Путиловского завода, которая перекинулась на другие промышленные предприятия города. Требования рабочих удовлетворены не были. Надеяться оставалось лишь на царя, который один, по наивной народной вере, мог заступиться и подсобить.

Из петиции рабочих царю: «Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но

нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся…

Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмеливался поднять голос в интересах рабочего класса и народа, бросают в тюрьмы, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу…

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть — умереть всем нам, трудящимся людям России?»

Сейчас, более чем век спустя, можно дать однозначную стилистическую характеристику воззвания: оно носит явно провокационный характер. Темпераментная риторика, отсутствие конкретных фактов и призыв к смерти — все это характерные черты революционной пропаганды, оказавшейся впоследствии весьма действенной.

Однако надо подчеркнуть, что подавляющее большинство рабочего люда, собравшегося в то январское воскресенье на мирное шествие к императору, с текстом петиции знакомы не были и умирать не собирались. Ими двигала вера в доброго царя, не знающего о масштабах произвола и безобразиях, царящих в стране.

Рано утром в часовне Путиловского завода отслужили молебен о здравии царя. Со всех концов Петербурга двинулись люди к Зимнему дворцу. В целом историки называют колоссальное количество участников мирного шествия — около 140 тысяч человек. Шли с иконами, хоругвями, портретами царя, пели молитвы и «Боже, Царя храни». Большинство собралось как на праздничное гуляние: с женами, ребятишками.

Однако в город заранее были стянуты войска и приведена в боевую готовность полиция. Такие же православные русские люди, как и те, кто шли к царю с челобитной.

И произошло непоправимое: свои расстреляли своих — братьев по вере, языку, крови. Великий провидец поэт Максимилиан Волошин писал в 1905 году:

О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь! Я ведаю вам счет!
Я камни закляну заклятьем вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет.

(«Ангел мщенья»)

Гремели залпы, падали один за другим убитые, падали простреленные иконы и портреты государя.

Рабочий Путиловского завода Артемий Артемьев нес на плечах семилетнего сынишку, как и многие рядом. Они надеялись, что детям удастся посмотреть на царя, когда тот выйдет к ним — к своим верноподданным.

Когда зазвучали выстрелы, отец мгновенно среагировал. Он схватил Павла в охапку, перебросил его через ближайшую ограду и приказал лежать, не поднимая головы, что бы ни происходило. Мальчик в точности исполнил приказ: лежал до наступления темноты среди мертвых и раненых. На холоде, свернувшись в клубок и боясь дышать, чтобы не увидели пар изо рта и не добили живого. Потом отец нашел его. Они остались целыми-невредимыми. Но это были уже совсем другие люди.

Мистическое значение этого события в жизни народа трудно переоценить. Произошло убийство веры и надежды. Чем заполняется душа народная и человеческая после подобного опустошения?

Возвращаясь к не решенным в детстве вопросам, приведу следующие факты и соображения. Как ныне известно, царь в тот день в Петербурге не был. Однако надежды рабочих на встречу с ним подогревались тем, что императорские штандарты, приспускавшиеся во время его отсутствия в столице, в тот день были подняты, недвусмысленно обозначая его присутствие. Именно эти предательски поднятые штандарты и отвратили народные массы от царя, не вышедшего к просителям, пренебрегшего страданиями подданных.

Существует также ряд свидетельств того, что не войска начали стрелять первые по безоружным, а, напротив, сначала раздались одиночные выстрелы со стороны толпы, на что и было отвечено огнем.

Кому же нужно было чудовищное кровопролитие? И против кого затевалась провокация, в ходе которой жизни людей были лишь мелкой разменной монетой?

Похоже, что именно государь и был объектом провокации. Он оставался в проигрыше в любом случае. Пребывал бы во дворце и вышел бы к народу, скорее всего был бы убит выстрелом из толпы (деда его, Александра Второго, царя-освободителя выбрали в качестве жертвы «народные заступники» и успешно осуществили задуманное).

В случае его отсутствия достаточно было спровоцировать стрельбу.

Все получилось по замыслам народных растлителей. Лучше нельзя было и представить, ибо штандарты, обозначавшие, что царь рядом и — пренебрег, делали его образ не просто непривлекательным, а отвратительно преступным.

Эти детали указывают, что провокация была, скажем так, двусторонней: как со стороны бунтовщиков, так и со стороны некоторых приближенных императора. Окруженный со всех сторон врагами режима и личными недоброжелателями, царь был обречен.

Но чтобы понять причины и следствия, надо отдалиться на значительный временной промежуток.

Жизненный путь ребенка (и далеко не его одного) был предрешен пережитым 9 января 1905 года кошмаром.

Из справки Министерства обороны Российской Федерации: Артемьев Павел Артемьевич, советский военачальник, генерал-полковник (1942). На военной службе с 1918. Окончил Высшую пограничную школу (1925), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1938), курса при Высшей военной академии (1949). Участник Гражданской войны в России: минер-подрывник, затем политрук роты, военком батальона. С 1921-го проходил службу во внутренних и пограничных войсках: военком Екатеринославского кавалерийского полка, затем 91-й дивизии войск ОГПУ (с 1923). С 1926-го комендант пограничного участка, с августа 1931-го командир полка внутренних войск, с февраля 1938-го начальник Новопетергофского военно-политического училища пограничных и внутренних войск НКВД…

…Из всех видов войн самые страшные — войны гражданские. В них нет победителей. Они братоубийственны. Им нет и не может быть оправдания. После подобных войн у народа путь один: очередной виток вековечного рабства. Доказано многими историческими примерами. Но каждое поколение проживает свой путь без оглядки на историю.

На склоне лет, в конце семидесятых годов, Павел Артемьевич не раз рассказывал мне об одном эпизоде из его боевой молодости. По его словам, он долго охотился за главарем «белобандитов», устраивал засады в населенных пунктах, выслеживал и в конце концов поймал. Одолел, связал. И повез связанного врага на телеге через лес к своим.

Белый офицер, крупный человек, богатырского телосложения,

которым тогда отличались русские люди, какое-то время молчал, а потом сказал:

— Знаешь, а ведь я давно мог тебя убить. Много раз на мушке держал. А рука не поднималась — ты же свой, русский, православный. Красивый парень. Тебе жить и жить. Вот я тебя и пожалел. А ведь ты меня не пожалеешь!

— Не пожалею, — ответил Павел Артемьевич.

Не пожалел.

Зачем старый генерал несколько раз повторял эту ужасавшую меня историю, всегда заканчивая словами: «Не пожалел»?

Сильный был человек, упрямый, не из тех, кто сомневается. А вот что-то к концу жизни не давало покоя, цепляло. Он словно бы опоры искал, поддержки. А как тут было поддержать, когда почему-то страшно становилось, не дай Бог как. Ведь не помешать, не вернуть, не изменить.

…Не пожалел…

А пока Павел Артемьевич охотился за врагами советской власти в лесах Белоруссии, Ефросинья Никифоровна вынашивала дитя. И вот в 17 октября 1926 года начались роды. Молодая женщина оставалась одна, муж находился на службе. Но он, зная, что жене может потребоваться помощь, послал к ней фельдшера. Фельдшер в дом войти не смог: Ефросинья Никифоровна заперла дверь. Не собиралась она рожать при мужчине. И вот пришлось фельшеру стоять под окнами и ждать — мало ли, вдруг все-таки позовет.

Наконец послышался крик младенца.

— Ефросинья Никифоровна, у вас все в порядке? — спросил фельдшер.

В ответ тишина.

Тогда фельдшер взмолился:

— Отзовитесь, скажите хотя бы, кто родился, я Павлу Артемьевичу сообщу.

— Мальчик, — услышал он ответ.

Так на свет появился их единственный сын, Октябрь Павлович Артемьев, ставший впоследствии генерал-лейтенантом.

«Преданный без лести»… Так характеризовал Пушкин Аракчеева в своей знаменитой эпиграмме. И мы, не вдумываясь, воспринимали эту черту царского приспешника Аракчеева как нечто отрицательное и достойное осмеяния.

А если объективно, то нет ничего ценней для царей, вождей и

лидеров любых мастей, чем преданные им без лести (т. е. — без обмана и лукавства) соратники и подчиненные. Именно таким, преданным без лести раз и навсегда принятым идеалам и вождю оставался всю свою жизнь генерал Артемьев. Немногословный, основательный, надежный, крепкий, мужественно-красивый редкой сейчас русской красотой, он внушал безусловное уважение подчиненным и вызывал доверие начальства.

В 30-е годы карьеры делались стремительно: неумолимые репрессии, чистки руководящих кадров были тому причиной. Люди быстро взбирались на вершины власти и столь же стремительно падали с едва покоренных вершин, оказываясь в камерах смертников, в лагерях, ссылках.

И над все этим ползучим братоубийством сияла и искрилась народная любовь к Сталину.

Замечательная шведская писательница Сельма Лагерлёф (1858–1940) задумывалась о феномене народной любви к своему лидеру на примере кумира шведов короля Карла XII:

«Я думаю о короле Карле XII и пытаюсь представить себе, как люди любили его и как боялись. (…)

Он был солдатским королем и привык к тому, что солдаты охотно шли за него на смерть. Но здесь, в церкви, вокруг него были простые горожане и ремесленники, простые шведские мужчины и женщины (…). Однако стоило ему только показаться среди них, и они уже подпадали под его власть. Они пошли бы за ним в огонь и в воду, отдали бы ему все, чего он пожелает, они верили в него, боготворили его. (…)

Я пытаюсь вдуматься во все это, я пытаюсь понять, почему любовь к королю Карлу могла безраздельно завладеть человеческой душой и так глубоко укорениться даже в самом угрюмом и самом суровом старом сердце, что все люди думали — любовь эта будет сопутствовать ему и после смерти».

И мы задаем себе вопрос о природе любви нашего народа к Сталину. Хотя и понимаем, что не найдем ответа. Только догадки о некоем магнетизме и обаянии власти, которыми обладали единицы в истории человечества.

Из дневников К. Чуковского (1936 год): «Вчера на съезде сидел в 6-м или 7 ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я подошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом! А ОН (так у Чуковского — ОН — заглавными буквами) стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к

власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими-то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: „Часы, часы, он показал часы“ — и потом, расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему, и оба мы в один голос сказали: „Ах, эта Демченко, заслоняет его!“ (на минуту).

Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью…»

У кого-то позже открылись глаза, кто-то стряхнул с себя магическую пелену.

Генерал Артемьев до конца дней оставался верен своему вождю и своим идеалам. Он был прирожденный солдат. Его сердце не знало измены. Он был такой. И оставался собой до конца. Не ввязываясь в споры, диспуты. И не отступая.

В июне 1941 года Павел Артемьевич Артемьев был назначен командующим войсками Московского Военного округа. К войне с Германией страна оказалась трагически не подготовленной.

В мае 1941 года, традиционно выступая перед выпускниками военных академий, Сталин признал, что военные учебные заведения недостаточно оснащены современной техникой, указал на консерватизм преподавателей и плохую работу снабжающих органов. Главным в выступлении Сталина был вывод о необходимости превращения РККА в «самую нападающую армию в мире» и о перестройке в связи с этим всей воспитательной и боевой подготовки войск.

Германия деятельно стягивала войска у западных границ Советского Союза. Не заметить эту милитаристскую активность было невозможно, западная печать реагировала на поступавшие сведения о близкой войне Германии и СССР. Однако 14 июня 1941 года ТАСС обнародовал сообщение о беспочвенности слухов, касающихся подготовки Германии к войне против СССР, в котором заявлялось, что муссирование в иностранной печати подобных слухов является «неуклюже состряпанной пропагандой». Германия, как и СССР, «также неуклонно

соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении», — утверждалось в сообщении ТАСС.

Лишь в самый канун войны, а именно — 21 июня 1941 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), проходившем при участии начальника Генштаба, наркомов обороны, Военно-морского флота и Госконтроля, обсуждался вопрос о возможном нападении Германии. В пограничные округа в 00 часов 20 минут от имени Наркомата обороны и Генерального штаба была направлена Директива № 1, предписывающая в ночь на 22 июня скрытно занять огневые точки укрепрайонов, рассредоточить и замаскировать на полевых аэродромах всю авиацию, все части привести в боевую готовность, но в то же время не поддаваться на провокации.

Слишком поздно. Директива эта выполнена не была за недостатком времени.

В своей книге воспоминаний об отце Мария Жукова, дочь прославленного полководца, приводит множество примеров, доказывающих внутреннюю религиозность маршала.

Павел Артемьевич Артемьев о вере, Боге, церкви не говорил никогда. И лишь вспоминая о защите Москвы, вдруг произнес: «Чудо. То, что немцы не взяли Москву в октябре 1941, — настоящее чудо».

Он рассказывал, как поехал инспектировать строительство укрепсооружений вблизи столицы. Большинство наших военачальников ездили в то время на немецких автомобилях: после подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией шла активная торговля — мы им сырье, они нам машины, станки и проч. Как и немецкие генералы, наши носили черные кожаные пальто. Отъехав совсем недалеко от города и не встретив ни одного поста по дороге, генерал был обрадован, увидев наконец, что вдалеке суетятся солдаты, разворачивая орудия. Подъехали ближе. Вот уже и солдаты их заметили, вытянулись, отдавая честь (сообразили по внушительной машине и роскошной черной кожанке, что приближается большой начальник). И тут только Павел Артемьевич определил: их приветствуют немцы! Приняли за своих и торжественно построились!

— Разворачивайся и гони! — приказал генерал шоферу.

Тот мгновенно исполнил приказ. Ошарашенные немцы, через несколько мгновений сообразив, что от них удаляется противник, открыли по машине огонь, но, к счастью, эта инспекционная поездка закончилась благополучно.

И много лет спустя Павел Артемьевич повторял, что немецкая

мотопехота в тот критический момент могла без проблем в считаные 25–30 минут добраться до стен Кремля. Они не сунулись, поскольку не могли и предположить такое. Именно тогда и прозвучали слова генерала о чуде. «Бог помог!»— так неожиданно закончил он тот рассказ.

Генерал Артемьев на заседании Ставки Верховного Главнокомандования доложил о положении дел и предложил Сталину ввести в Москве осадное положение.

Из Постановления Государственного комитета обороны о введении в Москве осадного положения от 19 октября 1941 г.:

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах.

В сложной обстановке генерал Артемьев умело руководил укреплением тыла Московской зоны обороны, подготовкой резервов для Западного фронта, строительством оборонительных рубежей и заграждений на ближних подступах к Москве и в городе.

Вошедший в историю парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года предложил провести Сталин. Артемьев выразил сомнение, считая это мероприятие опасным. Он опасался бомбежки и больших человеческих потерь. Однако Сталин отдал приказ о проведении парада, считая, что он необходим для поднятия духа советского народа в день Октябрьской революции.

Единственное отступление от традиции — парад начался не в 10 часов утра, как обычно, а в восемь. Средствам массовой информации было дано указание освещать парад как можно шире.

Сталин запретил прекращать парад в случае бомбежки. Были подготовлены носилки и санитарные машины, чтобы, если возникнет такая необходимость, быстро уносить от стен Кремля убитых и раненых.

Принимал парад С. М. Буденный, а командовал генерал П. А. Артемьев.

В этот день с Красной площади на всю охваченную войной страну прозвучали имена славных защитников Отечества, спасавших страну от захватчиков: Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина, Пожарского, Суворова, Кутузова.

В начале декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой, враг был отброшен более чем на 100 км от Москвы. А в общей сложности битва за Москву длилась около семи месяцев. С обеих противоборствующих сторон в ней участвовало более 3 млн. человек.

В 1945 году П. А. Артемьев был назначен ответственным за проведение другого славного парада — Парада Победы, состоявшегося 24 июня 1945 года. Принимал парад Г. К. Жуков.

Не было ни одной семьи в стране, которая бы не потеряла близких во время этой чудовищной войны. У генерала Павла Артемьевича фашисты повесили отца. Он был восьмидесятилетним стариком. Кто-то из местных донес оккупантам, что Артемий Артемьев — отец известного генерала. Этого было достаточно, чтобы приговорить казнить старика.

…Виновником массовых репрессий Павел Артемьевич убежденно называл Берию. Он говорил, что никогда не доверял ему и видел его дурные наклонности: жестокость и похотливость.

Нелестно отзывался он о Хрущеве, говоря, что при Сталине Никита был главным шутом и что никто так не пресмыкался перед вождем, как Никита.

Хрущев опасался всех фронтовиков, всех видных военачальников он отправил служить в дальние округа, а потом и отправил на пенсию.

Такая же участь постигла и Павла Артемьевича.

В преклонные годы он оставался верен своим идеалам. Жил очень скромно. Говорил, что главный пример для него Сталин, ходивший в солдатской шинели и укрывавшийся солдатским одеялом.

Верил Павел Артемьевич и в победу коммунизма. Тут даже спорить нельзя было, полагалось просто слушать. Он брал в руки карандаш и выписывал на лист бумаги промышленные показатели по данным очередного партийного доклада. Что-то подсчитывал, а потом объявлял, что все идет, как и планировалось. Коммунизму — быть.

Умер П. А. Артемьев 19 марта 1979 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Спустя два года после его смерти Ефросинья Никифоровна пришла на могилу мужа, прибралась на ней, села на мраморную лавочку у памятника и скончалась. Очень тосковала она по своему любимому мужу. Теперь они рядом.

Кафедра

Когда моей доченьке исполнилось пять месяцев, возникла возможность той самой долгожданной работы по специальности, которую я искала и не могла получить после окончания института. Преподавать на кафедре русского языка иностранным студентам — интереснейшая работа! Зачисление прошло без каких бы то ни было проблем. Фамилия у меня изменилась и никого не пугала.

Наконец-то я попала в филологическую среду, пусть кафедра была прикладная — не важно. Я была счастлива. Мне очень нравилось работать с иностранными студентами еще и потому, что наглядно виден результат работы, особенно если начинаешь работать почти с нуля.

Новая моя работа была хороша и тем, что я могла регулировать свое расписание. Я ведь еще кормила своего младенца. Но, конечно, если бы не помощь Танюси, ничего бы с новой работой не вышло. Она самоотверженно и любовно занималась внучкой, когда я уходила на работу.

На кафедре собрались одни женщины, все примерно в возрасте моей мамы или чуть младше. И вот тут я наглядно увидела, что сотворила война. Все мои коллеги были красивыми, умными, хорошо образованными, прекрасно профессионально реализовавшимися. И ни одна не имела ребенка, и практически никто не был замужем. Да, из поколения 1920–24 годов рождения война выбила 97 %. Так что на всех женского счастья не хватило. Статистика.

Мы, пара-тройка замужних молодых девиц, раздражали сложившийся коллектив полнотой своей личной жизни. Так или иначе, рано или поздно, но нам старались потрепать нервы…

Я очень долго ничего не замечала, пребывая в эйфории от сбывшейся заветной мечты — работы по специальности. Со студентами и аспирантами, которых я учила русскому языку, связано много удивительных историй, ведь знакомство с человеком из другой страны — это тоже своего рода путешествие… Все истории рассказать здесь не смогу, но вот хотя бы несколько.

У меня были четверо замечательных студента из ГДР. Русский они учили еще у себя дома. И вот трое говорили и писали по-русски отлично, а четвертый, Лутц, с трудом овладевал чужим языком. Старался, работал, как мог, но результаты проявлялись очень медленно.

Однажды они писали зачетную работу. Мне надо было

отлучиться из кабинета на кафедру (минут на 7–10). Уходя, я подумала: ну, вот сейчас Лутцу все подскажут, пока меня нет. И результат выйдет нереальный.

Вернулась. Все спокойно сидят на своих местах, сосредоточенно пишут. Сдали работы. Проверяю. Никаких сюрпризов. Две пятерки, четверка и еле-еле натянутая тройка у Лутца.

Неужели не подсказали?

Мне стало любопытно. На следующем занятии, разбирая контрольные, я прямо спросила, не обращался ли Лутц за помощью, когда я отлучалась. Возник разговор, показавший всю разницу подхода к учебному процессу у нас и в Германии.

— Я же сюда учиться приехал, а не театр устраивать, — сказал Лутц. — Да, мне с русским трудно. Но если я буду списывать, мне никогда легко не станет. Мне же знания нужны.

Я была потрясена! Так все просто! Я тоже ни разу в своей жизни не воспользовалась шпаргалкой. Проще было выучить, чем позориться. И знания у меня в голове. И приносят пользу. Но я, похоже, была редкой птицей в наших краях, где даже в мединститутах умудрялись экзамены по шпаргалкам сдавать. А как же потом лечить людей?

Вопрос открытый…

Был у меня египетский аспирант Мустафа. Он приехал, не зная ни слова по-русски. Дома он, по-видимому, ходил в национальной одежде, европейский костюм очень его тяготил, рубашка все время вылезала из-под ремня брюк… Он был женат, жена ждала ребенка, он волновался… Никакие занятия в голову не лезли — тоска его заедала. Но что делать? Приехал учиться — учись.

Однажды он пришел на урок после выходных, сияя. Он сказал, что два дня занимался только русским языком.

«Отлично», — подумала я и решила посмотреть, каковы же результаты.

— Как дела? — завела я разминочную беседу.

Мустафа заглянул в разложенные на столе записи и ответил непринужденно:

— Х-ево.

Я не поверила своим ушам! Ну, не готова была такое услышать от иностранного аспиранта. И в ужасе переспросила:

— Как-как?

Мустафа, очевидно, решил, что плохо произнес ответ на мой вопрос, поэтому поднатужился и очень громко и членораздельно выговорил:

— Х…Ё-ВО!

Тут я взяла в руки его записи, в которые он заглядывал, и увидела, что за лексику осваивал Мустафа в выходные.

В общем, наши ребята-аспиранты из общежития развлеклись на славу. Спросили Мустафу:

— У тебя преподаватель молодая?

— Да.

— Строгая?

— Да.

— А давай мы тебе поможем, научим, как правильно отвечать на вопросы.

И они составили целый разговорник. Вполне невинные вопросы преподавателя перемежались с такими ответами, о существовании которых я в то время и не догадывалась. Таким образом диалоги сияли всей палитрой ярких и причудливых красок ненормативной лексики.

Мустафа по выражению моего лица догадался, что что-то не то у него на листочках написано. Схватил их и изорвал в мелкие клочки…

И все-таки я его научила говорить по-русски. А когда он научился, сумел объяснить мне, что после обучения в Москве обязательно совершит паломничество в Мекку, так как мы тут все нечистые…

Наверняка совершил.

Еще очень мне запомнился аспирант-алжирец по имени Бахи.

Однажды Бахи пришел на занятия сам не свой. Очень расстроенный. Буквально со слезами на глазах. К тому времени он уже хорошо говорил по-русски.

— Что случилось, Бахи? Как дела? — спросила я.

— Моя мама очень плохо себя чувствует. Я переживаю за нее.

— Ничего, она поправится, не волнуйтесь так, пожалуйста, — пыталась утешать я.

Ну на самом деле — Бахи было двадцать семь лет. Сколько могло быть его маме? Страна мусульманская, замуж выдают лет в пятнадцать… Ну, вполне еще молодая женщина его мама в любом случае…

Однако Бахи очень волновался. И даже отпросился и полетел на родину, чтобы как-то помочь маме.

Вернулся довольно скоро. Радостный. Все в порядке. Маме полегчало. Она поправилась. Жизнь продолжается!

— Вы так любите свою маму! — восхитилась я.

— Да! Мы с мамой не можем друг без друга. Я ее

четырнадцатый ребенок. Последний.

— Вот это да! — позавидовала я. — Четырнадцать детей!

— Я — самый маленький, — продолжал Бахи. — Мама родила меня в 56 лет.

Я не поверила своим ушам. Разве можно рожать в пятьдесят шесть лет? И — сколько же ей теперь? Неужели?..

— Ей сейчас восемьдесят три года, — словно услышав мои мысли, проговорил Бахи. — Она в последнее время устает. Бывает, болеет. А я так люблю свою маму…

— Она вас так поздно родила, — только и смогла протянуть я.

— Да, — согласился Бахи. — Поздно. И больше не хотела рожать. А мы мусульмане, у нас нельзя применять контрацептивы.

— Значит, больше не получалось? Да?

— Ну, чтобы не забеременеть, наши женщины стараются как можно дольше кормить своих детей грудью. Пока кормят, не беременеют.

Об этом я, кстати, знала. Хотя этот прием давал сбои, но в большинстве случаев так и было… Естественная защита природы, дающей возможность сначала вскормить младенца, а потом уже заводить следующего. Однако Бахи продолжал:

— Мама кормила меня до шести лет. Я уже ходил в первый класс лицея, а все никак не мог обойтись без маминого молока. Прибегал домой, бросал ранец, бежал к маме, чтобы приникнуть к груди…

Вот это да!

То есть мама Бахи кормила его грудью до собственных шестидесяти двух лет!

Все дети в их семье, кстати, тоже подолгу вскармливались грудным молоком. Иначе было бы их не четырнадцать, а… Даже и не представляю, сколько. Ведь маму выдали замуж в шестнадцать лет! За сорок лет супружеской жизни можно незнамо сколько родить… Или погибнуть… Но природа все устроила мудро.

Только четырнадцать. Все успешные. Кто врач, кто адвокат, кто инженер. Бахи — аспирант в далекой стране.

Все хорошо. Только мама после восьмидесяти иногда неважно себя чувствует…

Хорошая история. О жизни, материнской и сыновней любви, долголетии…

…Когда мои ученики разъезжались на каникулы, я давала им задание: писать мне письма, чтобы не забывали русский язык. Бахи всегда передавал мне приветы от мамы. Я радовалась, что она поправилась.

Однажды летом на даче

На даче мы всегда слушали «вражеские голоса» — за городом приемник ловил хорошо, а в Москве передачи из-за границы глушили.

Меня интересовала не антисоветчина, а новости, выступления писателей, которые читали отрывки своих произведений, а также музыкальные программы.

И вот однажды проводили мы спокойный вечер, слушая радио, — то ли «Голос Америки», то ли что-то подобное, и объявили интервью с каким-то защитником прав евреев. Он начал вещать. Говорил с произношением и интонациями наших членов Политбюро. Я даже удивилась — откуда взялся такой правозащитник? Танюся изменилась в лице.

— Не может быть! — воскликнула она. — Это же он! Григоренко!

Это действительно был генерал Григоренко, как и было объявлено.

И Танюся рассказала.

Как раз после смерти в 1952 году дочки Светочки она вышла на работу, плохо соображая от горя, что происходит. А ее непосредственным начальником в то время и был Петр Григоренко, тогда еще полковник. Он вызвал Танюсю и велел ей немедленно писать заявление об уходе.

— Мне евреи на факультете не нужны.

Так прямо и сказал.

Такого ей слышать пока ни от кого не приходилось. И момент был — ну, самый неподходящий.

Она ничего не написала. Пошла на прием к начальнику академии. Решила, что если тот подтвердит требование Григоренко, тут уж деваться некуда.

Но начальник академии сказал:

— Идите и спокойно работайте.

Чуть позже она перевелась в другой отдел.

Но жестокость Григоренко, конечно, помнилась.

У того же все обстояло замечательно: получил звание генерал-майора, рос по службе.

Потом все рухнуло. Петр Григоренко выступил на какой-то конференции с критикой некоторых действий Хрущева, после чего был лишен всех званий, наград. Ему приходилось работать то ли сторожем, то ли швейцаром.

Ему помогли эмигрировать. Стал генерал Григоренко защищать наши права из далекого далека.

На самом ли деле он вдруг полюбил евреев и загоревал об их доле?

Я не берусь отвечать на этот вопрос.

Танюся в ужасе слушала его голос. Через столько лет не могла она забыть тот жуткий эпизод.

А потом сказала:

— Ну, если Григоренко — защитник евреев, то я — антисемитка.

Аспирантура. Лосев

Я родила своего второго ребенка и, как и с дочкой, не позволила себе оставаться в декретном отпуске. Я очень дорожила своей работой, хотя и очень страдала оттого, что должна уходить от своих ненаглядных деток. Они были главным смыслом моей жизни. Но без работы остаться я уже не имела права. Ради них.

Через три месяца после родов я уже работала в приемной комиссии… А в сентябре наша зав. кафедрой заговорила со мной об аспирантуре. Стала ли бы я поступать, если бы была такая возможность? Справилась бы, имея двоих детей?

Это было немыслимое предложение. В аспирантуру по филологической специальности поступить даже мечтать нельзя было. Устроено было так: к экзаменам допускались только те, у кого есть направление из вуза, где они работают. Потом этот же вуз обязан принять специалиста после аспирантуры и защиты диссертации на работу. Такие целевые направления давали обычно преподавателям провинциальных институтов, а также представителям других наших братских республик. Москвичи крайне редко имели возможность удостоиться подобной чести. И вот мне предлагалось такое!

Место мне выделили. Оставалось написать реферат, сдать вступительные экзамены, пройти по конкурсу. Потому что все равно, несмотря на направление вуза, конкурс был примерно два человека на место. В случае поступления меня ожидала райская жизнь: возможность спокойной размеренной научной работы, да еще и с получением вполне приличной стипендии — 100 рублей.

Как обычно бывает в жизни: если неприятности, они происходят одна за другой. Удачи тоже идут чередой. К моей удаче тут же присоединилось предложение мужу отправиться на службу в Чехословакию. Он к тому времени уже был офицером, старшим лейтенантом медслужбы. Пришел домой и говорит:

— Вот, в Чехословакию можем поехать. Что думаешь?

— Едем! — говорю я.

— А аспирантура?

— Поступаю! — решительно отвечаю я.

— И едем, и поступаешь?

— А как иначе?

Мы решили так. Все равно сначала едет офицер один, без семьи. Потом проходит время, пока он получает квартиру, делает вызов жене и детям. Мне надо будет получать паспорт и все такое… А я тем временем сдам экзамены в аспирантуру. Потом

поеду к мужу. А там разберемся. Далеко загадывать нельзя.

Так и поступили.

Все получалось на редкость удачно. Я даже успела за месяц до экзаменов приехать к мужу и готовиться к экзаменам в нашем новом доме, где нам предстояло прожить пять лет.

Потом я поехала, успешно сдала экзамены и была зачислена! Чудо за чудом!

Все мы решили правильно. Потом, правда, пришлось взять академический отпуск на целых четыре года — до возвращения на родину после окончания командировки.

На первом курсе аспирантуры нам выпало счастье заниматься у выдающегося русского философа профессора Алексея Федоровича Лосева.

Получается, сбылось предсказание моего приятеля, советовавшего мне не печалиться, что пришлось поступать в МГПИ. Действительно: все происходит к лучшему, это я замечала не раз.

Впервые я увидела Алексея Федоровича в феврале 1979 года на Ленинских чтениях в нашем институте. Я приехала обсудить свой реферат для поступления в аспирантуру с доцентом кафедры русского языка Людмилой Васильевной Николенко. Договорились, что встретимся после чтений. Я с удовольствием (после шестилетнего перерыва) почувствовала себя студенткой, сидела в аудитории, едва слушая, о чем говорят докладчики, наслаждалась атмосферой.

Вошел Лосев, поддерживаемый женой. Ощущение возникло, что даже освещение поменялось. Он сразу оказался центром всеобщего внимания.

К тому времени, конечно, я знакома была с его «Историей античной эстетики». О Лосеве ходили легенды. Говорили, что он слеп, что обладает какой-то невероятной трудоспособностью, что женат на своей бывшей аспирантке, Азе Алибековне Тахо-Годи, которая в МГУ заведует кафедрой…

И все это оказалось чистой правдой.

Внешний облик Алексея Федоровича впечатлял. Античный профиль, профессорская черная шапочка, которую доводилось до того видеть лишь на старых фото, очки с сильнейшими линзами (он мог различать только свет и тьму, потеряв зрение еще в лагере, о чем мы, конечно, не знали, учась у него). Манера говорить — четкость, ясность, уверенность изложения, показывающая работу мысли, — восхищала.

Я смотрела тогда на Алексея Федоровича и не верила своему счастью: неужели мне повезет и я смогу целый год учиться у него.

Так и произошло. Начиная с сентября 1979 года мы, аспиранты-первокурсники двух кафедр — русского языка и общего языкознания, — приходили на Арбат, в квартиру профессора Лосева для занятий древнегреческим языком, латынью и сравнительным языкознанием.

Собирались мы в подъезде, поджидая всех, чтобы заходить всем вместе. Стояли у батареи и трепетали. Задания были большие, занятия проходили очень интенсивно, поэтому, стоя на лестнице, мы спрашивали друг у друга о том, как получилось разобрать текст и прочее. Наконец звонили в дверь. Открывала нам очень строгая женщина (помощница по хозяйству), мы переобувались в прихожей и проходили в комнату, где обычно занимались. Книжные шкафы повсюду, самый любимый запах — книг, большой круглый стол, лампа над ним… Мы рассаживались. Выходил Алексей Федорович. Обычно вела его Аза Алибековна, прекрасная, сильная, внимательная. Она строго проверяла присутствующих. Говорила нам потом, что Алексей Федорович очень огорчается, когда аспиранты пропускают занятия.

Мы к тому времени знали, что отец Азы Алибековны, видный государственный деятель, был репрессирован и расстрелян в 1937 году. Фон страданий предыдущих поколений постоянно сопровождал нашу жизнь. Но мы так и не узнали (не те были времена, чтоб об этом говорить с группой аспирантов), что Алексей Федорович тоже был репрессирован, приговорен к 10 годам лишения свободы, прошел лагеря. (Срок ему, по ходатайству Е. Пешковой уменьшили.) Там, в лагерях, и потерял зрение Лосев. Уже много позже, в конце 90-х, прийдя в ту же квартиру на Арбате к Азе Алибековне, сдружившись, сблизившись с ней, ее сестрой Миной Алибековной и племянницей Леной, я узнала детали, описанные к тому же в подробной биографии Лосева, которую опубликова Аза Алибековна.

…Выходил Алексей Федорович — после своего тяжелого трудового дня (в первую половину дня он очень интенсивно работал) — и начинался наш урок.

Первые же мои личные ощущения: я поняла, насколько же мало я знаю, насколько недостаточно и скудно мое образование. А ведь я была не худшей ученицей в школе. Но в общении с Алексеем Федоровичем наглядно и очень страшно проступала пропасть — разница между гимназическим дореволюционным образованием и нашим школьным, которое теперь считают чем-то выдающимся.

Слепой старый человек (А.Ф. было тогда 86 лет!) владел своими предметами настолько, что подмечал каждую нашу

ошибку, неточность, интонационную неверность. Он наизусть знал тексты, которые мы разбирали! О каждом слове он мог рассказать целую его историю. Кстати, он нам всегда говорил, что Слово — самая большая и интересная загадка. Рассказал, как однажды его приятель, собираясь в отпуск, попросил дать какую-нибудь увлекательную книгу. И Алексей Федорович ему посоветовал: «Возьми словарь. Более увлекательного чтения не знаю».

Наслаждаться свободным общением с Алексеем Федоровичем мешал стыд за свои скудные знания. Но знания — дело восполнимое. Главное — вовремя понять, что учиться надо всю жизнь, каждый день.

Спрашивал нас Алексей Федорович по очереди, строго вслушивался, заметив ошибку, шутил, восклицая, как Епиходов:

— Что етта такое?

Он вообще иногда шутил, как мальчишка-гимназист, а слыша наш смех, умилялся и повторял:

— Колокольчики мои, цветики степные.

Ох, точно, были мы «цветики степные»… С нашим тогдашним образованием.

У Алексея Федоровича же образование было фундаментальным, заложенным в ранние гимназические годы. Бывало, объясняя какое-то правило древнегреческого языка, он говорил:

— Вот над этим правилом я в гимназии много поплакал, много поплакал — трудное, никак не давалось.

У меня сохранились три огромные папки — все упражнения, заметки, разборы, сделанные на занятиях с Алексеем Федоровичем. Листаю их иногда и думаю: неужели всего за один учебный год мы подняли такой материал?

Счастливое время.

Весной сдавали экзамен Алексею Федоровичу по всем трем его предметам. Я готовилась днями и ночами, волновалась как никогда. И вот — получила похвалу от Учителя! Ему понравилось, как четко и ясно я излагала материал. До сих пор счастлива от этой похвалы.

Потом, вспоминая, поняла, как многому научил Лосев — своим примером. Прежде всего его ежедневный напряженный труд мысли, его постоянная работа над новыми книгами стала образцом, путеводной звездой.

…Алексей Федорович скончался 24 мая 1988 года, в День Славянской письменности и культуры — День Кирилла и Мефодия, великих славянских просветителей.

Каждый год на Ваганьковском кладбище у его могилы

проходит в этот день панихида, собираются его ученики, последователи.

Пишу эти строки в преддверии очередной годовщины кончины Учителя. Вечная память!

Чехословакия

Я описала нашу жизнь в ЧССР в романе «И в сотый раз я поднимусь», который лишь отчасти описывает мою жизнь. Но основное впечатление от пребывания в этой стране описано там по моим ощущениям. Поэтому я приведу здесь небольшой, адаптированный к собственной биографии фрагмент.

Мы попали в очень старый город, когда-то в древности бывший столицей Великой Моравы, Оломоуц. Именно в Оломоуце создали монахи Кирилл и Мефодий славянский алфавит, кириллицу. Здесь столько всего происходило! И столько было действующих храмов, принадлежащих разным конфессиям: католические, лютеранские, гуситские. Во всех проходили службы. Был даже православный собор на площади рядом с советским военным госпиталем. Воскресные службы посещали все, даже коммунисты. Так полагалось. Из века в век. И на это никто не посягал. Мы поселились не в военном городке, а в обычном чешском доме. Туда никто не хотел селиться, так как квартплата у чехов была в два раза большей, а каждую крону берегли, как святыню. Кроме того, никому не хотелось учить ненужный чешский язык. А как тогда общаться с соседями? В те времена никто еще не представлял себе, что можно жить в многоквартирном доме, не зная, кто живет за соседней дверью. Невозможность добрососедского общения представлялась чем-то ужасным. Я выучила чешский за месяц, сказался мой уже сложившийся навык овладения славянскими языками. Тем более тут была прекрасная возможность и необходимость говорить на изучаемом языке. Я быстро и на всю оставшуюся жизнь сдружилась со своей соседкой — почти ровесницей — Майкой, сын которой, Иржик, был одногодком моего сына. На нашем этаже находились три квартиры. Помимо Майкиной семьи и нашей жила рядом пожилая пара — Мария и Павел. Их дети имели свои семьи в Праге. Пани Мария по многолетней привычке каждый день пекла булочки, калачики в огромном количестве. Забывала, что их теперь только двое. Поэтому каждый вечер приносила она нам огромное блюдо со своими шедеврами. Пришлось и мне научиться печь пироги, чтобы отдаривать добрую соседку. В моей родной стране людей с раннего детства приучали, что попали они в этот мир и живут в нем благополучно, благодаря неустанной борьбе предшествующих поколений за светлое будущее. Причем, с появлением новых поколений светлое будущее не наступало, а отодвигалось. Как горизонт. Сколько ни скачи — не доскачешь. Но цель видна (в

хорошую погоду). Вот население постоянно и дразнили, и утешали этой целью. Еще в школе я задавала себе вопрос: а почему я от рождения обречена на коммунизм, к которому должна стремиться? Лично я ни о чем таком для себя не просила. Мне б расти в объятиях спокойной матери, не издерганной работой ради куска хлеба до потери материнского инстинкта. Люди в Москве были агрессивны, не добры даже к детям. Мне в Москве, когда я гуляла с дочкой и сыном, приходилось не раз слышать:

— Ишь, нарожала!

Или:

— О чем только думала!

Как будто я у кого-то просила на хлеб.

Особенно людей раздражало, если на наших лицах обозначались улыбки, если мы были хорошо одеты…

И вот только попав в чужую страну, население которой было, мягко выражаясь, не очень тепло настроено по отношению к советским братьям и сестрам, я впервые поняла, что может быть совсем другая жизнь.

Ну, обычная человеческая жизнь без агрессии, без ожиданий какого-то мифического послезавтра. Сегодняшняя жизнь с привычными маленькими радостями, с запахом ванили и корицы в подъезде дома, с цветами на лестнице, о которых заботятся все соседи, с детьми, которыми все умиляются. Тихая обывательская жизнь, которую клеймили и обличали всеми возможными средствами у нее дома так, что дух ее еле-еле теплился где-то в российской провинции. И то — вопреки всему.

Мне хотелось прожить именно так: тихо, по издавна заведенным правилам, рожая детей, заботясь о муже и доме, гуляя по прекрасным «Сметановым садам» старого моравского парка.

Мне совсем не нужны были подвиги, страдания, борьба за светлое будущее. Жить хотелось настоящим, какое есть. Радоваться каждому дню, улыбкам детей, неспешному разговору за ужином. Я была счастлива. Я понимала для себя: вот оно, место, где ей мечталось жить. Вставая ночью к детям, я выходила на балкон, вдыхала воздух с запахом цветов и угля (в домах топили углем) и ощущала свое состоявшееся счастье. И горевала, зная, что не смогу тут остаться. Моему счастью приговор был вынесем заранее, сейчас попросту шло время отсрочки.

Я делала ежедневные, ежечасные открытия. У народа страны, в которую я попала волею случая (нет, вернее, «волею злой воли» моего правительства), был удивительный характер, начисто лишенный агрессии, свой редчайший музыкальный дар, свой

уникальный юмор, отточенный веками существования «под кем-то». Чужие его не понимали, ленясь вникать в тонкости почти непонятного языка. Какие только истории не пришлось мне услышать от своих друзей, поверивших, что душой и сердцем я с ними.

Мама Майки рассказала однажды, как вошли в ее родную деревню Праславице русские танки в августе шестьдесят восьмого

— Представь, девонька, проснулась рано (а у чехов утро начиналось действительно рано, часов в 5), надо Майке и Иржинке завтрак собрать, смотрим в окно, а там танки! Чужие танки! Как тебе? Что бы ты почувствовала, если бы увидела такое?

— Ужас, — стыдилась я.

— Просто стоят танки, не стреляют. Но смотреть — невыносимо. Так в душе все и кипит.

— А потом?

— Потом… Послушали радио, объявили нам… В полдень иду на огород, а там ваши… хлопчики, солдатики. Морковку рвут. А на той грядке морковка была еще маленькая, вот — с палец. Я им говорю: «Что ж вы, хлопчики, делаете? Зачем же вы дергаете морковку у меня? Это же чужое! Вы же — крадете!» Они меня поняли. Говорят: «Тетя, а что нам делать, мы голодные, мы со вчерашнего дня ничего не ели». «Что ж ваши, не кормят вас?» «Забыли про нас, наверно», — отвечают. «А вы знаете, где вы?» — спрашиваю. «Нет, замполит объявил, что вечером объяснит».

Слушать все это мне, дочери фронтовика, было нестерпимо стыдно.

— И они так и сидели в своих танках без еды?

— Ну как так — без еды? Я пошла домой, всем им сделала хлебички (бутерброды, по-чешски), накормила. И соседка тоже.

— А как же вы? Они же — враги. — От последнего слова у меня слезы вскипали в горле.

— Да какие враги? Хлопчики. У каждого маминка дома. Ждет сыночка. Плачет. Я чужого сыночка не пожалею — и моих деток чужие мамы не пожалеют. Так нельзя, мы же люди.

Представьте: мне, советской девочке, жалостливой, умеющей сочувствовать, такие мысли по отношению к врагам до этого разговора не приходили в голову! А ведь слышала, слышала от своих рассказы, как гнали пленных немцев через Москву. Огромную толпу врагов, которых четыре года проклинали в каждом доме, которым желали стократной страшной смерти и чтоб после смерти в аду горели за свои злодейства.

Пленные шли и шли по столице чужой державы, которую их послали завоевать их же собственные безумцы. И на всем

протяжении их пути стояли женщины, не менее несчастные, чем эти плененные чужие солдаты. Они плевали в сторону поверженных врагов, плакали, осиротевшие без своих мужей и сыновей, оставшихся по вине этих, живых, навечно на полях сражений. Плакали, плевали и — кидали им хлеб: «Жри, окаянный!» Те, кто прошел тогда по Москве, навеки этот хлеб не забудут…

Не понимала прежде я что-то про этот хлеб. Не понимала — и все тут. Потому что камнем застыла моя душа еще давно, в детстве раннем… А тут, в Чехословакии, растопилась. И открылись глаза. И все оказалось проще простого. Просто люди могут пожалеть других людей. Несмотря ни на что. Пожалеть и помочь. Потому что у всех есть матери. И они далеко-далеко плачут о доле своих сыновей.

Из-за этого рассказа Майкиной мамы мне увиделось и другое. Злой рок русского человека встал передо мной во всей его трагической величине. Его никто не пожалеет. Ни свой, ни чужой. Или, быть может, скорее чужой, чем свой. Вот что по-настоящему ужаснуло!

Семидесятые

Маразм крепчал — вот, пожалуй, самая распространенная поговорка тех лет.

Крепчал маразм нашего «дорогого Ильича», с трудом произносившего свои многочасовые речи. Наверное, ни о ком не рассказывали столько анекдотов, как о Брежневе. Причем ни о ком не было их так легко и смешно рассказывать: достаточно было подражать его манере говорить:

— Дорохие туарышши! С чустым хлубокаа удылетарения…

Удовлетворялся же Брежнев от многого… Только и слышалось…

А еще он поражал своей любовью к страстным поцелуям с партийными и государственными деятелями — как отечественными, так и зарубежными. На эту тему был анекдот. Провожает Брежнев какого-то африканского вождя. Расцеловались.

Брежнев задумчиво машет вслед улетающему самолету и произносит:

— Политически — неграмотен! Морально — неустойчив! Но КАК целуется!!!

Люлек — так называл наш народ своего лидера. И к концу семидесятых всерьез Люлька не воспринимал никто. Ну — казался всем он мумией ходячей. А с мумии — какой спрос?

Однако и мумия может натворить делов… Как выяснилось как раз в последние дни уходящего тысячелетия, перед самым 1980-м годом.

Если же говорить об основных событиях 70-х, которые особенно глубоко впечатлили, то вот они:

1970 — празднование юбилея В. И. Ленина.

1972 — теракт на Мюнхенской Олимпиаде.

1973 — черный сентябрь в Чили.

1974 — начало строительства БАМа.

1975–78 — геноцид в Камбодже.

1977 — у Гимна СССР появились новые слова. Автор слов — тот же: С. В. Михалков.

Конец декабря 1979 года — ввод советских войск в Афганистан.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ. Афган

25 декабря 1979 года моя подруга Майка пригласила нас к себе (они жили в соседней квартире) на Рождество. Я впервые в жизни смогла почувствовать, какое значение придается этому празднику, к которому готовятся как к чуду. Елка, которую у нас наряжали к Новому году, оказалась Рождественским деревом (к Сильвестру — то есть к 31 декабря игрушки с елок уже снимали, а деревья выносили, чтобы их забрали мусорные машины).

«О, сколько нам открытий чудных»… Подарки под елочку к Рождеству приносил, оказывается, младенец Иисус, а не Дед Мороз. А вместо Деда Мороза к детям в начале декабря приходил Св. Микулаш (Св. Николай) и совершал невероятные чудеса. Микулаш шел по ночному городу в сопровождении ангела и черта. Ангел оставлял в заранее приготовленных носочках сладости для хороших и послушных деток, а черт засовывал всякую пакость в носки детям гадким, плохо проявившим себя в течение всего года. Дети ложились спать с трепетом. К счастью, Микулаш обладал редкостным всепрощением. Ангел трудился вовсю, а черт мрачно сидел, сложа свои пакостные лапы, поскольку работы для него не находилось.

Естественно, мы переняли этот замечательный обычай (он был и у нас, но его выжгли, казалось, навеки).

…Мирный рождественский вечер, тихая музыка, добрые лица, подарки под елочкой (и нам тоже) — все это рождало чувство особого покоя. Прощаясь, мы пригласили наших новых друзей на новогодний ужин. Решили собраться в полдесятого по местному времени, поймать по радио Москву, где в это время уже без тридцати минут полночь, проводить старый год, выпить шампанского под бой курантов, а потом уже праздновать Новый год по чешскому времени.

Так и сделали. Настроили радио. Первое, что услышали, сводка новостей, в которой сообщалось об ограниченном контингенте советских войск, введенных в Афганистан. Помню первое ощущение: шок. И понимание, что это с рук так просто не сойдет. Офицеры — наши ровесники, солдаты — ребятки помладше, выросшие в период относительного покоя (редкостный период для нашего государства) — зачем им все это? Я вспомнила, как праздновали мы пару лет назад Новый год на улице Горького, у деда Павла Артемьевича. Там были и родители моего мужа — Октябрь Павлович и Лариса Захаровна. Октябрь Павлович был тогда заместителем командующего

Дальневосточного Военного округа, генералом. Мне было велено сказать тост. Я этого делать не умела и провозгласила самое популярное в те времена:

— За мир!

И вот тогда Октябрь Павлович, никогда не воевавший генерал, поправил меня:

— Среди военных за мир пить не следует. Военные в мирный период сидят без дела.

Тем не менее за мир выпили — почему бы и не выпить…

А логичное замечание генерала мне запомнилось на всю жизнь.

Тогда, в конце семидесятых, высшие военные должности стали занимать те, кто настоящей войны не нюхали. Были, конечно, локальные войны, где наши выступали советниками (Вьетнам, Ближний Восток, Ангола…) Но военным хотелось настоящего боевого опыта. Им нужна была своя война.

Вот они ее и организовали.

Те, кто затевает «победоносные» войны, редко считаются с характером народа, против которого собираются в поход, практически никогда не делают выводов из предшествующих исторических событий… Странно… Никто и никогда.

— Зря… Ах, как зря… — вот что повторяли мы, услышав московские новости.

А потом куранты, шампанское…

Ура!

Начинались восьмидесятые.

«Товалищ Блежнев!»

В первый же день нашего приезда в Оломоуц муж повел нас смотреть город.

— Тут есть магазин иностранной книги, там весь наш дефицит лежит на прилавках.

Естественно, я устремилась к этому сказочному магазину, не веря своему счастью. Он находился в самом центре города. Уже на самом подходе к нему дочка вырывает свою ручку из моей и с радостным криком «Товалищ Блежнев!» несется к витрине.

Да-да! Там, в витрине выставлен огромный портрет нашего главного начальника. Грудь в орденах, орлиный взгляд из-под бровей.

Дочка подбегает к портрету и здоровается с вождем, улыбается ему, как родному.

Окружающие смотрят на нас как на сбежавших из зоопарка диких зверей. Посмотреть им, конечно, любопытно на представителей страны, в которой даже младенцы приучены неведомым образом узнавать и приветствовать Генерального Секретаря.

Выражение лиц у наблюдавших эту сцену описать не берусь. Брезгливое удивление. Пожалуй, так. Впрочем, что ж они удивлялись? Портрет-то выставили они…

А я в ужасе поняла, что мозги моего ребенка уже заселили «светлым образом». Удалось…

В магазине действительно было то, о чем в Союзе я даже не мечтала. Какие сборники стихов, какие авторы! Счастье мое было безгранично.

Потом я рассказала об этом эпизоде моей новой чешской подруге Майке. Она успокоила: у них детей обрабатывали в детских садах не слабее нашего. Например, что ни день, твердили о Ленине. И вот однажды, когда воспитательница говорила детям старшей группы об устройстве их страны и государственном лидере, на вопрос «Так кто же, детки, глава нашего государства?» малыши хором ответили «Ленин!».

…Магазин же дарил мне много счастья.

Одно огорчало: продавщицы всегда старались вручить в нагрузку что-нибудь из сочинений «товалища Блежнева». А мне было жалко денег на эту макулатуру. Постоянная сценка:

Я несу подобранные мной сокровища к кассе. Продавщица кладет на мою стопку роскошно изданную книгу Л. И. Брежнева. Я аккуратно откладываю ее в сторону. Она снова молча кладет.

— Это не мое, — говорю я. — Вот мои книги.

— А что мне с этим делать, если это никто не берет?
— Туалетную бумагу я покупаю в другом месте! — замечаю я.
Продавщица, вздыхая, откладывает томик вождя в сторону.
Как хорошо уметь выражать свои мысли на чешском!

Будни. Счастье

Именно в Чехословакии я впервые испытала счастье тихой обыденной жизни. Там время шло иначе. Каждый день проживался медленно, с чередой удовольствий и маленьких радостей. Я просыпалась утром, выглядывала в окно: с одной стороны виднелся наш двор с вековыми деревьями, детской площадкой, а дальше, за домом напротив, шла главная улица города. По ней ходил трамвай, люди спешили на работу. Окна кухни и детской выходили на нашу тихую улицу под названием Бланицка. Из окна виден был старинный двухэтажный дом с прекрасным садом. Дорога вдоль ограды этого дома вела к речке Быстричке, вдоль которой мы с детьми любили гулять…

Мы выходили все вместе. В подъезде пахло кофе, ванилью. Свежеполитые цветы на площадках лестницы радовали глаз. Муж шел в госпиталь, я на работу в школу. Детей отводили в детский садик.

Речка, бегущая с гор, шумела, перекатывалась по камням… Эта ежедневная дорога на работу до сих пор помнится мне как что-то удивительно прекрасное.

Работа тоже дарила мне много радости. Учить детей тому, что знаешь и любишь, оказалось для меня большим счастьем. Тем более что дети в школе № 36 Центральной группы войск собрались замечательные. Офицерские семьи, офицерские дети — это особое сословие, которое следовало бы беречь. У семей этих было чему поучиться. Там царила строгая иерархия: муж-кормилец, отдающий службе большую часть времени, жена, отвечающая за воспитание детей и дом. Дети из большинства таких семей были с малолетства ориентированы на получение образования, карьерный рост. Некоторые мои ученики за время обучения меняли пять-шесть школ. Это серьезное испытание — попадать в класс на положении новенького. Завоевывать свое место в сложившемся коллективе — проверка того, что ты на самом деле можешь. И куда бы ни попали эти ребята, они учились честно, преодолевали отчуждение…

Мне много потом пришлось работать с детьми и подростками. Скажу одно: самые цельные личности, самые порядочные юные люди, умеющие ценить добро, встретились мне именно в школе для детей советских военнослужащих. Со многими мы дружим до сих пор. И бесконечно жаль, что катастрофа, произошедшая с нашей страной, раскидала десятки тысяч талантливых, прекрасно образованных наших людей по всему свету. Парни, мечтавшие стать офицерами, как и их отцы,

вынуждены были увольняться из армии лейтенантами: не было никаких перспектив, шло тотальное разрушение… Впрочем, до этого пока далеко. И мы даже представить себе такое не в силах. Мы пока говорим о книгах, о стихах и прозе, мы учимся жить на примере книжных героев…

В этот момент на нашего вождя Леонида Ильича снисходит облако вдохновения. На свет появляются «его» произведения «Малая земля», «Возрождение», «Целина». Сейчас известно имя журналиста, наваявшего эти нетленки за подписью Брежнева. А впрочем, какая разница? Книги выходили пятнадцатимиллионными тиражами!

Из Политуправления ЦГВ пришел приказ: в старших классах школы на уроках литературы детально изучить художественные произведения Генерального секретаря. Вот тебе и вопросы «Что делать?» и «Кто виноват?».

Я никогда не врала своим ученикам. Спрашивали — отвечала то, что думала. Не было ни страха, ни даже опасений. Знала: учитель не имеет права лгать. Именно вранье лишит учителя уважения. Ну разве можно уважать шулера, играющего краплеными картами? Нет, ясное дело, даже если у него виртуозно получается его махинация. Но если учителя не уважают, у него ничему не научатся. Это тоже своеобразный закон природы: сознание человека спасается от лжи непроизвольно, закрывая доступ словам лгущего.

И вот я пришла на урок с брошюрами нашего «дорогого Ильича» и сказала:

— Пришло указание: прочитать это. Заставлять и обязывать я не буду. Это не литература. Но при поступлении в институт в этом году на сочинении наверняка будут темы по «Малой земле», «Возрождению» и «Целине». Верный способ написать как минимум на четверку, если просто знать содержание.

Таким образом, изучение трудов вождя заняло у нас три минуты классного времени. А с содержанием мои сообразительные ученики ознакомились дома. И, кстати, я оказалась совершенно права: почти все в итоге и писали при поступлении про эту «бессмертную трилогию»…

Примерно в два часа дня уроки заканчивались. В это время мы всей семьей оказывались дома, обедали. Потом муж снова уходил в госпиталь, а мы с детьми отправлялись гулять. Шли к Собору Святого Вацлава, где когда-то, во времена Великой Моравии, монахи Кирилл и Мефодий создали нашу азбуку. Рядом с собором стоял небольшой дом с памятной доской: там неоднократно останавливался Моцарт. Мы оказывались на главной площади с удивительными курантами, вторыми по

величине после Пражских. Во всех старинных европейских городах на центральных площадях стоят Моровые столбы — памятники чуме, уничтожавшей во время эпидемий сотни тысяч людей. В Оломоуце Моровый столб — один из самых поразительных по экспрессии и своеобразной красоте, я не уставала им восхищаться.

Мы бродили по средневековым улочкам, заходили в храмы — мне все время казалось, что я была в этом городе когда-то: все словно всплывало в памяти. Я могла идти наугад, зная, какой дом увижу за поворотом. Я чувствовала, что попала домой. И при этом осознавала: не навсегда. Пройдет определенный срок, закончится отведенное нам время, и мы вернемся за решетку железного занавеса. И потом уже никогда не попадем в любимый город. Кто и почему лишил нас права бывать там, где нам хочется? Таких вопросов мы пока не задавали. Они придут позже.

А пока… Я часто осознавала, что счастлива. Здесь и сейчас.

Незамыслице

В зимние каникулы мы с моими десятиклассниками отправились в Брно. Хотели побродить по городу. Прямого поезда не было. Пришлось делать пересадку в крохотном городке под названием Незамыслице. Там предстояло ждать час. Мы продрогли, погода стояла сырая, промозглая, дул ветер. Стоять на платформе было невыносимо. Пошли смотреть город. Хоть он и был мал, но устройство его повторяло устройство больших городов: площадь, к которой сходились улочки, даже свой Моровый столб.

А еще там на площади стоял памятник погибшим советским воинам и чешским патриотам, погибшим в 1945-м году в боях с гитлеровцами. Там перечислены были все имена и звания павших, а на постаменте памятника мы прочитали надпись:

«Расскажи там, ДОМА, что мы здесь лежим мертвые, как нам велел наш долг».

Эти слова, обращенные к нам, обладали огромной силой.

Помню их до сих пор.

Переход на летнее время

В первую же осень нашей жизни за границей я удивилась тому, что осенью время переводили на час позже. Тех, кто любил подольше поспать, это очень устраивало. Объясняли перевод времени экономией электроэнергии. Наверное, это так и было. Рабочий день в стране начинался очень рано: в шесть можно было увидеть, как идут впотьмах на работу люди. Зато и заканчивалась работа рано. Например, детские сады работали только до четырех: работающим мамам хватало времени добраться до садика после окончания трудового дня.

Я, как человек очень зависимый от распорядка дня, перенос времени (и осенний, и весенний) воспринимала очень тяжело. Просто плохо себя чувствовала, ощущала усталость. Организм приспосабливался к таким переменам с трудом.

В восьмидесятом году и у нас заговорили об экономии электроэнергии и сезонных переводах времени. Тем более все время повторяли идиотский бессмысленный лозунг «Экономика должна быть экономной». Наконец, начиная с весны 1981 года, и в СССР время стали переводить на летнее.

Так продолжалось ровно 30 лет. В 2011 перевод времени отменили. Но — не в ту сторону. Теперь зимой у нас разница во времени с Европой три часа. И зимнее утро начинается около десяти. Игры со временем не проходят даром для здоровья людей.

По себе знаю одно: я просыпаюсь со светом и засыпаю с наступлением тьмы. Древний инстинкт. Свет дает мне бодрость и импульс к свершениям нового дня. Тьма — приносит покой.

В Прагу

Мой выпускной класс предложил: «А давайте в Прагу поедем!»

Ну да, ребятки закончат школу и разъедутся по разным городам и республикам Союза. Родители останутся служить, а детям с аттестатами положено возвращаться и учиться дальше на родине. Конечно, хочется побыть вместе, посмотреть побольше. Кто знает, смогут ли еще раз побывать в стране, к которой привязались всей душой?

В Прагу из Оломоуца ехать четыре часа в один конец. И билеты дорогие. Значит, надо просить автобус.

Мы с моей коллегой отправляемся в Штаб Корпуса. Автобус надо просить у комкора.

Командиром 28-го армейского корпуса Центральной группы войск был в то время Игорь Николаевич Родионов. Несколько раз по школьным делам приходилось обращаться к нему за помощью, и каждый раз все решалось быстро, легко, без проволочек. И всегда возникала уверенность: этот сильный, одаренный, умный командир должен быть гордостью нашей армии. Ребята, готовившиеся поступать в военные училища, считали комкора образцом офицера.

Да, ему действительно выпала участь быть на виду в катастрофические времена. Все это впереди. И — в который раз: какое счастье, что в будущее заглянуть нельзя… Иначе — как собрать силы?

…Имя генерала Родионова было у всех на слуху в конце восьмидесятых. Тогда он командовал войсками Закавказского военного округа. Во время разгона националистической демонстрации в Тбилиси 9 апреля 1989 года в результате давки погибло 19 человек. Родионова принялись со всех сторон обвинять в том, что он отдал приказ о разгоне этой демонстрации (на деле — приказ пришел из Кремля).

Родионов описал, как после тбилисских событий обратился к тогдашнему министру обороны Д. Язову (кстати, Язов командовал ЦГВ в то время, когда Родионов командовал там корпусом) и попросил перевести его из Закавказья в любой другой округ. Язов сказал: «Нет, Горбачев тебя вообще в армии видеть не желает. После Тбилиси Запад требует твоего наказания». (Обратите внимание мимоходом на то, кто же правил страной тогда и кто диктовал условия.)

В итоге Родионова перевели на должность начальника

Академии Генерального штаба.

В июле 1996 года И. Н. Родионов по рекомендации генерала Лебедя был назначен министром обороны Российской Федерации. Через десять месяцев Ельцин уволил Родионова, возложив на него ответственность за медленное продвижение военной «реформы». На деле же Родионов пытался препятствовать ослаблению и развалу Российской армии.

…Мы идем в штаб корпуса, просим адъютанта доложить о нас командиру. Через минуту мы уже в кабинете комкора.

— Нам бы автобус. Прагу ребятам показать.

— Будет вам автобус. Называйте число, время и куда подать.

Еще несколько фраз, вопросы о нуждах школы, предложение обращаться в любой момент. Выходим счастливые. Так все просто и четко!

И вот едем мы в Прагу. Сбор у школы в шесть утра. Решили ехать пораньше, чтобы в десять быть у цели и иметь весь день в нашем распоряжении. Детей в садик обещал отвести муж, он же и заберет. Они и поужинают без меня — исключительный случай. Позавтракать я не успела. А мой организм обладает одной особенностью: он требует положенные ему завтрак-обед-ужин строго по часам. Если не съем что-то утром, могу упасть а обморок — такое случается. Мне бы кусок хлеба с собой взять… Не успевала…

Хоть организовали все мы, «командовать парадом» взялась, естественно, наша секретарь парторганизации. Составила план экскурсий по городу. Первым пунктом нашей программы, разумеется, стоял музей-квартира Ленина. Автобус остановился у входа в музей.

— Мне срочно надо что-то съесть, — сказала я нашей партийной даме.

— Сначала музей, потом все остальное, — жестко отвергла она мои поползновения.

Сейчас бы я пошла, купила бы себе воды и рогалик, присоединилась бы к экскурсии… Но это сейчас. А тогда — ни-ни. И опять же: тут не страх. Тут уродливо понимаемое чувство долга. Помните, что нам, малышам, в школе сказано было? — (Забудьте слово «хочу», теперь есть только слово «надо»).

В музее было долго и скучно. Невыносимо долго и судорожно скучно. Наконец пытка закончилась. Поехали есть. И вот тут я совершила ошибку. Есть мне как раз было теперь нельзя! Только попить сладкого чаю. И все. А вместо этого я поела, как и все, первое, второе и третье. И пошли мы пешком на Вацлавскую

площадь.

Ах, как прекрасна Прага! Дивный город. Но в тот день я только краем глаза отмечала эту красоту. Организм мой взбунтовался. К горлу подступала тошнота. Невыносимо болел живот. Танечка Фареник, моя ученица, заметила, что мне нехорошо.

— Что с вами, Галиночка Марковна?

— Тань, похоже, меня сейчас вырвет.

— Так надо вырвать, и все, — посоветовала практичная Танечка, — пойдемте, я с вами побуду.

— Но мы же на Вацлавской площади!

Тогда Вацлавская площадь была местом официальным. Это сейчас вокруг нее магазинчики (в том числе и мой любимый книжный), ресторанчики, кафе… Обычная человеческая жизнь. В те времена это было место сакральное, некое подобие нашей Красной площади с Мавзолеем. Ну кто осмелится рвать на Красной площади? Ведь сочтут за злонамеренное оскорбление всего святого!

— Какая разница, Галиночка Марковна, где мы, если вам плохо и вас тошнит? — резонно возразила Танечка.

Да я и сама понимала, что разницы уже никакой…

В общем, как в анекдоте, меня неудержимо рвало на Вацлавскую площадь…

И, что удивительно, меня не арестовали, моим поведением не возмутились. Все мне сошло с рук!

И принялись мы гулять по Праге…

Декабрь 1981-го

В конце осени — начале зимы 1981 года мужа несколько раз посылают на границу с Польшей. Планируется развернуть полевой госпиталь — то ли в ЧССР, то ли в Польской народной республике. Руководство СССР решает, вводить ли дополнительные войска в Польшу или нет. Там происходят народные волнения, стачки, активно действует профсоюз «Солидарность».

Неужели войска в Польшу все-таки введут? Разве нам не хватит Афганистана? Разве не учтут, что поляки по характеру сильно отличаются от крайне миролюбивых чехов? Поляки будут воевать. Прольется кровь, много крови…

Планы о вводе войск обсуждают все: и офицеры, и их семьи. Офицеры готовы в любой момент подняться по тревоге. Собраны вещи в «тревожный» чемодан мужа. Напряжение нарастает. Лишь бы не было войны!

К счастью, войска не ввели. Видимо, в Кремле решили, что полякам надлежит самим разобраться со своими штормами. В декабрьский воскресный день делаю выписки из научной статьи по теме своей диссертации. На кухне работает радио — чешская радиостанция. Новости: в Польше введено военное положение. Во главе правительства — Войцех Ярузельский, кадровый офицер.

Что это значит для нас? Что войска наши останутся там, где сейчас и находятся, что воевать не придется, что волнения улягутся… Пусть так.

«Будьте осторожны!»

Помимо преподавания в школе я еще периодически читала лекции для гимназических преподавателей русского языка Северной Моравы. Это был интересный опыт. Чаще всего меня везли в какую-нибудь гимназию, где сначала проходила лекция, потом я отвечала на вопросы, после чего мы обедали в гимназической столовой.

Однажды меня попросили сделать обзор и анализ последних журнальных публикаций. Я с огромным удовольствием вдохновенно повествовала о новых популярных у нас произведениях советской литературы. И между делом высказалась, что в последнее время прорастает нечто новое, живое, человечное. Сквозь запреты, цензуру пробивается настоящее слово. Примерно так я сказала. Меня слушали с большим интересом, задавали вопросы. После окончания встречи ко мне подошел человек лет пятидесяти и шепотом попросил уделить ему пять минут. Выглядел он встревоженным, оглядывался по сторонам.

— Конечно, давайте поговорим, — беззаботно согласилась я.

— Я только хотел лично поблагодарить вас, я получил ни с чем не сравнимую радость слушать русскую речь, столь мной любимую. Вы прекрасно владеете словом. Вот потому и хочу предупредить вас: будьте осторожны!

— Я была неосторожна?

— Да! И очень! Вы сказали, что в последнее время прорастает что-то новое, живое, человечное, несмотря на цензуру и запреты. Вы говорили опасные вещи! Ведь если в последнее время появилось новое, то что же? Раньше было все плохо? И — про цензуру и запреты ни в коем случае нельзя говорить! Поймите: у нас каждый третий из здесь сидящих пишет отчеты в определенные органы. Вы должны к этому серьезно отнестись. Это большая опасность для вас.

Я ничего не понимала! Я говорила то, что вполне открыто говорилось у нас на лекциях и высказывалось в опубликованных критических статьях.

— Мне нечего бояться, — сказала я. — Я не сказала ничего крамольного.

— Вы еще очень молоды, — вздохнул человек, — поверьте человеку, пережившему страшные времена.

— Я вам верю, но… Не волнуйтесь за меня. Я отвечаю за каждое свое слово.

— Будьте осторожны, — повторил чех, прощаясь.

Он хотел мне добра. Им владел страх. Я это почувствовала. И такого страха я у нас не замечала. Я верила ему: и про стукачей верила, и про опасность… Но, право слово, ничего страшного не содержалось в моих речах. Они боялись сильнее нас! Может быть, больше дорожили жизнью? Не знаю.

Потом я стала внимательно приглядываться к людям и разглядела этот страх во многих.

Хороший, добрый народ. Бережно относились к своей жизни. Нашего безрассудства в них не было.

Несколько слов о докторах. Вопросы без ответов

В нашей жизни все изначально было организовано так, что человек, едва появившись на свет, понимал: жизнь его ценится крайне дешево, да и не принадлежит ему вовсе. И речь не о высоких материях, не о том, что все в руках Божьих. Это-то как раз счастье и спасение. Страшно, когда жизнь твоя находится в руках человека, и он волен распоряжаться твоим существованием по своему усмотрению. Особенно остро понимала это каждая женщина, оказывавшаяся «в интересном положении».

Каждой из нас есть что рассказать на эту тему. Я не буду вдаваться в леденящие душу подробности, обозначу лишь несколько главных вопросов, на которые я так и не нашла ответы по сей день.

Когда я пришла в женскую консультацию, чтобы подтвердить свою первую беременность, первое, о чем заговорила со мной врач, — выписывать ли мне направление на аборт.

— Какой аборт, почему аборт?

Я ничего не могла понять. Ни этой грубости, ни тыканья, ни того, как жестоко она провела осмотр… А тут еще аборт… Пишут, что людей в стране не хватает, пишут, что аборты приносят непоправимый вред. А в реальности — первое, что предлагает врач — направление на убийство.

— Ну, не хочешь, не надо, — равнодушно постановила врач, ставя меня на учет по беременности.

Тогда беременность принято было скрывать, прятать, как нечто постыдное. Одеваться беременным полагалось во что-то совсем уж невообразимо бесцветное и мешковатое. Я так выглядеть не собиралась. Сшила себе модные тогда брюки-трубы на шнуровке с обеих сторон: по мере роста живота брюки расшнуровывались. Сверху я носила симпатичную яркую тунику, а под ней водолазку. Нормальные люди умилялись моим видом. Но похоже, что в женских консультациях работали одни ненормальные. Когда я пришла на очередной плановый осмотр, нарядная, симпатичная, привлекающая внимание — даже в таком положении, врач устроила буквальную истерику; созвав медсестер и коллег-врачей, она принялась вопить на меня, что «беременные так не ходят».

— Но вот я же хожу, — пыталась я возразить.

— Это НЕ удобно, НЕ прилично, НЕ гигиенично, вредно!!! — зашлась в крике врач.

Ребенок у меня в животе тревожно заворочался. Звуки, издаваемые врачом, явно тревожили еще не родившегося человека.

Надо бы уйти оттуда и никогда не возвращаться. Но куда пойдешь? И кто выпишет тебе больничный? И как ты получишь декретный отпуск?

Это понимала и я, и женщина-врач, позволявшая себе такое, что и сейчас вспомнить стыдно.

Вспоминаю потому, что мы такие, какие есть, еще и благодаря подобным «подаркам судьбы», которые часто встречались на нашем пути.

«Никто мне тут не рад, и никто не рад моему будущему ребенку», — вот мой основной вывод из того, что происходило тогда.

Но я, привыкшая к одиночеству и умевшая справляться сама со своими бедами, решила, что главное: я сама себе рада. А уж как я буду рада своему младенцу — моей любви хватит, чтобы спасти его от всего злого света вокруг. Наверное, так думает каждая мать. И хорошо, что именно такие мысли приходят в голову в ответ на враждебность мира.

Рожая второго ребенка, я звала на помощь акушерку. А она не шла. Они сидели за столом в предродовой палате и пили чай из термоса.

— Подойдите ко мне, пожалуйста, помогите, — звала я.

— Чего она хочет? — спросила зашедшая на чашку чая медсестра.

— Дурью мается. Не умрет, — успокоила ее моя акушерка.

Чаепитие продолжалось.

А я, кстати, почти умерла. Врачи вовремя успели.

Так что — почти и чуть-чуть не считаются.

Третьего ребенка мы с мужем очень хотели. Рождение человека — чудо. Жаль, что это чудо мне удалось пережить лишь трижды.

Итак — хотели, и вот, пожалуйста, получился, ожидайте.

Еще ничего не знавшая о моей беременности мама мужа почему-то решила со мной серьезно поговорить. Мы как раз были в отпуске в Москве. Она посоветовала мне больше не думать о детях, ведь есть уже девочка и мальчик. И хватит. Живите и радуйтесь. Странно. Она никогда не помогала, я ни о чем не просила, но вот, оказывается, было ей дело до того, появится у нас еще ребенок или нет. Пришлось сказать, что, похоже, я беременна. Она своего раздражения не скрывала.

Вернувшись в Оломоуц, я отправилась в госпиталь, чтобы засвидетельствовать беременность. В госпитале служил мой муж, поэтому встреча с врачом прошла в теплой дружественной обстановке. Врач, красивая, молодая, уверенная в себе узбечка (жена офицера), сразу ласково и с готовностью предложила:

— Давайте сделаем абортик? С укольчиком! Зачем вам? Есть девочка, есть мальчик… Хватит…

Милая женщина явно хотела сделать мне любезность…

С ней, кстати, связаны забавные воспоминания. У нее был маленький сынок, ходивший одно время в детсадовскую группу, организованную нашими женщинами в военном городке. И вот этот очаровательный четырехлетний малыш адски ругался матом. Естественно, другие дети приходили домой с выражениями, от которых у видавших виды отцов волосы вставали дыбом. Естественно, родители отправились разбираться, откуда что взялось. И выяснилось, что источник новых знаний — сын гинеколога. Не будь его мама гинекологом, не видать бы ребенку больше детсадовской группы. Но тут решили провести работу. Попросили маму как-то повлиять, перевоспитать.

Мама обещала, пояснив, что ее папа, дедушка малыша, когда они приезжают в отпуск в Ташкент, разговаривает с ребенком по-русски. Ну, и вот…

Воспитательницы недоумевали. Ну — разговаривает дедушка с внучком по-русски — так что?

— А он, папа мой, фронтовик. И когда на фронт попал, ни слова по-русски не знал, там так и научили… — пояснила мама ребенка-матерщинника.

В общем, что посеешь, то и пожнешь.

Посеяли фронтовые друзья в сознание солдата узбека отборный мат, а потом вернулся к внукам фронтовиков во всем своем великолепии…

Однако мама обещала, что после отпуска вернет ребенка в группу полностью перевоспитанным.

В сентябре она привела сына, заявив, что работа проведена.

Между воспитательницей и ребенком произошел следующий диалог (имя ребенка сознательно изменила):

— Ну, что, Каримчик, не будешь больше ругаться матом?

— Никогда больше не буду, — горячо отозвался малыш. — Ни за что! А то Боженька х-якнет.

Он, правда, очень старался.

…После доброго предложения сделать быстрый и безболезненный аборт я обратилась в чешскую клинику и

наблюдалась там.

Разницу почувствовала. С первых шагов.

Во-первых, сразу сделали УЗИ. У нас в те времена УЗИ полагалось только избранным.

Во-вторых, во время УЗИ врач смотрел в свой монитор, а я имела возможность смотреть на свой экран, расположенный рядом с кушеткой, на которой я лежала.

Я увидела маленького, но совершенно настоящего человека, с глазками, ручками, ножками. Восемь недель беременности — совсем маленький человек. И этого человека мне предлагали уничтожить только потому, что у меня уже есть девочка и мальчик? Убить живого, маленького…

— Сердечко работает хорошо, — сказал врач.

По-чешски это звучало как нежнейшая музыка.

Слезы покатились из моих глаз.

— Помаши мамочке ручкой, лентяй, — сказал доктор маленькому человеку, чуть-чуть нажав своим прибором на мой живот.

Ребенок и правда взмахнул ручкой.

— Спит, — улыбнулся врач, явно радуясь тому, что видит на мониторе.

Я уже любила своего человечка всем сердцем.

Позвали мужа. Он тоже умилился и пришел в восторг от вида нашего детки.

— А кто там? Мальчик или девочка? — спросили мы.

— Он еще слишком маленький, — засмеялся врач. — Приходите позже.

Началось радостное ожидание.

Помня тысячи запугиваний во время предыдущих беременностей (не пей — будет отек, не ешь подсоленную пищу — будет отек и многое другое), я и тут опасалась всего без меры.

— Доктор, очень хочется пить, а боюсь, — пожаловалась я как-то врачу.

— Так напейтесь, если хочется пить, — удивился чешский врач. — Делайте то, что вам хочется. В пределах разумного. Алкоголь и сигареты — ни-ни. Остальное — пожалуйста.

У нас запугивали. У чехов обнадеживали и подбадривали.

Существенная разница.

Моя гордость

До сих пор вспоминаю и горжусь! Заявляю честно!

У нас в школе работала библиотекарем очень милая женщина. Ее сын Виталик был ровесником нашей дочки. Приехали они из Молдавии, из места, которое называлось Новые Анены. Как-то разговорились, она поведала свою ужасную историю. У нее подряд, одна за одной, скончались две дочки. Внезапная температура, жар, врачи не могли поставить диагноз… К мужу несчастной женщины подходили люди и советовали ему бросить жену: что-то с ней не в порядке, раз такое происходит.

Чудовищно работают мозги некоторых человекоподобных…

Муж, прекрасный и добрый человек, конечно же ее не бросил. Сумел выбить загранкомандировку, и оказались они в Оломоуце. Им нужно было как-то перевести дух.

Женщина была очень печальна. Никак не могла отойти от пережитого кошмара. И Виталик ее был всегда грустным и болезненным. А я по себе знала: печаль и тоска ни к чему хорошему не приведут. Они могут убить, добить… Но для жизни эти состояния никак не годятся.

И вот стала я внушать этой милой женщине, что так нельзя. Что они с мужем молоды, впереди у них долгая жизнь. Нельзя посвятить жизнь прошлому. Надо жить и создавать радости.

— Какие же у меня могут быть радости? — печально спрашивала женщина.

— Родите тут ребенка! Это самая большая радость! — убеждала я.

— А если с ним что-то случится?

— А если будем думать о хорошем?

Я просто целенаправленно вела с ней работу! Убеждала, внушала. Она даже через какое-то время стала улыбаться, смеяться…

И вот — возвращаюсь я из отпуска, зная уже о своей беременности, встречаю свою «подопечную», и она шепчет мне:

— Сделали, как вы велели. Ждем ребеночка!

— И я жду, — говорю. — Вот, убеждала, убеждала, и сама…

И все получилось замечательно! Днем позже меня родила она девочку, Леночку. Леночка теперь уже взрослая, а уж Виталик — совсем-совсем взрослый.

Вот я и горжусь, что есть на свете молодая прекрасная Елена, к рождению которой я имею непосредственное отношение.

…Что же касается пережитого семьей горя, гибели двух дочек, все прояснилось позже, в эпоху гласности. В Молдавии

использовали ядовитейшие пестициды для борьбы с насекомыми-вредителями. Жертвами этих пестицидов стало огромное число людей, особенно пострадали дети…

И второй эпизод. Иду мимо госпиталя, а навстречу мне мама моего ученика, симпатичная, смешливая, само обаяние. Идет, улыбаясь издалека.

— Здравствуйте! Вы в школу?

— Да, а вы?

— А я вот в госпиталь иду. На аборт записываться.

Я так и ахнула. У нее замечательный сынок, ему уже десять лет. Забот с ним никаких — положительный человек растет. Муж — старший офицер, прокормит.

— Зачем вам на аборт? Вы что, еще одного ребенка не вырастите?

— Да я и сама не знаю. Все подруги говорят: зачем тебе лишняя обуза…

— А сын вам обуза?

Она смеется:

— Ну, какая он обуза? Он — образцово-показательный.

— Ну, и второй будет такой же.

— Я вообще-то девочку хочу, — вдруг говорит моя собеседница.

— Тогда зачем аборт? Вот вам девочка, рожайте!

— А если мальчик?

— И что? Убить его теперь за это? Но будет девочка, увидите!

Короче: родилась девочка! Ведь ура? Правда?

«Не умеет строиться!»

1 сентября 1982 года моя доченька пошла в первый класс. Она радостно ждала этого события. Мы все тоже.

Первый день — праздник.

Забираем ее из школы домой.

— Ну как? Тебе понравилось?

— Да там все врут, — разочарованно вздыхает дочка.

Ну, то, что врут — и много — это верно. Но как ребенку удалось в первый же день это осознать?

— Нас посадили за парты и сказали, что мы сейчас отправимся в путешествие, — рассказывает дочка. — Спрашивали, на чем мы хотим путешествовать: на самолете, поезде, корабле? Мы все выбрали самолет. И стали ждать, когда нас повезут в аэропорт. Я только волновалась, что вас не предупредила. А учительница сказала: «Ну вот, дети, мы все в самолете (!!!) и сейчас полетим в страну знаний!» Обманула нас так, понимаете, решила, что мы дураки конченые.

Все ясно, решила я, начинались обычные школьные будни с обычным школьным идиотизмом. Только по сравнению с нашими ученическими годами маразм явно крепчал.

Недели через две после начала занятий моя дочь расстроенно протягивает мне дневник. Там краснеет замечание: «НЕ УМЕЕТ СТРОИТЬСЯ!»

Я не понимаю, что оно значит. Как я научу ребенка строиться дома? Может, имеет смысл учителю как-то постараться?

Под замечанием пишу свой родительский ответ: «Была жестоко наказана». (Ой-ой, сейчас бы органы опеки вмешались в воспитательный процесс, нынче шутки плохи.) Но тогда мой ответ возымел действие. Замечаний больше не появлялось.

В ожидании чуда

Помните анекдот?

Штирлиц, стараясь прийти в себя после беседы с Мюллером, залпом выпил поллитра московской водки и выпал с балкона, но чудом удержался за решетку. Чудо потом распухло и долго болело.

У каждого свое чудо. Кому что дано.

И у каждого чудо порой ведет себя неадекватно. А потом долго болит.

В моем случае чудом был мой муж.

Такие чудеса творил… Хичкок бы позавидовал сценариям нашей повседневной жизни. Точно говорю, не преувеличивая.

Был мой Артемий Октябревич военным врачом. И на пять лет послали его с нами впридачу в Чехословакию. Так тогда называлась страна, которой нынче нет на карте. Как и нашей родины — Советского Союза… Стерли. А воспоминания не стираются никак. Ну, пусть живут.

Поселились мы в чешском доме (не в военном городке, а прямо в гуще местной жизни). Это было хорошо: я быстро заговорила на чешском, быстро вникла в добрый уклад жизни замечательного народа. Но о помощи какой-либо я попросить бы никого из соседей не решилась — нам нельзя. Мы в несколько ложном положении… Представители сверхдержавы… То ли друзья, то ли враги, то ли оккупанты, то ли защитники.

Надо сказать, нас никто не обижал. Наоборот. Детей очень любили (их пока было двое на описываемый момент), приносили нам целые подносы с бухтичками (это некое подобие наших пирожных, скажем так).

И вот эпизод. Далекий год… Незабываемый… Брежнев уже умер. Андропов еще жив. Земля исправно вращается вокруг солнца. Приближается Новый год. Мы с ребятками нарядили елку, убрали квартиру. Я жду третьего ребеночка. Семь месяцев беременности. Хочу встретить Новый год в теплом домашнем кругу, загадать желание, чтоб родился мальчик. Что еще? Других желаний не было. Вернее, было одно — заветное, но оно все равно не исполнилось бы. Это я к тому времени уже твердо знала.

Муж с утра был на службе, больных осматривал. Потом обещал помочь накрыть стол — 31 декабря все-таки. Но в четыре часа вдруг спохватился: надо срочно на службу, у него тяжелый больной.

Охохонюшки… Про тяжелого больного речь заходила всегда не зря и не вовремя. Этот тяжелый больной — вечный и не

приходящий в себя долгие годы — и был моим крестом тяжким. «Тяжелый больной» на языке мужа значило: «Мне скучно среди этой суеты. Мне надо выпить».

Но! тут удивительный парадокс моего личного восприятия — я каждый раз почему-то верила, что именно сейчас муж говорит чистую правду. И больной нуждается в срочной помощи. Может, желание срочно надраться и потерять человеческий облик превращало мужа в гипнотизера? Или, что вероятнее всего, я была круглой дурой… У нас в семье не пили, и программа отношений с пьющим членом семьи заложена в меня не была детским моим воспитанием.

В общем, как тысячи раз до этого, отправился Артемий к «тяжелому больному». Клятвенно пообещал вернуться через час.

Мы накрыли на стол. Я ухитрилась незаметно засунуть подарочки под елку. Время, так сказать, неумолимо продолжало свой резвый бег.

Часа через три до меня, естественно, дошло, что проклятый больной — все тот же… Верный спутник нашей семейной жизни. Поэтому ждать, когда Штирлиц со своим распухшим чудом явится, смысла не имело. На душе скребли кошки.

Знаете, беременным женщинам бывает нужно… Что им только не бывает нужно… Например, вместе с мужем встретить Новый год… Но я не имела права расслабляться и съезжать в негатив.

Дети заметили подарки. Радость, удивление, счастье…

По чешскому ТВ идут программы — одна смешнее другой (чувство юмора у народа уникальное).

Все хорошо.

Но подспудно я все же жду своего чуда. Где он? Что с ним? Уже одиннадцать… Через час Новый год. А наш, московский Новый год уже час как наступил. Мы как раз с детками его отметили. Выпили лимонад, желания загадали…

— А теперь — спать! Спать, мои солнышки…

— С Новым годом, мамочка!

— С Новым годом, деточки мои…

Детки быстро улеглись.

Я одна. Нет. Мы с моим ребеночком, которому предстоит появиться на свет ровно через два месяца, в феврале…

Мне хочется плакать, но нельзя. Я говорю себе: «Ничего. Нельзя. Новый год… Как встретишь, так и проведешь… Надо радоваться… Надо загадывать желание… Пусть будет мальчик…»

Заветное — чтоб муж перестал врать и пить — я уже давно не загадываю… Понимаю, что не сбудется никогда…

В без четверти двенадцать слышу возню у входной двери.

Открываю.

Вижу — чудо. Распухло до неузнаваемости. Себя не помнит и не понимает. Еле стоит. Мне страшно, что он всей мощью своих 120 кг упадет на мой живот… Как он шел по городу? Шинель военная распахнута, галстука нет… Шапки тоже…

Делаю шаг назад. Чудо вваливается в свой мирный дом, падает у входа. Все — запас его самоконтроля закончился. Я захлопываю дверь. Снизу, со стороны пола, доносится грозное:

— Откуда такая жестокость! У меня больной тяжелый, а ты… А ты… Все всё понимают… А ты — жестокая…

Эта тема почему-то всегда звучит, когда чудо возвращается после затянувшегося осмотра тяжелого больного.

Встать он не может. И это хорошо. Потому что когда может встать, обязательно раскрутит скандал, разбудит детей. А тут — просто поорал и заснул.

А до Нового года — всего ничего осталось…

Каких-то две-три минуты… Скорее лимонад налить в бокал! И не вздумать плакать. Детка в животе испугается. И — надо улыбаться… Ведь как Новый год встретишь, так и пойдет…

У меня все хорошо, Дедушка Мороз!

Слышишь? У меня все хорошо! Очень! Мне тепло! Тепло! На храп из коридора не обращай внимания. Все равно — муж же дома. И мне не надо волноваться о нем… Жив, здоров… Пожалуйста — пусть детки будут здоровы. И пусть родится мальчик. Мальчик!

— Бум… бум… …

— Главное еще, Дед Мороз, пожалуйста, умоляю, сделай так, чтобы соседи не пришли поздравлять… Хотя вряд ли… Они понимают… Живот… Мне раньше надо спать лечь. Но на всякий случай — пусть не приходят. Пожалуйста! А то тут у входа лежит честь советского офицера… Нельзя ее ронять…Она сама упала. Случайно. Не удержалась… Но встанет! Встанет завтра!

Дед Мороз все исполнил в лучшем виде. Первого января пошла гулять с детками… На пустыре чешские мальчишки играли в футбол с советской офицерской шапкой. В груди кольнуло. Честь советского офицера подвергалась частичному поруганию…

— Дед Мороз… Еще одна просьба! Пусть никто не узнает, чья это шапка… Пусть ребята ее запинают так, чтобы она превратилась поскорее в кусок рухляди… Стыдно, Дед Мороз!

И кто после этого скажет, что я невезучая? И что Деда Мороза не существует? Через пару дней шапку вовсе было не узнать… Спокойно идешь себе мимо пустыря и даже в ус не дуешь…

Когда-то замечательный чешский писатель Карел Чапек (кстати, ему мы обязаны словом РОБОТ — это попутно) сказал о захвате своей родины фашистской Германией:

«Все не так плохо: Нас не продавали — нас выдали даром».

И действительно — как метко сказано!

Но не про нас…

Потому как мы сами себя сдали… Как ту шапку… По пьяни.

Но как же удобно, лежа на полу в собственной блевотине, обвинять всех кругом! Виноватые всегда найдутся… Вот — жена с пузом… Спящие дети… Их удобнее всего сдать… Даром…

Сдвиг

В Чехословакии однажды увидела по ТВ в популярной программе (что-то вроде психологического практикума) сюжет о молодой паре.

Они любили друг друга. Только молодой человек постоянно подводил свою возлюбленую: то на свидание опоздает, то не приходит вовсе, то приходит пьяным. Вот так, шаг за шагом показывались этапы жизни его — пьющего и не справляющегося с собой, и ее — верящей раз от разу его обещаниям перестать, бросить. Каждый раз это повторялось совершенно одинаково. Недолгий спокойный период (несколько дней). Она счастлива. Он, кажется, тоже. Потом, когда она уже верит (в сто первый раз), что все позади и теперь будет только хорошо, он срывается, причем в самый постыдный момент: на глазах у ее родителей, общих друзей и так далее и тому подобное.

Знакомая история?

Я смотрела этот фильм с большим интересом, поскольку сама находилась в подобной ситуации. То есть — просто один к одному. В итоге в жизни моей все подчинилось слабости мужа. Не пьет — у меня крылья вырастают, я работаю, пишу диссертацию, ухаживаю за детьми, слежу за домом, мне весело. Но — срыв. Ожидание его с работы. Нет его и нет. И не хочется верить, что вот — опять. Бессонная ночь. Приходит под утро. В каком виде — и говорить не стоит… Я не буду тут вдаваться в подробности, так как это слишком обыденно, хорошо всем знакомо. Ничего нового.

Я все время старалась держать хорошую мину при плохой игре. Никому не жаловалась. Брала с мужа обещания. На трезвую голову он очень раскаивался, клялся перестать, рассуждал достойно и мудро.

Я очень хотела верить. Очень. Я хотела, чтоб у детей был отец. И семья была главной ценностью моей жизни.

Поэтому каждый раз я прощала. Верила, что каждый раз — последний.

Но… проходило всего несколько дней и…

Вот почему я смотрела этот фильм, с болью и ужасом узнавая собственную ситуацию. Причем героине было полегче: она пока еще даже замуж за своего возлюбленного не вышла, а только собиралась. И детей, понятное дело, у них еще не было.

Признаться, мне было очень интересно, что скажет в конце консилиум специалистов. Мне для самой себя важно было уяснить один вопрос: смогу ли я в одиночку тягаться со столь сильным пристрастием моего мужа (любимого мужа — замечу) к

алкоголю.

Знаете — комментарий меня поразил. Все, как один: и психологи, и социальные работники, и медики сошлись на единственной точке зрения. Суть ее состояла в следующем. К любому характеру можно привыкнуть и притерпеться: и к скупцу, и к педанту, и к неряхе, и даже к эгоцентрику. Но не беритесь перевоспитывать алкоголика.

Я сильно задумалась. Я отдавала себе полный отчет, что он лгал мне, и не единожды. И даже не сто раз. Он подводил меня, и серьезно подводил. Но я сознательно тянула свою ношу, полагая, что так лучше детям.

Он же, видя, что с рук сходит абсолютно все, и не думал что-то менять.

Все кончилось, как и должно было кончиться.

Я старалась спасать его из любой ситуации, решала все проблемы, возникающие как последствия его пьяных историй. Я внимательно выслушивала все «уважительные причины» его поступков: от неприятностей на службе до моих черт характера, которые ему мешают вести полноценную жизнь. Я прощала. Я брала с него обещания в письменном виде (!!!) — недавно открыла дневник, который вела, растя дочку, а там полно листочков с обещаниями и подписями. Сначала: «Обещаю больше не пить». Потом: «Обещаю пить только дома»… Стыдно мне стало за себя. В какие игры я играла! Но мы все богаты поздним умом.

Посмотрела в старую адресную книгу (восьмидесятых годов), а там телефоны моргов, бюро несчастных случаев, приемных покоев больниц… Вспомнила и ужаснулась: я ведь исправно обзванивала все эти учреждения, когда он не приходил домой ночевать. Упорно и настойчиво.

Я стала полностью зависеть от его поступков, его решений, его желаний выпить (или не выпить). Я не принимала во внимание, что у каждого человека есть своя собственная жизнь. Мне пора было зажить своей жизнью, двигаться дальше… А я все спасала и спасала того, кому это совсем и не нужно было.

А ведь шли прекрасные годы моей жизни, когда были маленькими дети, когда были все условия для радости и любви. Мешало только одно…

Я все надеялась, верила, что изменю ситуацию.

Маленькие радости

Подружилась с чешской коллегой. Она преподавала русский язык в старших классах лучшей гимназии Оломоуца. Посещала все мои лекции на семинарах. Любила я ее за чувство юмора. У чехов вообще чувство юмора уникальное. Скажут вроде невинную фразочку, а за ней такой подтекст… Но это для тех, кто понимает… А в смеси с юмором русским получалась настоящая убойная сила.

Вот как-то пошли мы всей семьей гулять в лес. Муж нашел невероятное количество грибов, их почему-то не собирали. (Странно, это замечаю повсюду: и в Швейцарии, и в Германии, и в Америке — растут себе прекрасные съедобные грибы, а их почему-то не собирают. Покупают в магазине…)

Принесли грибы домой, попросили у соседей атлас с описанием чешских грибов (некоторые отличались от наших, мы могли принять за съедобные те, что на деле были ядовитыми). Вроде все определили, разобрали. Я нажарила огромную сковородку. А детям давать боюсь.

И тут как раз приходит моя чешская коллега — я обещала ей кое в чем помочь. Показываю ей сковородку, объясняю ситуацию:

— По нашим стандартам, все грибы были самые что ни на есть съедобные. А вот у вас… И не знаю…

Она, ни секунды не раздумывая, шепчет, показывая глазами в сторону комнаты, куда удалился, поприветствовав ее, муж:

— Ему дай, а сами не ешьте!

Большой жизненный опыт заключался в этой короткой фразе…

Грибы, кстати, оказались съедобными. «Ему дала, а сами — не ели».

Эта моя коллега рассуждала со мной как-то о том, что помогает женщине выдержать, прямо скажем, непосильные нагрузки.

— Маленькие радости! — говорила она. — Надо доставлять себе маленькие радости! Иногда иду, чуть не падаю, настроение плохое, дома впереди уборка, готовка, завтра снова на работу… Тогда я захожу в магазинчик, покупаю себе юбочку, свитерок… И настроение снова на высоте!

Да, у них в стране женщина могла себе позволить маленькую радость — зайти и купить какую-то приятную мелочь… Ведь свитерок можно было купить за 5–10 рублей на наши деньги. (Цена пары колготок.) У нас же просто так — зайти, выбрать, примерить, купить — было совершенно невозможно. Не говорю

уж о ценах. А о самом приятном процессе покупки… Если что-то появлялось на прилавках, это надо было хватать без раздумий, если деньги имелись. Дома примеришь. Не подойдет, продашь другой страждущей.

«Идут белые снеги»…

Готовим в чешской гимназии учеников выпускных классов к конкурсу чтецов. Они должны по-русски прочитать стихотворение. Комиссия выберет, кто лучше прочитал. Победителю полагаются какие-то поблажки при поступлении в вуз.

Одна девочка, похоже, самая отличница читает стихотворение Евтушенко «Идут белые снеги». Читает замечательно! Практически без акцента, с пониманием. Одно режет мне слух. У Евтушенко в слове «Идут» надо делать ударение на первый слог, на «И». Такова воля автора. И в этом случае размер стиха безупречен.

Девочка упорно читает «иду́т». Ну да, таково существующее ударение. Но в поэзии часто встречается авторский перенос ударений.

Я поправляю. Читаю сама.

— Вот оно что! — восклицает моя чешская коллега. — Теперь понятно. А то мне что-то в ритме мешало, какой-то сбой.

— Именно! — радуюсь я.

Коллега задумывается.

— Все правильно. Я понимаю. Но пусть она читает «иду́т». Комиссия ее зарубит, если услышит неправильное ударение.

— А ты объясни заранее. Я тебе книгу принесу, там ударение стоит. И потом — я столько раз слышала, как сам Евтушенко читает… Доверься мне.

— Я им скажу, а они решат: самую умную из себя строю… Нет, пусть читает «иду́т».

Девочка заняла первое место…

Да, нельзя быть самыми умными. Никому это не надо.

Окна

Дети мои играли во дворе с чешскими ребятками. И очень быстро заговорили по-чешски. И даже настолько прониклись этим языком, что когда играли друг с другом дома, все равно говорили по-чешски. При этом, играя, они называли друг друга не Оля и Захар, а другими именами, придуманными ими исключительно для игры. В играх они звались Ленка и Лешка. Кто их знает, почему? Но если я слышала «Ленка, Лешка…», я понимала, что детям лучше не мешать, они играют.

Прибегает однажды моя дочка со двора и заявляет:

— Мам, девочки меня спросили, почему твоя маминка не моет окна?

Интересный вопрос.

В Москве мы мыли окна два раза в год: весной и осенью. Это было целое событие. Нашатырь, тряпки, газеты… Пока одно окно вымоешь да газетой до блеска натрешь, все силы уйдут.

— Сейчас вроде не время окна мыть, — отвечаю я.

— А они каждую неделю моют.

Это правда. Я сама вижу, что моя подруга Майка только и делает, что моет окна. Я беру гулять с нами ее сына Иржика, а она в это время быстро варит суп (каждый день свежий суп варит! Не то что мы — самое частое — раз в три дня), потом готовит второе и умудряется хоть одно окно да вымыть.

Спускаюсь на улицу и смотрю: и правда! Все окна блестят зеркальным чистым блеском. Все, кроме наших. Наши — пыльные, серые. Вот стыдобища-то!

Ну что ж… Не будем со своим уставом ходить в чужой монастырь. Будем мыть окна.

Я покупаю средство под названием «Окена», бумажные салфетки и — раз-раз: окно блестит. Пять минут всего ушло. Так с тех пор и мою окна, как научилась. И обед готовлю каждый день. Заразительны не только дурные привычки. Хорошему учиться гораздо приятнее.

Но вот одна привычка чехов в наш быт не вошла и не войдет никогда. Увы. Но знаю, что говорю.

У них очень трепетно относились к чистоте, в том числе и к чистоте полов, поэтому переобувались еще перед дверью квартиры. И оставляли за дверью свои туфли, ботинки и сапоги. А уходя, перед дверью ставили домашние тапочки.

Удобно?

Безусловно!

Но как-то эта беспризорная и беззащитная обувь резала мне

глаз. Стоит себе, а хозяева в это время за закрытой дверью развлекаются… Мало ли чего… Но ничего вообще не случалось! Обувь не пропадала. Как оставляли, так и стояла.

Зато у наших знакомых, вернувшихся в Союз после жизни в ЧССР, произошла интересная история. Пришли они в гости к родственникам и, по сложившейся за пять лет привычке, оставили обувь за порогом.

Ну, вы ж понимаете? О чем говорить? Погорячились ребята.

Выходят через час, а обуви нет. Ушла. Видимо, новые места заинтересовали.

Так и пошли наши знакомцы домой в тапках. Поздней осенью…

Потому и говорю: не все обычаи можно слепо перенимать.

Мальчик!

Я рожала третьего сына в нашем военном госпитале. Рядом со зданием госпиталя находился единственный в городе православный храм Св. Горазда. Сынок родился около пяти вечера, и зазвонили колокола, созывающие на вечернюю службу.

О каждом моем ребенке я вела ежедневные записи. Сколько поел, хорошо ли спал, что сказал, когда встал… Не буду их приводить. История их жизней касается только их.

В начале дневника, посвященного Пашеньке, я написала четыре строки из стихотворения Пушкина «Младенцу»:

Да будут ясны дни твои,
Как милый взор твой ныне ясен,
Меж лучших жребиев земли
Да будет жребий твой прекрасен.

Под «лучшим жребием» я понимала и понимаю бесценные дары, которыми владеют немногие: любовь к жизни, доброту, внутренний свет и тепло, которыми можешь делиться с теми, кто в этом нуждается.

О таком жребии я молилась для всех своих детей.

…Пройдет не так уж много лет. Моя дочь станет писать стихи и прозу. И появится на свет рассказ «Мальчик» в ее первой книге «Пять минут до конца зимы».

Рассказ этот — о двух маленьких детях в чужой стране, ждущих, когда вернется мама…

Впрочем, вот он, этот рассказ. О том самом событии, когда для нас зазвонили колокола.

Мальчик!

Им спокойно, им безмятежно. Ну и хорошо. Зима, ночь, холодно. Какой страшный сон мне только что приснился. Не хочу его вспоминать. Боюсь. Спит Лешка, спят мои мама и папа. Боюсь. Страшно за себя, за родных моих. За мамочку страшно.

Скоро он должен родиться. Это я точно знаю. Мы с Лешкой точно знаем. Конечно, мы хотим брата. Хотим и любим его заранее, еще до его появления. До его первого писка. Ждем все.

Слушаем мамин животик. Каждое движение оттуда — счастье. Мамочка, всегда красивая, похорошела вдруг еще сильнее. Вот сейчас спит, во сне улыбается, хорошее что-то, наверное, снится. Я подошла и осторожно, так, чтобы не разбудить, поцеловала ей руку. Со стула взяла ее кофту, которая сохранила ее неповторимый запах. Легла и уснула с чувством любви и спокойствия.

Рано утром нас с Лешкой разбудил взволнованный папин голос: «Милая, вот ботинки, давай ножку, давай я зашнурую, пальто, наверное, надо взять, с собой еще что-то». По-моему, он волнуется больше мамы. Мы одурело смотрим на все происходящее. Наконец мама на прощание целует нас. «Доченька, береги Лешеньку, пока меня не будет. Ты же знаешь, он у нас хоть и вояка, но добрый мальчик и любит тебя очень». Я с тоской понимаю, что осталась за старшую и, пока мамы не будет, я хозяйка. Первое, что мы с Лешкой решаем делать, — это смотреть телевизор. Фильм поразительно напоминает происходящее с нами. Дружная семья: папа, мама, дочка. Мама ждет ребенка, ее везут в роддом. Мы с Лешкой ждем Ђарру End, и тут героиня фильма, мать, в родах умирает, оставляя после себя сына. Впечатлительный Лешка — в рев: «Как же мы теперь будем жить?» Обнимает меня: «Ленка, мне страшно, Ленка». И, всхлипывая: «Мамочка, где же ты мамочка?» Я старшая. Мне нельзя плакать, даже если очень хочется. Так мамочка учила. Начинаю объяснять, что это кино. Не помогает. «Леша, наша-то мама жива». Лешку не переубедишь. Схватился, бедный, за мою майку. Ну если уж Лешка плачет, его ничем не отвлечешь. Выключаю телевизор — никакого эффекта. Лешка все равно плачет. «Лешенька, милый, мама жива, и ребеночек тоже жив, а когда он родится, к нам папа прибежит и скажет. И мы с тобой, Лешка, будем радоваться и любить его очень. Потому что он наш брат, а если мама бы узнала, что ты плачешь, тогда ей плохо бы стало в больнице». Говорю я это Лешке, и он успокаивается потихоньку, понимает, что я его не обманываю. Обнялись мы по-братски. И одновременно умишками своими детскими поняли: что бы ни случилось, мы всегда должны быть вместе и помогать друг другу. Так мы, обнявшись, и сидели. И потихонечку заснули. Проснулась я только вечером. Подошла к окну. За окном снег, темно. Напротив дом, прямо на фасаде водосточная труба, которую мы с Лешкой жутко боялись. Она была похожа на длинного дракона, изо рта которого после дождя текла вода. У дракона были даже глаза. Сейчас он смотрел на меня печальными глазами, наверное, тоже волновался. К счастью, Лешка забыл о

своих утренних страхах и уплетал наше любимое лакомство: какао-порошок, смешанный с сахаром. Дракон продолжал на меня смотреть.

Я ждала. Ждала с тревогой, которую скрывала всеми силами от Лешки. Мама, как она сейчас? Наверно, ребеночек уже хочет родиться. Интересно, каким он будет: темненьким или светлым? На кого он будет похож: на маму или на папу? Какого цвета будут глазки?

Запахло углем. Обычно в это время надо топить. Хотя зима в Чехословакии теплая, не то что у нас морозы. Посмотрела на часы. Четыре. Сейчас чехи пойдут по домам, у них рано рабочий день кончается. Лешка принес мне с кухни печенье, которое нам утром пани Мария принесла. Она наша соседка. Когда пекла что-нибудь, всегда нас угощала. Кто-то позвонил в дверь. Может, папа? Обрадовалась я. Побежала к двери. Нет, это не папа. Это пан Говорка, дедушка нашего друга Иржика к нам пришел. «Дети, как ваша мама?» Мы рассказали ему про то, как папа утром увез маму и с тех пор его не было. «Не бойтесь, ребята, все будет хорошо, ну что вы сидите в темноте, мордашки испуганные. Пойдемте ко мне. Я сейчас один, Иржик с родителями уехал в Прагу. Будем играть, а если хотите, я вам почитаю. А папе оставим записку».

Мы обрадовались, мы любили этого доброго старика и решили пойти к нему. Я взяла мамочкину кофту, Лешка взял печенье, закрыли дверь. Написали записку. Игрушек у Иржика было много, пан Говорка объездил весь мир и отовсюду какую-нибудь игру привозил ему. Мы пили чай, ужинали, и как только сели смотреть телевизор, в дверь позвонили, да так, что мы подумали, что у нас пожар. Пан Говорка тоже так думал, но когда дверь открыли и в комнату влетел папа, он сразу все понял. Мы с Лешкой тоже в этот момент все поняли, а чего не поняли, то нам папа через минуту крикнул, разбудив, по-моему, весь дом: «Дети, у нас мальчик!»

Я писала обо всем моей дорогой Танюсеньке, по которой очень скучала.

Вот кусочек письма о той нашей жизни. Пашеньке в то время было чуть больше двух месяцев:

«9 мая 1983 года.

Здравствуй, моя дорогая!

(…) Пишу о детях: о них можно говорить и говорить.

Оля уже стала барышней. Помогает мне здорово. Она очень по тебе скучает: „Бабуленька моя, как я тебя люблю и жалею, как я к тебе хочу“. Все время вспоминает о тебе, о том, как вы жили на даче, читает книги, присланные тобой, и все говорит: „Вот бабуля какая молодец, какие книжечки нам прислала!“

Зорик — очень милый и разумный, добрый мальчик. Тоже всеми силами старается помочь, очень любит Пасика, разговаривает с ним (думает, что тот его понимает), говорит: „Мы с Пасиком будем генералами“. Ну, дай Бог.

А наш сладкий маленький Павел Артемьевич очень хороший мальчик. Он понял, когда надо спать, очень улыбчивый, агукает вовсю. Все говорят, что похож на меня. Он очень хорошо реагирует на детей, когда видит Олю или Зорю, весь расплывается в улыбке. Оля его укачивает, помогает мне.

Тёма в нем души не чает. И что интересно: усталости от него совсем нет — только радость. Правду писала одна многодетная мать, что самое тяжелое — это двое детей, с тремя становится легче. Я тогда не поверила, а это действительно так. Я уверена, что наш Пасюла тебя очень будет любить и улыбаться тебе так же широко, как нам.

(…)

Да, когда Пасик описается, я говорю: „Ай-яй-яй, кто у нас такой писун, как стыдно!“ А Зорик говорит: „Мама, ведь Пасюля еще маленький, его нельзя ругать, ему можно писаться и какаться. Писайся, Пасюля, ты мой маленький, мой хорошенький!“ И это он произносит своим нежным голоском.

Господи, ничего мне не надо, только им ЗДОРОВЬЯ!

Еду с Пасей и Зорей в лифте с прогулки, и с нами едет Иржин дедушка и вздыхает (чехи очень любят детей): „Милые дети, что вас только ждет в жизни“. (он имеет в виду обстановку в мире), и я вспомнила дорогую тетю Стеллочку, которая так же вздыхала, когда Соня родилась. Кто прошел войну, тот это понимает.

Целую, моя родная, пиши.

Очень хочу увидеть».

Через два месяца после рождения сына я вышла на работу. Насущная необходимость побудила меня. Отпуск без сохранения содержания — это, конечно, хорошо. А где тогда взять

содержание? Муж приносил зарплату, но потом постепенно сообщал мне, что должен тому, другому, третьему. Я боялась долгов, беспрекословно соглашалась, чтобы он урезал семейный бюджет, лишь бы не быть никому должным. И опять взяла на себя то, что вообще-то полагается мужчине. Жили мы поблизости от моей работы, учительское расписание можно было составить относительно удобно. К тому же приближались каникулы. Я переведу дух… Поеду к своей дорогой Танюсе. Я всей душой стремилась к ней. Мы же не виделись почти год! Она писала, что хоть и не видела Пашеньку, но очень его любит и мечтает о встрече.

Попутчики

Уже не сосчитать, сколько раз за время нашей жизни в Чехословакии я ездила по маршруту Москва — Прага. Каждый раз попадались такие попутчики, что впору о каждом роман писать. Память моя хранит удивительные истории человеческих жизней.

Сейчас расскажу только о трех встречах.

Однажды (летом 1981 года) я ехала из Москвы в Оломоуц с двумя детьми. На детей не полагалось отдельное место, давали один билет на двоих. Так что, кроме нас, в купе было еще два человека. Я уложила детей спать, и мы разговорились с молодым человеком, который до этого очень ловко помог мне расстелить детям постель.

Ему было 23 года, учился на заочном в Москве, ездил сессию сдавать, а теперь вот возвращался домой, в Чечню. Он оказался отцом троих детей!

— Вот это да! Такой молодой, а уже трое, — восхитилась я.

— С третьим целая история произошла, — принялся рассказывать попутчик. — Мы же только второго родили, жена уставала… И решили мы, что надо сделать аборт. Повел жену в больницу, положил, сказали, что назавтра все сделают. Я лег спать и вижу сон. Иду будто за женой туда, в больницу, а она стоит в нечистотах, как в болоте, и эти нечистоты ее затягивают. Она ко мне руки тянет: помоги. Я бегу к ней, тяну ее, тяну… Вытащил… Проснулся весь мокрый. Сразу понял, надо бежать в больницу, жену забирать, пока не сделали с ней то, что мы задумали. Прибежал, там все спят. Я кричу: «Отдавайте жену!» Отдали… А жена идет ко мне, плачет и рассказывает свой сон, в котором она тонула в нечистотах и меня звала! Вот от какой грязи мы спаслись. А сын родился — одна радость от него…

Рассказ этот меня поразил. Мы познакомились и обменялись адресами. Я пригласила его с семьей к нам в Москву, когда мы вернемся. А он сказал:

— Приезжайте к нам отдыхать. У нас горы, чистый воздух. Как родных примем.

Звали его Асуев Супьян. Адрес так и хранится в моей записной книжке его рукой записанный. Жив ли? С тревогой думала о нем и его семье во время страшных войн, развязанных безмозглыми нашими правителями.

Я вспомнила о нем, когда и мне через год после нашего разговора в поезде приснился подобный сон. В ночь после памятного визита к врачу, которая предложила мне уничтожить моего ребенка, приснилось мне, что стою я на пороге больницы,

меня встречает муж. Я плачу и говорю: «Что же мы наделали! Что мы наделали!» Проснулась я в ужасе и не сразу поняла, что это всего лишь сон, что ребенок со мной…

Помню еще одного попутчика, парня в солдатской форме, возвращавшегося домой после службы в армии. Он ехал издалека, в Москве сделал пересадку, кажется, дорога его лежала на Украину. Он странно выглядел. Глаза… Я таких глаз не видела… Он улегся на верхнюю полку и заснул. Мы с мужем уложили детей, а сами пока не ложились. Парень внезапно проснулся, как от толчка, спрыгнул со своей полки, встал перед детьми:

— Какие деточки, какие красивые деточки…

Он потянулся руками к ним…

— Не надо, пожалуйста, они спят, — сказала я.

Парень словно очнулся. Осмотрелся вокруг. Понял, что все это не сон.

— Я из Афганистана еду. Домой возвращаюсь. Понимаете? Простите, если что не так.

Он вышел, покурил, вернулся, улегся на свою полку и заснул.

А я не спала до утра, боялась за детей.

Я понимала, что парень возвращался с войны, что до конца не понимает еще, что жив, что впереди мирная жизнь… Но я тогда совсем ничего не знала о наркотиках… Сейчас, вспоминая те его глаза, уверена: из Афгана парень привез не только воспоминания о войне…

…Когда мы ехали по территории Союза, проводники подсаживали в купе кого угодно, не считаясь, что дорога наша длинна и утомительна. Им главное было заработать. И вот ночами на каждой станции входили-выходили разные люди. Однажды на пути в Москву проснулась я ночью. Поезд отходил от какого-то украинского города. В купе, стараясь быть деликатными, вошли два пассажира. Они понимали, что тут спят дети, они не хотели мешать, но счастье так и перло из них, им надо было поделиться.

— Трое суток уехать не могли! Спали на земле вповалку! — возбужденно сообщили они мне шепотом. — А потом кто-то надоумил к поезду подойти, проводнику сунуть! И вот — едем! Мы мешать не будем! Не беспокойтесь! Мы все понимаем! Деточки спят! А мы-то! Сели! Трое суток — и никак не уехать! Взопрели все!

То, что деликатные мужики сильно взопрели за истекшее в ожидании время, ощущалось очень сильно. Но, как оказалось, это было только начало. Мужики стянули с усталых за трое-то суток

ног сапоги и размотали портянки.

Воздух в купе наполнился таким неописуемым ароматом!

— Мешать не будем! — пообещали мужики и вышли из купе босиком, предварительно разложив на полу нашего тесного общего помещения свои взопревшие портянки. Сапоги деликатно стояли рядом с портянками.

— Пусть проветрятся, — пояснили мужики и удалились радостно удивляться своему везению в тамбур.

Их ноги проветривались, и я даже как-то ухитрялась радоваться за незнакомых мне до этого момента людей. Ведь и правда: трое суток! И взопрели-то как!

Правда, радость моя за них продолжалась лишь миг. Портяночная вонь одолевала… Я пыталась терпеть, заставляла себя входить в положение несчастных, старалась заснуть… Дети раскашлялись во сне… Тогда я, собрав все свое мужество в кулак, пошла в тамбур и попросила убрать портянки. Мужики даже не сразу поняли.

— Нам бы просушить, взопрели, — поясняли они мне, как дитю неразумному.

— Так вот тут, в тамбуре, и просушите. Мы в купе задыхаемся.

— Как же в тамбуре? — испугались мужики. — В тамбуре стащут!

Пришлось объяснить, что взопревшие портянки вряд ли кому-то неотложно понадобятся этой самой ночью. Видимо, эта простая мысль все-таки была воспринята нашими попутчиками. Они забрали свои ценные портянки, и мы кое-как проспали остаток ночи.

29 июня 1983 года

В тот год 29 июня нашей семье исполнялось девять лет. К тому же это был день рождения моей мамы. Вот ведь совпадение! За девять лет наша семья здорово увеличилась: от двух до пяти! Мне очень хотелось отметить этот день, сделать его праздником. Тем более днем раньше Пашеньке исполнилось ровно четыре месяца. Мы договорились с медсестрой из госпиталя, что она пару часов посидит с детками, пока мы будем праздновать нашу дату в ресторане.

Мы встретились с мужем после его работы. Я хотела забежать в парикмахерскую (все еще старалась выпрямить свои кудри). Он хотел зайти домой, чтобы сменить форму на гражданскую одежду.

— Через двадцать минут зайду за тобой, — пообещал он.

И зашел. Все еще в форме и абсолютно пьяный.

Вот и весь наш праздник.

Весь этот день с утра настроение у меня было угнетенное, и, видя нетрезвого мужа, я решила, что сердце мое предвещало это его очередное предательство. Мы пошли домой. Тоска меня охватила.

Потом я вспоминала: как же хорошо, какое же для меня счастье, что не пошли мы в тот день отмечать годовщину свадьбы. Я бы себе этого не простила.

В этот день, в то самое время, когда сердце мое исходилось от тоски, умерла моя ненаглядная Танюсенька. Всего несколько дней не дожила она до нашей встречи.

Узнали мы об этом горе не сразу, хотя телеграмму Женечка послала мне немедленно. Телеграмма не дошла. Странное дело. Хотя — вполне понятное. Представьте, телеграммы о смерти ценились в ЦГВ на вес золота! Почему? Все просто: чтобы получить возможность внепланово съездить в Союз, нужна была веская причина. Например, смерть близкого родственника. Такие телеграммы специально заверялись. А внеплановые поездки нужны были офицерам и их женам потому, что практически все, кто проходил службу за границей, занимались еще и куплей-продажей, чтобы обеспечить свое будущее. В СССР шла эпоха тотального дефицита. Людям хотелось уюта, красоты. Основными элементами уюта и красоты считались в те времена ковры и хрусталь. В Чехословакии все это стоило сущую ерунду. Зато в Союзе продавалось в десять (а то и больше) раз дороже. Купишь за сто крон (10 рублей) хрустальную вазу, а продашь ее за сто рублей. Легко и просто. Из Союза везли цветные телевизоры и

аппаратуру. Качество этой нашей продукции, конечно, уступало западным и восточным образцам, зато цена…

И вот — чем чаще ездили люди туда-сюда, тем больше сделок могли совершить.

Что же произошло с моей телеграммой? Она ведь дошла. Ее не вручили. Из подлости. Я даже знаю, кто это сделал тогда. Замполит госпиталя. Решил, что нам зачем-то понадобилось на несколько дней раньше оказаться в Москве, вот мы и организовали телеграмму. Что же творят люди по отношению друг к другу — подумать страшно.

В результате моя свекровь, не получая от нас ответа, позвонила по спецсвязи в Польшу, где служили родственники. Вот через генерала Дубинина, позвонившего из Польши в ЦГВ, нам и была передана весть о смерти моей Танечки. К этому времени похороны уже состоялись. Мы приехали к свежей могилке. Я так и не простилась с той, которая была всем моим добрым миром.

Я позвонила папе, и он тут же приехал. Один. Впервые за много лет мы находились с ним вдвоем и могли говорить, говорить. Рядом со мной был прежний папа, добрый, понимающий, ласковый. Тогда он признался мне, что несчастлив со своей второй женой из-за ее деспотичного давящего нрава и стремления к стяжательству. Между ними не было взаимопонимания. Но менять что-то было уже поздно. У них подрастал сын…

Я поехала на могилку к Танечке сразу, как только добралась до Москвы. Положила на свежую землю букет белых роз. Стоял июль, жаркое лето. Прошло дней десять, мы снова поехали на кладбище, на этот раз с папой. Белые розы, которые я принесла в первый раз, лежали совершенно свежие, будто их только что срезали. Я поразилась. Словно неведомая сила посылала мне утешение…

Владыка Никанор

К мужу в госпиталь приходил лечиться епископ православной церкви. Владыка Никанор, в миру — Николай Иванович. У него был сахарный диабет, он нуждался в постоянной медицинской помощи. Резиденция епископа Оломоуцко-Брненского находились неподалеку от нашего дома и от православного храма Св. Горазда.

— Вот бы с ним поговорить! — размечталась я.

В следующий визит Владыки в госпиталь муж спросил, нельзя ли с ним встретиться. Тот с готовностью согласился. Так начались наши прогулки.

К тому времени я уже давно и вполне осознанно верила в Бога. К тому же, оставшись без Танюси, я остро ощущала свое сиротство. Я мечтала о храме, о молитве.

В храмах я бывала не раз. Особенно любила храм Николы в Хамовниках с его чудотворными иконами. Он никогда не закрывался, не подвергался поруганию. Попадая в него, я оказывалась совсем в другом мире, далеком от злобы и грязи. Я не раз молилась в том храме, своими словами, как умела. Перед экзаменами в аспирантуру заходила и ставила свечки к иконе Николая Чудотворца. Просила помочь. Экзамены проходили легко.

Я жалела, что меня не привели в храм в детстве. И чувствовала: моим детям необходим Дом, их Дом, куда они могут войти для молитвы.

Муж сказал, что хотел бы покреститься всей семьей. Наши желания совпали. И вот мы говорим и говорим с Владыкой Никанором. Он отвечает на все вопросы, он рад моим знаниям Евангельских текстов (а самого Евангелия я еще и в руках не держала, все из Хрестоматии по старославянскому и древнерусскому языку).

— Я покрещу вас приватно, чтобы не было неприятностей, — говорит Владыка Никанор.

Но мы ничего не опасаемся. В выходной день приходим в его просторную квартиру всей семьей. Владыка уже все приготовил для крещения.

— Отреклися от сатаны? — трижды спрашивает нас епископ во время таинства.

— Отреклися, — отвечаем мы, не понимая, что это значит.

Мы даже не в начале пути еще. На пороге.

Еще много-много времени должно пройти…

— Ну вот, — поздравляет нас Владыка, — а то как же? Такие

хорошие деточки — и некрещеные.

Он дарит нам подарки: иконы Спасителя, Казанской Божьей Матери. Еще мы получаем от него красивую хрустальную вазу. А самое главное: Библию! Она издана к тысячелетию крещения Руси. Владыка ставит на первой странице свою печать: «Епископ Оломоуцко-Брненский». И еще. Он вручает нам Молитвослов, тоже со своей печатью, и учит:

— А вот теперь — начинайте потихонечку молиться!

Как спасали меня эти молитвы!

Но все это начнется чуть позже.

На прощание Владыка говорит мужу, показывая из своего окна на вывеску пивной на противоположной стороне улицы:

— Не надо туда ходить. Часто вижу офицеров, заглядывающих туда. Не ходи туда. Иди домой, к деткам. Жену пожалей. Она у тебя мученица.

Муж слушает благоговейно. А я пугаюсь. Ну, какая я мученица? Нет, я счастливая. У меня все хорошо. Правда.

Картинка с натуры. Кормление

Мой обожаемый шестимесячный младенец должен быть накормлен в обед протертыми овощами или кашей.

Это кормление — спектакль не для слабонервных, поверьте.

Я одна с этим не справлялась никак.

Мой муж в свой обеденный перерыв старался мне помочь во время собственного обеденного перерыва, благо госпиталь его находился в пяти минутах ходьбы до нашего дома. Все это называлось: «Спасение сына от голодной смерти».

Мы были убеждены, что если не впихнем в ребенка миску каши, случится что-то неописуемо ужасное. Итак, прибегал папа. Начиналась операция «бу-эээээ».

Сначала я укутывала отца в пеленку, чтоб не испачкалась его форма. Потом мы обвязывали пеленкой нашего ненаглядного крошку, чтобы он не мог руками пошевелить и не выбил миску с кашей из рук кормильца.

Далее муж отдавал приказ: «Пойте!»

Мы втроем — дочка, сынок и я — начинали представление. Пели, плясали, дудели. Естественно, наш маленький дурачок каждый раз ловился на эту приманку: широко раскрывал свой беззубый рот и улыбался. И тут происходило вероломное нападение: отец с ходу втюхивал ему большую ложку каши.

Вдохновленные успехом, мы пели еще старательнее.

В общем, несколько ложек он проглатывал в эстетическом экстазе.

И вот тут-то нам бы и остановиться.

Поблагодарить малютку за внимание, распеленать и заняться дальнейшими делами.

Но, знаете, как устроен человек… Ему все мало… Нам каждый день хотелось, чтоб он съел всю миску. И точка.

Отец впихивал, впихивал, не замечая, что бэби давно уже не глотает питательный продукт.

Правда, для порядку муж иногда встряхивал сына и побуждал: «Ешь давай, глотай давай!»

И вот…

Даже сейчас страшно писать…

Так и вижу…

Щечки у сыночка раздулись от засунутой в его ротик лишней порции каши.

И — ррраз! Вся содержимое (в который уже раз) оказывается на любящем отце. На его лице, вороте рубашки, галстуке и даже брюках (пеленка, в которую я его заботливо укутывала, к этому

времени безнадежно сползала).

Ребенок радовался, отец горевал.

И так — много дней подряд.

Кто бы нам тогда сказал, что мы совершаем нечто противоправное, мы бы очень обиделись. И не поверили! Мы же делали это любя. Ради блага нашего сына.

И тем не менее: то, что мы делали, называется насилием над личностью. А точнее: пищевым насилием.

Должна сказать, что у нас все же хватило ума прекратить эти танцы-шманцы.

Дошло до нас, что нет никакого смысла во всех этих действах.

Ведь ребенок так хитро устроен, что ест, когда голоден, и не ест, если сыт.

Представляете?

А зачем же пичкать сытого? Что это даст?

А даст это вот что:

наше собственное глубокое моральное удовлетворение.

Мы-де — правильные родители. Мы — хорошие. Мы все делаем ради ребенка. Мучаемся, пляшем, поем, впихиваем так, что из ушей лезет.

То есть — не ради ребенка мы стараемся, а ради самих себя.

Сколько раз я замечала такое родительское насилие. Причем не раз в родителях разгоралась такая злоба, что они уже начинали вопить на любимое дитя: «Жри, сволочь!» И много чего еще.

К счастью, мы одумались вовремя.

Еще одна картинка с натуры. Ожидание

Мне очень нужна помощь мужа по вечерам. Днем я вполне справляюсь. И даже успеваю делать все, что нужно по работе, и выписки по диссертации уперто делаю, что бы ни происходило.

Но вечером наступает немножко затруднительный момент: мне надо купать детей. А потом укладывать их спать. И если укладывать спать — дело привычное: почитаешь, поцелуешь, они и уснут, то купать одна я с некоторых пор боюсь.

Еще до рождения Пашеньки я, купая малышей, поскользнулась в ванной в тот самый момент, когда держала на руках сыночка. Руки мои оказались занятыми — ребенка я бы не выпустила ни при каких обстоятельствах. Я упала, ударившись лбом о кафельную мыльницу над ванной, она рассекла мне лоб до кости… Дети жутко испугались, Оленька побежала к соседке, той самой пани Марии, которая все угощала нас своими булочками. Та побежала в наш госпиталь (телефонов у нас тогда ни у кого не было). Муж в то время был на двухдневных учениях, вот беда. К счастью, за мной приехали быстро, лоб зашили, рана затянулась, да так, что и следа не осталось.

Остался только страх, что, купая ребенка, опять упаду. Вполне понятный, естественный страх человека, уже пережившего подобное.

Вот я и прошу мужа помочь мне купать детей вечерами. Он поздно возвращается домой. Ему дома скучно. Гораздо веселее в господе (так по-чешски называют пивную). Но он не говорит прямо: «Мне надо выпить». Он объясняет свои задержки или все тем же тяжелым больным, который все мучается и никак в себя не придет, то тем, что не может отказать своему начальнику, когда тот зовет его в пивную после окончания рабочего дня.

— Давай сделаем вот что, — предлагает муж. — Давай ты будешь за мной заходить, и тогда уж начальник не сможет меня затащить в пивную.

Какой замечательный выход! Как это нам раньше в голову не приходило, что вся беда нашей жизни проистекает от начальника? Ну, теперь — врешь, не возьмешь! Я буду заходить за своим мужем! Счастье семьи восстановится, зарастут старые раны…

Дня три все происходит, как в песне. Я захожу в отделение, мы выходим вместе, идем домой, ужинаем, купаем детей, укладываем. Вот же счастье-то мне привалило!

На четвертый день муж просит меня не заходить в отделение, а ждать у ворот. Ну, неудобно, понимаешь… Еще смеяться над ним начнут… Жена домой водит…

Я понимаю. Мы договариваемся, что ждать я его буду как раз на лестнице у храма Св. Горазда — это прямо напротив входа в госпиталь, пропустить невозможно. Я буду ждать, он выйдет, и мы вместе пойдем домой, как в эти предыдущие дни. Замечательно просто!

Я приходу и жду. Ну что мне — пять минут добежать до храма, а потом пять минут с мужем под ручку домой? Детки вполне десять минут побудут дома одни.

Я жду. Часы на храме отбивают каждые четверть часа. Муж все не выходит. Наверное, и правда — тяжелый больной. Ну — вдруг? Я уперто жду — как тот маленький мальчик на посту из рассказа моего детства.

Холодно, промозгло, ветер.

Через час я понимаю: надо идти домой. Дети одни.

Я возвращаюсь, кормлю, умываю, укладываю их.

Муж приходит ночью. Утром опять жалуется на начальника. Злой начальник вывел его через боковую калитку и увлек в пивную. Бедняга-муж просит снова ждать вечером у храма. И я — что вы думаете? Бегу к храму, словно ничего не случилось. Жду. Ровно час. Потом понимаю, что начальник опять меня перехитрил, увел-таки мужа, гад.

Так повторяется еще несколько раз, пока до меня, такой умной и прекрасной, не доходит, что стоять у храма на паперти не имеет ровно никакого смысла.

Начальник сильнее.

Или — не начальник, а стремление мужа вырваться из обывательских пут семейной жизни. На волю, в пивную!

Вязание

Мои мечты и мои книги по-прежнему жили во мне. Но для того, чтобы писать книги, нужны покой, собственное время и свое (пусть небольшое) пространство. Ничего этого у меня не было. Каждая минута — именно каждая! — была занята делом: работой, детьми…

А меня терзала потребность творить, создавать, придумывать, воплощать… И тогда я стала вязать. Пряжу — любую — можно было заказать по почте, по каталогу. Узоры, фасоны — все я выдумывала сама. Вязание же было удобным видом творчества, потому что руки мои действовали автоматически, я могла что-то еще делать, например помогать ребенку с уроками или наблюдать за ними во время их прогулки.

И вот однажды связала я свитер необыкновенной красоты. Он немножко походил на рыбацкую сеть, но с длинными манжетами и красивым воротником. Свитер этот вызвал большой интерес моих коллег. И одна попросила меня связать ей такой же.

— Это невозможно, — сказала я. — Я не фабрика, я не делаю одинаковых вещей.

Но она просто вожделела и трепетала. Подослала свою подругу, к которой я очень хорошо относилась. Та стала меня убеждать, что жаждущая иметь такую же, как у меня, вещь подруга вот-вот уедет, мы с ней никогда не увидимся, а ей так несладко живется, муж ее разлюбил, пьет, поколачивает…

Убедила.

Я согласилась связать точно такую же красоту при одном условии: она никогда до отъезда не наденет его. То есть, дома, перед зеркалом — пожалуйста. Но на люди — нет.

Как же она обещала! Как складывала руки на груди! Какими преданными глазами глядела!

Связала, подарила. Счастью не было границ.

Проходит несколько дней. И является ко мне та наша общая подруга, которая так просила меня не отказать несчастной…

— У тебя ниток от того свитера не осталось?

— ???

— Понимаешь, она пошла в нем Восьмое марта отмечать. Ну, муж напился, приревновал… В общем, разодрал ей спереди свитер в клочья…

— Она же обещала тут не надевать, клялась такими клятвами.

— Да она уж об этом только и вспоминает. Говорит, что ты колдунья.

Обратите внимание! Связала, подарила, просила только об одном… И вот — кто виноват в случившемся? Нарушившая свое слово? Муж? Нет, конечно! Они простые хорошие люди!

Виновата я. Наколдовала.

— Зачем ей нитки-то? Она ж вязать не умеет.

— Нет, не она, я… какой-нибудь кусок спереди свяжу, вставлю…

Жалко стало мне своей работы. Попросила я принести, показать. Разодрал ревнивый муж на совесть. Силен мужик! Действительно — в клочья. Перевязала ей заново. Просила больше не нарушить данное слово — и не только мне данное, а вообще. Плохо кончается.

Она смотрела на меня с испугом. Как же! Я ведь колдунья!

Беда

Случилась в Оломоуце страшная трагедия. Из своей части сбежал наш солдат, пробрался через гараж в частный дом и зверски убил женщину с двумя детьми.

Весь город об этом говорил. Объяснения преступлению нет. Парень из Свердловска, служить осталось совсем немного. Чего он хотел? Что у него в голове?

У одной из учительниц муж работает в военной прокуратуре. От нее узнаем ужасные подробности.

Солдат проник в гараж и там затаился. Через гараж можно было попасть в дом. Но дверь была заперта. Он сидел и ждал.

Потом в гараж въехала машина. Вышла женщина с детьми, отперла дверь и прошла в дом. Муж ее, бывший за рулем, уехал что-то отвезти родителям. Дверь осталась незапертой.

План солдата был такой. Он хотел переодеться в цивильную одежду и поесть. А потом отправиться восвояси. Так он объяснял. Однако в гараже он заранее вооружился молотком.

Вроде он надеялся незаметно украсть одежду и еду. Но, конечно, женщина его заметила, закричала. Он убил ее молотком на глазах детей. Потом убил маленького, который и свидетелем-то быть не мог.

Другой ребенок пытался спастись, убегал от него, прятался. Этот ребенок все время просил:

— Дядя, не убивай меня!

А он убил.

Рассказывал он все на следствии спокойно, в деталях. Стало быть, был в своем уме?

Дальше он умылся, переоделся и достал продукты из холодильника. Поел и ушел через гараж. Молоток и форму оставил в уголке в гараже.

Приехавший отец семейства, заставший этот ужас, вскоре потерял рассудок. Отец убитой женщины умер от инфаркта.

Убийцу поймали очень быстро.

Не могу передать, что с нами творилось, как плакали мы, слушая этот рассказ. До сих пор нет слов. И до сих пор слезы застилают глаза.

Я не знаю, какие проклятия посылали жители города на наши головы. Видимо, хотели мести. Я это поняла вот почему. Однажды в наш подъезд (он обычно запирался) вошел человек и позвонил в нашу квартиру. Фамилия на звонке внизу была русская. Возможно, были у него мысли о мести, а может, просто ошибся. Я

беззаботно открыла дверь и не успела еще ничего сказать, как из квартиры напротив выскочила пани Мария и принялась кричать на пришедшего, не давая мне и слова произнести:

— Что вам здесь надо? Кого вы ищете? Зачем в подъезд вошли? Я сейчас VB позову! (VB — общественная безопасность, полиция).

— Наверное, я ошибся, — смутился мужчина и убежал.

Я поняла, что пани Мария, зная ходившие по городу разговоры и настроения, тревожилась за нас и бросилась спасать.

Убийцу приговорили к расстрелу. Привели приговор в исполнение.

На кладбище воздвигли памятник его жертвам. Там имена, даты рождения и смерти. И высеченные на камне слова: «Убиты советским солдатом».

Чоп и Черна-над-Тиссой

Чоп в те времена был последним пунктом СССР. Там поезд останавливался для пограничного контроля и смены колес (в Европе железнодорожная колея уже). Стоянка поезда длилась не меньше двух часов. Дети засыпали сразу после проверки паспортов. Муж отправлялся на вокзал, чтобы купить лимонад. Возвращался с несколькими бутылками. Дети, проснувшись, радовались сюрпризу.

В одну из поездок все шло, как обычно. Муж отправился на вокзал, а вернулся с пустыми руками, совершенно ошарашенный. Пассажирам, прошедшим в поезде паспортный контроль и ожидающим смены колес, разрешалось выходить в станционный буфет. Назад приходилось проходить через зал таможенного контроля. С паспортом и отметкой погранконтроля. Это для нас было пустой формальностью.

Муж, купив, как обычно, лимонад, пошел в таможенный зал. В тот раз он был полон людьми. Люди эти сидели на тюках, чемоданах, дети спали на полу. Все выглядели крайне измученными. Кто-то из этих изможденных людей попросил Артема продать ему бутылку лимонада, отчаянно предлагая при этом какие-то бешеные деньги (чуть ли не десять рублей за бутылку, тогда как стоил этот напиток копеек десять).

— Так в буфете этого лимонада полно, пойдите, купите, — посоветовал муж.

— Нам туда уже нельзя. Мы тут сидим больше суток. Таможенный досмотр. Трясут каждую тряпку. Забирают, что понравится… Ни пить, ни есть купить не можем. Продайте!

Это были еврейские эмигранты, которые проходили в Чопе последний обряд прощания с родиной перед посадкой в поезд, идущий на Вену. Таможенники-мародеры наживались на каждом уезжающем, абсолютно не считаясь с тем, что люди испытывают жажду, голод… Это была ожившая картина времен гитлеровского холокоста.

Конечно, муж раздал бутылки с лимонадом этим людям. Он больше ничем не мог им помочь, назад бы его тоже не пустили. Он все описывал и описывал эту поразившую его жуткую сцену, измученных людей, деток на полу…

Тогда он им сострадал.

Каждый раз, когда поезд наконец трогался в сторону границы с Чехословакией, я испытывала чувство огромного подъема и легкости. Не стесняюсь в этом признаться. Десятки раз

пересекала границу на станции Чоп, и десятки раз возникало это удивительное чувство. Вот мы едем по ничейной полосе, вот приближаемся к первой пограничной станции на чужой земле… На чужой… А душа трепещет от счастья.

Черна-над-Тиссой. Первая наша станция. Приходят улыбающиеся пограничники, разрешают не будить детей — уже глубокая ночь, пусть детки спят. Мы открываем окна и вдыхаем уютные запахи: цветов, вкусной еды. Покой разлит в воздухе. Слышно даже пение птичек. Неужели некоторые поют ночью?

Наконец поезд трогается. Мы едем через Татры, через спящие деревушки и городки… Я никогда не ложилась спать, пересекая границу. Я дышала горным воздухом, смотрела, как потихоньку светает, как рано-рано, в пять утра идут люди на работу, я махала им из вагонного окна, и они махали мне в ответ.

…«Крик станций: останься!..»

Поезд мчал меня по чужой земле. По родной, любимой… Но на эту любовь прав у меня не было.

Торпеда

Собралась я уезжать до времени. Все. Сдаюсь. Нет у меня больше сил участвовать во всех безумствах Артёма. Детей жалко. Как они будут жить, видя в детстве такое?

Был бы у нас большой дом, приходил бы он в любом виде в свою комнату в другом конце, подальше от наших спален, ложился бы спать… Никто бы его не видел… В конце концов — распоряжаться собственной жизнью — это право каждого человека. Пусть. Я ему не воспитатель, не мать, не начальник. Я — человек, которого он ни в грош не ставит. И ладно. Мне бы только детей поднять.

Паспорта наши хранятся не у нас, у начальства.

— Принеси мой паспорт, я домой поеду. Не могу больше.

— Прости меня. В последний раз прости. Вот — прости, увидишь, как все будет хорошо.

— Я это слышу почти десять лет. Не будет хорошо. Дай своим детям жить без ужаса.

— Я виноват. Я очень перед вами виноват! Прости меня! Я — знаешь, что я сделаю? Я сегодня же зашьюсь!

— Где же ты зашьешься? Ты знаешь, где это делают?

— У нас в госпитале делают!

— Что ж ты раньше не говорил?

— Думал, что сам справлюсь. Но сейчас… Я не могу вас потерять. Я решил!

— Это же опасно! А вдруг ты сорвешься? Тогда люди умирают! Неужели ты сам не сможешь?

— Нет! Я столько боролся с собой! И теперь решил — все! Зашьюсь.

Он меня ни в чем не убедил. Но утром нет времени вести разговоры.

Днем он приходит на обед и показывает шов на попе. Свежий реальный шов, со стежками.

Зашился!

— Вот она, торпеда! Там!

— Кто ж это сделал?

— В хирургии.

Муж называет фамилию начальника хирургического отделения.

Мне его жалко. И страшно ужасно за него — лишь бы не сорвался теперь.

— Ты понимаешь, что тебе грозит? Ты должен держаться!

— Конечно, я понимаю. Я перетерплю. Ради детей я на все

готов.

Как легко верить в хорошее человеку, обессиленному ежедневным ужасом! Целую неделю длится полное безоблачное счастье. Муж помогает искупать детей! Укладывает их спать. Сидит с дочкой за уроками!

Что ж мы раньше-то не догадались это сделать?

Вот дураки-то! Так просто! И так хорошо!

Но… Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах… Через неделю муж приполз домой на карачках — такого я еще не видела! Лицо — красно-синее! Хрипит!

«Все, — подумала я, — выпил, а у него торпеда! Он же умрет теперь! Что делать?»

— Что ты наделал! — плачу я. — Что же ты наделал!

— Ыыыыммммм, — мычит умирающий муж.

И тут, впервые в жизни (всегда что-то случается в первый раз), я говорю себе:

— Пить он сегодня начинал трезвым человеком. Знал, чем ему это грозит. Когда-то надо же за что-то брать ответственность самому. Прежде за все его выходки отвечала я. Врала, что у него температура, если он валялся пьяный и не приходил на службу, а однажды, придя в отделение во время его дежурства, обнаружила его (единственного дежурного врача!) совершенно «в дупель» и приводила в чувство — голову под кран с холодной водой запихивала, как он ни сопротивлялся… Он заплетающимся языком клял мою жестокость и бессердечность… А я молилась, чтоб никто только не зашел, никто не увидел… А сейчас… Что я могу сделать сейчас? У меня тут дети спят, я не могу их с ним наедине оставить, он на все способен, когда надрызгается. Но даже если оставлю, побегу в госпиталь просить помочь человеку с торпедой, где гарантия, что торпеда действительно существует? А вдруг он просто кого-то из друзей-докторов попросил наложить шов? Ведь были у меня сомнения на сей счет, были… Да… Но он сейчас какой-то не такой, как обычно. Синий прямо…

А оставшийся разум мне подсказывает:

— Синий он потому, что за один раз набрал недельную норму алкоголя. Торпеда к этому отношения не имеет, поскольку ее нет и не было.

И что же?

Разум оказался прав! Не было никакой торпеды. Был очередной спектакль с декорациями.

Поутру кающийся муж во всем признался. И снова обещал…

Я не уехала: в школе кончался учебный год, а вскоре и командировка наша заканчивалась вообще.

Я все еще любила мужа, да. Но не уважала его и не доверяла ему совсем.

Возвращение

Настала пора уезжать. Те, кто попадал на службу за границу, старались обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь: перепродавали, спекулировали. Еще одним серьезным источником дохода считалась покупка за гроши в воинской части списанной и прошедшей уже сотни тысяч км «Волги». С этим везло только избранным. Но те, кому повезло, делали в автобате полный ремонт машины, красили ее. Выглядела, как новенькая. Красавицу перегоняли в Союз и продавали в среднем за 25 тысяч рублей. Это средняя зарплата за 10–15 лет!

Многие были уверены, что обеспечили себя и детей всем необходимым на всю оставшуюся жизнь.

Все их накопления сгорели уже через несколько лет.

Мы ничего не накопили. Не заказывали контейнер. Два ящика багажа: книги, одежда, какая-то утварь. Главное наше богатство и счастье — детки!

Приехали в Москву. Мне предстояло доучиваться в аспирантуре, закончить диссертацию. Мужа направляли в Среднеазиатский военный округ. Он должен был прибыть в Алма-Ату, получить там указания, к какому месту назначения следует ему отбыть. Мы ничего не знали, что нас ждет. Я думала, что смогу часто бывать там, куда его пошлют. И еще я знала: чтобы офицера перевели по месту жительства жены, надо, чтобы жена была серьезным специалистом. Как минимум кандидатом наук. Значит, моя кандидатская была необходима нам всем как самое насущное.

Брежнев-Андропов-Черненко

Брежнев умер в ноябре 1982 года. Мы настолько привыкли к тому, что он есть, вот такой, еле говорящий, но говорящий тем не менее часами невразумительные речи, что не поверили сообщению о его смерти. Когда я пришла на работу и мне сообщили о случившемся, первая реакция была смех.

— Это что? Самый короткий анекдот?

Самое интересное: так же реагировал каждый вновь прибывший.

Потом начался театр скорби.

В школе отменили занятия, но всех педагогов обязали явиться в день похорон, чтобы ВМЕСТЕ смотреть церемонию.

Но больше всего меня поразило, что творилось в городе. В каждой витрине магазина появился портрет Брежнева в траурной черной рамке. У портретов возлежали цветы. Мы жили рядом с вокзалом и ходили туда в ларек за хлебом, если не успевали купить в магазине. Так вот — на вокзале соорудили что-то невообразимое. Портрет Брежнева занимал пространство от пола до высоченного вокзального потолка. Где скорбящие граждане Чехословакии достали портрет такого размера, причем в считаные минуты? Весь пол у картины уставили корзинами с цветами. Но больше всего меня поразила трагическая надпись во всю стену: «Земжел велкий чловек» (Умер великий человек.) (Привела надпись киррилицей, так как в моей клавиатуре отсутствуют чешские обозначения некоторых букв.) Вот это и было тем, что называлось издавна «быть католиком большим, чем Папа Римский». В СССР такой безграничной горести не проявляли. Когда сейчас во всем, что происходило в странах Восточной Европы, винят русских, я тут же вспоминаю этот гигантский портрет. Кто-то же его создал? Кто-то ставил корзины цветов? А надпись?

Сами старались, ребята, сами…

На коллективный просмотр похорон я не пошла. Беременным вообще ни к чему печальные картины. Потом директор школы со всех, кто отсутствовал на коллективном зрелищном мероприятии, потребовал объяснительные. Я положила перед ним пустой лист.

Пришел новый руководитель. Мы его деяния практически не застали, но с родины долетали вести, как днем на улице останавливают людей, проверяют, почему в рабочее время не на работе. Дичь! Впрочем, работал Андропов Ю. В. до этого в КГБ. Других методов, видимо, не представлял. Только напугать, посадить, выгнать…

Умер он 9 февраля 1984 года. Мы все еще находились в Чехословакии. Скорбь на этот раз проявлялась умеренно. Правда, тоже был объявлен день траура, можно было не ходить на работу… Даже похороны смотреть разрешили дома.

На место Андропова взошел (из последних сил) Константин Устинович Черненко. Он выглядел настолько слабым и больным, что сомнений не оставалось: в скором времени нас ждет очередная скорбь.

Мартовские праздники 1985 года. Мы уже в Москве. Ко мне зашла моя дорогая подружка Танечка. Сидим, болтаем о том о сем. У меня в семье уже два школьника, я и говорю:

— Самое лучшее время моей жизни всегда и теперь — школьные каникулы.

У нее ребенок еще маленький, но она меня понимает.

— И праздники, — продолжаю я. — И похороны вождей. Повезло нам — раз в год лишний выходной. Хоть выспаться можно.

На следующий день, 10 марта, нам объявили о смерти Черненко. Танечка в ужасе звонит:

— Ты пророк!

Ну, положим, пророками были все мы… Да и не нужно быть пророком…

…Недавно смотрела в хронике, как идет за гробом Черненко Горбачев. Весь в счастливом ожидании.

…Его ждали великие дела.

Город Ленинск Кзыл-Ординской области

Итак, мужа направили в госпиталь на Байконур. Космодром, все дела. Звучит! Романтикам, главное, не оказываться поблизости от объектов их романтических представлений.

Но еще до Байконура, в Алма-Ате, случился очередной ужас. У него пропали все документы. Он очень любил выпивать с незнакомыми людьми. Его тянуло на задушевные разговоры… Но незнакомые люди иногда ведут себя недружественно, даже если выпьют с тобой на брудершафт. К тому же Казахстан — не благопристойная Чехословакия. Там люди другие. Короче, он получил направление, стал это все отмечать… Потом оказалось, что пропало все: военный билет, все бумаги, но главное — партбилет. Что такое утеря партбилета — сейчас это никто и не поймет. Полагалось защищать этот билет ценой собственной жизни. Я не шучу. За утерю — исключение из рядов КПСС. А это все! Если в твоей анкете будет значиться такое, дорога тебе только в грузчики. Или в дворники.

В общем, муж позвонил, поделился. В принципе, грозило ему понижение в звании (он уже был подполковником) и целый ряд сопутствующих кар.

А все-таки — жутко, что у нас потеря бумажки может сломать человеку жизнь. Сколько потом наблюдала: потерял немец или американец загранпаспорт, идут, заявляют, получают на следующий день. Почему нам так нельзя? Ну — вопрос риторический, не будем.

Я, по заведенной привычке, взялась сострадать. А сострадаю я всегда не ахами и охами — это пустое. Я сострадаю деятельно.

Муж уже на Байконуре. Его ждет что-то вроде суда офицерской чести и партсобрание, на котором… даже страшно подумать…

Звоню свекрови. Советуюсь. Она, дочь и жена генерала, в ужасе. Как помочь? Лариса Захаровна говорит, что командующий округом — их хороший знакомый, почти друг. Он, конечно, мог бы повлиять. Позвонить, сказать, чтоб не судили строго. Что с каждым такое может случиться. Это не вина, а беда, если документы крадут…

— Я ему звонить не буду, мне неудобно, — говорит Лариса Захаровна. — Но если хочешь, дам тебе его домашний телефон. Можешь позвонить, поговорить с женой, даже можешь на меня сослаться. А самой звонить — это выше моих сил.

Я беру номер телефона. Долго молюсь. Я должна помочь своему мужу. Во что бы то ни стало.

Звоню. И меня понимают! И обещают помочь. И — помогают!

Ну — разве это не называется повезло?

Все спустили на тормозах.

Кстати, документы мужа потом нашлись в какой-то помойке, обгорелые. Их передали в милицию, милиция — в штаб округа в Алма-Ате… Но они уже были не нужны совсем. Все оформили заново.

В том, что Артемий Октябревич получает сейчас военную пенсию, есть и моя немалая заслуга! Я старалась!

…Страшное место, этот Байконур. Гиблое. Жутко то, что засылали туда служить молоденьких лейтенантов и проводили они 25 лучших лет своей жизни в пустыне, совершенно не годной для жизни людей, в жутких условиях. Вода, которую невозможно очистить… От этого гепатитом переболевают почти все. Жара больше 50 градусов, когда люди идут и, не чувствуя жажды, теряют сознание от обезвоживания. Приходилось носить с собой трехлитровые банки с соком (пластиковой посуды еще не было). Главное — не забывать пить, а то упадешь.

На географической карте не найдешь названия Байконур. Есть город Ленинск, Кзыл-Ординской области. А железнодорожная станция — Тюра-Там. В народе — Тюрьма-Там.

Да, закрытый город, за колючей проволокой. Среди пустыни. В нем живут все те, кто так или иначе обслуживает запуск ракет, спутников, космических кораблей. Но так их там не называют. Все, что запускается в небо, называется «изделие».

Когда «изделие» запускают, на город падает странный дождь. Без облаков, без туч. Падают огромные редкие капли. Словно небо плачет от причиненной боли.

Все друг друга знают. Всем смертельно скучно. Все пьют. Сами варят самогон. Банки с дозревающим самогоном стоят почти на каждом балконе каждого дома. На горлышках банок вместо крышек — резиновые перчатки. Когда происходит процесс брожения, перчатки наполняются газом, постепенно поднимаются, расправляют пальцы… Это называется «рука друга».

…Читая один из любимейших мной рассказов Виктора Пелевина «День бульдозериста», я словно попадала в Ленинск. С какой именно натуры писал замечательный писатель, увы, не знаю… Но все эти улицы «Санделя и Мундинделя», все эти дети, играющие на помойках, пока отцы «разговаривают», — это настолько точно, реалистично до мельчайшей детали…

При этом — люди обживались и там… Терпеливый наш народ…

Я была там дважды: один раз летом, другой — поздней осенью. Муж сказал, что детям там не место — гепатит. И сам он переболел гепатитом, заразился от своих больных. Я ездила выхаживать его осенью 1985-го.

Потом он приехал в Москву на месяц, на реабилитацию в госпиталь.

Так и жили. Моя цель была: вытащить его из ада.

Письма

«Здравствуй, моя любимая!

По всей видимости, мое предыдущее письмо постигла судьба остальных, поэтому передаю это с оказией. Ты, видимо, не до конца веришь в искренность моих телефонных словоизлияний. Но тем не менее все, что я говорю, это — правда. Я действительно скоро сойду с ума от одиночества и разлуки с тобой и детьми. Я действительно обдумал и разложил по полочкам свое предыдущее существование. С сожалением должен констатировать, что отрицательная чаша весов перетягивает. Грехов на моей совести много. Особенно мучают те, которые совершены по отношению к тебе и детям. Оправданий для себя я найти не могу. Дай бог, чтобы хотя бы те немногие светлые дни, которые были, ты помнишь, как и я! Пусть их было немного, но они дают мне силу жить сейчас. Я очень много решил для себя и надеюсь, что нужен вам хоть чуть-чуть. Желание у меня сейчас единственное — быть с тобой и детьми. Наконец я понял, насколько я люблю тебя! Простишь ты меня или нет, все равно останешься самой большой моей удачей, радостью и гордостью в жизни. Какой же я был дурак, что не понимал это раньше! Разменивался по мелочам, тратил драгоценные часы, дни в то время как имел возможность пить из драгоценного родника. Ведь более близкого друга и человека, чем ты, никогда не было и больше не будет в моей жизни. Видимо, нужно получить от судьбы хороший удар по физиономии, чтобы наконец понять это. Я понимаю, что забыть все плохое и простить — не в твоих силах. Слишком грязно и обидно я поступал с тобой. Был последней скотиной. Пусть каждая твоя слеза отольется мне новым страданием. Я заслужил это. Я готов на все, чтобы искупить свою вину перед тобой. Очень тебя прошу, постарайся поверить в это. Я не лицемерю ни в одном слове, поверь мне! Даже бесплодная пустыня один раз в году на две недели расцветает прекрасными цветами. Все, что в моей душе осталось хорошего и годного еще к употреблению, я отдаю тебе. Возьми, пожалуйста! Мне кажется, что кое-что еще осталось. Не брезгуй, прошу тебя. Очень прошу!!! Клянусь, что ни в чем не покривлю перед тобой. Ты — мой смысл жизни! Моя надежда! Моя любовь! Все, что у меня есть! Прости, что я многое сделал не так, как ты хотела. Прости меня! Но без тебя не могу! Понимаю, что разделить мое чувство в полной мере ты не можешь. Да и не мудрено. Слишком я мелок для тебя душой, иногда грязен в помыслах и делах. Ты могла бы жить совсем иначе и полностью реализовать свой ум и талант, а не

тратить сокровища своей души на такую свинью, как я. Но Бог на данное время решил поступить с нами так, как поступил.

Я сделаю все, чтобы вырасти до тебя, обещаю тебе. Отмыться от старых грехов я не смогу, но НИКОГДА НЕ БУДУ ГРЕШИТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ БОЛЬШЕ. Поверь! Мой самый большой грех это — пьянство. Мне кажется, что я сумел укротить свой порок. Ты убедишься в этом. Только дай мне шанс. Слишком многое для меня поставлено на ставку. Блефовать я не имею права. Я обязан был все это тебе написать. Иначе не могу.

Если все здесь написанное ты воспримешь холодно и не поверишь в мою искренность, моя дальнейшая жизнь не будет иметь никакого смысла. Надеюсь на лучшее!!

Очень скоро я буду с вами. Рвусь к вам всеми силами моей души. Наконец я понял, что такое — Душа! Это слишком много, это всё! Пачкать ее недостойным, грязным, мелочным НЕЛЬЗЯ! Иначе рискуешь потерпеть жизненное фиаско. Я был близок, очень близок к этому. Но я буду другим, поверь!!

До скорой встречи!! (Надеюсь, что ты ждешь ее, эту встречу.)

Целую всех милых, обожаемых моих крошек!

ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!

Любящий ТОЛЬКО ТЕБЯ!

Артём.

29.3.85».

Скажите, можно не поверить этим словам?

Мне папа ничего не говорил

Совсем недавно нашла папино письмо Танюсеньке. Вот цитата:

«Здравствуй, дорогая Таня!

Ты обижаешься, что я не пишу и не приехал. Больше месяца, как я болею, лежал в больнице и сейчас еще не работаю, поэтому было не до писем.

Не знаю, когда поправлюсь. Если все наладится, то надеюсь, что мы увидимся. Я тебе скажу честно, что мне хотелось бы с тобой повидаться, пока ты одна. Не обижайся на меня, но у меня нет никакого желания встречаться с молодым человеком, который взял трубку, когда я тебе звонил в прошлом году.

Хоть чином я не велик, но свой долг перед Родиной отдал не меньше его высокопоставленных предков. Мы воевали и погибали, и они должны это помнить всегда. Я имею в виду молодежь, а заслуги родителей — это не их заслуги. Поэтому я хочу повидать тебя, когда ты будешь одна. Потом и Гале будут неприятны натянутые отношения, огорчать кого-либо я не хочу».

Мне папа не писал и не говорил ни слова о моем муже.

Только однажды прочитала я в постскриптуме одного из его писем: «Думаю о твоей жизни, и мне становится грустно… все проходит мимо тебя. Мне кажется, что это все не то и не так. М.Г.».

Папа был очень деликатен. Он многого не знал, но, конечно, догадывался.

И — что удивительно — я все равно очень часто чувствовала себя счастливой. Я научилась радоваться таким маленьким мелочам, которые другие и не замечали. Оказалось, жизнь человека переполняется этими радостями и удовольствиями, на которых главное — внимание обратить.

Я выуживала радость из пения птиц, из прорвавшегося сквозь облака клочка синевы на сером небе, из смешных игр с детьми, из наших с ними разговоров, из шагания по любимым улочкам любимой Москвы… Я старалась видеть и замечать только то, что дает силу жить. Остальное в свою жизнь впускать было нельзя. Силы бы кончились.

Зависит ли что-то от меня?

Я часто задавала себе этот вопрос, решая, как жить дальше. Иногда мне казалось, что от меня не зависит ровным счетом ничего. Ни — сохранится ли моя семья, ни будущее детей… Я не могу заниматься тем делом, о котором мечтала. Не потому, что не хочу или не способна. Это от меня не зависит.

Хорошо, что сейчас не тридцать седьмой год и не война. А то тогда даже и просто существование не зависело бы от меня.

И где гарантия, что мы проживем без войны или какой-то катастрофы?

Как жить, чувствуя, что ничего в твоей жизни тебе не подвластно?

Я решаю: да, от меня зависит мало что. Но — дети мои зависят от меня. Я не имею права их подвести.

Уже хорошо.

Дальше. От меня зависит, что бы ни случилось, сохранять достоинство. Не унижаться, хорошо выглядеть, не пакостить другим.

И еще: от меня зависит не прекращать усилий. Идти к цели. Падать, вставать, снова идти.

Пока могу, буду идти. Это от меня зависит. Точно.

Перестройка и ускорение

Как и любой новый правитель, Горбачев старательно придумывает что-то новенькое, показывая подвластному себе народу недюжинную решимость изменить его жизнь к лучшему.

Он объявляет:

— борьбу с алкоголем,

— ускорение и

— перестройку.

Вот в таком порядке. На перестройку мы даже сначала внимания не обратили. Вообще понимать речи нового энергичного лидера очень мешал его витиеватый способ выражаться, когда к концу предложения, им произносимого, забывалось о начале сказанного. Да и это полбеды. Но — произношение, обороты! Они выдавали человека, плохо образованного, ограниченного. Эти его «на́чать», «ухлу́бить», «ложить» звучали убийственно. Каждый раз, услышав очередной спич нашего командира, хотелось отреагировать не по-доброму.

И вот из-за этих его речей мы, похоже, многое проглядели.

Мы понимали, конечно, что он пришел надолго. Нестарый здоровяк. Но думали, что как-то худо-бедно поведет он корабль, о курсе которого хотя бы имеет какое-то представление.

ОН ЯВНО НЕ ИМЕЛ!

Вот в чем дело, вот в чем главная загвоздка.

Он лепил в своих речах чего-то такое туманное, из чего окружающие его неглупые и хитрые соратники сотворяли «наш курс».

Впрочем, что уж…

Начал он бороться с алкоголем. В винные ежедневно выстраивались дикие очереди. Уничтожил ценнейшие виноградники по всей стране. НЕ он сам, конечно, но у нас рады стараться…

Пошли другие недостачи: то мыла нет, то порошка стирального, то еще за чем-то очередь…

А объявили ускорение.

До сих пор не поняла, что должно было ускориться. Видимо, слово само по себе понравилось своим задором.

Стою как-то в очереди за хлебом.

Длинная очередь.

Разговариваем с рядом стоящим покупателем.

— Ускоряемся, — говорю.

А тут кассирша вопит: закрываю кассу, переходите в другую очередь!

Мой собеседник замечает:
— А теперь и перестройка пошла! Из одной очереди в другую.

Чернобыль

27 апреля 1986 года. Ясный, теплый, солнечный день. Можно ходить в летнем платье. У моей дочки день рождения. Мы зовем гостей, готовим угощенье. Праздник! Нам хорошо и весело.

Когда я ходила за покупками для праздничного стола, дул сильный, но очень теплый ветер, южный наверное. От него — никаких неприятностей, только юбку надо придерживать, чтоб не взлетала. В остальном — даже хорошо в жару.

После всяких вкусностей захотелось пройтись. Когда еще гулять по Москве, как не теплой весной? Почки раскрываются, дни длинные. Благодать.

Долго мы гуляем.

А через день — странно — одновременно заболели все. И дети, и взрослые. У всех сильные боли в горле, глотать невозможно, высокая температура, слабость… Врачи ничего не понимают. Откуда что взялось? Детский врач недоумевает: странная вспышка ангины, никогда такого не было, чтобы весь ее участок одновременно ангиной заболел.

Болеем долго. И это очень хорошо! На улицу не выходим. В Майских праздниках не участвуем. И в этом — наше спасение.

Ведь 26 апреля случился взрыв на Чернобыльской АЭС. Правительству бы предупредить свой народ. Посоветовать бы дома сидеть. Радиация, братья и сестры. Дело серьезное. Давайте беречь население. Люди — самое ценное в нашей стране, понимаешь…

Но — как всегда. Трусы и подлецы. Трусы и подлецы проползают наверх и рулят.

Люди гуляют, не подозревая об опасности.

Узнав наконец про Чернобыль, педиатр даже успокоилась:

— Вот оно, в чем дело! А я-то никак понять не могла. Значит, и Москве досталось. Схватили дозу…

СПИД

В 1986 году я впервые узнала о СПИДе. Да и то — не из наших СМИ. У нас молчали, будто это нас не касается. Из все того же, по-прежнему читаемого мной югославского журнала «Svjet».

AIDS — так сокращалось название болезни в английском, так его называют во всем мире. Русскую версию названия узнала я спустя год, когда и у нас появился свой первый больной СПИДом.

Я с ужасом разглядывала фотографии умирающих в тяжких страданиях людей. Все они (а описывалось не менее семи случаев) были крайне истощены и покрыты жуткими язвами. Особенно выразительными были глаза несчастных: огромные, лунные (так я назвала их про себя), они выражали нечеловеческую тоску.

…Началом истории болезни считался 1978 год, когда в США и Швеции были зарегистрированы симптомы этого заболевания…

В 1981 году в США возникла особая болезнь: редкий рак кожи. Он встречался только у геев, поэтому его так и назвали — «gay cancer» (рак гомосексуалистов). Тогда еще не знали, что так проявляет себя новая болезнь — синдром приобретенного иммунитета. В тот год в США от непонятной этой болезни умерло 128 человек. Только через год догадались, что болезнь как-то связана с кровью. Еще через год количество умерших в Штатах составило более полутора тысяч человек. И именно в 1983 году французский ученый открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Его считают причиной возникновения болезни. В 1985 году было установлено, что вирус этот передается через жидкие среды человеческого тела: кровь, сперму, женские секреции и материнское молоко.

В Штатах вовсю трубили об этом кошмаре, предупреждали. Общественную организацию создали под девизом «Молчание — смерть». А у нас — тишь да гладь…

Тогда, в далеком восемьдесят шестом году невозможно было представить, в какой прогрессии будет увеличиваться число больных. Россия, как всегда, была захвачена врасплох. Шквал наркомании, заражение через использованные шприцы, миллионы смертей. И наш идиотский фатализм, рабская покорность судьбе, проклятая русская рулетка.

Позднее появится трогательную песня: «Но у тебя СПИД, а значит, мы умрем…» Парни геройствовали, отказываясь от презервативов и требуя того же от подруг как доказательства их любви. Ромео и Джульетты нашего времени…

Всем известны шокирующие истории о том, как муж заразил жену, а сам заразился от любовницы, которой доверял, и так далее… Но каждый в глубине души уверен: его это не коснется. Просто потому, что это невозможно. Слишком уж несправедливо и беспричинно.

…Постепенно подкрадывалось осознание, что нам придется жить в пору катастроф…

Но все равно — надо жить, надо проходить свой путь…

И — нельзя бояться, даже если очень страшно.

Защита диссертации

В 1986 году я защитила диссертацию. У меня получилось!

Мой научный руководитель, Дмитрий Николаевич Шмелев, любил пошутить:

— Ну-ка, расскажите, как вы это все успеваете? У вас явно не две руки… Наверное, так: одной рукой укачиваете младенца, другой — стираете, третьей варите суп, четвертой листаете книгу, пятой печатаете статью…

Мне вполне хватало двух рук. Главное — хорошая организация труда.

Старшие идут в школу, младший — в детский сад, я в это время бегу в Ленинку — Ленинскую библиотеку. Бегу пешком, по Калининскому проспекту (Новый Арбат). Это быстрее, чем ждать троллейбуса. Да и прогулка не помешает. В библиотеке провожу 2–3 часа, зато каких насыщенных! Выписываю, отмечаю…

Потом бегом домой. Сажусь и работаю за пишущей машинкой: в голове сложился очередной раздел… Подтягиваются мои ученики. Мы обедаем. Они — за уроки, я — за статью или диссертацию.

Один из самых счастливых периодов моей жизни.

Я занималась интересной темой, я наслаждалась и удивлялась, находя особые употребления слов… И думала: «Ах, если б навеки так было!»

Дни, полные трудов, вечерами игры с детьми… Счастье.

Как только я получила диплом из ВАКа о присуждении мне ученой степени, стали мы со свекровью хлопотать о возвращении мужа к семье.

Хлопоты наши увенчались успехом. В 1987 году муж был переведен на работу в Москву.

Я снова работала на кафеде русского языка для иностранцев.

Когда муж перевелся, я решила попросить его дать мне возможность год не работать. Мне хотелось заняться писательством. Я ни разу не была даже в декретном отпуске. И вот сейчас, когда все у нас получилось, когда я своими усилиями, оставшись одна с тремя детками, смогла защититься и даже вызволить его из Средней Азии, я надеялась, что имею моральное право об этом попросить.

— Нет, я один не потяну, — испугался муж.

И я пошла работать.

Вот тут я поступила неправильно. В этом уверена до сих пор. Нельзя предавать свои мечты.

Впрочем, в том, что я не прекратила работать, были, как

оказалось, существенные плюсы.

Гласность

Последняя треть 80-х — эпоха гласности. Вымолвил Горбачев это слово, и — деваться некуда — пошел журнальный поток с такими публикациями, о которых и мечтать не приходилось.

При этом мы все не доверяли нашему руководству и были убеждены, что скоро все это прикроют. Значит, надо было скорее читать все, что выходило, чтобы не упустить.

Читали днями и ночами.

Я в тот период слепла, теряя зрение от чрезмерного напряжения. Читала с лупой, при сильном освещении. Наплевать. Главное — прочитать.

Ужас, охвативший всю страну, узнавшую правду о недавнем прошлом, трудно передать.

Мы были сражены, ошеломлены, подавлены… Да, нам досталась ударная доза кошмара. Мы не понимали, как жить дальше, на что ориентироваться.

А Горбачев все говорил ни о чем, все болботал о реформах, об улучшении жизни населения…

Когда обнаруживаются преступления, за них следует наказать преступников. Помочь жертвам. Постараться сделать выводы, чтобы это никогда не повторилось.

Мы узнавали о преступлениях. Мы ждали покаяния и выводов.

Их не было. И нет.

Май 1987. Маленький такой самолетик

Девятнадцатилетний немец Матиас Руст осуществил небывалое: пересек на маленьком самолетике границу СССР и приземлился рядом с Красной площадью в Москве.

Говорит, сам задумал и осуществил. Даже сейчас так говорит, через четверть века.

Не верю. Врет.

Чтоб уж совсем необученный юнец вот так сел и полетел прогуляться — о чем говорить…

Это была беспроигрышная игра Запада на ослабление вооруженных сил СССР. Почему?

Смотрите: самолетик приземлился, и Горбачев тут же снял со своих постов и министра обороны, и многих его замов. Из тех, кто не дали бы уничтожить армию.

— Как же вы недоглядели! Безобразие какое!

А если бы сбили самолетик? Могли бы, кстати.

Все равно — уволил бы.

— Вы что, изверги! На нас мир смотрит, как мы тут к демократии ускоряемся, а вы самолетик, маленький такой — сбивать?

Простая игра, а какая действенная, если у власти стоит марионетка!

Чьей марионеткой был Горбачев?

Это станет понятно в девяностые.

Восьмидесятые

Восьмидесятые… О них сейчас особо говорить не принято. Вот девяностые получили свое наименование, их обозначают эпитетом «лихие». О девяностых речь пойдет впереди. А вот восьмидесятые, поверьте, заслуживают более пристального внимания, чем то, что им сейчас уделяется. Впрочем, это дело историков. На мой взгляд, восьмидесятые — это и есть время главного предательства, о котором мы, легковерные, долго не догадывались.

События следовали одно за другим…

С самого начала 1980-го — развернулась война в Афганистане.

В связи с этим США объявили бойкот летней Олимпиады-80, которая должна была проходить в Москве.

В начале 80-х врачи обращают внимание на странную болезнь, получившую впоследствии название СПИД.

В 1980-м — 25 июля умер Владимир Высоцкий, 20 августа — не стало Джо Дассена, 8 декабря — Джон Леннон был убит у подъезда своего дома в Нью-Йорке.

В 1981-м президентом США становится Рональд Рейган, придавший гонке вооружений невиданные масштабы. В 1983 году Рейган объявит главным врагом СССР, назвав нашу страну «империей зла».

В 1981 году СССР впервые переходит на летнее время.

Декабрь 1981 года — в Польше введено военное положение.

Ноябрь 1982 года — кончина Л. И. Брежнева.

9 февраля 1984 года в возрасте 69 лет умер преемник Л. И. Брежнева Ю. В. Андропов.

В 1984 году СССР бойкотирует Олимпиаду в США.

10 марта 1985 года в возрасте 75 лет умирает преемник Ю. В. Андропова К. У. Черненко.

Пост Генерального Секретаря ЦК КПСС занимает М. С. Горбачев.

Правление Горбачева началось с масштабной антиалкогольной кампании, приведшей к целому ряду негативных последствий.

Апрель 1986-го — Чернобыльская катастрофа.

1986 год — начало перестройки.

Конец мая 1987-го — Матиас Руст приземлился на Красной площади.

1989–91 — падение коммунистических режимов в странах

Восточной Европы.

1989 — вывод войск из Афганистана.

1989 — события на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

1989 — падение Берлинской стены.

ДЕВЯНОСТЫЕ

Преамбула

Одному нашему другу, офицеру, поручили быть военным дознавателем. Это своего рода общественная работа. Случается что-то в части, он должен опросить, записать, доложить. И вот он пришел в госпиталь, чтобы опросить солдата, получившего в драке черепно-мозговую травму. Солдат призван был на службу из далекой среднеазиатской республики. Дознаватель велел ему написать объяснительную по поводу происшествия. Тот написал следующее:

«Рядовой Мамедов иб банул миня тыбу реткой по галаве.
Я мрачно ах хуель».

Вот точно так же, коротко, но предельно ясно могу я обозначить то, что с каждым из нас происходило в девяностые.

Кто-то очухался, оклемался от «мрачного ах …уения», а кто и сгинул. Сгинувших не сосчитать.

Впрочем, речь у нас пойдет о везении.

Поэтому — смело вперед!

«Мама, купи молочка!»

Мой младший сын очень любит молоко. Это же замечательно, правда? Дал ребенку молоко, кусок хлеба, он и сыт. И уговаривать не надо. Сам просит:

— Купи молочка!

А что делать, если от этой просьбы у матери сердце разрывается?

Нет молока. Нет его в магазинах. Вообще почти ничего нет.

Как же так получилось?

Ухлубляли, ускоряли, перестраивались. Все, как учили. Работаем все. Время — мирное. А в магазинах нет еды. У меня есть, конечно, запасы круп, макаронов, консервы жуткие, но если на крайний случай, сойдут. Это есть.

Но молочком не запасешься. А ребенку надо молоко.

— Нет молочка в магазинах, детка, — объясняю я ему.

— Нет, есть! — хнычет сын. — Есть! Просто ты купить не хочешь!

И что мне делать?

Молоко иногда появляется, но его тут же сметают с прилавков. Мы же днем работаем, а желающих много.

А есть в Москве валютные магазины. Там продают только на доллары. То есть — кому-то молоко доступно. Если доллары привезли из-за границы или как-то сумели купить в городе.

И тут мне везет несказанно! Прилетает давний знакомый из Америки. Мы с ним когда-то написали веселое учебное пособие для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Он говорит, что ему удалось книгу издать в Штатах, и она хорошо продалась. Почему-то не привозит мне ни одного экземпляра.

— Не успел, — говорит, — в спешке захватить.

Зато дает мне 500 долларов! Мой гонорар.

Я счастлива. Это деньги на молоко! Ура!

Книжку эту я так никогда и не увидела. И догадываюсь, почему. Скорее всего, нет на обложке моего имени. Под своим издал коллега. Ну, я ему не судья. Мог же бы и деньги не дать. А он — дал!

И теперь у меня ребенок пьет свое молоко, когда хочет.

Пашу выводят гулять

Младший ребенок — обуза для старших.

— Мам, можно погулять? — спрашивает дочка.

Ее уже подружка ждет в прихожей.

— Можно, только Пашу возьмите.

Она безропотно зовет:

— Пашенька, иди одеваться, гулять пойдем!

Выходит молодой барин и ложится в прихожей на пол: одевайте.

Знает, что девчонки торопятся и согласятся сами его по-быстрому одеть-обуть, чем ждать, когда он напялит на себя рейтузы, свитер, шубу, валенки с галошами, шапку меховую…

Девочки быстро одевают лежащего и ставят на ноги.

Группа удаляется на прогулку.

Я за них спокойна. Дети пока еще гуляют одни, как и мы в свое время. Мы, родители, пока ничего не опасаемся.

Через пару часов слышу, как открывается лифт, голоса у нашей двери, звонок.

Открываю.

Пашу заносят несколько ребят Олиного возраста. Он нагулялся, устал, лег в снег. Повалялся в снегу, захотел домой. Вот его и понесли. С доставкой на дом.

Настоящий снеговик, весь в ледышках, только щеки румяные виднеются.

Так и помнят сейчас участники прогулок, как выносили они на прогулку Пашу, а потом заносили назад.

Раздевался он, правда, сам. Потому что ребята убегали снова гулять, а с меня что возьмешь? Со мной не забалуешь. Приходилось самому.

Мои ребята — последнее из поколений детей, свободно гулявших в детстве во дворах, на улицах.

Для следующих поколений это стало приключением, опасным для жизни.

Фото в витрине

Был в Москве на Калининском проспекте известный всей Москве магазин «Хлеб». В витринах этого магазина обычно вывешивали разные фото из хроники текущих событий.

Люди шли за хлебом, а у витрин обязательно останавливались, рассматривали. Фото делались большими мастерами. Да и посмотреть было на что.

Помню репортаж, освещавший визит Горбачева в какую-то западную страну. Ковровые дорожки, почетный караул. Всюду фото Раисы Максимовны.

— Сколько ж у нее шуб! — презрительно говорят люди у витрины. Лица их, измученные, угрюмые, серые, выражают все, что угодно, только не любовь.

— Как не стыдно, народ до такого довести, а сами щеголяют, радуются, — поддерживает кто-то.

…Не ко времени была эта элегантность, право слово. Совсем не ко времени.

Мне столько раз с недоумением задавали за границей вопрос о том, почему наш народ так не любит Горбачева.

— Ведь он дал вам свободу! — поучающе замечают при этом собеседники.

Ну, насчет того, что он дал, можно сильно поспорить. И — дал ли?

— А вот скажите, если бы вам ребенка нечем было кормить — в мирное время, при том, что вы работаете не покладая рук? Вам бы это понравилось? Вы бы полюбили такого правителя?

И еще: как вы назовете главу страны, который действует так, что народу живется все хуже и хуже, а заграница его одобряет все горячее и горячее?

Разве не ясен ответ?

…Вспомнилось, как читала я в январе 1985 года все в том же югославском журнале «SVJET» репортаж о визите Горбачева с женой в Англию 15–21 декабря 1984-го. Тогда он был секретарем ЦК КПСС и посещал страну в рамках межпарламентских обменов. Маргарет Тэтчер, по слухам, была им очарована. Но в журнале, который я читала, речь шла о другом. Там воспроизводилась информация западной прессы о том, как во время приема, устроенного королевой, Раиса Максимовна похвалила ее ожерелье и спросила, где оно сделано. (Ну — извечный наш вопрос: где и почем брала?)

Королева назвала имя придворного ювелира, к которому на следующий день и отправилась супруга будущего Генерального

Секретаря КПСС, чтобы заказать себе такое же. Расплачивалась она чеками Американ Экспресс. (Ожерелье стоило серьезных денег.)

Что это была за информация? Очередная клевета на наш радостный строй и его руководителей?

А если нет?

Нам внушали, что коммунисты честны, принципиальны, бескорыстны. Стяжательство — позор для коммуниста. Какие чеки Американ Экспресс? Откуда? Нет, понятно, что у них свои распределители и бóльшие возможности, чем у нас. Но по тем моральным установкам чеки иностранных банков не полагались.

Так что же это было?

Август 1990-го

Мы всей семьей отдыхаем в военном санатории на Рижском взморье. В ночь на 15-е августа разражается невероятной силы гроза. Дом наш, основательный, каменный, ходит ходуном. Молнии во все небо. Страшно. Раскаты грома оглушают. Мы собираемся вместе, жмемся друг к другу…

— Такая гроза неспроста, что-то случится ужасное, — говорю я.

Дожди льет и льет…

Утром идем в столовую, там крыша прохудилась во время ливня, все залило водой.

Чуть позже местное радио передает:

— На шоссе Слока погиб в автокатастрофе Виктор Цой.

Мы не верим. Не может быть!

Ему только двадцать восемь!

После его гибели выходит его последний диск — «Черный»…

«Следи за собой, будь осторожен…»

И до сих пор ощущение: не может быть!

Особо одаренные дети

С конца восьмидесятых я перешла из своего института на работу в специальную музыкальную школу имени Гнесиных. Я думала, что буду нужна одаренным детям больше, чем студентам из Лаоса, приехавшим учиться в высшее учебное заведение без элементарных, школьных знаний физики, химии. Не знаю, как и чему они научились, да и зачем им это было. Но мои знания и творческие порывы им явно не требовались.

А тут одаренные дети. И мне обещают свободу составления программы в старших классах, говорят о том, как я нужна талантливым умным ребятам… А я так соскучилась по живой работе!

Решилась.

Гнесинка располагалась в старинном особняке неподалеку от Кремля. Идти пешком от моего дома до работы — 20 минут. Для Москвы — неслыханное преимущество.

И дети… Да! Они действительно сильно отличались от ребят из обычных школ. Музыка творит чудеса, развивает. К тому же все они (в большинстве своем) были из семей людей талантливых и образованных. Семейная атмосфера решает почти все. И нагрузка у этих детей была запредельной. Их основным занятием была музыка. Занятия специальностью, общим фортепьяно (на каком бы инструменте ученик ни играл, он был обязан освоить игру на фортепьяно), сольфеджио, ритмика (в начальных классах), история музыки, гармония… Ко всему этому — участие в концертах (вполне взрослых и ответственных), конкурсах… Только всего перечисленного хватило бы, чтобы ребенок был загружен до невозможности. Но на то и общеобразовательная средняя школа, чтобы помимо этих специальных предметов дети в полном объеме осваивали обычные школьные дисциплины.

Возможно ли это?

Только для человека, обладающего особой энергией сверхчеловека.

А аттестат зрелости получать надо. Как иначе поступать в ту же консерваторию? Но в консерваторию не поступишь, если свой специальный экзамен сыграешь меньше, чем на пять.

Неразрешимое противоречие.

Педагоги по специальности в школе подобрались выдающиеся. И они требовали (ради достижения результатов) плюнуть на все и заниматься только специальностью.

Недавно моя бывшая ученица-скрипачка, заехавшая ко мне в гости, рассказала, как ее педагог по специальности кричала ей:

«Если пойдешь на гармонию, ко мне можешь больше не приходить, ищи другого педагога!» И эта же ученица, оказавшись за границей (поступила там в консерваторию), поняла, что в специальности она — одна из лучших (спасибо педагогу), но в остальном — совершенно не образована. Ей пришлось нанять репетиторов по истории искусства, музыки, чтобы мочь на равных общаться со сверстниками.

Что требовалось этим необыкновенным ученикам? Попросту: учителя-предметники, которые владели своим предметом досконально, могли изложить тему коротко, ясно, увлекательно. И не задавать домашних заданий. Все — на уроке! Тем более эти дети обладали феноменальной памятью: они запоминали сказанное учителем слово в слово. Если учителю было что сказать.

Как интересно было отдавать свои знания этим ребятам! Они — понимали, они делали выводы, они видели нюансы! Это меня поразило, когда я начала заниматься с выпускным классом — 17–18-летними, сложившимися музыкантами, в которых видела достойных собеседников.

Были и серьезные проблемы. Дети, привыкшие заниматься с основным педагогом один на один, прекрасно понимали объяснения, когда в классе было 2–3 человека. Умели сконцентрироваться, понять. Но они совершенно не могли находиться в классе, где собиралось человек тридцать. Они отключались, общались друг с другом… И вот тут от учителя требовалось много сил и умения диктовать свои условия.

Что еще? Дети были страшно невротизированы. Мало кто без ущерба для нервов выдержал бы серьезную конкуренцию, постоянное сравнение с более успешными, упреки, если на зачете или экзамене получил не пять, а пять с минусом. Дети панически боялись четверок! О тройках я уже не говорю. И, что меня поразило, они не стеснялись доносить друг на друга. (Они не понимали, что доносят.) Подходили и вываливали такое… И сейчас вспомнить страшно… Я постепенно стала у них спрашивать, как они собираются жить в «большой жизни»? Ведь то, что они хорошие музыканты, не делает их хорошими людьми. Надо соблюдать какие-то правила поведения, учитывать, что другим людям тоже и так же бывает больно…

— Ничего, — отвечали мне часто. — Я так хорошо играю, что все меня будут уважать и любить за это. Остальное — ерунда.

Но я все-таки продолжала говорить о том, что такое хорошо и плохо. Кто-то понял.

Некоторые дети в школе были совершенно несчастными существами: их били, оскорбляли и унижали родители ради того,

чтобы добиться блестящих результатов в музыке.

Вот этого я никогда не пойму! Хотя — история стара, как мир, и — знаю — мне припомнят Моцарта и его строгого отца… И скажут, что главное — результат… Для меня — нет. Жестокость растлевает. И палача и жертву.

Не буду здесь говорить о деталях. Материала — на целую книгу воспоминаний. Но уж очень страшно и больно было бы писать эту книгу.

…Мать-музыкант занимается с сыном специальностью и кричит, когда у него не получается:

— Сволочь, урод, мразь, скотина!!!

Сын отвечает:

— Чтоб ты сдохла!

Занятия продолжаются…

Я этому свидетель. Видеть это невозможно. Чувствуешь себя соучастником. А вмешаться — чего только не выслушаешь в ответ…

…А потом льется божественная музыка… Я порой переставала ей верить. Закрывалась от звуков наглухо.

И еще — проблема: понимание полной собственной ненужности в этой школе. Да-да! Вот я такой профессионал, со всеми своими знаниями и желаниями научить — тут никому не нужна! Мне так и говорят педагоги по специальности: Здесь учат музыке! Оставьте детей в покое!

Директор говорит: «Останьтесь! Вы нужны детям!»

Я остаюсь.

Я люблю этих детей. Им трудно. Они сильные. Они знают цену труду.

Наверное, я что-то смогу им дать тоже.

Будущее покажет.

Три школьника в семье

Вот и наступило мое время Х: все трое детей учатся в школе. Вспоминаю свое детство: старшие вообще практически не касались к моим школьным делам. Я, конечно, могла спросить, как решить задачку. Женечка направляла ход моих мыслей в нужное русло. И это все.

К концу восьмидесятых ситуация в школе резко поменялась. Во-первых, еще с семидесятых стал действовать закон о всеобщем среднем образовании. Это означало, что любого, даже совершенно не способного к учению человека (бывают же и такие, они от этого ничуть не хуже других и вполне могут найти себе дело по душе и радоваться жизни), так вот: любого самого неспособного надо было держать в школе до получения аттестата зрелости. При этом школьные программы усложнялись совершенно неоправданно. Методисты и чиновники изображали видимость кипучей деятельности, не осознавая, что детство — уникальное время человеческой жизни, которое человек должен прожить не только за учебником и не только в плену домашних заданий.

Задания же теперь были такие, что времени на жизнь не оставалось не только у детей, но и у родителей.

Вот мы с детьми вечерами сидим и трудимся.

Помогаю по всем предметам, кроме английского. Тут к ним приходит совершенно замечательная и опытнейшая Фаина Семеновна.

И вообще — без репетиторов теперь не обойтись.

Самоутверждение

Деньги тем временем стремительно теряют покупательную способность. Открылись кооперативные магазины, там есть одежда, вполне пристойная, еда — вкусная, но стоит все… Мало кому доступно.

У меня, помимо основной работы, два серьезных дополнительных источника доходов. Кооператив «Готовим в вуз» и частные уроки. Учеников много. У меня легкая рука: все после меня поступают. Поэтому много и рекомендаций. Это трудная работа, она отнимает все оставшееся время. Мое личное время теперь — время сна. Как-то я при этом ухитряюсь читать. И вообще — жить. Но деньги пока есть. Пока я спокойна: семья не останется без еды.

Муж получает зарплату, которая не увеличивается. И подработать не может — он на военной службе. Но это и не надо: нам хватает. И даже очень. А плохие времена скоро кончатся, скоро ему опять будут платить хорошую зарплату. Надо только перетерпеть. И как же хорошо, что он не разрешил мне с работы уволиться!

Однако мужу неприятно, что я зарабатываю, а он пока нет. Он говорит:

— В армии распродается сейчас все. Списывают машины, грузовики в массовом порядке. А списанное продают — за бешеные деньги. Можно обогатиться немыслимо.

Я умоляю его не обогащаться и не мечтать о таком обогащении. Все это махинации. Нам хватает, не надо.

Но ему надо самоутвердиться любой ценой.

Теперь после работы он сидит на телефоне. Делом занят. Пытается быть посредником при распродаже армейского имущества. Только и слышно:

— Нал, безнал, откат…

Ездит на переговоры… Ждет прибылей, даже планирует, что сделает с деньгами, которые вот-вот прольются на него золотым дождем.

Август 1991-го

Рано утром 19 августа 1991 года мы возвратились из Светлогорска, что на Балтике, в Москву. Дома много хлопот. Понятное дело: месяц не были, а скоро в школу… У мужа отпуск еще не закончился. Планируем кое-какие дела.

Он, по своей обычной привычке, включает телевизор. Слушаем новости:

«В связи с невозможностью по состоянию здоровья Горбачевым Михаилом Сергеевичем…» президент СССР временно отстранялся от власти. Власть в стране переходила в руки ГКЧП — Государственного комитета по чрезвычайному положению.

Председатель ГКЧП — Г. И. Янаев, вице-президент СССР, среди членов: Крючков В. А., председатель КГБ СССР; Павлов В. С. — премьер-министр СССР; Пуго Б. К. — министр внутренних дел СССР; Язов Д. Т. — министр обороны СССР.

Было зачитано обращение к гражданам страны.

Я хочу его полностью привести тут:

Соотечественники! Граждане Советского Союза!

В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла смертельная опасность! Начатая по инициативе М. С. Горбачева политика реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми институтами государства. Страна, по существу, стала неуправляемой.

Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты общенационального референдума о единстве Отечества. Циничная спекуляция на «национальных чувствах» — лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку

морально-политического террора и пытаясь прикрыться щитом народного доверия, они забывают, что осуждаемые и разрываемые ими связи устанавливались на основе куда более широкой народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую проверку историей. Сегодня те, кто, по существу, ведет дело к свержению конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских людей, еще вчера живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном доме изгоями. Каким быть общественному строю, должен решать народ, а его пытаются лишить этого права.

Вместо того чтобы заботиться о безопасности и благополучии каждого гражданина и всего общества, нередко люди, в чьих руках оказалась власть, используют ее в чуждых народу интересах, как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заявлений и обещаний только подчеркивают скудость и убогость практических дел. Инфляция власти страшнее, чем всякая иная, разрушает наше государство, общество. Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей.

Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало взрыв эгоизма: регионального, ведомственного, группового и личного. Война законов и поощрение центробежных тенденций обернулись разрушением единого народнохозяйственного механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора сказать людям правду: если не принять срочных и решительных мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен голод и новый виток обнищания, от которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства с разрушительными последствиями. Только безответственные люди могут уповать на некую помощь из-за границы. Никакие подачки не решат наших проблем, спасение в наших собственных руках. Настало время измерять авторитет каждого человека или организации реальным вкладом в восстановление и развитие народного хозяйства.

Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности, заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле же человек оказался униженным, ущемленным в реальных правах и возможностях,

доведенным до отчаяния.

Продолжение (не вошедшее в данную аудиозапись, по непонятным или понятным причинам…)

На глазах теряют вес и эффективность все демократические институты, созданные народным волеизъявлением. Это результат целенаправленных действий тех, кто, грубо попирая Основной Закон СССР, фактически совершает антиконституционный переворот и тянется к необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все больше явочным путем подменяют собой избранные народом Советы.

Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, образование, здравоохранение, жилье, отдых поставлены под вопрос.

Даже элементарная личная безопасность людей все больше и больше оказывается под угрозой. Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину насилия и беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь будущих поколений. Миллионы людей требуют принятия мер против спрута преступности и вопиющей безнравственности.

Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Советском Союзе подрывает наши позиции в мире. Кое-где послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Советского Союза и о возможности установления международной опеки над отдельными объектами и районами страны. Такова горькая реальность. Еще вчера советский человек, оказавшийся за границей, чувствовал себя достойным гражданином влиятельного и уважаемого государства. Ныне он — зачастую иностранец второго класса, обращение с которым несет печать пренебрежения либо сочувствия.

Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объеме.

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса.

Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового Союзного договора. Каждый будет иметь право и

возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по нему. Ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей великой Родины.

Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные явления, дискредитирующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей народного добра.

Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее экономическому и социальному процветанию, которое позволит ей занять достойное место в мировом сообществе наций.

Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное повышение благосостояния всех граждан.

Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на защите интересов самых широких слоев населения, тех, по кому больше всего ударили инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность.

Развивая многоукладный характер народного хозяйства мы будем поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и сферы услуг.

Нашей первоочередной заботой станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все имеющиеся силы будут мобилизованы на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа.

Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков, судьба Отечества.

Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства. У нас нет ни к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе. Но мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться на наш суверенитет, независимость и территориальную целостность. Всякие попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого бы они ни исходили, будут решительно пресекаться.

Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину, мы не стыдились своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить нынешнее и грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом духе.

Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час — значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых межнациональных конфликтов, кто видит свое Отечество в будущем независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени.

Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по выводу страны из кризиса.

Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической готовности деятельно участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождении Отечества.

Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР.

18 августа 1991 года.

Человек, родившийся в другую эпоху, вполне может не понять, что же в этом обращении вызвало возмущение людей, почему они пошли на баррикады, ведь написаны и произнесены правильные слова. И сейчас бы многие мечтали о том, что в этом обращении провозглашалось. Я, перечитав все это сейчас, заново, тоже задаю себе этот вопрос: почему первую нашу реакцию можно обозначить словами: возмущение, отторжение, ужас, протест?

А вот почему. Мы к этому времени не верили ни одному слову Горбачева и его соратников. Мы, выросшие в эпоху «эзопова языка» и лживых обещаний, умели отличить пустую болтовню от того, что будет в реальности. Особенно если эта болтовня исходит от председателя КГБ и подобных ему официальных лиц.

Если же судить не по риторике, а по делам, то дела предполагались следующие:

Было объявлено о чрезвычайном положении в Москве сроком

на шесть месяцев,

ввод войск в Москву,

жесткая цензура в СМИ и запрет ряда из них,

отмена ряда конституционных прав и свобод граждан.

За шесть предшествующих лет деятельности Горбачева у нас отняли все: чувство покоя, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, де-факто — 8-часовой рабочий день (чтобы прокормить семью, надо было работать за троих,) ощущение личной безопасности… Но оставалась дарованная свобода слова и передвижения по миру. Если сейчас и это отнимут, с чем мы останемся?

Вот такие возникли ощущения.

У нас отнимали свободу! И сил смиряться уже не было.

Они вводили в центр города танки.

Против кого? Зачем? Против народа, который покорно соглашался терпеть все фокусы, все недомолвки, все (мягко скажем) странные решения своего лидера, красовавшегося на Западе, как герой?

И вот теперь о нем, лидере… Кого ни спрашивала, никто в те дни не верил, что Горбачев ничего не знал. Ему вообще перестали доверять. А тут думали так: понял, что завел страну в никуда, а назад дать ход боится. Вот и сочинил вместе со своими же ставленниками историю: он, мол, больной, а те пусть действуют.

Потом Янаев не раз заявлял, что документы ГКЧП были разработаны по поручению Горбачева, а последний председатель Верховного Совета СССР А. Лукьянов подтвердит, что ГКЧП был фактически создан на совещании у Горбачева в марте 1991 года.

Сам Горбачев в своей обычной туманной и витиеватой манере говорит, что подготавливал только шаги по реализации закона СССР «О правовом решении чрезвычайного положения».

Лично у нас вопрос об участии Горбачева в заваренной каше сомнений не вызывал. И вот почему. Мы хорошо знали, каким преданным человеком был министр обороны Д. Т. Язов. То, что он без согласия своего непосредственного начальника (в данном случае президента СССР), не пошел бы ни на какую авантюру, было очевидно. Честный служака, фронтовик, добровольно ушедший на фронт, не дождавшись призывного возраста, он был верным присяге до мозга костей.

Выражаясь нынешним языком, М. С. Горбачев кинул своих соратников. Да что соратников! Весь наш народ кинул.

А теперь о том, что разворачивалось перед нашими окнами. Потому как из-за местоположения нашего дома мы имели возможность, даже не выходя на улицу, наблюдать за

происходящим. А уж когда выходили, оказывались в гуще событий.

Для начала — с грохотом двигаются по Садовому кольцу танки, БТР, БМП. Как год назад, в 90-м, на парад Победы, 45-летию. Тогда в этом параде участвовал и наш муж и отец. Мы стояли на подоконнике и любовались боевой техникой, вопили: «Ура!!!»

Но сейчас эти танки направлены против нас.

Знали бы вы, какое это унизительное чувство!

Мне позвонила моя Майка из Чехословакии:

— Галя, что у вас там происходит?

Они уже узнали и переживают за нас.

Из-за грохота военной техники я почти не могу разобрать ее слов.

— Танки, Майка, танки на улицах.

И мы с ней плачем.

Но плакать нельзя. А что можно? Что вообще делать-то?

Идем на улицу. Люди говорят, что Ельцин выступал «как Ленин, на броневичке», призвал всех идти к Белому дому. Ельцин к тому времени был избран Президентом РСФСР и теперь, похоже, брал власть в свои руки.

До Белого дома (Дома Советов Российской Федерации) нам идти две минуты. Перейти на другую сторону Садового кольца по подземному переходу, миновать Большой Девятинский переулок, и вот он, горбатый мост, а за ним Белый дом. Тогда к нему доступ был открыт, ни заборов, ни КПП.

Моросит мелкий дождик. Люди собрались у самого здания Дома Советов. Нас пока не очень много. Все полны решимости стоять до конца, сколько бы техники ни пригнали.

— Все! Хватит! Надоело! Жить под «этими» надоело. Пусть давят. Всех не раздавят.

Такой настрой у людей. Это не отчаяние. Это решимость.

В окне тем временем появляется Ельцин. Подтянутый, в безукоризненной белой рубашке с короткими рукавами, он сам открывает окно и бросает в толпу листовки. Мы ловим одну. Это Указ Президента РСФСР о незаконности ГКЧП.

Подписан 19 августа 1991 года в 12 часов 10 минут.

Значит, предстоит противостояние.

И вот уже сооружаются баррикады.

«Они не пройдут!»

Людей становится все больше и больше.

— Дети, смотрите, вот — на ваших глаза творится история. Что бы ни было, но это — великий момент. Даже если «они» нас и

победят, им это даром не пройдет.

Дальше — трудный день. Детей отвели домой. Баррикады.

А потом — страшная ночь, во время которой мы стали свидетелями гибели людей.

Всех свидетелей этих дней Моссовет попросил записать увиденное. Мы это сделали.

Вот то, что мы написали и передали представителям Моссовета:

> В КОМИССИЮ ПО ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКУ МОССОВЕТА ОТ АРТЕМЬЕВА АРТЕМИЯ ОКТЯБРЕВИЧА, 1951 г.р., ПОДПОЛКОВНИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ПО АДРЕСУ: МОСКВА, 121069, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 18, КВ. 214, ТЕЛ. 291–87–91
>
> СВИДЕТЕЛЬСТВО
>
> Я, Артемий Октябревич Артемьев, свидетельствую: 20 августа сего года после участия в митинге и строительства баррикад у здания Белого дома России в 22 часа 30 минут я пришел домой, для того чтобы надеть бушлат и вернуться к зданию Белого дома. Под окнами нашего дома была создана преграда из грузовиков у входа в туннель на Садовом кольце, проходящем под Калининским проспектом, в районе улицы Чайковского. Время дальнейших событий определяю приблизительно следующим образом. Работа радиостанции «Эхо Москвы» прервалась в 22 ч. 50 мин. В это время я спустился к людям, стоявшим у баррикады с целью воспрепятствовать проезду боевой техники. Примерно через час послышался гул двигателей, и со стороны площади Восстания показалась быстро приближающаяся колонна боевых машин пехоты, ехавших без освещения. Было видно, как небольшая группа людей пыталась остановить их и говорила с офицером, сидящим в башне головной машины, однако он отказался от переговоров и открыл беспорядочный огонь из автомата трассирующими боевыми патронами, причем пули летели над головами людей в сторону окон жилых домов, находящихся по сторонам улицы Чайковского. Колонна двинулась по направлению к туннелю. Часть людей, охранявших баррикаду, отошла в сторону после открытия стрельбы из огнестрельного оружия, часть пыталась остановить БМП голыми руками. После этого по команде офицера, сидящего в первой машине,

общими усилиями двух БМП грузовик, преграждавший въезд в туннель, был перевернут и колонна БМП прорвалась в туннель. Группа защитников баррикады побежала за ними. Один из молодых людей залез на броню первого БМП и пытался открыть люк машины, чтобы поговорить с солдатами, сидящими внутри. Офицер, сидящий в башне этой машины, обернулся и выстрелом в упор застрелил этого молодого человека. Колонна продолжала продвигаться по туннелю в сторону выхода на Смоленскую площадь, перегороженному троллейбусами. Люди пытались снять тело убитого, повисшее на первой БМП. Видимо, желая помешать им, водитель-механик этой БМП начал совершать хаотические, беспорядочные движения, при этом пострадало несколько человек, а один из них погиб под гусеницами. Выехав из туннеля, БМП пытались пробить заграждения из троллейбусов. Между машинами находились люди, упорно пытавшиеся остановить машины, невзирая на смертельную опасность, грозящую им. На триплекс головной БМП был наброшен брезент, и на броню брошена бутылка с бензином (эти бутылки ребята — защитники баррикад использовали в самых мирных целях — они разводили костерки, чтобы согреться). Машина загорелась. Все это время офицер, сидящий в башне этой машины, продолжал огонь из автомата по людям. (У меня впечатление — но не ручаюсь за их стопроцентную точность — что стрелял и крупнокалиберный пулемет этой БМП.) После того как машина загорелась, этот офицер-убийца бросился бежать. В то время, как машины пытались пробиться через заграждения из троллейбусов, люди устроили заграждения из грузовиков в глубине туннеля. Колонна БМП оказалась заблокирована. Все происходящее непрерывно снималось телеоператорами и фотокорреспондентами (должно сохраниться много кино — и фотодокументов, в том числе фотография виновника всех этих трагических происшествий — старшего колонны).

Баррикада у входа в туннель со стороны улицы Чайковского все это время восстанавливалась и укреплялась, а к заблокированным в туннеле солдатам Таманской дивизии (2-я МСД) направилась на переговоры группа народных депутатов, в их числе был священник. После длительных переговоров солдаты

перешли на сторону Российского правительства и примерно в 4 часа 30 минут утра выехали из туннеля на улицу Чайковского. На броне их сидели защитники баррикад и были укреплены трехцветные флаги России. Все это время со стороны Белого дома России доносились выстрелы.

Пока с солдатами велись переговоры, к защитникам баррикад на улице Чайковского дважды подъезжал человек на светлой легковой машине с провокационными сообщениями о приближении колонны танков.

На моих глазах было убито два человека (один застрелен, второй погиб под гусеницами), как я потом узнал, погиб еще один человек. Несколько человек получили огнестрельные ранения.

Восхищен мужеством людей, возмущен подлостью военнослужащих — офицеров и прапорщиков, поддержавших путчистов и выступивших с оружием против своего народа. Горжусь теми офицерами, кто правильно и однозначно понял свой долг. Например, считаю необходимым особо отметить капитана Верхозина Александра (которого я знаю по предыдущей службе). Он предоставил в распоряжение защитников Белого дома военную радиостанцию, с помощью которой была усилена мощность радиостанции «Радио России». Мы лично встретились с ним на баррикадах у Белого дома около 21 часа 20 августа. Это настоящий подвиг — сделать то, что совершил Александр. Он, рискуя своей жизнью, совершил свой поступок осознанно, как один из наших граждан России. Кстати, среди защитников баррикад и Белого дома было много офицеров в гражданской одежде.

Я с первой минуты путча понял, где мое место. Всей душой поддерживаю идею о создании Российской Армии.

До последнего времени (точнее, до 19 августа) мной владела иллюзия, что можно оставаться членом КПСС, будучи при этом порядочным человеком. Сейчас решение мое однозначно: я не желаю больше оставаться в этой партии фашистского толка. Считаю, что ее нужно объявить вне закона. Свои заблуждения относительно пребывания в партии старался искупить чем мог в кризисные дни 19, 20 и 21 августа.

21 августа 1991 г.

Подполковник м/с А. О. Артемьев

В КОМИССИЮ ПО ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКУ МОССОВЕТА ОТ АРТЕМЬЕВОЙ ГАЛИНЫ МАРКОВНЫ, 1950 г.р., КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ МССМШ им. ГНЕСИНЫХ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, 121069, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д. 18, КВ. 214, ТЕЛ. 291–87–91

Я, Артемьева Галина Марковна, свидетельствую: 20 августа, после того как были прерваны передачи радиостанции «Эхо Москвы» (22.50), обстановка у баррикады на улице Чайковского стала очень тревожной. Окна нашей квартиры выходят на Садовое кольцо. После ухода мужа на баррикады я решил наблюдать за происходящим из окна (не могла оставить троих детей, один из которых — младший — спал). Я решила, что буду держать в курсе Радио России по объявленному дикторами телефону. Примерно в 12 часов ночи мы услышали гул машин. Задрожали стекла окон. Раздались выстрелы, сначала единичные, потом более частые. Было ощущение, что могут попасть в окна: пули светились, все было очень близко. Наш малыш спал напротив окна, мы обложили его подушками, боясь, что пули попадут в окна.

Дальнейшие события подробно описал муж. Добавлю только, что когда БМП билась в троллейбусы, раздавался звук, который мы приняли за артобстрел Белого дома России. Из окон верхнего этажа посыпались листочки, один упал на широкий карниз нашего четвертого этажа. На листочке было написано SOS. У меня не было уверенности в хорошем конце, мы договорились, что будем сражаться до последнего. На всякий случай я позвонила друзьям в Чехословакию и подробно рассказала о чем могла (это было еще до стрельбы). Я просила, чтобы в случае негативного исхода они оповестили кого смогут. Об этом же я попросила и австралийку Мегги Формен еще утром 19 августа (она должна была 20 августа возвращаться в Австралию). Я просила ее рассказать всем, кому она сможет, что мы расцениваем случившееся как преступление военной хунты против народа. Я боялась, что мы больше не увидимся, простилась навсегда, т. к. собиралась идти на баррикады — правда, их еще не было, но не сомневалась,

что они будут. Я просила Мегги помочь моим детям, если с нами что-то случится.

Мы ждали рассвета, считая каждую минуту. Примерно в 4 часа ночи вдруг погасло уличное освещение. Я пошла на улицу. Вскоре из туннеля показались БМП с Российскими флагами. На броне сидели люди, в их числе был православный священник. Милиция попросила машины задержаться. Я побежала звонить на Радио России, чтобы сообщить им об этом и спросить, стоять ли БМП или ехать к Белому дому России. Они дали телефон, назвали фамилию — Краснов, просили сообщить ему, что я и сделала.

В конце концов БМП направились на защиту Белого дома России.

Спасибо священникам православной церкви, которые были с нами (а мы с ними). Я знала, что Бог не даст больше терзать Россию, но что народ должен сплотиться и спасти себя и родину сам. Так и получилось.

21 августа 1991 года

Артемьева Г. М.

…А еще был сильный момент, когда через день стало ясно, что путч провалился, мы собирались на митинг к Белому дому и увидели, как несут огромный российский флаг. Много людей, держась по бокам за флаг, медленно шли под нашими окнами к месту митинга. Сейчас российским флагом никого не удивишь — а какой же еще? Но флаг СССР был целиком красным, с серпом и молотом в углу. А тут несли трехцветный флаг — символ нового, на которое мы надеялись и которое мы все вместе отстояли.

Вскоре нас пригласили на заседание Моссовета, на котором обсуждались события, связанные с ГКЧП. Заседание проходило в здании в районе Цветного бульвара. Мы удивились разнообразию и дешевизне еды в депутатском буфете. Но как бы дешево она ни стоила, денег у нас все равно в тот момент не было: зарплаты после отпуска еще не получили, а все, что было, потратили на еду для строителей баррикад (ребята же оставались на баррикадах сутками).

Мэром Москвы был тогда Гавриил Попов, а Юрий Лужков — вице-мэром.

Гавриил Харитонович Попов без всякой охраны ходил по улицам Москвы. Мы не раз встречали его на Новом Арбате, здоровались. Он был любим москвичами.

Все заседание, как тогда было принято, транслировали по

московской программе ТВ. Заслушали и очевидцев событий. Мой муж тоже выступил.

На память всем раздали отчет о работе Моссовета в дни путча. Это любопытный документ. Особенно меня заинтересовала одна фамилия — генерал-лейтенант Грачев Павел Сергеевич. Он тогда, переговорив с Ельциным, перешел на его сторону и был достойно награжден: стал министром обороны. Пашка-мерседес — так называли его все, кто знал. Пашка потом и развяжет кровавую бойню в Чечне, пообещав Ельцину быстренько за пару дней справиться с сепаратистами.

22 августа Горбачева привезли из Фороса в Москву.

Был объявлен траур по погибшим.

Ельцин выступал как лидер нации. Горбачев опять что-то нерешительно мямлил. Люди, которые в те дни готовы были пожертвовать своими жизнями, чтобы отстоять новое, ждали от него другого. Но было видно: на другое этот человек не способен.

Ни энергии, ни даже нужных слов не нашлось у него в тот важнейший момент.

И покатилось все в тартарары…

Через некоторое время СССР перестает существовать. Как так? Был же всенародный референдум. Большинство проголосовало за сохранение Советского Союза. Почему же решили иначе? Мы же отстояли демократию! Мы же теперь все вместе собирались зажить по-новому!

Хотели новое? — Вот вам новое!

Планы на «демократию» у власть имущих обычно не совпадают с планами большинства. Мы это проходим на практике.

Я не политик, не экономист.

Вот выпало мне родиться и жить там-то и тогда-то.

И сам факт моего человеческого существования дает мне право делать выводы и задавать вопросы.

У меня остались вопросы к Горбачеву. Простые и понятные. Я все надеялась, что он четко и внятно когда-нибудь ответит на них. Он обязан. Ведь он — человек, заставивший весь народ пережить мучительные десятилетия. Хорошо, если просто по недомыслию. Иногда у меня возникают на этот счет совсем другие соображения.

А пока… Просто перечислю свои вопросы.

— В чем заключался смысл абсурдного и унизительного для народа «сухого закона»? Просчитал ли Горбачев его последствия?

Для чего надо было уничтожать винно-водочные предприятия, выкорчевывать элитные сорта винограда? Знакомился ли Горбачев с историей сухих законов в других странах и последствиями их?

— Почему при Горбачеве рухнула экономика страны?

— Нефть и газ во времена Горбачева по-прежнему экспортировались — и в больших количествах. Куда уходили нефтедоллары? Почему нас всех довели до нищенского существования, людям годами не выплачивали заработную плату?

— Кто не помнит, а кто и не знает — Горбачев заявил, что в ближайший период все нуждающееся население СССР будет обеспечено жильем (а именно — к 2000 году). На что он рассчитывал, делая такое заявление? И можно ли после этого верить хоть одному его слову?

— И последнее: гласность, за которую, безусловно, спасибо.

Но и тут… Вскрыты чудовищные преступления. Огласили, перечислили… Что дальше? Никто не наказан, не произведена реституция (возврат отнятого имущества), как сделано это во всех остальных странах Восточной Европы после падения там коммунистических режимов. Мы все еще в переходном состоянии.

Майкл

С сентября 1991-го в Гнесинке начинает работать новый учитель английского языка, самый настоящий англичанин Майкл Белл. Его жена — Джули Белл работает в посольстве Великобритании в Москве, а он закончил специальные курсы, чтобы преподавать английский иностранцам, и вот он у нас. Вообще-то он музыкант, играет на контрабасе, музыку сочиняет. То есть — у него двойной интерес: и музыка, и работа. Платить ему будут, как нам. Интересно, сможет ли он на эти деньги как-то прожить? Мы-то все на зарплату давно не рассчитываем, ее хватает на пару дней жизни.

По-русски Майкл пока ничего не знает. Мы с директором Гнесинки договариваемся, что учить русскому буду его я. Совершенно бесплатно. Ладно. Пусть. Зато я буду общаться с человеком из страны, о которой знаю только по книжкам. Это общение — замена путешествиям, о которых я мечтала в детстве.

Майкл и Джули стали нашими хорошими друзьями. Все то время, что они жили в Москве, мы ходили друг к другу в гости, посещали концерты, выставки, всякие интересные сборища, которых в Москве становилось все больше и больше.

Заниматься же с Майклом было очень легко. Хваткий и цепкий английский интеллект давал ему огромные преимущества. Быстро запоминал, легко сопоставлял, делал выводы. А вот работать в школе было ему тяжко. Он никак не мог добиться дисциплины от своих подопечных и тушевался.

Благодаря Майклу у нас в гостях перебывало очень много англичан. Я пекла пироги, ставила на стол всякие выдуманные по ходу готовки угощенья, а гости недоумевали:

— У нас пишут, что в Москве голод, а мы у себя дома столько еды никогда не видели.

Шоковая терапия

Популярный термин того времени — шоковая терапия. Экономисты понимают это по-своему. Мы же настолько устали от всего, что с нами происходит последние шесть лет, что внутренне молим о пощаде:

— Не надо шоковую терапию! Мы не выдержим!

Да, в медицине от подобного лечения отказались: не тот эффект, вреда больше, чем пользы.

Но тут же не медицина, тут экономика! Все будет хорошо! Сначала, правда, очень плохо и страшно, а потом — просто отлично!

А если не все выдержат это «плохо и страшно»?

А это — естественный отбор, господа!

Вот! Зато теперь нас всех называют господа! Ведь приятно, да? И дальше будет еще приятнее…

В киоске «Союзпечати» обложка журнала. Блокадник-доходяга в зимней шапке. И надпись: «Переживем ли мы следующую зиму?»

Что же за мерзавец это придумал? Мы и так уже на пределе. Неужели правда наступит голод? А почему бы и нет?

Люди начинают запасаться. Ведь всякое может быть. И что же? Винить потом себя, что дети голодают из-за нашей лени? Пока еще хоть что-то есть в магазинах, надо покупать и прятать на черный день. Все так и делают.

Анекдот того времени: Человек приходит домой с работы. Открывает дверь. На голову ему падает с антресолей пакет муки, потом бутылка с подсолнечным маслом.

— Хоть бы скорей наступил этот проклятый голод! — вопит хозяин дома, падая среди коробок с макаронами.

Наша «шоковая терапия» свелась к мародерскому растаскиванию того, что было создано прежде, и чудовищным спекуляциям. Сейчас-то можно с уверенностью подвести именно такой итог «лечения».

«Олька, мы тебя ненавидим!»

Я на работе. Во время переменки перемены звоню детям. Никто к телефону не подходит. А должны быть дома! Должны! Все трое! Убеждаюсь, что что-то случилось. Ухожу на следующий урок с намерением после него бежать домой. Уж очень тревожно.

Через сорок пять минут снова звоню. Ура! Дочка берет трубку.

— Что-то случилось, Оленька? Почему никто не подходил к телефону?

— Ох, мамочка! Такое случилось!

И она рассказывает.

У моей дочки пунктик: она любит, чтобы полы были чистые. Я, например, люблю гладить и стирать руками. Так из меня выходит стресс. А у нее лучший способ изгнания стресса — чистка полов. Вот они все пришли из школы, и Олька взялась подметать коридор. А братья носятся по нашему длинному коридору и ей мешают. Никак не дают убраться. Она не выдержала и затолкала их в кладовку, что в конце коридора, у самой входной двери. Кладовка большая, практически комната. Пусть посидят, пока она пол в порядок приведет.

Она закрыла дверь снаружи на задвижку. Братья принялись дружно биться в запертую дверь и вопить:

— А ну выпусти! Выпусти нас немедленно!

— Вот уберусь и выпущу. Сами виноваты, — отвечает Олька.

Она очень быстро закончила свою работу: никто же не мешал. А потом решила подмести на площадке у лифта. Вышла за дверь, а та и захлопнулась!

В то время у нас была всего одна входная дверь. Деревянная. И замок у нее был один, примитивный. Но даже деревянная дверь и даже примитивный замок надежно отделяли сестру от братьев, которые оказались запертыми в кладовке и ничего не понимали: внезапно Олька перестала отвечать на их вопли. А тут еще непрерывно звонит телефон, но она трубку не берет…

Олька, стоя на площадке, слышит телефонные звонки, понимает, что это я. Мало того, слышит она и вопли братьев:

— Олька! Открой немедленно! Олька! Мы тебя ненавидим! Открой!

Звонки продолжаются. Крики тоже.

Она подметает, как и было задумано, площадку у лифта. Что же делать? Как быть? Позвонила соседям в дверь, там никого. На улицу идти не может: она в одной футболке, а там мороз. Зима на дворе.

Что делать? Что делать?

И тогда ребенок разбегается и изо всех сил бросается на дверь. Та открывается! Вот счастье-то!

Через секунду и братья оказываются на свободе.

И никто никого больше не ненавидит.

Сослан

Мне на работу звонит репетитор по английскому моих детей, Фаина Семеновна. Просит срочно подозвать. Бегу с урока. Что случилось?

— Галина Марковна, не хочу вас пугать, но тут сейчас такое произошло…

Шла к нам на урок Фаина Семеновна, встретила во дворе своих учеников, как раз возвращающихся из школы. Зашли вместе в подъезд, поднялись на лифте на наш этаж, а у двери — черный человек. Ну, не в том смысле, как у Моцарта или Есенина, а смуглый, черноглазый и очень мрачный человек. Спрашивает:

— Ви с этай квартыры?

— Я учительница детей, их родители на работе, — вежливо отвечает ему Фаина Семеновна.

— Пирдай хазаин: если не будет мине машин, приду снова, детей зарэжу! Мине Сослан завут.

Можете представить ощущения Фаины Семеновны? Но она не упала в обморок. Она даже пыталась внушить черному человеку мысль о том, что родители этих детей — очень хорошие люди, что он в чем-то ошибается и что не надо так. И детей жалко.

В итоге Сослан сказал, что приехал в Москву за машиной, которую ему обещал отец детей, что остановился у сестры в Химках, что муж сестры — милиционер и если что, они все вместе приедут и всех нас порежут. На прощанье он оставил номер телефона и велел немедленно звонить, иначе нам всем придет конец.

— Я все улажу, Фаина Семеновна, не беспокойтесь ни о чем, — постаралась я как-то успокоить нашу героическую англичанку. — Тут явное недоразумение.

Но я прекрасно понимала, что никакое это все не недоразумение. Это результат безумной деятельности мужа. Он хоть и безрезультатно, но упорно, вот уже несколько лет пытался покупать, продавать, мечтал о неслыханных барышах… У кого-то уже получалось, складывалось. Но у него пока никак. Этому самому Сослану он, скорее всего, пообещал помочь купить машину. Может, и задаток взял. Я не знаю. Муж дома появляется редко. После работы он занят бизнесом. Или — у него тяжелый больной. Как обычно. Найти его бывает трудно. Да я уже и не ищу. Но вот сейчас он нужен позарез.

Я знала, что он всем своим «партнерам по бизнесу» сообщает домашний телефон и адрес. Это придавало ему респектабельности: и район, в котором он живет, и то, что вот —

работает на полном доверии, дает координаты семьи. И детей у него трое… По всем статьям — порядочный семьянин и честный человек. Я умоляла его этого не делать. Просто — подумать о безопасности детей. Ведь сейчас такое творится! Но он всегда поступал по-своему. И вот результат.

Через час бегу домой. Фаина Семеновна все еще у нас, не решилась покинуть детей, раз им грозит такая опасность. Она еще раз пересказывает историю встречи с черным человеком. Добавляет, что он зачем-то сказал, что у него тоже трое детей дома. Оставляет мне бумажку с написанным его рукой номером. Я снова успокаиваю ее, стараясь казаться спокойной, даже безмятежной. Фаина Семеновна даже призывает меня к бóльшей серьезности.

— Главное, вы не волнуйтесь, это какая-то полная ерунда, — убеждаю я ее.

Мы прощаемся. И тут уж я начинаю действовать. Главное: найти Артемия Октябревича. Пусть встречается с этим человеком, пусть делает что угодно, но чтобы мои дети не подвергались опасности!

На работе обещают передать, чтоб позвонил жене… Вот и весь результат.

Но ждать я не могу. В меня словно вселился кто-то другой — страшный даже мне самой. Это, наверное, материнский инстинкт включился. Я сейчас ощущаю такую силу, что могла бы разорвать черного человека голыми руками, если бы он приблизился к нашей двери. Я думаю: какой же он мужчина, если не стесняется детям угрожать? Как это можно вообще? И еще я понимаю, что муж нам не защитник. Он впускает в дом опасность. В тот самый дом, который, как мужчина, и должен оберегать. Ну что ж… Одна я на белом свете…

Я набираю номер, оставленный черным человеком. Подходит женщина. Видимо, та самая сестра Сослана.

— Твой брат был у нас в доме и угрожал прирезать моих детей. Если еще раз появится, учти, я приеду к вам, угрожать не буду, просто всех уничтожу.

У меня такая сила ненависти и такой голос, что она пугается. Я теперь могу все: даже испуг ее ощущаю на расстоянии.

— Его нет дома, я передам, — говорит женщина.

— Я еще позвоню, можешь не передавать.

Я кладу трубку. Сердце мое заходится.

Все! Меня накрыло! У меня только и есть в жизни радости — дети. Только они. Моей жизни, как таковой, давно не осталось. Я — автомат. Я автоматически хожу на работу, автоматически отдаю знания, накопленные в пору, когда я еще была живой, но

только одно греет мое сердце: дети. И если сейчас кто-то посмел угрожать им, я себя не пожалею. Но и тех, кто грозит, уничтожу. На это меня еще хватит.

Я снова набираю оставленный номер. Подходит мужчина. Чувствую — не тот. Значит — муж сестры. Химкинский милиционер.

— Ты уже в курсе, — говорю я ему, — как твой родственник приходил и угрожал моим детям. Вот и телефон твой его рукой записан. И свидетель есть: учительница детей. Сейчас в милицию пойду, заявление напишу.

— Я с ним разберусь, — обещает мне милиционер.

— Это я с ним разберусь, — говорю я.

Вдруг звонит муж. Значит, передали ему. Отлично. Я рассказываю о том, что произошло, и требую обеспечить нашу безопасность.

— Я все улажу, — блеет он. — Я все улажу и тебе позвоню. Вам нечего бояться.

Я ему мало верю. Я снова звоню — чую, что Сослан вернулся. Подходит женщина.

— Зови брата, — велю ей. — Вернулся брат.

Она безропотно зовет.

— Ты думаешь, гад, я твоих детей не достану? Еще раз придешь, сделаю с твоими то, что ты моим детям обещал.

— Твой муж, — говорит черный человек, — мине должын машину. Жена должен за мужа отвечать.

— Твоя жена за своего мужа ответит, — сулю я ему. — Понял?

Что-то со мной творится неладное…

Дети за меня пугаются.

— Мамочка, успокойся, они тебя очень боятся! Успокойся, мамочка!

А у меня никак не получается. И слез нет. Были бы слезы — я б ожила. А так — лед внутри. И этот лед жжет хуже любого огня.

…На следующий день домой забегает муж:

— Я с ним встречался, все решил. Он больше не придет. Ты их там так всех напугала, просили, чтоб я тебя остановил, чтоб ты им ничего не делала.

Потом у мужа снова оказывается тяжелый больной, и он убегает.

Через пару дней раздается междугородний звонок.

Телефонистка уточняет номер и соединяет меня с Сосланом.

— Слушай, — просит тот, — вот, я уехал. Давай сделаем так: я тебя не знаю, ты меня не знаешь, а?

Ну что ж. Не будешь лезть в мой дом, так и сделаем.

Потерянный портфель

Звонит мне чужой человек:

— У меня портфель вашего мужа. Я его подвозил, он забыл портфель в машине.

— Спасибо, что звоните. Вы хотите вернуть?

— Хочу вернуть, но за вознаграждение, конечно.

— А сколько же вы хотите за портфель?

— Тысячу долларов.

Дааа! У людей появились нешуточные аппетиты. Просто чудо что такое! Портфель этот я подарила мужу на день рождения. Красивый, кожаный, выглядит действительно дорого. А просто мне повезло: купила я его в кооперативном магазине. Сделан, как заграничный, а наш. И цена поэтому вполне доступная. Муж ездил с ним на свои «переговоры», с бумагами, пачками каких-то документов… Солидный, внушающий доверие человек. Жаль, что забыл портфель… Да я и мужа уже давно не видела. Все у него больной тяжелый…

— Вы шутите, — говорю я шоферу. — Я таких денег и в глаза не видела. Портфель того не стоит.

— Вы подумайте, — предлагает звонящий. — Мужу скажите. Может, он денег даст. Там документы важные, вроде бы.

— Скажу, когда он появится, обязательно скажу. Только не знаю, когда.

— Так я еще позвоню, ладно?

— Звоните, пожалуйста.

Муж пока не объявился.

Снова звонок:

— Ну что? Решили что-то с портфелем?

— Да нечего мне решать. Нет у меня таких денег.

— А хотите, я вам кое-что скажу? Вот у вас трое детей, сама красивая, дети маленькие…

— Откуда вы знаете?

— В портфеле этом копии ваших документов и фотки… Вы красивая женщина. Жалко мне вас. Я мужа вашего вез, он нетрезвый был и все хвастал: «Еду под бок к тепленькой бабенке». Могу дать адрес. Хотите, свожу вас туда, увидите, к кому он ездит?

— Спасибо, не хочу. У меня другие дела есть.

— Так не будете портфель выкупать?

— Вы же сами видите: у меня дети малые, трое, где мне взять тысячу долларов, подумайте сами?

— А можно я еще позвоню?

— Звоните. Только смысл какой?

Снова звонит.

— Не надумали с портфелем?

— Нет, не надумала, увы.

— Знаете, у меня к вам предложение.

Я думаю, сейчас какой-то обмен предложит. Или цену на портфель сбавит… Но речь идет совсем о другом.

— У меня жена, двое детей. Семья — это святое. Но вам скажу: мне одной женщины мало. Мне нужны отношения. Вы мне очень понравились. А что, если мы станем встречаться? Я вас обеспечу. У вас дети, вам деньги нужны. Муж вон загулял. А вы — женщина порядочная. Мне понравилось, что вы отказались к той бабе ехать. Я вам красивую жизнь обеспечу…

— Вы что? — обалдеваю я. — Долго думали?

— Все так делают, — говорит шофер.

Да, до хорошей жизни я дошла. Какие интересные предложения мне поступают.

Я прощаюсь с собеседником и прошу его больше мне не звонить. Оставить себе портфель на память, и всё.

Унижение жуткое.

Достоевщина какая-то.

28 февраля 1993 года — Прощеное воскресенье

Воскресенье. У младшего сыночка день рождения. Десять лет! И праздник этот совпадает с тем новым, что пришло в нашу жизнь: началом Великого поста. Сегодня Прощеное воскресенье. Как хорошо — просить у всех прощения, от всей души.

Я сделала два праздника: детский и взрослый. Угощенье, гости. Мой Гришенька с женой.

Мужа только нет. Я к этому привыкла. Его нет уже давно. Он временами звонит и дежурно объясняет про тяжелого больного… Мне все равно. Я устала.

И тут приходит муж. День рожденья сына все-таки. Вспомнил. Усаживаем его за стол. Он как ни в чем ни бывало ест, выходит на лестницу покурить с моим братом.

Возвращается.

— Вижу, вам без меня хорошо.

Это он по поводу праздничного стола.

Как ответить на вопрос, который он задал себе в утешение?

Если честно — нам без него плохо. Мне одной очень трудно с детьми. Я устала. Просыпаюсь усталая и весь день живу усталая. Но — живу. Потому что должна. И праздники устраиваю, потому что детям начинать жизнь с точки — это уж совсем несправедливо. Но зачем отвечать на пустой вопрос? Не ради ответа он это произносит.

— Мне надо с тобой поговорить, — произносит муж. — Дети, выйдите из комнаты.

Дети выходят.

— Ты, конечно, уже догадалась, где я был все это время?

О чем мне догадываться? О «теплой бабенке», как доложил мне шофер? У меня и сил не хватало на догадки.

Я отрицательно качаю головой.

— Я полюбил женщину. Как тебя когда-то. Полюбил во второй раз в жизни.

Мне все равно.

— Любовь — это серьезная вещь. Тебе надо быть с ней, — говорю я.

— Увы, это невозможно, — печально упиваясь своей неизбывной тоской произносит муж. — Понимаешь, она дочь посла, она привыкла к другому уровню жизни. Я не смогу ей его дать. Я решил вернуться.

Чевой-то? Люди добрые? Чевой-то он сейчас произнес?

— Она дочь посла, и ей нужен уровень? А я кто — кухарка и прачка? И должна жить вот так, как сейчас? Отправляйся-ка ты к любимой и старайся обеспечить ей хорошую жизнь. А мы тут без тебя.

Он суетливо собирается. Встает и уходит.

Я его от всей души простила. Прощеное воскресенье.

Ладно, как-то проживем. Ничего.

Вечная весна

Ушел он, а через месяц вернулся.

— Не могу жить без детей, — говорит. — Позволь жить с вами.

— А любовь?

— У нее муж в Берлине, галереей художественной владеет. К нему она едет.

— А как же ты?

— Буду жить дальше. Кроме вас, у меня никого нет.

Так и остался. Мальчишки рады. Пусть.

У него к этому времени на службе неприятности. Собирается увольняться на пенсию. Сейчас разрешили увольняться, если 20 лет отслужил. Пенсия будет. Не совсем такая, как если бы отслужил 25 лет, но все же — пенсия. А ему только сорок с небольшим.

— У меня бизнес продвигается. Скоро деньги большие пойдут. Заживем! — обещает муж.

Ну, мы и зажили.

Дочь к поступлению готовится. Работу себе в газете нашла, чтобы публикации сделать. Она на журфак собралась. Средний сын занимается дополнительно английским и ходит в спортивную секцию на карате. Младший сын учится в Гнесинке. У него помимо английского репетитора еще и репетитор по сольфеджио. Мое дело деньги зарабатывать. Я стараюсь.

Однажды раздается звонок. Я одна дома. Снимаю трубку. Там плачущая женщина. Просит Артема. Говорит, они партнеры по бизнесу.

— Представляете, — жалуется она, — я на секунду вышла из машины сигареты купить, а мою машину обокрали! Всё украли — и перчатки лайковые, и документы по бизнесу. Я не знаю, что мужу скажу. Позовите, пожалуйста, Артема. Может, он подскажет, как бумаги восстановить.

— Ой, а его нет. И когда будет, не знаю. Вы только не плачьте, пожалуйста. Ну, перчатки… Наживное дело. И бумаги восстановятся — вот увидите. А паспорт тоже пропал?

— Нет, паспорт у меня в сумочке был, которую я с собой взяла. Чудом.

— Вот видите! Вы счастливая. Повезло как! Не плачьте из-за перчаток, не стоит оно того. Сегодня день еще такой тяжелый. Бури магнитные объявили. У меня целый день голова тяжелая и на сердце тоска. Это от бурь.

— Правда? Может быть! Меня Таня зовут. А вас?

— А меня Галя.

— Галя, передайте, пожалуйста, Артему, что звонила Татьяна, жена Сергея Попова. Пусть мне срочно перезвонит.

— Обязательно передам! А вы только не плачьте больше.

Приходит муж. Я ему все передаю, про бедную женщину, как ее ужасно обокрали, как она плакала.

— Позвони ей. Помоги.

— Ладно. Разберусь.

Все это не мои дела, я в это не лезу.

Проходит пара недель. Звонок. Низкий женский голос, вроде не очень трезвый, просит Артема.

Его опять же нет, о чем я и сообщаю.

— Я звоню потому, что он мне должен десять тысяч долларов. Если он немедленно мне их отдаст, меня убьют. И вот чтобы меня не убили, я вынуждена буду сообщить тем людям ваш телефон и адрес.

Опять? Да что ж это такое?

— Простите, какие десять тысяч? Вы о чем?

— Он ребенку инструмент купил на мои деньги! — истерически вопит явно пьяная баба.

— Инструмент? Что за инструмент? Мой сын играет на блок-флейте. Она стоит десять долларов. Да, инструмент ему нужен будет. И за него я заплачу восемьсот долларов. Вы что-то не то говорите.

— В общем, пусть звонит мне, — туманно требует тетка. — Телефон мой запишите.

Я записываю телефон, который начинается так же, как наш.

— Вы где-то рядом живете? — спрашиваю.

— В соседнем доме, — отвечает. — Скажите, Нора звонила, пусть немедленно перезвонит.

Приходит муж.

— Что за десять тысяч ты должен? Какой инструмент ты купил?

Даю ему номер телефона.

— А! — кивает он. — Это все ерунда. Это… Это моя дура звонит.

— Что за «моя дура»?

— Ну, моя…

— Это вот эта пьянь — твоя?..

— Нет, это ее подруга. Рядом тут живет. Она к ней часто приезжает, вот и решили…

— А почему у подруги наш номер телефона?

— Нет, это Татьяна ей дала…

И тут вдруг я понимаю: Татьяна! Та, которую я утешала, что у

нее перчатки украли. Жена Сергея Попова…

— Это та самая Татьяна?

— Да, — разводит муж руками, — скучает по мне, грустит.

— Что же вы все от меня-то хотите? Почему без меня никак не определитесь?

Он говорит мне об их любви. О том, что фамилия Татьяны на самом деле Сударикова. Что муж ее был помощником министра культуры Демичева, выехал в Германию, открыл там галерею русского искусства… Вот сейчас она уезжает к нему… Тоскует…

Одного не понимаю — почему я должна принимать во всем этом участие?

…Сударикова все-таки уехала в Берлин. И заскучала. Теперь она звонила нам из Берлина. Там было 11 вечера, у нас — час ночи. Мне каждое утро полагалось на работу. Пьяная женщина знала всех детей по именам и слезно умоляла позвать папу.

Папы не было.

Несколько раз она говорила со мной. Ох, что она только говорила! О том, как ей хорошо в Берлине, как много у нее молодых поклонников, какие парти она посещает…

— Ты знаешь, что такое парти? — спросила она у меня.

И тут я не выдержала. Лопнуло терпение. Я до этого очень долго разговаривала с ней как человек с человеком. Пыталась вразумить. Объяснить, что мне надо спать, я устаю… Ей-то какое до этого всего было дело? Ну ладно. НЕ умеешь по-человечески, получай по-своему. Это ты наверняка поймешь, посольская дочь!

— Где мне знать, что такое парти? Я только одну «парти» знаю, старая минетчица: коммунистическую парти, в которой ты и твой Сергей Попов исправно состояли. И у меня есть друзья в Берлине, которым очень интересно обнаружить у себя под боком работников КГБ.

— Откуда такие сведения? — изменившимся и вполне трезвым, даже, я бы сказала, деловым голосом промолвила Сударикова.

— Это ты не у меня спрашивай. Но знай: еще звонок сюда, я сделаю то, что обещала.

Больше она не звонила.

Потом, через десять лет, я увидела ее в Берлине. Мы оказались на соседних креслах в итальянской парикмахерской на Ку-Дамме.

Я никогда ее до этого не видела. Не поняла просто, почему эта высокая, дорого, с шиком одетая женщина так пристально смотрит на меня. Потом позвонил ее мобильный.

— Да! — ответила дама по-русски. — Да! Татьяна Попова!

Слушаю вас.

Голос! Тот самый голос! Не перепутать. Зачем судьба нас свела?

Ну… просто мир тесен.

И моя судьба любит преподносить мне истории в полном их сюжетном завершении.

Трой Данн

Ура! Оля поступила в МГУ на журфак! Без всяких репетиторов, если не считать, конечно, английского. Я занималась, как могла. И вот результат.

Мы все радуемся, понятное дело.

Мой ребенок легко осуществил то, что мне в свое время запретили.

Я снова мечтаю учиться.

В университете дочка знакомится с американским парнем. Нет-нет, он там не учится. Он дружит с одним из студентов. А сам приехал преподавать английский язык. Однажды Оля приглашает его к нам. Он — само обаяние, улыбки, добросердечие. Трой Данн. Прилетел из Тампы, Флорида. По-русски — ни слова. Будет ли учить русский? Да нет, вроде не собирается. Зачем?

Он вовсю общается с мальчишками, я рада: это хорошая практика в английском. Я английский никогда не изучала, но кое-какой минимум выражений есть и в моем запасе. Сейчас стараюсь освоить побольше новых слов: общаться-то хочется полноценно.

А когда началось общение, пошли интересные разговоры.

Например, однажды Трой радостно заявил:

— Мы победили вас, причем без единого выстрела!

Меня эта фраза шокировала, сбила с ног. Как это — победили? Мы что — на баррикады выходили для них? В их интересах? Разве мы думали о них, об Америке, о том, что они воюют с нами, когда протестовали против ГКЧП?

Мы не думали, а они — думали.

Стали мне открываться некоторые неожиданные для меня черты характера американцев. Не буду говорить — всех. Но — тех, с кем приходилось общаться. Бросалось в глаза незнание и неуважение к нашей истории, некое презрение и стремление поучать. Очень часто свои разговоры Трой начинал словами:

— А вот в Америке делают так-то…

Как же мне надоело это его поучение по любому поводу!

В конце концов, когда он заводил свою песню, я отвечала:

— А в России делают вот так…

Потом оказалось, что миссия его заключается совсем не в преподавании английского языка. Он на самом деле приехал в Россию как проповедник так называемой церкви Христа.

Английский язык — это прикрытие их деятельности. И правда: читают Библию на английском? Значит — изучают английский. Вот так.

Этих проповедников по всей стране было не сосчитать. Их

легко пускали, визу получить в Российском посольстве, рабочую, на год, было для них делом легким и простым.

Кто мог стать проповедником церкви Христа? Любой! Не надо иметь специального образования, знания языка страны, в которую едешь миссионерствовать. Главное: самому быть прихожанином этой церкви и найти спонсора. Богатые прихожане жертвовали немалые деньги на жизнь и деятельность тех, кто отправлялся в дальние края учить «правильной» вере.

К чему сводилась деятельность миссионеров? К тому, чтобы на воскресной встрече у них собиралось много людей. Богослужения как такового не было. Было чтение отрывков из Евангелия, а потом совместное чаепитие с принесенными прихожанами угощениями. Остальное время, кроме воскресенья, «миссионеры» жили и радовались жизни: на работу вставать не надо, денег выделено достаточно, чтобы жить и радоваться. Синекура!

Трой Данн с соратниками сумели открыть филиал церкви Христа в подмосковном Подольске, в Центральной городской библиотеке. Платили ли они арендную плату? Не думаю. Они же бескорыстно «занимались английским», эти ловцы человеков.

Много было в те времена растерянных одиноких уставших людей, не знавших, куда им приткнуться. Вот за такими и охотились. У меня до сих пор сохранились рукописные листовки, которые они поручали писать своим прихожанам:

Каждое воскресенье

Уроки по изучению Библии — 9.30.
Богослужение — 10.00
Наш адрес: 142100 Россия
Центральная Городская Библиотека, Революционный проспект 32/34.
Подольская Церковь Христа.

(написание сохраняю)

Трой настоятельно требовал от нас, чтобы мы по воскресеньям присоединялись к их собраниям.

— Мы православные, — объясняла я ему. — Мы ходим в храм. Русской православной церкви 1000 лет. Сколько лет существует ваша церковь?

— Она существует ВСЕГДА! — отвечал ушлый американец.

— Кто ее основатель?

— Христос!

— Почему же вы не причащаетесь? Не исповедуетесь? Не

молитесь?

— Я исповедуюсь самому Богу! — торжественно заявлял Трой. — Мысленно. А причастие — это глупая традиция. Старая, ненужная.

— Как же — глупая традиция, если была Тайная Вечеря, когда Христос сказал: «Приидите, ядите, сие есть тело мое…»?

— Ни одной молитвы в Евангелии нет, — упорствовал Трой.

— А как же «Отче наш»? — спрашивала я.

Все их проповеди были рассчитаны на тех, кто с Евангелием не знаком. И почти всё, что они говорили, было такой же ложью, как то, что нет в Евангелии текста молитвы.

Он приходил к нам как гость, мы его угощали, были приветливы. Он же принимал наше гостеприимство как

слабость глупых аборигенов и продолжал настаивать, делался агрессивным.

Однажды в Москву прилетели его начальники из Америки. Трой попросил нас показать им Кремль. Мы пошли, все так же беседуя о Библии. Я не настолько хорошо владела тогда языком, чтобы свободно цитировать Евангелие на английском (других языков они не знали), поэтому запаслась двуязычным Евангелием. Они мне показывали фразу на английском, я читала перевод и тут же «отвечала» им другой цитатой из Библии.

В конце они сказали:

— Вот ради таких, как вы, мы и прилетели сюда проповедовать.

— Ради меня можете не стараться, — отвечала я. — Мы православные и, что бы вы ни делали, православными и останемся.

Гуляя по Александровскому саду, один из «начальников» подошел к кремлевской стене и принялся отколупывать от нее кусочек кирпича.

— Что вы делаете? — не поняла я.

— Я дочке обещал привести кусок поверженного нами Кремля.

Спасибо этим двум идиотам, что они простодушно расставили для меня все точки над i.

Я пошла в храм Большого Вознесения (тот, где венчался Пушкин), дождалась батюшку после службы, посоветовалась с ним.

— Секта, — сказал батюшка. — Все вы правильно почувствовали.

Так и закончилась наша «дружба» с Троем Данном.

Осень 1993

Я описала эти события в своем романе «И в сотый раз я поднимусь». Там приведен предельно точный и детальный рассказ о том, что с нами тогда происходило. Этого рассказа я и буду придерживаться тут.

Моя жизнь, полная трудов и забот, наполнялась и радостями, которые я, как и прежде, старалась организовывать себе сама. В те времена мы нашли неподалеку от дома, на улице Алексея Толстого уютный спортивный зальчик, где можно было за вполне доступную плату потренироваться на различных снарядах.

В теплое воскресенье начала октября отправилась я со своими сыновьями, как обычно, в спортзал. Вышли оттуда через пару часов усталые, распаренные, расслабленные. Хорошо! Улицы были пустынны и тихи. Впереди понедельник, но у меня он был свободным днем. Хлопоты — только приятные. Мы шли, болтая о всякой еруновой всячине. Пашка предвкушал, как завтра по кабельному каналу, который почему-то случайно ловился нашим теликом, будут показывать американский фильм «Бетховен» не про композитора, а про огромную собаку-сенбернара, и он его запишет на видак, потом отнесет в школу и поменяется с Васькой на страшнейший триллер. Это он для меня старался, потому что я очень любила триллеры.

Шли мы себе, мирно планируя свои мелкие обывательские радости, а, оказывается, в это самое время решалась судьба отечественной демократии!

Демократия — это такая невидимая, но ощутимая субстанция, которую полагается беречь, защищать, ложиться ради нее костьми, если не желаешь прослыть врагом рода человеческого.

Ну, вот раньше, совсем еще недавно таким объектом всеобщей защиты и охраны был маячивший на горизонте коммунизм.

В предперестроечные годы люди кое-как приспособились жить с ним по обоюдному согласию: мы тебя не трогаем, и ты нас оставь, пожалуйста в покое, какими есть.

Демократия же была слишком молода и непредсказуема. Поэтому в первые годы частенько давала о себе знать.

Обычно она существует сама по себе, а люди сами по себе. И коли так — все хорошо.

Но иногда ей требуются доказательства безграничной любви и нежной заботы народной о ней, вожделенной.

Вот тогда — держитесь, дорогие братья и сестры!

Главное: для неискушенного человека, осмелившегося просто и бездумно жить отпущенные ему дни и часы существования, кранты подкрадываются незаметно.

Ну, какие-то там ведутся дебаты по телевидению. Кто-то с кем-то в чем-то не согласен. Противостоят друг другу разные силы. Перетягивают канат. Меряются… ну, скажем, демократическим запалом. У кого он больше, глубже, тверже и протяженнее.

Это их жизнь. Они знают, за что сражаются под знаменем демократии. За власть.

И пусть себе. Но им хочется втянуть в это дело массы. Чтоб громче было, сильней прозвучало, по всем углам раздалось.

По пути домой мы с удивлением видим большие отряды милиционеров, вооруженных до зубов. В касках, бронежилетах и с боевым оружием.

Тревожная картина. Что происходит? Отечество в опасности? Пора кричать караул?

Ах, да, да! Там же президент не поладил с парламентом. Обиделись они друг на друга, и президент, как бóльший демократ, приказал разогнать недемократический парламент на фиг. А те закрылись в Белом доме. И теперь что-то будет.

Но все равно это как-то воспринимается отстраненно. Не как два года назад. Как-то не всерьез.

Однако все более чем серьезно. Мы, оказывается, очень многое пропустили, расслабляясь в своем шикарном спортзале, как барчуки.

Мы спокойно заходим в свой двор со стороны Трубниковского переулка и слышим хорошо знакомые, хоть и порядком за два года позабытые, звуки: стрельбу со стороны Садового кольца.

Тем не менее ума у нас явно не хватает, чтобы понять, насколько это все не понарошку. Вместо того чтобы идти себе побыстрее домой, они проходят в арку, чтобы посмотреть, что такое интересное и захватывающе-историческое опять творится на улицах любимого города.

По Садовому кольцу катятся грузовики. Вид у них, как в кино про войну. Боевой и целеустремленный. В кузовах мостятся возбужденные ездоки со знаменами и, как и только что встреченный ОМОН, с автоматами наперевес. Но это люди штатские. Вид у них не официальный, а революционно-повстанческий.

Рев и несусветный мат несутся от грузовиков: «На Останкино!»

В арке рядом стоят два возбужденных мужика, глаза у них пьяные. Видно, что адреналин зашкаливает.

— Ну что, мальцы! — радостно обращается один из них к моим детям. — Конец Ох-ельцину! Сейчас пойдем по квартирам жидов бить! Где тут у вас жиды?

— А я вам сейчас покажу жидов, фашисты проклятые! — выходит на передний план старая, лет за восемьдесят, дама из соседнего подъезда.

Я ее знаю: это известная переводчица. Высокая, статная, красивая, из тех, кто с возрастом становится значительнее и внушает непонятное почтение. Соседка вышла выбросить мусор, но, как видно, звуки стрельбы отвлекли ее от бытовой заботы, она устремилась в арку, так и держа в руке неопорожненное помойное ведро.

— Это что тут за срам такой происходит? Нам еще тут фашистов не хватало! — громогласно возмущается старая женщина, многозначительно встряхивая дурно пахнущей емкостью перед носом поблекших мужиков.

— Пошли вон, фашисты! — присоединяются к старшей почтенной даме Захар и Пашка.

И — о чудо! — те уходят. Пригрозив, правда, что еще вернутся.

На удивление легко удалось их прогнать. Да, слаба еще, видать, была в те поры демократия!

Дома рыдает Олька. Только что позвонила ее подружка, мама которой работает в Останкино. Мама с ней говорила, а теперь связь прервалась. Значит, захватили они телецентр? И что с мамой?

По телевизору по всем каналам мелькают черные точки.

В окно видно, что из здания мэрии валит черный дым.

Российский канал начинает вещание. Не из Останкино, там ситуация неясна, а откуда-то из центра.

Телефон домашний не умолкает. Все знакомые со всей Москвы просят дать информацию, что в конце концов происходит в центре столицы?

По телевизору непрерывно выступают разные люди.

Призывают молодежь идти к Кремлю, строить баррикады, как в 91-м. Спасать народных избранников, которые осели в Кремле.

Странный призыв, как ни крути.

Вы ж два года у власти, избранники! У вас все: армия, оружие, ОМОН. Зачем вам понадобились безоружные юные люди? Неужели вам мало силы, вам нужна еще демонстрация горячего чувства? Любовь и доверие народное должны они вам показать? И если кого и убьют случайно, то это же во имя нового!

И только молодые журналисты из программы «Взгляд» выступают против всеобщего течения мысли:

— Ребята! Не лезьте вы туда! Это разборки власти. Оставайтесь дома!

Как же они окажутся правы! Но каким же презрением их потом обдадут!

Ведь большинство молодых пока во власти романтических представлений о новом, справедливом, которое надо защищать любой ценой.

Так мы все и заснули глубокой ночью у телевизора.

А проснулись от выстрелов. Собственно звуков было много, самых разнообразных. Они складывались даже в некое дикое подобие музыкального ансамбля.

— Баа-Ба-Ххх! — грохотал близкий выстрел.

— Дзым-дзынь, — рассыпалось вдрызг от звуковой волны очередное витринное стекло.

— Уууууууууууу! — завывала сигнализация в машинах и магазинах.

Так все и повторялось.

Ранний телефонный звонок Пашиной учительницы по сольфеджио:

— Галина Марковна! Что там у вас происходит? Мы тут на Маяковке слышим артиллерийские выстрелы с вашей стороны.

Я смотрю в окно. По обеим сторонам Садового кольца стоят боевые машины пехоты. Глубоко же мы провалились в сон, что не услышали, как проезжало такое количество техники!

— Сейчас выйду гляну, Екатерина Алексеевна, потом вам отзвоню, — обещаю я.

Выходим с Олькой. Утро — загляденье. Солнышко, тепло, прозрачно. Вдруг: «Баа-Ба-Ххх!» И вся последующая мелодия.

— Белый дом обстреливают, — комментируют прохожие. — Надо пойти посмотреть.

Людям в центре Москвы невдомек, что все по-настоящему, что это не аттракцион, а реальная опасность. Они отправляются на занимательную экскурсию, чтоб потом всем, кому можно, с увлечением рассказать про то, что видели своими глазами.

Меня же тянет к Кремлю. Есть там баррикады или нет? Пришли люди на зов или плюнули?

Мы идем по улице Герцена (в сноску: сейчас Большая Никитская), сворачиваем у консерватории налево, вот вскоре мы уже на Тверской, вот и Кремль виден. И баррикады-таки воздвигнуты. Пришли защитники. Я хочу повернуть назад, посмотрели — и будет. Но назад не пускают. Стоит народный патруль и не пускает нас домой. А у нас ни документов, ни денег — только ключи от квартиры. К счастью, нас узнает парень из соседнего подъезда: «Они там живут, пропустите».

Чем ближе к дому, тем слышнее обстрел. Мы уже выходим на свое Садовое. Слышны резкие автоматные очереди:

— Тратата-тратата-трататататата!

Мы по-прежнему абсолютно не понимаем, что это всерьез. Ну, кому мы нужны, скажите на милость? Они же не парламентарии и не президент. Зачем стреляют в нашу сторону?

И вдруг мы видим, как степенный мужчина с кейсом, в отличном, явно дорогом костюме, только что важно вышагивавший перед нами, начинает передвигаться пригнувшись, прикрыв зачем-то голову портфелем, короткими перебежками.

Первая понимает все Олька.

— Мама! Бежим! — кричит она во весь голос отчаянно. — Это в нас стреляют! Бежим! Нас могут убить! Я жить хочу!

Ее ужас передается мне, мы пригибаемся и стремительно, со всех своих полусогнутых ног устремляемся в собственный двор.

Целый день с противоположного чердака будет вестись бессмысленная стрельба просто по прохожим.

Кто там засел, какие темные силы? До сих пор неведомо.

Дома я начинаю готовить завтрак. Размешиваю тесто для блинчиков. Задумчиво смотрю в кухонное окно на череду БМП. Откуда их пригнали в таком количестве? Я замечаю, как дуло одной боевой машины разворачивается, поднимается, начинает медленно двигаться вдоль окон нашего дома.

Вот тут до меня что-то доходит. Там, в машинах, ребята лет 18–19-ти. Им скучно просто так сидеть. Жарко, ночь не спали, пожрать не привозят. Они балуются, прицеливаясь, беря на мушку чужие окна чужого дома в чужой им Москве. И запросто, со скуки, могут пальнуть. Им ничего не будет. Скажут:

— Там в нас снайпер целился, вот мы его и сняли.

Я строго-настрого запрещаю детям подходить к окнам. Да те и сами понимают, как тут не понять. Но блинчики все равно надо печь. И проживать дальше этот долгий-долгий день.

Накормив своих завтраком, я делаю бутерброды, беру пакет с дачными яблоками и иду кормить солдат, помня уроки чешской матери. Оказывается, я не одна такая. Много жителей окрестных домов несут солдатикам поесть, попить, покурить. Те вообще плохо соображают, зачем их сюда ночью пригнали, что прикажут делать. Большинство из них до этого славного марш-броска никогда не были в столице своей родины. Они не знают, не могут знать, что находятся в пределах десяти минут пешего хода от Кремля.

Женщина лет сорока протягивает солдатам булочки. Берет за руку паренька в форме, говорит, глядя по-матерински в его глаза:

— Сыночек, не стреляй, слышишь, сыночек? Не стреляй!

Солдат кивает, она гладит его по щеке:

— Не стреляй, мальчик. Ради своей мамы, не стреляй!

«Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей»… Матери сложили слова этой песни.

Только кто и когда слушал материнскую мольбу?

Дома все приникли к радиоприемнику. Постоянно сообщают о погибших от снайперских пуль. Просят не ходить к Белому дому, уже много смертей случайных прохожих.

CNN ведет прямой репортаж по телевидению. Теперь получается, что сначала мы слышим реальный выстрел, потом его эхом воспроизводит ТВ.

Темнеет. Радио настойчиво предупреждает жителей нашего дома, что к окнам подходить крайне опасно. В соседнем подъезде шальная пуля попала в окно кухни, пробила холодильник.

Тем не менее настырный Пашка ползком пробирается к телевизору и записывает-таки своего вожделенного «Бетховена».

Спать детей укладываю в коридоре: опасность очевидна, трассирующие пули так и летают мимо окон. Кому-то явно очень не хочется выпускать оружие из рук.

Уснувший наконец после дня, полного ранообразных впечатлений, Пашка вдруг во сне начинает истошно кричать:

— Не надо! Не надо!

Так из него, расслабленного сном, выходил ужас пережитого.

Еле успокоили. На следующий день он затемпературил, без кашля, насморка. Только горел.

Участковая врач вздыхала: «Ну, что мне с вами со всеми беднягами делать? Невроз. Весь дом болеет, все дети с неврозом».

У Пашки с тех пор дрожат пальцы. Даже когда совершенно спокоен. Сами по себе.

Последствия политики…

На этот раз все кончилось обыденнее, чем два года назад: траур по погибшим не объявляли, количество жертв и считать не стали, расследование закрыли.

Но стрелять руководителю явно очень понравилось.

Лучше не вспоминать.

Но не забыть, как смотрела я через год, в сентябре 94-го, репортаж о выводе наших войск из Германии.

— Калинка моя, — притоптывал в бесстыдстве пьяного куража защитник национальной демократии.

Я заплакала и плюнула в телевизор. Мне, главное, хотелось, чтобы никто из фронтовиков этого репортажа никогда не видел. Пусть бы у всех телевизоры разом поломались, что ли…

Но отец видел.

— Лучше было бы до этого не дожить, — только и сказал.

Урок

Мы все боялись голода и запасались, как могли и чем могли. Вся наша просторная кладовка была уставлена коробками, в которых до поры до времени хранились макаронные изделия и всевозможные крупы. Это — НЗ, неприкосновенный запас. Начнется голод, а у нас все есть!

Еще у нас хранились консервы с тушенкой (китайской и немецкой). Из нее во время голода можно было варить сытный суп и заправлять его вермишелью из наших же запасов. Просто так к стратегическим запасам притрагиваться запрещалось. Да и зачем? Пока голод не начался, можно было худо-бедно пропитаться тем, что пока еще есть в магазинах.

В нашем доме затеяли капитальный ремонт. Как раз вовремя. Чтоб ни дня без релакса. Пришли, сняли батареи, просверлили дырки в потолках и в полах, протянули через них новые трубы. Дырки не закрыли. Батареи не поставили. Всему свое время.

Прошла весна. Настало лето. Осень наступила.

Где батареи? Нет батарей!

А постепенно холодает. Мы уже, чтобы согреться, собираемся вечерами на кухне и включаем газ. Помогает плохо.

Наконец написали челобитную, стали надоедать депутатам. Батареи поставили. Ну, заживем сейчас долго и счастливо.

А тут дочка мне говорит:

— Мама, у нас мыши!

Я не хочу ей верить, потому и не верю:

— Не может быть!

Но поверить пришлось. Мыши нападали через те самые дыры, которые все еще оставались в потолках. Дыры мы срочно закрыли — ценой нескольких бутылок водки. Все! Нет дыр. А мыши — есть! И какие! Важные, толстые. Расхаживают по коридору, когда сидишь там в кресле и по телефону разговариваешь. Идут мимо, ничего не боясь. И, судя по толщине, все беременные!

Олька вызвала отравительниц из санэпидемстанции. Они явились и разложили повсюду яд в кулечках. Начался мор мышиного царства. Сколько же их развелось за это время!

Наконец уморили всех мышей. Нету больше.

И захотелось мне сделать генеральную уборку, чтобы ни следа, ни духа от мышей не осталось. Убираем все, чистим, пылесосим. Наконец дошла очередь до кладовки. И тут нас ждал сюрприз. Ни в одной коробке (а они стояли с пола до потолка) не осталось и следа от наших запасов. Мышиные какашки — да, были. Крупы и макароны исчезли полностью. Вот чем питались

мыши! И жили припеваючи!

Так что же это получается? Мы работали и добывали (с большим трудом!!! и с потерей времени) вкусняшки для мышей!

Вот он, смысл накопительства!

Ведь знали, знали Евангелие: «Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц» (Лк. 12:24)

Но запасались…

Кстати, с тушенкой тоже произошел неожиданный казус.

Однажды к нам должны были заглянуть гости, я поставила тесто для пирогов и решила, что один пирог сделаю с яблоками, один с луком, а один — гулять так гулять — с тушенкой.

— Сынок, залезь, пожалуйста, в ящик на холодильник, достань пару баночек тушенки.

У нас в коридоре стоял второй, резервный холодильник для припасов. А на нем громоздилась коробка, набитая банками с тушенкой.

Сын подставил стул и потянулся к коробке. Через мгновение донеслось:

— Странно, мам. Похоже, нет у нас тушенки.

— Мыши съели? — пошутила я.

— Кто-то съел. Не мыши, — ответил сын, легко снимая с холодильника огромную коробку.

Силачом стал. Я ее даже подвинуть не могла, а он — как перышко подхватил и спрыгнул со стула.

Мы заглянули в нее: коробка была полна пустыми банками от тушенки! Аккуратно открытые банки, дочиста опустошенные.

Это, конечно, не мыши ухитрились.

Это Артемий Октябревич, любивший ночью выпить и закусить, вставал и наслаждался в тишине и покое…

Говорить тут было не о чем. Выбросили на помойку эту коробку с банками и закрыли тему любого накопительства раз и навсегда.

Голод так голод.

Развод

И все-таки больше я не смогла. Ровно двадцать лет прожила я с мужем и много интересного повидала на своем веку. Я была совершенно опустошена, лишена сил. Подвигов по спасению ближнего своего мне хватило, казалось, на всю оставшуюся жизнь.

Поиски, обзванивание больниц и моргов, звонки с угрозами…

Не буду вдаваться в подробности, ибо то, что я уже рассказала, хоть и не подробности, а мелкие детали, но вполне может служить объяснением моего решения.

Судья нас не развела. Трое детей и 20 лет вместе! Дала подумать три месяца.

— Вы останетесь с мужем, если он за эти три месяца будет вести себя безукоризненно? — спросила она.

— Конечно, — ответила я.

— Обещаю, — дал слово муж.

Понятное дело, он был хозяином своего слова: сам дал, сам взял назад.

Ничего не изменилось.

Третьего октября 1994 года наш развод состоялся.

— Ты, конечно, не разрешишь мне видеться с детьми? — спросил муж.

Что содержалось в его словах? Неужели надежда?

— Я очень прошу тебя общаться с детьми, просто настаиваю на этом, — сказала я.

Но он появлялся очень редко. Не чаще раза в полгода. Он не оставил никаких своих координат. Я просила, но он не дал адреса, по которому его можно найти.

Однажды, через год после развода, он как-то зашел повидать детей. Их не было дома. Он был слегка навеселе.

— Ну, что ж ты! — сказала я.

— Вера, не горячись! — ответил бывший муж.

Значит, Вера.

Уходя, он достал из кармана куртки носовой платок. Я закрыла дверь и увидела случайно оброненную им бумажку. Это было уведомление о необходимости срочно погасить задолженность по квартплате на имя Подкопаевой В. М. Был там и адрес: ул. Кирова…

В.М. — значит вот она, Вера.

Я спрятала бумажку. Это был мой единственный шанс найти отца моих детей, если возникнет необходимость.

Сон. Стелла

Я устала. Спала без снов. Просыпалась без радости. Не было прежде со мной такого.

Однажды приснилась мне Стеллочка. Красивая, степенная, спокойная.

— Ты здесь? — спросила я, не веря своему счастью.

Она кивнула.

— Ты вернулась?

— Нет, — покачала она головой.

— Тебе там хорошо? — спросила я.

— Очень спокойно, — сказала она.

— Возьми меня к себе. Я так устала, — попросилась я.

— Ну нет. Тебе еще рано, у тебя тут столько дел — они еще и не начинались, — ответила Стеллочка своим солидным докторским голосом.

И я проснулась…

Больница

Ни развод, ни трудовые порывы даром никому не проходят. В феврале 1995-го я очутилась в больнице. Откладывать было нельзя. В последний момент успела остаться в живых. И то — получилось две операции подряд. И даже клиническая смерть.

Медленно выкарабкивалась.

А что для всех нас была моя больница? Отсутствие частных уроков. Отсутствие любых подработок. А на зарплату тогда было не прожить. И еще врачу, который меня оперировал, тогда уже полагалось дать сколько-то сотен долларов.

Когда я попала в больницу, ко мне в гости как раз приехали две англичанки, с одной из которых, руссисткой Джоан Смит, я уже подружилась настолько, что и она гостила у меня, и я у нее. Она заранее попросила разрешения приехать на неделю с подругой. Я ж не думала, что попаду в больницу. И вот они приехали. Их поселили в комнату, некогда служившую нам спальней. У Оли даже было сколько-то денег, выделенных мной на прием моих гостей. Она купила все, что нужно им для завтраков. Мюсли, сыр, хлеб, кофе, молоко. Обедать и ужинать они собирались в городе.

Самим детям оставалось на еду очень мало. Но — гости есть гости. Так уж вышло. Что уж теперь.

Однажды завтракают они, а Пашка, неравнодушный к молоку, говорит сестре:

— Оль, я тоже молока хочу.

Олька делает большие глаза, мол, после поговорим. Но тому приспичило:

— Хочу молока.

А на какие шиши она купит ему молоко?

И тут подала голос одна из англичанок. Она хорошо говорила по-русски.

— Оля, — сказала она, — сходи в лавку и купи брату молока.

Слово «лавка» сразило всех наповал.

Не было «лавки», не было денег. А были две гостьи, так и не понявшие всю степень нищеты, в которой мы оказались в тот момент.

Так у нас и повелось потом. Если речь шла о чем-то несбыточном, говорить: возьми деньги, сходи в лавку…

Было и другое.

Позвонил мой друг из Питера. У меня есть в Питере два замечательных друга. Вот и позвонил один из них, Боря Косолапов.

— Как мама? — спрашивает.

— Мама в больнице, — уныло отвечают дети.

И вот на следующий день к нам в дверь звонят:

— Откройте, ребята, я от Бори Косолапова.

Незнакомый человек протянул детям деньги, двести долларов:

— Вот, Боря просил передать, чтобы вы купили себе поесть. Маме не говорите.

Но они, конечно, сказали маме. Эти деньги мы и отдали потом врачу. Раз уж полагалось.

Спасибо, Боря!

Дружба — одно из главных чудес света.

Март 1995-го — смерть папы

Меня только выписали из больницы. Я начинаю ходить. Потихоньку, чуть-чуть. Из дому еще выходить боюсь, но по квартире передвигаюсь.

Звонок из Каменки. Папа умер.

Последняя наша встреча, когда он приехал к нам со своей женой, прощальная… Мы-то думали, что увидимся еще… Не пришлось.

Папочка тогда сказал мне:

— Галенька, ты самая красивая женщина из всех, кого я когда-либо встречал.

Как мне важны были его слова! И как мысль о папе поддерживала меня в трудные минуты жизни!

Я просто старалась соответствовать.

В ту же встречу его жена, оставшись со мной наедине, скажет:

— Марк Иосифович считает, что все его болезни от того, что он мало тебе уделял внимания. Что за это ему наказание.

Он ей это часто повторял в последние годы.

Но она и не знала, как много внимания уделял мне папа, когда она еще не появилась в нашей жизни, как много мне дал, как целый мир подарил… Она ничего не знала про нашу дружбу, наши игры… Она даже ничего не знала про его письма-воспоминания.

Передо мной папочка ни в чем и никогда не был виноват. Просто им всем, моим дорогим, выпала на долю жизнь, полная лишений.

Папы не стало, а я не смогла даже проститься с ним, поехать на похороны.

Я помню его живым. Только живым. И, когда трудно, прошу помочь. И помощь приходит. Появляются силы.

Хотелось бы получить на память от папы хоть какую-то его вещичку, но видно, мне не положено. Несколько фотографий передала мне та, которая вполне могла бы быть мне мачехой. Могла бы, но даже на это ее не хватило. Передала фото — те, что когда-то посылали мы с Танюсей папе. Так вот они ко мне вернулись. Из тех, что у меня не было, фотография маленького Тимочки, старшего папиного брата и моего братика Гришеньки на руках бабушки. Папина супруга почему-то решила, что должна прикоснуться к нашей истории, и на всех фото сделала собственноручные надписи. Про фото Гришеньки с бабушкой написала: «Галя с бабушкой Бертой»…

У меня сами собой, как стон, вырвались стихи. Пусть будут.

У нее, конечно, были на то причины:
Редко водятся в наших краях мужчины,
Редко кто согласится жениться — не просто спать,
Ну, а дети чужие — у них есть мать…

Хоть бы мачехой стала дочке его!
Но жадна: не отдаст ничего своего.
«Мой» — и точка.
А сердце болело и ныло…

Не тоска ли по дочке тебя убила?
Папочка-а-а…

Вспоминаю, как маленький Пашенька плакал, прощаясь с дедом:

— Дедушка, не уезжай! Дедушка, не уезжай!

Ну, почему все так? Почему?

И снова сами собой складываются строчки стихов:

«Помню себя с раннего детства», —
Такими словами ты начал свое письмо,
В котором старался связать воедино
Разорванные ниточки наших жизней.
«Папочка, я ничего не знаю о тебе»…
…Ты написал.
О том, какие были лошади.
О душистых лугах.
О молодой своей маме
(когда она еще не знала потерь),
О своем братике (моем дяде, которого убьют под Сталинградом),
О вязком кровавом море войны,
Из которого Бог тебя вытолкнул невредимым.
О добрых венгерских девушках весной 45-го.
Я, как и ты, помню себя с раннего детства.
Помню тебя с раннего детства.
Моего. Любимого. Не отделимого от моего существования.
Я знаю о тебе все.

Мы выживаем

Что мы имеем?

Я жива. Скоро буду здорова. Дети тоже здоровы. Слава Богу. У нас все хорошо. Надо только сообразить, как прожить то время, пока я еще не могу давать уроки. Ну — просто: что нам есть?

Ресурсов — ноль.

Но почему-то нет никакого уныния. Есть уверенность, что все как-то образуется. И правда.

Мама присылает мешок картошки и большую кастрюлю квашеной капусты. Это очень щедрый дар. Она на пенсии. Было время, пенсионеры не бедствовали. Сто тридцать рублей пенсии — это еще своим внукам подкидывать можно. Но время это кончилось. Теперь от ее пенсии остались жалкие гроши. И я ценю этот мешок картошки как самый щедрый дар.

Ничего! Мы продержимся. Главное — не унывать.

В положенные дни хожу на прием к врачу. Она мной недовольна: гемоглобин все еще низкий.

— Вы плохо питаетесь, — ругается она. — Надо есть икру, мясо, гранаты! Надо гемоглобин поднимать, так у вас никогда сил не будет.

— Я ем, — отвечаю я.

Ну не могу я сказать, что у нас только картошка на все про все.

— Вижу я, как вы едите, — ворчит врач и отсыпает мне волшебный дар: гуманитарную помощь из Германии, препарат железа, поднимающий гемоглобин мгновенно.

Вот это дело! Начала его пить, и силы сразу прибавились. Пошла на поправку.

В следующий раз прихожу продлевать бюллетень, а моя врач заболела. Иду к той, что заменяет. Мне же всего продлить, до следующего посещения.

Чужая врач изучает мою историю болезни.

— Ай-яй-яй, что у вас было! Ай, какая операция! Это знаете почему? По грехам вам воздается!

Я ошеломлена. Я же только больничный продлить зашла, а тут такие мои разоблачения… Сижу, перед глазами круги.

— Вам, знаете, что надо? Три раза в день бить земные поклоны. По сорок раз. И повторять: «Господи, прости меня, грешную». И вот: я еще дам вам молитву, читайте ее как можно чаще. Можно до ста пятидесяти раз в день. И вот, можете у меня чай купить, специальный, освещенный.

— Спасибо, не надо, — отказываюсь я.

Я вообще не понимаю, на каком я свете. У врача — или? Я деморализована и ответить ей, как подобает, не могу.

Мне бы к главврачу пойти с ее молитвами, с ее чаем за 50 долларов… Но куда мне! Силенок пока маловато.

Так и лежат у меня на память ее молитвы.

Не божий она человек. От таких отойти подальше, чтоб ладаном слишком не пахла. А то и задушит.

Сон. Танюся

Когда не стало моей дорогой Танечки, одна соседка, очень ее любившая, сказала мне: вот теперь смотри, какой она тебе приснится. Из сна поймешь, что она о тебе думает, не обижается ли.

Я все ждала, чтобы она мне приснилась, но напрасно.

И вот через двенадцать лет после ухода я увидела ее во сне. Такой сон, как явь. Мы где-то в гостях, суета, много народу, все галдят, шумят. Вдруг я смотрю: Танюся. Что-то тихонько делает, хлопочет. Я подбегаю к ней и говорю:

— Так ты не умерла!

Она поднимает на меня свои огромные голубые глаза, но молчит. А я думаю: ну, все! Теперь-то мы с ней заживем — только вместе, никогда не расставаясь, только счастливо! Мы все будем ее беречь, любить, будем рядом… Детки уже подросли, столько помощников у нее, Оленьку свою любимую и не узнает!

Танюся молча встает и идет к двери. Я бегу за ней. Она уходит, значит, и я должна. Вместе уйдем.

Мы идем по улице. Она чуть впереди, я едва успеваю, так быстро она идет.

Оказываемся за городом, у подножия прекрасных гор. Она вдруг быстро-быстро и очень легко идет вверх, по почти отвесной горе.

Я стараюсь догнать ее. Ноги начинают вязнуть, как это бывает во сне.

— Подожди! — зову я.

Она чуть оглядывается, через плечо. Я понимаю, что должна карабкаться дальше. Я иду все выше и выше. Мне осталось совсем немного: надо одолеть трудный подъем, и я на вершине.

Танюся еще раз оглядывается. Я рывком, из последних сил, взбираюсь на самый верх.

Оглядываюсь — ее нигде нет. Но я почему-то понимаю, что она хотела мне сказать:

— Иди вперед. Не останавливайся. У тебя все получится.

Спасибо, что пришла ко мне во сне, моя любимая!

Новая жизнь

И вот только поправляясь после своей болезни, я поняла, что пришла пора мне начать совсем новую жизнь. Я ведь, по сути, столько лет не жила! И совсем не развивалась как личность. Разучилась принимать решения и даже, по ощущениям, не повзрослела. Я жила, претерпевая и превозмогая трудности, которые каждый день на меня наваливались. Держалась, как могла, но дальше так продолжаться не могло.

Я сама для себя решила определить, чего же я именно хочу от жизни. И второе — какими путями я этого могу добиться.

Я сказала себе: для себя лично я хочу, во-первых, освежить свои знания в области психологии, я хочу написать исследование, касающееся творчества Мандельштама (меня очень интересовали его так называемые кодовые слова), я хочу, наконец, попробовать себя в писательстве, раз мне дано продолжение жизни.

Что мне для этого надо сделать? Мне конечно же надо меньше работать. Могу я это себе позволить? Сейчас нет! Не могу! То есть — не могу в полном объеме. Потому что на мне по-прежнему дети.

Я решила не расстраиваться. Я сказала себе: дети вырастут. У меня будет время, принадлежащее мне. А пока я могу кое-что из запланированного осуществить. Например, психология. Новые знания мне вполне по силам усвоить. Тем более надвигались каникулы.

И тут как раз позвонил мой знакомый, еще с институтских времен. Нашел меня через общих знакомых. Он эмигрировал в Штаты в семидесятых, стал там программистом и прилетел в Москву по работе. Мы встретились. Пошли гулять по Бульварному кольцу (мой любимый маршрут). Он о себе рассказывал, я о себе. Поделилась своими планами. И он спросил:

— А ты слышала об НЛП?

— Нет. А что это?

— Нейро-лингвистическое программирование.

Я впервые слышала этот термин. Но, конечно, меня заинтересовала «лингвистическая» часть.

Мой знакомый мне и говорит:

— Ты так излагаешь свои планы, словно ты сложившийся специалист в НЛП. Тебе надо этим заняться.

— Я бы с удовольствием. А как?

— Ты по-английски читаешь?

— Еле-еле.

— Это уже хуже. Но — дело разрешимое. Уж очень у тебя

хорошо голова работает в этом направлении.

Мы стали встречаться почти каждый день. Он давал мне распечатки на английском и, с ходу переводя, объяснял мне самую суть. Это действительно было по мне, казалось очень простым и при этом удивительно действенным. Потом я записалась на специальные психологические курсы и увидела, что там уже вполне осознанно используют техники НЛП. Значит, у нас процесс пошел, не прошло и двадцати лет с момента возникновения НЛП в Калифорнии…

Потом, во время предвыборной кампании президента в 1996 году я увидела, что команда Ельцина вовсю пользуется методами НЛП. Не знаю, это ли помогло ему победить на выборах или что-то другое, более примитивное, но не менее действенное.

Я на выборы больше не ходила.

Почему?

Идем с Пашкой мимо метро «Октябрьская». Там цветами торгуют, сигаретами… В общем, чем только не торгуют. Времена такие — сплошная торговля.

Решила купить цветы.

Выбираю и вижу: продает цветы молодой парень, красивый… И сидит он на такой же тележке с колесиками, на какой сидели инвалиды в моем раннем детстве.

Парень без обеих ног!

Ну, в детстве моем — понятно. Такую войну прошли. Враг вероломно напал, с фашизмом боролось.

А сейчас — почему?

Парень говорит Пашке, который тоже пристально смотрит на него:

— Чечня, братишка.

Я не хочу покупать цветы. И не могу не купить.

«Чечня, братишка…»

Значит, и о наших детях позаботилась наша власть. И им предстоит.

Декабрь 1996. Парад планет

В декабре к нам приезжает наш друг из Питера, Аркадий Волк. Когда он у нас, жизнь бурлит, приключение за приключением, клубы, вечеринки… Он сначала подружился с Олькой, потом пришел к нам домой, и вот мы друзья. Так Аркаша и остался одним из моих самых близких друзей: могу говорить с ним обо всем, знаю, что поймем друг друга. Он умеет дружить. И докажет это…

А пока — фестиваль «Поколение», мы с Пашкой и Аркашей ходим на выступления… 24, 25 декабря — Рождество идет. Весь мир уже празднует. Я покупаю журнал ELLE, который только недавно стал выходить на русском, и читаю гороскоп на 1997 год.

Интересные вещи обещает астролог: все изменится уже в конце декабря 96-го года. Для многих именно в это время дверь за прошлым закроется навсегда, будто его и не было, и откроются новые двери. Жизнь у большинства людей изменится кардинально, от малого до самого большого. И все это потому, что планеты выстроятся в ряд, что бывает очень редко. Парад планет.

Я смотрю в небо и пытаюсь разглядеть парад планет. В московском зимнем небе звезд не увидеть.

Красиво написано в гороскопе! Пусть даже не будет в моей жизни никаких перемен (неоткуда им взяться), но все равно: как же это здорово — ждать и надеяться.

В Рождество всегда ждешь волшебную сказку.

Вот-вот произойдет чудо.

1997. Перемены!

Личный опыт

— Дайте подержаться за счастливого человека! — воскликнула одна давнишняя моя знакомая при встрече и долго не выпускала мою руку из своей.

Странно, двадцать лет назад она тоже как-то назвала меня счастливой, но не хваталась за меня, как за волшебную лампу Аладдина в надежде заразиться удачей. Люди прекрасно чувствуют, когда настоящее, а когда декорации, театр. В те давние времена я была женой и матерью. Я много работала на любимом поприще, защитила диссертацию и сохраняла, так сказать, товарный вид. Все эти составляющие — наличие мужа, троих детей, диссертации и широкой лучезарной улыбки в те времена, когда улыбались, в общем-то, редко — позволяли окружающим считать меня счастливой. Мне даже завидовали. Но в рамках приличий. По телефону с угрозами не звонили. В спину не шипели. При встрече здоровались. Так что зависть, если она и ощущалась в некоторых вздохах и косых взглядах безмужних кафедральных дам, пережить было легко.

Потом все стало еще лучше. Для окружающих. Я развелась и осталась одна-одинешенька, без какой бы то ни было помощи с какой бы то ни было стороны. С тремя детьми-тинейджерами. Могла бы написать — подростки, но иностранное слово деликатнее вуалирует своей туманной семантикой все, гм-м, шероховатости совместного существования представителей разных поколений, привыкших по прошлому опыту думать, что любят друг друга, но порой сводящих это эфемерное чувство на нет.

В этот период меня любили. Мои коллеги по работе, знакомые. Один раз слесарь-сантехник бесплатно подкрутил какую-то гайку, чтоб вода из крана не так сильно лилась.

— Да что с тебя взять-то! — вздохнул он, обозрев нажитое мной за годы борьбы за существование: туманнооких от подростковых ожиданий чад, двух кошек, собаку Денизу, крупных дисциплинированных тараканов, в принципе знающих, что при чужих — нельзя, но не успевших вовремя спрятаться.

Я могла бы коллекционировать слова любви в мой адрес: «И как это ты только все успеваешь!»; «И откуда у тебя эта энергия!»; «И где ты черпаешь силы!». Людям было приятно, что кому-то рядом еще хуже, чем им, причем значительно хуже. Приятно

ощущать себя удачливее другого. Но поди разбери, удачливее ты или нет. Все познается в сравнении. А тут такой пример. Одна с тремя детьми. Еще в больницу загремела. Чур меня, чур! Нет, у нас все, слава Богу, путем…

Так что мое существование мне прощали, что грело мою душу в немалой степени, ибо принималось за теплое дружеское участие.

Все было очень хорошо.

Я была почти совсем счастлива. Дети как-то устраивались в жизни. А я ждала *своей* судьбы. Я откуда-то знала, что все должно измениться. Не знала, правда, как. В принципе каждый про себя знает все. Главное, себе не врать и прислушаться чутко.

Моя судьба приехала в Москву из Лондона «на побывку» — сыграть концерт, сдать кое-какие экзамены в своем заочном институте. На концерт меня пригласил его друг, с которым мы время от времени общались по телефону. Когда-то я всех их учила. Это были такие маленькие смешные умники, одаренные, непростые. С ними было интересно. Они любили живую мысль, умели слушать, умели возражать. На равных. Потому что с детства знали цену тяжкому труду. К тому же их вела за собой музыка. Она дарит душе крылья.

Еще тогда я любила этого нынешнего «лондонского гастролера». Печально любила, отстраненно, боясь боли разлуки с родной душой. Чтобы что-то между нами могло быть — этот вопрос не вставал. Есть человек, с которым, единственным на всем белом свете, мне интересно, который привлекает всем, что в нем есть, всем его существом — и все. Между нами была возрастная пропасть. Табу. Поэтому даже мысли такой в голову не приходило.

И вот я пошла на концерт. И мы увиделись.

Чтобы быть краткой, скажу лишь: с того концерта мы не расставались. Нет, все-таки стоит расшифровать: мы встречались каждый день. Гуляли, разговаривали. И все. Это и было то, что называется *настоящей* жизнью. Так продолжалось целых две недели. 14 января 1997 года он улетел в Париж — начинались опять гастроли, концерты. Об этой стороне его жизни я не знала совсем ничего. Не имела ни малейшего представления. Не знала про забитые до отказа залы, очереди за автографами, не знала эпитета «гениальный», которым награждали его критики всего мира. Я только чувствовала, что сердце мое рвется на части при мысли о предстоящей разлуке.

На прощание мы написали друг другу, договорившись прочесть потом, когда будем одни. Одни… Представить было страшно. Мы старательно писали. Секунды длились, как годы.

Потом он ушел. Я прочитала: «Чтобы мы всегда были вместе…» И горько заплакала. В моем письме было про то же.

Чтобы! А вот ведь — не вместе. И как теперь жить?

А жилось так: от звонка до звонка. Звонки были каждый день. Отовсюду. И еще факсы. Теперь повсюду по пятам за мной следовала моя любовь, делая жизнь невыносимо прекрасной. У меня не было никаких надежд. Но где-то, на каком-то континенте, который еще неизвестно, есть ли на самом деле или для рекламы придуман, живет ответная любовь, воплощающаяся в телефонный вздох: «Ну вот, только что прилетел — и звоню…»

В конце февраля мы оба очутились в Париже. Мы яростно мучили друг друга рассказами о печальных обстоятельствах наших предыдущих жизней. Но Париж бдительно охранял любовь, не позволяя нам отторгнуться друг от друга, какими бы ужасающими подробностями мы ни пытались приукрасить собственное прежнее существование.

Последний лихорадочный парижский вечер. Елисейские поля, Лувр, какие-то подарочные пакеты. Завтра — ему в Лондон, мне — в Москву. Но впереди еще целых десять часов.

Переодеваемся к ужину. Вдруг он: «Мы должны пожениться. Не будем же мы от людей скрываться!»

— Да! Да! Да! И я возьму твою фамилию! — Я прыгала до потолка (в прямом смысле). (До сих пор не понимаю собственных криков про фамилию. Наверное, в этот момент счастья хотелось стать такой родной, такой слиянной, одним-одним существом. И разделить все — тяжесть, радость, что выпадет.)

Мы в тот же миг обменялись имевшимися у нас кольцами. Помолвка состоялась. И была весело отпразднована в ближайшем ресторанчике.

В Москву я не полетела. Поехали в Лондон по туннелю через Ла-Манш.

Из Лондона я, ошеломленная, позвонила детям, которые как раз собирались в Шереметьево. Встречать.

— Я вот тут вот. В Лондоне, — лепетала я.

— Когда подъедешь? — мужественно поинтересовался мой старший сынок.

Тут же по телефону Костя попросил у них моей руки. Они не возражали.

В Лондоне все пошло по-другому. Он вообще совсем другой, Лондон. Не легкий. К тому же у местных Костиных поклонников, вернее, поклонниц случился шок при известии о предстоящем событии. Но они внешне вели себя прилично, только усиленно приглашали на всякие парти, задавая каверзные вопросы, проверяя мой культурный уровень:

— Ах, я как раз сейчас собираюсь читать Хомского. Что бы вы порекомендовали?

— Ну, почитайте «Язык и мышление» или «Аспекты теории синтаксиса». Только вам может быть скучно, если вы этим всерьез не занимаетесь, — простодушно советовала я.

Короче, все время приходилось сдавать какие-то тесты на уровень менталитета. Но это все еще было не страшно, так, чуть-чуть страшноватенько. Как в сказочке из сна, после которой — хоп — и проснулась.

Страшное началось в Москве. Мы же туда приехали жениться. Чтобы друзей назвать — полный дом. Чтобы все были счастливы, как мы.

Знаете пословицу: «Друг познается в беде»? Конечно. Только ничего подобного, поверьте! Друг как раз познается в радости. Чужую радость, как оказалось, пережить смог мало кто.

Вдруг добрые знакомые перестали здороваться. Ну, ладно бы со мной. Растлительница, так сказать. Узурпаторша. Но с ним-то за что? Пожалели бы тогда уж. Да нет. Просто видели чужое счастье. И души начинали болеть, ныть. А с больной душой каких только гадостей не сделаешь! В общем, каждый старался, как мог. Кто помянет добрым словом, кто по телефону ласково позвонит. К моменту похода в загс я тряслась, как малярийная больная. Жених вел себя мужественно, но счастья уже не излучал. Перед дверями этого учреждения я сказала: «Примут спокойно заявление — поженимся. Начнут хамить или что-то подобное — уйду». Сил больше не было. Но, представьте себе, в загсе сидят люди опытные. Глаз у них наметанный, что ли. Заявление у нас ласково приняли и даже дату приблизили по причине грядущих длительных гастролей.

На свадьбе, в итоге, были только самые близкие. Им всегда буду благодарна.

После этого знаменательного события жизнь стала еще интереснее: травить стали не только нас, но и моего младшего сына, учившегося тогда в той же музыкальной школе, что закончил мой муж. Он, надо сказать, мужественно терпел все пошлости, с которыми обращались к нему одноклассники.

Я пришла в его класс. Это были четырнадцати-пятнадцатилетние дурачки.

— У вас есть вопросы по поводу нашей с Костей свадьбы? Задавайте мне, я отвечу!

Вопросы у них, может, и были, но они их не задали.

— Девочки, а это лично вам. Я жила и думала: а есть ли она на самом деле, любовь? И только сейчас поняла. И ни за что не откажусь от нее. А каждой из вас желаю встретить свою. Вы

узнаете, когда придет настоящая. Вы не будете сомневаться.

На следующий день две девочки подарили мне коробочку конфет и поздравили со знаменательным событием. Что-то они все-таки поняли.

Прошло пару недель. Но камень с души не упал. Казалось бы, что особенного. Два свободных человека объединили свои судьбы. Закон на их стороне. Они не разбивали семьи, не обездоливали чужих детей. Просто полюбили.

Разница в возрасте! Проклятая разница в возрасте. Нам она не мешает. Мы — друг для друга. Мы — друг за друга. Тогда почему так тяжек людской суд?

Мой муж пошел в храм, посоветоваться со священником.

— Самый тяжкий грех — погубить любовь. Любишь ее — венчайтесь, — такой был совет.

Мы повенчались. Все плохое осталось в тени прошлого.

Началась новая жизнь. Наша. Только наша. Она проходит в трудах и заботах.

Я просыпаюсь утром и вижу родные глаза. Они улыбаются мне. Они — моя жизнь. Вот и все.

И в конце только один маленький вывод. Было тяжело, честное слово. Людской суд — страшная вещь. Особенно для человека законопослушного. Что было бы, если бы я побоялась общественного мнения? Меня по-прежнему любили бы коллеги. Жизнь была бы пуста и одинока. Кому-то от этого было бы лучше. Но не мне.

Все это я написала через два года после нашей свадьбы. Кое-что поясню из сегодняшнего времени, чтобы потом уже больше не касаться темы моей семейной жизни.

Когда мы так спонтанно решили пожениться, я не собиралась никуда уезжать. Это казалось мне невозможным: дети, работа, дом, Москва… И Костя тогда вернулся в Москву из Лондона. Но прожили мы в Москве совсем недолго. Видимо, звезды решили: дверь в прошлое нельзя оставлять приоткрытой.

Костю пригласили на озеро Комо, где в специально образованном фортепьянном фонде проходили занятия с выдающимися пианистами и педагогами современности. И мы поехали вместе. Старшие дети оставались в Москве, учились. А Пашу мы взяли с собой.

Но взять его с собой оказалось не так просто: нужно разрешение от второго родителя. А второго родителя не найти. Он заходил последний раз в конце 1995-го. Просил меня подождать какое-то время, не устраивать свою личную жизнь, может, у нас все еще образуется. Даже потом, в 1997-м, собираясь

выходить замуж, я чувствовала себя виноватой перед ним: он же просил повременить. А в загсе, где я брала свидетельство о разводе (только перед новым браком и удосужилась), мне сказали, что мой «экс» взял это свидетельство у них еще в 95-м. И даже зарегистрировал новый брак. Я в очередной раз была поражена драматургией поступков Артемия Октябревича: уже женился, а меня просил повременить…

Где же искать нам второго родителя, чтобы получить нотариально заверенное согласие на то, чтобы ребенок поехал с нами в Италию? И тут я вспомнила про ту оброненную им бумажку с адресом Веры Подкопаевой. Но в Москве уже давно не было улицы Кирова. Тогда я вспомнила, что тогда, давно, он что-то говорил про Химки.

Мы с Костей взяли такси и отправились в Химки. Нам ничего другого не оставалось. Мне повезло: это и был его адрес! Там он жил с женой и двумя маленькими дочками.

Сцена встречи вышла безобразная. Мы позвонили в дверь, вышла женщина, я попросила позвать Артема, а она, ни слова не говоря, набросилась на меня с кулаками. При этом она вопила что-то типа: «Она тут! Спасайся, кто может!» Я к такому повороту событий не была готова, поэтому некоторое время она молотила меня кулаками, не встречая никакого отпора с моей стороны. Я только повторяла:

— Позовите, пожалуйста, Артема. Мне нужен Артем.

Я видела, что она меня панически боится. Догадалась: Артемий Октябревич сумел создать образ врага рода людского в моем лице. Вот она и оборонялась, нападая.

Ну, понятно.

А тут как раз вышел и Артем.

— Ну что за женщина! — воскликнул он театрально.

Эх, ну что я за женщина, а? Пришла разрешение у отца взять, чтобы сын за границей учился! Ну, кто я после этого?

— Вера, прячь детей!!! — продолжался тем временем спектакль.

Однако мне удалось все же втолковать, что нужно мне всего лишь его разрешение.

— У меня нет денег! — воскликнул отец.

— Это не важно. Главное: дай разрешение, я оплачу нотариуса.

Потом разговор вошел в нормальное русло. Договорились, что приедет он завтра и все оформит.

Приехал. Попросил прощения за поведение жены, сказал: «Она будет каяться в храме». Тоже удобно. Сначала с кулаками на ближнего, а потом покается, и все в порядке. Впрочем, не мое

дело.

Оформил.

Я дала ему на прощанье денег на девочек. Это же сестрички наших деток!

Мы стояли в прихожей.

Я сказала:

— Я тебя прощаю. Пусть у тебя будет все хорошо.

— Жил я бездумно, плодил детей… — начал Артемий.

— То есть — как: «плодил»? — не поняла я. — Мы вместе с тобой думали о детях, планировали. Я детей не «плодила», я их осознанно приводила в этот мир, с любовью и надеждой.

— Я хожу в храм, я в Бога верю, я каюсь, — продолжал свою мысль отец моих детей.

— Мы тоже ходим в храм, причащаемся, — хотела успокоить его я.

— Ну, в какой вы там храм ходите, — махнул он рукой.

В общем, пошел настоящий Оруэлл: все животные равны, но некоторые равнее других…

Ладно… Попрощались…

Много лет не видели дети своего отца.

Недавно сын встретился с ним. Папа объяснил ему, что все его беды от меня.

— И что же мама делала? Пила? — спросил сын.

— Нет. Она — еврейка.

— Что же ты женился на еврейке?

— Ошибка молодости.

— А мы? Мы как появились? По ошибке?

— И вы — ошибка молодости! Я своим девочкам о вас не рассказываю. Они не знают, что вы есть.

Люди добрые! Как жить человеку, если его отец говорит ему, что он — ошибка молодости?

А как-то надо жить.

Только где, у какого еще народа встретишь такое чудо, который сыну-первенцу, продолжателю рода, скажет такое?

Совсем пропащий человек. И евреи, друзья мои, к этому никакого отношения не имеют.

Пока добирались до Гранте, где нам предстояло жить, через Австрию (у Кости там были концерты), узнала, позвонив в Москву (в то время не всегда это было просто), что не стало мамы. Ей было 68 лет. И на ее похороны я не успела.

На озере Комо я наконец стала писать рассказы. Один за

другим. Сбылась моя мечта. У меня появилось мое собственное время. Я дорожила им, как величайшим сокровищем.

Аза Алибековна

— Хочешь, я позвоню Азе Алибековне? Если она согласится, мы зайдем к ней, ты увидишь квартиру Лосева.

— Конечно, хочу, — ответил мой муж.

Я столько лет не звонила по этому телефону, но помнила его наизусть.

Набрала номер, и очень скоро раздался низкий строгий голос Азы Алибековны:

— Алло! Слушаю вас!

Я представилась, сказала, когда была аспиранткой Алексея Федоровича, с кем в группе училась, попросилась в гости.

— Пожалуйста, заходите, — пригласила Аза Алибековна. — Только попадете вы в наше временное жилище, квартира, в которую вы ходили, уже давно на ремонте.

Мы с радостью, окрыленные, отправились в гости к Азе Алибековне. Она принимала нас одна. Вернее, не одна, а с белой-белой кошечкой Груней. Племянница Азы Алибековны Лена была в этот момент у мамы, Мины Алибековны, во Владикавказе.

Как же хорошо мы встретились! До сих пор помню свое ощущение полного счастья и покоя, словно попала к очень близкому мне человеку. Вот так: потерялась, а потом нашлась.

Позже мы познакомились с Леночкой. И началась наша дружба на долгие годы.

Япония

Много лет тому назад я впервые попала в Японию. Тогда иностранцев там было совсем немного. Хорошо помню свои ощущения в токийском аэропорту «Нарита». Я была в среднем выше окружающих на голову. И это еще куда ни шло. Но я была совсем другая! Абсолютно, по всем параметрам. Я никогда прежде не думала, что меня, например, могут посчитать великаншей (при росте 167 см — совершенно среднем, стандартном росте), не думала, что есть что-то особенное в моем цвете кожи, цвете и разрезе глаз, цвете и структуре волос. В своей среде я ни у кого не вызывала желания рассматривать меня, как жирафа в клетке. А тут — за то время, что мы ждали машину, пришлось и жирафом, и слоном себя почувствовать. Люди останавливались и *смотрели*. И их было так много, этих *правильных* — смуглых, узкоглазых, с черными прямыми волосами низкорослых людей, которые удивлялись мне только потому, что глаза мои имели другую форму и цвет, что волосы мои светлые и вьющиеся (и т. д., и т. п.), что я поневоле подумала: «Что-то со мной не так, что-то надо менять». Неподалеку от нас стояла в ожидании американская супружеская пара. Они были значительно выше нас! Тоже примерно на голову. Глаза их сияли голубизной, кожа белела, а волосы цвета сливочного масла просто бросались в глаза своим несоответствием местным нормам. Я приободрилась. Ха! У меня еще все не так худо, как у тех! Я еще как-то впишусь. Ну, ссутулюсь немножко, перейду на плоские шлепанцы, повяжу голову платком, так, чтобы волосы не вылезали, очки солнечные нацеплю, подзагорю… Ничего, сойду за человека… Впишусь… Перестанут на меня рты раскрывать… А вот этим — им явно ничего не светит.

В какой-то момент мы встретились с американцами взглядами и без слов все поняли. Это было отличное ощущение: знать, что понимаешь, о чем думают сейчас совершенно незнакомые тебе люди, да и думать о том же. И вдруг… Мы расхохотались. Так я смеялась в детстве в комнате смеха, где кривые зеркала искажали изображение человека, делая его или непомерно высоким, или подобным колобку, толстым, коротконогим и почти безголовым. Это смешило до слез, до колик. Вот примерно так и мы и смеялись. Понимая и свою чужеродность, и нелепость собственных мыслей по этому поводу.

Та сценка была в целом вполне милой и симпатичной. Нам не грозило ровным счетом ничего. С нами были по-японски вежливы, нежны, приветливы, предупредительны. Нашего уродства

старались не замечать изо всех сил. Поэтому никаких комплексов не возникло. Замечу попутно. Подружившись с нашей японской переводчицей, я, естественно, о многом ее расспрашивала. Задала в том числе и вопрос о том, а как же пренебрежительно называют нас, европейцев, у них. (Ну, мы-то, понятное дело, не стесняясь, кличем азиатов «узкоглазые». А нас, таких красивых и прекрасных, разве есть за что обзывать?) Переводчица долго стеснялась, не решаясь меня обидеть. Но я буквально умоляла ее раскрыть страшную тайну. И тогда она выдавила из себя оскорбление: «Мы… мы… называем вас… „голубые глаза“!» И она закрыла лицо ладошками от стыда. Ведь решилась произнести такое!

Вот, мои дорогие, любимые голубоглазые и зеленоглазые читатели. Просто возьмите себе на заметку занимательный и непреложный факт, что если вы решили кого-то называть черножопым и узкоглазым, существуют миры, где ваше беложопие и голубоглазость отнюдь не считаются признаками дивной красоты и даже достоинством. Это насмешливые, обидные и грубые прозвища, за которые приличным людям становится ужасно стыдно. А неприличным… Но разве мы с вами неприличные? Конечно, самые приличные и замечательные. Давайте же беречь окружающую среду от злых мыслей и слов, поскольку они имеют отвратительное свойство возвращаться и прилипать к нам же самим. «Оно нам надо?»

В тот первый мой приезд в Японию была у нас замечательная переводчица. Акико Ога. Она безупречно говорила по-русски. Мы подружились. У нее оказалась очень интересная история. Акико была дочкой посла Японии в СССР. И родители ее приняли решение: пусть девочка учится в советской школе. Так стала она первой японской девочкой, закончившей школу в Москве. И, что удивительно, она училась в той самой школе, в которой позже учились мои дети — в 72-й, на Малой Молчановке! (Теперь это школа 1234.) Хотя особо удивляться нечему: посольство Японии находится почти рядом с этой школой.

Но я очень удивлялась — мир тесен! И как! Надо было лететь 11 часов в далекую страну, чтобы оказалось: встречающая нас японская переводчица — выпускница нашей родной школы.

Акико рассказывала, как поначалу трудно ей было, как не понимала она ничего, как огорчалась от этого, страдала. Но — японское упорство взяло верх — все преодолела!

Ходила дочь посла Японии в школу в обычной нашей школьной форме — как полагалось, дружила с девочками и мальчиками из класса… И считает, что детство ей досталось

замечательное.

Как же мне повезло, что впервые увидеть Японию помогла мне Акико — моя дорогая подруга!

А чуть позже Акико вышла замуж за русского музыканта, у них родился сын Юрочка. Так ее судьба оказалась навсегда связана с Россией.

И еще. Незабываемое впечатление. В Токио к тому времени жила замечательная пианистка, выпускница Гнесинки, Ирина Межуева. Она вышла замуж за японского продюссера Юкио Акехи и поселилась в Японии. Мы встретились, и повели они нас в старинный театр Кабуки. Сейчас этого здания больше нет. Нам повезло, мы были в настоящем старом театре.

Шла пьеса о Волшебном Лисе. Это было поразительно. Зная только синопсис, краткое содержание, изложенное в программке по-английски, мы понимали каждый нюанс, благодаря игре актеров.

…Волшебный Лис все время следовал за тем, в чьих руках находился волшебный барабан. Не мог иначе, потому что барабан был сделан из кожи его родителей!

Сильнейший образ! Слезы лились из моих глаз, как я ни старалась сдержаться. Я, как тот Волшебный Лис, испытывала сильную боль от разлуки с родиной, мне требовалось прилетать домой постоянно. И эта метафора хорошо объясняла, почему…

Девяностые

Годы надежды. Так я называю 90-е. Надежда может обмануть, надежда — часто удел наивных и недальновидных, а также отчаянных и доверчивых… Надежда умирает последней, это правда. И хорошо, что она у нас была. Она давала силы. А еще — это годы нашего позора. Увы. Даже себе в этом признаваться не хочется, но по ощущениям это так.

1990-й — первый год без войны. Войска из Афганистана выведены в 1989-м.

1990-й — прекратила существование ГДР, объединившись с ФРГ.

15 августа 1990-го — погиб Виктор Цой.

1990-й — из Конституции СССР исключена статья 6-я о руководящей роли КПСС.

12 июня 1991 года Ельцин избран Президентом РСФСР.

19 августа — 21 августа 1991-го — Путч.

6 ноября 1991-го — Ельцин указом прекращает деятельность КПСС и Компартии РСФСР.

8 декабря 1991-го — создание СНГ.

2 января 1992-го — либерализация цен.

1992–1998 — «Шоковая терапия».

Октябрь 1993-го — разгон Верховного Совета РФ.

1 сентября 1994 года завершен вывод советских войск из Германии. Дирижирование и пение Ельцина.

30 сентября 1994-го — Ельцин проспал Ирландию.

1994–1996 — первая чеченская война.

17 августа 1998-го — дефолт.

1999–2000 — вторая чеченская война.

31 декабря 1999 г. Ельцин ушел в отставку.

2000-е!!!

Здесь и сейчас

Вот и дошли мы до времен, которые «здесь и сейчас». Третье тысячелетие — бурно началось, стремительно продолжается. Мы и не заметили, что стали совсем другими. Нам доступна — сиюсекундно — информация, ради которой раньше пришлось бы днями копаться в библиотечных каталогах. Мы летаем с континента на континент. Мечта о путешествиях перестала быть несбыточной фантазией. Для меня двухтысячные — это время воплощения в жизнь детских грез и время крушения последних иллюзий. Мои дневники полны удивительными событиями — их не рассказать в небольшом разделе этой книги. Поэтому я решила, что выберу лишь несколько эпизодов, которые могут показаться интересными. Итоги подводить не буду: жизнь продолжается, столько всего впереди… И я так люблю смотреть, запоминать, рассказывать…

События начала 2000-го. Рим. Дмитрий Вячеславович Иванов

Двухтысячный год, как и все годы моей новой жизни, был наполнен яркими событиями — с самого первого дня.

Мы встречали 2000-й в отеле Балчуг-Кемпинский. Вид на прекрасно подсвеченный Кремль, Москву-реку, нарядные гости, праздник… Вся наша большая семья собралась, даже Костины родители прилетели из Калифорнии.

Мы с Олюшой отправились в парикмахерскую, и я решила, как когда-то в ранней молодости, выпрямить волосы. Удалось на славу! Теперь я сама себя не узнаю на новогодних фото-2000.

А потом снова — путешествия, перелеты, концерты…

Одно из путешествий запомнилось особо. Мы должны были лететь в Сан-Франциско с пересадкой в Стокгольме. Никогда до этого в Швеции не была, а так мечтала! Но — увы. Только аэропорт — и там не так много времени, чуть больше часа на пересадку. Прибегаем на посадку (багаж наш уже в самолете), а нам говорят, что что-то в электронном билете оформлено неправильно (тогда они только входили в обиход), поэтому посадить в самолет нас не могут. Костя звонит устроителям концерта в Америку, там глубокая ночь… В общем, нас ждали до последней минуты. Увы… Вопрос отложили на сутки. Выкатили из самолета наш багаж и закрыли люки.

Мы остались в аэропорту. Устроители твердо пообещали, что через сутки мы улетим. Они предложили нам поехать из аэропорта в Стокгольм, устроиться в отеле (за их счет). А как? Визы шведской у нас нет (Швеция тогда еще не входила в Шенген).

— Это ничего, — говорят нам сочувствующие работники аэропорта. — Это просто. Вы оставляете паспорта тут в окошке, вам выдают справку о том, где ваши паспорта, а дальше — вперед, в Стокгольм.

А в столице Швеции как раз проходил какой-то многолюдный международный конгресс. Все места в отелях заняты. Бывает же такое! И наконец нам находят немыслимо дорогой отель в предместье Стокгольма — там, говорят, удивительный ландшафт, конюшни, один из лучших ресторанов… И вот мы, вместо того чтобы лететь через океан, оказались в стране, о которой я мечтала, да еще в таком необыкновенном отеле!

Мечты сбываются иногда настолько быстро, что лучше поосторожнее с мечтами.

Мы гуляли и не могли налюбоваться этой красотой. Весна только-только начиналась. Кое-где лежал еще снег, воздух ранней весны кружил голову…

…Впрочем, в Швеции у меня так всегда — ощущение сказки и волшебства, на каждом шагу… Это потом получилось проверить.

На следующий день мы приехали в аэропорт, подошли к окошечку за паспортами. Перед нами стоял швед, собравшийся лететь за границу и забывший, что срок действия его паспорта истек. Ему при нас стали выписывать паспорт! Чудеса!

Прилетели в Калифорнию — там новое чудо. Поместили нас к богатому человеку — любителю музыки. Едем к нему в горы, едем, едем… И вдруг видим надпись: MIR MIRU.

Я говорю:

— Вот смех-то! Прямо по-нашему! Мир миру!

А нам как раз туда.

Приезжаем, нам выделяют отдельный домик, круглый, стены — из стекла, с сауной, кухней, среди сосен, ручьев и камней — красота невероятная.

Хозяева ведут в свой дом — еще красивее: деревянный одноэтажный дом на сваях внутри представляет собой одно огромное помещение. Огромное — это метров 350 как минимум. И в нем все — и кухня, и спальня, и библиотека, и гостиная… И так все устроено, что кажется, что мы попали в какой-то двор чудес.

Спрашиваем у хозяина, что значит надпись на въезде. И оказывается, то и значит: МИР МИРУ! Он был в СССР, увидел где-то этот лозунг и проникся его красотой. Назвал свою землю, как захотел. Так и зарегистрировал.

Ночью под нашими окнами кто-то непрестанно ходил, шаги слышались постоянно, громкие, отчетливые. Тем более что все дорожки были сделаны из досок — звуки получались, как на ксилофоне.

Кто же это мог быть?

Оказалось, ночью туда приходят олени. Они не боятся людей и бродят, где хотят.

После всех наших странствий в апреле вернулись в Италию.

Все-таки должна несколько слов сказать о фортепьянном фонде, благодаря которому мы очутились в Грианте, на озере Комо. Один очень богатый немецкий любитель фортепианного искусства по фамилии Ливен купил в Грианте дивной красоты виллу с прекрасным садом, завез в нее рояли (в довольно большом количестве), чтобы туда могли приезжать молодые пианисты, уже получившие известность в мире и участвовавшие в

мастер-классах, которые вели лучшие фортепьянные профессора со всего мира.

Мне посчастливилось общаться с Карлом Ульрихом Шнабелем, замечательным пианистом и педагогом, сыном Артура Шнабеля. Он родился в 1909 году. Когда мы впервые его увидели, ему было под девяносто. И он постоянно работал, упражнялся, давал концерты (в дуэте). Он говорил, что ему не хватает времени: он столько еще должен выучить! Шнабель обладал блестящим чувством юмора и смеялся совсем как мальчишка. Однажды мы все поехали на моторной лодке в Белладжио, где он играл концерт. На обратном пути, выходя по шатким мосткам из лодки на берег, он весело объявил:

— У нас есть шанс свалиться в воду!

Эти слова стали потом у нас дома поговоркой, если речь шла о какой-то опасности.

Умер Шнабель в возрасте 92 лет, в 2001 году.

Очень самобытной была знаменитая исполнительница Баха Розалин Тюрек (1914–2003). Впрочем, не самобытных профессоров там не было.

Преподавал там Леон Фляйшер, Фу-Тсонг и многие другие.

Молодые музыканты приглашались жить на всем готовом: их обеспечивали жильем и питанием. Не говоря уж об уроках великих мастеров и возможности ежедневных занятий на прекрасных инструментах в самых благоприятных условиях.

До нашего еще приезда разрешалось даже бесплатно звонить по телефону в любую часть света. Благотворитель не учел, что не все приезжающие ученики воспитаны в уважении к чужим средствам. Некоторые наши соотечественники звонили домой и говорили по телефону часами! А потом на виллу приходили миллионные (если считать в итальянских лирах) счета. Так что эту опцию пришлось отменить.

Мы сразу сняли квартиру рядом с виллой, но там зимой было невыносимо холодно. Вообще я нигде не испытывала такого мучительного чувства холода, как в теплой, по нашим представлениям, Италии. Зимой у озера было очень влажно и ветрено, так что даже при плюсовой температуре (плюс 4–5 градусов) зуб на зуб не попадал. А отопление стоило очень дорого.

Потом мы переехали в другую квартиру, с дивным видом на озеро, Белладжио, горы. К тому же там было потеплее. Работало газовое отопление (которое мы всячески экономили), и к тому же имелся камин.

В Москве в те времена заграница (практически любая) воспринималась как райские кущи, где деньги падают на людей

золотым дождем. Короче: за границей — «все есть». Приезжая в Москву, я слышала уверенные вопросы: «Какой дом вы там купили? Есть ли при доме сад?» и тому подобное. Когда отвечала, что мы снимаем квартиру, насмешливое недоверие отражалось во всезнающих глазах собеседников — я, по их мнению, прибеднялась.

А жили мы счастливо! В таких красивых местах, под синим небом Италии… Сбывшаяся мечта, о чем тут говорить. Нам хватало на еду, на квартиру, на поездки. Что еще надо людям? Мы могли сесть и поехать на поезде в Венецию — разве не сказка? Или — в Падую, в Верону. Потом, когда купили машину, объездили всю Италию. Там ведь каждый маленький городок, каждая деревенька — история мировой культуры.

Итак, апрель 2000 года. В Москве, в гостях у Азы Алибековны мы говорили о готовящейся в Доме Лосева конференции, посвященной творчеству одного из идейных вдохновителей серебряного века поэта Вячеслава Иванова. Меня тоже пригласили участвовать в конференции, которую планировали провести в мае 2000 года. И Аза Алибековна сказала, что, раз мы живем в Италии, было бы интересно съездить в Рим, к Дмитрию Вячеславовичу Иванову, сыну поэта, который хранит архивы семьи и может много рассказать. Хорошо бы сделать фото тех мест в Риме, где жил выдающийся поэт-символист. Мне вручили номер телефона Дмитрия Вячеславовича и его римский адрес.

Прилетев в Милан, я позвонила и договорилась о встрече. Несколько раньше я прочитала книгу воспоминаний дочери Вячеслава Иванова Лидии, которая всю жизнь жила с отцом. Она и скончалась в 1985 году в той же квартире в Риме, где в 1949 году умер ее отец.

Четырнадцатого апреля ранним утром мы отправились на машине в Рим. Путь нам предстоял далекий.

Когда мы планировали нашу поездку, хотели заказать отель в Риме, даже желательно в районе Авентина (один из семи римских холмов, на которых лежит город), где жил Дмитрий Вячеславович.

— И не думайте, — сказали нам наши подруги из турагентства в Тремеццо, у которых мы обычно и бронировали все билеты и отели (Интернет тогда в Италии находился в зачаточном состоянии). — В Риме приличный отель обойдется вам в круглую сумму! Зачем?

И они предложили соединить приятное с полезным. А именно: остановиться в городке Фраскати в 21 км от Рима. Сообщение с Римом замечательное: можно по железной дороге за

20 минут доехать, можно на автобусе. Зато! Фраскати славится своим белым вином и архитектурными памятниками.

Когда-то на месте этого городка находилась античная вилла, а неподалеку возвышался один из важнейших городов древнего Лация — Тускулум. Он располагался в Альбанских горах, на вершине потухшего вулкана, на высоте около 700 метров над уровнем моря. Из города открывался прекрасный вид на Рим. Но в начале XII века Тускулум был разрушен папством, жители перебрались во Фраскати. В эпоху Возрождения во Фраскати появилось много вилл и загородных резиденций родни понтификов.

Фраскати очень пострадал во время Второй мировой войны. Его избрал местом своей ставки немецкий фельдмаршал Альберт Кессельринг, и союзные войска в связи с этим жестоко бомбили город. Много прекрасных памятников архитектуры было уничтожено.

К счастью, Кафедральный Собор Св. Петра, построенный в 16–17 веках, не пострадал.

Итак, нам забронировали номер в самом лучшем отеле Фраскати.

Мы поехали с нашего севера в сторону южную.

Городок оказался прекрасным, отель тоже. А вино, которое мы попробовали за ужином, выше всяких похвал.

На следующее утро, в субботу 15 апреля мы поехали на поезде в Рим. От вокзала взяли такси. И вот мы на

улице Эрколе Роза, у дома номер восемь. Снизу надо позвонить. И у Дмитрия Вячеславовича два звонка, два почтовых ящика. Один — с фамилией Иванов, а другой — с фамилией Neuvecelle.

Дмитрий Вячеславович родился в маленьком городке Нёвесель на французской стороне Женевского озера. Он был журналистом, писателем и публиковался под псевдонимом Жан Нёвесель (Jean Neuvecelle). Он активно участвовал во французском Сопротивлении, был удостоен ордена Почетного легиона.

На имя Иванов писали Дмитрию Вячеславовичу друзья и исследователи творчества его отца, а на имя Нёвесель приходила почта, связанная с его журналистской деятельностью.

Надо сказать несколько слов об истории рождения Дмитрия Вячеславовича.

Вячеслав Иванов был женат на Лидии Дмитриевне

Зиновьевой-Аннибал (1866–1907).

С Ивановым они познакомились в Риме. В тот момент она ушла от мужа (К. С. Шварсалона) и с тремя детьми уехала за границу.

Вместе с Вячеславом Ивановым Лидия Дмитриевна организовала в Петербурге литературный салон «На башне» (салон назван был так, потому что располагался в круглом выступе дома на Таврической, 25).

У Вячеслава Иванова и Лидии Зиновьевой-Аннибал родилась дочь Лидия.

Зиновьева-Аннибал скончалась в 1907 году. А в 1910-м, через три года после смерти жены, Вячеслав Иванов женился на Вере Шварсалон, дочери Зиновьевой-Аннибал от первого брака.

Лидии Вячеславовне Ивановой, дочери поэта, было в ту пору 16 лет. Отец объяснил ей ситуацию. Он сказал, что брак этот — не измена памяти матери. Но если ей трудно это принять, ей помогут начать самостоятельную жизнь, как она того захочет. Лидия была в смятении, но потом сказала: «Я с вами».

Так — на всю оставшуюся жизнь — Лидия осталась рядом с отцом. Они вместе уехали во Францию, где у Веры и родился сын Дмитрий.

Таким образом, Лидия приходилась Дмитрию и сестрой (по отцу), и тетей (так как была сестрой его матери).

Дмитрий Вячеславович называл Лидию сестрой и с большой любовью и нежностью говорил о ней.

Семья поэта, вернувшись в Россию, претерпела много мытарств после революции. В 1920 году Вера скончалась в возрасте 30 лет.

Вячеславу Иванову с детьми удалось выехать за границу. Они поселились в Риме. Первое их пристанище находилось на улице Монте Тарпео (via di Monte Tarpeo).

Мы встретились с Дмитрием Вячеславовичем так, будто были знакомы много лет. Его манеры, обходительность, доброжелательность производили завораживающее впечатление. И дивный, прекрасный, чистый русский язык. Так, наверное, говорил его отец. Это огромное наслаждение — беседовать с человеком на таком языке.

Мы сразу обсудили наши планы. Я, конечно, подготовилась к поездке и даже взяла с собой книгу воспоминаний Лидии Ивановой, которую уже знала почти наизусть. Я просила Дмитрия Вячеславовича показать мне улицу Монте Тарпео, «журчливый садик», о котором поэт писал в своем стихотворении…

Дмитрий Вячеславович уже имел свой план.

Сначала мы пошли в соседнюю тратторию, где он бывал каждый день, где его все знали и тепло приветствовали.

— Мы не должны отправляться в путь голодными, — сказал Дмитрий Вячеславович.

После обеда мы отправились по Ивановским местам, а Костя остался в квартире заниматься (он не может обойтись без привычных ежедневных занятий, что бы ни происходило). И занимался он на рояле Лидии Вячеславовны. Она была музыкантом, композитором, училась в Риме у знаменитого Респиги.

Надо еще сказать кое-что о квартире на Эрколе Роза. Когда В. Иванов переселился на Авентин, они жили в доме по адресу: вия Леон Баттиста Альберти, 25. Там и после смерти поэта в 1949 году все сохранялось, как при его жизни. В 1985 году в той же квартире умирает Лидия Вячеславовна Иванова. И к этому времени хозяева дома решили его продать. А новые хозяева задумали делать полный ремонт с перестройкой.

— Делать было нечего, — сказал Дмитрий Вячеславович, — пришлось переезжать.

На соседней улице нашлась подходящая квартира, в 1986 году переезд состоялся. Дмитрий Вячеславович постарался все обставить так, как было в предыдущей квартире. С этого времени он стал хранителем архива своего отца. Архив помещался в отдельной комнате, которая была оборудована специальными стеллажами.

Дмитрий Вячеславович показал мне дом, в котором они жили всей семьей. На балконе их бывшей квартиры сушилось огромное количество белья, как это принято в Италии. Я сделала несколько снимков.

Итак, мы пошли сначала на кладбище, где был похоронен Вячеслав Иванов.

Il Cimitero acatolico di Rom (Римское некатолическое кладбище) расположено у подножия Авентинского холма, у ворот Св. Павла, составляющих часть древней стены Аврелиана.

Мы неспешно шли вдоль древней стены. И я спрашивала Дмитрия Вячеславовича о том, что меня очень в тот момент интересовало. Хозяйка нашего дома в Гранте владела книжным магазином в городке неподалеку. И в доме, на чердаке хранилось очень много старых книг. Я, естественно, спросив у нее разрешения, самозабвенно копалась в этих книгах и обнаружила много изданий, посвященных Муссолини. Я сделала для себя массу открытий. Оказалось, он был не только носителем вселенского зла. Было время, когда он буквально спас свой народ

от нищеты. Неужели это правда? Неужели это так и было?

Вот об этом я и спросила Дмитрия Вячеславовича как очевидца тех времен. И он мне абсолютно откровенно и честно рассказал о больших достижениях Муссолини в 20–30-е годы.

И сейчас вижу эту картину: мы идем по улице, залитой апрельским солнцем, слева от нас древняя стена, Дмитрий Вячеславович очень четко излагает деяния дуче…

Да, Муссолини почти уничтожил безработицу, осушил Понтийские болота, на землях которых возникли тысячи новых ферм и несколько городов. И все это — результат осушения болот! Он обеспечил рабочих комфортным жильем, при нем прекрасно работал общественный транспорт…

Потом я узнала про призыв «Золото для родины». Люди в массовом порядке ради возрождения экономики Италии жертвовали свои золотые украшения, а взамен им вручали стальные браслеты с надписью «Золото для родины». Потом собранные украшения переплавили в слитки. Их направили в банки.

— Народ боготворил Муссолини. Беды начались, когда он связался с Гитлером, — сказал Дмитрий Вячеславович.

Мы подошли к воротам кладбища. Я сфотографировала своего спутника. (Потом, три с небольшим года спустя, в июне 2003-го, это фото появится в газете рядом с некрологом Д. В. Иванова.)

…На кладбище похоронено много русских. Тут и великий художник Карл Брюллов, и дочь поэта Петра Вяземского (друга Пушкина), юная Прасковья Вяземская, скончавшаяся в Риме от чахотки. Тут и дочь Л. Н. Толстого — Татьяна Львовна Сухотина-Толстая, и ее дочь…

Мы поклонились могиле поэта.

Теперь путь наш лежал на улицу Монте Тарпео.

Остановили такси и поехали.

Раз уж я взялась за такое подробное изложение событий того долгого и незабываемого дня в Риме, хочу привести рассказ о посещении поэта в другие времена.

Так много сумела сказать Зинаида Гиппиус в короткой заметке «Поэт и Тарпейская скала» о посещении в Риме осенью 1937 года Вячеслава Иванова:

(…) Но вот октябрь, и мы опять в Риме. Ненадолго, увы: через несколько дней — Париж, низкое небо, дождь…

Сегодня последнее воскресенье. Пойдем в гости к Вяч. Иванову.

В Риме, по сравнению с Парижем, все «рукой подать». Далеко ли от нас, от виллы Боргезе, до Тарпейской скалы? Мы идем пешком.

Вот и волшебная лестница Капитолия. Волчицы не видно. Она спит. Да ее, кажется, из левого густого садика перевели в правый. Там тоже пещера. Марк Аврелий на предвечернем небе. Какое величие в его спокойствии! В одном этом жесте руки — Рах, мир…

Обогнув М. Аврелия, мы идем по узкой улочке, меж старых зданий. Мы уже на знаменитой скале, сейчас, направо, дверь В. Ив-ва, но на маленькой открытой площадке не можем не остановиться: под нами Форум, далее — Колизей, и все это в оранжевом пылании заката. Голос вечернего колокола — Ave Maria…

С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ни одной ступени. Но старые дома на Тарпейской скале — с неожиданностями. Если, через переднюю и крошечную столовую, пройти в стеклянную дверь на балкончик, там — провал; и длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она ведет в темный густой садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин — поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном постоянной своей сотруднице, помощнице в научных работах. (Она же, эта изумительная женщина, и «гений семьи»: с В. И. живет его милая, тихоликая дочь, музыкантша, профессор римской консерватории, и сын, студент.) Вот эти стихи:

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковница и розы
И в гроздиях тяжелых лозы.
Над ним, меж книг, единый сон
Двух, сливших за рекой времен,
Две памяти молитв созвучных,
Двух спутников, двух неразлучных.

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим.
А струйки, в зарослях играя,
Журчат свой сон земного рая.

Много ль в Париже людей, хорошо помнящих знаменитую петербургскую «башню» на Таврической и ее хозяина. Теперь все изменилось. Вместо «башни» — Тарпейская скала и «нагие мощи»

Рима. Вместо шумной толпы новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной ряске или итальянский ученый. Иные удостаиваются «а партэ» в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина… Все изменилось вокруг, — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на греческого мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — обстоятельный отклик на все.

Мы как-то отвыкли от встреч с людьми настоящей старой культуры. А это большое отдохновение. Вяч. Иванов, конечно, и «кладезь учености», но не в том дело, а в том, что заранее знаешь: всякий вопрос, в любой области, он поймет, с ним можно говорить решительно обо всем, что кажется значительным. Как сам он на данный вопрос отвечает — уже не важно: мы часто не соглашаемся, спорим, но спора не длим: взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен, споры же самая бесполезная вещь на свете.

Но особенно воскресала «башня», когда речь заходила о поэзии, о стихах. Мы привезли в Тарпейское уединенье несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченнейший их разбор, давший повод к длинным разговорам о стихах, о стихосложении вообще, — как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад!

Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе до сих пор живет «эстет» начала века. И он особенно любит в себе «эстета». (…)

Так или иначе, живущие на Тарпейской скале счастливее многих из нас. У них и садик, «земной рай», и музыка, и книги, и научный труд, и стихи, и Аве Мариа из римского Форума…

Как мне хотелось пройти по их следам! Увидеть Рим их глазами!

И все это сбылось, все исполнилось. Надо только уточнить, что Тарпейская скала, возвышавшаяся с западной стороны Капитолийского холма, с которой сбрасывали в Древнем Риме осужденных на смерть преступников, не сохранилась. Есть улица Монте Тарпео, которая ведет от Капитолия к Форуму.

Я фотографировала «нагие мощи» Рима. Дмитрий Вячеславович рассказывал об отце, о сестре.

Наконец мы, взяв такси, вернулись на улицу Эрколе Роза.

Дмитрий Вячеславович показал мне архив отца. Я могла

прикоснуться к рукописным страницам. Сделала несколько снимков.

И вот настало время прощаться. Прощались мы ненадолго: в конце мая Дмитрий Вячеславович собирался прилететь в Москву на конференцию, посвященную жизни и творчеству его отца. На прощанье Дмитрий Вячеславович подарил мне том Брюссельского собрания сочинений Вячеслава Иванова — бесценный подарок — со своей подписью. Он обещал привести мне факсимильные копии рукописей отца. И сдержал свое обещание, передал копии Азе Алибековне. Теперь они хранятся в Доме Лосева.

…А мы с Костей отправились на площадь Св. Петра. На этой гигантской площади собрались толпы верующих, чтобы послушать речь понтифика перед завтрашним праздником — Входом Господним в Иерусалим. В тот год по периметру площади стояли огромные кадки с оливами, вывезенными из Пулии. Дело в том, что у нас последнее воскресенье перед Пасхой называют Вербным воскресеньем, а вообще-то оно — Пальмовое. Не вербами, а листьями пальм встречал народ Христа, когда тот входил в Иерусалим. Но у каждого народа — свои символы. В Италии в этот день несут из храма ветви олив.

Понтифик (Иоанн Павел II) был болен. Но речь свою произнес. Он выразил надежду, что в третьем тысячелетии на земле воцарится мир.

Поздно ночью вернулись мы во Фраскати.

А утром — Пальмовое воскресенье! Мы отправились в прекрасный Кафедральный Собор Святого Петра. Всем раздавали ветви олив, нам тоже досталось несколько веточек. Они до сих пор хранятся у меня в московской квартире.

Через две недели, на нашу Пасху, мы были уже в Москве.

Я подготовила фотовыставку «Рим Вячеслава Иванова» с подробными описаниями каждой фотографии. Все фото и материалы выставки остались в Доме Лосева.

Выступила я и на конференции. Доклад мой назывался «Истинно сущее бытие в трудах Вячеслава Иванова». Доклад этот вошел в книгу «Вячеслав Иванов, творчество и судьба: к 135-летию со дня рождения», изданную издательством «Наука» в 2002 году. На обложке — вид на Колизей со стороны улицы Монте Тарпео — моя фотография. В книге — тоже мои фото о нашей римской поездке.

В заключение конференции, 27 мая, все участники собрались в музее Рериха. Костя играл Поэтические и религиозные гармонии Листа — все целиком! Гигантский труд!

Мы попрощались с Дмитрием Вячеславовичем. Он звал нас снова в Рим. Мы обещали… Но — не пришлось. Больше мы не виделись.

«Нитка»

Все время я вела дневники. Во всех путешествиях, в самолете, на репетиции Костиных концертов — я писала, писала. Или рассказы, или повести, или дневники. Настало время, о котором я и мечтать не могла.

И вот в 2000-м году, в июле, когда мы находились на музыкальном фестивале в Вильямстауне (США), я исписала целую общую тетрадь с размышлениями о прошлой жизни.

Приведу кусочек своих тогдашних размышлений:

«22.07.00.

Спрашивается — чего я терпела так долго? Зачем мне это было надо?

Во-первых, не хотелось быть ПЛОХОЙ. (Программа, заложенная в детстве).

Во-вторых, мы были родными, у нас была семья, и мне во что бы то ни стало хотелось ее сохранить.

В-третьих, у нас были дети — трое. Мне, выросшей без родителей, казалось необходимым, чтобы у моих детей были отец и мать. То, чего мне так не хватало.

В-четвертых, я безумно боялась одиночества. Я ведь вышла замуж рано. Я никогда не была предоставлена самой себе. Никогда, как мне казалось, полностью за себя не отвечала. Следовательно, не была полноценной личностью. Образование, количество книжных знаний — не в счет. Умения жить самой по себе — вот чего у меня совсем не было.

В основе характера лежала вечная нужда в опоре.

Когда мои дети учились ходить, наступал такой момент, что только страх, опаска, мешали им идти самостоятельно. Хоть за что-то надо было держаться. За палец. За веревочку.

В конце концов я давала малышу нитку. Чем нитка могла помочь? Но с ниткой в кулачке мои младенцы топали бодро и бесстрашно. Без нитки — стоп.

Так и мне. Нитка была нужна. Иллюзия безопасности».

«Я позвоню господину Шостаковичу…»

Во время путешествий всегда происходят всякие неожиданности. Ими-то (в том числе) путешествия и интересны.

Однажды Костя летел с концертами — буквально — вокруг земного шара. Сыграл в Америке, и, наконец, ему предстояло лететь в Японию на фестиваль памяти Шостаковича, который устраивал Мстислав Ростропович.

Он сидел в аэропорту и ждал вылета самолета. Сидел неподалеку от гейта.

Но на самолет не успел, так как посадку не объявили: просто пропустили всех, кто стоял рядом, и все.

Костя прибежал к месту посадки, когда гейт уже был закрыт.

Он стал возмущаться. Как это — посадку не объявили?

Это действительно была вина работников аэропорта. Они вовсю извинялись, очень сопереживали. (Все происходило в золотые спокойные времена до теракта 11 сентября 2001 года.)

Наконец, стали выбирать подходящий рейс, которым Костя мог бы улететь в Токио.

Но по времени получалось, что он опаздывал на репетицию с оркестром.

Он начал возмущаться:

— Вы понимаете, что я лечу на фестиваль Шостаковича! У меня репетиция с Ростроповичем — я должен успеть на нее!

Огорченная девушка предложила принять удар на себя:

— Простите! Простите! Я очень сожалею! Давайте я сама позвоню господину Шостаковичу и скажу, что это я виновата!

Рейс они все-таки нашли. Он не опоздал на репетицию… Шостаковичу звонить не пришлось. Слава Богу!

11 сентября 2001-го. Сент-Винсент госпиталь. Нью-Йорк

В сентябре 2001 года мы находились в Нью-Йорке, на Манхэттене. Чудесные дни стояли: солнечные, ясные, теплые. Остановились мы у нашей подруги, той самой американской писательницы, которая мне потом поведала заключительную часть истории о Горации.

Приехали мы из аэропорта достаточно поздно (летели с другого конца Америки). Пока умылись, переоделись… Во многих городах мира в поздний час поесть негде. Мы спустились в роскошный мраморный холл и спросили привратника, веселого и приветливого афроамериканца, можем ли мы еще где-то поужинать.

— Ребята! Вы в Нью-Йорке! Здесь можно все!

…И так все выглядело в то время легко и празднично!

В ночь на 9 сентября мне приснился сон. Сны мне снятся очень часто, в основном сюжетные. Я много рассказов и даже романов написала благодаря снам: главное — записать сразу, как проснешься, иначе обижаются и улетают навсегда. Потом и не вспомнишь. Но тот, приснившийся в Нью-Йорке, не годился для рассказа. Он был непростой, один из тех, что и забыть-то не получится.

…Я входила в нашу «квартиру 60-а» на Девичьем поле. У окна, как и прежде, стояла кровать. Танюся, молчаливая, строгая, застилала ее белоснежными, твердыми от крахмала простынями. Меня почему-то испугал холод и яркий белый цвет простыней. Но я радовалась, что вижу Танюсю.

Слева, там, где у нас стоял наш обеденно-письменный стол, сейчас находилась узкая раскладушка. Ее застилала мать — такими же холодными белейшими простынями. Она тоже не произносила ни слова. Вдруг Танюся куда-то отошла, и мать быстро легла на ее постель.

— Зачем же ты? Это же Танюсина кровать! Она сейчас вернется…

Мать не отвечала, но смотрела выразительно, словно стараясь поселить в моем сердце тревогу.

И все. Сон кончился. Я проснулась. Но почему-то тревога осталась на сердце. Я поняла так: они обе (это был единственный раз, когда мне, взрослой, приснилась мама), так вот — они обе были посланы предупредить меня о каком-то грозящем событии. Им не разрешено было говорить. Они могли только показать. Вот

они и застилали — мертвенной белизной место сна…

Я рассказала мужу об этом сне, попросила запомнить:

— Скоро что-то случится. Рассказываю заранее, чтобы потом никто не говорил, что я выдумала это потом. Запомни, что я сейчас рассказала.

Он запомнил.

На следующий день мы улетали из Нью-Йорка.

Сели в такси, поехали. Таксист, выходец из какой-то ближневосточной страны, все пытался рассуждать о политике. Запомнила его слова:

— Им война нужна! Они войны хотят! Ну — они ее получат, что тогда?

Странно… Смог эмигрировать в страну своей мечты, имел работу, а теперь зло его переполняло настолько, что первым встречным выплескивал его, не стесняясь.

— Оглянись, посмотри, какая красота.

За нами высились башни-близнецы, сияющие в розоватом солнечном освещении. Это было очень красиво и производило сильнейшее впечатление.

До свиданья, Нью-Йорк!

Мы прощались ненадолго: меньше, чем через месяц нам предстояло сюда вернуться.

…Прилетели в Москву, и я отправилась на Новый Арбат, в Институт красоты.

Выхожу после массажа в холл и вижу, как охранники смотрят на огромный экран телевизора, где показывают, как мне показалось, очередной дурацкий американский боевик: самолет таранит одну из башен Всемирного торгового центра.

Как же надоели эти низкопробные фильмы! И никуда от них не деться, только их и показывают.

…Жаль, что это был не фильм!

Это был все повторяющийся и повторяющийся в тот день репортаж о реальных событиях.

Я вообще боюсь этого дня — 11 сентября. Это день Усекновения Главы Иоанна Предтечи. В православии — день строгого поста.

Черный сентябрь в Чили 1973-го тоже начался 11 сентября…

И вот сейчас Нью-Йорк…

И сразу вспомнился мой сон: мои приходили меня предупреждать об опасности!

…Много непонятного и странного в этих событиях. Именно после них начались широкомасштабные войны США с терроризмом. Но тут я от комментариев воздерживаюсь, хотя

собственное мнение на этот счет у меня есть.

…Через десять дней после атаки на Башни-близнецы мы должны были лететь в Гонконг, оттуда — в Нью-Йорк (предстояло большое турне по Америке), оттуда — в Японию. Это было время, когда люди в массовом порядке по всему миру отказывались от своих авиабилетов: летать панически боялись. Из-за этого разорялись целые авиакомпании.

Сейчас забавно вспоминать: мы летали в пустых самолетах. Иногда еще 3–4 храбреца на весь огромный лайнер — и все. Стюардессы готовы были кормить нас ежеминутно. Они ценили наш героизм.

Улетали мы из доброй улыбчивой страны, а вернулись — и не узнали ее! Вот этого до сих пор жаль: этой неповторимой американской радушной атмосферы, этих улыбок, этих дружеских слов, которые можно было услышать от каждого… Все это исчезло в одночасье. И трудно было привыкать к мрачности и порой грубости, крикам работников аэропортов, бесцеремонно досматривающих багаж. Много абсурдного вошло в жизнь. Не все аэропорты, оказывается, были снабжены нужной техникой. И вот проводились ручные обыски. Но не у всех! Выборочно! Мы, с нашей неамериканской фамилией, каждый раз становились объектами тотальных шмонов…

Но тогда, в октябрьском Нью-Йорке, мы еще не ощутили всей глобальности наступивших перемен. В первый же день мы решили пойти к развалинам башен. Руины до сих пор дымились. Настроение у людей было подавленное. И вот идем мы пешком по направлению к башням. И сердце мое забилось быстро-быстро. Может, от грусти, а может — от недавнего долгого перелета. Я и говорю:

— Вот бы сейчас накапать тридцать капель валокордина… Продышалась бы.

Муж у меня — человек деятельный. Он не любит просто так разговоры разговаривать. Он любит, чтобы «сказано — сделано».

— Пойдем в аптеку, купим капли!

А я знаю, что никаких таких капель на западе не купишь. Болит сердце? Ложись уже сразу в больницу, лечись… Каплями не отделаешься.

— Не будет там капель, пойдем, я сама продышусь, — возражаю.

— Но что-то должно там продаваться на такие случаи? — не соглашается со мной Костя.

Тут и аптека подвернулась. Он заходит, я, естественно, за

ним.

В аптеке только один покупатель: красивая светловолосая девушка с белой голубоглазой собакой. Картины с них можно писать. И в кино снимать — это точно. Девушка покупает витамины. Расплатившись, не уходит, слышит вопрос мужа про сердечные капли.

Капель, естественно, никаких нет, не было и не будет.

— Ребята, — обращается к нам девушка очень тревожно и очень сочувственно. — Ребята, дело серьезное, с сердцем шутки плохи. Вам в госпиталь срочно надо.

Я все прекрасно понимаю про эту девушку. У нее налицо все симптомы серьезного посттравматического состояния. Мы тоже в августе 1991 долго были настороже и бросались на помощь ближнему при первом подозрении, что тому плохо. Нью-йоркцы только что пережили подобную страшную травму. Все происходящее видят они сквозь призму катастрофы.

— Дело серьезное, — повторяет девушка.

— У меня все в порядке, — твержу я.

Дуэт глухих.

Каждый слышит только себя. Муж же внимательно прислушивается к словам заботливой местной жительницы.

— Надо в госпиталь. Срочно. Пойдемте, я отведу вас в Сент-Винсент госпиталь, это тут, рядом.

Я талдычу свое:

— Мне хорошо, я в порядке.

Похоже, это никого не интересует. Муж идет за девушкой, поспешает. Человек с больным сердцем и не угнался бы. Но у меня-то все хорошо, я вполне поспеваю за ними, неустанно повторяя, что я — ОК.

Подходим к госпиталю. Это тот самый госпиталь, куда свозили пострадавших 11 сентября. И тут я, у которой на самом деле все в порядке! Стыд-то какой!

— Ребята, дело серьезное, — объясняет наша провожатая охранникам. — У нее проблемы с сердцем, они издалека прилетели.

— Ничего срочного, — встреваю я. — У меня все ОК.

— Нет-нет! Не слушайте ее. Ей надо помочь, — настаивает девушка.

— Я хорошо себя чувствую! — заявляю я.

— Проходите, — велят охранники. — Вам нужно к доктору.

Я вижу, что девушка довольна. Ей явно полегчало. Она даже веселеет на глазах. Помогла очередной жертве!

А мне что делать?

Мы идем внутрь, нас усаживают в очередь, вручают номерок.

Заполняем краткую анкету: фамилия, возраст. Больше ничего.

Вокруг нормальная очередь, как у нас обычно в травмопункте: побитые, окровавленные афроамериканцы, угрюмые — жуть.

— Пойдем, может, отсюда? — спрашиваю я мужа.

— Скоро пойдем, — соглашается он. — Сердце послушают, давление измерят, дадут лекарство — и пойдем.

Это он судит о будущих действиях местных медиков по нашему советско-российскому опыту.

Ведь у нас как? У нас, друзья, великолепно налаженная система скорой помощи. Мы ее ругаем, клянем, вопим, что на западе бы… Ведь ничего не знаем про то, как «на западе бы», а ставим его в пример по любому случаю…

О, наша милая привычная «скорая помощь»! Приезжает врач, фельдшер, быстро измеряют давление, могут даже ЭКГ быстро сделать и тут же, на месте, бесстрашно помогают! Сколько раз на моих глазах врачи «скорой помощи» спасали мою Танюсю при гипертонических кризах! Делали укол, ждали, когда полегчает… И — легчало!

Собственно, что нужно человеку, которому в данный момент плохо? Сначала оказать первую помощь. Потом — исследования, анализы… Но сначала — помочь остаться в живых, если уж на то пошло… Логично, ведь так?

Но мы находились в другом мире, где обитала иная логика, с которой мы пока знакомы не были.

…Примерно через полчаса дошла очередь и до меня. Мы вошли к медсестре в надежде, что она наконец, померив давление, отпустит нас восвояси.

Не тут-то было!

Сначала подробная анкета. Очень подробная. Я заполняю, муж следит.

Ого! Есть даже вопрос, согласна ли я в случае моей смерти отдать свои органы для пересадки!

— Ну и пусть, — говорю я, уже совсем покорившись судьбе. — Пусть забирают мои органы. Мне уже все равно.

— Еще чего! — возмущается муж, забирает у меня ручку и ставит жирную галочку в графе «нет».

Я тронута до глубины души! Пожалел мои органы!

Медсестра неодобрительно следит за нашими действиями.

Наконец анкета заполнена.

Ну, может, сейчас помогут?

На всякий случай говорю медсестре:

— Вообще-то я прекрасно себя чувствую. Это был такой момент. Один неудачный момент. И все.

Она не отвечает. Пропускает нас в другое помещение — вроде больничная палата по виду. В центре палаты — большой стол. Для врача, видимо.

В палате много кроватей. Все они отгорожены друг от друга ситцевыми занавесками. Судя по стонам из-за занавесок, лежат и мужчины, и женщины, все вместе. У каждой кровати железная тумба, на ней аппаратура, какую я видела в свое время в реанимации.

Сейчас точно узнаю свое давление — и мы пойдем!

Заходит необычайно мрачная медсестра. Опять же — афроамериканка. (Там медсестры — все вот эти самые…)

Велит раздеваться, вещи отдать мужу, самой облачиться в больничную рубашку. Рубашка, конечно, чистая, но на ней какие-то застарелые пятна: желтые, бурые… А мне еще рубашки в нашем роддоме не нравились! Это я сильно была не права! Все познается в сравнении.

Я обращаюсь к мужу:

— Слушай, это затянется на весь день! Еще хорошо, если на день. Зачем все это?

Он тоже, похоже, не рад текущим событиям.

— Давай, — говорит, — она сейчас тебе давление измерит, сердце послушает — и пойдем…

— Ну, давай.

Я раздеваюсь. Вещи свои складываю в черный мешок для мусора — эту тару вручила мужу медсестра. Облачаюсь в ветхое больничное рубище. Как мало человеку надо, чтобы почувствовать себя тварью дрожащей!..

Ложусь.

Медсестра прикрепляет ко мне кучу проводков. На мониторе, как в кино, появляется кривая…

Что теперь?

Вообще-то за это время настоящий больной уже спокойно отошел бы в мир иной. (В кино все не так, все бегут, толпой, за пациентом на каталке… Но кино — это кино… Сценарист, может, ни разу в больницу и не попадал. Жизнь — значительно многообразней.)

Лежу.

Близится полдень. Наступает время ланча. Пациентам разносят на подносиках еду: йогурты в пластиковых коробочках, хлеб… Один дедушка, похоже, отошел в мир иной: ему принесли подносик и унесли. И накрыли дедушку простынкой.

— Чего мы ждем? — начинаю тосковать я.

— Чего мы ждем? — спрашивает муж у медсестры.

— Анализ крови надо сделать, — отвечает та мрачно.

— Когда? — интересуется муж.

— В пять часов.

— Это мы должны тут ждать помощи еще пять часов?

— Тогда придет врач, посмотрит и примет решение…

Медсестра гордо удаляется. Муж подходит к столу врача. На столе — много-много часов. И к каждому циферблатику идет проводочек. То есть — каждая кровать проводочком соединена с часиками. И на часиках отстукивается время, проведенное пациентом на кровати. Им тут просто нет смысла спешить!

Медсестра возвращается. Мы ей очень не нравимся. Она всем своим видом дает это понять и почувствовать.

— Забирайте мешок, а она пусть остается, — велит медсестра. — После пяти приходите, что врач решит, узнаете.

— Нет, мы сейчас вместе уйдем, — заявляет ей муж. — Отсоедините от моей жены проводки, и мы уйдем.

— Я не буду этого делать, — отказывается медсестра.

— Тогда я сам это сделаю.

Муж отрывает от меня резиновые пластинки. Я тоже активно принимаюсь за дело.

Медсестра смотрит на нас испепеляющим взором, но на свободу мою не посягает.

Я быстро одеваюсь, и мы уходим!

Мне хорошо! Мне очень хорошо!

Это ничего, что никакой помощи так и не оказали. Зато я на свободе! Всего два часа потратили, а какой опыт приобрели! Цены нет.

Только вот пластиковый браслет остался на руке с надписью: Сент-Винсент Госпиталь, Галина Лифшиц. И от него никак не избавиться, так и хожу с ним по городу весь день, как беглый каторжник. Только в отеле ножницами разрезаю и прячу в дневник. На память о скорой помощи.

«Фабрика звезд»

— Скажите честно, сколько это стоило? — спрашивали меня знакомые и незнакомые люди, увидев моего сына на экранах ТВ.

А совсем недавно моя дорогая подружка Танечка спросила:

— Галенька, скажи, неужели они правда так и жили там, как это по телику показывали? И не выходили никуда, и домой не ездили?

«Фабрика звезд» сейчас программа привычная, немножко даже рутинная. И о том, что там происходит сейчас, я не знаю ровным счетом ничего. А вот о первой «Фабрике» кое-что расскажу. Совсем немного, так как я не участник, а всего лишь очень заинтересованный зритель. Хотя… Кое-какую тайну открою, поскольку она меня непосредственно коснулась.

И сразу — ответ на первый вопрос: родителям и самим участниками это не стоило ничего. Хотя проект этот очень и очень дорогостоящий. И, затевая его в первый раз, Игорь Матвиенко, безусловно, рисковал.

— Мам, меня на кастинг приглашают. Матвиенко собирается проект делать на Первом канале. Ну, что-то вроде «За стеклом», — сообщил мне Паша.

Я ужаснулась.

Передача «За стеклом» вызывала у меня отвращение. Не понимала я, в чем ее смысл. И никаких хороших чувств не рождал вид недалеких парней и девчат, тусующихся перед камерами.

— Не волнуйся, это совсем другое. У Игоря хороший вкус, он человек солидный, приличный. К тому же я еще туда не попал.

— Ты там будешь три месяца сидеть, как в зоопарке?

— Я, если окажусь там, буду заниматься вокалом, песни свои на всю страну исполнять…

Паша с самых своих отроческих лет заявлял нам, что будет петь. Сочинять песни и петь. Именно так и никак иначе. И он сочинял и пел, а я гнала его заниматься делом… К слову, «Я теряю корни» написал он в Италии, когда ему было четырнадцать…

Ну, пусть идет. Раз столько лет нас доставал своей навязчивой идеей, пусть идет, ладно. И я его благословила.

Мы удивлялись, но он прошел все кастинги, один за другим.

Не может быть!

А оказалось — могло!

И вот мы уже в Останкино, первый их пятничный концерт

перед тем, как их отвезут в здание бывшего универсама, оборудованное под новый проект.

В студии совсем мало народу. Родители ребят, кое-какая публика — из тех, кто обычно ходит в массовки всяких передач.

Мы последний раз обнимаемся, прощаемся. Я крещу сына. «Главное — оставайся всегда человеком».

И все. Увезли ребяток.

Мы уже знали правила игры конечно же. Каждую неделю будут кого-то отчислять. То есть: номинировать, а потом отчислять. И мы решили, что если Пашку отчислят в первую неделю, это даже будет очень круто: он попадет на мой день рождения. Потому что потом мы надолго улетали в Японию.

Но его не отчислили, зато дали позвонить, и 22 октября мы улетели в Токио. Я была спокойна. Человек при деле. Ребята все мне там понравились: красивые, юные, талантливые. Я радовалась, что к тому времени вполне дружила с Интернетом: у «Фабрики» был свой сайт, форум. К тому же мы стали переписываться с Пашкиным другом Алешей Добровым, который присылал мне отчеты о том, что видел по телевизору. (Наша переписка с Алешей потом продолжилась на годы — перечитывать одно удовольствие, смешили мы друг друга до слез.)

23 октября весь мир был потрясен известием о теракте в Москве, на Дубровке, когда во время спектакля «Норд-Ост» в зал ворвались вооруженные боевики и взяли в заложники артистов и зрителей. 916 человек.

Теперь все внимание наше было приковано к судьбе этих людей. По несколько раз в день бегала я в бизнес-центр нашего отеля, выходила в Интернет, смотрела новости. 26 октября все было кончено. Не так, как хотелось — при освобождении погибло, по официальным данным, 130 человек, по данным общественной организации «Норд-Ост» — 174 человека.

Естественно, никаких развлекательных программ в ту страшную неделю в эфир не выходило.

Потом все вошло в свою колею.

Как мне хотелось бывать хотя бы на пятничных концертах в Останкино, чтобы издалека видеть сына! Но нас разделяли тысячи километров.

Наконец мы вернулись в Москву.

Я могла посетить очередной концерт. В тот день Паша должен был выступить с песней «Я теряю корни». Первое исполнение.

«Фабрика звезд» к тому времени уже стала популярной. Толпы юных зрительниц ломились в зал, где проходили съемки.

Я увидела Пашу. Он слегка показался из-за кулис и кивнул мне, радуясь, что видит. А потом приставил палец к уху. Я не поняла этот жест. Подумала: он показывает «пистолет у виска», что, мол, волнуется очень. Я улыбнулась, помахала, показала ему: «Я с тобой». Начался концерт. И все шло просто замечательно.

Когда съемки завершились, я собралась уходить, ко мне подошли и попросили остаться. Со мной хотели поговорить. Я даже не встревожилась тогда. Мало ли какие вопросы возникли по ходу дела…

— У Паши перед концертом поднялась температура, — сказали мне. — Выше тридцати восьми. Ему сделали укол. Но он жалуется на ухо. Мы хотим отвезти его в госпиталь.

Да, однажды в Италии у Паши уже был отит. Это опасное заболевание, потому что инфекция может в любой момент перекинуться на мозг.

Я перепугалась.

— Не волнуйтесь, мы просто ставим вас в известность. Он поедет в госпиталь, завтра вы сможете его навестить.

Мне разрешили подойти к сыну. Он весь горел, но был счастлив, что выступление состоялось, что спел он достойно.

Мы обнялись, помолились. Я очень тревожилась, но доверяла тем, кто заботился о ребятах.

Тем не менее — ночь прошла без сна. Рано утром в субботу я отправилась в госпиталь, заехав в свой храм — Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе — и получив благословение у своего духовного отца. Храм находится очень близко от госпиталя, в который отвезли сына.

Меня пропустили на этаж, где он лежал. Я все еще была достаточно спокойна. И тут я увидела, как на коляске выкатывают Пашу без сознания. Он был одет в ту же концертную одежду, что и вчера, на лице — несмытый телевизионный грим.

Вот тут меня охватил настоящий ужас. Голова в такие моменты работает у меня очень быстро. Я сообразила сразу все: и то, что суббота, и что врача еще нет, и что отит подобного рода надо лечить без промедления — счет идет на секунды…

Спасибо дорогому Костеньке! Он тут же купил в аптеке капли с антибиотиками и другие лекарства, которые я его попросила привезти. Через полчаса лекарства были у меня.

Врач пришел и одобрил мои действия. Да, именно эти капли и были нужны, именно этот антибиотик и следовало принимать. Паша оживал на глазах.

Когда сделали анализ, оказалось самое страшное из того, что

можно было ожидать: синегнойная палочка. Эту бактерию очень трудно победить, потому что она устойчива к антибиотикам. Возникает она у людей с пониженным иммунитетом (а ребята жили, естественно, в постоянных стрессах) и при отсутствии хорошей вентиляции помещения. Кондиционеры у них были установлены, но они лишь охлаждали воздух, а вот вентиляции как таковой не было. Потом это наверняка исправили.

В общем, взялись лечить всеми возможными способами. Я спала на соседней койке. Первую ночь Паша горел и бредил. Потом температура спала и оставалась нормальной. Слабость у него была страшная, не мог голову поднять, кормила его с ложечки.

Паше задали вопрос: не хочет ли он покинуть «Фабрику звезд». Он сказал:

— Нет! Хотите номинировать на отчисление — номинируйте. А так — не уйду.

Больше двух дней на поправку дать ему не могли. Условия игры — не будет появляться на экране, будет удален.

Он вернулся. Продолжал пить свои лекарства, капать капли. Но в следующем отчетном концерте участвовал наравне со всеми.

…Мы до последней минуты не знали, кто же победит на первой «Фабрике звезд».

Сидели среди ревущего многотысячного «Олимпийского» и ждали объявления результатов.

И вот Яна Чурикова объявляет: первое место заняла группа «Корни»!

Ура! Мы победили!

Это было правда здорово!

Встречи

Их было много, замечательных встреч с сильными, исключительно одаренными людьми, которым суждено остаться в истории. Жизнь каждого из них — тяжела, полна трагических переживаний, подчас нечеловеческих преодолений и — счастья творчества, побед.

Мощь таких личностей ощущается сразу.

Муж много играл с Ростроповичем. Благодаря этому я имела возможность несколько раз встретиться с этим великим музыкантом, а также с его женой Галиной Павловной Вишневской и дочерью Ольгой.

Первая моя встреча с Ростроповичем и Вишневской состоялась на фестивале в Чикаго. После концерта мы зашли в артистическую к Ростроповичу, чтобы его поздравить. Галина Павловна сидела за столом в роскошном платье, с ожерельем из крупных камней. Королева!

Я так и сказала:

— Вы — королева!

— Да, — сказала Галина Павловна, — я королева. И всегда это знала. И когда жили в нищете и голоде, я знала, что королева.

Мы стали говорить фестивале, о нашей с Костей свадьбе, о том, как добывали у моего мужа разрешение на вывоз сына…

Ростропович тоже подключился к разговору. История получения разрешения очень его порадовала:

— Слушай, стагик, ты — гегой! — сказал он, обращаясь к Косте.

А в заключение нашего разговора Галина Павловна сказала мужу:

— Я рада, что ты женат. И рада, что именно на ней!

Я была счастлива это слышать.

Ростропович был человеком невероятно теплым.

— Как я рад тебя видеть! Я скучал! — это, наверное, слышал от него каждый, встречаясь в очередной раз.

Человек-праздник.

Но каким же он был требовательным, даже деспотичным, когда речь шла деле всей его жизни — музыке.

В марте 2003 года в Нью-Йорке проходила серия концертов «Слава и Друзья». Константин Лифшиц играл тогда четыре концерта подряд. 20, 21, 22 марта — с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Ростроповича. 23

марта — камерный концерт. В первом отделение Ростропович и Лифшиц исполняли Прокофьева. Во втором — Ростропович, Венгеров, Лифшиц играли Шостаковича.

Перед одним из концертов Оля Ростропович со скоростью олимпийской чемпионки побежала к лифту.

Что случилось?

Оказалось, что ровно за семь минут до выхода на сцену обнаружилось отсутствие одного носка маэстро.

Что тут началось, даже страшно передать!

К счастью, квартира, где жила Оля, находилась совсем близко от Линкольн-центра, она бежала, наверняка поставив мировой рекорд. Почему-то не ехал лифт. Оля пешком летела на двадцать какой-то этаж, потом бегом вниз. И вот — с новой парой носков, за две минуты до начала концерта оказалась она в артистической. Можно перевести дух и смеяться над происшествием.

Но Ростропович возмущен:

— Почему так долго?

Ольга Ростропович — человек особенный. Манеры, внешний вид, ПРОСТОТА (как проявление настоящих светских манер), прямая спина (выправка), дисциплина. Наследство, полученное при рождении от своих великих родителей. И — воспитание, от них же. Глубокий голос и манера говорить — от матери.

Ольга рассказывала нам, как папа, не желая видеть макияж на лицах дочерей, заставлял их — совершенно взрослых и самостоятельных — стирать декоративную косметику.

После камерного концерта, когда они сыграли трио Шостаковича, я сказала:

— Как жаль, что не записывали сегодня — это было невероятное переживание.

Ростропович был доволен исполнением.

— Не жаль, — ответил он, — это была Музыка. Настоящая. Те, кто это слышал сегодня, запомнят.

Он сидел в кресле у себя в артистической, приняв все поздравления, потихоньку отходя от напряжения.

— Папа, у тебя вся рубашка мокрая, — воскликнула Оля, — Надо переодеться, ты простудишься.

— Подожди, — отмахнулся Слава.

Костя побежал в свою артистическую и принес пальто — укрыть Ростроповича.

Так тот и сидел в кресле, укрытый Костиным пальто и рассказывал, рассказывал…

«В 1961 году у меня был период, трудное время, когда я совсем не мог спать. Никак. И ничего мне не помогало. И вот

однажды кто-то порекомендовал пригласить одного знаменитого гипнотизера, что ли. Новак фамилия. Сказали, что помогает всем, гарантия 100 процентов. Ему надо было дать 10 рублей. Большие по тем временам деньги.

Мы, конечно, его позвали. Он пришел, такой невзрачный мужичок, и попросил меня показать что-то в квартире. Пошли в голубую комнату. (Там находилась коллекция фарфора.)

Ну, он спрашивал: „А это что у тебя? Фарфор? Какого завода? А век какой?“ И я все ему рассказывал. Так ходили и говорили. Провел настоящую экскурсию. Впору не гипнотизеру деньги платить, а чтобы он мне заплатил за лекцию по истории фарфора. Тем не менее свою десятку гость схватил так, что чуть руку не оторвал. А потом он сказал, мол, ну все, спите сегодня хорошо и спокойно.

Я думаю: „Вот ерунда какая“.

Но пошел, лег и впервые за долго время спокойно и хорошо поспал. А ведь он ничего не делал! Как же так?

Потом мы подружились с этим Новаком, пили вместе, я его спросил, как это у него получается. И он ответил: „Вот слово „вино“. Мы знаем, что оно значит. А прочитай наоборот: „онив“. И что это — мы не знаем. И вложить в это можно все, что угодно. Вот мы ходим и говорим о картинах, о фарфоре, обо всем, что угодно, я произношу вопросы, но на самом деле я говорю человеку: „Спи. Успокойся. Успокойся““. И этот человек мне действительно очень помог. Я стал спать….

…Но так и с музыкой, — продолжал Ростропович, — В каждый звук мы можем вложить свое, то, что хотим донести до слушателей. Заставить их улыбнуться или заплакать.»

Как он умел рассказывать! Собрать бы все его рассказы воедино, получилась бы книжка — не оторваться!

Конец мая 2005-го. Берлин. Жара. Мы мчимся на велосипедах в гости к Дитриху Фишеру-Дискау. Нас пригласили на его восьмидесятилетие. У меня в Берлине замечательный вид транспорта: трехколесный велосипед с большой корзиной за моим сиденьем. Я повсюду на нем езжу. Никогда не думала, что смогу ездить на велике — папа учил, ничего не выходило. А муж придумал: тебе нужен Драй Рад — трехколесник! И вот я мчусь! Ура!

— Здравствуй, красавица! — обнимает меня Фишер-Дискау.

Ну, какая я красавица? Растрепанный вождь краснокожих. А вот он — да! Очень красив. Высокий, статный, лицо одухотворенное. И жена его, Юлия Варади, знаменитая певица,

сопрано, ему под стать.

У них прекрасный уютный дом с великолепным садом, огромной библиотекой и аудиотекой. Фишер-Дискау, певец и дирижер, написал кроме того четырнадцать книг — исследований и эссе, посвященных музыке.

Дитрих очень любит слушать Костю, приглашает его в гости, когда они с женой в Берлине. Костя играет, а я смотрю на Дитриха. Лицо его озаряется светом изнутри, излучает счастье. Люди музыки — они понимают друг друга без слов. А я любуюсь…

И невозможно представить, что этих встреч не будет больше. 18 мая 2012 года Дитриха Фишера-Дискау не стало.

Остался дивный его голос, фильмы, книги…

Но не услышать больше вздоха Дитриха перед концертом, которым ему предстоит дирижировать:

— Ах, бедные мы, бедные! Ну что ж, пойдем!

И не увидеть счастливых глаз человека, внимающего Музыке…

Прощай…

2009 год. Фестиваль в Вербье. Перед концертом, на котором исполняются произведения Родиона Щедрина, замечательный скрипач Дима Ситковецкий объявляет публике:

— Здесь присутствует великая балерина Майя Плисецкая.

Овации.

Майя Михайловна встает, взмахивает своими «говорящими» руками и грациозно кланяется. Она прекрасна! Вот это чудо! И невозможно поверить — никогда и ни за что, в то, сколько ей сейчас лет.

Или — следует верить, восхищаться и брать пример! Какое у нее лицо, глаза, движения…

Я ходила почти на все ее спектакли в Москве! Я помню, как однажды во время «Лебединого озера» сидела (совершенно случайно) с ее мамой. И маму все поздравляли после спектакля, и дарили ей тоже цветы, спрашивали, когда она пойдет в артистическую к дочке, а та отвечала:

— Маечке нужно какое-то время прийти в себя. Она еще в образе.

И вот сейчас я рядом с великой танцовщицей и ее мужем — великим композитором. После концерта, оказавшись на общем приеме в честь фестиваля, мы садимся рядом с Майей Михайловной и Родионом Константиновичем, и я признаюсь ей в любви. И потом завязывается разговор, как будто мы давно знакомы. Говорили о музыке, о книгах, о России. Конечно, о

России. И, говоря о ней, вспомнили Лескова. Родион Константинович обратил внимание на рассказ «Продукт природы». В нем, этом коротком рассказе, вся суть народного характера показана. А речь там идет о том, как переселяли народ партиями с мест обжитых на неосвоенные (вот оно когда еще было-то!).

Там, в рассказе, много рассуждений, которые и до сих пор — о нас и для нас: «Пускай это — продукт природы (имеется в виду народ. — *Г.А.*), но ведь и природа может мстить за себя: ожесточать народ и доводить его до ужаса и уныния никогда не надо, хотя, однако, совсем добрые и мягкосердечные вожди тоже не годятся…»

И вот сорок человек переселяемых мужиков тронулись бежать. Надо их вернуть. И что же делать? Вот вернувший, простой писарь, и сообразил: «Взял трех калек, надел шинель с пристегнутой к ней большой пряжкой, догнал всех и крикнул: „Сволочь, назад!“ — и всех их привел назад и перепорол»…

…Вот и получалось из нашего разговора, что вся русская история — это история небольших послаблений народу, а потом — пряжка и «Сволочь, назад!».

И никак иначе?

Эх, интересный разговор. Не для Вербье…

…Я ими любовалась, Родионом и Маечкой. Вот они стоят, Маечка чуть впереди, муж ее обнимает и говорит:

— Я люблю тебя, Маюля! Я люблю тебя!

Вспоминаю их с нежностью. Храни их Господь!

А вот еще одно мое везение. О таком мечтает каждая японская девушка: хотя бы одним глазком увидеть Императрицу! А я не только видела, но и беседовала с ней, причем два раза!

Первая встреча произошла в 2008 году. Опять долгое турне по Японии. И случилось мне заболеть, температура — ужас. Лежу в номере, себя не помню. Звонит муж:

— Приезжай, будет Императрица. Может быть, больше не представится случая увидеть.

Ну, что делать?

Я встаю, выпиваю две таблетки жаропонижающего, наряжаюсь, плохо соображая, во что, мне вызывают такси. Еду.

Еду и думаю: ну я и злодейка! Я ж могу заразить Императрицу! И от этой мысли делается мне совсем плохо. Не ехать не могу, а ехать — стыдно! Но еду.

Приехала, стала руки и лицо влажными салфетками вытирать, чтоб поменьше заразы на мне осталось. В концертном зале полно императорской охраны, тихие, ненавязчивые,

вежливые, но глаза так и буравят.

Нас позвали в специальную комнату. Вернее, было так. В специальной комнате находились Дайшин Кашимото — известный японский скрипач, и Константин Лифшиц. А мы, их жены, остались снаружи. Стоим и ждем. Рия, жена Дайшина, красавица и умница, волнуется до дрожи. Просто вся стала бледная. Трепещет. Потом мне все и сказали — какое значение придают встрече с Императрицей, каким счастьем это считается. Но я, даже не зная пока этого, тоже принялась сильно трепетать, еще сильнее думая о себе много плохого: а ну как я все же заражу Императрицу! Я ж себе никогда такого не прощу!

А в комнате между тем Императрица беседует с Дайшином и Константином.

Мой муж назвал свое имя, а Императрица в ответ:

— А я Мичико.

И сказала, что хотела бы поучиться у него игре на фортепьяно.

Муж обещал стать учителем Императрицы.

А потом она вышла к нам.

Любезно кивнула Рие, поприветствовала ее, а потом, взяв мою руку в свою, не отпуская, стала очень мягко, нежно беседовать со мной.

Ужас не отпускал меня.

«Заражу», — думала я, стараясь не дышать.

Теплая и добрая рука Императрицы дала мне силы.

Императрица была прекрасна. Элегантный костюм цвета коралловой розы очень шел ей. Она казалась цветком. Удивительное чувство цвета и гармонии у японцев! До сих пор не могу забыть впечатления, произведенного на меня обликом Императрицы. Она казалась произведением искусства, шедевром.

…Потом Рия сказала, что все обратили внимание на то, как держала мою руку Императрица и как она была любезна со мной.

Позже я даже стала догадываться, почему! Оказалось, что мы с Императрицей Японии родились в один день, 20 октября! Только в разные годы.

К счастью, я никого не заразила.

А следующая встреча состоялась в декабре 2010 года. На этот раз мы находились в большой комнате, украшенной цветами, рядом с мужьями. Императрица подошла к каждому из нас и любезно поговорила.

…Я смотрела, что творилось в зале, когда в свою ложу вошла Императрица. Как не верили своему счастью девушки, как кланялись, как любовались…

Мне действительно несказанно повезло!

Все эти встречи у меня в сердце. И даже описываю их, улыбаясь.

Пасха 2003-го — Венеция

Православная Пасха 2003 года совпадала с днем рождения моей дочки. 27 апреля — один из счастливейших дней моей жизни!

Мы решили встретить Пасху в Венеции и пригласили Олю прилететь к нам, чтобы отметить все праздники вместе.

Сняли удивительный номер в отеле «Джорджоне» — двухэтажный, с выходом на крышу, огороженным так, что получался балкончик. С этого балкончика можно было любоваться городом. При этом номер не стоил баснословных денег, видимо из-за своей необычности.

Чудесное получилось время! Незабываемое! Столько раз до этого были в Венеции, а тот приезд помню как что-то совсем особенное.

Музеи, выставки, каналы, обеды и ужины в уютных ресторанчиках у воды…

Именно в тот раз нам впервые удалось подойти к мощам Св. Апостола и Евангелиста Марка.

Венеция и была основана в день памяти Св. Марка. По преданию, Апостол Марк посетил лагуну, где позднее воздвигнут Венецию, в 52 году н. э.

Для венецианцев Св. Марк — небесный покровитель их города.

И вот мы в Соборе Св. Апостола и Евангелиста Марка постояли у его мощей, помолились.

На Пасхальное Богослужение отправились мы в старинный православный греческий храм Св. Георгия — первый храм, возведенный греками на чужбине.

Это величественное сооружение. Мы стояли со свечами в руках, слушая великолепное пение мужского хора. Храм был полон. Около полуночи вышли в церковный двор. Свечи погасли. Наступила полная тишина и тьма. Скорбь наполнила сердца. И вдруг — вспыхнул свет и раздался возглас: Христос онесте! Христос воскрес!

Мы заплакали от счастья. Люди обнимались, целовались, повторяя на всех языках:

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе!

Чувство общности со всеми собравшимися людьми окрыляло.

…Потом мы шли по ночной Венеции с зажженными в храме свечами в руках. Ночь с субботы на воскресенье. Повсюду люди. Любопытные венецианцы, любящие всякие праздничные шествия,

спрашивали нас:

— Какой сейчас праздник? Что происходит?

— У нас Пасха! — отвечали мы.

Католическая Пасха прошла ровно неделю назад.

— Хорошей Пасхи! — поздравляли нас венецианцы.

Оленька тогда была беременна — всего два с половиной месяца.

А 9 ноября 2003 года родился наш дорогой Марк.

У него сильный небесный заступник.

И еще у Марка два крестных отца: Захар и Павел. Тоже защитники.

Сретенье-2006

Мы в аэропорту Нарита в Токио. Заходим в самолет. Закончились очередные японские гастроли. Усаживаемся на свои места, и муж мне говорит:

— Ну, видишь, все в порядке. Ты волновалась, что Оля родит без тебя, а она дождалась. Прилетим, отдохнем…

И правда: как хорошо получилось! Оленька ждет второго ребеночка. Мы не знаем, кто это будет, мальчик или девочка, не хотим знать. Будет ребенок, которого мы уже очень любим и ждем. Остальное — не так важно. Даже рожать интереснее, когда не знаешь, кто появится. Интрига сохраняется.

Мы прилетаем в Москву 15 февраля. Это день замечательного праздника — Сретенья.

В Шереметьеве нас должен встречать Захар. Но мы видим улыбающееся Пашкино лицо.

— Ты как? Ты почему? — спрашиваю я. — Где Зорик?

— Зорик с Оленькой, мам. У нас Галенька.

А я не понимаю: какая-такая Галенька? В гости кто-то приехал?

— Галенька, — смеется Пашка, — Оля родила Галеньку, совсем-совсем недавно, Зорик у нее, а я за вами поехал.

Вот это подарок на Сретенье!

А почему — Галенька?

Так сразу решили… Сретенье ведь. Должна быть Анна.

— Поехали, посмотришь на нее, — говорит сын.

И мы сразу из аэропорта едем смотреть на Галеньку. Как хорошо, что сейчас это можно!

Олька лежит совсем измученная. Приносят кулек: наш, родимый русский кулек, в косынке, запеленутый. У племянника (Женечкиного сына) месяц назад в Милане родилась Стеллочка — на фото итальянская новорожденная выглядит уже вполне кокетливо: в шапочке, элегантной белой кофточке.

Нашего младенца, рожденного в ЦКБ, одели в соответствии с судьбой. Платок бабий, пеленки. Умилительный кулек!

Заглядываю — и понимаю, почему Галенька.

Оля так и говорит:

— Как только на нее взглянула, увидела: одно лицо с тобой. Меня спрашивают: как назовешь? Я и не думала: Галенька, отвечаю.

Да, удивительное сходство: губки, волевое выражение геройского лица!

Сейчас это сходство не так заметно, как в первые часы ее

жизни. Но характер — будь здоров!

Наша Галенька… Подарок на Сретенье.

Крестным отцом ее стал очень дорогой нам человек: настоятель Благовещенского собора в г. Боровске протоиерей Дмитрий Орлов. А крестная мать — я.

Восприемница

А еще одно наше счастье — младенец Константин — появилось на свет 26 мая 2007 года.

Всех наших младенцев мы крестим очень быстро, дней через десять — двенадцать после появления.

Крестным Константина стал наш духовник: настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе протоиерей Валентин Асмус. Крестной должна была стать сестра Костенькиной мамы. Зовут ее, как и мою дочку, Ольга.

И вот во время крестин, к тот самый момент, когда священник спрашивает: «Отреклись от сатаны?» (а крестные должны ответить: Отреклись!), Ольга стала падать в обморок. (Не поела с утра, волновалась.) Она страшно побледнела и начала оседать. А ребенок у нее на руках! Я ринулась взять у нее младенца и была поражена: теряя сознание, она держала мальчика с такой отчаянной силой, что я с трудом смогла его забрать из ее рук. Ее мама в этот момент поддерживала ее.

Ольгу посадили на лавку, а таинство крещения не прерывалось ни на миг. Таким образом восприемницей из купели нового воина Христова Константина стала я.

Этот маленький человек — наша общая радость. Большего хохотуна я не встречала. Солнечный человек, как и положено тому, кто родился на пороге лета.

Гнесинка

Куда бы мы ни прилетели, где бы ни играл концерты Костя, всюду встречаем наших: гнесинцев. По всему свету разъехались, а встречаемся, как родные. Родные и есть: выросли в общем доме.

У Гнесинки и был уют старого московского особняка. В нем никогда не сжималось сердце от холодного ужаса, навеваемого «казенным домом», как это бывает в обычных типовых школах.

Уникальное учебное заведение, давшее миру невероятное количество выдающихся музыкантов!

И вот на протяжении многих лет дети (и мы все, кто учился и работал в Гнесинке) лишены нашего дома.

Ремонт! Директору школы, Михаилу Хохлову, один начальник посулил, что ему придется на этот ремонт жизнь положить.

Вот интересно — почему? Почему за благое дело — обустройство школы, создание при ней интерната, чтобы могли в Гнесинке учиться и иногородние дети, директор должен пожертвовать жизнью?

В чем логика?

И вроде все согласны. И вроде — ну ладно, сделаем…

Уже и Манеж сожгли, а потом отстроили заново, и отелей по всей Москве настроили в рекордно короткие сроки, и аэропорты новые возвели, и Большой театр отремонтировали, а маленькая Гнесинка все ждет своего часа.

Как же так? На детей не хватает?

Не хватает на то, чтобы одаренные дети учились в достойных условиях?

Все виднейшие деятели искусства выступают в защиту Гнесинки. Сколько акций, митингов проходило!

Речь о детях! Об уникальном учебном заведении, которое наше поколение обязано сохранить и передать поколениям следующим!

И снова — вопросы, вопросы.

И главный: это кому-то выгодно, чтобы школа была разрушена?

А если нет, то когда же дети вернутся в свой дом?

Путешествия

Многое сбылось из того, что намечтала когда-то.

Я пишу. Я счастлива от того, что могу наконец целиком отдаться творчеству. Это такое блаженство, что я все первые годы нашей жизни с Костей не уставала его благодарить за

то, что именно он дал мне эту возможность. Конечно, зная себя, скажу: я все равно бы стала писать. Я это наметила и осуществила бы. Но это все — «бы». А если говорить о том, как именно получилось, то именно так: я поехала с мужем в Италию и начала там много и с удовольствием работать.

А уж мечта о путешествиях в таком масштабе, уж она-то сбывается именно благодаря мужу. Это — без вариантов.

Незабываемое путешествие — из Кейптауна в Буэнос-Айрес совершили мы в декабре 2008 года. 10 дней в открытом Атлантическом океане. Нам повезло с погодой — днем все время было солнечно, а ночью ревел ветер и океан штормил. Ночной вой и рев ветра, когда вокруг только волны — это сильное переживание. Не страх, но понимание ценности жизни и величия Вселенной приходит в эти часы.

Мы видели игру китов — корабль остановился, и капитан пригласил всех полюбоваться этим зрелищем. Не всем везет. Киты резвились, синхронно появляясь из воды и исчезая в ней. У них шла своя жизнь, и мы наслаждались их вольными играми.

Мы только один раз за все путешествие приблизились к земле — самому отдаленному от материков острову Тристан-да-Кунья, описанному еще Жюлем Верном. Глава острова позволил нам побывать у них, и на резиновых моторных лодках нас переправляли с нашего корабля на берег острова. Океанские волны, темно-синие, с сапфирным блеском, качали наши лодочки вверх-вниз. Потом, на острове, мы никак не могли привыкнуть, что у нас под ногами земля.

И как же жалко было подплывать к Буэнос-Айресу! Вода становилась все более грязной, бурой… Мы все грустили о чистоте и бескрайности океана.

В июне 2011 года мы, на том же корабле «Европа», совершили путешествие по странам Балтии. Белые ночи, разные страны — одна прекраснее другой.

Я мечтаю о новых путешествиях. О морях, о далеких континентах…

У меня большие планы на Латинскую Америку… Давняя детская мечта.

Надеюсь, сбудется и она…
Каждый день мне интересно, что будет дальше.

Последние слова Чехова

Мы оказались в немецком курортном городке Баденвайлер волею случая. Планировали встречу Нового года, решили поехать к друзьям в Карлсруэ. Это сравнительно недалеко: от нас три часа на машине. Стали думать: отметим с ними, а дальше? А дальше хотелось поехать «на воды». В этой части Германии очень много целебных источников. Вот и подумали: можно в Баден-Баден, например. Любимое мето Тургенева. Были там не раз. Но в любимом отеле не оказалось свободных номеров. Стали искать другое. Наконец муж нашел очень удобное для нас место: примерно в 30 км от Базеля (это уже в Швейцарии). То есть возвращение обещало быть легким — полтора часа, не больше. И отель хороший, и огромный бассейн с термальной водой. Поедем на три дня. Так и порешили. Зарезервировали номер. А потом муж принялся дальше изучать в Интернете все про отель. И приходит ко мне:

— Знаешь, что это за место? Это «Ich sterbe»!!! (Поясню — по-русски это звучит «ихь штербе», и слова эти — символические: их, как гласило предание о смерти А. П. Чехова, произнес он перед самой своей кончиной. Последние то есть его слова. По-немецки, не по-русски!!!)

И мы очень удивились! Надо же! Как совпало! Совершенно случайно — и вот. У меня в сборнике рассказов «Несчастливой любви не бывает» есть рассказ «Пособие по уходу», в котором старый профессор произносит эти слова. И мало кто знал, почему…

В общем, прошлое по своей воле протянуло нам свою руку…

И вот мы в Баденвайлере. Наш отель «Рёмерсбад» — шедевр Югендштиля (или, по-русски, стиля модерн, господствовавшего в конце 19 — начале 20 века). У входа табличка, что отель этот был первым пристанищем Чехова в Баденвайлере в июне 1904 года. (А умер он 15 июля 1904 г.) Нашла я и номер, в котором жил Чехов. На нем табличка «Свит Чехова». Спрашиваю в рецепции: «Именно в этом номере и умер Чехов?» И вот состоялся у нас интересный разговор. (Для меня интересный.) Дама-администратор с немецкой честностью и прямотой рассказала, что нет, Чехов тут сначала остановился, но потом хозяева отеля его попросили съехать. Он же был болен туберкулезом, а тут другие постояльцы… Нельзя рисковать здоровьем других людей…

А умер Чехов в отеле-клинике. После нескольких переездов с места на место. Клинику мы тоже нашли. (Всё увидите на фото.)

И потом стало мне так грустно… Даже ночью не спалось.

Нашла в Интернете воспоминания жены Чехова, Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, которая присутствовала при кончине Антона Павловича. И с удивлением обнаружила, что последние слова Чехова были произнесены по-русски. Почему все годы нам байку рассказывали? Так вот. Чехов, почувствовав себя очень плохо, попросил позвать доктора (впервые сам попросил). Доктор тут же явился, понял, что больному не жить, велел подать шампанское (оно несколько оживляло…). И Антон Павлович произнес, обращаясь к врачу, по-немецки (поскольку врач был немец): «Ich sterbe», а потом повернулся к жене и сказал: «Я умираю. Я умираю».

Отвернулся и вскоре скончался.

Вот его последние слова. Бедный страдалец.

В Баденвайлере чтут память Чехова.

Площадь перед клиникой, где он скончался, названа его именем.

Есть очень выразительный памятник Чехову на самой вершине, рядом с руинами старинного бурга.

Есть музей, салон Чехова.

Я постаралась запечатлеть то, что видел Чехов в последние дни его жизни. Вечная ему память.

Мечты сбываются, или Поосторожнее с предновогодними желаниями

То, что предновогоднее время особенное, все чувствуют. Недаром веками желания загадываются именно под Новый год. Я расскажу одну маленькую историю, которая наглядно покажет, как оно происходит. Иногда ведь — до смешного буквально. Произошло очередное событие, доказывающее это правило, 31 декабря 2008 года, прямо под Новый год.

Мы только сняли квартиру в Швейцарии, муж начал там преподавать в Люцернской консерватории.

Всего за день до Нового года появились у нас в гостиной стол и стулья. Ну, очень красивые! Жизнь налаживалась. Мы привыкли к переездам, но тут…

Уж очень кардинальное и быстрое произошло изменение. Устали. На Новый год собрались в Берн, к друзьям. Нарезали ведро салата оливье, пирогов напекли. Дома поставили огромную пушистую елку, нарядили, огонечки зажгли. Красота.

Собрались. Стали нарядные — глаз не оторвать.

И так хорошо дома: тишина, уют, елка пахнет головокружительно, огонечки горят. Я и подумала: «Вот бы дома остаться, куда ехать? Тут такая красота. В окно горы видны, река прямо под домом грохочет, да еще снег вдруг пошел просто сказочный».

Но оставаться не получилось бы: уговорились давно, нас ждали. Я ни слова не сказала о своем желании.

Полюбовались мы хлопьями снега — невиданный доселе, настоящий швейцарский снегопад — и пошли с нашим ведром салата к машине. Очень удивились: снег идет всего минут пять, а его уже чуть ли не по колено. (В горах так бывает, но мы ж люди равнинные, откуда нам знать.)

Отъезжаем и радуемся: настоящий Новый год! Проехали километра два и… Дальше было страшно: машину вдруг закрутило. И не остановить! Хорошо, что дорога оказалась пустынной в этот час (было это в десятом часу — все уже по домам собрались, отмечать). В общем, покрутило нас, развернуло. Машина уперлась в бордюр, на наше счастье.

Выскочили мы. Стоим, как два дурака — что делать, не знаем. И тут мы убедились в отзывчивости и отлаженной взаимовыручке швейцарцев (у них иначе нельзя — а с другой

стороны, где можно?). Первая же машина, проезжавшая мимо, остановилась. Хоть и пора было к столу. Нам вызвали полицию, которая приехала незамедлительно. Они тут же вызвали эвакуатор.

Пока ждали его, очень весело и поучительно пообщались. А главное — поняли, почему такое с машиной произошло. Муж не сменил шины на зимние! Снега-то не было вообще. Даже намека. Ну, и в голову не пришло. Короче, вернули нас домой! Успела я к компьютеру, включила трансляцию Нового года из Москвы. Под бой курантов выпили за наш Новый год! До европейского оставалось еще два часа. Мы красиво накрыли наш прекрасный антикварный стол и встретили Новый год — живыми, здоровыми, абсолютно счастливыми и довольными.

А я — в который раз за свою жизнь — убедилась: поосторожнее с новогодними желаниями. Некоторые сбываются мгновенно.

Наше будущее

Напишу о том, что мне никак не дает покоя. Меня очень волнует наше будущее, то есть — дети нашей страны. Да. Дети — наше будущее, как ни затерт этот слоган. Но тут ни убавить, ни прибавить.

И, знаете, я другой такой страны не знаю… Я именно об отношении к детям. У меня сложилось четкое ощущение, что детей у нас ненавидят. Честно признаюсь, такое чувство меня и в детстве посещало. Ну ладно — что с ребенка взять. Но когда это ощущение сопровождает всю сознательную жизнь, стоит разобраться.

Мы, говоря о детях, как о будущем, замечаем при этом, что количество детских самоубийств зашкаливает.

Ау, будущее!

Причины разные. Но можно говорить и о целом: детям не дают жизни.

А что такое жизнь?

Это любовь и покой в семье. Уверенность, что тебя уважают, с тобой разговаривают, считаются.

Это — свобода выбора (начиная от того, с кем играть в детском саду, какой дорогой идти в школу, и — возможностью хоть часть дня прожить по-своему, не за уроками, не за заданиями, тупость которых порой поражает не только детей).

Жизнь — это еще и рост организма. Биологический рост. И чтобы организм рос здоровым, ему необходима радость, ощущение нужности, понимание: зачем я здесь, что со мной может быть через пару десятков лет, чего мне ждать и — ради чего.

Домашние задания — это особая песня. Это реквием по несостоявшемуся дню.

Когда я смотрю на домашние задания по русскому, математике, английскому у детей начальной школы, мне делается дурно.

Помните, что задавали нам? По русскому: упражнение. Может, правило выучить. Изредка — домашнее сочинение (это когда постарше стали.).

По математике — решить задачку и столбик примеров. (Собственно, это арифметика была.)

По иностранному языку: выучить новые слова (обычно их было 10, не больше) и подготовить текст к пересказу. Доступный маленький текст.

Я сама, без помощи взрослых (смешно даже говорить об

этом), справлялась с этими уроками за час. И остаток дня гуляла до посинения. Собственно, никто из взрослых и не знал, где мы и что делаем, когда гуляем. Это было наше честно заработанное, личное время. Уроки сделала? — Гуляй.

Сейчас я сама себе не верю, что это счастье было в моей жизни. Ибо свобода — счастье несказанное.

Мало нам задавали? Нет! Мы успевали много сделать на уроке. И — хватало. Много моих базовых знаний дала мне школа. Бесплатная советская школа. О репетиторах тогда и не слыхивали. Репетиторы возникали к выпускному классу. У нас дома на них средств не было. Я сама подготовилась и с первого раза поступила в вуз.

Я люблю учиться до сих пор. Мне нравится узнавать новое, осваивать. И я благодарна моей школе прежде всего за то, что у меня не отбили охоту учиться, загружая заданиями, в которых нет порой и смысла никакого.

У меня ощущение, что нынешние методисты не понимают, ради чего они работают. Система образования стала совершенно мертвой системой, обслуживающей себя.

Ведь знания нужны детям, чтобы потом их применить в жизни, а не для того, чтобы лишить детей последних сил. Школа должна не задавить, не задушить любую возможность роста (в том числе и творческого), а дать возможность новому человеку дышать и радоваться жизни.

Иначе человек не вырастет. То есть — физически подрастет, но так и останется безответственным ребенком, стремящимся любой ценой увильнуть от ответственности, от работы, от трудностей — то есть, от жизни, как таковой.

Сейчас детей рожают те, кто появился на свет в 90-х. Помните 90-е? Многие ли родители показывали своим детям образцы покоя, счастья и благоденствия? И — вина ли это родительская?

Вроде у нас сейчас много психологов, социологов, политологов. Вот бы собраться и обсудить вместе: как дать силы и чему научить поколение, рожденное в период катаклизма, катастрофы мирового масштаба?

Поколение, рожденное в 90-е, — специфическое. Ими надо особо заниматься. Особенности поведения, мироощущения, проблемы роста следует изучать и делать выводы.

А то все талдычим: лихие 90-е! Лихие 90-е.

А те дети так и не выросли. Но рожают сейчас детей, часто тяготясь, часто не имея сил растить ребенка и не понимая ни задач, ни ответственности…

Тут недавно Наина Ельцина сказала: «Государство в большом долгу перед теми, кто пережил 90-е».

Именно так. И главная проблема нашего будущего в том, как дать силу детям, у которых родители так и остались детьми… Не перегрузить бессмысленными заданиями, а подарить силу.

Или у нас нет будущего?

Я не хочу так думать. Не могу себе позволить.

Но мысли лезут и лезут.

Девятнадцатилетняя мать, оставившая умирать свою девятимесячную дочь…

Служитель порядка, сломавший подростку ногу за то, что тот попал в него снежком…

Насилие, смертоубийство, унижение, дикая брань.

Агрессия на каждом шагу (это бросается в глаза с первой минуты после возвращения на родную землю)… Гражданская война?

И сколько она будет длиться? И что потом?

Вопросы…

Теперь только счастье?

Мы любим, чтобы все, как в сказке, хорошо кончалось. Помучились-пострадали герои, а потом зато все у них загляденье!

Да — все загляденье! Потому что жизнь — загляденье. Успеть бы налюбоваться!

Но были и в эти годы в моей жизни тяжелейшие испытания, какие, по справедливости, не должны, наверное, проходить люди, живущие в уважающей себя стране.

Были чудовищные события, связанные с крушением последних иллюзий. Я написала о них в романе «И в сотый раз я поднимусь», который не раз тут упоминала. И если к каким-то, пусть болезненным, воспоминаниям мне пришлось в этой книге вернуться, то есть события, на которые я оглядываться больше не хочу. Мы их прожили, пережили и идем дальше.

Одно скажу. Государству имеет смысл искать опору в людях, стойко переживших определенные трудности и оставшихся достойными людьми. Но если ставить под угрозу само существование таких людей, если уничтожать последнюю надежду, то с кем ты останешься, государство? И кто тебе поможет?

Для меня объяснением многому тому, что сейчас происходит с нами, служат слова протоиерея Дмитрия Орлова, написанные мне 11 ноября 2005 года:

«Еще приходят мысли о том, что такие знаковые несчастья говорят о нашем сегодняшнем мире. Что и все мы своими грехами привлекаем в наш мир диавола, часто дружим с ним, имеем с ним общие дела. Мы привыкаем к нему, а ему хорошо с нами. Какой мир мы оставляем детям».

Любовь

В одну из последних наших встреч папа сказал мне:

— Вот говорят — любовь… А я прожил жизнь и так и не знаю толком, была ли она, любовь, какая она.

И еще он сказал:

— Ты рождена для любви.

Я запомнила папины слова, как и все, что он говорил мне, и стала думать: а была ли в моей жизни любовь — та, для которой я рождена?

И вот своим детям я могу сказать: да, я знаю, что это такое.

Я люблю своего мужа. Сейчас это любовь много перестрадавшего человека, который отвечает за свои слова. Да, люблю. И принимаю таким, каким он есть. Я глубоко уважаю своего мужа и во многом его пример поддерживает меня. Не одному ему Бог дал особую одаренность. Но вот такую любовь к учению, такую работоспособность я больше, пожалуй, ни у кого за всю свою жизнь не встречала. Достаточно посмотреть его репертуарный лист — он уникален. Что бы ни случилось, как бы он ни устал, я знаю: он будет работать, узнавать новое, меняться…

Однажды в Лейпциге, в отеле, я разговорилась с мамой одной молодой американской оперной певицы. Они прилетели на гастроли втроем: артистка с десятимесячной дочкой и мамой, чтобы было кому помочь с ребенком.

Приветливая крупная темнокожая женщина держала на груди уютно спящего в ее объятиях младенца. Она первая заговорила со мной, принялась расспрашивать о семье, детях. Я поделилась своими волнениями (какая мать спокойна за своих деток?). И вот эта прекрасная бабушка, выглядевшая воплощением любви, сказала мне фразу, которую я никогда не забуду:

— Маленьких детей мы держим на руках. А больших — в сердце.

Да! Так и есть!

Вы в моем сердце, мои дорогие дети. И к вам я чувствую не только любовь, но и большое уважение. Вы способны на благородные и отважные поступки, которые только и делают человека человеком.

Спасибо тебе, дочь, что ты прикрепила к своему платью желтую шестиконечную звезду Давида, когда пошла читать свои стихи, а оказалось, что в аудитории — фашисты. Так поступил когда-то король Дании, когда немцы, захватив его страну, велели всем евреям носить шестиконечные звезды. На следующий день

король вышел на прогулку с шестиконечной звездой на своем пальто. Ты мужественный человек, девочка!

Спасибо, сын, не проходящий мимо бед отверженных. Спасибо, что помог обобранному до нитки человеку, босому, плачущему в подъезде — приехал на заработки в Москву, а, заработав, оказался ограбленным. Какое счастье было, когда позвонила жена этого человека со словами благодарности за помощь мужу, за то, что они снова вместе! Ты всегда бросаешься на помощь первым. Это опасно. Я тревожусь за тебя. И — уважаю.

И тебе, мой младший, спасибо. За христианский подвиг ради спасения брата и сестры, когда не пожалел последнего. За то, что не прекращаешь усилий. За силу духа. За благородные помыслы и поступки…

Да, я люблю своих детей, и мне дорого, что мы с ними единомышленники.

Люблю красивые поступки друзей: они доказывают, что жизнь продолжается. (Аркадий Волк, к тебе мои слова!)

И еще. Люблю свой храм. Люблю Литургию, спасительное чудо Евхаристии, люблю и всегда молюсь за дорогих моему сердцу священников: за отца Валентина Асмуса, отца Валерия Киреева, отца Дмитрия Орлова. Не знаю, достойна ли, нет ли, но молюсь.

Иногда я чувствую себя сиротой. Мне вдруг кажется, что я совсем одна на белом свете. Ведь у многих моих сверстников еще есть родители или хотя бы один из них. И тут же мне делается стыдно. У меня есть Отец Небесный! И Он любит меня. Я эту любовь очень ясно чувствовала в страшный период 2007–2008 годов. Я совсем не могла спать. Но когда вдруг забывалась минут на пятнадцать, мне снились дивные прекрасные сны, которые никогда — ни до, ни после — не являлись ко мне. Пятнадцать минут блаженных видений давали мне столько сил, сколько не всегда дает восьмичасовой сон. В этом я видела проявление любви к себе. И не только в этом!

Любовь разлита в мире. Она в каждом восходе и закате, в морском ветре и пении птиц, в ярких цветах и дивных плодах, в желтых осенних листьях и белизне снега. И даже — в тяжких испытаниях, которые каждый обязан преодолеть, чтобы почувствовать себя человеком.

«Если стоять лицом к солнцу, тени всегда остаются позади».

Хоть это-то зависит от нас!

Фото с вкладки

Танечка — ученица средней школы. Верхний ряд, вторая справа

я не выдержала подошла
и подала 1 р 50 коп. Она
мне говорит, что ей 71 год.
что она грешит смерт
об бога, но бог повелит
хочет, чтобы она мучалась
и вот это на меня
столько подействовало,
что я начала плакать
и плакала - бы бы конца
но не хочу, чтоб Анька
увидела, что у меня
заплаканные глаза.
Она ушла к Сереже
в больницу. ~~Она~~ Я
подала старушке
подаяние потому что
знаю, что папа очень
любил подавать
бедным. Сейчас пришла
Анна Вас. и передала
мне посылку из дому

Страничка дневника Танюси

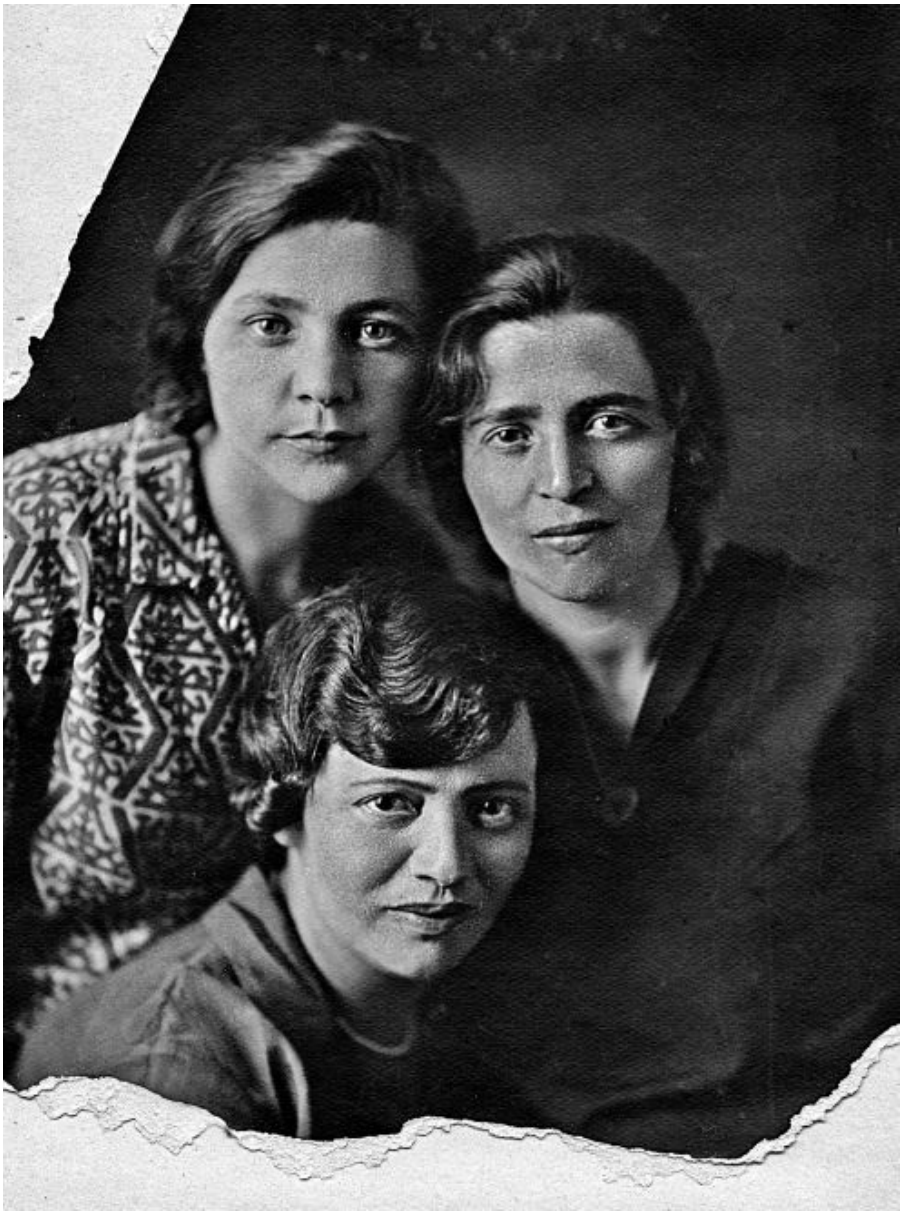
Обложка дневника. «Агульны сшытак» (по-белорусски «Общая тетрадь»)

Стелла — ученица гимназии (первая слева, стоит)

1946 год. Женечка (справа) в детском саду

Танечка моя, 1937 год

Танечка. 1938 год



Три сестры (внизу — Стелла, наверху слева направо — Танюся и Анечка)

Женечке 12 лет. Паланга

Мы с Танюсей. Я — «герой войны»

Со Стеллой на даче

Мы с Танюсей. Мне 10 лет. Москва

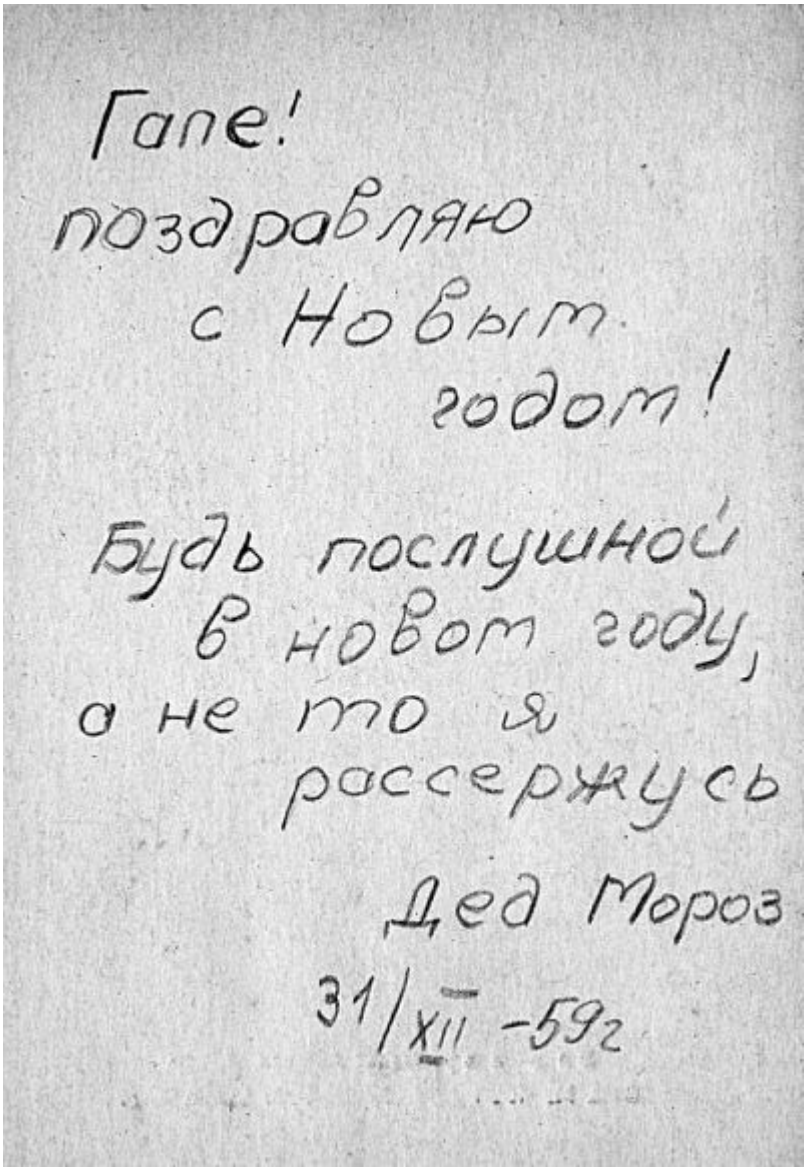
Аня — школьница (верхний ряд, третья слева)

В Золотоноше. Слева направо: Анечка, я, за мной Женечка, Танюся

Моя любимая Женечка

Мы с Женечкой в Золотоноше. Яблоки действительно валяются на земле! И их никто даже не думает поднимать!

Женечкина свадьба



Поздравление от Деда Мороза, непонятно как оказавшееся под елкой. Почерк похож на Женечкин, но мало ли что бывает…

Моя Танюсенька

Последнее фото Танюси. Встреча Нового, 1983 года

Стеллочка. Последнее фото на работе

Папа с любимой тетей Аней (Нехамой), хранительницей семейных преданий

Тетя Черна, воспитавшая Стеллу, Аню и Танечку после смерти их мамы

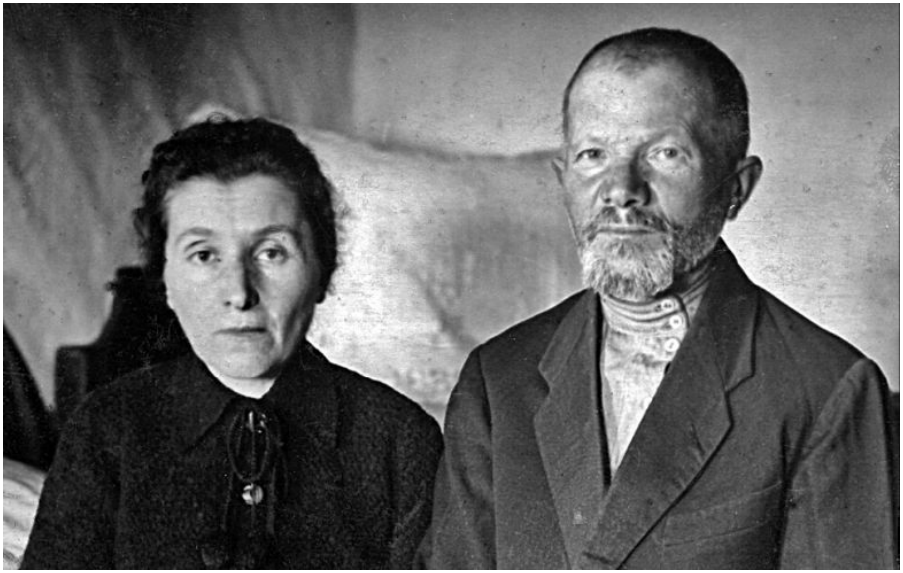
Я на руках у бабушки Берты. Волевой младенец

Дедушка. Иосиф Говзман

Папа, мама и я

Мой дорогой папочка. 1925 год

Мы с папой



Бабушка Берта и дедушка Иосиф

Брат моего дедушки Иосифа, Гесель Говзман, отец Стеллы, Ани и Танечки

Бабушка Берта с моим маленьким братиком Гришенькой

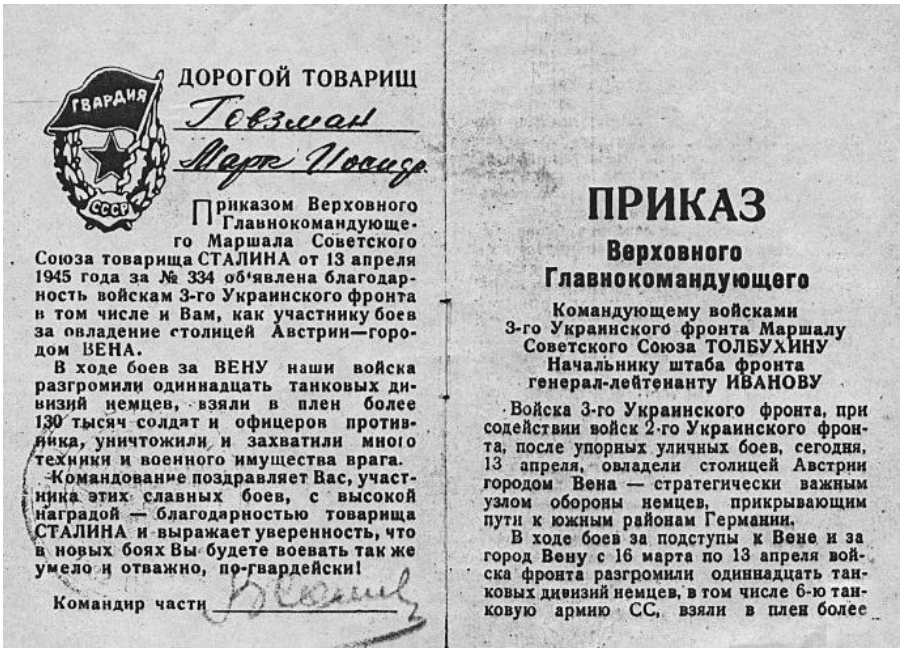
Тимочка, старший брат папы, погибший под Сталинградом. Тут ему 3 года. 1925 год

Мы с папочкой. Фото из знаменитого фотоателье на Арбате

В объятиях бабушки. Бабаево

Мы с дедушкой. Бабаево

Дед моих детей — Октябрь Павлович Артемьев



ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ

Говзман
Марк Иосиф

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища СТАЛИНА от 13 апреля 1945 года за № 334 об'явлена благодарность войскам 3-го Украинского фронта в том числе и Вам, как участнику боев за овладение столицей Австрии—городом ВЕНА.

В ходе боев за ВЕНУ наши войска разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили много техники и военного имущества врага.

Командование поздравляет Вас, участника этих славных боев, с высокой наградой — благодарностью товарища СТАЛИНА и выражает уверенность, что в новых боях Вы будете воевать так же умело и отважно, по-гвардейски!

Командир части

ПРИКАЗ

Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 3-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза ТОЛБУХИНУ
Начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту ИВАНОВУ

Войска 3-го Украинского фронта, при содействии войск 2-го Украинского фронта, после упорных уличных боев, сегодня, 13 апреля, овладели столицей Австрии городом Вена — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Германии.

В ходе боев за подступы к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более

Из папиных архивов: благодарность командования за взятие Вены

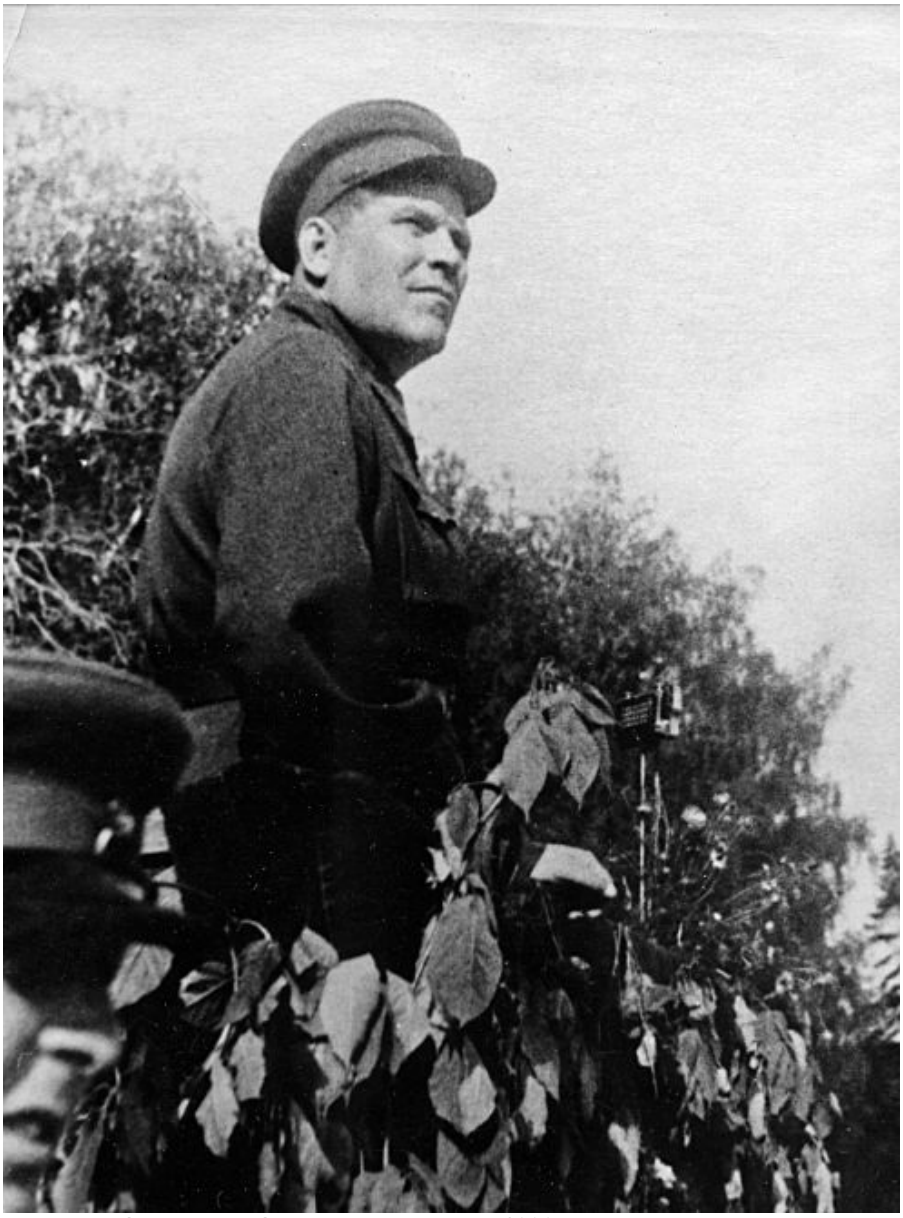
Павел Артемьевич Артемьев — командующий Московским военным округом и обороной Москвы на ближних подступах. Октябрь 1941 года

Дедушка, бабушка и внук на даче в Алабино: Ефросинья Никифоровна Артемьева (Нечипоренко), Тёма Артемьев, Павел Артемьевич Артемьев. 1955 год

Папа на фронте. 1943 год

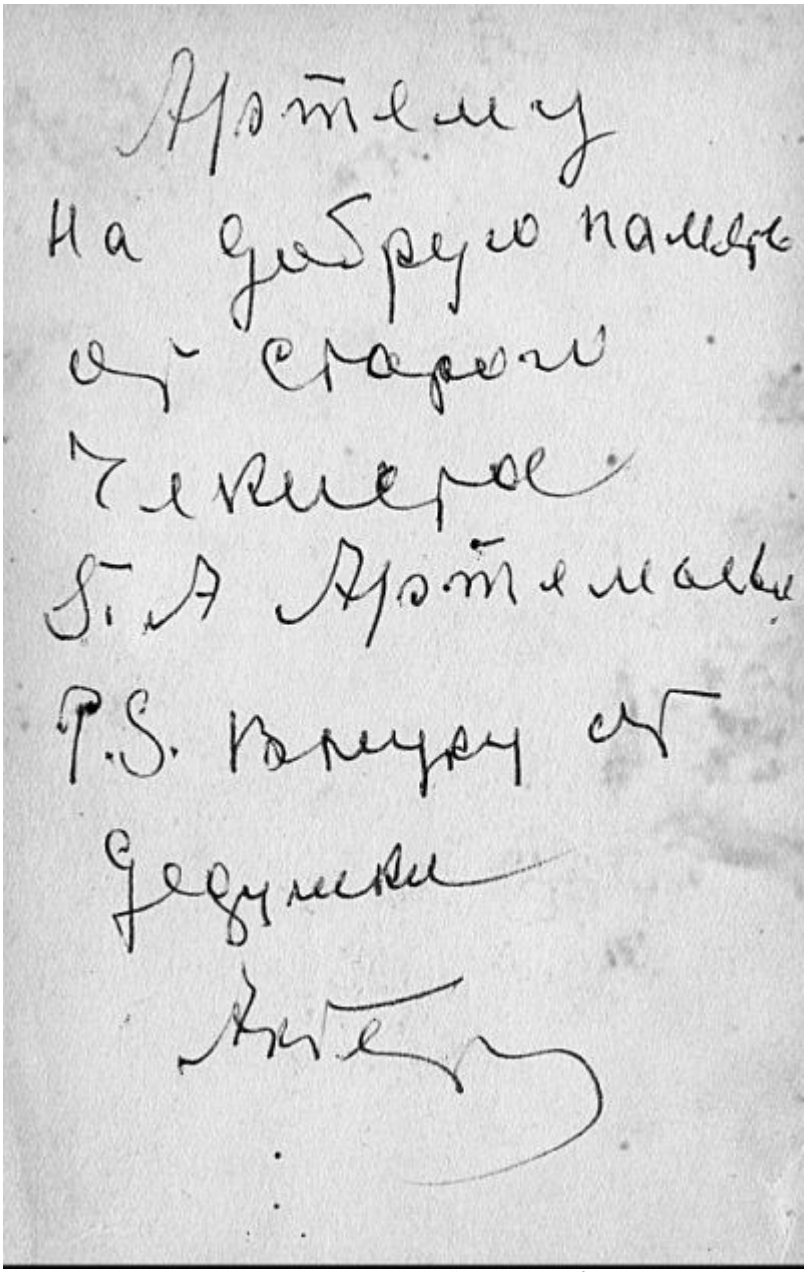
Стелла с тетей Черной и маленькой Женечкой. 1941 год, перед началом войны

Захар Трофимович Трофимов



Павел Артемьевич Артемьев на учениях. 1938 год

Захар Трофимович Трофимов (второй ряд, третий слева). Фронтовая фотография


Артему
На добрую память
от старого
чекиста
П. А. Артемьева
P.S. Внуку от
дедушки
Артемьев

1–2. П. А. Артемьев. Подпись с обратной стороны фото: «Артему на добрую память от старого чекиста П. А. Артемьева. P.S. Внуку от дедушки. Артемьев»

«Культ личности» — это обычная почтовая открытка 1938 года. Сталин и Ворошилов

«Герой войны»

Мне 9 месяцев

Захар Трофимович Трофимов с дочкой Ларочкой и женой Ларисой Ефимовной. 1929 год

Мой детский сад. Концерт. Костюм — украинский народный. Как обычно

Мой детский сад. Я — пятая слева. Рядом со мной (шестая слева) — любимая подружка Олечка Бокова

В Бабаево, на реке Колбь. Папа плавал за кувшинками

Круглое озеро. Мне 14 лет. Практикуюсь в испанском с кубинским слушателем Военной академии им. Фрунзе

Я в фестивальной Женечкиной юбке. Хранила ее, пока не доросла

Поездка с выпускным классом школы № 36 ЦГВ в Прагу, 1980-й год. Я — первая справа

В детском саду на даче. Я в том самом платье, которое меня уговорили считать фестивальным

Ненавистная школьная форма — сейчас выглядит вполне стильно

Мне восемнадцать

Мне 19

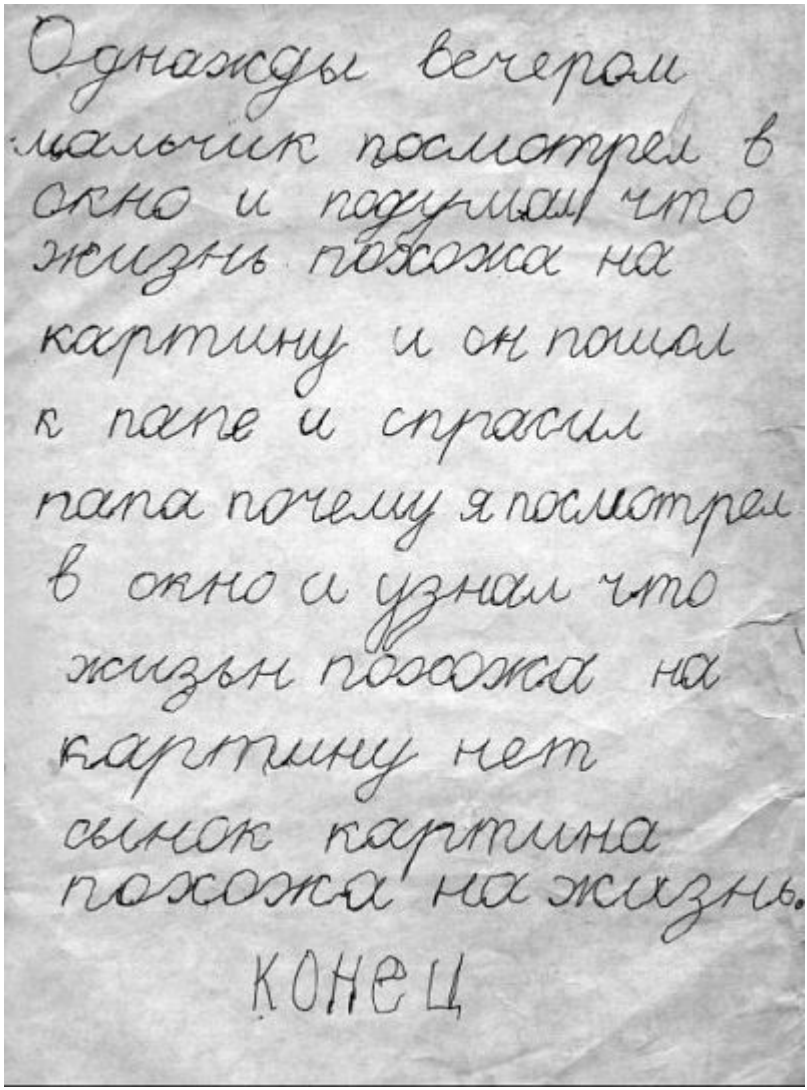
Я — студентка второго курса

Беленькая и Черненькая — так нас называли. На даче в детском саду. Я и Олечка Бокова

Фото на загранпаспорт. Я поступаю в аспирантуру и готовлюсь к поездке в ЧССР (*так в оригинале — ред.*)

Мое первое подмосковное лето на даче

В детском саду. Кремль, Ленин, пальмы и обязательный пункт праздничной программы — украинские народные танцы. Первая справа — Олечка Бокова. Я — в центре.


Однажды вечером
мальчик посмотрел в
окно и подумал что
жизнь похожа на
картину и он пошол
к папе и спросил
папа почему я посмотрел
в окно и узнал что
жизнь похожа на
картину нет
сынок картина
похожа на жизнь.
КОНЕЦ

Первое литературное произведение Паши Артемьева (7 лет). На обратной стороне рукописи обозначена цена: 1 р. 20 коп. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»

Мой второй класс. С любимой учительницей Натальей Николаевной Овчинниковой. Я — первая справа

Сын Захар. 3 года, Чехословакия

Оленька-первоклассница. Оломоуц

Паша играет свой первый концерт

Это фото у нас называется «В чужом пиру похмелье». У входа в школу 1 сентября. Старшие ушли учиться. Праздник кончился. Остался Паша один.

Паше полтора года

Первое Олино фото в прессе. Фоторепортаж газеты «Правда» от 7 декабря 1987 года. «В минувшую субботу, как уже сообщалось, через тысячи рук москвичей прошли капсулы с посланиями мира советской общественности М. С. Горбачеву и Р. Рейгану.» Фото — у нашего дома на ул. Чайковского. Оля — вторая слева

Оленьке 18 лет

Паша в детском саду

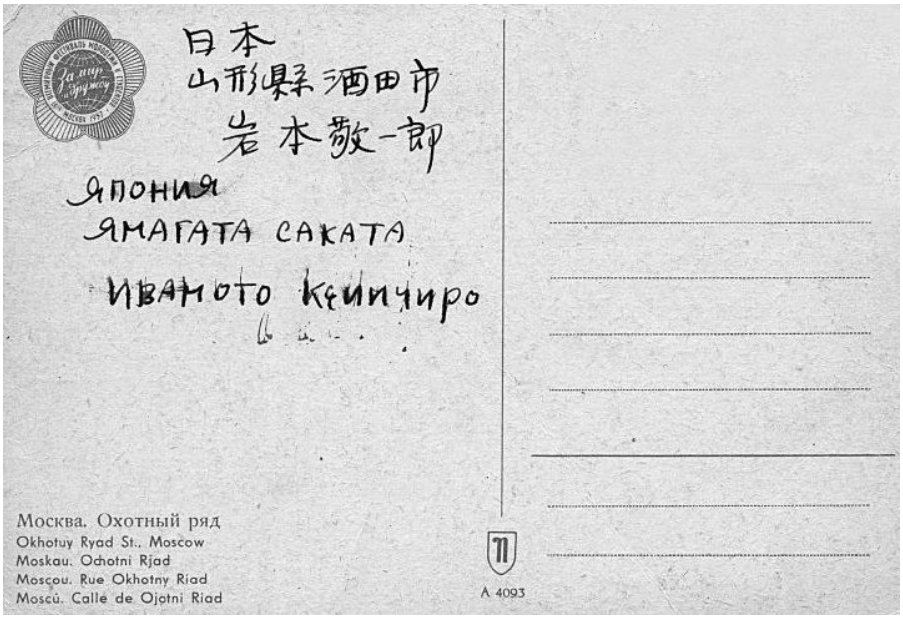
Захар в студенческой столовой. Калифорния, 2000 год.

Оломоуц. В гостях у друзей

Лето 1966 года

На горе Ачишхо. Красная Поляна. 1972 год

Мы с мужем. 1976 год



Память о фестивале молодежи и студентов 1957 года. Незнакомые люди обменивались друг с другом адресами, надеясь на дружбу, переписку. Это — сохранившаяся у нас открытка с видом Москвы, врученная Женечке гостем из Японии. В левом верхнем углу — эмблема фестиваля. Адрес, имя. Интересно, что это за человек?

Декабрь 1979 года, Рождество, в гостях у чешской подруги Майки

Мой рабочий стол в Серединском

В Оломоуце. Слева направо: я держу Захара, Оленька с папой, Иржик с мамой Майкой

Серединское. Аист прилетел

Захар и Оленька. Оломоуц

Я в ожидании Оленьки

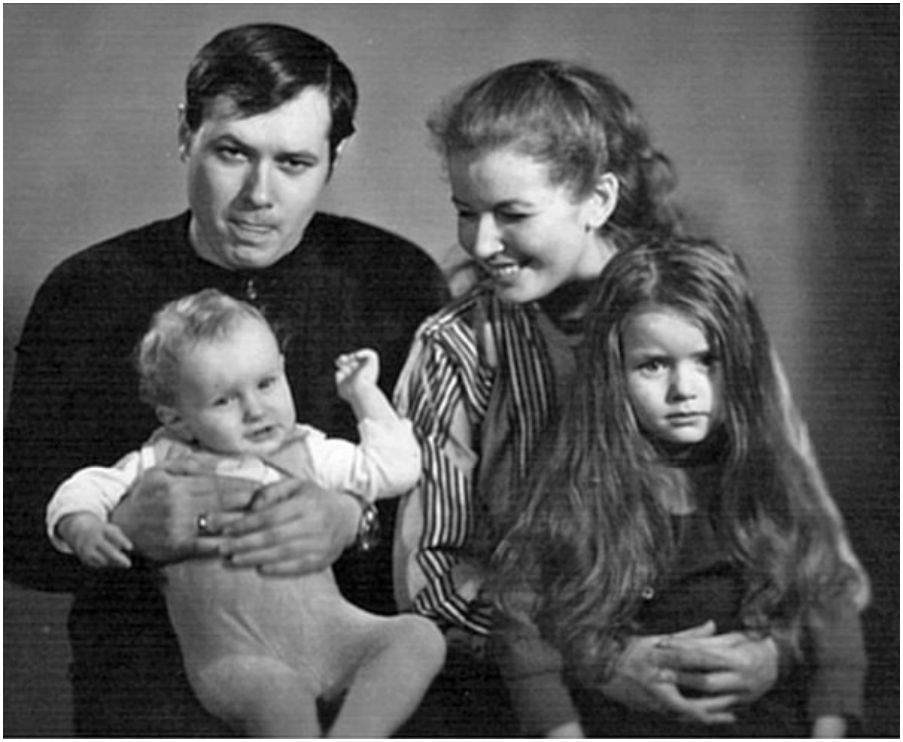
Оломоуц, в зоопарке на Копечке. Слева направо: муж с Оленькой, Майка с Иржиком, я с Захаром на руках

А тут мы впятером! Оленька идет в первый класс: папа, Захар и я в ожидании Пашеньки

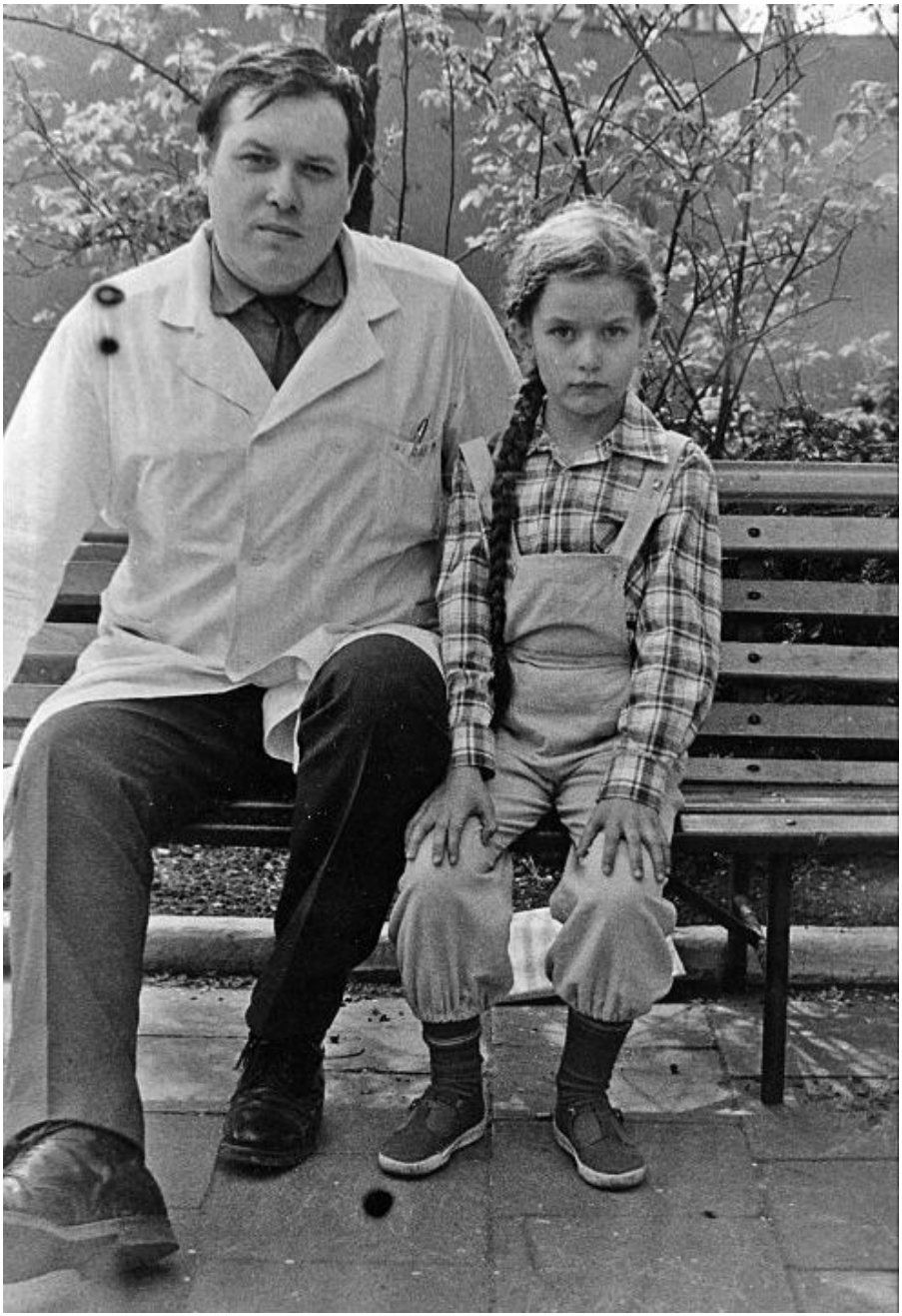
Братики — Захар и Пашенька. Оломоуц

Семейный портрет — Артём, Оленька, я. Захар только появился на свет

Вернулись в Москву из Чехословакии насовсем



Вот нас уже четверо. На руках у папы Захар, у меня — Оленька



Оленька с папой во дворе госпиталя в Оломоуце

Прогулка по парку Флора в Оломоуце. Слева направо: Захар, его приятель, Оля и Пашенька в коляске

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе

Москва. Вид из наших окон. В октябре 1993 года здание мэрии было в клубах черного дыма

Наш двор. Москва

Арка нашего дома, выходящая на Садовое кольцо, из которой мы наблюдали за происходящим в октябре 1993 года

Я только что получила предложение выйти замуж. Полное счастье. Париж,

март 1997 года

Константин Лифшиц, Мстислав Ростропович, Максим Венгеров. После камерного концерта

К.-У. Шнабель и К. Лифшиц на вилле, где проходили мастер-классы с великими мастерами. Италия, Лаго ди Комо, Грианте, сентябрь 1997 года

Д. Фишер-Дискау, его супруга Ю. Варади, К. Лифшиц. Берлин, Концертхаус, 2003 год

О. Ростропович и К. Лифшиц. После концерта в Линкольн-центре. Нью-Йорк, март 2003 года

Константин Лифшиц и Акико Ога с сыном Юрочкой и мужем Алексеем. Токио

Ростропович в своей артистической, укрытый Костиным пальто, рассказывает о гипнотизере Новаке. Нью-Йорк, Линкольн-центр, 23 марта 2003

Прощальный ужин в корейском ресторане после долгого турне по Японии. Я, К. Лифшиц, дирижер Петер Феранец. Токио, лето 1998 года

Мы с Костей на презентации первой дочкиной книги. Москва, август 1997 года

Акико Ога, я, Константин Лифшиц. Киото, лето 1998 года

У дома, в котором мы в то время жили. Италия, Лаго ди Комо, Грианте, 1999 год

12 апреля 1997 года, Москва. Наша свадьба

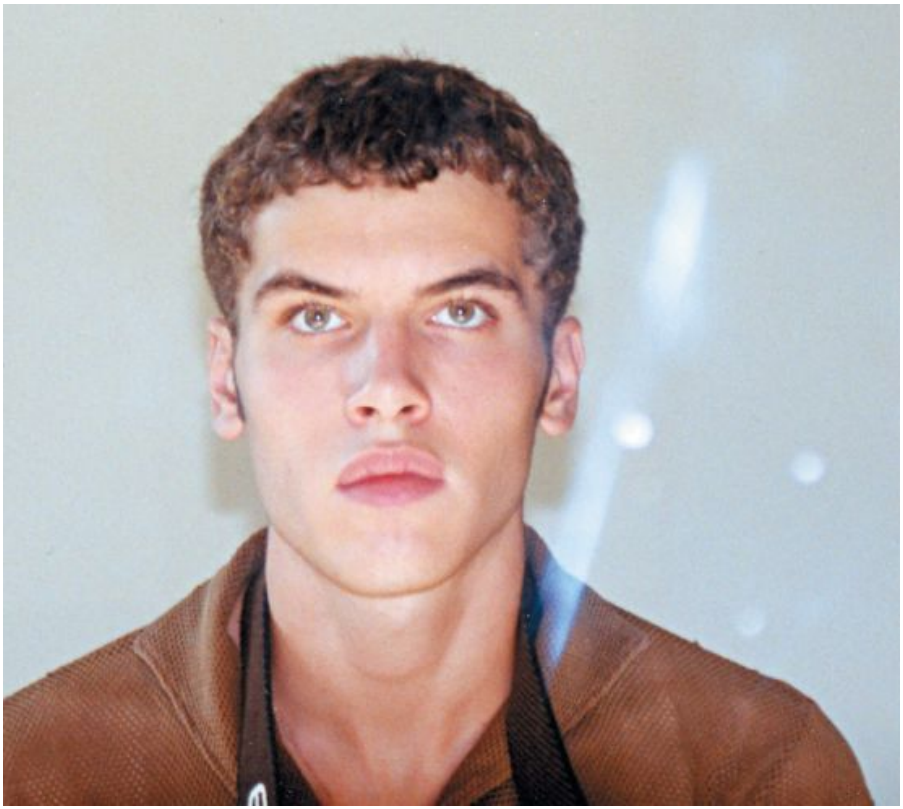
Март 1997 года, Англия (фото Джоан Смит)

13 июня 1997 года. Венчание в храме Николы в Кузнецах. Нас венчает духовный отец — протоиерей Валентин Асмус

Константин Лифшиц и Оля Артемьева, август 1997 года, презентация ее первой книги «Пять минут до конца зимы»

Под Нью-Йорком. 1998 год (фото Шёрли Зингер)

Константин Лифшиц. Лето, фестиваль в Кухмо, Финляндия. 1997 год



Паша в Италии, Лаго ди Комо, 1999 год

Под Нью-Йорком (фото Шёрли Зингер). 1999 год

Япония. Типичный японский отель. 1999 год

1999 год. Форт-Лодердейл. Флорида. Мы с Захаром и трое моих детей — наконец-то удалось собраться всем вместе. Я счастлива

Италия, Лаго ди Комо

Встреча нового, 2000 года. Слева Оленька, справа я. Последний раз, когда я выпрямила свои кудри

Тогда же. Япония. На морском берегу

Римские фото, сделанные во время прогулки с Д. В. Ивановым. Апрель 2000 года

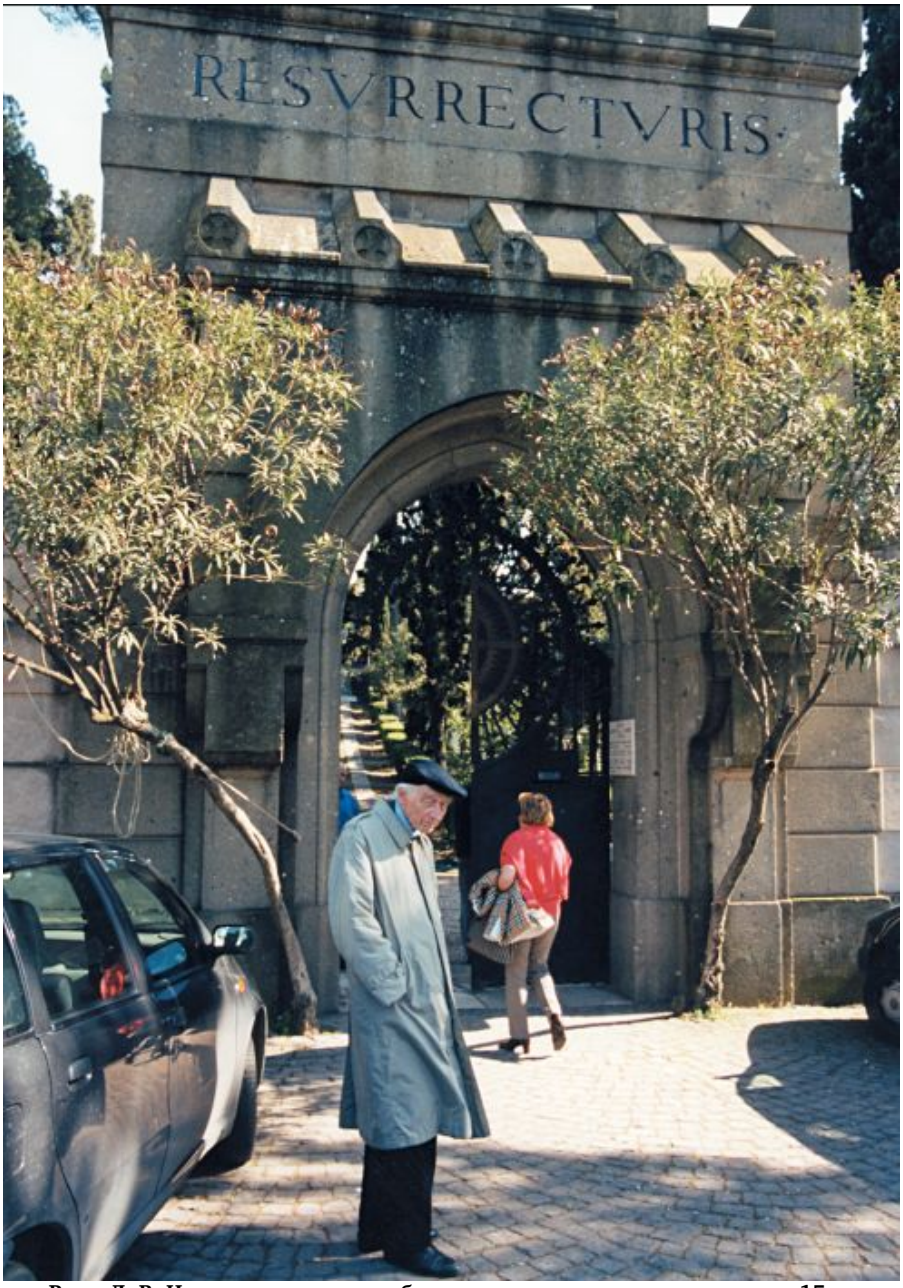
У входа в музей Рериха перед концертом К. Лифшица. Слева направо: К. Зенкин, Д. В. Иванов, А. А. Тахо-Годи, Г. М. Лифшиц (Артемьева), Е. А. Тахо-Годи. Май 2000 года

2000 год. Москва (фото Дм. Преображенского)

Принимаем дорогих гостей в Москве, на Новинском: Елена Аркадьевна Тахо-Годи, Аза Алибековна Тахо-Годи, Мина Алибековна Тахо-Годи. 2000 год

Там же, тогда же. Слева направо: Оля, Костя, М. А. Тахо-Годи, А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи

На концерте К. Лифшица в музее Рериха. Концерт этот завершал конференцию, посвященную творчеству В. Иванова. Первая слева — А. А. Тахо-Годи, в центре — Д. В. Иванов, беседующий с педагогом К. Лифшица — Т. А. Зеликман. Май 2000 года



Рим. Д. В. Иванов у ворот кладбища, где покоится прах его отца. 15 апреля 2000 года

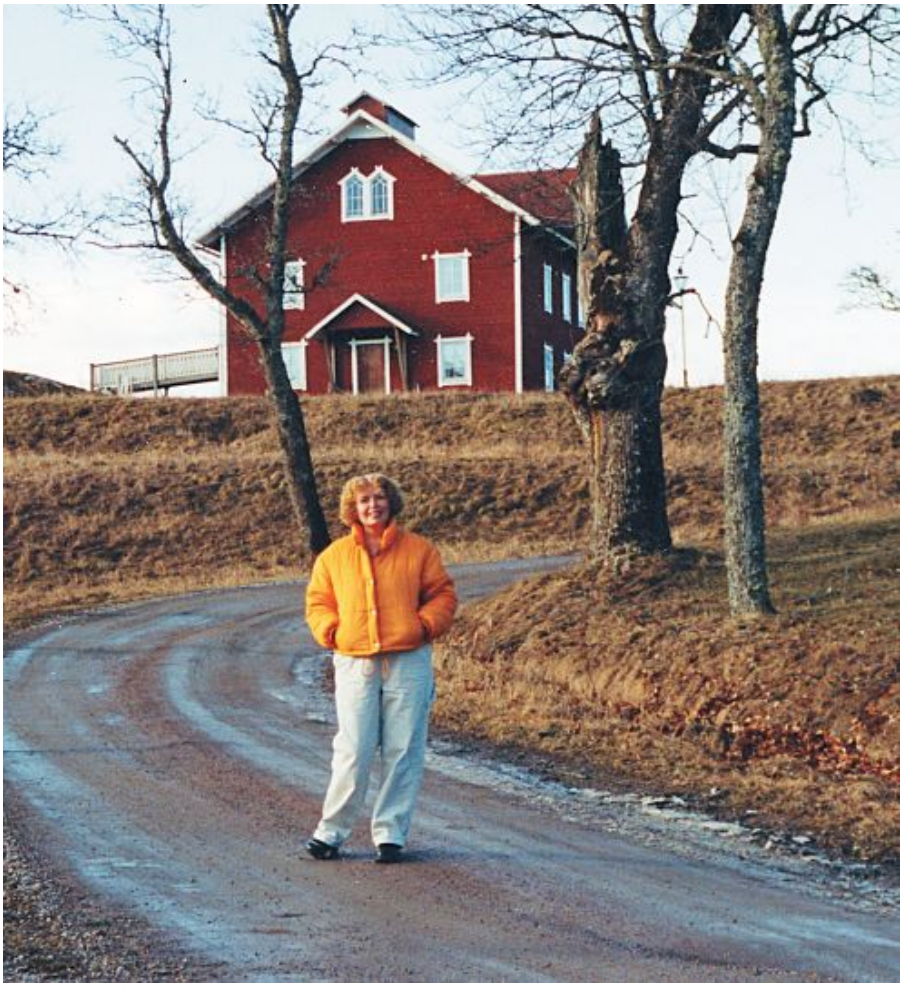
Москва. У нас в гостях директор МССМШ им. Гнесиных М. Хохлов с женой

Анной и дочкой Линочкой. 2000 год

Гонконг, октябрь, 2001 год

Деревня Серединское Калужской области, где мы в 2001 году купили домик. Удивительное место, с которым связано много историй. Храм в деревне. Сейчас в нем ведутся восстановительные работы

Мы в квартире Лосева на Арбате. В этой комнате проходили наши аспирантские занятия. В гостях у Азы Алибековны Тахо-Годи. В руках у Азы Алибековны и Кости мои новые книги. 2002 год



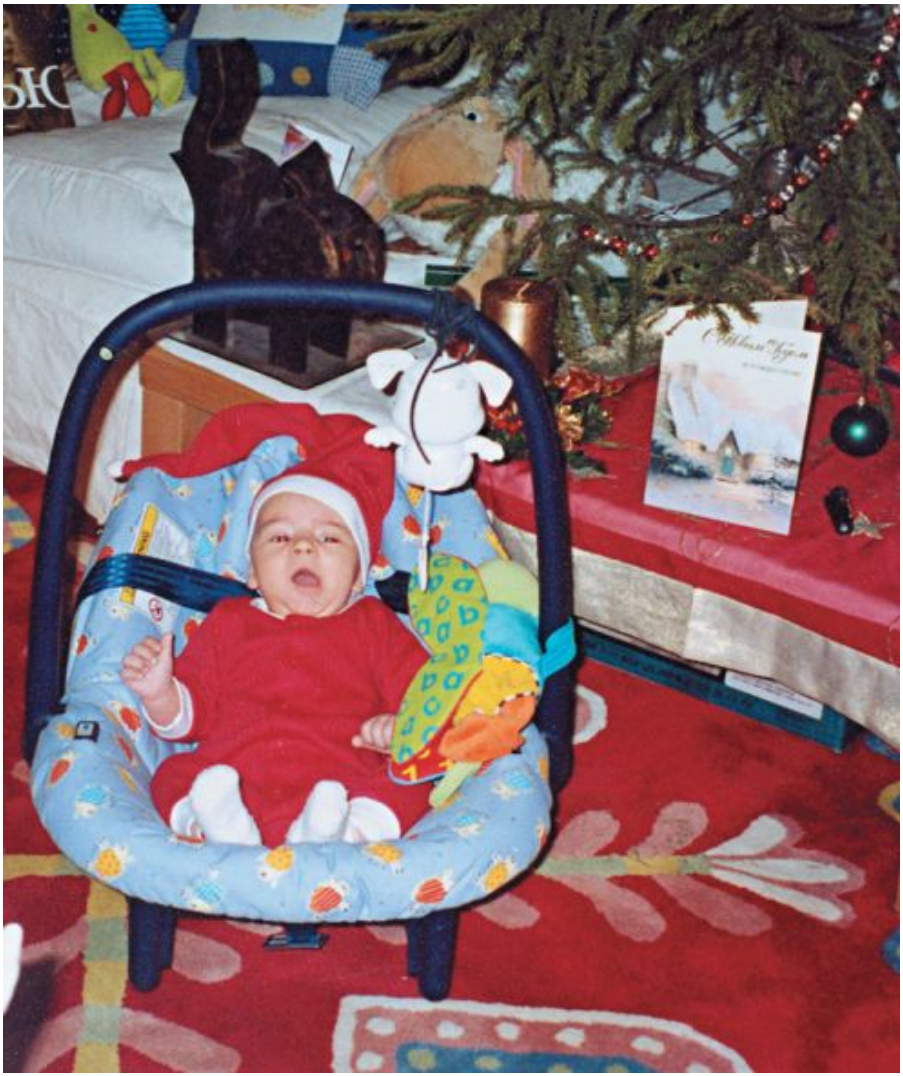
Случайная остановка в Стокгольме по пути в Америку. 2001 год

Калифорния. У Костиных родителей. Март 2001 года

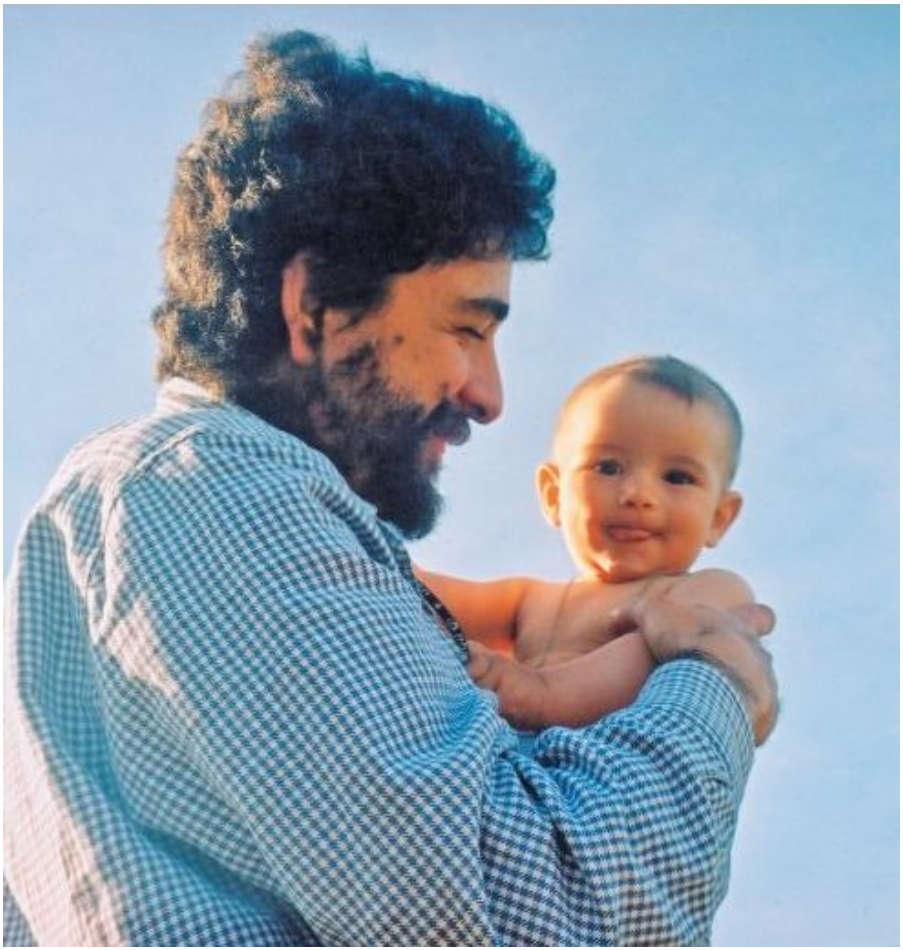
Протоиерей Валентин Уляхин выносит из алтаря младенца Марка. Декабрь 2003 года

Там же, тогда же. Слева направо: А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи, я

Захар, Оля и Марик. 2004 год



Встречаем Новый, 2004 год с самым дорогим подарком — маленьким Марком



Марик совершил первый трансатлантический перелет. Апрель 2004 года. Райнбек (под Нью-Йорком)

Сравниваем Марка с бутылкой воды. Рост — ровно две бутылки. Апрель 2004 года, Райнбек (под Нью-Йорком)

Мой любимый вид транспорта — трехколесный велосипед. Берлин, 2006 год

Захар, Паша, Оля. 2007 год

Крестины нашей Галеньки. Февраль 2006 года

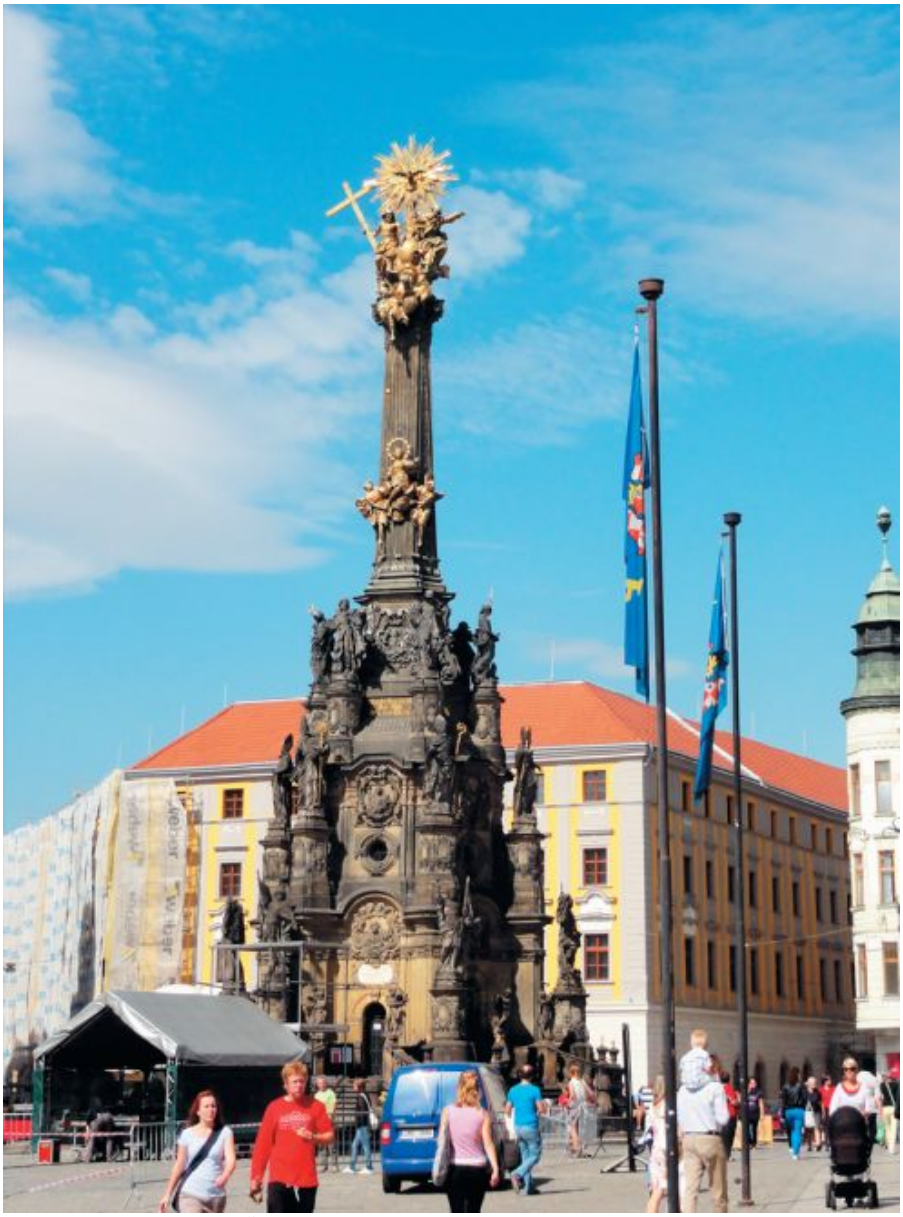
Австрия. В тот день мы побывали в четырех странах: Швейцарии, Лихтенштейне, Австрии и Италии. Показывали моей подруге Танечке красоту и многообразие мира. Январь 2009 года

Оля с Марком и Галенькой. Москва, 2009 год

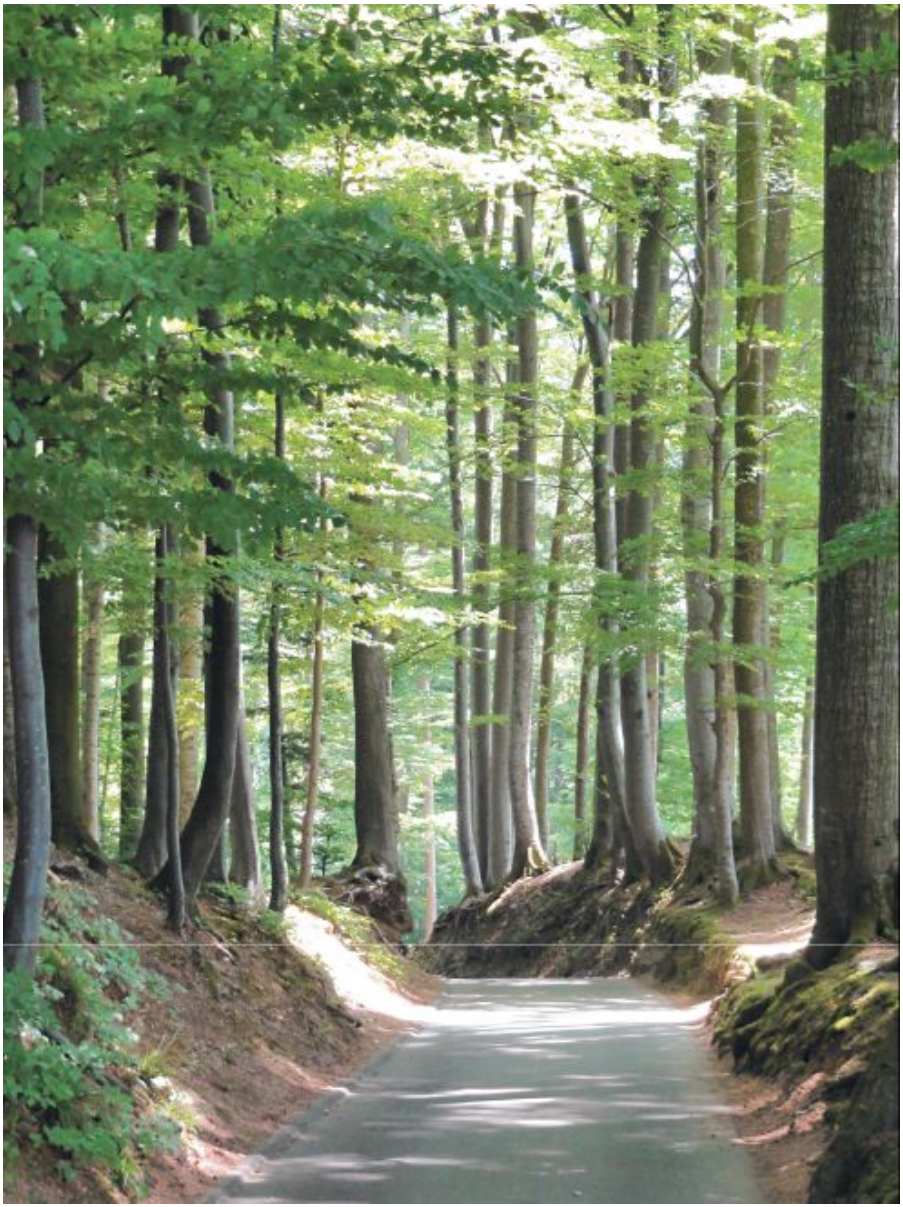
На корабле «Европа» плывем из Кейптауна в Буэнос-Айрес. Коктейль у капитана. Декабрь 2008 года

Мой первый кабинет в Швейцарии. Январь 2009 года

Швейцария, декабрь 2011 года — снег все укрыл



Оломоуц. Моровой столб. 7 сентября 2012 года



Мой волшебный лес в Вертенштайне (Швейцария). Весна 2011 года

Август 2011 года. Альпы. Восхождение. Привал

Корабль «Европа». Июнь 2011 года, белые ночи

Германия, Бад Кисинген

2011 год, июнь, Стокгольм, у Детского музея. Сбылась мечта: я — Пеппи Длинныйчулок

2011 год, июнь. Стокгольм, у памятника Астрид Линдгрен

Декабрь 2011 года. Вернулись домой после долгой прогулки. Швейцария

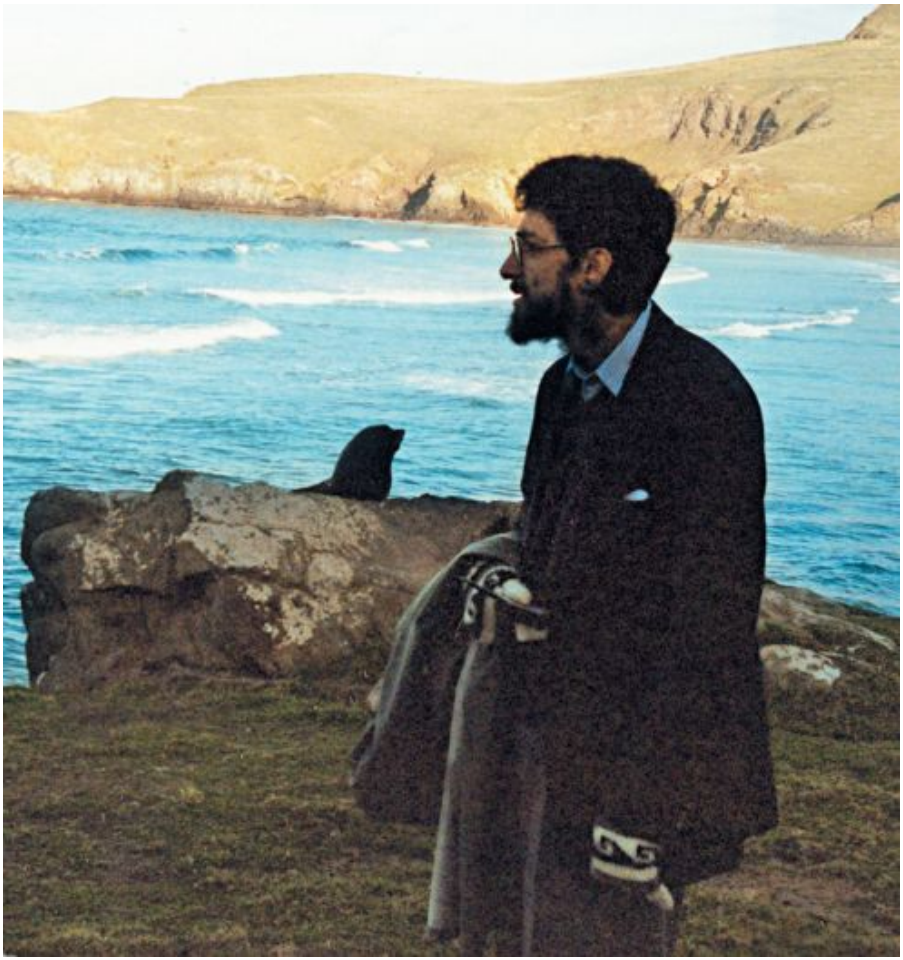
Пуэрто-Рико

Новая Зеландия. Танец пингвинов на берегу океана

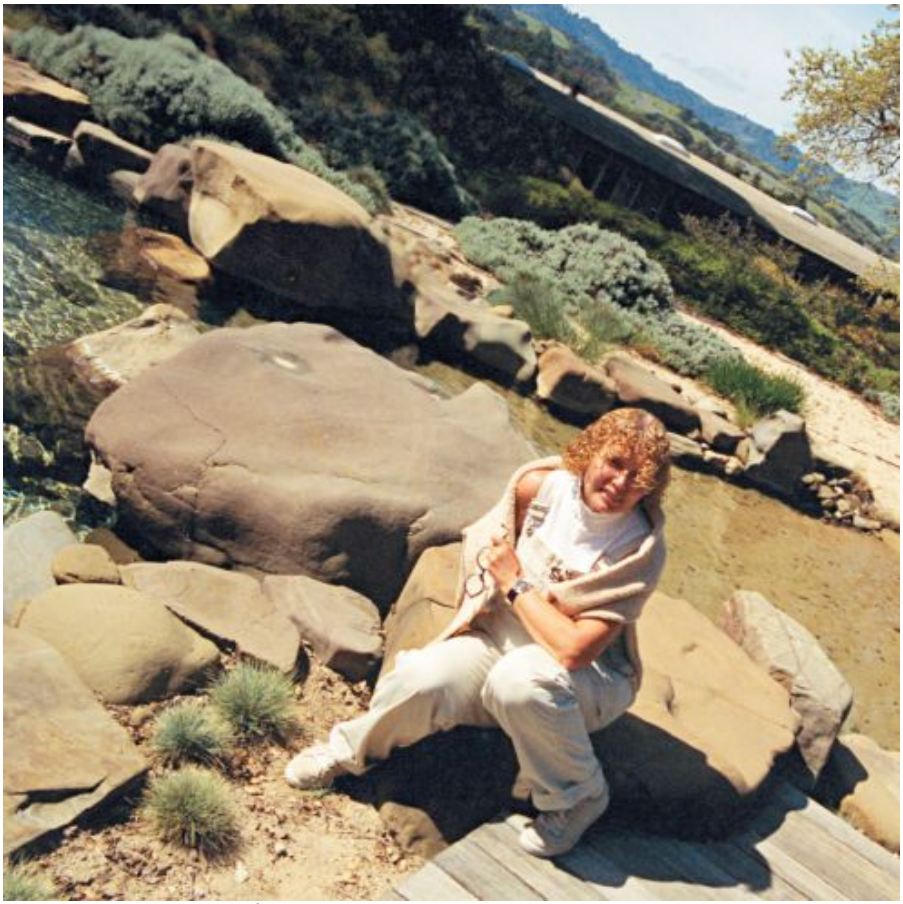
GEORG JENSEN

Мюнхен

Гигантская секвойя, США

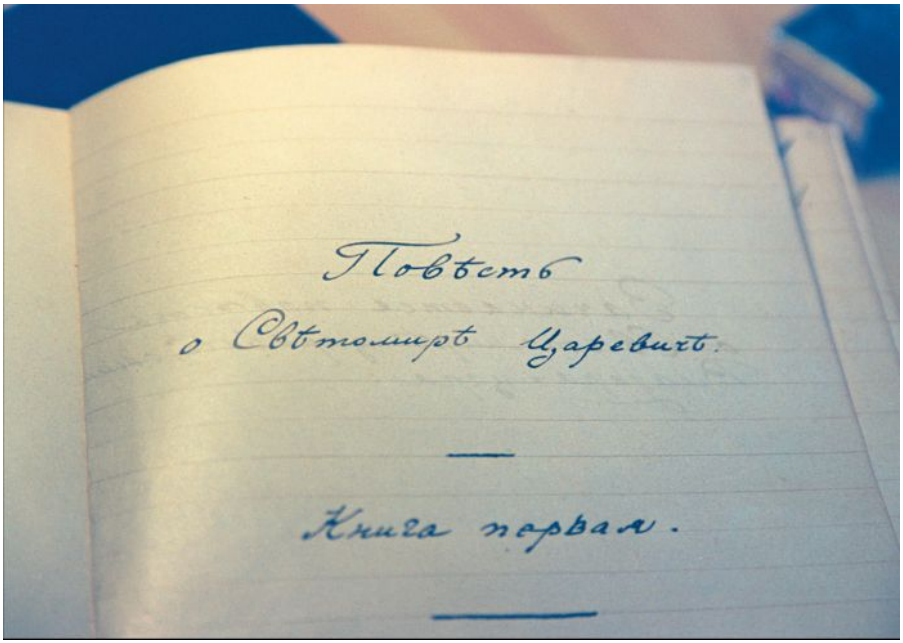


Новая Зеландия. Огромные морские коты после окончания брачного сезона совершенно лишены сил и равнодушно подпускают к себе чужаков



Мир миру — Калифорния

Д. В. Иванов. На стене портрет В. Иванова.



Фрагмент рукописи «Повести о Светомире Царевиче». Фото из архива В. Иванова

Могила Баха. Лейпциг

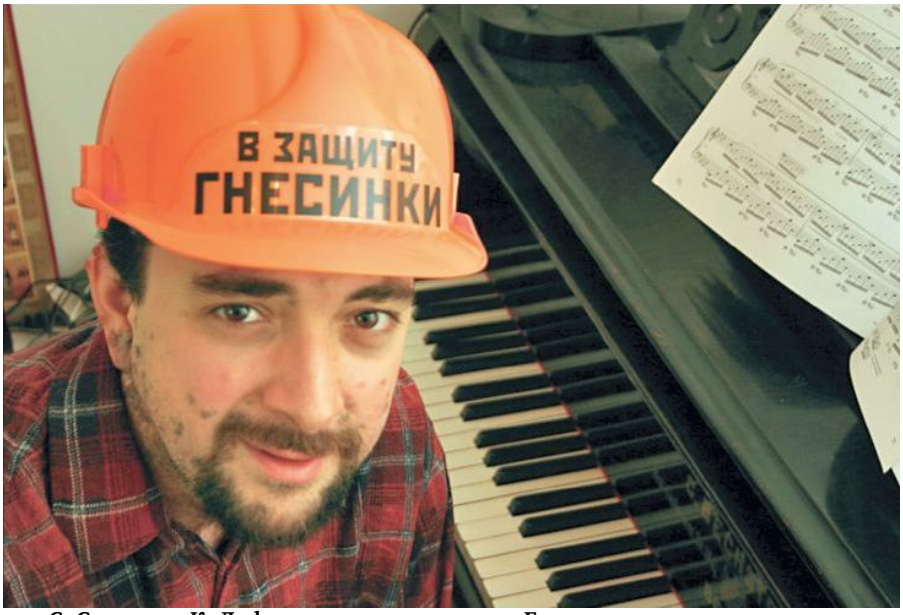
Рим, Дом на Авентине, где жил Д. В. Иванов

JOHANN
SEBASTIAN
BACH

Лейпциг. У памятника Баху

Могила В. Иванова, Рим

Токио. Февраль 2012 года. Константин Лифшиц в интервале концерта в Сантори-холле



С. Соловьев, К. Лифшиц — акция в защиту Гнесинки

Могила Т. Л. Сухотиной-Толстой, дочери Л. Н. Толстого, Рим

Школа им. Гнесиных. Май 2012 года. Все еще ремонт

Крит, июнь 2012 года. Тысячелетняя олива. Ствол выглядит как скала. Дерево по-прежнему плодоносит

Крит, июнь 2012 года. Полнолуние

Апрель 2012 года. Швейцария. Пасхальный снег

В аспирантуре

Наш солнечный человек Костенька

Костеньке 5 лет. Москва, 26 мая 2012 года

Гнесина и Лужков — карикатура.

Калифорния. С дочкой у Тихого океана

Июнь 2012 года, Швейцария. Дочка учится летать

NEW YORK PHILHARMONIC

LORIN MAAZEL Music Director

2002003 PHILHARMONIC FESTIVAL

SLAVA & FRIENDS

A THREE WEEK CELEBRATION OF MSTISLAV ROSTROPOVICH

MSTISLAV ROSTROPOVICH conductor
KONSTANTIN LIFSCHITZ piano

Konstantin Lifschitz

BERNSTEIN *Slava! (A Political Overture)* ★
PROKOFIEV Piano Concerto No. 3
HENRI DUTILLEUX *Timbres, espace, mouvement* ★
LUTOSŁAWSKI Concerto for Orchestra

"A GENIUS... a pianist everybody should hear." (*Boston Globe*)

THU MAR 20 7:30PM **SAT MAR 22 8:00PM**
FRI MAR 21 8:00PM

TICKETS $25-88

SLAVA & FRIENDS
CHAMBER MUSIC CONCERT

Mstislav Rostropovich

MAXIM VENGEROV violin
MSTISLAV ROSTROPOVICH cello
KONSTANTIN LIFSCHITZ piano
MUSICIANS OF THE NEW YORK PHILHARMONIC

PROKOFIEV *Overture on Hebrew Themes;* Cello Sonata
SHOSTAKOVICH Piano Trio No. 2

SUN MAR 23 7:00PM

TICKETS $24-86

Фрагмент афиши фестиваля Ростроповича «SLAVA & FRIENDS»

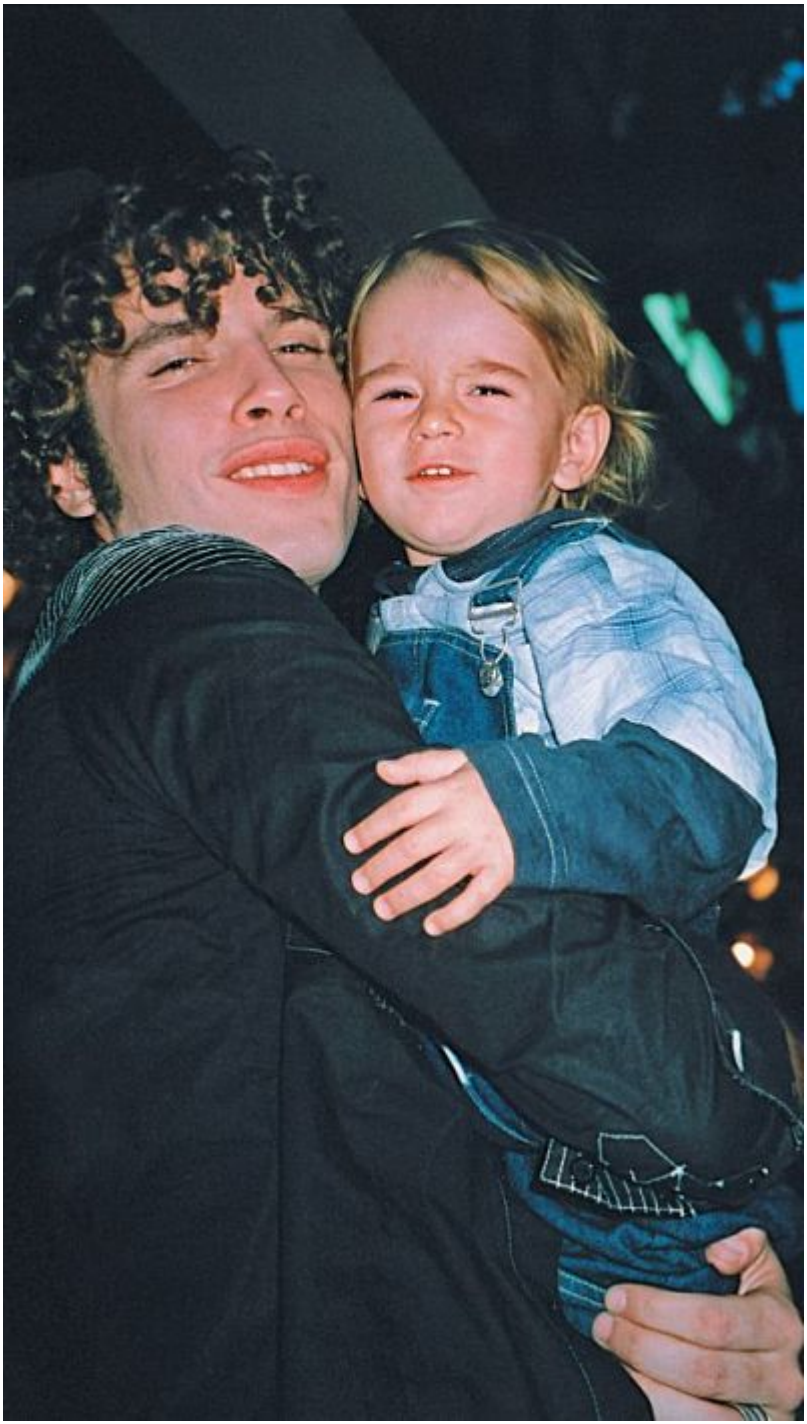
«Высотное здание, площадь Восстания…» Теперь — Кудринская. Фото — май 2012 года. Вид из нашего окна

Фасад школы имени Гнесиных. Фото начала XX века

Швейцария, июнь 2012. Вид из окна моего кабинета

Акико Ога с мужем Алексеем и сыном Юрочкой. 2007 год

Паша и Захар в Калифорнии



Паша и Марк Артемьевы

Дочь посла Японии в СССР Акико Ога — первая японская девочка, закончившая советскую школу, с одноклассницами на фоне портрета Л. И. Брежнева

Акико Ога в родной школе № 72 на Малой Молчановке в Москве. Выпускной бал

Акико Ога со школьными друзьями

notes

Примечания

1

Из сказки А. Н. Толстого «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

2

М. Цветаева. «Крик станций».

3

Песня из к/ф «Испытание верности», 1954 г., музыка И. Дунаевского, слова М. Матусовского.

4

Песня «Москва — Пекин», слова М. Вершинина.